Исхак Машбаш

Собрание сочинений в двадцати томах

Исхак МАШБАШ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДВАДЦАТИ ТОМАХ

ООО «Полиграф-Юг
Майкоп
2015

Исхак МАШБАШ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДВАДЦАТИ ТОМАХ
ТОМ V

ООО «Полиграф-Юг
Майкоп
2015

УДК 821.352.3-31
ББК 84(2=602.2)6-44
М 38

Машбаш И. Ш.
М 38 Собрание сочинений в двадцати томах. Том пятый. Адыги. Исторический роман.– Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг», 2015.– 688 с.

В собрание сочинений вошли стихотворения, поэмы, романы, публицистика Исхака Машбаша, народного писателя Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, лауреата Государственных премий СССР, России, Адыгеи, Российской литературной премии М. А. Шолохова.

ISBN 978-5-7992-0833-2
ISBN 978-5-7992-0838-7

© Машбащ И. Ш., 2015

АДЫГИ

Исторический роман

Черкес благородно представляет на Кавказе тот рыцарский и воинственный дух, который пролил столько блеска на народы Средних веков. Храбрость, ум, красота: природа дала им благородное достоинство, которое никогда не опровергалось и которое у них сочеталось с чувствами наиболее рыцарскими и с горячей любовью национальной свободы.

Оммар де Гелль

Не было еще истории, не существовало ее документальных данных, а черкесы жили на Кавказе в доисторические времена, были древнейшими коренными обитателями его.

Ф. А. Щербина

Черкесская Матарха (Тмутаракань) цветуща, окружена полями, садами и виноградниками. Князья ее отважны, предприимчивы и грозны. В городе происходят богатые ярмарки, куда стекаются из близлежащих и дальних стран.

Эдриси

Черкесы самые многочисленные и могущественные среди прочих народов Кавказа.

О. В. Маркграф

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Солнце медленно уходило по склону туда, где небо становилось морем, уходило, чтобы дать всему сущему покой отдохновения. Небольшое облако, так торопившееся в голубые просторы, остановилось и дремотно зависло над вершиной ближней горы. Морские волны с тихим говором набегали издалека, чтобы прилечь на берег и забыться во снах, а завтра снова уйти в просторы, разгуляться во всю свою мощь. Гужевая дорога, петлявшая вдоль берега у темного леса, тоже затихла, а в ее излучине где-то в ветвях раскидистого дерева вздыхал и вздыхал филин.

У плетня на дубовом бревне с облетевшей от времени корой сидят два старика, опершись подбородками на палки. Тот, что в широкополой шляпе тонкого белого войлока, с тяжелыми могучими плечами, лобастой головой на короткой шее,– Тлимаф. Другой – худощавый, невысокого роста – Зазий. На его продолговатой голове островерхая каракулевая папаха, от которой он кажется выше ростом.

Сидели они, и смотрели так, будто хотели понять, зачем и почему уходит от них солнце, о чем шепчутся с берегом волны, как узнать, где небо становится морем, а море – небом, почему облачко устало зависло над вершиной ближней горы и отчего вздыхает филин, чего не хватает ему?

– У-у, сколько всего вокруг нас! И какое оно! А мы ничего толком о нем не знаем,– сказал, вздохнув, Тлимаф.

– Вон чего ты захотел,– коротко засмеялся Зазий.– Нам хоть бы знать, что происходит у нас в селе, а не то что во всей округе. А живем, ой, как плохо. Наши сыновья – пустословы и хвастуны. Им бы только ходить при праздничных белых газырях, гарцевать хвастливо на скакунах. А вот мы в молодости были иными, больше думали о наших полях, табунах, как уберечь их от врагов. Не говори, не

говори. Да не только сыновья наши, простые смертные, а и зиусханы[1]. Нет у них ни силы, ни воли.

– Счастье твое, Зазий, что слов этих не слышат ни Сибок, ни Ацамук,– усмехнулся Тлимаф,– а то несдобровать бы тебе.

– Вот и ты! Все мы такие стали! Правды боимся, а это, скажу я тебе, страшнее страшного,– сердито начал Зазий, а потом смягчился, чтобы не обидеть друга.

Но Тлимаф не обиделся. Он просто стал печальнее. Приподняв голову, неторопливо перевел взгляд на Зазия, улыбнулся:

– А что я?! – не то спросил, не то утвердил он нечто важное и потом негромко, но твердо продолжил, по-прежнему глядя вдаль.– Я, как и ты, говорю: пусть слышат наши горькие слова и зиусханы, и уорки[2] и тфокотли[3], и сыновья, а если не поймут нашей душевной горечи, значит, ничего не поймут в своей жизни, дальше носа своего ничего не увидят.– Он поднял свое грузное тело, прислонился спиной к плетню, повесил шляпу на кол, распрямил грудь, глубоко, с наслаждением вздохнул, огладил обеими руками свежевыбритую голову, как бы лаская ее, и, улыбнувшись, сказал: – Ладно об этом, ладно, всего этого не переговоришь, как не обнимешь из конца в конец небо. Меня беспокоят два простых житейских дела.

– Я готов тебя слушать, уважаемый тхаматэ[4],– ответил Зазий, не без лукавства глядя на друга маленькими быстрыми глазами.

– Очень нехорошо, что ты садишься на бревно справа от меня, получается, как бы ты старше. Я не знаю, в каком году ты родился, но знаю – на два года моложе. Люди смотрят и смеются, как мы с тобой нарушаем одно из святых правил адыгов[5]. Мол, учат других уму-разуму, а сами хуже несмышленышей.

Зазий покашлял в кулак, проворчал что-то невнятное, опираясь на суковатую палку обеими руками, поднялся, пересел на другую сторону.

[1] З и у с х а н – князь.
[2] У о р к – дворянин.
[3] Т ф о к о т л ь – свободный крестьянин.
[4] Обращение к почтенному старцу.
[5] А д ы г – самоназвание адыгейцев, кабардинцев, черкесов. Издревле их называют черкесами.

– Э-э, кто на нас смотрит, кому мы нужны, хотя...– сокрушенно покачав головой, тоненько засмеялся он.– Знаю, понимаю, это шайтан подталкивает – иди-иди, займи местечко справа, с него все лучше смотрятся. Навыдумывали адыги столько разных правил да обычаев, что человек живет, опутанный ими по рукам и ногам, вздохнуть вольной грудью не может.

Усмехнулся про себя и Тлимаф: «Смертушка уже в его глазки заглядывает, жизненная тропинка к концу подходит, а он все взбрыкивает. Его не любят за ершистые разговоры – или все расходятся, или его вежливо выпроводят... Обычаи добра и порядка, видишь ли, ему мешают жить, получается, стоя на берегу, он управляет лодкой, что бьется на морских волнах, получается, еще не войдя в лес, он руки потирает, снимает шкуру с медведя. Вот только я с ним и уживаюсь, терплю его безалаберность, сумасбродную гордыню. Даже скучаю, если долго не видимся».

– Что же ты молчишь, мой старший сосед. Об одном житейском деле поговорили, а второе? Слушаю тебя.

Стройная, как тростиночка, девушка и вихрастый парнишка лет двенадцати принесли анэ[1] с горячими щалямами[2] и кувшин с медком.

– Нана прислала. Отведайте, пожалуйста,– пропела Накура тоненько.

Парнишка проворно налил в глиняные кружки медок:

– Добрый медок нане нынче удался. Прохладный, очень вкусный с горячими щалямами. Ешьте на доброе здоровье.

– Спасибо, мой хороший! Садись с нами, поешь,– сказал Зазий.

– Что ты! – воскликнул Чечан.– Разве можно мне сидеть за одним столом с почтенными мужчинами. Ешьте на здоровье, а я побегу по своим делам.

– Ах, какой ты молодец! Это тебя дедушка Тлимаф научил быть таким уважительным к старшим?

– Да! – с веселой гордостью ответил внук.

– Добрый у тебя дедушка, мудрый?

– Да!

Молитвою возблагодарив Аллаха за пищу, старики неторопливо принялись за душистые лепешки, запивая

[1] А н э – круглый столик на трех ножках.

[2] Щ а л я м – лепешка.

прохладным медком, таящем в себе аромат цветущих садов и лугов.

Зазий ел с удовольствием, а в глазах, в их темной глубине была грусть. Родилась эта грусть радостью детишек. «Счастлив Тлимаф своими детьми, внуками, счастлив одним счастьем с ними, как солнце с небом... А мне, ой, как не повезло! Похоже, за какие-то грехи мне досталась моя занудливая старуха! В молодости-то какой зазывной красавицей была, а вышла замуж, сделалась сварливой, скрипучей какой-то. И из дома мне никуда не уходи, и в доме сидеть с нею нет мочи. Родила сына, да, похоже, во зле родила, не на радость. Будто не матерью, а мачехой была ему. Туда не ходи, этого не делай, друзей своих в дом не води, не смей к столу их приглашать. А парень-то хороший. Рука крепкая, глаз острый, сердце доброе. Вот уже несколько лет, как ушел. Ни слуху ни духу от него. Одни говорят, будто ушел на службу к крымскому хану, другие, слышно, то ли в Кабарде, то ли в Беслинее. А сердце-то мое, какое ни есть, а отцовское – болит, тоскует. Да еще посмотришь, как у других в семье хорошо, хоть волком вой от несчастья».

– Большая искусница твоя невестка, такие мягкие, прямо воздушные лепешки получились. А медок?! Просто чудо, будто только с пасеки свежий привезли.

– Этому всему ее научила моя покойная женушка. Вот уж была мастерица, вот уж большой доброты душевной была, до конца своих дней ее не забуду,– прочувствованно сказал Тлимаф, вытирая полотенцем руки.

– Рай даруй ей, Аллах,– продолжил разговор Зазий.– Ну что, сосед, так вкусно поев, можно поговорить и о втором твоем деле. Мы договорились о старших и младших, как они должны вести себя. Видишь, я уже сижу слева от тебя, ты этим должен быть доволен,– с едва заметной усмешкой проговорил Зазий.

Тлимаф сделал вид, будто не заметил усмешки:

– Вот ты, мой добрый и мудрый друг, говоришь, что живешь, будто спутанный по рукам и ногам разными порядками, обычаями, доставшимися нам еще от наших древних предков, что ты, человек, царь всего, а несвободен, поэтому тяжко тебе жить. Но вот взять, скажем, хотя бы мою семью. Что было бы, если бы в ней сын жил по своей прихоти, невестка – по своей, дети тоже по своим детским капризам, а я со своими старческими вывихами? А то, что

не было бы у нас с тобой маленькой, но такой обязательной радости. Ты говоришь: человек – царь на земле, а разве солнце не царь в небе и над землей? А что было бы, если б оно стало таким свободным, как ты хочешь, как ты понимаешь, что однажды осталось бы от всего мира, от нас с тобою и нашей адыгской земли?

– Но, почтенный тхаматэ!

– Вот тебе и почтенный. Что такое адыгство? – Тлимаф призадумался, видно, собираясь с мыслями, чтобы ответить на этот непростой вопрос.

– Да только и слышишь – адыгство, адыгство, а вот попробуй объяснить...– прервал тишину Зазий.

– К сожалению, часто только слушают, а не вникают в его большой смысл, не следуют ему, а ведь это духовная основа нашей жизни. Духовная, великая, созданная нашими предками, многочисленными, как волны морские, поколениями. А какие были потрясения! Сколько приходило на нашу красивую, благословенную землю захватчиков. И с запада Балкан, и черные тучи татаро-монгольских конников. А волны смерти – чума, холера. Однако наш народ выстоял и сохранил себя как народ – и все это благодаря духовному мужеству, благодаря адыгству.

– Правильно ты говоришь, уважаемый тхаматэ. Мудрый ты человек, мудростью твоих прадеда, деда, отца, мудростью нашей благословенной земли. Все, что ты говоришь,– правда, а она, как ты там о ней говоришь?

– Сколько бы ни говорили, что правду свалили, она стоит, а сколько бы ни уверяли, будто кривда жива, она мертва перед правдой.

– Вот уж верно! – воскликнул Зазий и подумал: «Мудр, вот уж мудр этот Тлимаф, сколько ни старайся, все равно не сможешь усидеть справа от него».

Подумал так Зазий и ухмыльнулся:

– Но не кажется ли тебе, мой друг, что ты до бесконечности растянул первое дело, а про второе как бы вовсе запамятовал?

– Я понял твой справедливый намек,– улыбнулся и Тлимаф,– но второе дело будет подлиннее, не одну ночку придется коротать за разговором, потому что дело пойдет и за пределы земли адыгов. Правда, зиусхан Сибок говорил как-то: мы навести порядок в своей распрекрасной сторонке не можем, а еще хотим говорить о других странах.

А это и есть второе дело. Ты слышал, что произошло у нашей заморской соседки?

– Если скажешь, услышу.– Он допил медок, оставшийся в кружке, крякнул, огладил обеими руками бороду с усами и продолжил: – Ты о какой заморской державе говоришь? О Турции или о Крыме? Моя жена, любительница пустой болтовни, сказала: нам не нужна ни та, ни другая.

– Ну-у,– широко развел свои богатырские руки Тлимаф.– Если сама твоя Цираца, мудрая из мудрых, такое сказала, то нам тут и делать нечего,– не скрывая усмешки, пробасил он.

– Эй, что ты говоришь, мой добрый сосед, о моей болтливой и пустой женщине. Ее ум не длиннее ее платья – и пустой, и болтливый, как подол юбки, но,– Зазий пригнулся и понизил голос, как бы потаясь от жены,– живет она в моем доме, под моей защитой, никаких забот не зная, однако еще и такое скажу,– почти шепотом продолжил он,– не знаю, почему, а на всей земле боится она одного крымского хана. Только услышит его имя, так вся и задрожит.

– В этом твоя не очень богатая умом-разумом жена права – более жестокого человека, чем крымский хан, на всей человеческой земле нет, тут никаких сомнений.

– Правда твоя, взыскивая по два раза в году с нас дань, он будто шкуру с каждого из нас сдирает. А попробуй ему воспротивиться?! Сколько рубцов от его ятаган и плеток мы носим! Будь он проклят, пусть его холера задушит вместе со всем его богатством! А насчет жены моей ты не прав, добрый тхаматэ, не мудрая, а просто трусливая она, дрожит при одном упоминании имени хана. Но не обращай внимания на наши семейные мелочи.

– Ты не прав, Зазий, если нет покоя и порядка в наших семьях, откуда ему быть на всей нашей земле, ведь каждое большое начинается с маленького, как всякий дождь начинается каплями, а уж потом хлынет... Теперь о крымском хане. Он всего лишь кнут в руках Турции и, как всякий кнут, жесток и глуп.

– Вот какого кнута не хватает моей старой Цираце! – почему-то восторженно воскликнул Зазий и опять же почему-то замолк и спросил: – Как ты думаешь, прав Сибок, когда сказал, что кабардинские адыги ушли из Азова на восток, чтобы подальше от Крыма?

– Отчасти это и так, но главное, думается мне, в том, что у адыгских племен нет между собою разумного братского отношения. Ушли кабардинские адыги со своей коренной земли, вроде бы от крымских бед ушли, но и там-то, слышно, нет у них мира между собою, нет мира в семье. Мы смотрим на запад, на восток, на север смотрим, тянемся изо всех сил, чтобы увидеть, поразмышлять, поспорить о тех народах, вместо того, чтобы поразмышлять о судьбах каждого племени адыгов, чтобы из всех братских племен сделать единую страну, тогда не только Крым, но и сама Турция перед нашей силой была бы нам нипочем.

Зазий уже слушал и не слушал своего друга, ведь поспела пора идти домой, а ему, ох, как не хотелось – опять старуха станет его за что-нибудь пилить, ворчать и ныть, как застарелая грыжа. Прислушался он, приподняв голову в своей островерхой папахе, улыбнулся и грустно сказал:

– Слышишь, сосед, лес совсем затих, птицы ко сну отошли. Филин заохал. Не пойму я эту могучую птицу – то вздыхает, то заплачет, а то вдруг захохочет. Да так захохочет, что мороз по коже продирает. Скоро предвечерний намаз – время замаливать наши грехи, так что завершай свое второе дело.

– Раз так, Зазий, я закончу его коротко: адыга, нашего племянника, который должен был стать султаном Турции, повесили по приказу его отца...

– Этого, такой грязной подлости не может быть! – в отчаянии закричал своим тоненьким, но резким, как удар хлыста, голосом, Зазий.

– Как не может, если уже случилось...

– Убить своего сына! Такого даже звери не делают!

– Конечно же, все адыги – и зиусханы, и уорки, и простой народ очень возмутились. Искать справедливости и правды к султану поехали наши гонцы, достойные мужи, но их и близко ко двору не пустили, разговаривали грубо, оскорбительно. Они сказали гонцам: «Да, дочь адыгов – жена нашего султана, она родила ему сына и должна была воспитать его верным султану, верным Турции, а она воспитала его адыгом, потому что и сама по духу была черкешенкой».

– Я никогда им не прощу!

– Кому? – улыбнувшись в усы, спросил Тлимаф.

– Султану, всей Турции.

– Конечно,– сдерживая смех, продолжил Тлимаф,– если бы твои слова да Аллаху в уши.

«Лаилаху-иллалах, Аллаху Акбар!» – это с минарета призывал правоверных к намазу мулла.

– Прими амдэз[1] и пойдем предстанем в молитве перед Аллахом,– умиротворенно сказал Тлимаф.– Будем надеяться, Он услышит нас – ведь не зря же мы теперь склоняем перед ним свою голову – и осудит злодеяния турецкого султана.

II

Солнце только краешком выглянуло из-за горы, еще совсем заспанным. Всему сущему под небом еще дремать бы и дремать сладкой заревой дремой. И Калакуту, уткнувшемуся носом в пуховую подушку, но в конюшне тревожно и сердито заржал конь, гулко ударил копытом о звонкую землю. «Что случилось?» – досадливо подумал Калакут. Прислушался. Как всегда, ранним утром в кузнице работали соседи – братья Сибок и Ацамук. Веселый разговор молота и молотка с наковальней не тревожили, а даже как-то баюкали, будто колыбельной песней. Через улицу напротив сонно постукивала просорушка.

Но вот конь еще громче, требовательнее заржал, трижды ударил копытом. Выглянул из окна Калакут и увидел закрытые в конюшню ворота, над ними – гривастую голову коня, его сердитые глаза и улыбнулся:

– Понятно, мой красавец. На солнышко, на лужок хочется. Еще бы! Недели три мы с тобой без роздыха гонялись за мерзавцем Ванатугом. Чуть было не настигли, вроде бы его коня уже видели – и опять пусто. А он тем временем снова сотворил свое черное дело – украл у родителей и продал в рабство мерзким торговцам девочку или мальчика. И какая только женщина родила и воспитала этого хромоногого шайтана?! Ничего, ничего, мой красавец, мы настигнем его, обязательно настигнем и полностью рассчитаемся, заставим ответить за мерзостные дела.

Оделся Калакут. Дом этот строил его отец, и вымахавшему в добрую сажень сыну оказался тесноватым и потолком, и особенно низкой дверью, переступая порог которой ему приходилось низко наклонять голову.

[1] А м д э з – омовение.

Вышел на веранду, потянулся, чуть ли не к небу вскидывая руки, а потом, довольный и небом, и солнцем, и дальним лесом, над которым возвышалась белоснежная гора, помолился Аллаху, как это когда-то делал его отец. Так всегда начиналось утро... Мать тем временем кормила кур, ставила на веранду кумган[1] с водой, Дария поливала отцу, и он умывался, весело фыркая, а мать разводила огонь в очаге и готовила завтрак.

Пять лет назад погиб отец, умерла мать. Они остались с сестренкой на всем белом свете вдвоем, но и этого, оказалось, судьбе было мало – одиннадцатилетнюю Дарию украл Ванатуг, и теперь они остались с конем вдвоем – радовались каждому утру, уходили на покой вечером. Жили, как жизнь велит.

Конь положил ему голову на плечо, благодарно всхрапнул.

– Знаю, мой друг, ты хочешь, чтобы я погладил белую звездочку у тебя на лбу, почесал за ухом. Вот так, вот так, мой хороший. И не беспокойся – сейчас мы никуда не поедем. Напою студеною водичкой из колодца, угощу овсецом и потом пущу на лужок – гуляй в свое удовольствие на свободе, лакомься сочной зеленой травкой.

Одиночество, как говорят, не мед, однако же не бывает худа без добра: в семье столько забот разных, а одному-то много ли надо? Съел с лепешкой кусок вяленой телятины, запил водой и сам себе хозяин, сам себе барин.

Покойный отец говаривал: «Никому не завидуй, грех это, да и к добру не приведет».

Хорошо жили его соседи, братья Каншауковы, он завидовал им по-доброму, радовался, что живут они всей семьей в ладу, дружно. Когда к нему в дом приходила беда за бедой, они не оставили его, стали как бы делить их вместе с ним. Старались чаще бывать у него дома, приглашать к себе как желанного гостя. Женщины приносят ему разные вкусные угощения, помогают управляться с домашним хозяйством, а когда он уезжает, все его заботы берут на себя. Вот это и есть одно из проявлений истинного адыгства, братства, считал Калакут.

После завтрака он пошел в кузницу.

– Да поможет вам Аллах в вашем добром деле, соседи! – мягким рокочущим басом поприветствовал он.

[1] К у м г а н – медный сосуд для воды.

– Да поможешь и ты нам делать доброе дело! – ответил Сибок и, улыбнувшись, добавил, подав ему руку: – Ты такой маленький, Калакут, что стал в дверях – и в кузнице сделалось темно.

Ацамук засмеялся шутке старшего брата и тоже поздоровался с соседом за руку, почувствовав ее недюжинную силу.

– Дай-ка мне молот, Сибок, а ты, Ацамук, достань из горна лемех, помогу и я доброму делу.

И загрохотала наковальня под могучими ударами молота, радугой разлетелись искры. Зазвенел, запел молоток Ацамука. И все жарче, веселее!

– Знатный, знатный ты молотобоец, сосед,– похвалил Сибок.– Отменный лемех, настоящий хлеборобский получился.

Разгоряченный Калакут с удовольствием, даже с наслаждением отдышался и потом спросил:

– Послушай, Сибок, ведь ты же старший, да еще и главный зиусхан жанеев[1], а почему молотобойцем у младшего?

– Так все в жизни устроено: наступает время, когда меньший мастер занимает место старшего... Посмотри, посмотри, как он ловко работает, посмотри, какой лемех из-под его молотка гладенький да аккуратненький выходит. И ты, сосед, славно его отделал, спасибо.

– Это вам спасибо, что дали доброе дело для хлеборобского поля сделать.

Ацамук пошел провожать Калакута:

– Ты же вчера, когда слез с коня, сказал, что сильно устал и спать будешь беспробудно целые сутки, а чего же так рано вскочил? Мог бы еще поспать, как следует отдохнуть.

– Грешно спать, когда так весело звонит кузница, когда твой скакун тебя зовет. А у меня есть к тебе просьба: поедем со мной в Трамхабль?

– К Накуре? – понимающе улыбнулся Ацамук.– Что ж, это стоящее и почетное дело. Поеду обязательно. Когда?

– Сегодня. Думаю, надо выехать ближе к вечеру, чтобы в Трамхабль попасть в сумерках. И... не хочу лишних соглядатаев, разговоров. Буду ждать тебя за околицей села.

Распрощавшись с Ацамуком, Калакут отправился к Цикузию. Тот во дворе рубил дрова. Под ударами колуна

[1] Ж а н е и – одно из алыгских племен.

поленья со звоном разлетались в стороны. Он любовался своей ловкостью, силой, с розоватым отливом буковыми поленьями. Залюбовался и Калакут, привалившись грудью к плетню.

Цикузий – худощавый, небольшого роста, с крупным орлиным носом и быстрыми глазами.

– Э, Калакут, ты чего там подпираешь плетень, заходи, гостем будешь... Старший сын мой уехал, а два младших – шалопаи: только бы им шляться по селу, увлекаться дурацкими забавами. Да заходи же ты, Калакут, не бойся, плетень не упадет.

– Нет! Не зайду. Да и вижу, не очень ты рад мне, знаешь ведь, зачем пришел... Говорят, ты промышляешь с хромым Ванатугом? Если не хочешь, чтобы на твою голову камнем беда свалилась, помоги мне найти его мерзостную тропинку, помоги прищемить ему хвост.

Побледнел Цикузий, нервно дернулись его щеки, замутились тревогой черные глаза, плечи испуганно сдвинулись. Казалось, он стал даже ниже ростом, поникнув головой, заговорил с дрожью в голосе:

– Небо тому свидетель, Калакут, я уже больше года не виделся с ним. Ты прав, раза два или три мы ездили вместе, однако скоро понял, какой он грязный, по-звериному жестокий, и отошел от него.– Замолчал Цикузий, стоял, виновато скрестив руки на животе, потупив глаза, потом заговорил совсем упавшим голосом: – Пощади меня, Калакут, если хромой бес узнает – отомстит мне: украдет у меня сына и продаст в рабство.

– Ага! Боишься за своего сына, а что вы сделали с моей сестренкой, поганые ваши морды! – И зашатался, заскрипел плетень.

– Аллах свидетель, Калакут, когда он украл твою сестренку, я уже с ним не имел никаких дел. Я знаю, как тебе больно...

– Довольно! Трус ты несчастный. Но не бойся, я не выдам тебя, при одном условии, что тайком дашь мне знать, как только он где-нибудь появится.

– Да-да, тайком, обязательно!..

С моря потянуло тяжелым прохладным воздухом. «Неужели будет дождь? Небо вроде бы не хмурится – светлое, доброе. Хотя, говорят, дождь в дорогу – хорошо, а без него все ж лучше»,– подумал Калакут о своей поездке в Трамхабль.

Придя домой, он решил немного отдохнуть перед дорогой, лег на кровать, не раздеваясь, заложив руки под затылок.

Думал вздремнуть, а сон не шел. Вместо него пришла и как бы стояла перед ним светлоликая синеглазка Накура. Она ему очень нравилась, не терпелось жениться на ней, но, как говорится, скоро слова сказываются, а дело не торопится. Да и другое: какая девушка, уважающая себя, придерживаясь заповедей материнских, вот так просто выскочит замуж, только помани ее жених. И не каждому жениху понравится такая быстрая.

После всего, что случилось с семьей, он не собирался жениться, душа не лежала, но вот встретилась Накура, и его сердце не выдержало – уж больно хороша она, душевна ее красота, потому и от женихов, наезжающих со всей округи, что называется, ворота не успевают закрывать.

Вот тут, говорил он себе, и подумаешь: а если она откажет? Позора тогда на всю жизнь хватит. Но опять же – кто не стучит, тому не открывают. И еще: если у тебя нет решительности, смелости перед девушкой, тогда надевай платок вместо шапки и сиди тихонько дома.

А чего робеть Калакуту? Или он ростом и плечами не удался, или лицом дурен? Не разбойник и не вор, немало найдется людей, которые знают его как доброго человека, душевного, справедливого. И, конечно же, если надо, он с радостью выйдет в поле, любое дело ему по плечу. А что одинокий, так нет его в том вины, а скорее, беда, горе горькое. Однако тут еще надо сказать Накуре, решил он, что жить с ним будет легко: не придется ей скандалить со стариками или сестрами, другими родственниками.

Лежал-лежал Калакут и, поняв, что вздремнуть не удастся, вышел на луг прогуляться, подошел к своему коню. Конь приветно заржал, тряхнув гривастой шеей.

– Погуляй, погуляй еще, а потом двинемся в путь, ох, по какому важному делу, мой друг, по такому важному, что важнее не придумаешь.

Вернулся во двор, здесь его ожидали красавица Минсура, ее младший брат Камболет, дочь и сын князя Сибока:

– Время обеда уже прошло, а тебя все почему-то нет, вот отец и повелел принести еду к тебе в дом.

– Спасибо, милые, храни вас Аллах. О, там что-то очень вкусно пахнет!

– Это такой душистый соус из телятины, еще мягонькая лепешка, каша пшенная и свежее кислое молоко. Ешь на здоровье.

– Спасибо. Отнесите в дом, поставьте на анэ, я умоюсь и пообедаю.

Раздевшись до пояса, он, весело фыркая, вымылся у колодца холодной водой, потом с аппетитом, как он сказал, забросил в себя еду и, поглядывая в сторону тихого заката – не опоздать бы к Ацамуку,– оседлал коня и отправился за околицу села.

Вскоре из-за плетня показался на буланом и Ацамук. «Красиво сидит, не скачет, а прямо-таки летит»,– по-хорошему позавидовал Калакут и, пришпорив своего коня, бросил его навстречу соседу.

Между Каншаукохаблем и Трамхаблем три-четыре броска, если галопом, но всадники ехали легкой рысью, а когда с проселка выехали на дорогу, Ацамук предложил:

– Пустим коней в галоп, пускай порезвятся.

Лошади, почувствовав свободу, огласили ржанием ближний лесок, грустное закатное небо. Засвистел в ушах всадников тонкий ветерок, вечерняя прохлада обдала их лица. Спустя время они поехали шагом.

– Теперь можно и поговорить,– сказал Калакут,– накинь, Ацамук, лестницу на дорогу.

– Думаю, сосед, тебе это сподручнее.

– Не знаю. Если честно сказать, нехорошо у меня на душе: боюсь, что Накура даст нам от ворот поворот.

– Странно мне слышать, что Калакут кого-то боится. Разве что она колдунья, околдовала тебя? – усмехнулся Ацамук.

– Наверное, и правда – околдовала. И ты знаешь, прямо она, может, и не скажет, а начнет юлить, мол, еще не думала о замужестве, пока никто ей не нужен, так что собирайся и уходи ни с чем.

– Неужели она такая? Не надо об этом думать, свое сердце надрывать. Мы с тобой теперь мусульмане и знаем, что все в руках Аллаха, вот ты и помолись, попроси его, а зря на девушку не греши. И давай о чем-нибудь другом поговорим... Что ты думаешь о предстоящем хасэ? Будто разговор большой будет, ведь многие хотят повернуться на север, искать покровительства у Руси.

– А ты сам что думаешь о них?

– Я что? У меня есть старший брат. Он говорит: сначала пусть царь Руси покажет свою доброту к нам, а уж потом можно говорить о дружбе с ним. Ведь никто из нас там не бывал, никаких дел с ним не имел, значит, и знать его не знаем, а идти к незнакомому с распростертыми объятиями, довериться ему неразумно.

– Но ты, наверное, слышал о Мстиславе, который в нечестной схватке поборол нашего князя Рэдэда? Сильным был тот урус – на голову разбил хазар, освободил от них адыгов, правда, стал облагать их данью.

– Думаю, то было другое время, а значит, и люди другие.

– Правда твоя, Ацамук.

Калакут был человеком немногословным, больше любил слушать и размышлять над услышанным, а если говорил, то слова его были неторопливыми и весомыми, как и весь он сам, как его твердые и решительные шаги. Вот и сегодня, когда ехал с Ацамуком, долго молчал, слушая князя, потом наконец заговорил и сам, пытаясь получить ответ от него на интересовавший вопрос:

– Видишь ли, зиусхан, я так думаю: мальчик, как только родился на свет белый, с первого своего шага идет к тому, чтобы встретить подругу жизни и растить с нею себе подобных. А ты что-то медлишь и медлишь, как бы не пропала твоя мужская сила.

Ацамук рассмеялся:

– Не пропадет. Вон в соседнем селении восьмидесятилетний родил двойню мальчишек.

– Все равно, зиусхан, лучше впереди скакать, чем догонять ушедшее.

– Верно, но дай мне погулять вольному, без семейного хомута.

– Гуляй, гуляй. Только лишнего не ухвати, а то за него не расплатишься,– усмехнулся Калакут.

С бугорка показался Трамхабль. Всадники перешли с рыси на шаг, степенно въезжая в село. Вот и дом Тлимафа, от ворот им навстречу ехали три всадника. Двое молодых парней, посередине мужчина постарше. Они молча легонько поклонились и поехали своей дорогой.

– Эти тоже, наверное, приезжали со сватовством,– улыбнулся Ацамук и тут же подбодрил своего друга: – Ты не расстраивайся, ведь не зря говорят: не дай Аллах иметь женою ту, у которой не было много женихов.

Старик Тлимаф, дед Накуры, увидев в окно двух новых всадников, очень рассердился: «И чего их прорвало, прямо на пятки наступают друг другу. Видишь ли, Накуру уже считают невестой, а она еще по сути ребенок. Дайте ей хоть окрепнуть. Правда, ее ровесница из наших соседей уже замужем. Только не годится это, не годится. Яблоко должно не только зарумяниться, но и силу набрать, созреть. Нет моей старухи, ушла раньше времени, теперь некому за внучкой присмотреть, ее мать еще сама молодая, мало что понимающая в жизни».

Гости тем временем зашли в девичью. Ацамук сидел на диванчике так, будто был очень важным, почетным гостем, а Калакут сильно робел – не знал, куда деть руки, как приличнее сесть, и очень этим расстраивал Ацамука. Неторопливо, но с мягким достоинством вошла Накура с братишкой Чечаном, поприветствовала поднявшихся ей навстречу гостей, знаком руки пригласила сесть.

Ацамук, победно глядя на девушку, откашлялся для солидности и заговорил:

– Мы слышали, что на крышу вашего счастливого дома упал ясный полумесяц, вот мы и приехали,– выпрямился он, мол, смотри, какие два молодца перед тобою.– Что ты нам скажешь по этому поводу, Накура, слушаем тебя внимательно.

Она пожала плечиками и, не поднимая глаз, с легким волнением в голосе ответила:

– Не лучше ли подождать, когда ясный месяц станет полным?

– Говорят,– негромким басом сказал Калакут, немножко помолчав и потом продолжил: неспелая слива горька, но и переспелая, прокисшая тоже никуда не годится.

– Приезжайте, когда она будет в нужной поре,– совсем тихим голосом ответила Накура, все так же не поднимая глаз.

– А как узнать ту пору, не будешь же каждый день пробовать на зуб,– повеселел, разговорившись, Ацамук.

– Ну зачем же так? – возразил Калакут.– Она ж у всех на виду, сразу всем видно, что уже поспела.

– Правда твоя,– подняла голову Накура и глянула на Калакута.– Но еще и месяц неполный, и слива не поспела.

– Чечан,– резво вмешался в разговор Ацамук,– умираю как пить хочу.

Мальчишка вышел, оставив дверь открытой. Все весело засмеялись. В комнате как бы потеплело.

– Славный у тебя брат – остроглазый, сообразительный. И имя звучное. Вырастет – настоящим мужчиной будет,– совсем осмелел Калакут.

– Спасибо,– кивнула Накура.– Я угадываю в Чечане нашего дедушку,– смягчилась и она.– Но жизнь такая трудная, не знаешь, какой стороной к тебе обернется.

– Верно,– поддержал ее Ацамук.– Счастье и радость – редкие гости в нашей жизни. Мой друг, который сидит перед тобой, такой большой, такой сильный, а сердцем чуткий да ранимый. Ты знаешь, зачем он приехал. Только ты можешь указать ему дорогу к счастью.

– Скажи своему другу, Ацамук, пусть он крепко держит свое горячее сердце в сильных и, кажется, добрых руках... У меня тоже есть сердце, и если открывать его перед каждым женихом, оно может погибнуть. Если Калакуту не терпится, скажи, пусть не ждет меня.

– Не тороплю я тебя,– оживился Калакут, и его глаза загорелись надеждой и радостью.– Буду столько ждать тебя, сколько нужно твоему сердцу, пока сама не скажешь.

– Если мы поняли друг друга,– сказала Накура,– расстанемся на этом. Девушки не любят, когда у них долго засиживаются. Мой дедушка сердится и ворчит: «Если бы они еще немного посидели, я велел бы им разобрать постель».

Вошел Чечан и протянул Ацамуку кружку с водой...

III

Трамхабль раскинулся дугою вдоль леса на отшибе больших дорог, поэтому все, что происходит в подлунном мире, доходит сюда с опозданием. А в селе последним обо всем узнает Зазий, и это было его второе после Цирацы, как он считал, несчастье.

Вот и сегодня – время торопилось к полудню, когда к верхней части села потянулись вооруженные всадники, а Зазий не знал, что же случилось, откуда взялась тревога.

Вывел он коня, стал седлать, и тут на крыльце появилась Цираца, покрытая цветастым платком:

– И что тебе, бездельнику в штанах, дома не сидится, куда опять собрался?

– Ы-ы! Как ты смеешь так разговаривать со мною, твоим хозяином!

– Тоже мне – хозяин! Тебе лишь бы языком молоть или в седле болтаться!

– Ах, ты бесстыдница в платке! Я заткну сейчас твой поганый рот! – И он, угрожающе согнув плечи, с кнутом направился к крыльцу.

– Да, да, тебе только и воевать с немощной старухой!

В это время у ворот показались Тлимаф с сыном Дзагаштом. Увидев их, Цираца обрадованно возопила:

– Вот они, настоящие мужчины, истинные молодцы! Милости просим!

Увидел всадников и Зазий:

– Сейчас я, быстренько... и присоединюсь к вам.

– Дзагашт, помоги Зазию сесть в седло,– велел отец. Поднявшись на коня, Зазий старался выглядеть воином и грозно потребовал от жены:

– Подай мне боевой меч. Да не так! Боевое оружие подают только двумя руками. Вот так. Да не бойся ты коня!.. Ну, ну, молодец. И знай, когда мужчина уезжает из дома с оружием, неизвестно, вернется ли он живым назад. Оставайся с Аллахом и жди.

Цираца проворно открыла ворота и проводила мужа, наклонив ему вслед покрытую голову. Поклонилась и Тлимафу с сыном.

Всадники ехали некоторое время молча. Зазий сгорал от нетерпения узнать, куда и зачем его ведет Тлимаф, но спрашивать об этом нельзя – такой обычай предков. И чтобы хоть что-нибудь сказать, только не мучить себя молчанием, он обратился к Дзагашту:

– Почему едешь сзади? Становись рядом с нами, как полагается, справа.

– Я на своем месте, Зазий,– ответил Дзагашт.

– Э-э, нехорошо, Тлимаф, ты своего сына будто сосунка какого назад отбросил, э-э, нехорошо!

– Ты же знаешь, достопочтенный Зазий, что ему еще рано ехать рядом с отцом, тем более в твоем присутствии.

Не беспокойся, я своего сына не дам в обиду, ведь не зря говорится: корова своего теленка не забодает.

– Во-о-ви, уважаемый тхаматэ! – не сдерживаясь, воскликнул Зазий.– Если б ты знал, как я устал от такого твоего адыгства. От него никакой пользы.

– Думаю, дорогой сосед,– удрученно заметил Тлимаф,– если только в этом ты видишь свое адыгство – грустно и больно мне, что мы теряем еще одного адыга, хотя нас и так мало. Мы с тобой об этом уже много раз говорили, похоже, и твоя жизнь, и мои слова, и слова наших отцов тебе мало помогают. А ведь жалко, очень жалко терять каждого адыга.

– Ну, не так уж нас и мало,– попытался повернуть разговор Зазий.

– Согласен, но если бы мы могли числом сравняться с Турцией или Русью!

– Не обессудьте,– неожиданно вступил в разговор Дзагашт,– это Турция, Русь, а что такое Крым?

– Это вопрос к тебе, Тлимаф, я тут мелко плаваю.

– А что я-то могу рассказать как о Турции, так и о Крыме, о народах, которые там живут, ведь они приходили к нам только грабить, убивать нас, разорять наши дома. Мы видели их только врагами, людьми, одержимыми злом, но и среди турок и татар есть добрые люди, которые также молятся Аллаху, как и мы, теми же мусульманскими молитвами.

Из ущелья вырвался озорной вольный ветер, взъерошил, растрепал гривы и хвосты коней, рванул полы черкесок и помчался дальше своею дорогой.

Лошади, взбодренные свежестью ветра, охотно перешли на веселую рысь. Зазий, ощутив упругую силу ветра, подумал: «Как ему хорошо, у него вольная волюшка, никто ему не указ, никакие обычаи. Захочет – рванется и взлетит до самой высокой, укрытой снегом вершины, захочет – поднимет говор дубов и ясеней в лесу, поднимет стада волн и вместе с ними – по простору, по простору! А тут – того нельзя, этого нельзя. Люди сами себе все эти путы навыдумывали, без которых, говорят, жить нельзя. Неправда это, неправда! А если и правда, то очень она горька, где же радость ее? Вот взять хотя бы моего соседа Тлимафа. Он все меня упрекает, что я на два года моложе, а сажусь на бревне справа от него. Но куда же девается его адыгство,

когда приходит к нему в гости князь, и он сажает его на почетное место, справа от себя, хотя тот в сыновья ему годится? Адыгство, адыгство, но где оно святое, если все племена адыгов разбрелись по всему Северному Кавказу, отгородились друг от друга, до вражды иногда доходит, не хуже татар бьем друг друга. Где же тут истинное мужество, чистота мужская? Может, правда тут есть, когда говорят, что большинство из нас только похожи на мужчин, а настоящих по пальцам можно сосчитать».

– Тлимаф, добрый человек, ты не говоришь, а я не спрошу, куда мы едем.

– Правильно сделаешь, что не спросишь, если с приходом старости не ушло твое мужество. Так говорят мудрые люди.

Зажгли эти слова – да еще сказанные при Дзагаште – боль в сердце Зазия. Вернее, не боль, а взыграло в нем мужское самолюбие, уважение к себе взыграло, что-то от молодости проснулось в нем. Надвинув покрепче шапку на уши, чтобы не снесло, он поднял коня на дыбы и пустил в галоп.

– Если ты мужчина, Тлимаф, догони меня!

В лихом бесчувствии проскакал некоторое время, припав к гриве коня, Зазий понял, что за ним никто не скачет, и оскорбился до самой глубины души, а еще понял: не надо бы этого делать, совсем не надо – что-то неловкое, совсем неловкое произошло.

Остановился он, спешился и стал возиться с седлом, с подпругой, будто из-за них ему пришлось остановиться. Возился и думал, что так поступить, звать старшего наперегонки не годится солидному мужчине. «Нехорошо, даже стыдно». Поправив шапку, кинжал, виновато вогнув голову, Зазий ждал: вот сейчас подъедет Тлимаф и при Дзагаште отчитает его, старика, как мальчишку. Хоть и был Тлимаф всего на два года старше, но имел такое право по законам адыгства.

Не отчитал Тлимаф, даже словом не обмолвился, будто ничего и не произошло. Они просто долго ехали молча, наслаждаясь добрым утром, тихим голубым небом, заливистыми трелями жаворонков.

Так уж был устроен Зазий, начал опять:

– Если мы будем двигаться ни шатко ни валко, думаю, встретимся с теми, кто уже едет оттуда.

– Пожалуй, ты прав,– раздумчиво ответил ему Тлимаф,– недаром пустил своего коня в галоп, но почему остановился – не пойму.

– Я тут ни при чем,– горестно усмехнулся Зазий,– просто конь оказался умнее и остановился.

Тлимаф, огладив седеющую бородку и усы, весело рассмеялся:

– Слава Аллаху, что хоть кто-то тебя делает умнее.

– Слава, слава! – тоже весело воскликнул Зазий.– Ты, дорогой мой сосед, охотясь за мной, сам попался в мои сети.

– О чем ты? Я не знаю за собой никакой вины, Аллах– свидетель тому: не сделал тебе ничего плохого.

– Мой мудрейший среди мудрых сосед! – победно возвысил свой тонкий голос Зазий.– Я хоть и моложе тебя всего на два года, но ты отчитал меня перед своим сыном, как мальчишку. А?!

– Прости меня, пожалуйста, прости. Что делать – конь о четырех ногах и то спотыкается, а у меня-то всего две.

На холме в сторону моря показались всадники.

– Ну вот! – воскликнул Зазий.– Как я и говорил: они уже возвращаются оттуда, куда направляемся мы.

– Нет,– твердо возразил Тлимаф.– Судя по посадке, это кабардинские адыги. Дзагашт, поезжай им навстречу, посмотрим, как они поведут себя, что это за люди.

– А если это ногаи[1]? – подумал вслух Зазий.

– Посмотрим. Поезжай, Дзагашт. Если они вышлют вперед всадника, значит, адыги. И потом, когда мы тронемся к ним, они тоже пойдут нам навстречу.

– Но у ногаев тоже такой обычай.

– Они недавно переняли у нас. Поезжай, Дзагашт... Вот видишь, они выслали двух всадников передовых и сами пошли следом за ним. Неторопливо трогаемся и мы. Спокойно, с достоинством.

Встретились. Стали по обеим сторонам дороги, как полагается при встрече дружественных всадников.

Это были кабардинские адыги. По возрасту они в сыновья годились Тлимафу и Зазию. Их старший приветственно поднял руку:

– Доброго вам пути, уважаемые старшие.

[1] Н о г а и – так адыги называют татар.

– Вам тоже счастливого пути,– ответил им Тлимаф.– Милости просим, будьте гостями Трамхабля, что недалеко за этим холмом, будем рады вас встретить в своем селении.

Старший из встречных, мужчина лет сорока в княжеской одежде и с княжескими доспехами, привстал в стременах:

– Во алейкум салам, пусть наш приезд принесет в ваше селение счастье! Я князь Пшиапшоко, а это мои спутники. Мы из Крыма возвращаемся в Кабарду и будем рады выполнить поручение, данное нам в Крыму, повидать Зазия, сына Бырсыра.

– Что?! – так вскрикнул Зазий от неожиданности и удивления, что даже конь вздрогнул, вскинув гриву.– Какое еще у крымчан ко мне дело, ведь они совсем не знают меня, как и я их!

– Уважаемый зиусхан Пшиапшоко, перед тобою и есть нужный тебе Зазий, сын Бырсыра. Но не будем же мы говорить о делах прямо на дороге. Милости просим, гости дорогие, к нам в село, к нашему гостевому столу.

– Валлахи-биллахи, счастливый тхаматэ, но вы в пути и, конечно, вас ждет важное дело, и мы не смеем становиться поперек вашей дороги. Да и нам предстоит дальний путь,– сказал князь Пшиапшоко.– Пожелаем друг другу удачи.

– Нет-нет, так не годится! – решительно возразил Тлимаф.– Мы едем на жанеевское хасэ[1]...

– Да! – растерянно воскликнул Зазий: ему не терпелось узнать, какое к нему дело у гостей, и на хасэ как же не побывать. Как тут быть?!

– Думаю,– между тем продолжал Тлимаф,– поедет от нас на хасэ Дзагашт. Вернется и все нам потом расскажет.

– Но там и ты нужен, и твой мудрый ум,– торопливо возразил Зазий, не желая, чтобы о его деле сообщили в присутствии Тлимафа.– А гости тем временем отдохнут у нас, выполнят поручение. Ты поезжай, обязательно поезжай, Тлимаф.

Князю Пшиапшоку очень хотелось узнать, что будет на хасэ. Поразмыслив, он предложил:

– Я думаю, пусть едет Дзагашт, а с ним и мой байкол[2] Тавташ, а мы проведем время у вас в Трамхабле, выполним просьбу крымчан.

[1] Х а с э – народное собрание.

[2] Б а й к о л – телохранитель князя.

IV

Жанеевское хасэ расположилось на просторной поляне между лесистых холмов так близко к морю, что гул его прибоя хорошо был здесь слышен и напоминал людям о вечности.

Стояла пора летнего зноя. Солнце казалось уставшим от своей ярости, небо было пепельно выгоревшим, а небольшие линяло-белые облачка, одинокими и печальными. Привяли листья на липах и кленах, высокая, по брюхо коню, трава начала на припеках желтеть.

Влажный воздух был парным, и людям тяжело дышалось. Маялись кони, отбиваясь от слепней, оводов и мух, размахивали тяжелыми, уставшими головами, хлестали себя хвостами, сердито били землю копытами.

Примолкли в лесу птицы, спрятавшись в тени. И ни ветерка, ни дуновения. Только прохладный ручеек, выбившись из-под валуна на пригорке, бежал вприпрыжку между камешков к морю, вызванивал веселую песенку и радовался скорому свиданию с морской волной, радовался, когда люди, припадая к нему, пили, ахая и охая от удовольствия.

Пеших и конных людей на поляне, на холмах было, пожалуй, не меньше, чем деревьев в лесу, и шумели они так же, как шумит лес в ветреную погоду.

В кругу на середине стояли князья, уорки, тфокотли. Там говорили речи, их пересказывали людям на пригорках и дальних краях поляны конные звонкоголосые глашатаи.

Поближе к середине подъехали и Дзагашт с Тавташем.

Выходили один за другим ораторы и говорили, говорили, спорили друг с другом, размахивая руками, а то и мечами.

Тавташ наклонился к Дзагашту и негромко сказал:

– Удивительные люди эти жанеи. Они будто не знают, что, не удержавшись за гриву коня, и за хвост не удержишься. Что они грозят Турции, Крыму? Или забыли, как те расправлялись с ними, будто за уши таскали их, а теперь что будет? Можно подумать, что Турция и Крым теперь уже совсем ослабли, захирели, а жанеи очень сильными стали!

Очень удивился сказанному Дзагашт и неуверенно возразил:

– Но ведь они убили нашего племянника. Оскорбили всех нас, унизили.

– Да, но приказал его убить собственный отец. По этому спорному поводу ввязываться в войну с целой страной, мне кажется, просто неразумно... Подожди-подожди... этот человек что-то говорит о Московии, о Руси говорит.

– Послушай, Дзагашт, твой спутник приехал сюда, чтобы посмеяться над нами? – спросил могучего склада мужчина с черной бородой и пышными усами.– Он, кажется, кабардинский адыг?

– Верно, Калакут, это мой гость, он из Кабарды.

– Я понял тебя, Дзагашт. Послушаем, что там говорит этот толстый коротышка.

– Я внимательно выслушал Ацамука,– зачем-то угрожающе потрясая над головой сложенной вдвое плетью, насмешливо сказал коротышка.– Он сам себя и выдал, не зная, куда, в какую сторону ему податься. Князь Сибок, я глубоко уважаю твой крепкий и мудрый ум, преклоняюсь перед твоим мужеством, но совершенно не согласен с твоим младшим братом Ацамуком. Мы хорошо знаем, как долго вы водили нас за руку, будто малых детей. Вы советовали нам обратить свое внимание на Крымское ханство, довериться ему, надеяться на его доброту. Потом вы повернули нас к Турции, мы так вам и ей верили, что оставили богов своих предков и приняли ислам, мы отдавали им в жены своих дочерей, но ногаи не только просто растоптали нашу доброту, осквернили нашу родственность – они грабили нас, разоряли наши жилища, убивали. То же самое было с турками, а теперь Ацамук поворачивает нас к Руси, чтобы пройти тот же самый путь унижений и оскорблений, что с турками и ногаями. Зачем, зачем?! Чтобы еще и они возвысились над нами, над нашей землей и нашей верой? Нет, нет и нет! Не быть этому! Не пора ли нам понять, что мы не просто жанеи, бжедуги, темиргои, кабардинцы, беслинеи, а великий народ – адыги. Но только в том случае великий, если забудем распри между племенами, если станем под одним мечом, объединим все свои силы против наших недругов, наших врагов!

– Ах, какой прекрасный человек, как умно говорит! – восхитился Тавташ.– Откуда он, как зовут его?

– Смотрю я на тебя, гость,– угрожающе глянул на него из-под папахи Калакут,– и думаю: ты – такой же

словоохотливый, как тот хромоногий коротышка. Счастье твое, что ты гость славного Тлимафа, отца Дзагашта. Я сейчас поеду поговорю с тем мерзким болтуном, а потом вернусь и скажу тебе, как его зовут.

Калакут с легкостью бросил свое грузное тело в седло и, раздвигая грудью коня стоящих впереди пеших и конных, подъехал к говорившему, с высоты своей придавив его взглядом. Тот узнал всадника и пригнулся, будто под ударом плетки.

– Ты ли, хромой Ванатуг, достоин осуждать Сибока и Ацамука, чванливо рассуждать об адыгских делах! – с этими словами Калакут нагнулся, схватил коротышку и бросил его перед собою поперек седла.– Давно я охочусь за тобой, и вот ты сам попался мне в руки. Теперь я разделаюсь с тобой, как с паршивой овцой!

Подошел седобородый Сибок и, гневно глядя из-под нависших черных бровей на Калакута, резко произнес:

– Себя ты можешь позорить своей глупостью, но позорить хасэ мы не позволим. Да, обидел тебя Ванатуг, твою сестру, ну и рассчитывайся с ним, как велит обычай, по-мужски, но не при народном собрании. Если ты приехал, чтобы сказать и свое слово о нашем важном деле, говори, но не смей мешать никому другому сделать это. Пусть и Ванатуг скажет все, что хочет сказать нам.

Одобрительно и как-то угрожающе загудело хасэ.

– Ты прав, Сибок, я винюсь за свой поступок и перед тобою, и перед всем хасэ,– с этими словами он сбросил с седла хромоногого.– Только сказать этот говорун уже ничего не сможет – у него мокрые штаны от страха.

Ванатуг схватился было за кинжал, но ножны оказались пустыми. И он будто ужом прополз между пешими и конными. В круге остался один князь Сибок. Вскинул он руку, требуя тишины. Гул, разостлавшись над поляной, поднялся к лесу, ушел в море.

– Чем податливее мы были по отношению к Турции и Крыму, чем с большим почтением и уважением относились к ним, тем все больше наглели они. Их уже не устраивает наша дань, как было раньше, теперь они требуют еще и девушек-красавиц, наших ловких и сильных юношей. Мы не можем, не должны больше этого терпеть...

Со скамейки поднялся худощавый сутулый старик с длинной белой бородой, вышел в круг:

– Зиусхан Сибок, уважаемый, не обессудь, что прерываю, я намного старше тебя, помню тот день, когда ты родился, помню радость, что посетила не только дом твоих родителей, но и все наше село. А как же – родился наследник знаменитого княжеского рода адыгов!.. Скажи, разве они не будут творить с нами то, что творят турки и ногаи? Ты разве забыл, как они поступили с семьей касожского зиусхана Рэдэда? Это было, по-моему, еще во времена моего прапрадеда.

– Не забыл, уважаемый, не забыл, как предательски был убит наш великий князь Рэдэда, а семья его была отдана в рабство, однако тут надо сказать: этот зиусхан Мстислав взрастил сыновей Рэдэда наравне со своими и воспитал достойными людьми. И еще хочу сказать, уважаемый тхаматэ, я не знаю, чтобы страна урусов облагала кого-нибудь данью, требовала в рабство девочек и мальчиков. Я думаю, если хотим остаться адыгами, на древней земле отцов, нам надо искать покровительство у могучего северного соседа. Мы не первыми обратимся за доброй помощью к ним. В прошлом году беслинеи со своим зиусханом Машуком Каноком уже вели переговоры с царем Иваном. Он обещал свое доброе предрасположение. Вы слышали сегодня от абазинского зиусхана Дударука о желании беслинеев и абазин тоже обратиться к нему. Я жду вашего решения, адыги! Как скажет жанеевское хасэ, так и будет!

Взметнулся к небу гул, понесся в лес, на морские волны. Взметнулся к яркому солнцу блеск сотен обнаженных кинжалов.

– Быть по-твоему, зиусхан!

– Такова воля хасэ!

Улеглась буря сердец, князь Сибок вскинул руку:

– Я доволен вами, да возблагодарит вас Аллах. А теперь совершим омовение, предстанем пред Аллахом и попросим Его, чтобы помог благополучно свершиться нашему делу.

Дзагашт и Тавташ, возвращаясь с хасэ лесом, услышали за кустами шиповника голоса.

– Ты почему не ешь, хромой? Так обиделся, что и есть не хочешь?

– Ты меня так опозорил на хасэ, что мне лучше умереть, чем жить после этого,– ответил хромой Ванатуг.– Один

удар твоего кинжала – и ты уймешь свою ненависть, успокоится твое сердце. Убей меня.

– Посмотрите, как он заботится о моем сердце, посмотрите! Нет, мерзость поганая, так просто со мной не расплатишься. Один мой удар – слишком для тебя мало. Я много твоих дней превращу в ад!

Услышав топот лошадей, Ванатуг закричал:

– Меня убивают, помогите!

Калакут увидел всадников, появившихся из-за куста.

– А-а, добрые мои знакомцы! Вон на кого он надеется. Не выйдет... Будьте моими гостями. Тавташ, я обещал тебе назвать имя толстопузого кабана. Это хромой Ванатуг. По всей адыгской земле не найдешь селения, где бы он не крал детей и не продавал их в рабство. Хочешь, гость, я отдам его тебе, чтобы ты в Кабарде пахал на нем землю вместо быка?

– Не надо, у нас самих такого дерьма хватает.

– Пожалуй, верно... Он хочет, чтобы я его просто убил. Не дождется такой радости. Я привяжу его к седлу и повезу по селениям, пусть каждый, кому он сделал зло, проткнет его кончиком кинжала, и когда станет совсем истекать кровью, я подлечу его, откормлю и бесплатно отдам в рабство ногаю или турку... Спускайтесь с седла, дорогие гости. Я заставлю его рассказать, как он продал мою бедную сестренку в Крым, заставлю пить собственную кровь. Он возит в мешочке сухую еду. Этой колючей мукой я набью его глотку и заставлю запивать собственной кровью.

– Поступай с ним так, как велит тебе твоя совесть,– сказал Дзагашт,– а мы очень торопимся.

Они тронулись. Долго в раздумье ехали молча, потом Тавташ проговорил:

– Я видел в Крыму, при дворе Давлет-Гирея, адыга, не менее бесчеловечного, чем Ванатуг.

– Уж не Мамием ли его зовут? – придержал коня Дзагашт.

– Да. Он сын одного из стариков, который был с вами. По этому поводу мы и приехали в Трамхабль. У меня к тебе просьба: не надо ничего говорить зиусхану Пшиапшоку о том, что я сказал тебе о Мамие, с которым он очень сдружился. Может, потому сдружился, что у зиусхана ногайский зять. А ногаи вообще жестокие люди. Думаю, жестокость у них оттого, что пьют живую лошадиную кровь.

Дзагашт тронул коня:

– Позволь мне, дорогой гость, возразить тебе: мы возьмем грех на душу, если скажем, что все ногаи, творение Аллаха, жестоки. Есть, есть и среди них добрые люди, правоверные мусульмане.

V

В доме Зазия шел, как говорится, пир горой. Повидаться с гостями из Кабарды, разделить с ними гостевой стол собрались со всего села. Стол ломился от яств – вареные и жареные индейки, бараньи бока, исходящие ароматом чесночной соли и других специй, четлибж с мамалыгой, копченый сыр, медок и буза в кувшинах.

Тлимаф играл на шичепшине[1] и пел горестную песню, в которой рассказывалось о бедах, постигших адыгов, о жестоких врагах, напавших на их тихую, добрую и гостеприимную землю, на радость ее полей, лугов, белоснежных гор и чистого неба.

Ну и что ж, что горестная песня, зато с нею в дом Зазия пришло счастье, вечно обходившее стороной, будто и не видело его дома, его светлых окон и гостеприимно распахнутых дверей. Он отбивал ногою такты песни и готов был выйти в круг и сплясать, показать гостям свою радость, ведь песня песней, а радость радостью. Выскочил бы, сплясал так, чтобы небу стало жарко, да нельзя! Осудят. Вот и терпел, повторяя за Тлимафом горькие слова.

Время подходило к полночи, а гости расходиться и не собирались. Как же расходиться, когда стол полон яств, хмельной бузы, когда столько мужчин, а приехавшие из Кабарды еще сидят на почетных местах.

Слушали песню Тлимафа, вели неторопливый достойный разговор о разных разностях, улыбались, покачивая в меру захмелевшими головами.

Полнощекий, раскрасневшийся князь Пшиапшоко, потягивая из тяжелой глиняной кружки крепкую душистую бузу, испытующе глянул на своего байкола Дадайкана. Тот ответил ему своим взглядом: мол, не беспокойся, ты же знаешь – я не хмелею, если так надо.

[1] Ш и ч е п ш и н – музыкальный инструмент, подобный скрипке.

Зазий не сразу понял, что оказался в двояком положении. С одной стороны – он счастлив! Не только объявился его сын Мамий, пропавший несколько лет назад, но и прислал родителям столько золота, серебра, разных драгоценностей, что теперь можно купить самого хорошего коня, дорогое седло, лучшее оружие. Только вот прислал ему Мамий нарядный серебряный пояс, а матери ничего не прислал. Хотя она и зловредная старуха, но все же мать ему: мог бы перед людьми, как того требует обычай, осчастливить ее. Правда, она не очень обиделась: не до этого было – столько добра привалило! Побыстрее сгребла все и унесла к себе в комнату.

Под звуки шичепшина, надрывая гостям сердца, Тлимаф пел о том, как напали крымчане на селение адыгов, как разорили их дома, увезли их детей в рабство, а ведь Мамий состоит на высокой службе у крымского хана Давлет-Гирея...

«Ну хватит, хватит, Тлимаф! Или ты забыл, что мы с тобою старые друзья? Почему не хочешь понять меня, такого же отца своих детей, как и ты, как каждый мужчина?»

Только не услышал Тлимаф, не понял. И тогда гнев возгорелся в сухой груди Зазия: «Подожди же, подожди, Тлимаф! Время так многолико, как и сама земля с морями, горами, лесами и полями. Может, еще случиться, что оно посадит меня выше Пшиапшоко, Сибока, Ацамука и других князей. Что ты мне скажешь тогда, Тлимаф, за мою нынешнюю боль? Будет, будет так, ведь не зря говорится, что спицы колеса по очереди ступают и оставляют свой след на земле... О Аллах, услышь меня, помоги мне во имя Твое!»

– Валлахи-биллахи, Тлимаф, ты не оставил живого места на крымском хане! – сказал князь Пшиапшоко.

– А заодно и на турецком султане! – живо вставил свое слово Зазий.– Вот только не знаю, как они ответят на эту обиду, не станут ли еще злее.

– Больше, чем они принесли нам бед, и придумать невозможно,– покачав головой, ответил Тлимаф.– Да и песня эта горестная сложена еще нашими отцами и дедами.

– Правда, правда,– нашелся Зазий,– песня о стародавних временах.

– О страшных, многострадальных временах нашего народа,– поддержал Зазия князь Пшиапшоко.

– Можно подумать, что сегодня мы живем припеваючи, что никто и ничто нам уже не грозит,– послышалось с дальнего конца стола.

– Конечно, конечно,– согласился князь, подумав про себя: «А народец тут такой...» И продолжил: – Во многом мы сами виноваты. Не умеем дружно, по-братски, единой семьей жить на своей земле, этим и пользуются наши недруги. Одни из нас ищут помощи у турок, другие – у крымчаков, третьи – у урусов. Пошли нелады не только между племенами, но и внутри племен. Иногда случается – брат убивает брата... Дадайкан, что там? – вдруг встревоженно спросил князь.

– Мне показалось, тень какая-то промелькнула за окном.

– Верно,– засмеялся Зазий.– Это моя старуха имеет привычку подглядывать. Пойду приструню ее... Чего ты тут торчишь, бестолковая! Будто ведьма в темноте.

Цираца засмеялась:

– Люди говорят: так долго сидят только старухи-сплетницы, вот я и жду, когда вспомните, что вы мужчины, хочу спросить у гостей, съевших двух баранов, несколько индеек и кур, как живет там мой сын. Женился он или нет. Я не хочу, чтобы он взял в жены какую-нибудь ногайку, испортил наш род, даже подумать об этом мне страшно.

Зазий засмеялся в кулак:

– С каких это пор, болтунья, ты стала заботиться о нашем роде?

– С тех самых, как родила сына, твоего наследника, и не позволю ему жениться на ком попало. Это мое право матери от самого Аллаха!

– Ладно, ладно, успокойся. Спасибо тебе хоть на этом добром твоем слове. А наши гости отправятся в путь на рассвете. Они ждут возвращения своего спутника, что в дороге с Дзагаштом. Так что тебе еще придется готовить стол.

– Еще чего, обойдутся и так! – Цираца вскинула руки. У нее из подмышки выскользнул серебряный пояс.

– Э! Ты чего его таскаешь, места ему дома нет, что ли? – удивился Зазий.

– Ага! Вон сколько соседок-стряпух вчера в доме у нас перебывало, того и гляди, уволокут!

– Так ты бы лучше подпоясалась.

– Уй, и правда! – обрадованно воскликнула Цираца.– Хоть раз в жизни похожу при мужском да еще серебряном поясе! А ты, старик, иди и не перечь им, не выделяйся, у нас теперь все есть. Главное, не унижайся перед Тлимафом. Заодно скажи ему, пусть барана даст, если придется еще готовить стол. А может, он гостей к себе пригласит?

– Ты что?! – возмутился Зазий.– Или не знаешь – гость не меняет хозяина. Э! Едет кто-то, должно быть, Дзагашт со своим спутником.

В гостиной, куда вернулся Зазий, говорил Пшиапшоко. Говорил так, будто перед ним было хасэ.

– На громадной богатейшей земле от Каспийского моря до Азовского, от самой высокой горы Кавказа и до просторов Руси может свободно разместиться государство не меньшее, чем Турция. И на этих просторах вместе с другими народностями живет самый многочисленный народ – адыги, которые могли бы здесь составить главную силу, но их зиусханы, мелкие и крупные, заняты только самими собой. Каждый из них считает себя первым. Вот и получается: у нас с вами только первые, а последних как бы и нет. Получается – есть предводители, а кем руководить, тех нет. Но если бы это были только зиусханы, а то ведь каждое племя считает единственно себя достойным главенствующей роли. Племен и родов у нас столько, что не хватит пальцев на обеих руках, и все они растопырены в разные стороны, и недруги наши ломают их поодиночке, каждого, будто малую хрупкую тростинку. Но если бы сжать в два кулака эти пальцы, тогда попробуй подступись к нам хоть крымский хан, хоть турецкий султан, хоть сам шайтан, мы любому сумеем дать достойный отпор.

– Прости меня, гость, что перебиваю,– поглаживая седые усы и бороду, улыбнулся Тлимаф.– Если бы лишь племена и роды только нашей многострадальной земли. Но ведь наших единокровных адыгов много живет в Турции, в Крыму...

– Верно, Тлимаф, верно! Наших, единокровных! – воодушевленно поддержал соседа Зазий.

Тлимаф предостерегающе поднял руку:

– Живут они там, забывая родину, а некоторые даже говорить не умеют на языке своих отцов.

Нахмурился Зазий.

– А все потому, что нет у нас единокровного, духовного родства, виноваты в этом мы все и в первую голову – наши предводители. Особенно мелкие. Они наиболее заносчивы и строптивы...

«Этот плотненький старик с небольшими, но будто выкованными кулачками, лежащими на столе перед ним, простолюдин, но он мудрее иных князей, его хоть сейчас ставь княжеским предводителем – справится, не оплошает. А не любит, не любит всех нас, князей. Да и есть, конечно, за что».

– Да, Тлимаф, уважаемый тхаматэ,– заговорил Пшиапшоко,– из всего сказанного тобою слова не выбросишь– каждое на месте и крепко стоит. Наша гибель гнездится в мелких сельских зиусханишках, это верно. Крым тоже жил вразброд, как мы теперь, а когда избрали верховного хана, остальные притихли или переехали к бжедугам, беслинеям под видом аталыков и под другими предлогами. И Крым стал таким, каким мы его сегодня знаем. Громадная Русь и та с ним теперь считается, а то и побаивается.

– Ты этим хочешь сказать, зиусхан,– ухмыльнулся Тлимаф,– надо бы и нам последовать их примеру, избрать у нас великого зиусхана, который бы правил нами, как правит у себя крымский хан?

– Ты попал в точку: я давно об этом думаю, давно в сердце ношу.

– Как мне известно, сын Идара Темрюк, ныне переехавший к берегам Терека в Джилахстан, такого же мнения, но почему же вы его не поддерживаете?

– Там, где своей особой присутствует светлый зиусхан Пшиапшоко, мы не позволяем себе говорить о Темрюке,– подняв голову, грудью выпрямился Дадайкан.

Пшиапшоко строго глянул на него, улыбнулся Тлимафу:

– Прости, уважаемый тхаматэ, у моего байкола ум коротковат. Может, ему кажется, что нас гостеприимно угощают не жанеи, а мы сидим в Большой Кабарде за пиршественным столом... Как понял я, в ваших краях тоже ведут разговоры о Темрюке?

Усмехнулся Тлимаф:

– Случается, и до нас крылатые слухи долетают о вашем житье-бытье, как же не быть разговорам.

Вошли Дзагашт и Тавташ.

– Слава Аллаху, приехали! – приветственно воскликнул Тлимаф и спросил у сына: – Что доброго вы нам привезли? – Но, спохватившись, что допустил ошибку, обратился, как и полагается, к гостю: – Что доброго ты там увидел, гость, что узнал и нам привез?

– Все адыгские хасэ одинаковые, как сапоги, пошитые на одну колодку.

– Рассказывай, Дзагашт, какое решение приняли на жанеевском хасэ? – вежливо обратился с вопросом князь к сыну Тлимафа.

– Зиусхан, не было там такого разговора, такого решения, чтобы успокоило адыгское сердце.

Понял князь, нахмурил мохнатые брови, потеребил могучую, чуть тронутую сединой бороду:

– Говори прямее... Может, против крымского хана?

Понял и Зазий:

– Боюсь, боюсь, что беда времен Сагиб-Гирея может для нас повториться. Ох, боюсь.

– Жанеевское хасэ склонилось в ту сторону, куда смотрит удравший в Джилахстан Темрюк,– смелее заговорил Тавташ.– Они приняли решение отправить посланников на Русь от имени, как они сказали, всенародного хасэ. И потом решение это скрепили предвечерним намазом. Как бы благословение Аллаха это решение.

– Нельзя, нельзя же так,– почти простонал Зазий.

– А что, мой добрый сосед, ты видишь в этом плохого? – спросил Тлимаф, и в гостиной повисла тишина. Сжал небольшие, будто литые кулаки Тлимаф, проговорил:

– Кто приходил к нам без злобы, мы каждому, как говорится, маслили голову. Долго умасливали и крымского хана. Отдавали ему лучших красавиц в жены, и те рожали крепких нашей кровью наследников. Крымчане посылали на воспитание к нашим аталыкам[1] своих парней, которые затем обучали их нашему боевому искусству. Однако хан оказался неблагодарным псом: вместо того чтобы отплатить добром, стал нападать на нас. В давние времена, кабардинские адыги вынуждены были уйти от Азовского моря далеко на восток, к окрестностям нашей счастливой горы Ошхамахо[2]. Сибок тоже смотрит на Русь, однако кто

[1] А т а л ы к – воспитатель.

[2] О ш х а м а х о – древнеадыгское название Эльбруса.

может поручиться, что они не поведут себя с нами, как крымские татары или турки? Чтобы понять это, надо приблизиться к ним, приглядеться к их разуму и услышать, как бьются их сердца, а уж потом...

«Вы посмотрите, этот старик в моем присутствии ведет себя так, будто он на голову выше меня. Ох, не завидую я Зазию, не хотел бы иметь такого соседа. Но вот еще что: старик этот знает, что я состою в родне с ногайским ханом, знает, что сын Зазия – человек сильный, отчаянный, может запросто лишить его головы за такие речи. Знает и не боится ни меня, ни Мамия. А Темрюк? Тоже хорош – его дочка стала женой астраханского хана Бекбулата. Вот и пойми, кто его внуки – ногаи или адыги. А если Мамий женится на крымской татарке... Нет, в этой путанице можно и голову потерять. Надо уезжать, но...»

– Ты прав, Тлимаф, уважаемый тхаматэ, сначала надо присмотреться, испытать, не зря говорится: человек, не знавший зла, не поймет добра. Адыги слишком много видели зла, а потому знают цену добру, знают его обличья. И еще мне хочется сказать тебе, мудрому человеку: нельзя сразу порывать с крымским ханом и бросаться в объятия урусам. Татары – люди нашей веры, а они – христиане, чужой нам веры, Крым вот он у нас под боком, а до Руси, ох, как далеко! Да и сама она не так уж незыблема. Турецкие земли протянулись до самого ее Дона, не спокойно у нее и на западной границе. Говорю я тебе это потому, что в груди моей бьется сердце адыга и, где бы я ни был, всегда смотрю и вижу наше небо, наше солнце. Это я говорю от себя и от моих спутников, думая, как трудна, как часто бывает непонятна жизнь в подлунном мире.

– Я живу всего лишь вдвоем со своей старухой,– вставил свое слово Зазий,– а сколько всякого разного бывает от восхода до захода солнца – и сладкого, и кислого, и горького.– Сказал эти слова с улыбкою, а сам подумал: «Говорили, с рассветом уедут, а сами все сидят, сидят, все говорят уже переговоренное. Чего доброго, придется к завтраку резать еще барашка. Да и барашком тут не отделаешься».– Стародавняя мудрость, Тлимаф, гласит: курица своими когтями сама выгребает свою смерть. Думаю, жанеи своим решением на хасэ делают то же самое.

– Ты хочешь сказать, Зазий, что они сами лезут на свой смертный кол? Да-да,– задумчиво продолжил он,–

мы знаем – на сухой выбитой дороге не косят сено, а на дереве, сожженном молнией, не растут листья.

– Вот и мы с вами столько горького познали,– удрученно заметил князь Пшиапшоко,– что не верим, будто есть еще где-то сладкое... Валлахи, Тлимаф, Зазий, уважаемые тхаматэ, как ни жалко, но уже закончилась прекрасная ночь, которую мы провели с вами! Все было очень хорошо – и мудрые, добрые собеседники, и царская еда на столе. Мы совсем не думали задерживаться здесь, но ваши добрые сердца, радушное гостеприимство оказались сильнее наших дел, нашей суеты. Передайте от нас великую благодарность всем жанеям, всем сельчанам. Уедем мы и будем славить вас по белому свету. Да хранит вас Аллах, да будет его любовь к вам нескончаемой!

Тлимаф, стоя напротив коня, благодарно улыбался и думал: «Умный, ничего не скажешь, а говорит-то как складно, красиво, но... Мой дед Амзан поучал – надо всегда так говорить, чтобы мыслям было просторно, а словам тесно. У него же не получается так, правда, свою сторону он умеет гнуть. Как я ни пытался, но не смог свернуть его тропу на мою дорогу. Не удалось. И еще я понял – он, как говорится, мягко стелет, да спать жестко придется. Каждое его слово надо не только слышать, но и проникать в его потайную суть. Совсем просто слышать, как он отзывается о Темрюке, о Сибоке, а что носит о них в глубине своего сердца и холодного ума... Но хватит, хватит, устали мы все от твоих красивых проникновенных слов – пора тебе и в седло, которому совсем не нужны твои речи, как и дороге, что будет ложиться под копыта твоего коня».

Наконец гости – в седлах, а хозяева – у их стремян.

– Зиусхан,– заговорил Зазий,– очень мне обидно, что ты не попил еще моей крепкой душистой бузы, не поел свежайшей телятинки или индейки, специально для гостей откормленной. Обидно, зиусхан, что не удалось нам по душам поговорить о моем сыне. Да будет ваша дорога счастливой!

– Ничего, Зазий, ничего, счастливый тхаматэ, будем считать, что и бузы твоей крепкой и вкусной я попил, и телятинки, и индейки отведал. А еще я думаю: мы как-нибудь нагрянем к тебе с твоим сыном Мамием – вот уж тогда зададим такой пир, что небу станет жарко!

– О! – воздев руки, воскликнул Зазий,– да поможет Аллах сбыться твоим словам, зиусхан! Доброго вам пути, дорогие гости.

Привалившись грудью на плетень, прищурив усталые глаза, Зазий смотрел вслед удалявшимся гостям и, казалось, только теперь по-настоящему понял, что же произошло в его жизни. Понял только теперь, и только сейчас его одолела тоска. Вчера ей некогда было: ее заглушили звон золота и серебра, радость, что жив, что объявился живым, здоровым, богатым сын, а сегодня он вдруг увидел Мамия веселым и озорным мальчишкой, которого впервые посадил на коня, потом юношей, лихим наездником на празднествах... Теперь он, его мужская душа, его кровь в чужом краю, среди чужих людей, и никаким золотом не искупишь отцовской тоски.

Зазий зашел в конюшню. Погладил шею скакуна, погладил лоб его, прислонился к нему щекой:

– Один ты меня понимаешь, красавец мой, только с тобой и поделюсь я своей душевной, отцовской болью. Зануда Цираца, хоть и родила, но не мать она ему, выжила его из отцовского дома. Ничего, ничего, мой красавец, мы еще съездим в Крым, обязательно съездим. Он, Мамий, сдружился с ханом, которого ненавидят адыги. Иные ненавидят сына из зависти. Еще бы, богат, ходит в первых людях при ханском дворе! Ну и пусть завистники ненавидят, пусть, нам-то какое дело.

– Зазий, ты умом тронулся, что ли?! Почему в дом не идешь?

– Заткнись, старая ведьма!

– Сам заткнись. Мало того, что эти кабардинцы жрали в три горла, так ты еще и теленка, индейку откормленную собрался им...

– Ах ты, стерва поганая! Я тебе сейчас намну бока, долго потом будешь помнить и кабардинцев, и мои кулаки!

Очень рассердился на старуху Зазий, даже погнался за нею, но потом плюнул ей вслед и ушел к себе в комнату. Походив из угла в угол, постояв у окна, успокоился немного и кликнул жену, как полагается по обычаю, не называя по имени:

– Эй, иди-ка сюда!.. Ты что, оглохла, не слышишь, что я тебя зову? О сыне нашем поговорить надо.

– О сыне?! – Цираца вошла и остановилась, плечом привалившись к дверному косяку.– Что-нибудь хорошее или...

Зазий по-мужски неторопливо, твердо прошагал к окну, обернулся к жене и, качнув небольшой головой, сказал:

– Мне надо ехать в Крым. Сын сделал нам столько добра, а мы о нем ничего толком не знаем. Нехорошо это, не по-родительски.

– Верно, старик, верно, очень нехорошо. Обязательно поезжай, сам все хорошенько узнай, как он там живет один, без родителей. Скажешь ему, мы очень тоскуем по нему, да скажи еще, чтобы не доверял больше кому попало серебро-золото. Кабардинские адыги передали сумку, но, как знать, может, переполовинили...

– Замолчи, бессовестная! Люди везли, старались, такую радость, такое счастье нам доставили, а ты, старая карга, только и можешь гадости думать о них.

– Не сердись, старый, время такое: иной человек и хотел бы хорошим быть, да не получается – зло правит миром.

Зазий засмеялся:

– Ты посмотри, в какую высь занесло эту грешницу.

VI

Каншаукохабль не большой и не маленький. Лежит он неподалеку от Мысхако, в том краю, где встречаются и идут в объятия друг другу Черное и Азовское моря. Он с садами и огородами, домами и конюшнями, кошарами и птичниками привольно расположился у подножия гор, у могучих лесов, на лугах и полях.

Подует южный ветерок – и слышнее говор Черного моря, густой воздух становится солоноватым, в говоре, если умеешь слушать, слышатся дальние дали океанов, а потянет ветерок с запада – принесет запах пресноватой воды, запах Дона, полей и лесов далекого севера.

Бог создал под небом два великих чуда: сушу с горами, полями, лесами, лугами и великую, неописуемой красоты водную гладь морей, океанов с чудом белогривых волн, рыб, китов, тюленей, однако жизнь у адыгов так сложилась, что из сказочно прекрасных морских далей к ним из века

в век больше приходили беды. Приплывали злые люди, чтобы ограбить доверчивых, гостеприимных адыгов, разорить их селения, увезти в рабство красивых девочек и крепких здоровьем мальчиков. Поэтому у адыгов складывалось мнение, что море – источник зла, от которого надо держаться, насколько позволяет сама жизнь, в стороне, ближе к горам, где можно и спрятаться, и успешно обороняться.

Однако жить совсем без моря тоже нельзя, потому как приплывали не только злые, но и добрые люди – они покупали у адыгов дары их богатых полей, лугов, гор и лесов, а взамен продавали заморские товары, привозили саму жизнь тех краев. У них они покупали себе оружие, учились его делать сами, усваивая искусство заморских мастеров. Словом, горы не препятствовали им поддерживать связи с зарубежным миром.

Нападения врагов научили адыгов не просто защищаться, отбиваться, но и умению побеждать военной хитростью, ловкостью, побеждать не числом, а сноровкой, мужеством. Именно мужество, взаимовыручка, верность воинскому братству, понятия чести и истинной, неподкупной боевой славы стали характернейшими национальными чертами адыгов. Именно все это и другое называлось истинным адыгством.

Мужчина, которому приходилось жить, не расставаясь с кинжалом, должен уметь и за долгие годы научился выбирать для жилья место и безопасное, и удобное для хозяйства. Должен жить, не расставаясь с конем и седлом, должен уметь быстро собрать к походу и увести свою семью в заранее известное ему место и укрыть там от врага.

Несмотря на такие нелегкие жизненные обстоятельства, адыги жили богатой духовной жизнью. Они создали множество легенд, сказаний, сказок, песен. Они любили и умели красиво, удобно одеваться, их черкеску потом стали носить все кавказцы, их огневые танцы тоже шагнули далеко за пределы адыгской земли. А их знаменитая шашка из дамасской стали!..

Жил такой жизнью и Каншаукохабль, место которому под солнцем выбрал жанеевский князь Каншауков, которого теперь уже нет в живых. Ему шел девяносто первый год, когда войной пришел в Черкесию Сагиб-Гирей. Глу-

бокий старик сражался плечом к плечу со всеми и пал смертью настоящего воина, адыга-черкеса.

Князю Сибоку не было и пяти, когда отец привез его в седле в едва начинавший обустраиваться дом и сказал:

– Это твоя земля, здесь зарыты твои корни, тебе и отвечать перед будущими детьми за нее.

А спустя восемь лет родился и второй князь – Ацамук.

Если сложить прожитые братьями годы, вышло бы чуть больше десяти лет, когда погиб их отец в битве с крымцами у переправы, что у Керчи. Так что если Сибок помнил своего отца, то Ацамук совсем не помнил.

То, что начиналось при князе Каншаукове, теперь раскинулось усадьбой братьев, обнесенной каменным забором высотою чуть ли не в два человеческих роста, с деревянными, окованными воротами между двух высоких каменных столбов.

Посередине двора два больших дома с высокими камышовыми крышами, с большими окнами, с двумя дверями каждый. Все прочно и основательно, как и сами горы. У одного из этих домов озорует гурьба детишек – это дом женщин. У этих домов между столбами вьется виноградник.

В глубине двора, где коновязи, дом-гостиная. Тоже каменный, с веселыми приветливыми окнами, как бы говорящими: милости просим пожаловать к нам. Тут же виноград, кусты роз и высокие мохнатые георгины, а вдоль забора – яблони, груши, черешни. И развешены связки лука, чеснока, перца.

В углу, за сапеткой, специальная мельница с тяжелыми каменными жерновами, на ней готовят дорожную пищу, размалывают в муку пшеницу, сушеное мясо, чеснок и перец. Размалывают и потом насыпают в мешочки. Это и тяжелая мужская работа, и своеобразное священнодейство, к которому, как говорится, женщин и близко не подпускают.

Это двор. Дальше – обнесенные забором конюшни, кошары, птичники, а дальше – огород, луг, за лугом – лес, и дальше – горы под высоким небом...

Стоял жаркий день, но в гостиной, за толстыми каменными стенами, было прохладно.

На почетном месте сидел абазинский князь Дударук. Он еще молод, но – гость, потому и сидел на почетном

месте. Напротив него за столом – Сибок, а его младший брат Ацамук стоял у дверей. Он не может, соблюдая обычай, сидеть за одним столом со старшим братом, да еще в присутствии гостя.

– Зиусхан Сибок, пусть Всевышний сделает каждый твой день, как сто дней,– слегка наклонил голову Дударук.– Спасибо тебе за добрый совет. На дорогу домой и на обратный путь я потратил бы целый месяц. Я велел своим спутникам, отправившимся домой, передать родне, абазинскому обществу, что дорога у меня будет долгой, так что пусть не ждут моего скорого возвращения.

– Если я тебя правильно понял, дорогой гость, ты с твердой верой в свое дело отправился в путь?

– Как тебе сказать, зиусхан... мне просто очень приятно, на душе легко, что выполнил такое важное поручение. Так же, как и вам, не дает спокойно жить наглый крымский хан абазинам, беслинеям и кабардинцам, всем живущим вокруг Машука... Как по-твоему, почему Темрюк с семьей уехал в Джилахстан?

– Не думаю, что из-за одних ногаев, совершенно согласен с тобою,– многозначительно сказал Сибок.

– У меня есть еще и другое соображение,– помолчал в раздумье Дударук, покачал головой и потом продолжил, как бы делая важное одолжение князю Сибоку: – Думаю, ему не дает покоя Кайтукин с сыновьями.

– Опять же, не только это...

– Очень интересно, зиусхан.– Дударук отщипнул виноградину, посмаковал ее, причмокивая красивыми губами. Подмигнул Ацамуку, мол, посмотрим-посмотрим, как думают старшие.– Говори, зиусхан, говори.

Теперь и Сибок выдержал паузу, усмехнулся самому себе: «Ты из молодых, да ранних, мой гость». Усмехнулся, потом нахмурился и заговорил:

– Темрюк хоть и отдал своих дочерей за ханов Астрахани и Ногая, в Кабарде его недолюбливают. А то, что он уехал к берегам Терека, к немощному, бездетному родственнику, рассчитывая, что там у него хорошо пойдут дела, видимо, правда. Так говорят многие. Он вроде бы только и всего, что поехал к немощному родственнику из сострадания, но вы гляньте, как далеко смотрит этот хитрец: теперь с ним совсем рядом живет, властвует его астраханский зять Бекбулат, они, так сказать, в случае надобности

друг у друга под рукой, так что лучше не трогать ни того, ни другого. И не только не трогать, а уважать их силу.

– Да и ногайский хан, сын Исмаила Тинахмат, тоже рядышком, это нам яснее ясного. Так просто Темрюк никого не проведет,– с чувством собственного достоинства заверил Дударук.

Все это время молчавший у двери Ацамук улыбнулся Дударуку, мол, не только старшие, но и мы с тобой, младшие, кое-чего стоим. Улыбнулся, переступил с ноги на ногу и уважительно сказал:

– Прости, старший, прости, зиусхан, что прерываю твое мудрое слово, позволь и мне свое вставить. Правда ваша, очень сильно, хитро укрепляется Темрюк, попомните мое слово: придет время – и он станет главным зиусханом всей Кабарды.

– Пусть, пусть! Лишь бы не подружился, как Пшиапшоко, с крымским ханом,– воскликнул Дударук.

– Не бывать этому, нет,– твердо заверил младших Сибок.– Он, как и Темрюк, уже повернулся от полдневного солнца к полночному, улыбается и готов кланяться царю Московии.

– Верно, зиусхан, верно,– даже чуточку привстал от возбуждения Дударук.– Ты помнишь, конечно, когда беслинеевские зиусханы Машук и Тенашук с абазинским зиусханом Ельбыздоко ездили к царю Ивану в Московию, как недоволен был Кайтукин, отец Пшиапшока! И это понятно, чего ворчал тогда Темрюк. Просто удивительно, ведь он сам, как мы теперь видим, туда свой нос навострил.

– Ничего не поделаешь, зиусхан, так уж устроен грешный человек. Твой единоутробный брат и тот сегодня может говорить одно, а завтра – другое.– Сказал Сибок и подошел к раскрытому окну: – А ты чего, Калакут, стоишь под окном, будто чужой? Заходи, только не через окно, а в дверь. Ацамук, иди встречай своего друга, славного Калакута.

– Зиусхан, это, кажется, тот, который так нехорошо вел себя на хасэ, выволок из круга хромоногого?

– Да, он.

– И ты его приглашаешь к себе в гостиную?

– Конечно.

– Но, зиусхан, у нас такие проступки не прощаются,– разочарованно сказал Дударук.

– Знаю. Наши и ваши обычаи несколько разнятся. Дело в том, что у жанеев веками не было зиусханов, веками у них были проще отношения между уорками и свободными крестьянами. Ты, должно быть, заметил это на хасэ. И, как знать, возможно, в таких взаимоотношениях и состоит их сила. Наш древний род – уорки. Наш дед Каншауков был человеком удивительного мужества, высокой чести и доброты с каждым, кто с ним рядом. Так сложилось, что уорки, простые крестьяне, сами возвысили его над собой, нарекли зиусханом. Всем известно, что путь к высокому достоинству, к власти часто бывает непростым, иногда лежит через схватки, а наш дед просто стремился честно жить, любить свою землю и тех, кто ее обихаживает, украшает... его высокое достоинство было подарком всеми жанеями ему и его потомкам, в том числе мне и Ацамуку.

– Я не нарушил адыгского обычая, не обеспокоил тебя своими расспросами, и спасибо тебе, что ты удостоил меня своим рассказом.

– Однако не думай, зиусхан, что жанеи все поголовно нас уважают как зиусханов. Есть такие, которые делают вид, будто не знают Каншауковых, в их числе и тот, за кем пошел мой младший брат. Ты видишь, как он вальяжничает, не торопится заходить.

Но вот, наконец, вошел Калакут. Он был таким громадным, что, кажется, не вошел, а вторгся своей массой, и в комнате сразу стало тесно.

Был Калакут простым тфокотлем, годами моложе, а князь Сибок приподнялся ему навстречу, поприветствовал, указав на лавку:

– Садись со мной рядом, сосед.

– Спасибо, счастливый тхаматэ.– Садясь, Калакут мельком взглянул на Дударука, отметил про себя, как тот не очень хотел его приветствовать, лишь чуть-чуть приподнялся, глядя на стол перед собою, а не на вошедшего. Калакут, тем не менее, улыбнулся ему: – У тебя вид очень усталого человека, похоже, ночью ты куда-то далеко ездил, утомился, а теперь отдыхай в свое удовольствие у гостеприимного Сибока.

– Нет, мы еще только готовимся к дальней дороге,– не поднимая глаз, холодно ответил Дударук.

– Да и то надо сказать, уважаемый гость, иногда пустая суета, безделье тяжелее всякой работы. Правда, уважаемый тхаматэ Сибок?

– Не только тяжелее, сосед, а бывают просто изнурительными.

Пока князь разговаривал с Калакутом, Дударук слушал их и в то же время размышлял: «Третий раз я приезжаю к жанеям и всегда вижу у них что-нибудь необычное, даже удивительное и не совсем мне понятное... Беслинеи, махоши, егерухаи, абадзехи, темиргойи, бжедуги – все это адыгские племена, и живут они в основном по единым обычаям адыгов. Одинаково одеваются, одинаковые оружие, снаряжение лошадей. В еде у всех лишь небольшая разница, в основном те же теленок, барашек, курица, копчения, соусы. Внешне все они так похожи, что встречаешь кого-нибудь и кажется: ты его уже когда-то видел. Большинство жанеев смугловато-светлые, глаза обычно черные или карие. Характером вспыльчивые, но отходчивые и очень добрые, часто жалостливые к чужому горю. У них княжна, невестка, служанка – все делают любую работу, не возвышаясь своим положением. Два дня назад в лесу встретилась подвода с дровами, застрявшая в трясине. И наши байколы, и мы с обоими князьями помогали быкам. Устали, измазались, а Сибок был так рад, будто подвиг совершил, показав свое мужество. Потом – опять же это, по-нашему, очень странно – мы с байколами стирали в речке испачканную одежду, сушили на солнце. А после случилось уж совсем невозможное по нашим понятиям: к Ацамуку пришел тфокотль, попросил у него бритву, так он усадил его и побрил голову, подстриг бороду с усами. У нас, да и у тех же, скажем, беслинеев просто посчитали бы это за неуважение, а на него смотрели бы так, будто он помешался умом...»

Князь Сибок между тем продолжал разговаривать с соседом. Дударук прислушался.

– Сегодня утром я помогал тфокотлям поработать жерновами, с большим удовольствием размял свое застоявшееся тело, а когда узнал, что ту дорожную еду вы возьмете с собой в дорогу, по пути на Московию, жалко стало своего труда, обиделся и ушел.

– А что, Калакут, выходит, ты не согласен с решением жанеевского хасэ? – спросил Дударук.– Точно такое же решение приняли и абазины, по их поручению я и еду.

Калакут пожал плечами, потеребил свою бороду, еще раз пожал громадными, будто гора, плечами.

– Если вы верите, что дело, которое затеяли, закончится добром для всех нас, это хорошо.– Он осклабился, обнажив крупные белые зубы.– Но кто за это может поручиться? Думаю, один Аллах, но он, говорят, высоко в небе, куда нам, грешным, дорога заказана, а когда разрешится, то грешное земное будет нам ни к чему. Так я думаю своей тяжелой, наверное, неумной головой. Не умной, но хорошо чувствующей греховный, такой шаткий мир, что он того и гляди развалится, захлебнется своей кровью.

– На хасэ было море людей, были наши старейшины, мудрейшее, что есть в нашем народе, и оно, это мудрейшее, в знак одобрения этого решения вскинуло к небу кинжалы.

Калакут хохотнул своим густым рокочущим басом:

– Куда я денусь, зиусхан, отдалившись от добрых жанеевских тхаматэ, от земли и неба нашего.– Он впервые перед гостем назвал Сибока князем. Прикрыв глаза, задумчиво качнул головой и продолжил: – Не знаю, может, не подняв свой кинжал, я поступил неправильно, но твердо знаю – поступил по совести, не покривил душой.

– Сосед мой, у нас каждый волен говорить и поступать по своей собственной воле, по совести...

– Вот я и поступил по совести, свидетель тому – Аллах, извини, зиусхан,– совсем не громко, спокойно сказал Калакут.

– Из века в век мы жили и сейчас живем умом большинства наших людей,– тоже негромко произнес Сибок.

– Большинство – значит не все и, как ты говоришь, каждый может поступать по своей совести, вот я и поступил.

Сибок знал упрямство своего соседа и стал переводить разговор несколько в сторону.

– Хромой Ванатуг выступал на хасэ против нас, и когда ты его уволок из круга, я подумал – ты за нас.

– Мне тоже так показалось,– вставил Дударук.

– Уважаемый тхаматэ,– усмехнулся Калакут,– воистину у каждого в этом мире своя цель, своя выгода. Была

на хасэ и у меня своя цель. Не знаю, что у вас с вашим делом получится, кому будет жарко, а кому холодно... Когда тот хромой кабан вышел на круг хасэ, я очень обрадовался, ведь за ним гонялся не один год, а тут вот он, тепленький, стоял передо мною, мне доставило радость схватить его в охапку и уволочь. Видите ли, он, нечестивец, зиусханскими делами занялся. Я ему и устроил эти зиусханские дела,– зарокотал Калакут.

– И как ты поступил с ним?

– Отправил за золотом в Турцию.

– Так дешево? – удивился Дударук.

– Да кому этот мешок вонючего дерьма нужен? Я турку дал золотой,чтобы он эту мерзость увез с адыгской земли, избавил ее от кровавого разбойника. Отправил я его и там же поделился своей радостью с одним всадником.

– С каким всадником? Может, таким же, как хромой?

– Нет, гость. Это совсем другое дело. Он из Абадзехии, ищет своего дядю по отцу, которого заманили к морю, может, даже продали. Он моложе меня года на два. Славный парень, по имени Даур.

– Вот что делается, зиусхан, в нашем большом доме,– вздохнул Сибок.– В гостиных, на дорогах-перекрестках рассуждаем, витийствуем об адыгстве, о наших старинных благородных обычаях, о нашем народе, о его благородном назначении, а в обыденной жизни воруем, убиваем, сплетничаем, продаем своих людей в рабство. Если появится свежая, умная голова, человек с добрым, открытым сердцем, мы тут же подставим ему подножку, начнем сплетничать, обливая его грязью. Мы любим говорить, что человек – прекрасное Божье создание, он должен быть свободным, как птица в ясном небе. Птица, чистое небо, на самом-то деле он становится свободным от священных Божьих заповедей, свободен от чести, совести, душевной чистоты и благородства. Оказывается, он свободен лгать, воровать, убивать...

– Я тоже думаю так же и хочу добавить: зиусханы – в вышине, на виду у всех, а многие из них, что скрывать, грешны во всем грязном, каждый старается возвыситься над другим и прибегает к разным низким уловкам. Если все они такие, каким же быть тфокотлям, если отцы такие, каким же быть сыновьям?

– Вот теперь, зиусханы, я с вами! – воскликнул Калакут.– С себя надо начинать, и не нужны нам ни Русь, ни Крым, ни Турция, ни Персия. Мы ищем у них помощи, защиты, а они хотят нас видеть своими рабами, а не сильными. Вот теперь и подумайте: надо ли вам ехать туда, защитит ли она вас, поможет или наденет на нашу шею свой хомут. Засиделся я с вами...

Теряясь в догадках, почему так внезапно ушел Калакут, князья переглянулись, словно остались на каком-то непонятном и неизвестном пустыре.

Дударук улыбнулся:

– Твой сосед с виду какой-то неотесанный, а копнуться в нем, много интересного найдешь. Правда, это еще, как говорится, молодо-зелено, а пройдет лет с десяток – какой мужчина будет. Лишь бы только голову не сломал со своим упрямством. Со временем оно должно стать настойчивостью, верностью тому, что делаешь. И еще – умному, сильному человеку нужна и хитрость, чтобы сохранить ум, свое сердце.

– Ты прав, зиусхан, крупные люди умом, волей, сердцем нечасто встречаются в этом грешном мире. Калакут в отца своего пошел – и телом, и умом, и характером. Он много сил отдает борьбе с разбойниками и ворами, отбивает пленников и возвращает родителям или бездетным вдовам отдает. Характером, правда, трудноват, но очень хороший человек, своей честью дорожит, никогда не обманет, не подведет, а если кто попадет в беду – не пройдет равнодушно мимо, обязательно выручит, что бы ему ни стоило. Ты, зиусхан, не обижайся на него, прости его промахи, по натуре своей он добрый, на него можно положиться.

– Нет, зиусхан, я на него вовсе не обижаюсь. Дурно думал, когда не знал его судьбы, жизни... Сначала мне не понравились его вольные и настойчивые рассуждения, а когда неторопливо, без горячности начал вдумываться в них, стал находить интересное, а главное – душевную его теплоту, потому что он умеет так говорить, что сказанные им слова имеют двойной смысл – внешний, иногда просто броский такой, внутренний, скрытый смысл... Ты говоришь: он одинок, у него нет родственников, близких?

– Кроме нас, соседей – никого. Один, как палец... Его родителей, мать и отца – были они еще молодыми – наши

тфокотли отбили у разбойников и привезли сюда. Здесь они и поженились, родили мальчишку, потом девчонку, а что это за люди, из какого племени, толком никто не знает. Вроде из Верхней Абадзехии.

– Ну вот! – восторженно воскликнул Дударук.– Смотришь, наша сторона может породниться с вашей.

– Очень может быть,– согласился Сибок.

– Его жените на красивой девушке, у них родятся такие же богатыри, такие же добрые и честные люди, как Калакут.

– Хорошо бы, зиусхан, да уж очень он переборчив.

– Но ведь не жениться же такому богатырю на ком попало, а то ведь и рожать потом будет кого попало! – усмехнулся Дударук.

Стоял жаркий со слепящим раскаленным солнцем день.

В тени под старой раскидистой яблоней, что вдали от дома, на низенькой скамейке сидел Калакут в каракулевой золотистой папахе, в нательной сорочке, а старенькая черкеска, повидавшая дальние и ближние дороги, долины и ущелья, слышавшая грозный говор штормующего моря, висела на сучке яблони, забавляясь полами с ветерком.

Напротив него – Ацамук, правивший на оселке кинжал:

– Скажи на милость, и чего ты привязался к своим таким красивым и очень мужским усам, к такой пышной бороде?

– Уважаемый сосед, дорогой мой друг Ацамук, ты зачем правишь мой отцовский чудо-кинжал, если не хочешь побрить меня?

– Э-э! – рассердился Ацамук.– Хочешь не хочешь! Ты хоть иногда заглядываешься в зеркало?!

– Я не женщина, чтобы красоваться перед зеркалом!

– Мужчине тоже иногда нужно заглядывать, чтобы лучше понимать себя. Хочешь, я принесу зеркало, ты посмотри на себя и пойми, что твои усы и борода не только красивы для друзей, они устрашающи для недругов.

– Спасибо, друг, но с врагами я управлюсь и без бороды с усами, а всего лишь одним кинжалом. Когда мы ездили с тобой в Трамхабль свататься, я увидел, как испугалась моих торчащих усов и косматой бороды Накура.

– Неправда,– возразил Ацамук,– она любовалась ими, ты просто не замечал.

– Можно подумать, это ты собираешься на ней жениться, а не я, и ты увидел в ней свое, а я свое. Давай кинжал, буду бриться сам, раз такое дело.

– Что ты выдумываешь! Садись, я мигом тебя оскоблю, но когда поедем второй раз к Накуре и она убежит, увидев тебя голомызого, пеняй на себя.

– А когда увидит меня с чистым лицом и обрадуется этому, то и ты вспомни наш нынешний разговор.

Ацамук подал ему кружку с водой. Тот мигом опрокинул ее в себя.

– Эй! – воскликнул Ацамук,– я дал, чтобы ты намочил бороду с усами, придется опять идти к колодцу.

– Не надо, брей насухую.

– Что ты! Это же будет очень больно.

– Ничего, стерплю для Накуры.

– Ой ли! – не без робости стал брить Ацамук.

Ни один мускул не дрогнул на лице Калакута. Он огладил обеими руками раскрасневшиеся щеки:

– Пройдись еще раз, чтобы совсем чисто было. Не пойму я наших мужиков, чего они ходят косматыми, как медведи. Давай еще разок.

– Хорошо, хорошо... теперь в твои щеки можно смотреть, как в зеркало.

У колодца Калакут снял рубашку, нагнулся, подставив Ацамуку под ведро с водой спину, взвизгивая от восторга:

– Ай, спасибо. Ай, спасибо, мой друг!

И когда вытирался, Ацамук как-то неожиданно спросил:

– Ведь хромой Ванатуг – хитрая бестия, чего доброго, может вернуться из Турции, почему ты его не прикончил?

– Он меня очень просил убить его. Я понял, что мгновенную смерть просит как благо, вот тогда и решил: пусть он перенесет все муки неволи, пусть испытает все, на что обрекал тех, кого продавал в рабство. Пусть испытает голод, холод, унижение, пусть болью своего горбатого сердца поймет, что такое родная земля, ее солнце, небо, добрые глаза соплеменников, и если когда-нибудь вернется домой, то вернется другим человеком, может быть, я даже пожалею его, помогу... Я хочу попросить тебя, Ацамук,

пусть никто не знает, что я сбрил усы и бороду ради Накуры, а то ведь найдутся злые языки, начнут судачить.

– Об этом не беспокойся, ведь мы с тобой мужчины.

VII

В жизни адыгов столько исторических и просто житейских хитросплетений, столько запутанных дорог и тропинок, крутых подъемов и падений, что они кажутся бесконечно вечными, как небо, море, горы, такими же полными неразгаданных тайн.

В середине тринадцатого века из непонятно далекой Азии хлынули на запад, значит, и на земли адыгов неисчислимые лавины татаро-монгольских конников. Это были даже не лавины конников, а лавины смерти, огня, бессмысленной жестокости.

Превратиться бы в прах и исчезнуть с лица земли совсем не большому по сравнению с татаро-монгольскими полчищами народу адыгов, но у него были верные и недоступные степнякам друзья – горы и дремучие леса.

Прошло много лет, улегся огненный шквал, кочевники со своими седлами и кибитками основывали селения. В первой половине пятнадцатого века, облюбовав горные и степные просторы Крыма, Хаджи-Гирей создал Крымское ханство. Жили завоеватели тем, что обложили покоренных данью, а кроме этого, нападали на мирных людей, разоряли их селения, угоняли табуны лошадей, отары овец, угоняли в рабство девушек и юношей.

Ну что ж, война войною, смерть смертью, а жизнь жизнью. Как ни беснуются зимой над лугами бураны, как ни трещат морозы, а глянет весеннее солнышко – и зазеленеет травка, вспыхнут цветы...

С одной стороны, множество кровавых стычек было между ногаями и адыгами, а с другой – адыги выдавали замуж за них своих девушек, которые учили вчерашних кочевников оседлой жизни – шить и носить красивую одежду, готовить вкусные блюда, соблюдать правила приличия, быть красивыми, обаятельными.

Мальчики крымских татар годами жили в адыгских семьях, у аталыков, которые воспитывали в них чувство мужского достоинства, понятия чести, преданности, учили владеть оружием. Отдавали в аталычество своих детей,

конечно, состоятельные, знатные. Таким образом завязывались дружеские отношения верхушки адыгов с ханами.

Было много случаев, когда адыгские парни поступали на службу в ханскую конницу.

Столица ханства – Бахчисарай. Вокруг богатого ханского дворца с разными пристройками и садом раскинулся кривыми неширокими улицами город с саманными домами, крытыми соломой или камышом. И все – сады, сады, виноградники и, конечно, базар. Там с раннего утра до позднего вечера шла бойкая торговля между купцами из Черкесии, Персии, Турции и самого Крыма. А понимали они друг друга, потому что в большинстве знали деловой язык адыгов.

На улицах, поросших травою, с деревьями белой акации, рядами кипарисов, развесистых яблонь и груш, высоких пирамидальных тополей, с кустами сирени – множество разных магазинов и торговых лавок, кузниц, разных пошивочных мастерских.

Конечно, посередине просторного двора – каменная мечеть с минаретом, что был выше самых высоких пирамидальных тополей.

Бахчисарай, как и всякий торговый город,– суетный, говорливый. На улицах тесно от пеших и всадников, от навьюченных ослов. Особенно людно бывает на широкой улице, ведущей к ханскому дворцу.

Все заняты своим делом, все спешат, но вот показались несшиеся во весь опор всадники, и началось нечто невообразимое – одни кинулись во дворы, другие прижались к стенам домов, третьи склонились чуть ли не до самой земли и замерли, кто-то опустился на колени.

– Ниже головы, ниже, перед посланником Аллаха– ханом Давлет-Гиреем,– угрожающе потрясая нагайкой, кричал вестовой, скакавший впереди кавалькады.

А вот и сам хан, он едет легкой красивой рысью с семью всадниками на гнедом кабардинце в сбруе, отделанной серебром и золотом.

Справа и слева от него – два всадника в полном боевом снаряжении.

Во дворе спешился хан, спешились вслед за ним и телохранители. Когда увели коня, к Давлет-Гирею быстрыми, подобострастными шагами подошел мужчина

в черкеске, низко, чуть не до земли, поклонился. Это был Мамий, ханский баскак.

– О мой хан, посланник Аллаха,– с трудом сдерживая волнение, промолвил он.– Дурные вести от адыгов.

Хан брезгливо поморщился:

– Что там еще? Чего им не хватает?

– Они направили, о великий хан, своих посланников к нашему злейшему врагу – в Московию,– сказал Мамий и нагнулся еще ниже, будто выпрашивая себе наказание за дурную весть.

– Это что, опять Машук? Все еще не успокоится, поганая морда! Но хватит, подними голову. Ты не первый раз говоришь мне об этих глупых беслинеях. Хватит!

Но Мамий еще ниже нагнул голову:

– Ударь меня, убей меня, посланник Аллаха! На этот раз не беслинеи, а жанеи обезумели, сам главный зиусхан Сибок...

– Что-о?! – взревел хан и с яростью огрел Мамия по подставленной спине тяжелой нагайкой.– Не дурную, а мерзкую весть принес ты мне. Иди! А ближе к вечеру покажись!

Одолевая адскую боль, Мамий с трудом выпрямился, поправил кинжал у пояса, заткнул за голенище нагайку. Огляделся. Благо, во дворе уже никого не было, значит, никто не видел, как с ним обошелся хан. «За такую весть он еще мягко поступил со мною». Мамий видел, как он в гневе до смерти забивал иных своих верных людей. Первый раз его ударил он за весть о беслинеях. За тот удар Мамий отомстил беслинеям. С ханским отрядом, баскаком которого он был, дотла сжег селения, привез хану около сотни парней и девушек, которых Давлет-Гирей выгодно продал в Турцию. Парней – в рабы, а большинство девочек – в гарем. Была среди них одна очень красивая, на которой можно бы и жениться, но Мамий не посмел заикнуться об этом хану. Может быть, еще и потому, что не уходила из его сердца Накура, внучка Тлимафа. Когда он покинул дом, она была уже очаровательным подростком, и он решил – непременно дождется ее. Вот и теперь всякий раз, когда смотрит на хорошенькую девочку, невольно вспоминает Накуру.

«Как там поживает отец? Не заклевала его вконец моя несносная матушка? Передал ли им мои подарки Пши-

апшоко? Он собирался к нам приехать еще осенью. А теперь вон как дела оборачиваются, придется проучить как следует жанеев. Посмотрите на этого несчастного Сибока, видите ли, он направляется в Московию, урусов звать против нас. Я тебе покажу дорогу, до смерти будешь ее помнить. А твою дочку-красавицу определим в ханский гарем. Это будет урок всем Каншауковым... Мне скоро двадцать пять, пора бы уже иметь сына, воспитывать его настоящим мужчиной. И куда подевался проклятый хромой, обещавший мне доставить невесту лучшую из лучших. Обещал и запропал с концом. Слышал, в последнее время возвысился среди адыгов какой-то Калакут. Ванатуг говорил, что у него очень красивая сестренка, вот ее пусть и привезет мне...»

Послышалось встревоженное ржание ханского коня. Мамий зашел в конюшню:

– Что случилось с конем посланника Аллаха, чего он ржет?

– Не знаю, может, учуял тебя,– с усмешкой ответил конюх.

– Сколько раз я тебе говорил, чтобы меня называл счастливый тхаматэ,– грозно глянул на него Мамий.

– Прости, счастливый тхаматэ, старею, забывчивым становлюсь, ничего с этим не могу поделать.

– За это не прощают! – И Мамий так ткнул его в грудь, что тот едва устоял на ногах.

Спину начало саднить, прикосновение к ней становилось нетерпимым. Он решил идти к себе: надо как-то полечиться, а то ведь вечером идти к хану и появиться следует бодрым.

Дворец хана, конечно, достоин посланника Аллаха, у Мамия, понятно, хоромы меньше, скромнее, однако тоже каменные, побогаче, чем у других ханских воинов, у богатых людей Бахчисарая.

Весь дом, начиная с входной двери, в коврах знаменитой персидской работы. Кресла и стулья мягкие, обтянуты дорогой шелковой тканью в тон коврам. Столы резаные, из дорогого дерева. На столах – хрустальные кувшины, блюда. Над кроватью на ковре – кинжалы, мечи, сабли, отделанные чернью, серебром и золотом. На отдельной полке – Коран, привезенный из Аравии, на другой – три шкатулки с дорогими каменьями, золотыми поделками, добытыми в разных местах, у разных людей. Есть и хазарские, и русские, даже с неметчины и еще из каких-то дальних краев привезенные. А одежды, развешанной на широкой стене! И черкески, и бурки, и каракулевые шапки, и дорогая татарская одежда! Все есть у ханского баскака Мамия, вот только нет жены, нет сына...

Обидел его сегодня хан. Да нет же! Нельзя обижаться на того, кто дал тебе почти райскую жизнь на земле! Тебе, чужеземцу...

Заныла, напомнила о себе спина. Он пожевал, посмаковал несколько виноградин.

А еще – сундук, окованный железом, с большим висячим замком.

Мамий погладил сундук, погладил замок, подумав, что в нем есть маленький сундучок, в котором такое богатство, какое адыгским князьям даже во сне не снилось, они даже не знают, что это такое, чем и как меряется. Лишь тем и живут, что постоянно ссорятся между собою, сами себя возвышая, не понимая, что власть призрачна, как туман над морем: стоит только ветерку дунуть, и нет тумана, даже следа от него не останется, а его заморские бриллианты, самоцветы – это настоящая власть...

С минарета донесся голос муллы, звавший правоверных на предвечерний намаз. Мамий попробовал нагнуться, но понял, что не сможет опуститься на колени, и подумал: «Пусть падет грех на хана за то, что по его вине я не смогу помолиться». Подумал и тут же с испугом спохватился: как посмел он укорить посланника Аллаха. «Прости меня, Аллах! Помоги мне, великому грешнику!»

И еще подумал: к вечеру, пожалуй, спина разболится больше, как тогда быть, как стоять перед ханом, не расправив плечи?

Бесшумно открылась дверь, и в комнату с кумганом и медным тазом вошла женщина, еще нестарая, но и не молодая, старше Мамия лет на пять, а все еще стройная, с приятным мягким взглядом. Поставила перед ним на пол тазик.

Ее подарил Мамию хан из своего гарема. Она ему немного нравилась, и хан, должно быть, заметил это и решил угодить одному из лучших своих воинов. Это было, когда из похода в Волахию привезли много награбленного добра и больше ста пленников и пленниц.

Не скажешь, что Мариам красавица, но очень симпатичная...

«Интересно,– размышлял Мамий,– среди татарских и турецких женщин тоже есть много красавиц, но почему-то не только вельможи, но и турецкий султан и крымский хан взяли себе в жены из адыгов. Две дочери князя Темрюка стали татаро-ногайскими невестками, и вообще за черкешенок на невольничьем рынке дают самую высокую цену».

Вымыл Мамий руки, и когда взял полотенце, прибежал ханский гонец:

– Баскак, тебя зовет посланник Аллаха!

Вошел Мамий в большой дворец, поклонился, сделав несколько шагов назад, вытянулся у двери, замер. Он понял: хан собрал диван – военный совет, значит, будет разговор о чем-то важном.

За столиками с чаем и фруктами находились по два человека. Давлет-Гирей и его сын Адыль-Гирей восседали во главе зала за отдельными столиками.

«Как быстро хан закончил намаз,– подумал Мамий,– он даже в походах всегда точно исполняет положенное мусульманину. Правда, был случай, когда он не помолился – это когда на нас внезапно напали жанеи».

– Баскак Мамий! – строго позвал хан. Мамий, старавшийся стоять у двери навытяжку, тут и вовсе вытянулся в струнку, не подав виду, как жиганула его боль в спине.

– Слушаю, посланник Аллаха, великий хан!

– Завтра на рассвете с моими конниками...– произнес хан, помолчал и потом, нахмурившись, добавил: – Я дам и больше того, что собирался дать, а вы с моим сыном Адыль-Гиреем, во главе с Адыль-Гиреем постарайтесь употребить в деле как можно лучше. Поскачете к Дону, перехватите жанеев с князем Сибоком и разделайтесь с ними так, чтобы впредь другим неповадно было. Ты, Мамий, будешь правой рукой Адыль-Гирея. Надо проучить их, а то, посмотрите, они уже своевольничают. Не спросясь ни у нас, ни у турков, едут в Московию, к врагам нашим! Выходит, против нас затевают что-то. Ну-ну, посмотрим. Адыль-Гирей, живьем их возьмете, закуете в кандалы и привезете сюда, бросите на колени перед диваном, к моим ногам швырнете! Все исполните, как я вам велю!

– Так и только так будет, посланник Аллаха и великий хан Крыма! – возвысившись грудью, сказал Адыль-Гирей, почтительно поклонившись отцу.

Грозно подался грудью и Мамий, низко поклонившись Давлет-Гирею и дивану.

– Верю, вы исполните мое повеление. Только смотрите, на просторах Руси столько дорог и так они перепутаны, что нетрудно и заплутать. Если случится такая беда, упаси Всевеликий Аллах, возвращаться будете через земли жанеев, там встретитесь с другими нашими воинами, которых я пошлю. Встретитесь, покажите этим зазнавшимся нашу силу, нашу беспрекословную власть – сожгите селения, которые побогаче, заберите добро, а заодно прихватите, сколько сможете, мальчишек и девчонок. И скажите бородатым балбесам черкесам, что это только малое наше наказание, за этим может последовать и большое, если они не образумятся.

– Да, да!

– Именно так и будет!

Заулыбались, загомонили одобрительно члены дивана.

VIII

Осень расстелила над Кабардой свой многоцветный ковер довольства, благополучия и покоя. Легкий и ласковый ветерок напевал золотой и пурпурной лесной листве дремотные песни степей, ему вторили сороки, перепела и зяблики.

Паучки-путешественники на своих длинных паутинах, будто на корабликах, отправились в дальние странствования.

Дозревали на ласковом солнце яблоки, виноград. На уснувшие поля вышли земледельцы – пашут на быках, готовят землю к новым посевам, к весне.

Над пахотой кружили горластые грачи и вороны. Круто спускаясь с высоты, они выхватывали из земли свою добычу – червячков. И были довольны, довольны!

А вдали – горы. Они уже подновили первыми в вышине метелями вершины и красовались на солнце своей чистотой, своей недоступностью, а значит – своей свободой в небе, свободой от суетных людей.

Князь Темрюк с сыновьями, такими же крупными и дородными, как их отец, тронул повод коня и свернул с дороги на тропинку, ведшую к старику Салиху, пахавшему на быках со своим внучком.

Немного не доезжая до пахаря, спешились.

– Доброго урожая, Салих,– поприветствовал старика князь.

– Спасибо, зиусхан,– приветственно поднял руку пахарь.– Не стану вас утруждать в поле своим приглашением и пожелаю тебе и твоим путникам, пусть каждый ваш день будет таким же добрым и погожим, как сегодняшний, пусть поле вашей жизни будет всегда добрым к вам.

– Спасибо и тебе за добрые пожелания. День стоит, лучше не бывает. Сегодняшний день, а каким будет завтрашний, что ждет нас, если бы знать, за каким углом подкарауливает нас беда?

– Валлахи-биллахи, зиусхан, если так размышлять о каждом будущем дне, ждать только беды, тогда лучше не жить, а успокоиться смертью, и не станет никаких забот да сомнений. Не-ет, зиусхан, Аллах создал нас вместе с надеждой, с верой в добро. Разве солнце бывает только злым, а дождь зловредным? Даже мороз зимой и тот бывает хорошим, красивым. Вот как мое поле, смотри сейчас на него – черное, как бы мертвое, а настанет весна, о-о, зиусхан, зацветет оно, заиграет, все беды смоет своею радостью да Божьей благодатью.

– Правда твоя, Салих. Без надежды жизни нет, человека нет, а есть какая-то мгла, из которой и не выбраться,– сказал князь, думая: «Старичок с пальчик, вроде и глядеть-то особенно не на что, а поди же ты, сколько доброты и мудрости в нем».

– Прости, зиусхан,– усмехнулся Салих в свои жиденькие седые усы,– а по моему разумению, так только одна надежда никогда и не умирает.

– Вон как! – не сдержал удивления Темрюк.

– Пашу это поле и надеюсь, что оно принесет мне добрый урожай. Мне и моему скоту, семье моей. Вкладываю во внука добрые чувства, учу еще дедовской мудрости и надеюсь, что выйдет из него настоящий адыг – честный, мужественный человек, не стыдно мне будет смотреть на него с высоты того света.

– Спасибо тебе, Салих, за мудрость твою.

– Не моя это мудрость,– весело возразил старик,– а нашего с тобой народа.

– Да поможет Аллах сбыться твоим желаниям, Салих. Эй, парни,– позвал князь сыновей.– Доманук, берись за ручки сохи, а ты, Мамстрюк, за повод, погонщиком будешь. Попашите, а мы с Салихом поговорим немного.

Сели они на крутой пригорок, на теплую и мягкую, уже отжившую свое траву. Помолчали, глядя вдаль, туда, где высились в небе горы,– без сомнений, без тревог, твердо уверенные в себе, в своей незыблемости и неземной истине, хотя и стояли на земле. И, как знать, может быть, эта безгреховная незыблемость, это спокойствие передавались людям, помогали им жить, верить, надеяться.

– Пашу, потому что надеюсь, и сею с надеждой, а молочу с радостью, и все получается, все имеет смысл. А вот кумыкский шамхал может разрушить и разрушает все надежды. Как предугадать этого мерзавца, как понять – вот тут не на что надеяться. Он убил двух моих сыновей и третьего может убить, и тогда моя жизнь, мои надежды теряют всякий смысл. Ты скажи, мы можем надеяться, что он будет уничтожен? Ты – наш зиусхан, вы – все наши зиусханы, дайте нам эту надежду. Только вы, предводители, можете повести нас всех вместе добывать эту надежду. А то ведь получается, что адыги – слабосильные люди, не могут себя защитить. Когда же такое стыдное было на нашей древней земле?

– Салих, счастливый тхаматэ, ты говоришь, что мы, значит, зиусханы, должны повести свой народ на правое дело, однако мы сначала должны сами найти единение между собой, согласие, чего нашим предводителям и не хватает, и получается – по своим углам растаскиваем землю адыгов... Как ты думаешь, Салих, почему я покинул баксанскую Кабарду? Да потому, что Кайтук и его сыновья Пшиапшоко, Асланбек, Тепшанук, Кайтук и Жансох почему-то не захотели, чтобы я со своими сыновьями жил с ними рядом. Возревновали, возвыситься им захотелось надо мною, а ты говоришь – объединяться, рука об руку, плечом к плечу. Я хотел податься к беслинеям, но меня позвал к себе мой добрый родственник Джилахстан.

– Да, зиусхан, знаем мы эти распри. Хорошо, что ты приехал к нам в джилахстанскую Кабарду со своими

сыновьями. Четыре богатыря растут. Сила!.. Ты, я думаю, очень разумно поступил, сблизившись с астраханским и ногайским ханами, выдав за них замуж своих дочерей. Им, девочкам твоим любимым, там, среди чужого народа, трудно живется, но они это делают для всех нас, и все мы, все наши люди им благодарны. Так им и скажи.

– Спасибо за твое понимание, за твою мудрость.

– Еще, зиусхан, если позволишь, скажу тебе. Не только от себя, от тфокотлей, от всех...

– Слушаю, Салих.

– Говорят, хорошо бы тебе породниться и с кумыкским шамхалом, выдать за него свою младшенькую дочь, он тогда и перестанет нас терзать.

До Темрюка доходили слухи о его сближении с шамхалом но он не обращал на это внимания – просто болтают несерьезные, ничего не понимающие люди, но когда вот прямо, всерьез сказал Салих, он даже вздрогнул сердцем: «О, как беспощадны люди! Они что, не понимают, с какой болью мать моих девочек отдала их на чужбину, не знают, что у меня есть отцовское сердце? У всех у них есть единокровные внуки, радующие их. А каково мне, что мои дочери рожают кому-то чужому внуков, а разве мне не хочется видеть своим зятем адыга? О Всевышний, как беспощадны Твои люди. Как он сказал, Салих: мы знаем, как трудно живется на чужбине твоим девочкам, мы знаем, что они живут этой трудной жизнью для всех нас, и мы им так благодарны. О, они благодарны, так отдай им еще и третью дочь, осироти себя, жену свою...»

Салих увидел, как переменился в лице, стал тоскливым князь, понял причину этой перемены и сказал:

– Я, зиусхан, кажется, сделал тебе больно, заговорив о твоей младшей дочке, о шамхале, прости меня. Когда болит сердце, делаешься глупее и не слышишь, как оно болит у другого.

– Мне не за что на тебя обижаться, ведь ты сказал то, о чем уже многие говорят... Скажу тебе прямо: если меня вся Кабарда об этом попросит, адыги попросят, я уступлю их просьбе. А с шамхалом так или иначе надо что-то думать, надо его обуздать, но как, почтенный тхаматэ? Об этом должны думать все и стремиться все, только тогда дело и получится. Всех благ тебе. Я поеду, а сыновья пусть еще поработают.

– Зиусхан, не обессудь. Ох, как нехорошо получилось, а все из-за моего поганого языка.

«Как я могу обижаться на старика: если бы наши зиусханы мыслили, как он, адыгская земля была бы совсем другой, достойной своих отцов и дедов. Конечно, у него болит сердце, ведь у него остался один-единственный мальчик... Когда я сказал зиусханам баксанской Кабарды, что нас грабит шамхал, что у нас житья нет от него, и попросил у них помощи, они с ухмылкой ответили, мол, сами себе помогайте. Ничего, дайте время, подрастут мои сыновья, войдут в силу, перед людьми своими чистыми сердцами поднимутся, мы тогда кое-кому покажем, припомним их ухмылки. И в Беслинее, и в Абадзехии все то же самое – только я, только мое, а остальное хоть огнем гори. Но вот интересно – посланцы жанеевского хасэ поехали с Сибоком в Московию. Ездили туда беслинеи с абазинами – ну и что?! А ничего, как было, так все и осталось. Ох, добра, думаю, от этого и теперь не будет. До Московии, ох, как далеко, а крымский хан вот он, за проливом Керченским, под боком. Да и Турция рядышком. Не простят они этого Сибоку, не простят. Боюсь, крымский хан сделает с жанеями то же самое, что раньше сделал с беслинеями и абазинами,– разграбит, сожжет их селения, угонит в рабство мальчиков и девочек...»

Сыновья догнали отца и, как полагается, ехали сзади.

– Зиусхан, можно стать рядом? – спросил старший сын Доманук.

– Становись. Ты что-то хочешь сказать?

– Мы не поняли, почему ты так поспешно уехал?

– Наговорились со стариком досыта,– улыбнулся Темрюк.– А вы что, хотели допахать поле?

– Мы и допахали.

– Доволен остался старик?

– Очень! Еще и тем доволен, что мы с его мальчишкой подружились. Славный такой парнишка. Алимханом зовут. И боевой! С быками управляется, будто взрослый.

– Спасибо вам, спасибо, сыны мои. Подъехали вы, и я увидел вас в хорошем настроении. Так всегда бывает, душа радуется, если человек сделал добро. Он, может быть, и не думает об этом, а душа сама знает и потому радуется... А по своим сестрам вы не соскучились? Они ведь ваши, у вас нет никого на всей земле. Это тоже надо понимать

и ценить, как то, чего ни за какие деньги не купишь. Надо бы вам съездить к ним, пока погода добрая. Обязательно надо, им на чужой стороне, хоть и хорошо живется, а все же скучают по дому, по отцу с матерью, по вас.

Всадники веселой рысью поднялись на холм, и перед ними у подножия высокой с острой вершиной горы открылись Джилахстан, Надтеречная Кабарда. Лес в осеннем пламени красок. И над всем этим голубым шатром еще по-летнему яркое небо.

После обеда, ближе к вечеру, у коновязи Темрюка появился на коне в праздничной черкеске и золотистой папахе старик Салих:

– Я рад вас приветствовать, красавцы,– обратился он к сидящим на скамье под яблоней молодому зиусхану Султану и его младшей сестре Гошевнай, которые поднялись, увидев старика.– Мне надо повидать зиусхана Темрюка.

На веранде показался князь и пошел навстречу старику:

– Чего стоишь у ворот, Салих, проходи, будь гостем!

– Да благословит тебя Всевышний, зиусхан. Я выскажу свою просьбу, и ты поймешь, почему я не буду сейчас заходить в твой дом. Я очень волновался после нашего с тобой разговора, ругал свой мерзкий язык. Рассказал об этом своей старухе, и она, всем известно, большая искусница на кухне, приготовила вкуснейший четлибж, душистую бузу и сказала: иди, бей челом перед зиусханом, зови его в гости, может, тогда все и уляжется добром.

– Э-э, старый и мудрый Салих, не вгоняй меня в краску, не надо, не стою я того, ведь никакой обиды не было, просто мы поговорили по душам. Султан, прикажи седлать моего коня, я еду в гости к Салиху.

Зазолотилось солнце, клонясь к своему покою, когда к воротам Салиха прискакал на взмыленном коне гонец.

– Прости, зиусхан, я привез тебе дурную весть: на берегу Терека появились воины-шамхалы!

– Скачи, поднимай воинов!

– Они уже ждут тебя, зиусхан.

– Алимхан,– позвал внука Салих,– пусть седлают коня, и принеси меч!

– Спасибо тебе,– сказал Темрюк,– но война уже не по твоим годам.

– Старику лучше умереть в бою, чем жить в рабстве, зиусхан. И, думаю, я смогу еще зарубить одного-другого врага, а там будет видно.

– Что ж, уважаемый Салих, как говорится, вольному – воля. Ты – истый адыг.

Вскоре по установленному сигналу тревоги поднялась вся Надтеречная Кабарда.

IX

Мамий шел к себе домой и неторопливо размышлял: «Давлет-Гирей похож на непредсказуемое море: и с ветерком бывает ласковым, а то и ветра нет, а на нем поднимутся, взбунтуются волны, пришедшие издалека. А уж если заштормит – тут держись от него подальше, спасайся.– Если Мамий, забывшись, прибавлял шагу или неосторожно двигал плечами – побитая спина напоминала о себе, и он улыбался: – Это что, он ударил меня жалеючи, а то ведь случалось, иных с ног сбивал или вовсе на тот свет отправлял... Хитромудрый Тлимаф когда-то говорил: «Никогда тому, кто стоит над тобою, не сообщай дурную весть. Постарайся сбыть ее кому-нибудь другому. Сообщишь своему предводителю дурное, и получается, будто сам его сотворил. Хочет он или нет, а затаит на тебя обиду. Опасайся этого, опасайся». Что касается меня, я был бы на месте хана еще жестче, потому что порядок во всем – это и есть жесткость, как железная подковка, а без порядка какая власть может удержаться, не расшататься. Вон у адыгов: их слабость в том, что все они мудрые, а нет твердого порядка, нет жесткости, нет и такой страны, как Турция или Крымское ханство... Не знаю, не знаю, но я уважаю Давлет-Гирея. Пока я служу, сколько нерадивых своих подчиненных отправил на тот свет или плеткой, или ятаганом, или еще как. Наказывать наказывает, но и добротой своей не забывает одаривать. И доброе слово скажет, и пошутит, и отечески улыбнется. А богатство моего сундука откуда? А-а, то-то и есть – доброта ханская».

Вошел Мамий в свой дом и остановился, рассматривая персидские ковры, висящие на стенах, стлавшиеся у него под ногами, рассматривал дорогую заморскую мебель, отделанное серебром и золотом оружие, рассматривал, и забылась его боль...

Мариам тихонько подошла к нему сзади, тронула за спину, и Мамий резко дернулся всем телом, оглянулся:

– Ты что, с ума сошла!

– Прости, Мамий, нечаянно, забыла, а еще... до этой твоей беды, когда ты собрался идти к великому хану с дурной вестью, я хотела остановить тебя и сказать... но не посмела.

– А откуда ты узнала, что я должен идти к хану с дурной вестью? – насторожился Мамий.– Говори, не лукавь и... не бойся.

– Я нечаянно услышала,– взволнованно задыхаясь, заговорила Мариам,– твой разговор с человеком, который привез ту весть. А еще я знала, та весть неточная, вестник не знал, когда выехали жанеи.

– От кого ты это узнала? – взяв за руку Мариам, глядя глаза в глаза, спросил он.

– Прошу тебя, не сердись, теперь уже все прошло. Я обязательно и обо всем тебе расскажу, а сейчас ложись на кровать, я полечу твою спину, помогу унять твою боль.

Разделся он до пояса, лег лицом вниз и тут же ощутил, как ее ладони нежно коснулись его тела.

– Ведь ты, Мамий, ни отца его, ни мать не убил, не сделал другого ему зла, за что же он так тебя? – беззлобно ворчала Мариам, осторожно поглаживая раненую спину.

– Осторожнее, прошу тебя. Сгоряча я не почувствовал такой сильной боли, а теперь... Хан Давлет-Гирей приучил: когда бьет нас, то нам кажется, будто бы ласково целует... На то он и великий, на то он и посланник Аллаха.

– Я намажу спину вот этой мазью – она еще от бабушки – приложу травку, и боль уймется, а через день-другой все заживет... Еще немного, еще немного, вот уже и все, как надо.

Мамий, опираясь на обе руки, лег на правый бок.

Мариам распахнула халат и прижалась к груди Мамия:

– Ложись на меня, пусть горячая кровь схлынет с тебя...

Мамий рассмеялся:

– Давлет-Гирей без твоей помощи изгнал ее... Полежим спокойно, мне перед трудной дорогой надо отдохнуть.

– Хорошо. Отдыхай, мой хороший, мой милый, но скажи мне, если хан посылает тебя на такое большое и

важное дело, зачем он так ударил тебя? Это просто неумно. Я иногда просто не понимаю вас, мужчин, особенно нашего великого хана.

– Перестань, Мариам, не смей так говорить о посланнике Аллаха. Он – наше солнце, а солнце – это все, весь смысл жизни нашей. И разве так не бывает, что солнце обжигает нас, иссушает поля. Еще как бывает, но оно – солнце, может быть, самый первый помощник Аллаха. Даже Всевеликий Аллах, любящий нас, не только милует, но и наказывает.

– Ты прав, мой дорогой, мой любимый. Не сердись на меня, ведь у женщины волос долог, а ум короток.

И еще что-то говорила Мариам, но Мамий уже не слышал ее, был занят своими размышлениями.

Круглолицая, с большими искристыми черными глазами, не то печальными, не то грустными, с тонкой талией Мариам... Он подумал: «Это была красивая девочка, но годы в гареме сделали ее тусклой, как тускнеет все с годами. Годы годами, а если они еще и в неволе, так каждый идет за три, а то и за пять. А роскошный ханский гарем, конечно, гарем. У нее где-то живут отец с матерью, может, братья и сестры. У нее стоит где-то отчий дом, стелется лужок у этого дома, струится, поет свою песню речка, которых она никогда не увидит, как не увидит своего детства, девчоночьей свежести, как первый ландыш в лесу, первый тюльпан на степном ветру. У нее, у женщины, не будет ребенка, смысла жизни... Хан сделал мне подарок, а в общем –бросил, как обглоданную кость. А зачем он отдал ее мне? Может, она – глаза и уши хана? Нет-нет, уж очень грустные у нее глаза, тихий девичий голос и руки такие мягкие и ласковые. Нет-нет, такие глаза, такие почти материнские руки не могут лгать, не могут предать...»

Он погладил ее лицо, плечи, прикоснулся к ним губами. Она вздрогнула и затихла, только было слышно ее взволнованное дыхание. Взволнованное, благодарное.

Не заметил этого Мамий, он был опять занят своими мыслями. Ему подумалось, что Мариам может быть верной женой, доброй подругой, но она чужих кровей, а почему-то хотелось иметь женой черкешенку. Просто черкешенку – застенчивую, пугливую, как горная козочка. Почему? Этого он не мог объяснить. Да разве можно объ-

яснить, почему ты любишь... нет, даже не любишь, а просто дышишь тем селом, где родился и бегал по лугу, нырял в незадачливой речушке, почему любишь именно тот лес, что неподалеку от дома твоего отца, именно то небо, твое, над твоим селом... Говорили, дочь Дзагашта Накура стала первой красавицей. Она и девочкой была очень милой, притягательной. «Обещал же хромой выкрасть ее для меня и что-то ни слуху ни духу, будто в воду канул...» С этой мыслью и уснул Мамий. Только, как ему показалось, глаза закрыл, как услышал топот ног, и даже не понял сразу, откуда он и почему.

Что такое?! Мамий осторожно стал подниматься, но боли в спине не чувствовал. Даже не поверил этому.

– Я проспал, Сарбай?

– Нет, еще не рассветает. Я просто пришел немного раньше, чтобы спокойно собраться и потом выехать без суеты.

Отряд конников во главе с Адыль-Гиреем и баскаком Мамием тронулся из Бахчисарая в предрассветных сумерках. Всадники неторопливо выехали за город и потом дали застоявшимся за ночь лошадям свободу. И те взяли веселый галоп, а размявшись, перешли на рысь, а потом, отдыхая, пошли шагом.

Погода была нежаркой, а потому всадники шли легко и на третий день пути вышли к Азовскому морю.

Мамий, прищурившись, всматриваясь в берега моря, в стоящие вдалеке пирамидальные тополя и мглу над морем, сказал:

– Мы уже миновали адыгское село Ацу.

– Живя за тридевять земель отсюда, как ты узнал об этом? – удивился Адыль-Гирей.

– Когда я покинул свое село и пока не прибился к посланнику Аллаха, к твоему отцу, Адыль-Гирей, исколесил все земли адыгов, можно сказать, я знаю их и на ощупь, и на глаз. Это мне очень помогает хорошо служить великому хану, к которому поставил Аллах. Я много повидал предводителей, но равного ему не видел. Он – настоящий мужчина, настоящий и великий предводитель.

– Спасибо, Мамий, мой отец, великий крымский хан, о тебе тоже хорошего мнения, доверяет очень серьезные дела.

– Пока я жив, пока бьется мое сердце, а рука надежно держит ятаган, я буду ему так же верно служить, как и Аллаху, если потребуется, во имя его дела не пожалею своей жизни.

– Спасибо, Мамий, да возблагодарит тебя за это Аллах... А теперь нам куда ехать и далеко ли еще?

– Не очень. Минуем село Шихам и выйдем на дорогу вдоль Дона, там мы их и перехватим. Надо поторапливаться.

– Тогда вперед! – скомандовал Адыль-Гирей и бросил своего быстрого коня в галоп.

Немало дорог вдоль Дона пересекали всадники и галопом, и рысью. И шагом, и снова галопом. Расспрашивали в селениях встречных пеших и конных, не видели ли они черкесских всадников, направлявшихся на север.

Нет, никто не видел, никто не встречал заезжих всадников.

Понял Мамий, что проскочили жанеи, и с ужасом подумал о плетке хана, о его разъяренном взгляде.

– Ты что голову опустил, Мамий?

– О великом хане вспомнил, о его справедливом гневе ко мне, недостойному.

– Ты, наверное, забыл, что великий хан и такое предвидел, а потому и приказал, что нам делать дальше, значит, выше голову и – вперед, не будем терять времени!

Утром следующего дня, лишь только занялась румяная зорька, крымчаки ворвались в первое встретившееся им село на берегу моря и зажгли камышовые крыши нескольких домов, из которых выскакивали женщины, дети, старики. Их рубили ятаганами, давили лошадьми.

Стоны и крики страждущих вознеслись к небу. Гибнувшие ни в чем не повинные люди молили о помощи Всевышнего.

Лаяли собаки, мычали коровы, встревоженно ржали в конюшнях лошади.

Рычали в ярости крымчаки. И как бы потухла зорька в смраде зла.

Лишь в конце села их встретили вооруженные конные и пешие, но защитников было так мало, что их тоже втоптали в окровавленную землю.

– Что там у нас, Мамий? – спросил Адыль-Гирей, когда они выехали из села.

– Мы везем семь мальчишек и девчонок. Шесть наших коней идут без своих всадников.

– Не обрадуешься,– уронил молодой хан.

В ответ на это Мамий сказал ему:

– Нам надо поторапливаться, светлый хан, потому что впереди у нас еще несколько жанеевских сел, увидят дым, поймут, что к чему, поднимутся всем миром, и тогда нам придется туго. Надо переходить на галоп и ветром проскочить эти селения.

– Верно, вперед!

Однако так просто им проскочить не удалось, и они в стычках потеряли еще шестнадцать своих воинов, прихватив всего лишь троих мальчишек.

Село Хатрам лежит в низине, его жители не видели бушевавших пожаров и были захвачены врасплох. Крымчаки здесь никого из своих не потеряли, увезли вдвое больше мальчиков, девочек и, нигде не задерживаясь, мчались к Керчи, куда должна прийти подмога от Давлет-Гирея.

Как-то после боя пожилой ногай сказал ему: «Война, конечно, есть война – кровь, смерть, но и у нас свои законы. Ты, Мамий, нарушаешь их все, ты даже для войны уж очень жесток, тяжко душе твоей будет на том свете, когда встанешь перед лицом Аллаха».

Мерно покачиваясь в седле на легкой рыси, Мамий вспомнил того воина и усмехнулся, вспомнив последний бой. Ногай гнался за тоненькой длинноногой девчонкой, почти настиг ее, как из-за плетня поднялся старик и снес его вилами, а Мамий срубил ему голову да еще одному молодому и старику, которые кинулись на него с мечами. Девочка схватила камень... Зарубил он и ее.

– Мамий, ты видишь? Это наши скачут! Мы сделали назначенное нам славное дело! – воскликнул Адыль-Гирей.

А с другой стороны долины, подняв облако пыли, с гиком неслась другая лавина – это были жанеи.

– Сарбай! – поднялся в стременах Мамий.– Возьмите в кольцо Адыль-Гирея, и смотри, чтоб волоса с его головы не упало! Скачите к морю, в сторону наших!

В неширокой долине с крутыми склонами сошлись крымчаки и жанеи.

Люди бросили боевой клич, громыхали мечами, выхватывая их из ножен, и лошади знали, что это означало: захрапели, заржали, вздыбились и кинулись угрожающе вперед.

Первым, кого из своих увидел Мамий, врезаясь в лавину жанеев, был Дзагашт, отец Накуры. Рванул Мамий повод вправо, резко повернув заржавшего коня, как тут же над ним навис громадный жаней.

– А-а, сам Аллах послал мне тебя, предательская морда! – зарокотал Калакут, вскинув свой двумерный меч.

В это мгновение кинулся между ними ногай, которого Калакут разрубил до пояса надвое, а Мамий рванулся в другую сторону, в гущу боя...

X

Беслинеи с абазинами и раньше обращались к царю, хотели стать под его могучую руку. Иван Грозный встретил их по-русски добродушно, но договориться тогда не смогли. Тут-то и дошел до Московии слух, что крымский хан в отместку решил напасть на Россию, и царь приказал двинуть свои войска против крымчан. Хан, узнав об этом, решил не ввязываться в войну с русским царем, лучше наказать непослушных беслинеев и абазин. Это «наказание» вылилось в кровавые побоища мирных, ни в чем не повинных людей. Начисто были разорены и сожжены многие селения, сотни людей были угнаны в рабство. Главным образом – подростки и юноши.

Иван Грозный знал, что Северный Кавказ – богатые и красивые земли с Азовским и Черным морями да Каспийским, на которые зарятся Крым, Турция, Персия. Он решил досконально обо всем дознаться и послал на Кавказ боярина, хоть еще и молодого, но уже показавшего себя в посольских делах, Андрея Щепотева. Он бывал в Турции, Крыму, хорошо знал положение дел в Казанском, Астраханском ханствах и в Большой и Малой ногайских ордах, знал и о разбойничьих повадках кумыкского шамхала.

Князь Сибок, конечно, понимал, что Давлет-Гирей обязательно захочет и будет пытаться перехватить жане-

евских посланников, поэтому всячески распространял слухи о том, какой дорогой поедут они к Азовскому морю, к Дону, на самом же деле путь был избран другой. Жанеи дождались на правом берегу Кубани боярина Андрея Щепотева, который возвращался из своей поездки по Беслинее, и отправились в дорогу. Одиннадцать адыгских всадников с Щепотевым двинулись на Московию.

Самая длинная дорога, какой приходится ездить на Кавказе, от Азовского до Каспийского морей, а тут они ехали уже третью неделю, и конца этой дороге еще не было видно.

Знали, что Русь – это нечто такое большое, чего нельзя измерить, меры нет такой, разве что числом истертых стальных подков. А еще за полтора месяца дни стали короче, будто за целый год. А еще день ото дня ветер приносил иные, неизвестные запахи полей, лугов, лесов. А еще небо, облака стали совсем иными, чем в Черкесии, дождь был холоднее, сердитее.

И люди совсем иные. Белолицые, светлоглазые, как сероглазый, с русыми усами и бородой боярин Щепотев. Все они какие-то уж очень открытые, как распахнутые двери. И говор другой – тоже открытый, звучный. А живут-то как! Мужчины и женщины ходят и разговаривают вместе, совсем не соблюдают различий, расстояния между собой. Женщины могут вмешиваться в разговор мужчин, даже перебивать их! Да и сами мужчины тоже странные: не понять, кто из них старше, кто младше, кто первый, кто второй.

И в селениях дома тоже с окнами, дверями, соломенными или камышовыми крышами, но это уже были другие дома, другие сараи и плетни, дым, что поднимался, как и у адыгов, к небу, был другим дымом, с другим запахом. Своим, российским. Как и люди с одинаковыми руками и ногами, с одинаково алой кровью в жилах, с одинаковыми сердцами, солеными слезами, но поди ж ты, они все такие разные! Черкесия, Турция, Крым, Русь – совсем разные миры.

Какая она огромная, Русь! И, конечно, чем больше, тем непонятнее, как все большое. Небо, солнце, море, степь...

Сибок познакомился с Щепотевым в Бахчисарае, когда еще был с ханом в добрых отношениях. Боярин ехал

к беслинеям и абазинам. Побывал и у жанеев, откуда Сибок и провожал его со своими всадниками до абадзехских гор. Давненько он знает боярина, но сказать, что считает своим другом, не может. Калакут как-то сказал: «Не торопись открывать свою душу, дарить сердце свое тому, с кем делил хлеб-соль, с кем говорил клятвенные слова, потому что в жизни в трудную годину он может и ногу тебе подставить, с коня снести. Только годы совместной горько-соленой жизни делают дружбу крепкой и надежной, как булатный меч».

Вспомнил Сибок и улыбнулся, ведь Калакут с раннего детства считался в доме Каншауковых за своего, чуть ли не за родного мальчишку, кажется, знал его, как самого себя, но его настоящего узнал совсем недавно, узнал, а понять и сейчас все еще не может. Почему Калакут не дал Ванатугу сказать свое слово, ведь они одинаково с ним думали о житье-бытье адыгов, об их объединении? Если Ванатуг смертельно обидел, украв и продав его сестру, почему он не убил, почему говорит: «Ванатуг, если вернется из Турции, то вернется другим человеком, и он, Калакут, не только простит, но и поможет ему, коли надо будет». И еще одно, а это уже обида не простая, а уходящая в глубину их отношений. Все село собралось на площади, чтобы проводить посланцев в Московию. Все село собралось, а Калакут на виду у всех пришпорил коня и умчался, не сказав добрых слов путникам, отправлявшимся в такую дальнюю и непростую дорогу, не себя ради, а для всех. Очень обиделись на него сельчане, да что сельчане, если бы был жив его отец, он тоже осудил бы своего сына. Один – против всего своего села! Как же можно не уважить, не посчитаться со всеми– это и стыдно, и грешно.

Сибок горько улыбнулся: «Вот тебе и дружба крепкая и надежная, как булатный меч. Значит, и годы нам с тобою не помогли, получились, как кривые палки, наши с тобою годы... Объединить адыгов в одну семью – это, уважаемый Калакут, в веках пытались сделать мужи покрепче тебя, и то ничего не получилось. Ты же потомственный адыг, и знаешь, что каждое адыгское племя – это камешек, даже драгоценный, и чем драгоценнее он, тем крепче. Соберешь, сожмешь ты их в кулаке и, сколько ни дави, не сожмешь

в один большой камень. Нет такой силы, Калакут, нет! Только повредишь свою маленькую человеческую руку».

Повалил снег. Мохнатый, липкий. Ложился покрывалом на папахи, черные бурки, на крупы и гривы коней, на бороды и усы. А у сына Сибока княжича Кудадека, у которого еще только стал появляться пушок на месте будущих усов и бороды, снег таял и соскальзывал на грудь. Неспокойно отеческое сердце, но Сибок не подавал вида: «Сам напросился парень, пусть сам и держит себя, как подобает мужчине». И все-таки крикнул:

– Передайте, пусть Кудадек накинет башлык.

Из-за соснового перелеска выскочил ветерок и закрутил вокруг всадников метелицу.

– Боярин Андрей, долго ли нам еще ехать? Далеко ли еще до Московии? – спросил Сибок.– А то как настанут ваши морозы, привезешь ты нас ледышками.

Боярин стряхнул со своей бороденки снег, хохотнул не совсем мужским голосом:

– Это какой мороз надо, чтобы вас в бурках да папахах проморозить. Это вас надо на самый север, под Архангельск, до Студеного моря, что ли, везти. А что касаемо Московии нашей матушки, вот она, уже скоро Тула покажется, а от нее-то, родимой, как говорится, рукой подать. Ежели вам не доводилось раньше в ней бывать, так увидите чудо земное. Кремль – где восседает наш царь-батюшка, великий государь Иван Васильевич – это чудо земное. Счастливы будете видеть его, так что крепитесь, господа жанеи.

– Всякой длины бывают дороги,– заговорил Дударук,– но чтобы такой! Я даже не верил, когда о ней говорили. Там, говорят, и вовсе конца и края нет. Ты нам скажи, уважаемый боярин, сколько еще дней нам мерить дорогу да теперь вот еще через снежную бурю.

Совсем развеселился боярин, рассыпчато рассмеялся:

– То-то она и называется – Великой Русью. Думаю, если не жалеть коней, то через недельку и окажемся в стольном граде.

– Ого! Больше месяца получится,– робко сказал Кудадек.– Это уже мы, можно сказать, весь белый свет проехали.

– Что ты ноешь? – строго оборвал его Сибок.

– И вовсе не ною, отец, просто так, из любопытства.

– Тебе же сказано: хорошенько укутайся, а то я велю отстегать тебя. Из любопытства.

Навстречу всадникам лихо пронеслась с бубенцами тройка, запряженная в сани.

– В такую погоду сидеть бы дома в тепле, а они куда-то едут, видно, по очень важному делу,– сказал Ацамук.

– Что ты, князь, в такую-то погодку только и промчаться с ветерком да с бубенчиками! Одно удовольствие!

– А зачем это они звонят?

– Как зачем?! Чтоб веселее было в дороге.

Много встречалось всадникам и пеших, и конных, в санях-розвальнях. Почти все они останавливались, с любопытством смотрели на всадников, как-то странно одетых. Останавливались, смотрели и потом, конечно, судачили: что за люди иноземные скакали вместе с русскими: откуда, куда и зачем...

Трудные, большие дороги не бывают по пустякам, а чем больше дело, тем оно труднее, как камень – чем он больше, тем тяжелее.

«Конечно,– размышлял князь Сибок,– едешь в страну по важному делу, надо бы знать ее язык, но это не такая уж беда – боярин знает язык адыгов, будет переводчиком. Да и кроме него, найдутся в Московии толмачи».

России нужны добрые друзья на Кавказе, чтобы твердо противостоять Турции, Крыму, тем более что Казанское и Астраханское ханства, Большая и Малая ногайские орды – теперь под российским щитом. Тут у Сибока есть твердость под ногами. Он уже много времени провел с бояриным, уже столько с ним переговорено, однако, когда князь ставил перед ним прямо свои вопросы, Щепотев сказал ему: «У адыгов есть пословица: в неначатом деле таится змея, так что не будем забегать вперед, не будем бежать впереди своего скакуна. Не обижайся на меня, князь, ведь Русью правит самодержец, только он и властен сказать последнее слово в каждом важном деле, а Кавказ – очень важное дело! Я буду стараться, чтобы помочь тебе, но ведь ты не самодержец Кавказа, даже одной Черкесии». В этом-то и беда, в этом-то и заключалось главное беспокойство Сибока. «Жанеи приняли свое решение на хасэ, но с ними не согласны абадзехи, махоши, бжедуги, темиргои, а кабардинские адыги ведут себя так, будто мы отни-

маем у них что-то, натухаи же делают вид, будто вообще не знают о нашем существовании... Выходит, все мы умники задним числом, как сказал Калакут. И в самом деле, уже давно забытое в мире до нас доходит как новость. После того как турецкий султан Сулейман повесил нашего племянника Мустафу, мы принялись размахивать кулаками, будто это случилось только вчера. Своей пустой болтовней разозлили султана, и он прислал к нам с кровавой расправой войско Сагиб-Гирея, а теперь вот... не знаю, правильно ли мы поступили, отправившись в Московию, ведь Давлет-Гирей, узнав о нашей поездке, учинит новую расправу в наших селениях. А все это потому происходит, что даже в нашем племени бесконечные распри между князьями и князьками. Тлимаф, наверное, прав, сказав: надо собрать всех князей, начиная с Кабарды и заканчивая Жанеей, запереть их в сарае без еды и воды, держать до тех пор, пока они забудут свою спесь, в единомыслии займутся делом своего народа. То же самое говорит и Калакут. Как он там...»

– Свет, свет показался впереди, огоньки! – возвестил обрадованно Дударук, пристально вглядываясь во тьму.

– Очень хорошо,– отозвался Щепотев.– Значит, заночуем в Туле. Заедем на околице в постоялый двор, поужинаем, я с устатку чарку водочки выпью. Завтра еще один бросок до Серпухова, а там уже до столицы нашей рукой подать, так что веселитесь, господа жанеи!

Все так и было... Поднявшись на пригорок, путники увидели на Боровицких холмах залитый тихим зимним солнцем Кремль.

Спрыгнул с коня Андрей Щепотев, сняв островерхую шапку, широко перекрестился:

– Благодарни суще недостойнии рабы Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниях на нас бывших, славяще Тя хвалим...

Приносил благодарственную молитву Аллаху князь Сибок со своими спутниками.

Помолившись, окрепли духом, обрадовались душой, поднялись в седла.

– А ты что, сын мой, не собираешься с нами ехать, столбом здесь будешь стоять? – весело спросил Кудадека князь Сибок.

– Скажи, зиусхан, а что это там до самого неба поднялось? Высотою вроде бы горы, но совсем не горы. И светятся, будто горят.

Улыбнулся Сибок:

– Это церкви их, как наши мечети. А светятся они – золотом покрытые... Придет время, я повезу тебя в Крым, в Турцию – увидишь мусульманские мечети с очень высокими минаретами.

– Не поеду я туда! – сердито сказал Кудадек.– Там враги наши. А если и поеду, то только на боевом коне.

– Хорошо бы, хорошо бы, сын мой,– вздохнул Сибок,– да это только будет, как в сказке. Нам бы на свою землю не пустить тех врагов.

– Не пустим!

– Твои слова да услышал бы Аллах. Становись со мной рядом и поехали. Сегодня ты всякого насмотришься, чего не видел, да и увидишь ли еще когда-нибудь?

– Увижу,– не унимался Кудадек,– я все увижу!

– Помогай тебе Аллах, а сегодня увидишь Московию, и хорошо, если бы ее люди стали нашими друзьями.

– А почему бы им не стать? Адыги – добрые душой, у них красивая и богатая земля.

– Может, и станут, трогай, сын мой.

Удивлялся Московии не только Кудадек, а все жанеи. Даже сам князь Сибок. Удивлялись причудливым сугробам в рост человеческий, лихачам, мчавшимся, вздымая снежную пыль, верхом, на санках, запряженных рысаками, встречным пешеходам с покрасневшими от мороза лицами, одетым в длинные диковинные шубы.

Улицы широкие, если сравнивать с улицами сел, а было тесно на них, так они многолюдны. Тесно двух и трехэтажным домам каменным, кирпичным, просто побеленным и красиво разукрашенным.

Нескончаемым рядом тянулись вдоль улиц магазины, питейные заведения, харчевни, разные мастерские с затейливыми вывесками. То бублик нарисован, то сапог, то пузатый самовар, то длинноносый чайник.

Но больше всего удивляли сами московичи. Конечно, на них невиданные овчинные шубы и полушубки, длиннополые зипуны, но с ними были и женщины! В шубейках,

в пуховых платках – они не просто ходили с открытыми лицами, а разговаривали, спорили с мужчинами, размахивая руками. Улыбались, смеялись!

– Они живут по своей православной вере,– сказал Сибок и добавил: – Это их дело, их заботы, а мы – всего лишь гости.

На перекрестке стоял здоровяк в островерхой шапке и сермяжном зипуне. Стоял и раскачивался, будто ветром его шатало.

– А-а, татарва поганая к нам пожаловала!

Адыги не поняли его слов, но поняли – бранился он на них.

– Не обращайте на него внимания,– сказал боярин,– бузы лишнего хватанул, вот его и качает, мозги помутились.

– У вас тоже есть хмельная буза? – спросил Дударук.

– А как же! Да покрепче вашей будет, почитай раз в десять.

Мужик тот, сжав кулаки, подался в сторону всадников.

– Никита,– обратился боярин к одному из своих воинов,– угомони его, только чтоб в живых остался, но запомнил нас.

Никита угрожающе поднял на дыбы своего коня, потом развернулся в сторону пьяного, достал его плеткой. Тот скукожился под ударами и рухнул в сугроб.

– Вот так, люди православные,– сказал белобородый старик в овчинном тулупе,– то нас татары хлестали, а теперь – сами себя по их повелению.

Никита развернулся к нему:

– Не татарва, а государевы гости. Будешь болтать лишнего, плетки у меня и на тебя хватит!

– Ну! Остепенись! – гаркнул боярин и повел гостей по Арбату, к гостиному двору.

В гостинице по велению боярина Щепотева адыгов поселили в самых дорогих комнатах. Расселили кого с кем, как гости сами того пожелали. Потом пригласили их на обед.

После сытного обеда Щепотев сказал гостям:

– А теперь отдыхайте, чтобы завтра свеженькими предстать пред очи великого государя нашего Ивана Васильевича.

XI

Говорят, у врага очень длинные, все слышащие уши. Лучше иной раз промолчать, не досказать, чем сказать лишнее. Кто мог предать, кому понадобилась кровь единоплеменников, кровь ни в чем не повинных мирных людей? Кто-то из стариков сказал: «Это сделал человек с черной душой, с камнем вместо сердца».

Рассвирепевший Давлет-Гирей, оттого что не удалось перехватить жанеевских посланников, приказал своим конникам так наказать адыгов, чтобы, как сказал он, «и у внуков их чесались спины от ногайских плеток, чтобы до правнуков дошел дым сгоревших сел».

И было так: четыре селения полностью разгромлены, дотла сожжены. Хоронить погибших приходили из других сел. Хоронили, помогали построить турлучные дома. Помогали едой, одеждой, добрым словом, душевностью. Если бы умели быть вот такими князья, бескорыстно заботиться друг о друге, тогда не было бы у адыгов таких бед– смрада пожарищ, пролитой крови, увезенных на чужбину детей, их будущего. Не пришлось бы матерям так страдать, мучиться безысходной тоской по детям, пропавшим в безвестности.

Женщина, потерявшая юную дочку, мужа, мать, отца, и не плакала – все слезы уже выплаканы, в душе осталось нечто большее, чем боль страдания, чем смысл самой жизни: «Зачем мне Русь, зачем мне весь мир после того, что случилось с моей семьей? Нана моя говорила: лучше жить в тесноте, да не в обиде, в бедности, да со спокойной душой. Нана моя, нана, забери меня к себе, я не хочу больше видеть ни солнца, ни неба».

В схватке близ села Хатрам Калакут был ранен ударом ятагана в левую лопатку. Он решил, что это мелочь, и продолжал рубиться с наседавшими янычарами, а когда отбился, почувствовал, что не может поднять левую руку: рана дала о себе знать. Он вспомнил: кто-то промелькнул мимо него, взмахнув ятаганом, это же был Мамий, оказывается, он взмахнул и...

Вечером у Калакута начался жар. Он не знал – спал или нет, только и помнил, как все время хотелось пить,

как горело огнем все в груди. Сколько это продолжалось, что с ним было, он не знал, только и вспомнил, что увидел соседку, жену Сибока, княгиню Загирету. Показалось, будто он спросил, что она здесь делала, но только показалось, не хватило сил произнести слова, и он снова забылся, а потом была уже другая соседка, она что-то делала с его спиной:

– Теперь будет легче, эта травка на вид невзрачненькая, а сила у нее волшебная. Подкрепись теперь, попей бульончика куриного.

Калакут пил, дрожа всем телом, пил жадно, и ему казалось – не бульон, а сила входила в него.

Потом узнал, что по очереди ухаживали за ним. Из какого-то дальнего села принесли целебную травку, а из другого – мазь.

Дней через пять он поднялся и, пошатываясь, прошелся по комнате. Он никогда не боялся смерти, вернее, считал, что она не для него: руки у нее коротки, а тут подумал, что несколько дней и ночей пролежал с нею в обнимку, как бы породнился. Не мог не усмехнуться: «Теперь мы с нею свояки».

В коридоре послышались шаги. Вошел старейший из жанеев Тлимаф со своим сыном Дзегаштом, следом, понурив голову, вошел Зазий.

– Эй, парень! – возмущенно воскликнул Тлимаф.– Ты почему встал?! Эта, которая с косой, еще стоит у твоих дверей. Ложись, ложись, ты нам нужен здоровым... Вот и хорошо. Адыгство будешь соблюдать, когда выздоровеешь. Садитесь, все садитесь и пожелаем нашему Калакуту скорейшего выздоровления. Его здоровье, его меч, ох, как нужны нам всем.

Неторопливо, с достоинством расселись.

Зазий примостился на краю скамейки.

– Валлахи, Калакут,– не умолчал он,– я никогда не думал, что найдется воин, который может тебя одолеть. Может, это был великан? – усмехнулся старик.

– Не одолел он, сзади, исподтишка напал, иначе я бы показал ему. И кто бы ты думал?.. По-моему, это был Мамий...

Совсем поник головой Зазий, не знал, куда себя деть.

– Ты, Калакут, не обижайся на моего друга,– с чувством произнес Тлимаф.– Как и нам, ему очень больно от всего

этого. Позвал его тебя проведать я. Он опечалился очень: с какими глазами, сказал, поеду к тому, кого ранил мой сын.

Тихо сделалось в комнате, так тихо, что было слышно, как дышал Калакут, как взволнованно вздохнул каждый.

– Спасибо тебе, Тлимаф, за правду твою... Я приехал к тебе, Калакут, не пощады просить за своего... такого сына, не оправдывать его. Все это теперь не имеет смысла. Не сумели мы с матерью привить доброту его горячему сердцу.

Слушал Калакут худенького, ставшего вдруг совсем маленьким, со слезящимися глазами старика, и его грудь наполнилась жалостью, мягкой человеческой жалостью, хоть подойди к нему и скажи: уж ладно, хватит об этом, но... будто ощутил он едкий запах пожарищ, услышал рыдания обездоленных матерей. «Ладно, Зазий, на этот раз ладно, но знай, если он попадется мне еще раз, не будет пощады».

А Зазий мысленно жаловался Калакуту: «Цираца моя в девках была красивее всех красавиц, только красота и зловредной бывает. Считала Цираца свою красоту достойной великого князя или хотя бы какого-нибудь верховного правителя, чтобы жить ей в княжеских хоромах, в золоте да серебре, но выдали ее родители за меня, а не за князя или не богача! И она стала злой, чуть не в ведьму обратилась, вот и рос наш мальчик в черной злобе – ни тихого доброго слова, ни материнской ласки. Зло оно как самая заразная болезнь, может, и мальчик заболел ею, а иначе откуда у него такая жестокость?»

Скоро принесли анэ с едой. Конечно, надо, чтобы больной хорошо поел, а в компании всегда аппетит лучше, но главное даже не в еде, а в том, что они пришли к Калакуту лечить его своей добротой.

Ели мясо, пили медок и вели приятные разговоры о разных разностях. Опять же хорошо, что навестили, но так, чтобы и не утомить больного.

– После еды, как говорится, гость смотрит на дверь,– встал Тлимаф.– Моя сноха сказала, что у тебя хватает разных лекарств, даже в горы ездили к какой-то знаменитой лекарке, все-таки я оставлю и свое. Да поможет оно тебе.

– Самая лучшая помощь, самое лучшее лекарство – это все вы,– сказал Калакут с легким поклоном и хотел проводить уважаемых гостей, но Тлимаф запретил ему.

После приезда Тлимафа с сыном приезжали навестить Даур из Абадзехии, двое из Беслинеи, а еще гость из Натухаи – такого же могучего телосложения, как Калакут, на ретивом вороном коне с дорогой сбруей, в добротной серой черкеске, с доспехами, отделанными черненым серебром. И весельчак с густым и раскатистым смехом:

– Я приехал, чтобы посидеть с Калакутом, полечить его своим весельем, своими шутками изгнать из тела болезнь, вернуть его на боевого коня!

Сельчане были рады и гордились, что к ним зачастили гости:

– Калакут показал всем, на что способны наши жители, когда защищают свою родную землю.

– Кто пролил кровь в схватке с врагом, тот достоин славы и чести.

Находились и недобрые люди, завистники. Криво усмехаясь, цедили сквозь зубы:

– Уважаемый Тлимаф перестал разбираться, кому следует, а кому не следует оказывать честь, лично навещая его дома.

Калакут умел и честь встретить по-мужски скромно, и мимо ушей своих пропустить разную хулу. Он беспокоился о тех, кто остался без жилья, обсуждал с сельчанами, как помочь пострадавшим, на первый случай поставить хотя бы турлучные дома, помочь зерном, барашками, телятами. А еще его мысли были заняты посланниками в Московию. Он не одобрял решения Сибока поехать к русскому царю. «Конечно, урусы добрее, доброжелательнее других, но если мы войдем в их государство, оно обязательно заставит нас подчиняться своим порядкам, своим законам, как и любая страна. Турция заставила нас даже веру своих отцов поменять на ислам... Адыги не такой уж малый народ, у него свои просторные, богатые земли. Нам бы объединиться и занять среди народов свое скромное, но достойное место. Только так мы можем сохранить душу нашего народа, завещанную дедами».

Отфыркиваясь, вошел Псамит. Он был так возбужден, что даже забыл поздороваться:

– Какой там хороший хлебородный дождик идет! Как говорил мой дед, это осеннее золото сыплется на поля и луга. Ну-ка, ложись на правый бок. Как тебе лекарство Тлимафа, помогло?

«Вот уж до чего жизнерадостный мой друг Псамит, вот уж молодец! Он, наверное, и во сне радуется, наверное, только хорошие сны ему и снятся»,– улыбнулся Калакут:

– Это не просто лекарство, а чудо какое-то. Я хочу уже попробовать подняться в седло.

– Ну-ну! – погрозился Псамит.– И не думай, а то пожалуюсь Тлимафу, скажу, что ты не слушаешься меня, лекаря своего.

– Да сколько же можно! Почти месяц валяюсь, а дел вон сколько!

И все-таки через несколько дней Калакут пошел в конюшню. Соскучившийся по хозяину верховой конь потянулся к нему мордой на плечо, весело заржал, ударил копытом.

Прислушиваясь к самому себе, поднялся Калакут в седло, погладил коня по шее:

– Не торопись, не спеши, шажком разомнемся малость, а потом пойдем и дальше, рысью попробуем.– Конь, будто понимая слова хозяина, дружески всхрапывал, подчиняясь поводу.

Несколько дней Калакут, набираясь сил, прогуливался за околицей села шагом и рысью, а конь уже нетерпеливо вздрагивал всем своим могучим телом, прося у хозяина свободы.

Возвращаясь с прогулки, Калакут увидел у своего двора серого коня и Даура.

– Я приехал проведать больного, а он уже в седле! Поздравляю тебя с выздоровлением, Калакут.

Они дружески обнялись.

– Хорошо сделал, что приехал, а то я собрался к тебе сам, и дорогой мы могли бы разминуться. Проходи в дом, будешь моим первым после выздоровления дорогим гостем.

Поужинав, они долго беседовали. Калакуту было приятно, что Даур к поездке жанеев в Московию относится, как и он, с неодобрением...

Разбойники похитили дядю Даура, вспомнил Калакут, как с ним познакомился. Куда увезли, что с ним, Даур не

знал. Недели две назад ему сказали, что видели его закованным в кандалы, с тремя разбойниками в городке у моря. Даур не решался один схватиться с тремя, потому и приехал за помощью к Калакуту, зная о его беде с сестренкой.

Калакут, конечно, был доволен, что его просят о помощи, к тому же вспомнил о сестренке, подумал, может, удастся все-таки выйти на ее след.

Выехали они предрассветными сумерками, и на восходе солнца петлявшая вдоль леса тропинка привела их к морю. Волны были похожи на отару белых барашек, устремившуюся к берегу из дальнего сумрака.

– Погода скоро переменится,– сказал Калакут, пристально глядя вдаль, откуда нескончаемо набегали волны.

– С чего бы? – возразил Даур.– И небо чистое, и солнце светлое.

– Вот видишь, ветра нет, а море волнуется, потемнело.

Всадники ехали и рысью, и галопом. Калакут довольно улыбался, чувствовал себя в седле хорошо. Даже лучше, чем ожидал. Это, наверное, еще и потому, что долго не слышал, как шумит ветер в ушах, радуя сердце.

В послеобеденное время путники достигли окраины города Турмы, стоящего на берегу моря, у леса, спускающегося с горы.

На отшибе виднелись три каменных дома. Всадники подъехали к крайнему. На их зов вышел мужчина средних лет с блеклыми глазами навыкате, в простецкой, выцинявшей на ветру и солнце одежде.

Калакут подумал: «Не похож он на вора или разбойника, скорее, сам чей-нибудь раб или работник».

Мужчина стал приглашать их в дом:

– Заходите, с дороги отдохнуть надо, перекусить.

Калакут поблагодарил его и сказал о цели приезда.

– Валлахи, добрые люди, видел я тут одного такого, какого вы разыскиваете. Он больше недели жил в моем доме. Его привезли двое мужчин, к которым я не имею никакого отношения, просто они платили мне немного за постой. Днем, надев на него кандалы, уводили куда-то, а на ночь запирали в погребе. Они сказали мне, чтобы держал язык за зубами, иначе, мол, не только язык, но и голову оторвут. Называли своего пленника вором и разбойником,

но это неправда – он совсем не похож – смиренный такой, тихий. Еще нет и недели, как увезли его.

– Спасибо тебе, брат,– поблагодарил хозяина дома Даур и поднялся в седло.

– Да! Еще хочу сказать: они его почти каждый день водили на базар, похоже, хотели продать, но у них, кажется, ничего не получилось.

Калакут с Дауром объехали весь базар, обшарили все закутки, у многих встречных расспрашивали и у портовиков, не видели ли закованного в кандалы мужчину, не знают ли, где он сейчас.

Да, видели, несколько раз, но что это за мужчина, куда он делся, кто те двое – толком никто ничего не мог сказать.

Базар уже опустел. Два всадника ехали навстречу Калакуту и Дауру. У переднего на руках подросток. Они вдруг остановились и посадили мальчишку на третью лошадь, которую вели в поводу.

– Не нравятся мне что-то эти люди. Очень не нравятся.

– Чем? – удивился Даур.

– Потом объясню. Их надо остановить. Обязательно. Ты займись передним, а я – вторым.

Управились мигом, пришибли, как следует, велели лежать, если хотят остаться живыми.

– Это твои родственники? Может быть, твой отец?

– Нет! – решительно возразил смуглый большеглазый парнишка.– Они украли меня. Бедная нана и братишки ничего не знают, ищут меня. Бедная моя нана, бедная нана! – заплакал он.– Я пошел в лес за дровами, там меня и схватили.

– Вытри слезы! – строго велел Калакут.– У тебя такие красивые мужские глаза, а ты плачешь. Ну! Найдешь ты свою нану и дров ей принесешь. Вытри слезы и улыбнись! Вот так, молодец. Теперь я вижу – ты мужчина. Откуда будешь? Как зовут тебя?

– Я из Санэхабля, зовут Миначем.

– Ты ногай? – спросил Даур.– Так вроде не похож.

– Нет, абадзех я, а назвали меня в честь нашего соседа. Он – ногай и очень хороший дедушка.

– Зачем те, которые лежат в луже, привезли тебя сюда? – допытывался Даур.

– Хотели продать, да не успели. Увидели вас, почему-то испугались, пересадили на свободную лошадь, будто я не пленник их, хотели ускакать, да не получилось.

– Вон, Калакут, как ты их разгадал? – засмеялся Даур.

– Таких гадов насквозь вижу. А скажи, Минач, ты не видел, не продавали ли на базаре мужчину?

– Нет, только меня.

– Значит, так, парень, был бы ты круглым сиротой, я взял бы тебя к себе, но при живой матери этого делать нельзя... Если мы дадим тебе коня, ты найдешь дорогу до своего Санэхабля?

– А почему не найти, но я не хочу садиться на коня этих страшных людей.

Калакут с улыбкой погрозил пальцем Миначу:

– Это кто же тебя научил не слушаться старших? А еще абадзех. И потом – это уже не их, а твой конь.

И не сдержался мальчишка – брызнули из его глаз слезы, но теперь уже от радости.

– А ты знаешь, Калакут, когда я буду возвращаться домой, мне по пути с Миначем. Мне будет очень приятно проводить его.

– Верно! – запрыгал от радости мальчишка. Они подошли к лежащим разбойникам.

– Слушайте меня внимательно,– толкнул Калакут ногой крайнего.– Слышали, что я сказал? Мы заберем ваших коней, а вы пройдитесь пешочком. Разбойникам это на пользу. Если я еще раз встречу вас за этим мерзким делом – поотрываю ваши головы и выброшу собакам...

XII

После сытного обеда уставшие и озябшие адыгские послы прилегли отдохнуть. Сняв лишь черкески и сапоги, они улеглись на широкие деревянные кровати, быстро уснули под одеялами. К Сибоку сон почему-то не шел. Он поднялся, заглянул в одну комнату, затем в другую, уселся на скамеечке у пылающей печи, подбросил еще дров.

«Какой завтра предстоит день... Он может принести очень важное всем адыгам. А может и не принести, и по-прежнему будут пылать селения, литься кровь ни в чем не повинных людей.

Завтра! И разве можно вот так просто уснуть?

Пусть байколы, пусть еще, можно сказать, мальчишка Кудадек, но князья Ацамук и Дударук... Похоже, не зря в народе говорят,– размышлял Сибок,– что ленивы наши князья– любят мягко спать, сладко есть да красиво разговаривать в гостиных. Вот и Калакут то же самое – недолюбливает князей».

Набирая к вечеру силу, гудел буран, бился о стекла окон, как бы прорываясь в комнату погреться. То весело и затейливо посвистывал в печной трубе, то охал, вздыхал, а то и грозился.

У адыгов – очаг, и здесь тоже очаг, только красиво сложенный из кирпича, украшенный блестящими разноцветными изразцами.

Боярин Щепотев сказал, что этот буран – лишь начало настоящей зимы, настоящих буранов, метелей и трескучих морозов, сказал, что русские любят такие зимы, мол, они человека делают сильным и красивым.

«Может быть, они потому и добрые, открытые, что живут среди этих морозов и буранов, знают цену каждому доброму лучу солнца... Вон они уже покорили Казань, Астрахань, Ногай, а все это – сила, грозная была сила. Смирили они ее, как смиряют трескучие морозы, бураны, как одолевают дороги, которым вроде бы и нет конца... Если царь возьмет и нас под свое крыло, ему придется тогда не только словами нас поддерживать, не только посылать по этим длинным дорогам от случая к случаю войска, а держать их там постоянно, сделав нас частью своего государства. И царю придется назвать нас тоже своими людьми. Интересно, что из этого может получиться, и получится ли?..»

Улыбнулся Сибок: скорее бы сделать свое дело и убираться домой, подальше от этой благодати боярина Щепотева...

А это что? Нет, не буран, не ветер гудит – это ударили колокола церкви. Как там, в Туле. Только эти звоны, этот красивый гул почему-то показались Сибоку такими же необъятными, как весь белый свет.

Прибежали встревоженные Ацамук, Кудадек и Дударук.

– Что случилось, зиусхан?! Беда какая приключилась? – прильнув к окну, спросил Дударук.

Княжич Кудадек улыбнулся, ему неудобно было напоминать старшим, и он, будто самому себе, сказал:

– Это, как в Туле, зовут чиристанов[1] на молитву.

– Да, но уж очень... будто гром гремит.

– Да, наверное, самая главная церковь Руси, ее самые главные глашатаи, а что вы стоите, правоверные? Забыли о своем Аллахе? – сказал Сибок.– Займитесь амдэзом и– на молитву. Байколов тоже позовите.

Когда все совершили омовение, Ацамук поднялся на табуретку, приложил кончики пальцев к ушам, поворачиваясь на юг, восток, запад и север, возгласил молитву:

– Аллаху акбар, лаиллаху-иллалаху...

Князь Сибок стал впереди всех и приступил к намазу.

Гостиничные работники, приоткрыв дверь, с любопытством заглядывали. Адыги не обращали на них внимания, продолжали молиться.

Помолившись, кто-то из байколов сказал:

– И здесь, на чужбине, услышал нас Аллах, заставил умолкнуть их звоны, чтобы не мешали нам совершить свою молитву.

– А разве мы сомневались в Его могуществе,– отозвался Ацамук.

Благоговейная тишина наступила в комнате. Вроде бы и ветер стих, и буран не стучал в окно.

Нарушил ее княжич Кудадек:

– Мне очень понравились перезвоны, душевные они.

И снова воцарилась тишина. Все озадаченно смотрели то на княжича, то на князя Сибока.

Отец положил руку на плечо сыну и негромко, как бы не нарушая тишины, сказал:

– Сын мой, после того, как ты молитвенно постоял пред Аллахом, не допускай к своему сердцу такие мысли, хотя...– улыбнулся князь,– ты, наверное, вспомнил очень красивые перезвоны нашей кузницы. Да-да, и я вспомнил нашу далекую землю, к которой благоволит Аллах.

Вошел бородатый, в сюртуке, хозяин гостиницы:

– Милости просим, досточтимые гости наши, откушать за ужином, чем Бог послал.

[1] Чиристан – так адыги называют христиан.

Сибок придержал Ацамука за плечо, и когда все вышли, сказал:

– Мне не нравится поведение княжича. Он и в Туле стоял, разинув рот, глядя на церковь, на город, а сегодня?! Грех какой!

– Не принимай это близко к сердцу. Княжич еще так молод, что нельзя относиться к его мальчишеским словам всерьез.

– Не скажи, брат. Я был не старше Кудадека, когда султан Турции предложил мне остаться и быть близким к его двору. Это было очень заманчиво, но я не согласился.

– Просто все мы тогда не принимали своими сердцами ислам, потому ты и не остался.

– Не только тогда,– покачал головой Сибок,– до сих пор есть еще немало тех, кто не принимает совсем или принимает без веры сердцем великую веру... Прости мне, Аллах, прости им тоже и наставь на Твой путь, на путь истины.– Он постоял с закрытыми глазами, повторяя про себя молитву Кулхолах.– Но хватит об этом. Как знать, может, тут обитают джинны и сбивают нас с толку. Надо молиться, молиться и молиться.

После ужина лег Сибок в постель, думал, уснет, но сон опять почему-то не шел.

То злобно выл усилившийся буран, то скулил, как побитая собачонка, а то вдруг надрывно хохотал в печной трубе. Будто над ним, над князем, смеялся: ничего, мол, у тебя не получится, слишком мал ты перед этим неистовым миром, бессилен перед его силой. И не думай, и не надейся, лучше вспомни о доме своем, о людях твоих, князь, которых ты бросил на растерзание крымскому хану Давлет-Гирею.

Сердито сбросил он одеяло, сунул ноги в шерстяные носки, накинул на плечи черкеску, подошел к окну. Оно было черным, разрисованным морозом. Черная, бесконечная глубина таилась за ним, пугавшая своей загадочностью и неведомой силой.

Заложив руки за спину, он стал ходить по комнате, будто собрался идти куда-то, проломить что-то плечом.

Показалось, за дверью разговаривали. Он прислушался. В ответ угрожающе взвыл кто-то в камине.

И тишина.

«Что ты мечешься, стыдись, князь!» – сказал он себе и, сердито сбросив черкеску, взбил кулаками пуховую подушку, забрался под одеяло. «Может, я погорячился, может быть, лучше поехать в Бахчисарай, договориться с Давлет-Гиреем... О Всемогущий Аллах, во имя Твое, помоги мне, помоги нам, адыгам, жить со всеми в мире, со всеми созданными Тобою... Сошлись же с ними, покорились им Казань, Астрахань, Ногай и не жалуются. Возможно, и с нами они так же добром обойдутся, но далеко, уж очень далеко от Московии к нам».

Вспомнился ему пьяный мужик в зипуне, обозвавший их татарвой, с ненавистью смотревший на них.

«А сколько таких по всей Руси! Еще ладно, если они только говорят, а если засучат рукава, сожмут кулаки? Ведь они понимают – не злато-серебро мы им принесли, а пришли за помощью. Значит, им придется кого-то усмирять, чтобы нам жилось спокойно, придется браться за оружие, а зачем оно им, кто мы такие, чтобы за нас проливать кровь? Однако, как говорил боярин Щепотев, если взялся за гуж, не говори, что не дюж, так что не ной, князь Сибок. Ведь если ты, предводитель, раскиснешь, что делать тем, кто идет за тобою? Лучше постарайся держаться перед трудным завтрашним днем».

Князь уснул, и привиделся ему сон. Он с обнаженным мечом на своем коне плыл по штормующему морю. Даже не плыл, а с волны на волну будто перелетал. Потом его выбросило на землю, и он с сугроба на сугроб тоже будто не перепрыгивал, а перелетал. Потом вдруг очутился на зеленом лугу, а в небе вместо солнца раскачивался полумесяц. Поднявшись в седло, он тянулся вверх, хотел сбить его мечом, но тут его конь заржал и сорвался в пропасть, а князь очутился на поляне перед старцем, сидящим на скамейке. Старец схватил его за руки и угрожающе куда-то тащит. Вырвался князь и увидел... сидящего у его кровати Кудадека. В комнате светло и тихо. Так тихо, что слышно, как в печке потрескивают дрова.

– Это ты, сын мой? – удивился Сибок.

– Да отец, я,– чтобы не видеть в нижнем белье отца, Кудадек подошел к печке, стал поправлять там огонь.

– Ты же знаешь, сын мой, я всегда поднимаюсь очень рано, раньше всех, а сегодня... Где наши?

– Ацамук и Дударук пошли во двор, хотят полазать по сугробам, ведь они таких никогда не видели. Сейчас принесу воды умыться тебе.

– А где тот мой половой, который должен это делать? – рассердился князь.

– Я его отправил к лошадям... Мне самому захотелось подать тебе воду, побыть с тобою. Если я поступил неправильно, если тебе это не нравится, прости меня, отец.

– Что ты! – сдерживая свою радость, ответил князь.– Очень и очень мне это приятно. Видит Аллах, говорю правду... Как ты спал, сын мой?

– Хорошо. Когда за окном разговаривает буран, а в камине поет ветер, очень сладко спится.

– Как наш хозяин, не пришел ли еще боярин?

– Хозяин просил приготовиться к завтраку, а вместо боярина пришел кто-то другой. Такой же громадный, как наш Калакут. И голос у него похожий, будто из трубы говорит.

– Он давно пришел?

– Давненько.

– Почему же ты меня не разбудил? – строго спросил Сибок.

– Он сказал – пусть зиусхан хорошо выспится.

– Это он сказал, а у тебя нет своей головы? Не нравится мне, что нам поменяли боярина Щепотева.

Вошли Ацамук, Дударук и новый, которого прислали вместо Щепотева.

«Э-э,– подумал Сибок,– этот будет поплечистее Калакута».

Он сдержанно, но почтительно поклонился:

– Я – воевода Вишнивецкий, зовут Дмитрием. С вашими со всеми я уже перезнакомился – прекрасные, красивые люди, а теперь удостоился чести познакомиться и с вашим сиятельством, князь Сибок. Рад вас видеть в добром здравии и молю Господа Бога нашего, чтобы все у нас с вами состоялось в наилучшем виде, по-богатырски.

– Спасибо, проходи, садись,– указал Сибок на стул у окна, и лишь когда тот уселся, опустился с ним рядом, а

следом и Дударук. Ацамук с Кудадеком остались стоять у двери. Глянул на них воевода, вопросительно посмотрел на Сибока, мол, как же это?

Сибок понимающе улыбнулся:

– Это мой младший брат и сын. Они должны стоять, когда сидят старшие. Как твое здоровье, воевода Вишнивецкий? Как живется? – на ломаном русском языке спросил князь.

– Вашими молитвами, князь. Все у нас хорошо, все исправно, живем, слава Богу, не тужим.

– Как великий царь великой Руси? – немного приподнялся с легким поклоном Сибок.– Я молю Аллаха за него, за благополучие его страны, пусть ему во всех делах сопутствует удача.

– Спасибо... «О,– мельком подумал Вишнивецкий,– прав боярин Щепотев по поводу их самомнения, вон он как о царе говорит, будто о равном себе».– Спасибо, живздоров наш великий государь. Спасибо, что вы одолели такое большое расстояние, чтобы оказать ему честь, повидаться с Его Величеством. Мне много о вас рассказывал боярин Щепотев. Мы от всей души желаем вам благополучия, так же, как и вы, хотим единства всех адыгов. Как говорится, в единении – сила. Очень приятно и значительно, когда у народа есть свой царь. Получается, как бы имя у него есть. Царь всея Руси! Он будет принимать, приветствовать вас. Царь всея Руси.

– Хорошо бы – завтра,– вздохнул Дударук.

– Да, конечно, всегда хочется, чтобы скорее сбылось желаемое, но у самодержца большой державы – большие дела, он не всегда волен поступать, как ему хотелось бы.

Сибок усмехнулся:

– Не знаю, как у вас, воевода, а у нас, если гость пробыл в вашем доме больше трех дней, он становится членом вашей семьи, вот князь Дударук и...

Вишнивецкий тоже усмехнулся:

– Хороший обычай и... со значением. У нас такого нет, а что касается, будто боярин Щепотев отказался от вас, это не так: великий государь поручил заниматься вашими делами одинаково мне и боярину. Он сейчас в Кремле у государя. Подождем его. Приедет и все нам с вами расскажет.

Прошел второй день, прошла ночь, наступило утро третьего дня, а посланников все не звали и не звали, пояснив, чтобы не волновались и спокойно ждали своего часа.

Каждое утро и вечер звонили колокола, и всякий раз Кудадек выслушивал их от начала и до конца. И это тревожило князя Сибока: он не знал, грешно или нет слушать церковные перезвоны, но лучше бы Кудадеку не делать этого. Князь не хотел обижать сына своей волей, все-таки не какой-то простой человек, а княжич. И отец старался намекать сыну, но тот или не хотел понимать его намеков, или делал вид, что не понимает их.

Каждое утро к посланникам приезжал воевода, чтобы позавтракать с ними, поговорить о разных разностях и сказать, что все идет, как и должно идти в государевых делах.

Утром третьего дня прискакали боярин Щепотев и воевода Вишнивецкий. Боярин с порога весело сообщил:

– Если ваша сторона готова, князь, великий государь всея Руси Иван Васильевич приглашает вас к себе.

Воевода подмигнул Кудадеку: вот, мол, и третий день настал.

Посланники со своими байколами отправились по Арбату, по кривым улочкам между причудливых сугробов в Кремль. Их подгонял студеный ветерок, под копытами коней похрустывал ледок, а по низкому небу суетливо бежали хмурые тучи.

Между Щепотевым и Вишнивецким ехал князь Сибок в белой черкеске, в черной бурке и в каракулевой папахе с башлыком на плечах. За ними – князь Дударук посередине, слева от него – Ацамук, справа – Кудадек, а позади – байколы.

Останавливались московичи, дивились людям в каких-то странных одеждах, в папахах, надвинутых на уши, на добрых конях. А адыги дивились высоким каменным стенам и башням Кремля, дивились невиданно могучим, окованным железом деревянным воротам, которые на зов воеводы со скрипом распахнулись, пропуская всадников в Кремль. А за воротами, до самой Соборной площади, до самого царского дворца стояло два ряда вооруженных бердышами воинов.

Соборы с золотыми крестами и куполами, высокая, чуть не до облаков, колокольня, башни, возвышавшиеся над могучими стенами, конечно, удивляли адыгов, удивляли и немало повидавшего князя Сибока. «О Аллах, убереги моего сына Кудадека от соблазнов этого мира. Похоже, нам не прожить, не уцелеть без него, о Великий Аллах, но мы не должны терять свою святую веу, помоги, Всевеликий!»

Потом их провели по узким сумрачным коридорам, по каменным ступенькам к высоким резным дверям. Распахнули эти двери, и Сибоку показалось, что он с земли попал в какой-то другой мир. Это была Тронная зала с таким высоким потолком, будто до самого неба, которое глядело вместе с солнцем в громадные окна. И все это до того несказанно красиво было отделано, украшено, блестело, переливаясь, что глаза разбегались от восторга.

Вдалеке, на возвышении, на троне сидел человек с посохом в руках, в таком же богатом одеянии, как вся зала.

«Царь»,– подумал князь Сибок Каншауков и прищурился, чтобы лучше его рассмотреть.

Их провели по ковру ближе к трону и остановили в нескольких шагах от него. Сибок, непонятно почему, вдруг почувствовал душевный покой, легкость во всем теле и, как полагается, почтенно поклонился.

Царь тоже поклонился, но сдержанно, а не так радушно, как адыги, не встал навстречу гостям. Это удивило Сибока, даже немного обидело, но, как говаривал Тлимаф, не ходи в чужой дом со своими законами.

– Царь всея Руси, мы от имени приславшего нас жанеевского и абазинского народа сердечно приветствуем тебя и благодарим за прием, будем рады, если примешь наши скромные дары.

Боярин Щепотев переводил сказанное князем Сибоком на русский язык.

– Подойди, сын мой, к царю,– сказал князь Кудадеку, стоящему с ним рядом с золотыми кинжалом и поясом, шепотом добавил: – Смелее, он не намного старше тебя. Смелее.

Княжич Кудадек не очень-то и робел – он сполна ощущал торжественность происходящего, потому и пошел к царскому трону твердой, красивой походкой. В черкеске,

папахе и при оружии он выглядел настоящим мужчиной. Остановился в шаге от царя, протянул подарок. Их взгляды встретились, и показалось Кудадеку – дружески посмотрел царь, показалось, а может, и в самом деле они улыбнулись друг другу.

В знак того, что принимает подношение, царь прикоснулся к нему.

Подошли двое окольничих, унесли подаренное.

Подождав, пока Кудадек вернется на свое место, обернулся к нему сияющим от радости лицом, промолвил свое слово царь:

– Гости далекой стороны, поведайте, с чем пожаловали, какая нужда принудила вас отправиться в столь далекий путь?

Улеглось, успокоилось сердце князя Сибока:

– Великий царь всея Руси, крымский хан не дает нам жизни, по два-три раза в году приходит на наши земли, разоряет, предает огню наши селения, угоняет скот, молодых людей и детишек в рабство. Лелеем надежду, великий государь, если наши адыги объединятся под твоим царским крылом, тогда сумеем противостоять не только крымскому хану, но и всем другим пришельцам, кои позарятся на наши... завидные земли. Вот такая наша просьба к тебе. Надеемся на твое доброе сердце, на твою волю самодержца. Мы не просим дать ответ сегодня или завтра. Дело государственное, большое и трудное. Но... ведь зима уже надвигается, дорога нам дальняя и... великий государь, твоего ответа ждут наши дети, жены, старики.

Терпеливо выслушав князя, царь долго молчал. А может, князю Сибоку так показалось, ведь большие дела требуют и больших раздумий.

Глаза у царя быстрые, взгляд пронзительный, даже колючий. «И всего-то ему,– подумал Сибок,– двадцать пять. Молод еще, а такая ноша на его плечах. Не понять, не могу понять их – как можно такого юнца поставить над собою, да еще и над Казанью, Астраханью, Ногаей. А ведь управляется – вон какая силища у его государства, значит, в его руках. Вишнивецкий вчера сказывал, будто царю по душе просьба посланцев, что хочет он с помощью их народа крепкой ногой стоять на юге. Но, сказал воевода, к царю

4 Заказ 06

многие ходят со своими советами, так что надо дождаться его, государева, слова».

Царь трижды гулко ударил посохом о пол:

– Ответ на вашу просьбу вам будет через три дня.– Тут же поднявшись, он удалился скорыми шагами.

Опять князь Сибок шел длинными коридорами царского дворца, потом по Соборной площади с каким-то неясным чувством. Сказать, оскорбленным? Нет. Может, обиженным? Опять же нет. Да и что гадать, легко ли предстать пред лицо самодержца одной из самых больших держав на земле, легко ли сохранить спокойствие в эти минуты.

Нельзя сказать, что их плохо приняли или плохо устроили, неуважительно разговаривали с ними. И мягко спали они в тепле под дремотный говор метели, и повара специально приставили, чтобы готовил кавказские блюда. Только вот... У адыгов гость – значит праздник, счастье в доме. А здесь, похоже, как-то иначе все. И неясно, как они радуются добрым людям, встречам с ними, дружеским разговорам.

В первые два дня казалось, что хозяева готовятся, если уж не к торжественной, то, во всяком случае, к душевной встрече посланцев с хозяином, то есть царем. Только не произошло этого.

Появилась надежда, уже сегодня, после встречи в Брусяном дворце, царь непременно пригласит гостей к своему столу, чтобы пообедать вместе, поговорить душевно. Но опять все не так....

– Князь Сибок, что ты все молчишь да молчишь,– не выдержал воевода Вишнивецкий.– Или тебя наш студеный ветер пронял, или какие недобрые мысли в голову вторглись. Мне кажется, все у нас по-доброму вышло.

– Конечно, по-доброму,– согласился Сибок,– видно, я уже по своему дому соскучился.

На исходе третьего, назначенного царем, дня в гостиницу пришли боярин Щепотев и воевода Вишнивецкий.

Боярин прямо с порога торжественно заговорил:

– Князь Сибок, вашу просьбу удовлетворил великий государь всея Руси Иван Васильевич.– Он развернул бумагу, хотел было читать, но князь остановил его:

– Не торопись, боярин, хочу, чтобы это видели, слышали мои спутники. Эй, кто там! Пусть все придут сюда, ко мне!

По голосу князя все поняли – случилось что-то очень важное. Быстро собрались и в нетерпеливом ожидании стояли вокруг боярина и воеводы.

Князь Сибок, выждав для приличия некоторое время, торжественно произнес:

– Боярин Андрей Щепотев, читай!

Откашлялся боярин, тоже немного для торжественности выждал:

– Жанеевский князь Сибок с братом своим князем Ацамуком и абазинский князь Дударук от имени своих подданных прибыли к русскому царю Ивану Васильевичу с просьбой оборонить их земли от Крымского хана, их же самих с их землями взял бы своими холопами, на веки вечные его подданными...

Закончил читать бумагу боярин и потом добавил:

– Бумага бумагой, а дело делом. Народы наши должны породниться. Для начала оставите в нашем стольном граде двух своих посланников. Такова воля царя.

– Царь Иван попросил нас об этом или повелел? – спросил князь Сибок.

– Великий царь всея Руси не просит, а повелевает своими подданными.

В комнате повисла тягостная тишина: не привыкли адыги к такому, не любят, чтобы их свободу кто-то стеснял.

– Не ожидал я этого,– подавленно промолвил князь Сибок,– думаю, нам сначала надо посоветоваться... Если и оставить, то кого? Может, кого-нибудь из байколов...

– Царь решил оставить в Московии княжича Кудадека и князя Дударука.

– Что?! Оставить двух князей?! – возмутился Сибок. Не принуждайте меня делать то, чего я не волен делать.– Заложив руки за спину, князь стал взволнованно прохаживаться.

В комнате повисла тягостная тишина.

– Если я соглашусь, воевода Вишнивецкий, что вы с ними будете делать, зачем они вам понадобились?

– Для пользы же нашего общего дела,– ответил воевода.– Они будут служить в русском войске, могут в чинах возрасти, а если захотят, станут православными христианами. Если захотят! – поднял руку Вишнивецкий.– Только по воле своей, вера не терпит насилия. Они будут служить в нашем войске, станут нашими братьями, будут защищать всю Русь, частью которой, может, станут и ваши земли.

Шумок прошелся по комнате, нарушив тягостную тишину.

Сибок сел у окна, устремив свой взгляд в мглистую даль, словно хотел там рассмотреть свою Жанею, свое село, даже, может быть, Калакута.

– Возможно, так будет хорошо, но что нам скажут дома? Решат, что в залог я оставил двух зиусханов. А зачем? Думаете, мне просто будет объяснить, а землякам нашим понять?

К окну подошел Дударук:

– Я думаю, зиусхан, наши земляки поймут и одобрят нас с тобой, ведь мы на пути к добру, к покою нашей многострадальной земли.

Сибок поднял взгляд на Дударука и услышал Ацамука:

– Зиусхан, старший брат, можно я останусь вместо Кудадека?

– Нет,– решительно возразил воевода,– царь хочет видеть в своем войске княжича Кудадека.

– Если так оборачивается дело, зиусхан, я поступлю, как повелишь ты. Скажешь остаться – останусь, и с зиусханом Дударуком станем воинами царского войска, придем вместе с ними защищать наши земли,– проговорил Кудадек с твердостью в голосе и продолжительным взглядом посмотрел на отца.

– Ты, сын мой, кажется, становишься мужчиной. Да помоги тебе, помоги вам с Дударуком Аллах. И помните, вы – адыги, абазины, помните, на вас надеется земля ваша, ваши предки и те, кто придет еще на родину нашу вслед за вами... Вот и получается, боярин Щепотев, воевода Вишнивецкий, мы с вами успели в нашем деле и завтра попрощаемся. Увезем немного Московии, оставим немного от нашей земли...

С рассветом следующего дня князь Сибок со своими спутниками покинул Московию.

Утро выдалось солнечным, с легким ветерком, и князю Сибоку казалось, что справа и слева, далеко впереди, не сугробы лежали, а облака, по которым он и мчался легкой рысью со своими спутниками.

И Кремль вроде бы не на холме стоял, а возвышался на облаках. И не только Кремль, не только соборы с русским царем там остались, не только древние башни на каменных стенах и царский дворец, а что-то большее, схожее с облаками, с небом. Так подумал Сибок и добавил: конечно, надежда наша там покоится, надежда, что поселилась вместе с княжичем Кудадеком и князем Дударуком...

«В свои двадцать лет он еще, можно сказать, мальчик, а проявил себя настоящим мужчиной... Молодец, сын мой, молодец, сын из рода Каншауковых, спасибо тебе. Похоже, характером ты пошел в своего деда, истого адыга. А еще, как сказал мой мальчик? Узнают недруги твои, что мы с Дударуком воины царя, и задумаются, поосторожнее будут себя вести... А мои недруги не так важны, сын мой. Я с ними сам справлюсь. Дело в тебе, нежданно-негаданно оставил тебя чужим людям...» У Сибока защемило сердце, и то, что он до сих пор не позволял себе, не в силах больше сдержаться, сделал – оглянулся назад: издалека, из предрассветной мглы, опять высветился Кремль. «О Аллах!» – Сибок тут же повернул голову обратно, но, почувствовав слабость во всем теле, снова оглянулся. На глаза его набежали слезы сердечной боли, с юных лет не знакомые ему. Он хотел их смахнуть, да побоялся, как бы не увидел это Ацамук, и решил – высохнут сами, но скорые шаги коня помогли упасть слезам на щеки.

Ацамук, украдкой следивший за старшим братом, желая, чтобы он держал себя в руках, мягко, щадяще обронил:

– Сибок, брат мой...

– Нет, нет, Ацамук, просто холодный ветер бьет по глазам...– Сибок понимал, что с ним происходит, и нашел отговорку: – Я сейчас укутаю лицо башлыком – легче будет. Не беспокойся, видать, так было предначертано Всевышним...

Черкесы вообще не понимают, как кто-либо может предъявлять исключительные права на землю. Для них все общее – земля и воздух, огонь и вода.

Дж. А. Лонгворт

Земля в Черкесии принадлежит всей ее нации.

Я. Потоцкий

Крайнюю любовь черкесов к независимости, воинственности никто и ничто не может укротить. Привыкшие с самого нежного возраста к суровой закалке тела, к пользованию оружием и управлению лошадью, они не знают другой славы, кроме победы над врагом, и другого позора, кроме отступления перед неприятелем.

Ж.В. Э. Тэбу де Мариньи

Черкесия делится на четырнадцать княжеств, самостоятельных каждое в своих границах. Она ни от кого не зависит. В случае предъявления им каких-либо чрезвычайных требований отвергает их без стеснения.

К. Главани

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

У новости быстрые ноги, легкие крылья. Ей не преграда ни моря, ни леса, ни горы, ни бесконечные степи, она летит над землей от селения к селению, от двора к двору.

Посланники западных адыгов более месяца опять возвращались из Московии к себе домой, а новости от этой поездки, будто таившиеся в их переметных сумах, уже достигли земли Черкесии, гор Дагестана, облетели Крымское ханство и перенеслись через море в Турцию.

Была ранняя весна. Солнце еще не поднималось на свою летнюю вершину. После зимних морозов и метелей оно робко присматривалось к тому, что натворила зима. Все еще ослепительно сверкали вершины Ошхамахо-Эльбруса, одетые в снежные одежды. Облака на неуверенно светлеющем небе были хмурыми, тяжеловатыми. В расщелинах и оврагах, в разных закутках все еще таились остатки сугробов, правда, уже рыхлые, тронутые первой весенней пылью. Особенно много таких закутков было в Кабарде, где прошлая зима выдалась на редкость снежной и буранной.

Вот и сегодня – солнце было нерешительным, а холодный ветер самовольно хозяйничал на улицах сел, во дворах, шумел над садами и дальним лесом.

Князь Пшиапшоко, накинув на плечи волчьего меха шубу, надвинув на могучую голову золотистого каракуля папаху, вышел прогуляться, немного развеяться, освободиться от насевших тягостных дум. Хотел, но ничего не вышло, и не только потому, что ветер был холодным, освежающим,– это даже хорошо, но слякоть была под ногами, слякоть в сером небе. Казалось, и собаки от тоски брехали как-то нудно, с подвывом.

Нахмурился князь, поежился и направился в дом, к очагу. Даже улыбнулся, представив себе ласковое пламя очага, веселое потрескивание душистых сосновых дров.

Поднялся по поскрипывавшим под тяжестью его тела дощатым ступеням на веранду с четырьмя дубовыми столбами, украшенными замысловатой резьбой.

Показалось – окликнул его кто-то.

Пусто во всем дворе, от дома до самого конца усадьбы, что у старого леса. Ни души у конюшни, у овчарни, у мельницы. Не слышно веселого перезвона в кузнице. Улыбнулся князь: «Все мы – дети своей земли, нашего неба и солнца. Нахмурились они – и мы с ними нахмурились, затосковали, а выглянет солнышко – и у нас на душе светло».

Зашел к себе в комнату и только направился к очагу, вошел байкол Тавташ:

– Ты звал меня, зиусхан?

– Нет! – почему-то рассердился князь.– Сними с меня шубу и убирайся прочь!

Тавташ осторожно снял с него шубу и бесшумно исчез, будто его и вовсе не было.

Пшиапшоко глянул на огонь в очаге, почему-то подумал: «Вон как искры летят, наверное, сегодня надо ждать гостей. Пусть явятся. Хорошо бы с добрыми новостями».

Конечно же, дело было не только, даже не столько в погоде.

Вчера вечером он узнал, что вернулись из Московии посланники западных адыгов, и вся ночь, все утро прошли, как в сумбурном сне.

Ездили в Московию посланцы от адыгов и до них, но вернулись несолоно хлебавши, потому, когда отправлялся Сибок с Дударуком и сыном своим, многие посмеивались: хлебнете и вы из этой чаши. Но царь не только милостиво принял их, но и пообещал в помощь им свою руку. Значит – всей громадной Руси руку.

Можно бы, подумал Пшиапшоко, и не поверить таким словам, но ведь это царские слова, да к тому же он взял к себе на службу князя абазинского и жанеевского княжича. Правда, воины из адыгов есть в Турции и в Крыму, но разве от этого турки и крымские татары перестали нападать на адыгские селения, убивать ни в чем не повинных людей, угонять их в рабство?

И, как знать, не для своей ли выгоды затеял все это русский царь? Ведь не зря говорится: позаботься о своих

соседях, но сначала о самом себе. Своя выгода царю наверняка дороже.

«Ну ладно,– подумал князь, поправив огонь в очаге,– посмотрим, что дальше будет, а то ведь может статься, что ты, князь Сибок, из огня да в полымя попал».

Пшиапшоко лег лицом вверх на тахту, застланную персидским ковром, скрестил руки над головой, но вспомнил слова матери, что так лежать – не к добру. Хотел в дреме забыться, но не спалось ему.

Снял со стены кинжал, отделанный черненым серебром и золотом, стал рассматривать его так, будто раньше никогда не видел этой филигранной работы, красоты рисунка. Рывком сел, обнажил кинжал, помахал над головою, будто грозясь кому-то: «Вообще-то какое нам дело до жанеев, беслинеев и абазинов, они так далеко от нас, что нет никакой нужды тревожиться их заботами. Только вот и крутолобый Темрюк, сын Идара, тоже, говорят, поворачивается в полночную сторону, будто тоскует по тамошним шальным метелям и трескучим морозам. И чего он мается, что ищет он там на свою голову, жил бы себе спокойненько, как живут в свое удовольствие многие наши князья».

На клинке крупно значилось: «Без нужды не обнажай, а уж если обнажил, то действуй!»

На веранде послышались шаги. Князь встал, сунул кинжал в ножны, повесил его на стену.

Вошел младший брат Асланбек, следом за ним – Тепшанук.

– Заходите, братья. Я совсем вас заждался,– произнес Пшиапшоко,– похоже, кони у вас норовистые. А где остальные, младшие?

– Кони у нас отменные, как и полагается быть княжеским,– ответил Асланбек по праву старшего из них,– да и мы пришли вовремя, как назначено тобою. А наши младшие идут следом, им встретился там любимчик наш Жансох, вот и забавляются с ним. Дитя – оно и есть дитя, хотя и княжеского рода.

– Верно,– довольно улыбнулся Пшиапшоко,– недаром говорится: последыш – всеми самый любимый. И скажу я вам: он хорошо это понял и умело пользуется. Иногда надо бы его приструнить, да сердце не лежит: младшенький, последыш, радость наша.

В гостиную впереди Тепшанука и Кайтука вбежал, конечно, Жансох. Вприпрыжку кинулся прямо к старшему, обнял всех по очереди и потом, опять нарушая обычай, вернулся к нему, стал рядом.

Пшиапшоко, снисходительно улыбаясь, сказал:

– Не сердитесь на него. Отец наш, да будет он бодр и здоров, счастлив своими сыновьями – немного разбаловал его, но ничего, всему свое время, он тоже будет с достоинством чтить адыгство, как и мы с вами.

– Жансох,– напуская на себя строгость, сказал Кайтук,– принеси, шалопай, мне напиться!

– Я принесу тебе воды, старший брат,– обиженно сдвинув брови, ответил Жансох,– но разве можно называть шалопаем княжича?

Все одобрительно заулыбались.

Принес Жансох глиняную кружку, красиво расписанную, отдал старшему брату, а тот стал предлагать всем, однако те, как и полагается, отказались. И тогда Кайтук, выпив воду, сказал:

– Спасибо, младший брат, пусть вся твоя жизнь будет такая же сладкая, как эта вода.

Жансох теперь уже, как полагается, стал рядом с Кайтуком и ему, чтобы не видели другие, состроил рожицу, мол, ну и что, съел? Пшиапшоко постоял у окна, за которым шумел ветер, подошел к очагу. Щипцами поправил огонь, подбросил несколько поленьев, и когда их охватило веселое пламя, стал перед братьями.

– Вы знаете, что вернулись посланцы из Московии, знаете, с чем они вернулись, что происходит в Кабарде? Все это очень серьезно, требует размышлений и потом принятия своих мер. Думаю, нам обязательно надо обо всем этом посоветоваться с нашим отцом. Что бы он ни сказал, что бы ни посоветовал, мы обязаны выслушать его, а потом сообща решить, ведь нам с вами предстоит жить да жить, а что касается Жансоха, так он еще у самого начала своего пути. И мы, старшие братья, должны подумать и о нем, подумать о наших детях. Не сомневаюсь, отец обрадуется, что к нему явятся сразу все пять сыновей. Явятся с поклоном, за отцовским советом.

Гостиный дом князя Кайтука-старшего с верандой небольшой, но пригожий, под высокой камышовой крышей, чисто выбеленный, с веселыми окнами, стоял в глубине усадьбы, в окружении яблоневого сада, под сенью векового дуба, который был таким ветвистым и обширным, что многочисленные птицы жили в нем, будто в роще.

Тут же – навес, оплетенный виноградом, с кустами роз и сирени. Немного поодаль, в стороне, дом княжеской прислуги и работников. Еще дальше, ближе к высокому каменному забору, стояли обмазанные яркой желтой глиной, предназначенные только для князя душ и уборная, к которым вела усыпанная галькой дорожка.

Большую часть дома занимала гостиная. Стены ее обвешаны яркими, старинной работы коврами, на которых красовалось множество кинжалов, сабель, мечей работы искусных мастеров разного времени. От глубокой старины до нынешнего дня. По соседству с грозным оружием висела мухобойка. Тут же – рога оленей, туров, джейранов.

Рядом с красиво сложенным из камня очагом – трехногий анэ со скамейками, табуретки, покрытые ковриками. На полках у камина и дальше – керамические, яркой окраски кружки, чаши, блюда. Тут же – седло, крытое шкурой выдры, куски кожи, нож, кривое шорницкое шило, а на стене у двери висели косматая, тоже дорогой работы, бурка, башлык и плеть.

Весело шумел в дымоходе ветер, букетом лежали и, мерцая, разноцветно переливались горящие угли в очаге, источавшие тепло, расплывавшееся по всей комнате.

Князь ужинал. По его воле еду всегда накрывали на анэ для двух человек. Как он говаривал: это тому, кто постоянно в дороге, или тому, кто заглянет ко мне, одинокому. Ел он неторопливо, даже благоговейно, садился обычно к столу с кинжалом и саблей у пояса: «В наше тревожное и непостоянное, как сумасбродный ветер, время уважающий себя мужчина и за едой должен оставаться мужчиной».

На веранде послышался топот. «Они»,– подумал князь не без гордости, довольно улыбнувшись, однако, когда вошли сыновья, лишь слегка приподнялся и продолжал есть. Потом неторопливо глянул на всех, на каждого в отдельности, подмигнул Жансоху:

– Тебе не кажется, сын мой, что ужин наш немного задержался? Садись, как всегда, для тебя все готово.

– Прости, зиусхан,– вместо своего обычного «отец» ответил по-взрослому, приосанившись, Жансох.– Я ждал старших братьев, потому и задержался немного. Ешь на здоровье, я не голоден.

Все были нежданно, приятно удивлены поступком младшего. Особенно приятно было такое услышать отцу:

«Вон как, вон как повзрослел мальчик. Мужчина, настоящий мужчина»,– с гордостью подумал старый князь и, отодвинув еду, благодарно покивав седой головой, сказал:

– Я очень рад, что вы так уважительно и почтительно относитесь друг к другу. Это особенно отрадно сознавать тому, кто приближается к концу пути. Нет-нет, моя рука еще крепко держит меч, а все же годы есть годы, особенно когда они вот так измеряются – пятью сыновьями. Но рука до самого последнего дня своего будет крепкой, если у ее хозяина крепкий дух. А наш дух – адыгство, святые заповеди отцов и дедов. Каждый народ только и силен тогда, когда крепок его дух. И наш народ в этом огромном жестоком мире и сохранил себя, и сохранит впредь лишь благодаря своему крепкому духу.

Князь подошел к медному тазу. Жансох поливал отцу на руки, а Кайтук-младший стоял рядом с полотенцем.

Расположив в мягком кресле с высокой спинкой свое отяжелевшее с годами тело, Кайтук огладил обеими руками белую, слегка курчавую бороду, посмотрел на сыновей, на каждого в отдельности и, улыбнувшись, неторопливо проговорил:

– Слушаю вас, зиусханы, видимо, по важному делу вы пришли, видимо, не зря собрались все вместе. Пшиапшоко и Асланбек, садитесь, а остальные пусть постоят.

– Отец, мы не позволим себе сидеть в твоем присутствии,– не согласился Пшиапшоко.

«Если у меня есть такие сыновья, мне можно спокойно уходить из жизни. Они достойны имени своего отца, своих предков»,– с гордостью подумал князь Кайтук и произнес:

– Подчиняться воле старших – это тоже дело почетное, без которого и жизнь погибнет. Садитесь. Слушаю вас.

Они сели и молчали, не решаясь заговорить.

– Тогда начну я,– нарушил тишину отец.– Что хорошего или дурного происходит на нашей земле? Что слышно в Кабарде? А как дела обстоят в наших селениях? Все ли спокойно, готовы ли наши крестьяне выехать в поле? Довольны ли вами люди? Не обижаются ли на вас?

– Все хорошо и спокойно в твоих селениях, в наших, все идет своим чередом на землях Баксана и Малки...

Отец понял – не с этим пришли сыновья, а потому, усмехнувшись, прервал Пшиапшоко:

– Не начинай, зиусхан, с конца. Ты, наверное, хочешь сказать, что у нас все хорошо, но есть что-то и нехорошее? Вот с этого и начинай, а хорошее оставь на потом, чтобы уйти домой с легкой душой.

– Ты знаешь, зиусхан, в позапрошлом году посланники беслинеев и абазинов ездили в Московию к царю Урусов...

Старый князь Кайтук поднял предостерегающе руку, укоризненно покачал головой:

– Я даже знаю, что князь Сибок только что вернулся из Московии.

– Говорят,– продолжил Асланбек,– сын Идара Темрюк задумал то же самое.

– Задумал или уже готовится? – уточнил отец.

– Говорят, он по этому делу встречался с Тавсултаном Шевлохом, с родственниками Джилахстана.

«Вот как, вон уже куда полыхнуло,– нахмурился Кайтук,– выходит, не зря мои сыновья беспокоятся. На Урухе и на Тереке тоже мутят воду. На земле нашей грешной столько князей развелось, что куда ни кинь палку – обязательно в князя попадешь. У него-то и крестьян своих с горсть, каких-нибудь два байкола, а он уже – власть, он сам себе хозяин, хочет посланников в Московию, в Крым, а то и в Турцию отправлять. Он – государство! Что ни дым над трубою, что ни волкодав с петухом во дворе – то свой гонор. Вот и поделили они Черкесию на куски, на заплаты на своих дырявых бурках... Наш старинный род тянется от светлейшего Инала, а какой-нибудь непутевый князишко в заплатанной бурке без роду и племени хочет с нами вровень стать, а то и выше, мутит воду в народе своими пустопорожними, крамольными мыслишками. Он уже хочет посланников своих отправить в закордонные страны, вести с ними переговоры. Но о чем, по какому праву?.. А

то бывает еще и такое: отец Темрюка Идар – тоже крови светлейшего Инала, и земель у него не меньше нашего, и хозяйство доброе, крепко стоит на ногах. Ну и радуйся светлым дням, радуй людей добрыми делами, так нет же! Перебрался к Минболету, запахал земли своего единственного сына, уже покойного Джилахстана, оставив ни с чем его наследников – Жамирза, Лаурсена, Кансава и Дзегашта. Разве они простят ему это, будут жить с ним в мире? Темрюка зовут большеголовым, а я бы назвал его пустоголовым». После раздумья князь Кайтук спросил:

– Ну... как вы думаете, братья будут поддерживать Темрюка в его задумках о Московии?

– Пока они молчат,– ответил Пшиапшоко,– но с Жамирзом я сумею договориться.

– Хорошо бы. А что Темрюку ответил Тавсултан? Пшиапшоко пожал плечами:

– Вроде бы не поддерживает его, но... слову Тавсултана особенно нельзя доверять – есть у него ветерок в голове.

– Хорошо, сын мой, хорошо. Твой мудрый покойный дед учил меня: твоих недругов ты уверенно можешь одолеть, посеяв разными слухами-наговорами между ними рознь, а еще золото и серебро – верные помощники в таких делах.

Надолго задумался старый князь. Хотелось пройтись, потоптать свои думы, ветерком бы их проветрить, как это делал он раньше: на коня – и во весь опор, до свиста в ушах! Это было раньше. А теперь даже встать с кресла, пройтись к окну, к очагу... В большом разладе с Темрюком Кайтук во многом считал себя виноватым. Ища поддержки своему роду, он сумел добром договориться с крымским ханом, и, понятное дело, Темрюк не остался в долгу – породнился двумя дочерьми с астраханским и ногайским ханами. А чтобы оставить позади себя дворян Анзоровых и Атажукиных, Пшиапшоко тоже породнился с ногаями. Теперь же вот еще – Темрюк нацелился на Московию.

«А что делать нам? Превращаться в женщин-домоседок? Раз жизнь вяжет такие узлы, надо иметь крепкие и мудрые руки, чтобы развязывать их, не сидеть же, ожидая, когда кто-то их развяжет».

Сыновья знали неторопливого, но твердого в своих решениях отца и потому терпеливо ждали.

– Не позже завтрашнего дня,– сказал отец,– не позже завтрашнего, Пшиапшоко и Асланбек, поедете на Терек. Начнете свое дело с родственниками Джилахстана. Неторопливо повстречаетесь с каждым в отдельности, а потом, если потребует дело, и со всеми вместе. А закончите в гостиной Тавсултана. Встречаться будете так, чтобы не было лишних глаз и ушей. И вообще – приехали вы просто так, повидаться.

– А с Темрюком, с его сыновьями? – спросил Асланбек.– Если наши дорожки-тропинки скрестятся...

– Или вы не адыги? – удивился отец.– Или не знаете, что проехать мимо чьей-нибудь гостиной – значит, обидеть его, но и, зайдя к нему, вовсе не обязательно раскрывать всего себя... Теперь вы – Тепшанук и Кайтук. Не торопясь, тоже собирайтесь в дорогу. На днях отправитесь к баксанским и малкинским дворянам, крестьянам. Поедете, как говорят, просто погостить. На людей посмотреть и себя показать, поговорить о житье-бытье. Люди любят посудачить, тем более с гостями, да еще с такими, как вы, князьями. Тихо, помалу, дружески объясните им, что за затея Темрюка, чем она может закончиться для всех нас. Ну вот, кажется, и все дела наши. Всего вам доброго, а ты, Пшиапшоко, задержись – кровь пустишь. В голове все грохотом грохочет.

– Зиусхан! Мы же говорили – пиявки лучше,– не сдержался со своим советом старшему Жансох.

Князь улыбнулся, мол, не сердитесь, дитя оно и есть дитя, еще несмышленое, какой с него может быть спрос.

– Да, сын мой, говорили, но сейчас такая тяжелая у меня голова, что Пшиапшоко быстрее облегчит ее. Он – мастер.

Пшиапшоко и Асланбек с пятью байколами три дня пробыли на терских землях. Начали с правого берега, с Тавсултана Шевлоха.

Как говорили люди, Тавсултан был искусным говоруном – мог красиво, много и долго говорить, ничего определенного не сказав. Он будто не знал слов «да» или «нет», вместо них – если бы, может быть, а может так быть, что и не быть.

Знал эти способности Тавсултана Пшиапшоко, а потому разговаривал с ним осторожно, чтобы хоть намеками понять, чего хочет этот человек, что надо ему.

Сам же Тавсултан считал, что он прост, как жизнь. Разговаривая с сыновьями старого князя Кайтука, он так размышлял: приехали эти князья из такого далекого далека, что не враз и доберешься до него. А что у них с собой? Сила? Никакой силы, одни слова. А сильный, знатный, богатый Темрюк – вот он! Попробуй возразить ему, да он тебя в бараний рог согнет и вышвырнет. Искусник Тавсултан так говорил, чтобы не только не обидеть гостей, а сделать беседу, застолье приятными. Однако перед тем как распрощаться, он, разогретый крепкой бузой, мягко, даже как-то виновато сказал:

– Пшиапшоко, мы в обиде на адыгов, живущих на берегах Баксана и Малки.

– И за что же ты на них в обиде? – как бы удивленно спросил Пшиапшоко, приподняв брови.

– Да вот,– осклабился Тавсултан,– вы тут говорили, что все мы – адыги одного рода-племени, одна семья, а когда на нас осенью напал кумыкский шамхал, вы даже ухом не повели, будто не слышали нашей просьбы о помощи. Темрюк же стал во главе наших воинов, нам помогли осетины, ингуши, чечены, даже ногаи прискакали и не дали кумыкам нас уничтожить, а адыги... вот тебе и одна семья.

– Да, прошлой осенью,– опустив голову, заговорил Пшиапшоко,– я был в Крыму и узнал о вашей беде, когда вернулся оттуда. Мой отец, светлейший князь Кайтук, очень строго разговаривал с теми, кто не помог вам. Да-да, мы должны быть все вместе – в этом наше спасение, вся жизнь наша. А беслинеи и жанеи тянут нас к урусам. А где они находятся? Можно сказать, почти на том свете.

– Ты не обижайся, зиусхан, на беслинеев и жанеев – им тоже житья не дают Турция, Крымское ханство, как нам шамхалы Кумыкии.

– Правда твоя, зиусхан, и давай мы с тобой выпьем за то, чтобы адыги стали едиными, одной дружной семьей. Выпьем до конца, до последней капли. И сразу же в седла... Нам еще надо передать с нашей стороны поклоны и приветы Темрюку, его сыновьям и наследникам Джилахстана.

На левом берегу Пшиапшоко со своими спутниками пробыл совсем недолго – тех, кого они искали, не оказалось дома. Всадники направились к Темрюку, спешились у ворот и зашли в гостиную. Им подали анэ с наспех приготовленной едой, пояснив, что князя и его сыновей нет дома. Вскоре принесла кувшин с медком дочь Темрюка княжна Гошевнай, молча поставила и ушла.

– Какова? – подмигнул Пшиапшоко.– Не зря о ней говорят – первая красавица. Женить бы на ней нашего Жансоха.

– Э-э! Что ты говоришь, брат. Подумаешь, красавица! Ты просто за своими делами не видел наших красавиц! Пойдем, похоже, мы здесь не ко двору. Тфокотль мне сказал: Доманук и Мамстрюк поехали в Астрахань проведать сестер, а Балгайрук с отцом и четырьмя сыновьями Джилахстана не известно, куда поехали... Зябко нам в этом доме, и окна какие-то хмурые, будто солнышко в них не заглядывает. Чем раньше уедем отсюда, тем скорее домой попадем.

– Правда твоя, брат, похоже, чужие мы здесь,– опечалившись, ответил Пшиапшоко.– Впрочем, не будем отчаиваться – просто нет самого Темрюка, он бы, конечно, принял нас, как того требует адыгство. Ведь он, как и мы с тобой, потомственный зиусхан, да еще и родственник.

Они встретились на неширокой лесной тропе. Темрюк сдержанно и осторожно поприветствовал братьев, тронул повод своего коня.

– Мы привезли тебе и твоим спутникам добрые пожелания нашей земли. Были бы рады быть твоими гостями, как велят обычаи твоих и наших предков.

Нахмурился Темрюк, набычил свою большую тяжелую голову, промолвил приглушенным голосом:

– Как можно радоваться тому, кто оставил тебя один на один с бедой?

– Минула метельная зима, зиусхан, подобрело солнце, а ты все никак не согреешься, вроде бы даже зябко вздрагиваешь.

Грозно глянул на Пшиапшоко Темрюк, но тот улыбнулся ему в ответ:

– А мы все-таки посидели в твоей гостиной, отведали хлеб-соль, подкрепились медовухой...

– Я знаю! – резко перебил Темрюк.

– О зиусхан, что ты потупил свой мудрый княжеский взор, посмотри вдаль, и, как знать, может, завтра мы будем тебе нужнее тех, кого нынче ищет твой взгляд.

Распрямил плечи князь Темрюк, положив руку на рукоять кинжала:

– Если твой взгляд, зиусхан, увяз в Крыму, почему бы мне не посмотреть туда, где и простора побольше, и воинство куда как покрепче.

Тронулись всадники неширокой тропой навстречу друг другу, касаясь боками лошадей, звеневшими стременами.

Каждый из них думал, что едет вперед, а в самом-то деле, как говорил один мудрый старец, каждый ехал в этом случае назад.

II

В короткие зимние дни, без солнца и звонкого неба, в метели и морозы устает человек, и добрее становится солнце, веселее небо, вместе с ними пробуждаются от зимней спячки поля и луга, леса и сады, наступает пора цветения и радости, пора весенних песен и любви всего живого.

Князь Сибок впервые узнал русскую зиму, ее суровость, впервые сказал себе, что его родная земля – земной рай по сравнению с Русью, ее снежными вьюгами и трескучими морозами.

Тронулись они из Московии, когда небо озарили лишь первые проблески весны, но они, двигаясь с севера на юг, обгоняли всадников и встречали их уже веселым говором ручьев, первой зеленью лугов, трелями жаворонков в ярком, праздничном небе. Сибоку казалось, что он въезжает в распахнутые ворота земного рая, но!..

Ах, если бы не было в жизни этого самого «но», которое торчит, как заноза, на твоем пути. Вот и у Сибока почему-то отсутствовало внутреннее душевное ощущение того, что все в Москве получилось удачно и можно, вернувшись домой, сказать: смотрите и радуйтесь тому, что мы сделали для всех вас! Вправе ли он во всеуслышание заявить об этом?

А где сын твой Кудадек, спросят, где князь Дударук? Они остались там как достойные гости или как заложники? Что привезли вы взамен их в своих переметных сумах? Какую-то бумажку, написанную на непонятном языке?

«И все-таки мы сделали такое, чего никто никогда до нас не делал и, может, не сделает. Только надо ждать. Как говорят старики, иногда уметь ждать важнее, чем уметь торопливо делать».

Сибок решил: он поедет с Ацамуком, со всеми своими байколами к абазинам, чтобы самому все рассказать, растолковать семье князя Дударука, его близким, всему абазинскому обществу. Самому растолковать, чтобы не бродили по селениям всякие дурные суды-пересуды.

Едва всадники спешились в княжеском дворе, едва расположились в гостиной, как тут же набралось столько людей, что стало тесновато.

Сибок негромко сказал Ацамуку:

– Ветер новостей и здесь нас опередил.– Потом поднял руку, прося тишины: – Мой младший друг, зиусхан Дударук, по воле великого царя Руси, по своему собственному желанию остался в Московии...

Беспокойный шумок прошелся по гостиной. Сибок опять поднял руку, понимающе покачал головой в серой каракулевой папахе:

– Не думайте, будто он там остался пленником или заложником. Нет. Он по нашим с вами делам как посланник. По договору о нашем добром согласии с Русью, который мы заключили, зиусхан Дударук будет вести там наши с вами дела.

Толстенький мужичок в овчинной шапке на затылке, с жиденькой рыжей бородой и колючими, насмешливыми глазками хихикнул:

– А что, если царю уж так понадобился посланник княжеского рода, не нашлось среди вас другого, который познатнее?

Сибок сделал вид, будто не заметил колкости мужичка:

– Вместе со мною во дворце царя были и ваши сельчане. Они слышали, что первым пожелал остаться зиусхан Ацамук, но царь выбрал Дударука и моего сына Кудадека.

– Вон как?! – не то восторженно, не то удивленно воскликнул толстячок.

– Ну и что? – вступил в разговор худощавый, парень, который стоял у окна.– Вот будет дело, если урусы под видом помощи ответят нам наглостью, как крымские ногаи.

– Да нет,– положил парню руку на плечо пожилой мужчина в черкеске,– я частенько бываю у них, знаю их. Они добрые, душевные, я рад, что у нас с ними может доброе дело получиться.

– Может, и правда – добрые, душевные,– возразил ему парень, стоявший у окна,– но я хочу жить в своем доме сам, а не под чужим мечом, под чужою волей, какая хорошая она ни будь. А насчет Дударука и твоего сына, зиусхан, думаю, они оставили их заложниками.

– Хватит! – вдруг вспылил в белой черкеске и при кинжале парень, у которого на чистом юношеском лице только стали пробиваться бородка и усы.– Языками все мы умеем ляскать, а сможешь ли, как зиусхан Сибок, отдать своего сына?!.. А что из этого выйдет, покажет время. Терпение, говорят старики,– это тоже мудрость.

Зашумели сдержанно, но одобрительно в гостиной.

– Хоть и не полагается по нашим обычаям, а я, старший, при народе похвалю тебя, парень. Ты, наверное, всего лишь ровесник моего сына, но молодец, настоящий мужчина. И так смело хвалю тебя еще и потому, что этим самым хвалю твоего отца, твоего деда. Это у тебя, конечно, от них.

Жанеи встретили своего князя так же разноречиво, как и абазины, но труднее всего ему пришлось у себя дома. Конечно, ни жена Загирета, мать Кудадека, ни все другие домашние не смели его ни упрекнуть, ни осудить словом или своими слезами, но их холодные взгляды были, пожалуй, горячее слов. Он понимал их, не посмел упрекнуть, осудить, только бессонные ночи были свидетелями его душевной боли.

Поддержкой, конечно, был ему Ацамук, но с ним уже все было переговорено, все перегорело. Отвел бы он душу в спорах-разговорах с Калакутом, однако тот находился в отъезде – все искал и искал по дальним и ближним селениям свою сестренку.

«Вернее не скажешь: адыг умен задним умом»,– с горькой усмешкой подумал Сибок. Когда он скакал со своими спутниками по нескончаемым дорогам Руси, когда

ценою многих дней дороги понял, как велика эта страна, невольно думал, что быть принятым царем такой державы, говорить с ним – это уже немало, такое не многим достается в этом мире. Но царь не только принял их, разговаривал с ними, но и пообещал оборонять адыгов от крымского хана, обещание свое, сказал боярин Щепотев, он скрепил государственной бумагой, а князя Дударука и княжича Кудадека взял в свое войско, может, даже в свою царскую свиту, как тут не радоваться! А потом, когда Щепотев прочитал и растолковал ему бумагу, оказалось, что русский царь берет всех адыгов в «холопы».

Как это понять: берет под свою защиту своих холопов... А разве князья со своими дружинами не защищают своих крестьян от врагов? Или, возможно, это просто слово такое нехорошее – «холопы»? Может, его не так надо понимать? Обо всем этом все думал и потом решил – просто надо подождать, когда само все выяснится. Главное в том, что царь принял и обещал свою защиту. Не может быть, чтобы такое громадное государство так просто разбрасывалось пустыми словами. Ведь говорит же народная мудрость: надо уметь ждать.

Смущало князя и загадывало загадки еще одно обстоятельство: бумагу эту вручили лично ему в руки, никому Сибок ее не давал и не показывал, никто из его спутников никуда не отлучался, но о встрече с царем и о бумаге, пока возвращались посланцы, уже пошли разговоры по многим селам, уже знал обо всем крымский хан и, говорят, очень рассердился.

«Может, царь Иван не ведает, что в его стране есть неверные ему люди, которые все дела государственные могут пускать по ветру? – размышлял Сибок, уединившись в гостиной.– Посмотрим, что покажет мудрое время. Наши деды и прадеды не отдавали свой народ, святые земли свои ни персам, ни монголам, ни туркам, не позволим этого и мы».

За дверью послышались шаги. По тому, как натужно поскрипывали доски пола, Сибок догадался: идет Калакут. И он в черкеске нараспашку, весь возбужденный вошел, вернее, вторгся в гостиную и прямо с порога спросил:

– Не жалеешь, зиусхан, что ездил в Московию?

– Может, ты сначала поздороваешься, сядешь, сосед? – с усмешкой спросил Сибок.

Не смутился Калакут: широко шагнул к столу, крепко своей мускулистой пятерней пожал князю руку, сел напротив него.

– Не сердись на меня, зиусхан, ты же знаешь, я без лукавства, дружески.

– Не сержусь. Ты не голоден? Может, с дороги поешь и с усталости выпьешь медовухи?

– Нет, сначала поговорим, пока душа требует, а там посмотрим.

– Видишь ли, мой добрый сосед, если бы было просто ответить на твой вопрос – жалею или не жалею, если бы было просто, то с души моей упал бы тяжелый камень. Отвечу так: жалею и не жалею, но больше надеюсь на мудрость времени. Царь Иван сказал, что защитит нас от кого бы то ни было, в том числе и от крымского хана. Разве не это мы с тобой ищем для своего народа?

– Но не слишком ли дорогой ценой ты заплатил за это, хоть и царское, но все-таки пока только обещание? А еще я, как и другие, думаю: есть в нашей жизни нечто такое, что лучше умереть, чем поступиться им. Как ты, главный князь жанеев, предводитель целого народа, мог согласиться за обещание царя поступиться свободой и честью своих людей, отдав ему в кабалу? Да в придачу оставить в стане не знаемых нами людей своего единокровного сына, может, всей земли нашей наследника?

– Остановись, сосед! – не то попросил, не то потребовал Сибок.– Я же сказал тебе: жалею и не жалею, но сердце мое не меньше твоего болит и стонет. Ты знаешь меня не хуже самого себя, с той поры мы знаем друг друга, как только научились ходить по земле. Ты знаешь, что я тоже не лукавлю, говоря, размышляя с тобою. Ни Ацамуку, ни самым близким людям не показал своей слабости, вины своей пред ними не выказал, а это так больно, что ничего больнее не бывает, а тебе скажу: наверное, виновен, что согласился с тем, что написано в бумаге. Но как, Калакут, я мог знать, что в ней, не ведая ни слова из того языка? Что касается Кудадека, не заложником, не рабом, а воином царя я оставил, воином, который должен вернуться домой со славою. Дударук же – зиусхан, остался он по своей воле

и тоже, должно быть, надеется вернуться домой со славою для своего народа... Вот и ты, Калакут, не понял меня, не понял моего дела, не знаю, поймет ли народ? Одна у меня надежда на мудрость времени.

– Прости, сосед,– опустил голову Калакут,– может, я тоже поторопился.– С этими словами он снял мохнатую овечью шапку, в сердцах ударил ею по колену и очень сердито пробасил: – Не зря говорится: если на что ума своего не хватает, спроси у шапки.– И как-то по-детски виновато улыбнулся, негромко добавив: – Я тоже поторопился. Ты же знаешь, какие мы, адыги, как начнем о чем-нибудь судачить, удержу нет, вместо одного стога вырастет в поле сто... Понимаешь, многие языкатые болтают, будто все это ты сотворил для своей выгоды. Вот, мол, даже сына своего не пожалел, только бы самому возвыситься.

– Болтовня она и есть болтовня, пустой ветер,– удрученно покачал головой князь,– а вот как донести до людей правду?

– Как?! – повторил и Калакут.

– У меня радостно на душе, что ты понял меня, и это самое главное.

– А куда я тебя дену, ведь ты для меня, как, наверное, и я для тебя – это наш с тобой вчерашний, сегодняшний и завтрашний день. Я не обращаю внимания на то, что о тебе болтают зиусханы. У меня, хоть плохонький, может быть, но свой ум. Я за дружбу с Русью, кто откажется от сильного друга, но что это за дружба такая, если царь вместо того, чтобы поговорить по душам, подсовывает тебе бумагу, если этот друг хочет, чтобы ты был его послушным рабом, чтобы твои земли, твое небо стали его! А как дышать-то ты станешь! Не-ет, я не соглашусь с этим, буду стоять против, пока течет в моих жилах кровь... Это, зиусхан, мое твердое, честное слово.

– А что говорит простой народ, земледельцы, скотоводы наши, какими надеждами он живет?

– То, что ему положено, то и говорит. Ему не нужны наши с тобой вершины-перевалы, заоблачные дали. Нам лишь бы не мешали хлеб сеять, скотину водить, чтобы не грабили нас, селения не жгли и детей наших не угоняли,

нам нужен тот, и служить мы будем тому, кто принесет мир: то ли это урусы, то ли турки, то ли ногаи.

– А кто из зиусханов меч свой на меня обнажил?

– Тахо из села Джагун – костлявый и трескучий, как прошлогодняя колючка. Иногда мне кажется, что ноги и шея у него длиннее, чем он сам. Сплющенный какой-то, будто из погреба выглядывает. Смотреть на него противно, а туда же – вверх, чтоб повыше. Зло затаил с тех пор, когда тебя на хасэ выбирали предводителем жанеев. Уж как ему хотелось стать предводителем! Места себе не находил, шнырял меж людей, как крыса поганая, и всякие гадости на тебя выдумывал. Очень переживал, что у него борода хорошая не растет, будто разум не в голове, а в бороде! – расхохотался Калакут.

– Ты так разделал его, что такого даже в ад не пустят! – рассмеялся и Сибок.

– Не для похвальбы, а ради правды скажу. Вот ты – предводитель жанеев, но кто бы к тебе ни пришел, даже самый убогий человек, каждого приветишь, к столу позовешь, а тот, как индюк, ходит, под ноги себе не смотрит, все выше своего длинного носа норовит... Как-то через его байкола я передал, мол, хочу с ним встретиться. Что ты! «Какое может дело ко мне,– вскричал он,– у человека без рода и племени!» Он же сутулый, как крючок. Когда-нибудь разогну его и нос укорочу,– до слез рассмеялся Калакут, а отсмеявшись, сказал: – Мне один человек по секрету сказал, что по ночам иногда наведываются всадники, будто из Крыма. Может, от Мамия?

– Ну, Калакут, тут, пожалуй, нет секрета – просто Тахо и Цахо, некоторые другие зиусханы хотят сблизиться с крымским ханом, мол, он сам стремится дружить с адыгами, вот и заводят шуры-муры. У нас-де с ними вера одна, мы близкие соседи. К тому же, говорят, Турция не допустит дружбы адыгов с Московией. В этой схватке, они говорят, на урусов грянут полки небесных ангелов и сожгут.

– Но скажите на милость, когда крымчаки нападают на нас, грабят, почему небесные ангелы не защищают нас, мусульман?.. О Великий Аллах, если я злословлю, прости меня грешного,– сказал Калакут и, огладив лицо, прошептал молитву.– Помоги мне, наставь на истину, на добрые дела.

За окном показалась княжна. Сибок кликнул дочери подать им еду, потом спросил соседа:

– Как ты можешь зиусхану нос оторвать? Ведь у него байколы есть.

– Ты же знаешь, зиусхан, я таких байколов – лоб об лоб, и они отправятся на тот свет. Да на что они мне, пусть живут. Я тебе вот еще что поведаю. В одну из ночей – лунная такая, светлая была – выследил я байкола, который спешил вниз по селу. Взял его за грудки, приподнял и говорю: если ты сейчас не скажешь мне, что за люди к нему ходят, я тебя так садану о сухую землю, что останется только мокрое место. Он, болтая ногами, взмолился, мол, пощади, все расскажу. И рассказал, кто, когда приезжал и еще приедет. Гляди, предупредил его, о нашей с тобой встрече никто не должен знать.

– Однако ты отчаянный, Калакут. И зачем сразу – о землю, может, он так бы, добром все рассказал?

– Дождешься от них, особенно от длинноносого Тахо. Он готов тебя с грязью смешать, только бы самому возвыситься. Подобные ему не знают, что такое добро.

Вошла княжна Минсура с анэ, с полотенцем через плечо, а с нею младшенький с тазиком и кумганом.

Выпили медовухи, стали есть четлибж.

– Ты что, зиусхан, так плохо ешь?

– Не обращай на меня внимания, сосед, я недавно поел, а ты с дороги. Поешь хорошенько. Не стесняйся. Медовухи еще выпей.

– А чего мне стесняться, гость я, что ли?

– Спасибо, Калакут. Я этому очень рад. Хочу тебя спросить кое о чем.

– Как там у нас говорят: сыпь свои слова, сыпь, я подмету, а пока выпью медовуху. Очень знатная она у тебя.

– Я думаю, Тахо не один. Есть и другие, которые на Турцию поглядывают, на Крым, на Астрахань, на Ногай.

Калакут откинулся на спинку, глянул на Сибока, потом уставился в окно и этим как бы прервал князя.

Они помолчали. Послышались глухие раскаты грома.

– Нынче первая гроза. Это к доброму урожаю,– сказал Калакут. Помолчав, добавил: – Жалко, что ты не послу-

шался меня, поехал в Московию. Ну да ничего... все образуется. Пойду, пожалуй, отдохну немного.

Гром, скатывавшийся с гор, громыхал все чаще и напористее.

Сибок подумал: «Вот как порою получается – добро, сделанное тобою, и против тебя же обернется».

Знал Сибок, какой целеустремленный Калакут, какой неудержимый и неотступный в достижении цели. А главное, он уверен в своей доброте не для себя, а для всех адыгов, в благородстве своей цели, и во имя этого благородства...

«Где же истина?..» – подумал Сибок, подойдя к окну. Справа небо еще было ярким, приветливым, а слева, со стороны гор, наплывала величиною в полнеба черная, с грозовым белым окоемом туча.

Калакут выехал из родного села Каншаукова ранним веселым утром и направился вдоль берега моря. После ночной грозы стояла свежесть гор, лесов, лугов, распространяясь из конца в конец.

Вскоре остались позади селения Гонэс и Лиготх, впереди замаячил у края леса Псабэ. Здесь по горным и лесным нехоженым тропам шатаются ночами пришлые люди, сбивают с толку сельчан, прикидываясь народными печальниками, зовут якобы к вере мусульманской, а в самом-то деле служат за золото крымскому хану, выдумывают всякие пакости, настраивают народ против князя Сибока, против его дел с Россией.

Вчера Калакут признался князю, что не одобряет его поездку в Москву, но это вовсе не значит, что надо звать на землю ханских грабителей, и он, Калакут, никому не позволит позорить своего соседа – человека честного, доброго.

Солнце уже золотилось, опускаясь меж двух холмов, будто в протянутые руки, когда Калакут въехал в Псабэ – маленькое, но уютное селение с веселыми домиками, с распахнутыми навстречу всем верандами, с садами и виноградниками. У побеленного дома с четырьмя, как он подумал, глазастыми окнами, стоящего между двух, словно сторожевые башни, пирамидальных тополей, он придержал коня.

Из легкой решетчатой калитки вышел мужчина в папахе на кудлатой голове, в черной будничной черкеске:

– Заходи, будь гостем, сделай счастливым мой дом! – радушно пригласил путника хозяин.

Очень понравился мужчина Калакуту, и он, громадный, легко, будто большая крылатая птица, спустился на землю:

– Валлахи, зайду к тебе в гости!

Тут же появился мальчуган, кудлатый, как и отец, но светловолосый, взял под уздцы коня Калакута.

– Обязательно зайду – хороший дом, хорошие люди.– Они неторопливо вошли в калитку.– Конь мой утомился, да и я немного устал. День заканчивается хорошим солнышком, почему же не зайти, если тебе улыбаются и в дом зовут. А скажи, счастливый тхаматэ, почему заморские люди, побывавшие у нас в гостях, хотят быть адыгами, хотят, чтоб все были адыгами?..

– Извини, гость, нарушу обычай и спрошу: как тебя зовут, откуда ты? Приятнее человеку в глаза смотреть, коли знаешь его имя. Меня зовут Тлехуч... Вот тот большой – дом предводителя нашего села. Когда он уезжает по своим делам, я замещаю его. А теперь я скажу, почему нарушил обычай предков и стал тебя расспрашивать. Не осуди, гость дорогой... Сегодня на рассвете пожаловал ко мне в дом смуглолицый, средних лет и среднего тела, даже щуплый такой. Он отсыпался почти до обеда, а проснувшись, попросил собрать видных людей села. И стал с ними разговор вести, а сам быстрыми глазками все как-то шнырял, шнырял, а потом стал хаять зиусхана Сибока, похваливать крымских татар. Тут мы и поняли: чужак какой-то, нечистый это человек. Я спросил, а почему эти крымчаки, которых он добрыми называет, забыли, сколько наших сел сожгли и разграбили, сколько крови нашей пролили, сколько детей наших рабами на чужой стороне сделали? Он воздел руки и отвечает, мол, один Аллах без греха, были, были нехорошие дела, но теперь единой рукой должны все объединиться в любви и мире... Наш предводитель на это так ему сказал: твои слова о доброте не услышат убитые крымчаками, сожженные в домах заживо...

– Подожди, подожди, дорогой хозяин,– вскинулся Калакут,– ты случайно на лице его смуглом не заметил небольшого шрама?

– Заметил, небольшой такой, у бороды...

– Как же это я проворонил! – вскочил Калакут.– У вас был не человек, а зверь кровожадный, змея ядовитая, Мамий его имя! Прости, Тлехуч, в другой раз пообедаю, а сейчас – на коня! Я догоню его, выверну наизнанку и выброшу шакалам!

– Не горячись, Калакут,– поднялся и хозяин.– Он уже давно уехал. Да и по какой тропе, в какую сторону, мы не знаем.

– Ты прав. Но ничего, достану я его, обязательно достану, Тлехуч – это тебе мое мужское слово... Хорошо, давай пообедаем, а потом попрошу тебя собрать всех уважаемых людей села, расскажу им все и о Мамие, и о крымском хане. Расскажу и о князе Сибоке, и о Московии.

III

Хан Давлет-Гирей усвоил от отца, а отец – от своего отца... и так в глубь поколений, что лучший советник– страх. Он одинаков на всех языках, его понимают все: и дети, и друзья, и недруги, и умные, и глупые. Он, как говорил отец, твой главный правитель.

В последние четыре года Давлет-Гирей стал несколько иначе относиться к своему старшему сыну Адыль-Гирею.

Турецкий султан Сулейман очень любил своего сына, наследника Мустафу. Так любил, что потакал его слабостям, даже ласкал, но когда узнал, что он зарится на отцовский престол, замышляет свершить переворот, без колебаний повесил его.

Очень любил Давлет-Гирей своего наследника, ему нравилось порадовать его какой-нибудь поблажкой, полюбоваться сыновней статью, но теперь все это делал как бы сквозь тень повешенного отцом Мустафы. Даже наставляя Адыль-Гирея в разных государственных делах, напоминал: «Помни, каждый, кто стоит с тобою рядом у власти,– завистник, а большей жестокости, чем у зависти, нет. Внимательно смотри на ближних твоих и дальних, присматривайся, подозревай. Даже самого себя. Ты должен знать, кто с кем спит из твоих подданных, о чем шепчется, какая птица пролетела твоим небом, потому что все это государственные дела».

«Адыги, адыги!» – злился Давлет-Гирей, стоя у окна.

Зацвели сады, зазеленела степь, жаворонки в небе поют, а ему не до весенней радости. Мало того, что Сибок ездил в Московию, так сюда теперь едет оттуда, говорят, какой-то важный посланник. Не просто посланник, а воевода Вишнивецкий.

«Хорошо бы где-нибудь по дороге прихватить этого воеводу и отвернуть ему голову, а заодно сжечь несколько сел. Вот тебе и воевода... Князь Пшиапшоко, когда бывает у нас, много красивых слов говорит, много обещает, а на деле вон что – воеводу ждет... И на колени перед Аллахом поставил адыгов, а они на тебе! Не только ездили к гяурам, так еще и к себе позвали. Бумагу о дружбе с адыгами царь собственноручно подписал, а это уже не слова, а дело, только адыги все еще никак не могут сообразить, что к чему».

Обо всем этом хан донес Сулейману, но никакого ответа. Что это может означать?

Давлет-Гирей увидел в окно Мамия и помахал, мол, иди сюда. Шум за дверями послышался. Хан похлопал в ладоши, подал повелительный голос, только тогда Мамий вошел.

– Вот какие дела – моего любимого храброго баскака не пускают ко мне,– довольно улыбаясь, сказал хан.

– Ты можешь гордиться своими слугами, посланник Аллаха,– поклонился Мамий.– Кроме сына твоего возлюбленного, никто к тебе не должен входить запросто.

– Да и Адыль-Гирею нечего без дела заходить ко мне,– продолжал довольно улыбаться хан.– Ты молодец, Мамий, я верю тебе.

– Спасибо, посланник Аллаха. Если надо, я, не задумываясь отдам свою жизнь за тебя.

– Ну-у,– развел руки хан,– твоя жизнь мне еще очень нужна. Послушай меня и помоги понять. За полтора века, что мы в Крыму, у нас с адыгами много разных добрых дел. Их дочери живут в наших домах, рожают нам детей, наших сыновей воспитывают адыгские аталыки. У султана Сулеймана жена – черкешенка, и моя жена, мать Адыль-Гирея, тоже черкешенка, дочь князя Пшиапшоко замужем за ногайским ханом, у князя Темрюка одна дочь замужем за астраханским ханом, другая – за ханом Большой ногай-

ской орды, шамхалы кумыкские, персидские шахи тоже связаны с адыгскими женщинами, а мужчины этих женщин, их сестер ненавидят нас, не хотят с нами, своими самыми близкими соседями, дружить.

– Посланник Аллаха, прошу ничего у меня о них не спрашивать.

– Почему? – удивился хан.– Разве ты не адыг?!

– Уже давно.

– Как?! – еще больше удивился хан.

– Что это именно так, я готов отрубить себе палец! – Мамий решительно схватился за рукоять кинжала.

– Ты слишком много говоришь, баскак! – гневно нахмурился Давлет-Гирей.– Я никому не разрешаю так разговаривать со мной!

Спохватился Мамий, вспомнив, что одному важному, но излишне болтавшему воину хан приказал отрезать кончик языка.

– Прости, посланник Аллаха, меня бестолкового.

– Прощаю, потому что ты понял свою вину. Люблю понятливых.– Хан подошел к окну, прислонился плечом к его косяку.– Как сказали верные люди, сын князя Сибока еще и месяц не прожил в Московии, как принял их гяурскую веру. Не могу понять и никогда не пойму таких горе-мусульман. Ты смотришь так, будто не слышал этого?

– Не слышал, посланник Аллаха.

– Я хотел бы, чтоб у тебя, моего верного слуги, были поострее уши.

– Да! – воскликнул Мамий.– Они будут острее, можешь поверить, посланник Аллаха.

– Абазинский князь Дударук тоже предал свою святую веру,– угрюмо продолжал хан,– должно быть, многие из твоих жанеев способны на такую подлость. Я позвал тебя, чтобы сказать об этом. Ты должен знать все, что касается адыгов. Может быть, раньше, чем они сами узнают. Вот как эту новость, им еще не известную.

Все похолодело внутри у Мамия: что скажет еще хан, каким будет следующее его слово, ведь Мамий – жаней.

– Все, иди занимайся своими делами.

Пошел Мамий.

– Постой,– остановил его хан.– Вон там, возле плотницкой, лежит бревно. В знак верности мне отрубишь мизинец. Мне отсюда бревно хорошо видно.

– Да, посланник! – побледнел Мамий и так воскликнул, будто должны ему отсечь голову, а отсекают всего лишь мизинец.– Если прикажешь, я принесу его тебе.

– Не надо,– сказал хан и улыбнулся.– Когда будет нужно, я прикажу, и мне принесут твою голову, а пока хватит мизинца твоей сильной и беспощадной руки.

Положил Мамий оттопыренный мизинец левой на бревно, глянул туда, где за окном стоял Давлет-Гирей, и быстрым, ловким ударом отсек кончик, кинул в ножны кинжал, а потом отрубленный палец – в карман, зажал брызнувшую кровью култышку руки, затем неторопливо пошел, как бы показывая хану свою преданность и покорность.

Хан презрительно улыбался слепой покорности Мамия, в то же время где-то в глубине души завидовал его силе и терпеливости, а глянув на яркую до боли в глазах кровь на черкеске, вздрогнул и зло обругал себя за свою затею.

Мамий своим ближним пояснил, что поранил руку, когда тесал колья. Недели через две, увидев руку Мамия без повязки, хан усмехнулся:

– У нас говорят: все зажило, как на собаке.

– А у нас зажило, как на воине,– ответил Мамий.

– Быть тебе, баскак, за твой болтливый язык без головы. Не бледней, я пошутил. Ты, пожалуй, стоишь больше, чем равный тебе кусок золота. Не догадываешься, почему?

– Как скажешь, посланник Аллаха,– гордо вскинув голову, ответил Мамий.

– Иди. Носи свою голову во имя Аллаха.

Пришел Адыль-Гирей:

– Ты звал меня, великий хан?

– Да, Адыль-Гирей. Сегодня я уезжаю в Турцию, к самому султану Сулейману. На это время ты остаешься полновластным правителем ханства... Ты не рад, сын мой?

– Очень рад, отец.

– Но я не вижу.

– Ты сам учил меня: мужчина должен хранить свои чувства – то ли радости, то ли печали.

– Но не перед отцом, не перед посланником Аллаха,– мягко упрекнул хан.

– Я просто, посланник Аллаха, разучился вот так радоваться, во всю свою радость!

– Ах, какой ты молодец, сын мой! – Давлет-Гирей даже хотел обнять его, но сдержался.– А теперь скажи, Адыль-Гирей, кому ты со всего нашего двора больше всего доверяешь?

– Я многим верю, посланник Аллаха, но мало кому доверяю. Больше всего доверяю воинству нашему.

– Это хорошо, если у тебя есть такая вера, но войско – это стадо, которое идет туда и делает то, что велит пастух. Но есть ли у тебя хотя бы один такой предводитель воинов, которому ты доверяешь, как самому себе?

– Я не знаю такого, а у тебя есть?

– Да, наследник мой, скажу тебе одному: это баскак Мамий.

– Он же чужак?! – воскликнул от удивления Адыль-Гирей.

– Ты в чем-то его подозреваешь, заметил что-нибудь? – не сдержал своего удивления и хан.

Отец и сын помолчали, каждый думая о своем. Хан настороженно спросил:

– Возможно, тебе подозрительна его чрезмерная, почти собачья преданность? А ведь собака – она и есть...

– Да. Ты сказал то, о чем я подумал, отец.

Хотел Давлет-Гирей сдержаться, но не смог – улыбнулся:

– Я рад, что ты так же думаешь, как и я. Отцу всегда это не только приятно, но и доставляет покой, укрепляет отцовскую надежду. Да, да, еще мой покойный отец, твой дед, говорил: самовластному правителю лучше быть немного недоверчивым, чем излишне доверчивым. Тайный огонь страшнее открытого пламени... Я много баскаку Мамию доверял очень важных, опасных дел, но всегда держал рядом, чтобы видеть его действия, пощупать его самого изнутри. Он недавно сам вызвался доказать свою преданность мне и отрубил свой палец.

– Что? Сам отрубил свой палец?! А говорили, будто нечаянно поранился. Когда человек знает, что в бою его могут поранить, он прольет свою кровь или даже умрет, но все-таки идет, потому что воин, потому что рядом с ним

его товарищи, но вот так, как этот чужак?! У него, наверное, есть что-то большее, чем мужество мужчины.

– Я рад, я очень рад, что ты у меня такой, что в тебе не только моя кровь, но и дух мужчины, хана. Наверное, я не должен так откровенно хвалить тебя, радоваться нашему родству, но Аллах простит мне эту слабость, без которой может и не обойтись, ведь я передаю тебе не только и не столько самого себя, сколько дух отцов наших, ханство, которое мне вручил сам великий Аллах. А теперь помолчим немного. Пусть наши сердца уймутся.

После молчания Давлет-Гирей спросил:

– Как ты думаешь, почему Мамий так преданно служит нам?.. Рассказывают, жил-был в стае сильный волк. Сильным всегда труднее живется. Вот и этот волк не ужился, изгнали его из стаи. Стал он бродячим. Во всем лесу сам себе хозяин. Всего ему было вдосталь, всего хватало. И солнце ему светило, и ветер с птицами песни пел, но нет радости, если ты один, если тебе некого порадовать и тебя никто не порадует. Вот и нашел он другую стаю. Приняли его, хоть и был чужаком. Силой своей, удалью прославился в этой стае и больше всего боялся, что его могут изгнать. Боялся и показывал всем, как он предан им. Только бы не изгнали. Ведь ему нельзя было вернуться в прежнюю стаю, где считают его предателем, врагом своим... Я долго не буду в Турции – не своди глаз с наших баскаков, чаще вызывай их к себе, давай какие-нибудь задания. А с Мамием... не надо, чтобы другие знали его судьбу, пусть думают, что он тот, кому мы с тобою больше всего доверяем. Доверяем, но не забываем...

К обеду вторых суток пути по морю за бортом корабля, на котором плыл Давлет-Гирей, показался Истамбул, столица Турции. Лет сто назад византийцы называли его Константинополем, а русские – Царьградом. Отвоевал город у византийцев Осман из племени огуз сельджуков, теперь он – главный город Османской империи.

Давлет-Гирей много раз бывал в Истамбуле, где мечетей с минаретами, устремившихся в небо, было, как говорили, столько, сколько звезд на небе, который, возвышаясь над морем, как опять же говорили, был самым красивым во всем подлунном мире. Он не только самый большой и красивый, но и священный город мусульман, которых

становится все больше и больше, и придет время, говорили муллы, когда вся земля станет мусульманской, покорится великому Аллаху, Его священной воле.

В этом городе прошло его детство, здесь он получил хорошее по тому времени образование. Здесь он познакомился с Сулейманом, гостил у него на свадьбе, когда тот женился на черкешенке. Имел Сулейман могучее войско, покорив Сирию, Палестину и Египет, создал Османскую империю. Не без его мудрой помощи Давлет-Гирей тихо и мирно заменил Сагиб-Гирея, стал ханом Крыма. Наезжал в Истамбул по нескольку раз в году, а ныне отправился впервые, чтобы посоветоваться и принять совместное решение в связи с событиями у адыгов. Не только жанеи и абазины повернулись к Москве, в ее сторону устремляли свои взоры в Кабарде, да и князь Темрюк.

Мулла, постоянно ездивший с ханом, уже совершил омовение перед намазом, принесли тазик с кумганом и Давлет-Гирею постлали белую козлиную шкуру.

Раздались первые призывы к намазу мулл в Истамбуле. Начал призывы на молитву и мулла хана, поднявшись на возвышение на корме.

Ступил Давлет-Гирей на козлиную шкуру, с покорно опущенными плечами предстал пред Аллахом. После чтения первого стиха из Корана склонил голову, опустился на колени. После трех стихов обратился на своем татарском языке к Аллаху.

– Помоги, Аллах, свершиться всем моим делам, ради которых я прибыл в этот святой город. Смягчи сердца тех, кто не любит меня, не желает добра. Сделай так, чтобы у Твоего посланника Сулеймана не было от меня тайн по нашим делам, чтобы он помог ханству, которое я по Твоей воле возглавляю. Ты – наш единственный, наше солнце, наша луна, наш мир. Пусть нам послужат добром знания, которые Ты ниспослал пророку Мухамеду, чтобы мы могли передать их другим народам. Твой враг – наш враг. Тем, кто не понимает Твоего учения, мы свет превращаем в мрак. Прости меня за то, что называю людей, не покорных Тебе, это адыги. Если они скажут, что приняли ислам, не верь им – они возлагают свои руки на Твою книгу, клянутся в верности Тебе, а сами бегут к урусам, к гяурам. Так поступают не только жанеи, беслинеи и абазины, но и

адыги, живущие на Тереке, которые тоже собираются послать своих людей к гяурскому царю. О Аллах, если я чего недопонимаю, прости меня, научи, помоги быть правоверным мусульманином.

Обычно Давлет-Гирея встречали люди Сулеймана в порту и вели прямо во дворец к султану. В этот раз тоже: всячески улыбаясь и раскланиваясь, встретил его первый визирь с всадниками, одетыми в парадную форму, но повез не во дворец, а в гостиницу, пояснив, что следовало хану о своем приезде сообщить в Истамбул заранее, что прямо сейчас султан не сможет его принять, примет только через два дня. А пока, мол, можно отдохнуть с дороги, полюбоваться достопримечательностями города.

Очень этим удивил визирь и озадачил хана, будто ледяной водой окатил. Раньше такого не бывало, хан и султан называли себя братьями, встречались хоть в Истамбуле, хоть в Крыму без церемоний, дружески, а теперь?!.. «Неужели это царь вклинился между нами?»

В тот же вечер Давлет-Гирей повелел своему послу в Турции разузнать через своих тайных людей, что произошло, чем объяснить отъезд русского посла, не заметны ли перемены в султанском дворце по отношению к Крымскому ханству, если заметны, то чем они вызваны?

Утром к хану пришел посол:

– В Истамбул приезжал посланник из Московии. Зачем? Можно только догадываться, посланник Аллаха. Думаю, это связано с поездкой адыгов к урусскому царю, с его обещанием помогать им, даже защищать. От кого, ты сам знаешь, посланник Аллаха... Я за своей спиной, когда бываю в султанском дворце, тоже чувствую холодок. Прости, посланник Аллаха, за дерзость, но я – твои глаза и уши в Турции, обязан все видеть и слышать даже издалека. Видеть, слышать, догадываться, предполагать, и все во имя...

– Слушаю тебя,– глядя куда-то в сторону, сказал хан, явно показывая нежелание продолжать разговор.

– Думаю... Не посматривает ли султан...

Давлет-Гирей резко встал. Посол понял его и, низко поклонившись, стал уходить спиной вперед.

«Неужели султан не доверяет мне, неужели задумал что-то такое, чего мне и знать не следует? О-о, нет, этого

не должно быть. Ведь у нас сейчас появилось столько недругов, а то и просто врагов. Огромнейшая Русь, Казань, Астрахань, Ногайские ханства. Если тебе покорны Палестина, Египет, Сирия и дружат с тобою Польша, Ливония, не думай, что ты покорил весь мир с небесами над ним и с морями и тебе нечего опасаться. Не ошибись, султан, не ошибись. Первый признак начала конца – потеря друзей. Потеряешь Крым, а кто следующий на очереди? При таких-то делах не узнаешь, когда и откуда появится твой настоящий враг».

Вспомнилось хану о верности, о доверии, и он подумал об Адыль-Гирее, но сначала с улыбкой подумал вот о чем. У султана Мудара был сын Фатхи. Еще совсем молодой, лет двадцати. Султан решил отойти от власти, уединиться в небольшом городке и жить на покое. Прошло некоторое время, молодой и энергичный Фатхи решил идти походом и покорить Балканы. Главнокомандующим обычно бывает сам султан. Но Фатхи понимал, что своею молодостью смущает прославленных полководцев, а потому обратился к отцу:

– Наши полководцы считают меня слишком молодым для такого большого и важного похода, а потому ты, бывалый и прославленный воин, приезжай и становись главнокомандующим турецких войск.

Отец ответил ему: «Ведь ты – султан, верховный правитель, сын мой, вот и веди свое воинство».

«Если я – верховный правитель, то и повелеваю тебе – становись во главе моего воинства».

Вспомнил этот случай из истории Турции и засмеялся Давлет-Гирей: вот вернется он в Крым и станет в подчинении своего сына.

«А что, он такой, я ж ему, бывало, высказывал: славен тот, кто воспитал ученика достойнее, мудрее самого себя»,– и еще раз рассмеялся хан, не зная, к добру или к худу, теперь уже подумав о султане Сулеймане, главе могучей державы, который считал Давлет-Гирея своим младшим братом: «Не станет ли он теперь прямо над моей головой?»

Тронный зал турецких султанов, как говорили знатоки, был чудом своего времени, созданный лучшими мастерами и украшенный работами из дорогого самоцветного камня, хрусталя, золота и серебра. Сулейман, стоя посередине

этого почти сказочного простора, встретил Давлет-Гирея с распростертыми объятиями, с сияющей улыбкой.

Улыбался и Давлет-Гирей, но его улыбка не была такой сияющей, как у Сулеймана. Они крепко, как и раньше, пожали друг другу руки.

– С приездом, брат, хан Крыма! Давненько мы с тобою не виделись. С прошлой осени, и я рад видеть тебя в добром здравии, цветущим. А это не мало на нашей грешной земле. Пусть гяуры, враги наши, будут у нас под пятой, а наши друзья – вместе с нами, пред светлые очи Аллаха.

– Наши враги, гяуры, посланник Аллаха, пусть будут у нас под пятой, а наши друзья – вместе с нами, пред светлые очи Аллаха.

Они сели друг против друга у столика с хрустальными блюдами, полными краснобоких яблок, золотистых груш и гроздьев винограда. Давлет-Гирей продолжил, все так же улыбаясь:

– А ты, мой брат, мне кажется, помолодел, наверное, потому что расширил свои владения. Пусть Аллах ослепит того, кто захочет положить на тебя дурной глаз.

– Да сбудется с помощью Аллаха все сказанное тобою, брат мой Давлет-Гирей. Правда, расширился я немного, но... есть такие, кто не только хочет уйти из нашей державы, но и причинить ей вред,– лукаво сощурился Сулейман.– Ты знаешь это и тоже, как и я, болеешь душой.

– Если ты имеешь в виду черкесов, что у нас за проливом, то угадал, посланник Аллаха. С такою же головной болью я к тебе и приехал, нужен твой мудрый совет, нужно наше с тобой единство, мой брат,– говорил хан, одновременно думая: «Если ты не скажешь, что к тебе приезжал посланник из Московии, не сообщишь, зачем приехал и с чем уехал от тебя, вот тогда и выяснится вся наша дружба».

– Не только это знает султан Турции. Нет на земле ничего такого, чего бы не знал правитель Османской державы.– Сказав это, Сулейман резко встал. Хотел подняться и Давлет-Гирей, но султан рукой показал, мол, сиди. Заложив руки за спину, он стал неторопливо прохаживаться: – Вот мы с тобою, мой брат, говорим о черкесах, об их судьбе, но имеем ли на это право, если говорить по справедливости, данной в завет нам Аллахом?

Остановился султан лицом к окну, постоял молча, а потом, повернувшись к хану, сказал:

– Думаю, ни у турецкого султана, ни у хана Крыма такого права нет.

– Как нет?..– оторопело начал хан, но султан поднял руку:

– Знаю, хан, что ты хочешь сказать, но... одно дело, проявляя свою силу, нападать на их селения, угонять скот, требовать с них дань, а другое – угонять их в неволю. Аллах создал людей свободными... ты понимаешь, мой брат, о чем я говорю. И еще одно: неужели, нападая на небольшие селения урусов, вы считаете, что завоевали их державу? Точно так же и с черкесами. Думаю, надо нам быть с ними сдержаннее, от этого нам будет больше пользы.

«Вон как, вон куда он повернул, правитель великой Турции»,– подумал хан и почувствовал, как по его спине пробежал холодок.

– Но, посланник Аллаха,– как-то приглушенно заговорил Давлет-Гирей,– мы ведь не только... селения, табуны лошадей... мы посылаем к ним своих мулл, хотим призвать их...

– Ты, брат, хотя и ближе моего живешь к черкесам, но не знаешь их. Ты уверен, что им нужны наши муллы? Я так не думаю. Пойдем, нас ждет добрый обед.

Они пошли.

«Значит, о посланнике из Московии ни слова. И не надо. Я вот вернусь в Крым и быстро найду камень, который ты, мой брат, прячешь у меня за спиной».

IV

Каким бы несчастным ни оказался человек, как бы ни отчаивался от непроглядной тьмы, он всегда надеется увидеть хотя бы слабый лучик света. И этот лучик появляется. А если не появится, то человек об этом попросту не знает, потому что его самого не стало.

Разумеется, Ванатуг не размышлял так, он просто надеялся, что беда, в которую он попал, обязательно закончится. Хоть и был он хромой на левую ногу, но попробуй найти во всех землях адыгов человека богаче, даже какого-нибудь княжеского предводителя. О том

знают лишь темные леса да крутые горы, сколько в его тайниках золота и серебра, кинжалов да сабель в драгоценнейших ножнах.

«И откуда он взялся, этот проклятый верзила Калакут со своей никудышненькой сестрой, из-за которой и упрятал меня рабом к турецкому богатею с его проклятущими садами и виноградниками?».

Кормили плохо, работать надсмотрщики с плетьми заставляли от темна до темна. А у Ванатуга ко всему левая нога искалеченная: однажды он пытался украсть мальчишку, отец которого находился поблизости, ну и догнал и рубанул мечом. Хорошо еще по ноге, а не по голове достал. Изнемогал он на работе, исходил тоской, но все время думал, что человек, у которого такие богатства, не может вот так запросто пропасть на чужой стороне, надеялся, что вернется домой и за все нынешние страдания поживет в тишине да в благости, обретет душевное спокойствие.

Он не думал, не знал, каким образом это может случиться, просто надеялся и верил. А однажды до того ослаб, что решил уйти из жизни и съел горсть волчьих ягод. Но умереть ему не дал хозяйский лекарь – отпоил кислым молоком и какими-то снадобьями.

С неделю Ванатуг провалялся в постели, а потом его выбросили на улицу как ненужный хлам. Сидел он, прислонившись спиной к засохшей акации, дремал с улыбкой на растрескавшихся губах и вдруг почувствовал на груди что-то теплое. Открыв глаза, увидел веселого мальчишку в коротких штанишках и длинной белой рубашке. Это он положил ему теплую, большую, во всю грудь лепешку. Положил и, напевая что-то, ускакал.

У Ванатуга свело скулы – так вкусно пахла лепешка. Он хотел вонзиться в нее зубами, но спохватился: она дороже золота, и с нею нельзя так.

Закрыл глаза, прислонился к ней губами блаженствуя. Потом откусил небольшой кусочек и не решался его жевать: «Нельзя, нельзя так просто!» Смакуя, съел его и подумал: это не лепешка, а дар Аллаха. «Конечно, конечно, Аллах мальчика прислал. Сам он не мог прийти и отдать такую большую и вкусную лепешку».

Запивая водой у родничка за кустом, Ванатуг съел небольшой кусок лепешки и сразу почувствовал себя здоровым, положив остаток в сумку, пошел в порт. Конечно, только в порт, ведь там, за морем, его дом, его богатства. Главное, подумал он, найти работу, хоть какую-нибудь, а там...

Найти работу оказалось совсем не просто. Да и носить тяжелые мешки, тюки и ящики он не мог. Стал присматриваться к грузчикам, отыскивая хоть крупицу добра в их глазах. Но какое добро у бездомных бродяг. И все же привлек его пожилой смуглый мужчина с косматой седеющей бородой, сидевший на пустом ящике. Улыбнулся он Ванатугу, кивнул, мол, садись рядом.

Сел Ванатуг и, сам не зная, почему, достал из сумки лепешку, отломил кусок, протянул незнакомцу. У того от удивления расширились глаза. Он пожал плечами – не понимаю-де, не знаю...

– Да-да, возьми! – закивал Ванатуг.

Так он познакомился с Фахрием, который не только пристроил его к артели грузчиков, но и, видя немощь Ванатуга, давал ему поблажки, предоставляя работу полегче.

Спустя несколько дней среди людей, сходивших с причалившего корабля, увидел знакомого человека. Сначала подумал, что обознался, но, присмотревшись, чуть не вскрикнул от радости: это был тот самый Нарыт, с которым он познакомился в Бахчисарае.

Откуда только взялась сила, даже вроде бы хромать перестал – кинулся Ванатуг навстречу, расталкивая встречных.

– Нарыт! – не выдержав, закричал он во всю мочь. Тот был на голову выше всех: оглянулся, однако никого знакомого не заметил, хотел было идти дальше и в этот момент увидел Ванатуга:

– Э-э, откуда ты здесь?! Да ты ли это, ты ли, Ванатуг?

– Я, я, Нарыт,– не сдерживая радости и не стесняясь слез, припал Ванатуг к груди Нарыта.

Они отошли в сторонку.

– Что с тобой, как ты сюда попал? Ну, успокойся, успокойся, все уже хорошо.

– Потом обо всем расскажу... Именем Аллаха молю – помоги мне добраться до Крыма. Век не забуду твоей доброты и так тебя отблагодарю... умоляю!

– Не надо так просить, мы же земляки, я обязательно тебе помогу. Да ты ли это, Ванатуг, просто не узнаю тебя?

– Я, Нарыт, я! Потом расскажу о своей беде, обязательно расскажу,– торопливо повторял Ванатуг, не вытирая слез.

– Успокойся. Все будет хорошо. Бери свои вещи и пойдем со мной.

– Нет у меня никаких вещей.

– Вот как! Похоже, грешен ты, Ванатуг, виновен пред Аллахом, но ничего – молись, и Он простит тебя.

На третий день корабль с Нарытом и Ванатугом покинул берег Турции, взяв курс к берегам Крыма. Ванатуг, прихрамывая, с головой, втянутой в плечи, все ходил и ходил вдоль борта, настороженно осматриваясь: а вдруг, пока еще недалеко отплыли, снимут его с корабля, вернут на ненавистный берег.

– Земляк,– подошел к нему Нарыт,– вижу, ты никак не расстанешься с любимой Турцией? Пойдем лучше перекусим да будем отдыхать.

– Я не хочу, чтобы Аллах еще кому-нибудь вложил такую ненависть к этой стране, как мне. Будь она...

– Замолчи, Ванатуг! – оборвал его Нарыт, тряхнув за плечо.– Или ты забыл, что Турция – наш друг и могучий покровитель. Если услышит такое хозяин корабля – татарин, прикажет немедленно выбросить тебя на съедение рыбам.

Двое суток их мягко баюкало море, ласкало солнце и напевал, забавляясь в парусах, ветерок, а третий день вдруг обернулся штормовым. Неистовый ветер рвал и метал в вышине черные тучи, поднимая навстречу им разъяренные волны, словно табуны обезумевших лошадей. На судно низвергались потоки дождя, порою трудно было понять, где в этом ревущем и воющем мраке верх, а где низ, где море, а где небо. Корабль стал похож на жалкое суденышко, которым, словно щепкой, забавлялось бушующее море.

Ванатуг, забившись в угол каюты, казался самому себе похожим на вывернутый наизнанку мешок. Порою начинал даже сомневаться, жив ли он или мертв, происходит

это наяву в каком-то бесовском мире или в кошмарном сне.

Он был мусульманином, вернее, считал себя им, искренне верил, но в такого Аллаха, который был нужен ему. Совершал намазы только тогда, когда его видели люди, а вот на корабле отмаливался за всю свою жизнь. Это не ум, а сердце подсказывало ему. «О Великий Аллах, ты создал меня во Имя Твое, чтобы, очистившись в грешном мире, предстать пред Тобою. Помилуй меня, грешника, помоги великой милостью Твоей... Ты вызволил меня из неволи, ты дал мне свободу, не дай мне здесь погибнуть, чтобы быть верным Тебе. Мой дед говорил мне: самое страшное – умереть с тяжелым грехом на душе. Помоги, Всемилостивый, Всемогущий».

Не помнил Ванатуг, как закончил свое слово к Аллаху, как уснул, а когда спустя несколько часов очнулся, подумал, что кошмар тот ему приснился.

– Нет, не приснился,– сказал Нарыт.– Такое здесь бывает – шквал налетел на нас и вскоре унесся дальше.

Когда корабль пристал к крымскому берегу, Нарыт улыбнулся:

– Вот и прибыли. В Бахчисарае увидимся, а сейчас мне некогда. Поблагодарим Аллаха за все доброе к нам.

«Вот и хорошо,– подумал Ванатуг,– не идти же мне с ним в горы к тайнику. Потом я его обязательно отблагодарю».

На другой день, приблизившись в Бахчисарае к воротам дома Мамия, Ванатуг увидел знакомого баскака, выходившего из калитки:

– Сарбай, а Сарбай!

Тот мельком оглянулся и пошагал дальше. Потом остановился и, снова оглянувшись, развел руки:

– Ванатуг! Ты ли это?

– Я,– весело засмеялся Ванатуг.

– Раз пешком, значит, не ты. И какой-то не такой, как раньше. Худой, бледный. Ну, где ты пропадал?!

– Болел очень, а коня своего продал. Захромал он.

Они протянули друг другу руки:

– Рад тебя видеть, Ванатуг, ты, наверное, к Мамию? Он у себя дома. Должно быть, тоже обрадуется, ведь так давно не виделись.

Обрадовался Мамий, как родному брату:

– Проходи, садись, будь гостем. Я уже соскучился по тебе. Садись в это мягонькое кресло, с дороги надо отдохнуть,– многозначительно улыбнулся Мамий.

Ничего не скрывая, Ванатуг рассказал все, что было с Калакутом, а потом в Турции и на корабле.

Мамий продолжал улыбаться:

– Я все знаю, правда, что было на корабле, еще не успел узнать, да теперь уже и не надо.

– Наверное, уже и друзьям своим рассказал? – с легким упреком сказал Ванатуг.

– Да ты что, Ванатуг! Ведь тень твоя и на меня ляжет. Надеюсь, о своих делах с Калакутом и с другими ты не рассказывал ни Нарыту, ни Сарбаю?

– Конечно!

– Ну и хорошо,– повеселел Мамий.– Золотые и серебряные, что я тебе приготовил, можешь хоть сейчас взять, даже прибавлю, если привезешь дочь Дзагашта – Накуру. А хоть и Минсуру,– покачал он головой в большой папахе. Помолчал и добавил: – Дочь князя Сибока.

– Зачем тебе такие девушки? Они избалованные, для доброй семьи не годятся. А ты, должно быть, хочешь иметь хорошую семью, с сыном и дочкой. Я бы посоветовал тебе взять в жены свою прислужницу Мариам. И красивая, и добрая, и мастерица, и хозяйка, а главное – любит тебя.

– Ты же сам сказал, что Мариам – моя прислужница, а как прислужница может быть женой баскака крымского хана?!

Легкой, по-женски красивой походкой вошла Мариам, поставила анэ с едой. Сдержанно поклонилась гостю, хотя сама татарка, на адыгском языке справилась о его здоровье.

– Спасибо. Так хорошо ты говоришь по-нашему.

– Она даже меня иногда поправляет, если неправильно скажу адыгское слово.

Принялись за еду.

– Послушай, Мамий, куда делся твой мизинец? Потерял где-нибудь в схватке?

– В схватке потерять мизинец? – засмеялся Мамий.– Взялся не за свое дело. Тесал колья и рубанул по пальцу.

После обеда он сказал гостю:

– Отдыхай, а мне надо к Адыль-Гирею. После отъезда отца в Турцию он остался вместо него правителем. Когда вернусь, поедем на базар. Надо тебе достойно одеться, купить доброго коня с седлом, кинжал. Я дам тебе денег.

– Не беспокойся, у меня своих хватит. Ты вот... я очень давно не был с женщиной. Нельзя ли побывать в серале[1]?

Мамий расхохотался:

– То-то ты смотрел на Мариам шальными глазами... Хорошо, вечерком я тебе устрою. А пока отдыхай.

Только Ванатуг снял сапоги и прилег на тахте, как вошла Мариам.

– Лежи, лежи, ты так устало выглядишь.

Она села перед ним на стул.

– Женщина у нас вообще не вольна над собою, а здесь и вовсе она должна быть такой молчаливой, как этот стул. Многие мужчины и воспринимают ее, как этот немой или просто скрипучий стул. Да, я молчаливая, потому что больше люблю думать, размышлять, чем просто, даже красиво болтать, развлекать этой болтливостью мужчин. Думаю, ты поверишь мне: я постоянно живу жизнью Мамия, его заботами, его радостями и печалями, только не говорю ему об этом, чтобы не надоедать, не бередить его душу. Я не боюсь сказать тебе, мой добрый Ванатуг, что люблю Мамия, знаю, что нравлюсь ему, а он вбил себе в голову, что ему в жены нужна черкешенка. И еще как бы брезгует тем, что я его служанка, что меня подарил ему хан. Но разве я виновата, что еще маленькой попала в ханский дом и вот теперь... Ради Аллаха, помоги мне, Ванатуг. Не знаю, как, но ты мудрый человек, ты многое знаешь, многое испытал в этой греховной жизни.

Он согласно улыбнулся: ему это очень подходило – не надо будет воровать Накуру или Минсуру.

– Думаю, Мариам, сделаем так: я буду кормить нашего друга надеждами, да вот, мол, все никак не получается. А ты тоже постарайся. Я же иногда продолжу говорить о тебе добрые слова.

Мариам ушла почти счастливой, доволен остался и Ванатуг.

Вскоре пришел Мамий, привел для Ванатуга коня. Они поехали на базар, купили все, что надо.

– Ты, кажется, чем-то недоволен?

[1] С е р а л ь – гарем.

– Спасибо, всем доволен, но этому рыжему далеко до моего коня.

– Был да сплыл твой конек, что теперь поделаешь.

– Я знаю, кому Калакут подарил его, и не успокоюсь, пока не верну... Надо нам заехать к Нарыту. Он так много доброго сделал для меня, я просто не могу его не отблагодарить.

Ехали они неторопливым шагом, Мамий рассказал Ванатугу о поездке посланников во главе с Сибоком в Москву, о том, с кем они встречались, какие разговоры вели.

– По поручению Давлет-Гирея ездил я к абазинам, абадзехам и махошам. Нам надо убедить своих соплеменников, что по договору Сибока с царем Иваном они становятся их рабами, только дружба с единоверцами принесет адыгам свободу, только Крымское ханство спасет их от разорения и гибели. И хотя Калакут, сдавший тебя в рабство, ненавистен нам, он против договора с ними, значит, ближе, чем многие другие адыги.

– Не надо, не надо! – вспылил Мамий.– Он враг наш, мы пролили его кровь.

– Как, почему? – удивился Ванатуг.

– Он схватился с нашими воинами, и я полоснул его по спине, рассек левую лопатку. Он потом в постели пролежал больше месяца.

– Если по лопатке, значит, сзади? Только сзади его и можно взять,– в задумчивости сказал Ванатуг.– Я никогда и никого не убивал, только воровал, но приходилось иногда схватываться, быть свидетелем схваток Калакута и, скажу тебе, равного ему не видел.

– Не смей его восхвалять! – вспылил Мамий.– Мы найдем на него управу.

Три дня Ванатуг отсыпался, отъедался, заглядывал в сераль, ублажал свою изголодавшуюся мужскую плоть.

– Вижу, окреп ты, лицом посвежел,– сказал ему Мамий.– Пора и делами заняться. Сегодня ночью отправишься с Сарбаем в Жанею, к Тахо. У него к тебе очень важное и очень прибыльное дело. Ты понимаешь? Мы тоже это поддерживаем...

Тахо в белой черкеске и красных сафьяновых сапогах лежал на кровати. Поднялся навстречу гостям, хмуро посмотрел на них:

– Могли бы и затемно приехать, чтобы лишние глаза не видели вас. Да теперь уж не поправишь.– Умостил он свое костлявое тело в кресле, приподнял узколобую голову, чтобы значительнее выглядеть, помолчал, опять же для значительности, потом сказал: – Лоботряс тут объявился, какой-то Калакут. Надо, чтобы он не топтал благородную землю адыгов, а успокоился в могиле. От этого и ему, и нам– всем будет покойнее.

Помолчал для солидности и Ванатуг, покачал головой:

– Это будет очень дорого стоить, зиусхан.

Тахо обернулся, достал из-под подушки увесистый шелковый кисет:

– Здесь хватит, чтобы рассчитаться даже за голову важного человека, а не только этого лоботряса.

Ванатуг взял кисет, подержал, будто взвешивая его, лукаво улыбнулся:

– Все будет исполнено в наилучшем виде, зиусхан.

Тронулись они с Сарбаем в обратный путь. Ванатуг знал, какую волну зависти вызывает золото, и чтобы погасить ее, набрал из кисета горсть монет, протянул Сарбаю:

– Ты хорошо со мной потрудился, возьми часть себе. И не беспокойся, я не буду втягивать тебя в это грязное и опасное дело... Если бы знал, зачем понадобился этому заплесневшему сухарю, не поехал бы, а вообще, мой друг,– помолчал Ванатуг, дремотно покачиваясь в седле, улыбнувшись, договорил,– не бывает худа без добра.

– Да,– согласился Сарбай, хотя и не понял, о чем последние слова Ванатуга, и добавил: – Я тоже не хотел бы иметь дело с Калакутом. Секанул же его сзади мечом Мамий...

– Да?! – воскликнул Ванатуг.

– Только не надо об этом никому говорить.

В Бахчисарае они распрощались, и Ванатуг поехал к купцу Хамзе.

– Вах! Откуда и каким ветром тебя занесло к нам?! – воскликнул купец.– Может, еще привез девочку?

– Нет, на этот раз я сам хочу купить у тебя девочку.

– Что за нужда такая у тебя?

– Очень большая, но не спрашивай, уважаемый Хамза. Я заплачу за Дарию столько же, сколько ты мне за нее дал.

– Не-ет, Ванатуг! – протестующе подняв руки, воскликнул Хамза.– Так не пойдет. Я ее кормил, поил, обувал, одевал, а это стоит немало.

– Сколько же ты хочешь?

– Две цены.

– Согласен. Чем платить – золотом или серебром?

– Конечно, золотом.

– Хорошо, веди Дарию, а я отсчитаю деньги.

Вошла Дария, увидела Ванатуга и, вскрикнув, кинулась обратно, однако служанки задержали ее.

– Успокойся, Дария, я ничего дурного тебе не сделаю,– по возможности ласковее, насколько он был способен, произнес Ванатуг.– Я верну тебя домой, к брату Калакуту.

– Неправда! Ты – обманщик!

– Нет. Видит Аллах, я не обманываю тебя. Поверь мне, доставь такую радость, какой я никогда в своей жизни не испытывал...

Поработав в огороде, как он сказал, размяв в свое удовольствие спину и руки, Калакут присел под навесом, откинулся на спинку скамьи, чтобы чуть подремать, но за воротами раздался топот коня. Всадник, поздоровавшись с Калакутом, сообщил:

– Говорят, в Жанее видели Ванатуга...

– О каком Ванатуге говоришь?!..– вскрикнул Калакут.

Удивленный до крайности, он в раздумье стоял посередине двора. «Эту бестию, наверное, хоть в преисподнюю упечь, он и оттуда выберется. Однако каков! Если уж выбрался из Турции, сидеть бы ему где-нибудь тихонько и не рыпаться, а он... Хорошо, посмотрим!»

Накосил Калакут на лугу травы, отнес в ясли коню и только направился в дом обедать, как за воротами опять раздался конский топот. «Кто еще, с чем ко мне – с добром или худом?»

Из калитки кинулась, будто на крыльях, Дария. Калакут остановился, развел в удивлении руки, громко, едва узнавая свой голос, произнес:

– Нет! Этого не может быть! Что со мною?!

– Может, может! – радостно вторила Дария и бросилась к нему в объятия. Целовала его плечи, бороду, глаза.– Это я, это я!

Калакут увидел стоящего за воротами у коня Ванатуга, тихонечко отстранил от себя Дарию. Загорелось все у него в груди, в нетерпении задвигались сжатые в кулаки руки.

– Не бей его, не убивай! – повисла у брата на плече Дария.– Это он выкупил меня и привез к тебе.

– Да, сестра, я понял.– Он пошел навстречу Ванатугу. В его разгоряченной голове промелькнуло: он впервые подчиняется воле женщины, девочки... нет – кому-то, чему-то другому...

Калакут распахнул ворота:

– Заходи. Ты же знаешь, по святым обычаям адыгов даже убийца твоего отца в доме твоем – гость, жизнь и честь которого своей силой и честью защищает хозяин.

Едва они вошли в дом, как прибежали соседи – женщины, мужчины, старики, дети. Мужчины хмурились, а женщины плакали. Каждому хотелось прикоснуться к Дарие, посмотреть ей в глаза, сказать какие-нибудь добрые слова Калакуту.

Когда схлынула волна восторга, удивления и радости, когда все постепенно разошлись, Ванатуг сказал Калакуту:

– Если можешь, прости меня за то горе, за боль, что я тебе причинил. Еще хочу сказать тебе спасибо, что спас меня, отправив в Турцию. Там, в рабстве, в страданиях, по воле Аллаха я многое понял в жизни и вернулся совсем другим человеком. Прошу тебя, возьми это золото.

– Нет, Ванатуг, не возьму, потому что на нем невинная кровь.

– Это золото мне дал Тахо, чтобы я пролил твою кровь, а я теперь – с тобою рядом, значит, на золоте этом крови нет.

V

«Делая добро, не рассчитывай, что оно обязательно обернется и для тебя же добром»,– так подумал Сибок, когда вернулся из Москвы.

Он ездил туда со своими спутниками не по своей воле, а по решению жанеевского хасэ, как говорят, по воле народа, но вот привез согласие русского царя взять земли адыгов под свою защиту, и, как сказал кто-то из стариков, решение этого хасэ распалось само по себе. Не только распалось,

но и породило единоборство одних с другими. Все, как в штормующем море, подумал князь, когда волны, вскипая в ярости, налетают одна на другую, а ветры мечутся в разные стороны, будто, обезумев, сбились с пути. Решение принимало хасэ, получалось же – во всем виноват только князь Сибок.

Одни князья поддерживали его, другие – наоборот. Точно так же и дворяне. Большинство тфокотлей держались особняком, по-своему судили о происшедшем. Да что они– даже крепостные, дворовые люди, самого малого голоса которых никто никогда не слыхал, теперь шумели, горланили наравне со всеми.

Поистине – безумие штормующего моря. И все было на руку недругам адыгов. Очень нравилось это Давлет-Гирею, который вернулся из Турции, можно сказать, ни с чем. Теперь его людям не было нужды с трудом и риском разыскивать своих сторонников среди адыгов, засылать тайных людей: многие приходили к ним сами, искали защиты, добрососедства с Крымом.

Завтракая, Сибок услышал разговор во дворе за окном:

– Послушай, Бжамит, мне очень жаль нашего мальчика Кудадека. Может, на далекой чужбине ему хоть немного будет легче, ведь рядом с ним зиусхан Дударук.

– Что, Хатай, они будут у царя крепостными, как мы с тобой у нашего зиусхана?

– Не знаю, Бжамит. Хоть и царскими крепостными, но все же они не наших кровей, царь должен это понимать. Однако другое меня тревожит. Айдар, находившийся с ними в Московии, говорил мне, будто язык их совсем нашим непонятен, боюсь, бедный Кудадек окажется там немым.

– А я думал, что язык у них схож с нашим. И зачем зиусхану понадобилось отправляться на край света? Сколько подков надо извести, сколько овса скормить лошадям, чтоб добраться туда! Лучше бы повернуться ему к Турции. По морю, по теплому, раз-раз – и там. К тому же турецкий язык нам легче одолеть.

– Вот только их вера мне не совсем по душе. Пять раз в день становиться на колени, тыкаться лбом о землю... А вот у урусов, говорил Айдар, надо лишь перекреститься да попросить у Бога его милости. Говорят, их Бог любит

людей, прощает им грехи, посылает радость. Ох, пропадем мы, пропадем, если турки и ногаи будут нас по пять раз в день ставить на колени. Сколько штанов изотрешь, изобьешь коленки.

– Я, Бжамит, своим умишком так разумею: рано или поздно пропадут адыги между урусами и турками. А здесь я сам по себе.

– Нет, дорогой Хатай,– усмехнулся Бжамит,– здесь ты не сам по себе, а заодно с Калакутом.

– Пожалуй, ты прав: позовет меня Калакут, хоть днем, хоть ночью, и я пойду с ним. Только вот коня у меня нет.

– Будь у меня за спиной поменьше твоего годочков, тоже пошел бы с вами, а конь, если понадобится, для дела всегда найдется. Ты понял – для дела!

Сибок слышал как бы не просто разговор двух своих крепостных, а саму жизнь. И касался он не только лично его. «Много ли мне надо – жил бы, как говорят, припеваючи, что хотите, то и судачьте обо мне, хоть скажите, что я родился от двух собак. Ну, а если не только обо мне, но и о моих соседях, о жителях села, что за горою, о тех, которые живут на Тереке, на Малке? За ради себя чего мне было ехать в Московию, оставлять на чужбине своего любимого сына, мальчика моего? Турки и ногаи лично мне, моему дому, скотному двору и винограднику вовсе не враги, я сумел бы как-то договориться с ними. А вот вера... Конечно, и турки, и ногаи свою будут в души наши вселять, и не только добром, но и силой, а урусы – свою. Пусть бы мне лично, я бы всем улыбался, а сам тихонько поклонялся да радовался богам наших отцов... Говорят, мол, княжич пропадает на чужбине. Неправда это. Ему очень понравились перезвон колоколов, еда, город, он уже их слова говорить начал и, как сказал боярин Щепотев, очень красиво. Есть в нем то настоящее, мужское, которое всюду найдет свое место, свою радость, свою силу. Да только ли мой сын – сколько адыгов живет в Турции, в Крыму. Живут, раз уж жизнь так сложилась. Да и должны ведь люди, раз они верят в Бога, научиться жить единой семьей. О-о, когда это будет! А должно быть, должно, волки и те умеют жить, не убивая друг друга».

– Кто там есть, уберите анэ!

Вошли Бжамит и Хатай. Князь улыбнулся:

– Кто из вас сказал, что на чужбине молодой зиусхан завянет и пропадет?

Оба остановились в нерешительности.

– Ну-ну,– весело настаивал Сибок.

И Хатай признался:

– Я, зиусхан...

– Верно, я не ошибся в тебе.

– Если я сказал плохое, если обидел, зиусхан, беру свои слова обратно. Я просто сказал, о чем душа болит.

– Ты, Хатай, родом не из нашего села, можно сказать, живешь на чужбине, но я не замечал, чтобы тоской исходил. Я помню тебя почти с самого детства, с того дня, когда тебя привезли к нам. Даже представить не могу свой двор без тебя, работящего, честного, хотя и строптивого характером. Не беспокойся, будет у тебя добрый конь, уже скоро дам тебе вольную, дам коня с седлом и всем другим, что полагается мужчине... Вот с Бжамитом другое дело. Какая ему нужна вольная, разве в нашей семье, Бжамит, ты живешь в неволе?

– О чем ты говоришь, зиусхан, о какой неволе?! – воскликнул Бжамит.– Если меня отпустишь, даже если выгонишь, дальше ворот не смогу уйти, потому что не знаю на земле никаких других дорог. Ведь прожил я здесь свою уже немалую жизнь, душою прирос, боюсь, помру от тоски, если расстанусь. Конечно, не мужское дело такие слова говорить, но уж если так случилось...

– Да-да,– улыбнувшись, произнес Сибок, давая понять, что разговор пришелся ему по душе. Когда дворовые ушли, он постоял у окна:

«Конечно, Бжамит не представляет себя без нашей семьи. Хорошая она или плохая, но без нее не мыслит свою жизнь. Именно – не мыслит, а Хатай... о-о, какой он, считай, вырос на моих глазах, я как-то и не заметил. Мой крепостной парень, а посмотри-ка, рассуждает, словно князь, вон как говорит об адыгах, мол, пропадут они между Русью и Турцией, и уже готов идти на боевом коне с Калакутом, куда поведет их разгоряченный разум. Надо дать ему коня, иначе сам его возьмет... Князь Тахо – это чирий на теле адыгов, он там, в стороне, а этот – в моем доме. Думай, князь, думай...» – размышлял он про себя.

К Минсуре уже приезжают свататься. Князь пока всем отказывает, считает, рано ей думать о замужестве, но любовь, говорят, не горит исподволь, а вспыхивает нежданно-негаданно. И кто знает, что может случиться не сегодня, так завтра между горячими, а потому и неразумными молодыми сердцами.

«Не медли, князь, чтоб не пожалеть потом, когда птица взовьется в небо... Что-то душно, не мешает проветриться».

Сопровождать его поехали Бжамит, Айдар, Хатай. Тропою вдоль берега дремавшего моря князь ехал легкой рысью, а затем пустил коня в намет. Ощутив облегчение под напором встречного ветра, подумал: вот так, наверное, чувствует себя птица на взлете. Поднявшись на крутой холм, он увидел у края леса семерых всадников и осадил коня:

– Это, наверное, Ацамук, но что-то они рановато возвращаются... Случилось что-то недоброе? – предположил князь, поворачивая коня в сторону леса.

Когда он приблизился, всадники, соблюдая обычай, приготовились спешиться. Но Сибок остановил их, дав знак рукой.

– Собрался было поздравить вас с благополучным возвращением, но, вижу, возвращаетесь вы с недоброй вестью. Что случилось, Ацамук, почему вы так быстро вернулись?

– Тахо выслал навстречу нам десятка три своих байколов, они окружили нас и не пускали в село. Мы не могли понять причину, и тут чабан мне шепнул, что у Тахо гостит Мамий.

– И вы не обнажали своих мечей?

– Я полагаю, они этого только и ждали, чтобы расправиться с нами, но мы сдержали себя,– пояснил Ацамук.

– И правильно сделали. Похоже, Тахо стремится втянуть нас в войну, возомнив себя главным жанеевским зиусханом. Будто не знает, что он избирается на хасэ... Езжайте домой, а я загляну в Трамхабль, давненько не виделся с Тлимафом.

Продолжал он путь в глубоком раздумье, даже не заметил, как выехал на холм, где обычно проходит жанеевское хасэ.

Придержав коня, удивленно огляделся вокруг, с грустью и болью улыбнулся. Здесь несколько лет подряд его избирали главным князем, здесь принимались все важные решения, которым потом и следовал князь. Он умел погасить разные житейские вспышки, раздоры между селами... Так было и перед поездкой в Москву. На хасэ возникли разногласия, но Сибок сумел их погасить, и его единогласно назначили главой посланников в Москву. Теперь же обвиняют, будто он по своей воле поехал к русскому царю, а ведь это неправда – он лишь выполнил волю хасэ. Чтобы быть верным его воле, согласился оставить там своего сына, не совсем представляя, к чему это. Только и понимал: царь хочет помочь адыгам, берет их под свое сильное крыло... А теперь этот заплесневелый сухарь Тахо восстал, сблизившись с Мамием.

Горько усмехнулся Сибок: «Не надо было тебе соглашаться на поездку в Московию. Сидел бы и сидел тихонько дома, и Кудадек находился бы при тебе, не плели бы разные сплетни вокруг твоего имени, даже у Тахо не нашлось бы повода злобствовать. Вот и получается: споткнулся о камень, брошенный своими руками, на свою же дорогу».

И еще раз он усмехнулся: «Но тогда ты был бы не князем Сибоком, а тихим сельским домочадцем – пас овец, ухаживал за виноградником, блаженно дремал на лавке у ворот. Впрочем, поправить еще не поздно – поезжай к Тахо, пожми ему руку и скажи: я уступаю тебе место главного. Да, но Кудадека уже не свернешь с его дороги. Он увидел и познал нечто такое, чего ты не знал, не ведал. И Дударука не собьешь с его пути. И вообще, у каждого своя дорога, а ты, выходит, испугался своей?.. Слезай тогда с седла, садись на тихую скамейку у ворот и подремывай сладко...»

Остался позади холм, всадники поехали тропой по-над буковой рощей. О ней говорили, будто она вечная, как сама земля адыгов. Буки такие высокие, что вершинами, кажется, касаются облаков, словно подпирают небо.

Конь начал весело пофыркивать, прибавил шагу, значит, уже близко село.

– Время намаза приближается, и речка тут рядом для омовения.

– Как скажешь, зиусхан,– отозвался старший байкол.

– Не как я скажу, а как время велит.

– Скажу, зиусхан, откровенно: не лежит у меня душа к вере, какую навязывают нам турки и ногайи.

– Почему, Айдар, ведь у тебя такое красивое ногайское имя? А ты, Бжамит?

– Я – как и Айдар. Мне по душе вера наших отцов.

– А как ты, Хатай?

– Я, как говорит Калакут, принимаю то, что по нраву большинству адыгов, верен их заветам.

Улыбнулся князь:

– Мне кажется, я понял вас, а насчет намаза... мулла говорит, если ты в пути – можно его пропустить. Так мы и поступим. Вон уже показался Трамхабль. Да простит нам Аллах.

– Прости, зиусхан, что прерываю,– обратился Айдар.

– Слушаю тебя.

– Я насчет моего ногайского имени... Когда, бывая у ногаев, называю себя, они очень хорошо ко мне относятся, а когда узнают, что я адыг, у них глаза сразу же другими становятся, будто дырявят меня взглядом.

– А зачем ты на свою голову беду накликаешь? Так и говори им – мол, ногай.

– Как же это?! – От удивления Айдар даже коня придержал.– Как я могу отказаться от отца с матерью? Сделать такое – все равно что отказаться от самого себя, а это – великий грех, хоть у Аллаха спроси, хоть у наших богов.

– Молодец, спасибо тебе,– одобрительно взглянул на него Сибок.

Если дверь в гостиную открыта, значит, здесь ждут гостя, значит, стол накрыт всем лучшим, что есть у хозяина. А двери гостиных адыгов не закрываются с утра до позднего вечера, бывает, и до полуночи. Так было и в гостиной Тлимафа. Сибок уже виделся с ним после возвращения из Москвы, но после того уже много чего накопилось на земле адыгов, ведь даже один день несет на своих плечах столько нового, обычного и необычного, радостного и печального, что, сколько ни говори, всего не переговоришь.

Вот и князь с Тлимафом слово за слово, новость за новостью – и потекла, словно горный ручей, беседа.

А тем временем будто развернулась скатерть-самобранка: появились с золотистой корочкой зажареные

бараньи бока со жгучими приправами, дымившаяся на блюде мамалыга, душистые лепешки, кувшин с простоквашей, а когда принесли бузу, Тлимаф дал знак рукой – не надо. Разве может быть серьезный разговор при хмельной бузе, когда завихриваются, путаются мысли в голове.

Ели степенно, уважительно к еде, зная толк в ней. Говорили о Крыме и Турции, об Астрахани и Москве, не забыли о Кабарде и Кумыкии и, понятное дело, о князьях Темрюке и Пшиапшоко.

Разговор о больших делах требует большого времени, но он как-то вроде бы проще, чем разговор о дне сегодняшнем, о соседе, о том, отчего болит у кого сердце, о твоих обидах и обидах на тебя. А они-то, может быть, важнее всех больших дел.

Вот и кружится, кружится большой разговор, как бы боясь опуститься на грешную землю. Но, видимо, пришла пора, и Сибок спросил:

– Что-то я не вижу за столом твоего соседа Зазия. Он будто избегает встречи со мной. Из-за сына своего, что ли?

– Уехал он.

– Опять в Крым?

– Нет. Сын его Мамий гостит у Тахо, вот он и поехал.

– За ногайскими подарками?

– На этот раз нет. Он очень тяжело переживает, что Мамий позорит его, как он сказал, перед всею землей адыгов. Сказал, едет, чтобы поговорить с ним, как отец с сыном.

– Человек, который с радостью принял от сына золото, политое кровью, вряд ли сможет сделать что-нибудь доброе.

– Зиусхан, я хорошо знаю своего соседа. О, это очень непростой человек. Сегодняшний Зазий совсем не похож на вчерашнего или тем более на завтрашнего. Он может такое сделать!..

– Я понимаю, о чем ты говоришь, но для того поступка, на который ты намекаешь, нужно мужество. И не малое.

– Не знаю, не могу поручиться за Зазия, да и он сам, по-моему, не всегда может. Он поехал с моим сыном Дзегаштом, которого я просил быть внимательным к нему.

Потом разговор пошел о том, что Тахо и его сподвижники из-за глупости позволяют крымчанам обманывать

себя, видя в них своих защитников. Но, скорее всего, они рассчитывают на их помощь в схватке с Сибоком за место главного князя. И, понятное дело, распространяют о Сибоке всякие пакости. Судачат, будто он променял сына на какую-то пустую бумагу русского царя. Почему пустую – прошло ведь полгода, а из Московии ни слуху ни духу.

– Как это ни слуху ни духу. Вранье! – возмутился Тлимаф.– А почему Крым перестал нападать на наши селения? А на победу над тобой пусть он не рассчитывает. Зиусханы зиусханами, но есть еще уорки, тфокотли, и все они на твоей стороне. Слыхал, что ты собираешь хасэ. Знай– не только Трамхабль тебя поддержит, мы и других сумеем склонить на твою сторону, так что пусть сердце твое бьется спокойно, а то, как говорят старики, если сердце всадника слабеет, конь его перестает скакать.

– Что верно, то верно. Спасибо тебе, счастливый тхаматэ.

VI

Князь Тахо – высокий и сутулый, шестидесяти лет, с жидкой седеющей бородой. Шея длинная, жилистая и тонкая. На ней небольшая голова, приплюснутая с лысеющего затылка. Темные глаза почему-то всегда прищурены, и кажется – он не смотрит, а выглядывает, точнее даже – подглядывает. Взгляд колючий. Может, поэтому его и прозвали сухой колючкой.

Он знал: оттого, что поднимешься на холм, не станешь выше, а вот тебя самого рассмотрят со всех сторон, поэтому лучше стоять немного в сторонке и самому рассматривать других со всех сторон, даже наизнанку их можно вывернуть, если приложить немного воли и ума. И получится, будто стоишь ты не очень уж высоко и незримо верховодишь. С молодых лет, живя по своим правилам, он знал то, чего не знали многие другие. Даже когда не был у кого -нибудь в гостиной, все равно был хорошо осведомлен, кто и что там высказывал. Хотя его гостиная чаще бывает пустой, но получается, будто в ней всегда полно людей с самыми последними новостями.

Тахо считал себя самым мудрым, хорошо знающим трудную, запутанную жизнь людей, но не понимал, почему

другие этого не понимают, не видят его мудрости. Из своих шестидесяти лет он половину потратил на то, чтобы стать главным жанеевским князем. Не жалел для этого ни сил, ни ласки, ни злобы, а уж о хитрости и говорить не приходится. Иногда подходил к заветной вершине так близко, что подними голову – и папаха не удержится. Уже вот-вот она, осталось лишь одно усилие! И вдруг почему-то оказывался не на самой вершине, а где-то в стороне от нее.

Нет, сказал Тахо себе, ты ошибался, надо обнажать меч. И он не стеснялся говорить неправду, выплескивать исподтишка кому-нибудь на голову кувшин грязи, хорошо заплатить, чтобы и другой сделал такое по его просьбе. Князь думал, что он многое держит в своих руках, однако это ему только казалось: его побаивались, как опасаются себя замарать. Иногда ему даже улыбались, но когда доходило до дела, он всегда получал отказ. Словом, от вершины, до которой оставался всего лишь один шаг, снова и снова откатывался вниз.

Тахо всем сердцем ненавидел князя Сибока, считал его виновником своих бед и неудач, столько делал ему тайных пакостей, что, казалось, утонуть в них можно, но Сибок не обращал на это особого внимания, считал, что чистое само очистится, если оно на самом деле чистое. Свои неудачи на хасэ Тахо старался представить шуткой, любил рассказывать притчу о том, как медведя тянули к плошке с медом и оторвали ему уши, а когда стали оттягивать от плошки, оторвали хвост.

В гостиной князя Тахо было душно. С молодых лет он страдал грудной болезнью. Иногда доходило до кровохаркания. Он объездил многих лекарей, отправлялся даже в Крым и Турцию к самым знаменитым, пользовал очень дорогие лекарства, неделями живал на берегу моря, в сосновом лесу. Особенно трудно ему давалась весна. Когда все радовались ее солнцу и цветению, у него усиливался кашель, труднее дышалось. А если он узнавал, что кто-то в селе заболел, это было ему чем-то вроде лекарства.

Люди говорили – это болезнь сделала его злее, чем был от природы.

Угасало неуемное буйство весны. Вместо цветов появлялась завязь черешни, абрикосов и алычи, пошли в рост

травы и хлеба. Уже не так задиристо кричали по утрам петухи, квохтали во дворах куры. Птицы в ближнем лесу и садах перешли, как сказал кто-то, на летние песни забот и довольства. Уже без весеннего восторга, по-деловому буднично гудят в садах ульи. Наливались приятной тяжестью летних дождей облака. Лишь телята по-прежнему взбрыкивали в загонах, требуя простора лугов.

– Эй, кто там! – рассерженно крикнул князь.– Сколько раз говорить, чтобы как следует проветривали гостиную.

Втиснулся в комнату дворовый мужичок и боком-боком подался к окну:

– Ты же в гостиной, зиусхан, как бы не простудить тебя, вот я и ждал.

– Он ждал! – поморщился Тахо.– Спина, видно, у тебя чешется, по плетке соскучилась... Морду наел на господских харчах, чуть не лопнет.

Он вышел и тут же вернулся в теплом халате, накинутом на сутулые плечи, сел в кресло с расписной глиняной кружкой в руках и стал глоток за глотком пить лекарство, настоянное на меду с целебными горными травами. И мысли, как ему показалось, тоже просачивались в голову глоток за глотком, начиная будоражить сознание, но он старался сдерживать их, как сдерживают, накинув уздечку, скакуна, чтобы подумать спокойно, без ощущения быстрого встречного ветра.

С грустью Тахо подумал, что Сибоку никогда не сравниться с ним глубиной ума, а вон как получается, ему все словно само в руки ложится. Кажется, его выбили из седла, но едва успеешь глянуть – а он уже на другом скакуне, да еще более резвом. Не только в Жанее он главный князь – с ним уже считаются в Абадзехии, Кабарде, Беслинее, Махоше. Да и в Крыму, в Турции хорошо его знают, даже прислушиваются к тому, что он говорит.

Но и этого мало ему! В Руси с самим царем стремится заиметь дело!

Правда, подумал Тахо, с Русью, с его сыном и князем Дударуком еще не все понятно, неизвестно, как оно обернется, но ведь затеяно дело. «Пора, пора придумать что-то такое, чтобы ребра у Сибока затрещали... Только не дать себя обмануть, как получилось с хромым Ванатугом. Золото загреб, а Калакут до сей поры разгуливает! Надо хорошо

подготовиться к будущему хасэ и там пошатнуть его. О, много, много чего надо сделать».

– Он дома? – раздалось с веранды.

«Вы посмотрите, этот слюнтяй Цахо даже имя мое ленится произнести. Видишь ли – он. Поганец ты эдакий! Вот и имей дело с таким остолопом, хотя он и князь. Надеяться на него все равно что запрягать теленка вместо быка, никакой пользы».

Вошел князь. Низкорослый, с толстым, каким-то женским задом, с глазами, заплывшими жиром. Короткие пальцы рук – тоже жирные, круглые. С такими и поздороваться как следует невозможно. И голос у него писклявый по-женски, и дребезжит, как сухая кора на ветру.

– О зиусхан зиусханов жанеевских, перед которым встают и вытягиваются, даже когда его нет, а лишь услышав имя Тахо, моего самого большого друга! Я в своих молитвах пять раз в день прошу Аллаха, чтобы увеличивалось твое богатство, тучнели твои поля и стада. Пусть будет нескончаемой радость в твоей семье, чтобы тобою гордились жанеи и спокойно жили под защитой твоего могучего меча!

– Спасибо, зиусхан! Проходи, садись. Пусть Аллах воздаст тебе во много раз больше того, что ты мне пожелал! Что нового в ваших краях, все ли живы и здоровы в твоем доме?

– Только и разговоров, как изгнать из главных зиусханов пустоголового Сибока, который ведет жанеев к погибели.

– Ты хорошо сказал, Тахо: пустоголовый Сибок. Слишком долго мы его терпели, пора бы уже изгнать.

– Жаль, слишком долго мы к нему присматривались, никак не могли раскусить. Виноваты, что тебя не поддерживали, за те беды, что принес Сибок, сейчас и расплачиваемся. Но теперь этому наступит конец! Я и мои друзья теперь твердо займем твою сторону, поставим тебя нашим главным зиусханом.

«Похоже, что-то вынюхал этот толстозадый, вот и рассыпается передо мною. Посмотрим-посмотрим»,– ухмыльнулся Тахо и, смущенно пожав плечами, сказал:

– Что ты говоришь, зиусхан, зачем мне это высокое место! Я жил себе спокойненько и буду дальше жить для

правды перед людьми, для чести перед Аллахом. Только вот разные болтуны говорят, будто я неуживчив, сварлив, болтают, кому что на ум взбредет.

– Что ты, зиусхан! – воскликнул Тахо.– Я не слышал о тебе таких глупостей, а если б услышал, тут же рот пустоболту замазал! Ты же знаешь, какой я прямой да горячий нравом!

«Что-то ты на прошлом хасэ не замазывал рты горлопанам, стоявшим на стороне Сибока»,– закашлялся Тахо, а откашлявшись, вытерся платком и сказал:

– Да, надо его свалить, пока нас всех не продал урусам или еще каким-нибудь иноземцам.

– Обязательно свалим, и тогда я стану твоей правой рукой.

Закашлялся Тахо, чтобы не рассмеяться. Прячась за платком, подумал: «Вон ты куда метишь, мордоворот. Только не дождешься».

Принесли анэ.

– Вот и пришла добрая пора,– произнес Тахо,– отдохнуть за едой... А чего мы бузу не наливаем, обижаем хозяйку. Наливай и скажи застольную здравицу, Цахо. Ты же мастер в этом деле.

– Я их знаю столько, сколько волос на моей голове. «На лысой и пустой»,– ухмыльнулся, снова прикрывшись тем же платком, Тахо.

– А скажу вот какую,– и, подняв рог, он торжественно произнес: – Пусть враги наши будут у нас под пятой, а друзья – перед Аллахом!

Отпил немного Тахо и, не скрывая усмешки, заметил:

– Хороший тост, только вот... сказанные слова – не твои.

– Что-о?! – вскрикнул Цахо, выпучив огромные черные глаза. Затем, словно обдали его холодной водой, сразу опомнился, упавшим хрипловатым голосом начал оправдываться: – Не буду спорить, может, и такое случилось, не так уж редко приглашают на разные пиры, мало ли самых разных тостов приходится слышать, вполне возможно, что-то осталось в памяти, нередко ведь такое случается.

– Хочешь, напомню тебе, где слышал ты этот тост? В Крыму.

– Так и есть, в Крыму, верно сказал.

– Скажу еще: не только крымский хан любит произносить его, этот тост первым звучит в устах турецкого султана.– Помолчав немного, князь Тахо как бы между делом добавил: – Удивительно, конечно, однажды, пируя в компании, я случайно проговорил эти слова, ставшие затем тостом, который понравился и крымскому хану, и турецкому султану. А вот теперь ты мне вернул его снова...

Зашумела, заговорила крепкая буза в княжеских головах.

– А вот я скажу тебе еще одну мудрость,– как бы приподнялся над собою Тахо.– Множество стрел бьет лучше, чем множество слов, но множество слов мудрее множества стрел!

– Отрезанное языком не заживает,– вскинулся и Цахо, а отрубленное мечом заживает. Вот тут и подумай, что к чему!

– Мудры, мудры, зиусхан, адыги. Кого ни возьми, хоть беслинея, хоть абадзеха или махоша. А уж если вспомнились мне все адыги, то скажу, зиусхан Цахо... может, что и не так, но раз оно выговорилось во мне. Вот мы с тобой, не скажу, что плохие, а если положить руку на сердце, поднять глаза к Аллаху, то не скажу, что очень хорошие. Не сердись, не сердись! Очень плохие Сибок да Пшиапшоко, и Темрюк не намного лучше их, но если бы собраться вместе да поговорить об адыгах на языке наших отцов, дедов, на языке наших древних богов...

Вскинулся Цахо, выпучил глаза:

– Куда ты клонишь, зиусхан?!..

– Не клоню, не сердись, просто советуюсь с тобой, с мудрейшим среди мудрых...

«То-то, наконец сказал достойное меня слово».

– Продолжай, слушаю тебя... А может, ты имеешь в виду новость, что принес из Крыма Мамий? – спросил Цахо.

– Что за новость?

– Так с этим я и приехал к тебе. Говорят, Крым и Турция что-то не поладили между собою. Причиной тому, говорят, поездка Сибока в Московию. Но, как говорят, корова не забодает своего теленка. И когда они помирятся,

когда крымский хан пойдет на нас войной, я зануздаю Сибока и отвезу хану, пусть он повесит его на первом суку.

«Может, этот мордоворот и меня решит зануздать, если в его башку влезет такая мысль. О, надо держать с ним ухо востро»,– подумал Тахо:

– Я недолюбливаю Сибока, как и он меня, однако не я делаю ему пакости, недостойные моего княжеского звания, как и он мне. А скажи мне прямо, за что ты так ненавидишь его, что готов зануздать, как коня?

Выпил Цахо еще бузы, вытер губы пятерней, прошелся в раздумье по комнате, тяжело ступая короткими толстыми ногами в хромовых сапогах, потом сел на свое место и рассказал...

Задумал он построить новый дом. Да такой красивый, на таком месте, чтобы виден был издалека, чтобы любовались им все, а завистники еще и завидовали.

Дом в четыре больших окна на улицу, с невиданной верандой и красивыми узорчатыми воротами при высоких дубовых столбах, тоже красиво отделанных. А у ворот – просторные скамейки с удобными спинками, чтобы люди на них вальяжно отдыхали, разговоры разные вели и, конечно, поминали добрым словом хозяина.

Нашел он лучших мастеров, все с ними обговорил, стал закупать лес, думал после весенних работ в поле и начать строительство.

Место уже для дома стали ровнять, камень с гор завозить на быках, и тут оказалось, что дом в четыре окна на улицу, с невиданной верандой и узорчатыми дубовыми воротами уже построил князь Сибок. Как выяснилось, он все разузнал через своих людей, перекупил мастеров за большую цену, начал весной и к осени закончил постройку.

– Что мне было делать, зиусхан?! – возмущенно произнес Цахо и заходил по комнате, да так, что, казалось, и не остановится.– Но ничего, я все равно заткну за пояс этого Сибока, построю дом с восемью окнами на улицу и двумя верандами! Но ты скажи мне честно: может ли быть такой бесчестный и завистливый человек главным князем?

Тахо, теребя бороду и пряча в ней усмешку, твердо сказал:

– Не может, и это надо решить на хасэ, найти ему достойную замену.

– А чего ее искать, если вот она, передо мною!..

– Ты один ко мне приехал? – спросил Тахо, как бы давая понять, что пора и заканчивать беседу.

– Нет, не один, со мною Аллах... Хотели еще два князя повидаться с тобою, но я отшил их – нечего здесь им делать. Ну, спасибо тебе за хлеб-соль, за мудрую беседу. Надо поторапливаться. Слыхал от людей – ко мне заедет Мамий.

– Мне кажется, Зазий совсем выжил из ума, таким сыном гордиться надо, а он недоволен, решил, говорят, встретиться с ним, высказать осуждающее отцовское слово.

– Интересно, что ему может сказать, как ты говоришь, выживший из ума старикашка? И еще,– расплылся в улыбке Цахо,– что ответит ему мужественный, всеми уважаемый сын, баскак крымского хана, станет ли он слушать его поучения.

Сощурил свои быстрые колючие глазки Тахо:

– А если так порассуждать: ты и я – адыги, потомственные зиусханы, мы очень хорошо знаем, что земля наша держится на плечах дедов и прадедов. Спроси у них, что будет, если младшие перестанут уважать старших – дедов и прадедов, что будет, если они, едва выбравшись из колыбели, станут учить уму-разуму своих отцов, плетью их наказывать за неподчинение...

– Э-э,– воздев руки, промычал Цахо,– зачем ты так?

– А как?! Чтобы отца, а главное, дедов не обидеть, разве можно не считаться с их мудростью, не прислушиваться к их слову?

– Не знаю. Мне пора ехать. Совсем пора!

Глядя с едкой усмешкой вслед удалявшемуся Цахо, Тахо подумал: «Старик Зазий приехал сюда за своей бедой, за отцовским горем своим, а что тебе не сидится в тишине да покое, занозистый пустомеля? Ему, видите ли, нужен дом в восемь окон на улицу, хотя и одного тебе не надо, чтобы не поганил улицу своей толстой мордой».

VII

Наступали первые жаркие дни раннего лета.

Князь Сибок подошел к приоткрытому окну, чтобы охладиться ветерком, потянувшим из леса, где в кустах

шиповника и бересклета, под мохнатыми шалашами елей и пихт еще хранилась прохлада весны.

Подошел князь к окну и увидел стоящего к нему спиной дворового Хатая, который только что вышел от него с тазиком и кумганом, а рядом с ним – дочка Минсура. Ветер забавлялся ее волосами, спадавшими на плечи, легким цветастым платьем. Да и сама она с веселыми, искрящимися в улыбке глазами, яркими румяными щеками была похожа на озорной весенний ветерок.

Вот такой когда-то стояла перед ним княжна Загирета, теперь его жена, и он был тогда таким, как Хатай. Не видел его лица князь, но знал, что оно светится таким же счастьем, как и у Минсуры, как когда-то и у них с Загиретой.

Отошел Сибок от окна и стоял, словно охмелевший. Застучало сердце, когда увидел свою молодость, ее счастливые мгновения, и... Нет, это уже не сердце, а холодный разум отца: как может княжна быть такой со своим дворовым, с крепостным парнем?!

Нельзя этого допустить, нельзя! Он приоткрыл дверь, сердито велел Бжамиту позвать княгиню.

Она вошла, увидев, что князь в дурном настроении, нерешительно остановилась у двери.

– Ну чего ты прилипла там? – Он постарался улыбнуться, но лишь скривил лицо.– Проходи, садись.

Конечно же, не скажешь напрямую Минсуре о ее поведении, но как с ней поговорить, чтобы поняла? А если и поймет, сможет ли справиться со своим молодым и горячим сердцем? Вряд ли...

И все же он позвал княгиню. Зачем-то стал объяснять ей – будто она сама не знала, что если дать молодому сердцу волю, как говорят в народе, оно заведет в неволю, что Минсура еще, можно сказать, дитя, но на нее уже заглядываются парни. Да и она уже не прочь покрасоваться. Вон как разговаривала с Хатаем.

Княгиня взглянула на князя, взмахнула все еще красивыми ресницами. Это он когда-то, уже давно, сказал: «Ты машешь ресницами, будто птица – крыльями в полете».

Взглянула княгиня, улыбнулась, и он понял: все она, конечно, знает, только чем же сумеет помочь...

– Чего же ты молчишь? – скорее сочувственно, чем сердито, спросил князь.

– Не знаю, что и сказать, кого и за что судить. О Хатае у меня так же болит душа, как и о Минсуре. Ведь я растила его, как родного, он как сын...

– Вот именно – как, но не сын. Минсура княжна, а Хатай крепостной...

– Да, да,– согласилась княгиня и, поднявшись, продолжила: – Ты – главный зиусхан жанеев...

– При чем тут главный? – удивился Сибок и тоже поднялся.

– Ты – голова всему, тебе и решать – рукою своею и сердцем.

Он хотел крикнуть – мол, как ты смеешь, и тут же, удивившись самому себе, подумал: «Должно быть, смеет. И в самом деле, мне решать умом и сердцем, самим им не справиться».

Положив подушку, он прилег на тахту, скрестив руки под затылком, закрыл глаза, чтобы как-то забыться, уйти мысленно куда-нибудь в сторону. И тут в приоткрытую дверь заглянул Хатай, весело спросил, можно ли ему зайти.

– Заходи,– неохотно поднимаясь, промолвил князь и с удивлением взглянул на Хатая, будто на привидение.– Что случилось?

– Прости, зиусхан. Ничего не случилось. Я хотел... завтра на рассвете Калакут уезжает, а ты обещал отпустить меня с ним.

– Слава Аллаху! – обрадованно произнес князь, твердыми шагами прошелся к окну и обратно и остановился около Хатая.– Какой любимый у тебя конь?

– Рыжий, со звездочкой во лбу,– удивленно ответил Хатай,– а что?

– Кликни мне Бжамита. Потом тебе все скажу, а пока иди, готовься в дорогу.

Князь говорил, что собирается дать вольную Хатаю, и сегодня же сделает это, решит, как сказала княгиня, трудное дело рукою своею и сердцем.

Он приказал Бжамиту приготовить в дорогу рыжего коня со звездочкой во лбу, бурку, красные сапоги, папаху и черкеску, седло, кинжал, саблю – все самое лучшее.

– Для чего? – удивился Бжамит.

– Потом узнаешь, потом...

После обеда, как велел князь, около веранды собрались все дворовые, пришли Загирета и Минсура, кое-кто еще из соседей, позвали Калакута с Дарией. Стояли, негромко переговаривались, пытаясь понять, зачем их сюда позвали.

Калакут, поглаживая бороду, посмеивался: «Он такой, наш зиусхан, не узнаешь, что у него в голове, что задумал, но, похоже, что-то необычное».

Вышел Сибок на веранду, подозвал к себе Хатая.

– Ты, наверное, уже догадался, что у нас за сборы?

Конечно, он догадывался, но все еще ему не верилось, потому волновался, не зная, куда девать руки, нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

– Бжамит, давай! – скомандовал князь. Работники из конюшни вывели оседланного коня, вынесли одежду. Бжамит подал князю, как полагается, на вытянутых руках саблю и кинжал.

– Хатай,– торжественно начал князь,– ты вырос в этом доме, в этом дворе, под этим небом и под этим ореховым деревом, у этого колодца, ты – наш сын. Верно я говорю?

Все ответили дружным согласием.

– Ты наш сын и брат Минсуры... Сегодня я, Каншауков Сибок, главный зиусхан Жанеи, даю тебе вольную. Теперь ты не крепостной, а полноправный жаней. Ты берешь сегодня в руки это оружие и становишься настоящим мужчиной, нашим воином, защитником нашим... Пристегни оружие... Все мы желаем тебе доброго пути в твоей жизни. Какую бы дорогу ты ни выбрал, где бы ты ни был, знай, что здесь твой дом, твои самые близкие люди.

Туманным рассветом Калакут и Хатай тронулись в далекий путь.

Туман был настолько густой, что первые робкие лучи солнца не могли пробиться сквозь его толщу. Хатай, сам того не замечая, все оглядывался, надеясь увидеть кого-нибудь во дворе.

Заметив это, Калакут проговорил:

– Что, щемит сердчишко? Это хорошо, когда есть то, по чем тоскуешь, чему радуешься... В такую далекую поездку едешь, наверное, впервые? Это тоже радость. Все первое потом остается в памяти навсегда. Говорят, адыг в своей жизни больше верхом на коне ездит, чем пешком

ходит по земле. А это, я тебе скажу, очень хорошее дело, ведь всадник с коня видит дальше, значит, лучше все замечает вокруг, чем пеший. Рыжим зовут твоего скакуна? А что, хорошее имя и к масти подходит. Уж ты не обижайся, что разговорился я. Вон у тебя бороденка да усы еще только пробиваются, а сколько пройдет времени, сколько дорог изъездишь, пока они станут такими, как у меня, так что пока тебе лучше слушать, чем говорить... Еще о коне скажу: для адыга он самый близкий, самый верный на свете друг.

– Я слышал, будто у Ванатуга небывало хороший конь.

– Был, да сплыл. Когда хромого я отправлял в Турцию, подарил того коня одному бедному натухаевскому парню.

– Однако у него и сейчас очень хороший конь. Я видел, когда он Дарию привозил.

– Хватит о Ванатуге, у меня голова начинает болеть, когда слышу его имя.

– Почему? – удивился Хатай.– Он же сестру твою вернул.

– Сначала украл, а потом вернул. За что же его благодарить!

– А если бы не вернул?

– Я убил бы его! – разозлился Калакут.

– Тогда бы остался без сестры – она, бедняжка, страдала бы в неволе.

Остановился Калакут, удивленно посмотрел на Хатая, видно, хотел сказать что-то резкое, но только набычился и тронул снова коня...

Два дня с утра до самого вечера – дорога, дорога, дорога. А в горах она особенная – за каждым поворотом видишь что-нибудь удивительное. То снежную вершину, разговаривающую с облаком. То глубокое ущелье, из которого едва видно небо, а то вдруг за крутым поворотом распахнется такая ширь, что глазу не объять ее. Или по краю пропасти стелется лужок с травами, украшенными яркими цветами. Или орел над твоей головой, или на острие вершины стоящий в гордом одиночестве тур.

Абадзехская долина, открывшаяся всадникам, привольно лежала у подножия гор, покрытых могучими лесами.

– Видишь – вон, на лугу, вдоль берега, это село моего друга Даура.

Кони, почуяв близость жилья, а значит, и отдыха, вкусной сытной еды, прибавили шагу.

Дом Даура – длинный, за высоким плетнем, побеленный и с высокой камышовой крышей. И во всю его длину тянулась на тонких выстроганных столбах веранда. Двор просторный и весь в хозяйственных постройках. Даур, увидев Калакута, заспешил ему навстречу с распростертыми объятиями:

– Дорогой Калакут, как я рад, что ты приехал! И тебе рад, младший брат! Проходите, порадуйте мой дом, мою семью. Как хорошо, вы в самый раз приехали, завтра у нас собирается хасэ нескольких селений нашей округи, наверное, и тебе будет интересно послушать, о чем пойдет разговор.

– Может, мы отрываем тебя от дел, Даур?

– Наоборот. Скоро придут мои друзья поговорить о завтрашнем дне. Будем очень рады услышать и тебя.

С шутками-прибаутками вошла целая гурьба парней. Увидев гостей, они смущенно смолкли.

– Вот так-то лучше, а то как на базар ввалились,– упрекнул Даур.– Ну да ладно. Этого человека, Калакута, который под стать вековому дубу, вы, конечно, знаете, а этого... как вам и сказать...

– А ты, Даур, скажи, как есть,– улыбнулся Хатай.– Зиусхан Сибок купил меня, семилетнего сироту, на приморском базаре. Считался я крепостным, дворовым, однако и он, и вся его семья относились ко мне как к родному. А два дня назад, когда мы с Калакутом собрались к вам, зиусхан Сибок объявил меня вольным, дал коня и все, что нужно мужчине-воину.

Широколицый парень с большими сочными губами сказал:

– А вот у абадзехов не разделяют людей на зиусханов, уорков, тфокотлей, как, скажем, у бжедугов, кабартаев, беслинеев и у других. А уж о Сибоке чего только не рассказывают ваши же люди, приезжающие к нам. Он и такой, и сякой, сына своего продал гяурам. А оказывается, он настоящий мужчина. Как сказал бы мой дед – настоящий адыг.

– Насчет веры я так разумею,– заговорил бритоголовый веснушчатый мужчина.– Хотя мы теперь мусульмане, но вы же сами знаете, сколько держим в лесу кабанов. А намазы делаем по пять раз на день просто для отвода глаз.

Гостиная огласилась хохотом.

Все притихли под взглядом Калакута. Помолчал он и вдруг заговорил рокочущим басом:

– У кого кабан пропал, у того с утра до вечера хрюканье в ушах стоит. Вот и мы: у нас родная земля под ногами горит, а мы все о кабане... У государства урусов, говорят, нет конца и края, и народов в нем разных живет больше, чем горных вершин на нашем Кавказе. Одни там молятся Христу, другие – Аллаху, а четвертые и пятые – своим древним богам, и ничего – живут в мире в своей великой державе. Ее, может, кто-нибудь осмелится пощипать, но не больше. Да и за это придется заплатить дорогой ценой. Ну, конечно, Русь огромная, а возьмите вот Крым. Считай, маленькое ханство, но попробуй тронуть его! Многие зубы поломали... Я думаю, это неплохо, что одни из нас едут за миром в Московию, другие – в Турцию или Крым. С соседями надо жить в мире. Жить в дружбе с ними, а не у них под пятою. Наша земля – от Терека до Азовского и Черного морей, очень красивая и богатая земля, а живем в вечных бедах и тревогах, потому что нет у нас своей единой власти, как в других странах. Не ссориться, не кичиться друг перед другом должны зиусханы Сибок, Темрюк, Пшиапшоко, Тахо, а сойтись воедино в своем государстве.

По душе пришлись Калакуту эти молодые мужчины, нравилось, как они слушали его, соглашались, высказывали добрые пожелания. Подумал он: значит, и на хасэ его поддержат. Выходит, не зря он сюда приехал, разумно поступил – надо продолжить поиски единомышленников, скликать их к единству.

Солнце еще не разгорелось летним жаром, было ласковым к голубому небу, к кудрявым облакам, веселило и радовало все живое. Представители нескольких абадзехских селений собрались на поляне за околицей, перед лесом, над которым поднималась гряда гор. Одни приехали верхом, сидели, возвышаясь надо всеми, другие спешились и молча стояли у своих скакунов, а третьи – кто присел, кто прилег на травке.

Много было и пеших. Для них и вовсе удовольствие пристроиться у куста барбариса или шиповника. Тут же забавлялись, бегая взапуски или наперегонки, мальчишки.

Но вот на холмик посередине поляны взошел дядя Даура – Бакан, почтенный седовласый мужчина в праздничной белой черкеске и коричнево-золотистой папахе. Конечно же, при кинжале.

Встали отдыхавшие на траве, угомонились мальчишки. Взошел Бакан на зеленый в ромашках холмик, вскинул руку, требуя тишины, и когда она наступила, покашлял в большой жилистый кулак и начал неторопливо, будто взвешивая каждое слово, говорить о том, что хасэ – это высшая власть во всей Абадзехии, а потому надо помнить об этом, не устраивать шумливого базара, разных ненужных перебранок, сообща, обдуманно обсуждать свои неотложные дела.

Одним из первых поднялся на круг зубастый, с длинной шеей и быстрыми глазами мужчина.

– Сколько дней уже ходят у нас по селу разговоры, что все адыги должны объединиться в одну семью. Что же получается: один гол, как сокол, другой – беспробудный лодырь, третий – завистник, и я, выходит, должен жить с ними в одной семье, садиться за один стол? Не бывать этому!

Сдержанный шум пронесся над поляной. Зубастый, почувствовав поддержку, распрямил плечи, заговорил громче, решительнее:

– Бог по своей воле дал каждому народу землю. Но посмотрите, что получается – бжедугам почему-то больше нравятся наши земли, они начинают распахивать у нас лучшие поля, косить травы на лугах. Чего доброго, доберутся и до огородов, что у самых жилищ. Не бывать этому!

Теперь уже нарастающий гул пронесся над поляной, покатился к лесу. Зубастый вскинул вверх обе руки, сжатые в кулаки:

– Я никого не боюсь – ни урусов, ни ногаев, ни турок. Наши горы – наша крепость, пусть попробуют нас достать, скорее, голову свою оставят в предгорьях, чем прорвутся в нашу крепость! Мы не позволим, никому не позволим топтать нашу землю!

– Правильно!

– Мы никого не пустим в свой дом!

– Ни бжедугов, ни урусов!

Калакут понял – это ответ на его беседу с парнями в доме Даура. Он сознавал, что его выступление на хасэ будет бесполезным, и решил не выступать, однако Бакан, добившись тишины, позвал его на холм.

Загудело, увидев его, хасэ, но Калакут так ахнул своим громовым басом, что все замолкли. Окинув взглядом многолюдную толпу, он заговорил, стараясь четко произносить каждое слово:

– Братья адыги, я вовсе не собираюсь вас учить уму-разуму. Как адыг с адыгами просто хочу поразмышлять, посоветоваться. Мужчины, воины знают, что от врага не прячутся по закоулкам, если хотят его победить. Лес и горы сами по себе мертвы без ваших мудрости и силы, они не защитят вас, жен и детей от пришельцев, а потому все адыги, братья по крови, должны объединиться, иначе мы перестанем существовать как народ, как хозяева своей земли...

– Уходи вон, умник, не хотим тебя слушать! – Новая гулкая волна загуляла, закружила над поляной. Что было делать Калакуту? Считать себя оскорбленным? Но кто оскорбил, попробуй укажи!

Бакан, подняв руку, стоял в ожидании тишины, когда гул поутих, обратился к Калакуту:

– Ты, уважаемый гость, обещал нам, что не будешь нас учить уму-разуму, а сам учишь, будто малых детей. Не сердись, не я – народ тебе это сказал, а я лишь повторил его слова.

Кивнув потяжелевшей головой, словно выразив согласие, Калакут подумал: «Неправда, есть же здесь люди, согласные со мною, значит, надо терпеливо, как по зернышку, собирать их воедино. Вот и буду заниматься этим, разъясняя, убеждая непонятливых».

В полдень следующего дня Калакут и Хатай в сопровождении Даура отправились в селение махошев. Дома здесь, заметил Хатай, добротные, многие сложены из камня, и всюду – сады, сады. Виноградом увиты навесы, веранды и заборы, вдоль которых кусты благоухающих роз. В конце огородов – луга и, будто сторожевые башни, устремившиеся к небу, пирамидальные тополя, трепетавшие зеленой блестящей листвой при слабом дуновении набегавшего ветерка.

Светлолицый, с золотисто-темной шапкой волос на крутолобой голове, друг Калакута встретил их, как и подобает, радушно. Распорядился домашним, чтобы дали гостям умыться и пообедать, а сам куда-то отлучился. Вскоре он возвратился в сопровождении соседей, потом стали подходить другие селяне. Появился и Ванатуг, очень обрадовался встрече с Калакутом, направился к нему, протягивая руку, но тот, бросив холодный взгляд, слабо пожал его ладонь и тут же удалился. Ванатуг не обиделся, отойдя в сторону, смиренно остановился в ожидании.

Разговор начал хозяин дома, попросил Калакута рассказать, что нового в его краях, что слышно о Москве, как чувствует себя князь Сибок, о котором много разного рассказывают.

– Московия Московией,– начал Калакут,– но нам надо меньше надеяться и на нее, и на Крым, и на Турцию, и на Персию. Пришла пора думать о своей земле. Князья, представители всех наших племен, должны сесть за один стол и повести деловой разговор о том, как нам объединиться.

– Слышали мы эту песенку,– прогнусавил мужчина в папахе набекрень, сидевший неподалеку от дверей.– Вы, я гляжу, считаете себя умнее всех. Один приезжает – тянет к урусам, другой – к ногаям, третий – к туркам, а ты талдычишь про какое-то объединение. Откуда ему взяться, если абадзехи нас видеть не могут, а мы их...

– Что ты мелешь, Панахес, закрой рот! – возмутился Ванатуг.

– Ты сам закрой, только тебя еще нам не хватало!

Ванатуг, несмотря на свою хромоногость, будто кошка, кинулся на Панахеса, но его перехватил хозяин:

– Не надо, не марай об него руки... А ты уходи, Панахес!

VIII

«Лучше, смирив свою гордыню, служить разуму, чем быть в почете у глупости». Князь Сибок не помнил, где и от кого слышал эти слова, но, вернувшись из Москвы, все думал и думал, то сомневаясь в мудрости этой пословицы,

то считая ее разумной, а значит, и свою поездку в Москву оправданной.

Но это – князь, а как считают другие?

Старик Тлимаф и пословицу считает мудрой, и поездку Сибока полезной, а вот князь Тахо чуть ли не скрежещет гнилыми зубами от злости. Но что делать: если человеком движет зависть и злоба, его так же не переубедишь, как не сумеешь поставить пустой мешок.

В самом деле – чему завидуют князья Тахо и Цахо? Они куда богаче князя Сибока. И земли у них намного больше, и отары овец тучнее, говорят, будто они и счета не знают своим лошадям, коровам и буйволам. И золота, понятное дело, у них припрятано немало. Во всяком случае, больше, чем у Сибока. Оба они ходят в старых потертых черкесках, в облезлых папахах и истоптанных сапогах, как говорят люди, от скаредности, которая всегда в обнимку с неправедным богатством. А исходят злой завистью по той причине, что не любят их селяне, выбрав главным князем жанеев Сибока.

– О люди добрые! Послезавтра созывается жанеевское хасэ! Зиусхан над зиусханами, мудрейший среди мудрых Сибок расскажет вам о своей поездке, поведает, как он выполнил вашу волю!

Князь велел позвать Ацамука, когда тот вошел, сердито спросил:

– Ты слышал, что этот болтун разносит по селению? Вели ему, чтобы не позорил меня.

– Но, зиусхан, глашатай говорит от простой и доброй души своей. Вправе ли мы ему мешать?

– Объясни ему, что открытая лесть хуже навета.

Когда Сибока первый раз выбирали главным жанеевским князем, много говорили добрых слов о нем. О его честности, мужской порядочности, доброте. Так продолжалось и после выборов. Сибок собрал князей, объяснил им, что человека хвалить – только портить. А если людям нравится, как он поступает, как занимается общими делами, пусть меньше говорят, а больше помогают ему на благо всем. Это и будет самой полезной похвалой.

Затем его выбрали второй раз и третий. И вот теперь...

Когда вернулся он из Москвы и больше недели ездил по селениям, ни разу не слыхал каких-либо нареканий, и

вот спустя время как-то исподволь начали возникать в гостиных всякие суды-пересуды. Становились они все смелее и смелее, все громче и громче и, как казалось Сибоку, появилось что-то похожее на непонятную бурю слов и суждений, ругани и здравых размышлений, хвалы и возмущений. Дворяне и тфокотли его хвалят, а князья укоряют и даже клевещут. Тлимаф, казалось, был на его стороне, но выражал лишь сочувствие, не проявляя решительности.

Щербатый Тахо, щуря хитроватые глаза, говорил своему другу Цахо:

– Не надо главного зиусхана осуждать. Тут, понимаешь, какая штука, чем больше людей будут его корить, тем больше найдется жалостливых, которые и пересилят противников. Надо его хвалить, и чем слаще будет похвала, тем приторнее она станет.

За окном послышался голос муллы, призывающего к обеденному намазу...

Сибоку исполнилось семь лет, когда его отдали в медресе. Ему и другим мальчишкам с большим трудом давался чужой язык, на котором произносились молитвы. Эфенди очень сердился, когда слышал, как ученики коверкают слова, он немилосердно бил их хлестким прутом по рукам. И, как знать, если бы он не был таким жестоким и грубым, может, Сибок по-другому относился бы к вере, был бы прилежным мусульманином. Впрочем, дело было не только в жестокости эфенди.

Много лет прошло, как на Кавказе появились первые эфенди и муллы из Турции и Крыма, из арабских стран. Они часто ссорились между собою, стремясь занять получше место в селении, где открылась мечеть. И обращали они в веру не только, как сами говорили, божьим словом, но и подкупами, разными посулами, притворной лестью, а то и грозили наказанием, порою изгоняя из селения тех, кто не хотел отказываться от своих древних богов.

Когда повзрослел Сибок, сомнения детства переросли в сомнения юности. Он думал: если все люди – одинаково любимые дети одного Бога, то почему он позволяет туркам и татарам грабить своих братьев, убивать их? Однажды он задал такой вопрос мулле, за что получил от него подзатыльник, что едва устоял на ногах.

Уже стояли кумган с водой и тазик, а Сибок мысленно все еще находился далеко от дома, в Москве. Конечно, там тоже время намаза, и Кудадек с Дударуком, наверное, собираются стать на молитву, а может, уже стали... И вдруг ему так явственно послышался звон колоколов, что он даже вздрогнул. Пусть болтают Тахо и другие пустозвоны, будто Кудадека обратили в православные. «Вранье!» – вслух произнес князь. Конечно, он еще мальчишка, но с ним рядом Дударук, который не позволит этому случиться.

«Нет-нет,– подумал князь,– в полдень колокола не звонят». Подумал и успокоился, хотя тоска по сыну не покидала сердце. И само в нем выговорилось: «Мой мальчик, мой мальчик». Это женское, материнское дело называть своих детей ласкательными именами, а мужчине ни к чему, даже нехорошо, а вот, поди же, выговорилось. «Это, наверно, потому, что он так далеко от меня, от своего дома, среди непонятных ему людей... Что он там, как?! Ведь и языка их не знает и к их еде непривычный. Как ты там, мой мальчик?»

Взгляд князя упал на кумган, словно опомнившись, он воскликнул: «О Аллах, прости меня грешного, непотребного раба Твоего».

После намаза, совершенного на арабском языке, он, не поднимаясь с коврика, обратился на своем родном:

«О мой Аллах, благослови меня, как правоверного мусульманина... Ты знаешь, когда болит у человека сердце, болит его душа, он бывает рассеянным, забывчивым, как и я сегодня перед намазом, но Ты знаешь, что с тех пор, как я начал себя осознавать, был душою и телом предан одному Тебе, честно служил людям, созданным Тобою. Лишь иногда, лишь порою моя память возвращается к богам моих предков. Лишь иногда и очень не надолго. Каюсь и прошу – прости мне греховную слабость. Случается это не только со мною, но и с другими адыгами, вот почему турки и ногаи, которые исповедуют ислам и принесли его нам, бывает, грабят наших людей, убивают, воруют детей и продают их в рабство, а ведь по Твоим законам мы все братья. Помоги мне, грешному, разобраться еще и в том, о чем меня, главного князя, часто спрашивают люди. Мы знаем – во всем подлунном мире нет Бога, кроме Тебя. Значит, и урусов создал Ты, но почему же тогда у

них своя вера, чиристанская, почему мусульмане и чиристане живут врагами, а не братьями? И как мне быть верным только Тебе одному, ведь в Московии я оставил среди православных своего сына. Подскажи, научи... Скоро состоится жанеевское хасэ, молю – внуши моим людям мудрость, пошли мне с ними мудрое решение, как быть нашим сердцам, оставаясь верным Тебе одному, как помочь нашему делу, жизни нашей трудной». Князь трижды о величии Аллаха прочитал стих из суры Корана, положил поклон, поднялся.

У ворот раздался топот. Вскоре в гостиную вошли Зазий и Дзегашт. Выглядели они очень усталыми, особенно Зазий, взгляд которого был таким отрешенным, будто он устал жить. Увидел это Сибок, сочувственно вздохнул. Соблюдая обычай, не стал спрашивать, с чем пожаловали гости, и начал исподволь говорить о том, что перед завтрашним хасэ скопилось много неприятностей. Хоть ногаи и турки чуть попритихли, после того как в Турции побывал тайный посланец Москвы, это вовсе не значит, что можно не беспокоиться. Это, может быть, лишь затишье перед бурей, поэтому князь из предосторожности оставил у Керченского пролива небольшой отряд воинов.

– Правильно,– одобрил Зазий,– недаром говорят: если будешь себя беречь, то и Аллах тебя сбережет.

– Раз уж речь зашла о хасэ, позвольте и мне слово сказать,– попросил Дзегашт.– Тут, возможно, таится какая-то опасность, недаром здесь шастали тайком люди из Крыма, а может, и еще откуда. Думаю, найдутся горлопаны, чтобы помешать нашему делу. Следует для порядка и нам подготовить надежных людей.

– Верное твое слово, Дзегашт, есть у меня надежные люди, но, думаю, надо и тебе, и твоим друзьям быть наготове.

– Есть они, зиусхан,– широко улыбнулся Дзегашт.

– Спасибо,– кивком поблагодарил Сибок и обратился к Зазию: – Мне очень хотелось бы услышать и твою здравицу за нашим столом, услышать и твое, мудрейший из мудрых, слово.

Дзегашт, как и полагается младшему, налил бузу. Поднял чашу Зазий, легким поклоном поблагодарил князя, негромко и взволнованно заговорил:

– Пусть иссохнут глаза твоих завистников. Пусть сбудется все, что ты, главный зиусхан Жанеи, задумал сегодня, завтра и во веки веков, пусть радость не покидает твой дом, твоих близких, и нас, друзей твоих!

– Правду говорят,– сказал князь,– нет глубже колодца, чем душа человека – сколько ни копай, до дна не докопаешься. Позвольте, уважаемые гости, от души поддержать сказанные слова. У урусов, если тост поднимают за что-то очень важное, пьют стоя. Будь эта здравица в мою честь, ни за что не предложил бы это, но она – за всех нас.

Выпили стоя.

– Здравица эта мне важна еще и вот почему. С тех пор как я обратился к Московии, особенно после моего возвращения, у меня появилось много недоброжелателей, а то и просто врагов. Я уж не говорю, как рассвирепели в Турции и в Крыму, это понятно, а вот среди наших людей, среди адыгов...

– Ты ошибаешься, зиусхан, извини, что перебиваю,– заговорил Дзегашт.– Мы с Зазием побывали во многих селах, со многими людьми беседовали, выслушивали их, и я скажу: о тебе больше говорили доброго, чем худого. Думаю, ты завтра сам убедишься в этом.

– У вас были важные дела, вы с ними справились?

– Да,– ответил Зазий.– Дела были важные.– Как-то безучастно он продолжил: – В Крыму мне обязательно побывать надо, с сыном встретиться.

– Знаю твою беду. Думаю, все уладится,– успокоил его Сибок.– Твой сын Мамий адыг все же...

– Адыг, это верно, однако на нем столько адыгской крови и слез, что, боюсь, добром у нас с ним не кончится.

– Что ты говоришь, Зазий! Обязательно все уладится, ты же отец ему! – воскликнул Дзегашт.

На хасэ князь Цахо, находясь в стороне от круга, исходил злостью, вымещая ее на своем буланом коне, беспричинно дергая удила, вонзая стремена в бока, а то и поднимая его на дыбы. Конь тревожно всхрапывал, жалобно ржал, вскидывая гриву.

«Что это за хасэ,– негодовал Цахо,– подобного еще не видел». Он ожидал бурных споров, резких выступлений против главного князя, а получается все наоборот: рас-

сказал Сибок о своей поездке в Москву, о которой все уже знали, затем выступило несколько старейшин с одобрением, как они сказали, нужного дела. В их поддержку взметнулись обнаженные кинжалы...

Да и сам князь Сибок не ожидал подобного исхода, ведь сколько всяких сплетен плелось по селам, сколько высказывалось разных сомнений и не только в Жанее. Адыги понимали: если придет на Кавказ Россия, эта огромная страна, то с нею, с ее силой и волей должны будут считаться все, а раз с нею, то и с князем Сибоком.

«О проклятие! – выругался про себя Цахо.– Чтоб вам всем провалиться в преисподнюю к дьяволу!»

Один из байколов Цахо в знак одобрения Сибоку тоже вскинул кинжал, но князь с такой силой хлестнул его плеткой, что тот с трудом удержался в седле. «Мерзавца Тахо надо бы проучить, да так, чтобы мозги повылетали из его предательской головы». Ведь сколько разного они замышляли против Сибока, тфокотлей подговорили выступить – и вот тебе, они даже не появились на хасэ...

Пришпорив коня, Цахо галопом помчался в село Джагун, подъехав к воротам Тахо, поднял скакуна на дыбы.

– Добро пожаловать, зиусхан! Ты почему не покидаешь седло,– болезненным голосом пригласил с веранды Тахо, спокойно глядя на разгневанного гостя.

– Я не хочу заходить к тебе в дом,– сердито ответил Цахо.– Ты почему не приехал на хасэ?

– Разве не видишь, как меня согнуло, спины не могу распрямить. А уж так хотелось, так хотелось побывать там и сказать свое слово, послушать, что говорят другие.

– Ты притворяешься, хитрец! – едва сдерживая гнев, сквозь зубы промолвил Цахо.

– Зиусхан, ты оскорбляешь меня! – с визгом произнес Тахо и угрожающе распрямил грудь.– Ты приехал драться со мною?!

Цахо криво усмехнулся, оголив кривые зубы:

– Драться с тобой не буду, только скажу: ты трус и предатель. Тебе платок носить, а не шапку зиусхана! – Дав шпоры коню, он умчался прочь.

IX

Будто из-за дальних высоких гор спустилась ночь, раскинув над землею звездное покрывало с молодым месяцем, смиренно склонившим вниз золотые рожки. Со стороны моря потянуло ветерком, пахнувшим простором и далекой неизвестностью.

После ужина Калакут вышел с гостями во двор:

– Вон как месяц наклонился, похоже, скоро прольется дождь.

– Небо чистое и звезды ясные, откуда взяться дождю? – мягко возразил Хатай.

– Воздух от моря тяжелый, густой какой-то, от влаги тяжелый,– улыбнулся Даур.– И месяц рожками вниз – к дождю, значит, как сказал Калакут.

– И правда,– согласился Хатай,– месяц похож на ковш, из которого должно что-то пролиться. А я этого и не знал, просто не обращал внимания. Оказывается, все, что над нами, полно смысла?

– Да-да,– поддержал его Калакут.– Помню, старшие нам говорили, что детей находят в лопухах. Старшие старшими, они говорят тебе разное, чтобы ты думал над ним, свое из них выводил. Так жизнь устроена: старшие учат младших, чтобы ума набирались, становясь старшими. А насчет месяца и чистого неба сегодня сам увидишь.

Хатай проснулся от шума дождя. Уже светало. «Вот тебе и ковшик месяца,– усмехнулся он,– с виду маленький на небе, а на землю все льет и льет».

Калакут и Даур сидели молча, прислушиваясь к шуму дождя, капли которого монотонно стучали в окна.

– Я опять проспал! – подхватился Хатай.

– Спи, пока сладко спится,– успокоил его Калакут.– Торопиться нам некуда, да и дождь все сильнее, ведь он только начался... Хотя, наш молодой друг, в народе говорят: кто рано встает, тому жеребенка подают. Ты это тоже намотай на ус, который у тебя уже выглядывает из-под носа.

Хатай усмехнулся: «Скоро ли они вырастут».

Блеснула молния, грохнул гром так, что дом вздрогнул, послышался стонущий порыв ветра, и дождь уже превратился в ливень, низвергая сверху поток воды.

– Пугает нас,– засмеялся Калакут,– а нам не страшно. Крыша не течет, хозяин не выгоняет, лошади под навесом. Да и дождь этот с веселой грозой не бывает долгим. Потом засияет солнышко, повеет ветерок, они высушат нашу дорогу, так что коням будет легко скакать.

К удивлению и почти детской радости Хатая, все так и вышло. Укатилась, погрохотав, гроза, прекратился дождь.

Выглянувшее солнце радовалось утренней свежести и тишине, а в голубом небе защебетали жаворонки, запели в саду дрозды.

Гостям дали умыться дождевой водой, пригласили завтракать. Только они принялись за жареных цыплят, как вошел Ванатуг, поприветствовав, остановился у двери:

– Сидите, сидите. Завтрак – важное для мужчины дело, особенно если он собрался в дорогу.

– Садись, Ванатуг, раздели с нами это важное дело,– пригласил Шарух, хозяин дома.

– Спасибо, я только что позавтракал и, как говорят, сыт по горло. Не беспокойся, я подожду, пока позавтракаете.

– По горло бывает сыта только собака,– усмехнулся Шарух,– а у мужчины всегда найдется место для хорошего куска мяса.

– Придется сесть,– улыбнулся Ванатуг,– чтобы не быть похожим на собаку.

После завтрака гости засобирались в дорогу. Ванатуг, переступая с больной ноги на здоровую, комкая в руках папаху, обратился к Калакуту:

– Извини, но я должен поговорить с тобою, если позволишь.

Калакут метнул в него неприязненный взгляд, пожал плечами, мол, видно, ничего не поделаешь, говори.

Вспотел лицом Ванатуг, покраснел и, немного успокоившись, заговорил, глядя то себе под ноги, то в окошко:

– Я причинил тебе большую беду, Калакут, такую боль твоему сердцу, за которую нельзя простить, но сейчас стоит перед тобою совсем другой человек, который появился на свет по твоей воле. Конечно, всему хозяин на нашей земле Аллах, по Его воле ты послал меня на страдания, и страдания эти сделали меня совсем другим. Ты принес счастье

не только мне, но и тем, кому, оставаясь прежним, я мог натворить еще много зла.

– Чего же теперь хочешь от меня? – пристально посмотрел на него Калакут.

– Ты говоришь, адыги будут счастливы только тогда, когда объединятся в одну большую семью. Говоришь, надо дружить и с Турцией, и с Крымом, и с Русью, но дружить только на равных, а не быть у кого-нибудь в услужении. Я считаю точно так же, и если буду тебе нужен хоть чем-нибудь, сочту за счастье. И не думай, что я говорю слова просто так, чтобы угодить тебе, нет. Они живут во мне, их поселил в мое сердце сам Аллах.

– Позволь, гость, сказать и мне,– вмешался Шарух.

– Говори, слушаем,– согласился Калакут,– похоже, сегодня у нас такой день.

– Человек, попавший в жестокую беду, выходит из нее или потеряв себя, или, наоборот, омытый этой жестокостью, как святою водой. Я не знаю Ванатуга и прежнего, и такого, каким он стал теперь. Думаю, Калакут, это верный тебе человек, счастливый и честный.

– А что думают мои спутники? – взглянул Калакут на Даура и Хатая, заранее предвидя их ответ.

– Берем его с собою,– твердо сказал Даур. В знак согласия кивнул головой и Хатай.

– Ну что же, иди, седлай коня! – как бы оттаяв душой, весело произнес Калакут.

Преобразился Ванатуг, даже глаза у него стали светлее.

– Ты знаешь, того красавца коня, на которого ты засматривался, вернувшись из Турции, я разыскал и выкупил.

– Это большая удача, седлай его.– Калакут дружески хлопнул Ванатуга по плечу.

Шарух проводил гостей за околицу, где раскинулся благодатный луг, паслась отара овец, а в стороне от нее – табун лошадей с веселыми стригунками и небольшое стадо круторогих буйволов. Кончался луг вдалеке мелколесьем, взбиравшимся на пологий холм.

Ехали всадники по росистой траве, под едва проснувшимся солнышком, легкой рысью, будто на прогулку.

По мелколесью они поднялись на холм. Перед ними предстала опушка пихтового леса, похожая на крепость с островерхими боевыми башнями, взметнувшимися высоко к небу.

– Ты что все оглядываешься? – обернулся к Ванатугу Калакут,– может, жалеешь, что поехал с нами? Так возвращайся, пока недалеко отъехали.

– Зачем говоришь такое? Теперь это моя единственная дорога, с которой ни за что не сверну. А оглядывался... увидел всадника, который, похоже, следит за нами. О, да это гнусавый Панахес! Вон он, сейчас я с ним потолкую.

Ванатуг придержал коня, дождался Панахеса:

– Ты чего тут кружишь? Никак наш парень понравился?

– Он что, девушка, чтобы мне нравиться?

– Знаю, чем ты занимаешься, только учти – я бросил это грязное дело и тебе советую, иначе – гляди у меня!

– Я у старшего из вас спрашиваю: можно мне переговорить с Хатаем?

Калакут, удивленно взглянув на него, согласно кивнул.

– Хатай – это твое настоящее имя? – спросил Панахес.

– Так меня звали мать и отец. А в чем дело? – встревожился Хатай.

– Просто так,– усмехнулся Панахес, дал коню шпоры и умчался, чуть не сбив чабана, стоявшего с ярлыгой на плече.

– Что-то затевает этот гнусавый, добра от него не жди,– глядя вслед Панахесу, уронил Ванатуг.

– А что он нам может сделать,– усмехнулся Калакут,– разве что приведет конников в сто сабель? Я думаю, и этим нас не испугает. Согласны, адыги?

Всадники рассмеялись и пришпорили коней.

Хатай всю дорогу любовался конем Ванатуга, его статью, тем, как он легко и красиво ступает, будто хвалясь перед людьми, как играет гривой, веселым взглядом больших глаз, а после встречи с Панахесом его не покидала мысль, откуда тот его знает, ведь первый раз с ним встретились. Может быть, он один из тех трех разбойников, которые выкрали его? Правда, их лица были прикрыты, а когда они разговаривали, Хатай не услышал гнусавого голоса. Но потом на берегу моря он видел его...

Всадники на рысях проскочили через широкую, но мелкую речку, взлетели к опушке дубовой рощи, где их встретил теплый проливной дождь, а дальше, над горами, ярко светило солнце.

– Посмотри, Хатай, какое озорство! – воскликнул Даур.– У нас говорят – дождь сквозь солнце, а в соседнем селе – слепой дождик.

Вдоль опушки всадники прибавили ходу, будто забавляясь озорным дождем, который так же внезапно умчался, как и налетел. На открывшейся поляне перед ними предстала неожиданная картина: под развесистой рябиной в белом наряде сбитый из досок стол, на нем кувшины с бузой, куски вяленого мяса, лепешки, вокруг стола мужчины. Невдалеке паслось несколько лошадей. Подъехав, Калакут и его спутники спешились, как полагается, поприветствовали их, высказав добрые пожелания.

Калакут улыбнулся:

– Тут до селения рукой подать, а вам, видно, здесь захотелось попировать.

– Рады и вас видеть за этим столом! – поднялся навстречу князь Машук.– Мы часто ездим этой дорогой, вот и придумали эту мужскую забаву. Дом домом, а вот посидеть под этой красавицей хоть весной, хоть летом, да и зимой, у костерка, большое удовольствие для тех, кто на коне. Садитесь, подзакусите, потом мы проводим вас, как велят обычаи.

– Спасибо, зиусхан, мы уже полпути проделали, почти у цели своей.

– Валлахи! – обрадованно воскликнул князь.– Значит, вы ко мне едете? Тогда немедленно в путь, в мою гостиную, а то зиусхан Сибок смеяться будет, скажет, гостей в диком лесу принимаю.

– Не в диком лесу, зиусхан, а, как ты сказал, под этой красавицей.

– Ну что же, садитесь, как и полагается гостям.

Пока гости рассаживались за столом под душистыми ветвями, князь Машук приветливо улыбался, хотя на душе у него, как говорят, кошки скребли. «Посмотрите только, полюбуйтесь, люди добрые! Он так себя ведет, что мне, князю, приходится ухаживать за ним, за тфокотлем. А все это Сибок виноват, разбаловал их... Да и он сам кто такой!

Мы бились, бились, старались изо всех сил в Московии, а вернулись ни с чем. Он же с подозрительной легкостью добился встречи с самим царем, привез государственную бумагу!»

– Вот видите, как хорошо устроились. Ну, рассказывайте, что нового, что доброго у вас видно и слышно. С чем, с каким делом едете, может, оно и нас касается и нам пригодится.

– Все у нас хорошо, и наш главный зиусхан Сибок в добром здравии, в радости своего княжества. Всего доброго передает и тебе, и твоему княжеству,– неторопливо заговорил Калакут.– Наше дело для одних – большое и важное, а для других – пустое, даже как бы вредное. Я знаю, что ты с Дударуком и Темрюком возлагаете свою надежду на урусов. Если ваши мысли, ваши устремления к добру приведут, кто же возражать будет, как говорят, помогай вам Аллах. Если же...– Калакут помолчал как бы в раздумье, в нерешительности, потом продолжил: – Зиусхан Сибок привез из Московии бумагу, по которой все наши земли отходят урусам, а сами адыги становятся холопами гяурского царя... Ты, зиусхан, конечно, знаешь, какое недовольство вызвало это у многих, кто считает себя истинным, свободным адыгом. Вот и думаем: чем наш древний народ хуже самозваных крымских татар, пришедших на нашу землю? Разве мы глупее других народов, кои живут единой семьей, своей страной?

«Да он, этот громила тфокотль, как еж колючий со всех сторон»,– подумал Машук и сказал:

– Я слышал о твоих желаниях и намерениях, но, уважаемый Калакут, это только слова. Красивые слова, каких очень много, но вот как их в дело обратить? Где та твердая дорога, по которой можно идти, а не рассуждать о ней? Покажи, и я без сомнений пойду за тобой.

Ветерок прошелся по вершинам леса и смолк. Калакут прислушался к тишине, пожал плечами:

– Я думаю, все понятно и просто. Если мы собираемся куда-то идти, то сначала говорим, куда и зачем, потом слово произносим, а уж потом трогаемся в путь. Значит, мы должны произнести это слово, обсудить его, и оно поможет нам тронуться в путь. Ты прав, зиусхан, люди много напридумывали красивых слов, а надо, чтобы они

были не просто красивыми, а делом подкреплены, полезным для людей делом.

– Но, Калакут, что предпринять, чтобы слово стало делом? Ты ведь знаешь – абадзехи не хотят ни вас, ни нас, они хотят быть сами по себе. Так у них еще нет зиусханов, а у других-то они ведь есть. И не только зиусхан, даже самый мелкий зиусханишка не желает отказаться от своей власти. Так наша жизнь устроена: власть одного над другим. Я не хочу стать тфокотлем, а ты, наверно, не захочешь стать крепостным. Если бы такое и случилось, то было бы бессмыслицей.

– Значит, все пусть идет, куда ветер дует?

– Нет! – возразил Машук, положив перед собою на стол крепко сжатые кулаки.– Ты, наверно, знаешь, что Русь когда-то тоже состояла из отдельных княжеств. Чтобы объединить их в одну державу, понадобились годы и годы, было много пролито крови. Особой жестокостью отличается нынешний царь Иван. Так было не только у них, но и в других великих государствах. Вот и получается – чтобы объединиться, надо пролить много братской крови. Да и найдется ли у нас такой силы человек, за которым пойдут свободолюбивые адыги? Не просто пойдут, а станут его воинами, которых понадобится очень много? Чем больше страна, тем больше, понятно, у нее войско. К тому же командовать большим войском должен искусный предводитель. А найдется ли такой среди адыгов?

Калакут, испытующе глядя на Машука, заговорил:

– Верно ты сказал, зиусхан. Для большого дела нужен большой труд, а свершится он лишь при условии, если направлять будут мудрость, мужество, честность. Я думаю, у тебя все есть, чтобы стать во главе этого дела, без которого адыгам не быть адыгами, раньше или позже они окажутся чьими-то рабами или слугами.

Метнул князь свой взгляд в Калакута и тут же приглушил его. Поднялся из-за стола, прошелся в раздумье, сел снова на свое место, улыбнувшись Калакуту, негромко произнес:

– Адыги говорят: не высовывай свою папаху выше других, а то завистники могут срубить ее вместе с головой... Ты, Калакут, говоришь, этот человек должен повести за собою весь народ? Но как народ может узнать, что он

действительно умный, мудрый, честный? Как гласит поговорка, у него на лбу не написано.

– Валлахи, это правда! – не сдержался Ванатуг.– Надо быть джинном, чтобы каждому вложить такое в голову.

– Если вы верите в свое дело,– остановил князь Ванатуга,– идите к народу, убедите его в своей правде.– Он улыбнулся Калакуту: – Мудрость, мужество и честность всегда ходят рядом, только надо уметь разглядеть их и помочь другим увидеть... Спасибо вам, уважаемые гости, что осчастливили нашу родину, наш хлеб-соль и нас, грешных, доброго вам пути. Всем передавайте наши приветы – от этого возрастает добро между нами.

После хорошего угощения с доброй бузой при очень приятном разговоре ехалось всадникам спокойно и привольно. У Калакута теснились в голове не совсем обычные для него мысли. Их заронил Машук, наследник известного князя Каноко.

Кто из князей мог стать повелителем всех адыгов, всей великой земли от Каспия до Азова, от вершин Кавказского хребта до бесконечных, как море, степей? Не полудохлый же Тахо или его приятель плешивый Цахо! Конечно же, достойные мужи Сибок, Темрюк, Пшиапшоко, Машук, но ведь и они скорее передерутся и уничтожат друг друга, чем согласятся уступить свое первенство.

И тут как бы озарила Калакута мысль: он, стоящий особняком, в стороне от междоусобной кровавой распри, должен стать этим предводителем. «Как сказал Машук: если верите в свое дело, идите к народу, убедите его в своей правде».

– Калакут, глянь, уже виден Дударукай! – воскликнул Хатай.

– Ты, парень, так обрадовался, будто тебя там ждут богатая встреча и пир горой в зиусханской гостиной.

Хатай придержал коня:

– Не знаю даже, может, я из зиусханского рода и как раз в той стороне и живут мои родственники, предки мои?! – пошутил он.

В это время из молодого сосняка выехали восемь всадников и остановились на крутом обрыве над шумной речкой Зеленчук. Не доехав до них, остановился и Калакут со своими спутниками.

Поздоровались легкими поклонами, как и полагается путникам.

– Кто такие, к кому и по какому делу пожаловали? Много сейчас разного люда шляется по нашим дорогам,– обратился абазинский князь Бекмурза.

– Верно, зиусхан, много подозрительных людишек, как ты сказал, шляется... Мы с Хатаем жанеи, Даур – абадзех, а Ванатуг – из махошев.

– Вон как! – удивленно воскликнул князь.– Чуть ли не все адыги сошлись.

– И вправду! – пробасил Калакут.– Еще бы несколько – и все были бы тут в сборе... Сын нашего Сибока, Кудадек, и ваш зиусхан Дударук остались по делам адыгов в Московии, у царя Ивана.

Рыжебородый, стоявший рядом с князем, насмешливо сказал:

– Он называет туму Дударука.

Все абазины расхохотались.

– А что такое тума? – спросил Хатай.

– Незаконнорожденный,– пояснил Калакут Хатаю и, повернувшись к абазинам, добавил: – А вам не стыдно смеяться над своим зиусханом-посланником?

– Заткнись, тфокотль Калакут! – крикнул рыжебородый.– Наш зиусхан Бекмурза – гордый и честный человек, потому и не поладил с царем урусов. Катись в свою Жанею и скажи Сибоку, пусть сидит там со своею позорной бумагой, привезенной из Московии, и не смеет совать к нам свой нос, подсылать своих людишек!

– Но зиусхан Сибок здесь ни при чем, он даже не знает, что мы здесь,– сдержанно ответил Калакут.

– Тебе сказано – заткнись, не то я сейчас велю в землю тебя втоптать.

Калакут дал знак своим:

– Не убивать, а проучить хорошенько.– Одного байкола он сбил ударом кулака, другого – плашмя мечом. Даур и Хатай тоже сбили по байколу.

Князь и еще двое его спутников в панике спрыгнули на землю, побледневший Бекмурза спрятался за круп коня:

– Что вы делаете, опомнитесь! Я все же зиусхан!

– Разве так встречают гостей, кто едет к ним с миром? Не вини нас, Бекмурза, ты получил то, что заслужил своим

бесчестием. Уверен, если ты приедешь к нам, наш главный зиусхан Сибок покажет, как по старинным адыгским обычаям встречают гостей.

– Сюда скачут три всадника, Калакут! – с тревогой сообщил Даур.– Вон они, уже совсем близко!

На всякий случай Хатай и Даур стали рядом с Калакутом, как бы изготовившись к боевой встрече, но подъехавшие всадники придержали коней. Тучный, пожилой мужчина – это был князь Джамбеч, спрыгнул с коня и, задыхаясь, почти бегом кинулся к Хатаю, который, узнав его, не то от отчаянья, не то от радости закричал:

– Отец!

Они обнялись и долго, очень долго, как всем показалось, стояли молча, только слышалось их взволнованное дыхание.

– Ладно, хватит, сын, мы же с тобою мужчины,– сказал Джамбеч, вытирая слезы о плечо Хатая, который тоже не скрывал слез радости.

– Отец, разве мужчинам запрещено радоваться, да еще при таком невероятном событии!

– Да, сын мой, да, однако, как говаривали наши предки, чем дальше положишь драгоценность свою, тем ближе возьмешь.

Бекмурза почти на полусогнутых ногах приблизился к отцу и сыну и до приторности вежливым голоском не то сказал, не то пропел:

– О зиусхан! Я не знал, что среди них – твой сын. Прости, все простите нас и будьте нашими дорогими гостями.

– К тебе в гости?! – с презрением глядя на Бекмурзу, воскликнул Калакут.– Да я скорее умру на этом месте, чем переступлю порог твоего дома!

Джамбеч стал между ними:

– Не надо омрачать, наверное, самый счастливый день в моей жизни. Там у нас уже собрались родственники, все село собралось. Я всех вас приглашаю в гости.

X

Дорога домой всегда короче той, что из дома. Так говорят, так оно часто и бывает, но сейчас Калакуту казалось, что она все время бежит какими-то запутанными тропами с крутыми бесконечными подъемами. Всадники тронулись, и он, на правах старшего, сказал Хатаю:

– Становись справа от меня, ведь ты... теперь ты князь. Мы все привыкли к тебе. Вот и подумай, попробуй осмыслить: был дворовый, и вдруг – князь! Про себя скажу: такого бы мои широкие плечи не вынесли. А как ты? И вообще – как нам быть с тобою? Кто мы теперь в твоих княжеских глазах? Ведь другие, совсем другие они у тебя стали...

Хатай остановил его взглядом, улыбнулся:

– Не говори так, Калакут, разве ты мог бы стать другим?

– Но ты же согласись, Хатай, есть князья, есть дворяне, а есть ведь и крепостные, которых продают и покупают, как лошадей или овец, которых и за людей не считают.

– Да,– грустно промолвил Хатай и потеребил пробивавшиеся черные усы и бородку, будто торопя их расти.– Сколько я тебя помню, Калакут, столько и знаю – громадного, как гора, но доброго сердцем, как... ну, луг или поле. Не смейся, я от души, какой есть, каким буду всегда.

– Всегда?!..– спросил Калакут и продолжил: – Если у нас зашел этот разговор, я буду таким же простым и открытым, как ты... Вот, скажем, стригунок, резвится он на лугу под солнышком или под дождичком и думает – так будет всегда, но придет время, оседлают его, взнуздают, а то и в телегу запрягут, плетью огреют...

– Понимаешь, есть зиусхан Сибок, которого я люблю и буду любить за его доброту, его заботу не только о себе и людях своего двора, но и о всех других. И разве это уйдет из меня, потому что стал зиусханом, потому что кто-нибудь, может случиться, огреет меня плеткой? А ты, Калакут, вывел меня за ворота, в другой, большой мир вывел, без которого мужчина не может быть мужчиной. Этим как бы надел на меня папаху. Отец мой, конечно, очень хотел, чтобы я остался дома, как он сказал, в своем большом хозяйстве, ведь годы его немалые, к тому же за сестренкой нужен глаз старшего брата. Но когда я ему рассказал о наших с тобой отношениях, о твоих мыслях об адыгах, он признался, что думает не иначе и отечески благословляет

меня. О тебе сказал: тфокотль этот духом и правдой своей выше многих наших зиусханов, я рад, что ты с ним подружился.

– Спасибо на добром слове, а тебе я посоветую: будь поближе к отцу, ты должен теперь вникать в его дела... Пусть Аллах продлит дни Джамбеча, только... я не знаю ни одного долгожителя из зиусханов.

– Почему? – удивился Хатай.

– Все просто: когда мужчины седлают боевых коней, впереди всегда зиусхан, значит, и первый удар врага достается ему.

– И правда,– вздохнул Хатай.

В пути от утренней зари до вечерней всадник, бывает, коротает время разговорами со своими спутниками или с самим собой, вспоминает прошлое, будто снова проживает его, оценивая и взвешивая свои поступки и дела. Лошади шли легкой рысью навстречу освежающему ветерку, иногда срывающемуся шаловливому дождику.

Калакут был доволен встречей с князем Машуком и тем, как он проучил наглого Бекмурзу, а потом – радость встречи отца с сыном.

Когда-то в детстве Хатай со своими друзьями играл на опушке леса в прятки. И так спрятался, что мальчишки никак не могли его найти и очень завидовали ему. Потом кто-то сказал: может, он убежал домой? Но дома его не оказалось. Ребята рассказали отцу, и тот, оседлав коня, заспешил на поиски. Вскоре все селяне – кто на коне, кто пешком – кинулись в лес, обшарили его вдоль и поперек, не переставая звать. Всю ночь и на другой день продолжали поиски, считая – если на мальчика напали волки, то должны найтись хотя бы клочья одежды...

Князь очень боялся за княгиню – она так тяжело переживала эту беду, что опасались даже, как бы не наложила на себя руки. К счастью, вскорости она поняла, что понесла во чреве своем, и немного успокоилась. Родила девочку, однако потеря Хатая не прошла бесследно – она умерла от переживаний еще совсем молодой.

Джамбеч долго жил вдовцом, потом друзья и родственники стали его уговаривать, мол, ты еще в доброй мужской силе, зачем же угнетать себя, одному, тоскуя, слоняться

по дому. Ко всему нашлась засидевшаяся в девках в соседней Абадзехии дочь одного дворянина...

Вспомнилась Калакуту эта история, услышанная в гостиной князя Джамбеча, и он подумал: не замешан ли в ней Панахес, где кончик той веревочки, которая привела его в дом беслинеевского князя? На ум пришли слова одного знакомого старика: ум-разум лукав, сердцем следи за ним. Конечно, Панахес сделал доброе дело, вернув отцу сына. Но, спрашивается, ради какой выгоды сделал это, и вообще, не замешан ли он в чем-то преступном?

«Ум-разум... он такой же, как тропинка, что петляет по лесу, в горах, по степи, конца и края которой не видно,– размышлял он.– Но тропинка разве виновата, что пролегает по краю пропасти, поднимается круто в гору или устремляется вниз, ведь появилась она не сама по себе. Вот и Хатай, почему он не остался в отцовском, таком красивом, большом, полном всякого богатства доме? Ты, Калакут, как он сказал, вывел меня за ворота, в большую жизнь. Ну вот и ходи по этой большой жизни, а я, тфокотль, зачем тебе, наследнику большого княжества? В нем, выходит, еще живет дворовый мальчик, а вот когда пробудится князь, когда он станет на равных с самим Сибоком, не известно, что подскажет ему сердце, повелит ум-разум. Да что там – когда пробудится! Уже завтра будет ходить не только перед дворовыми, а и перед княгиней, перед самим главным князем эдаким молодым орлом! Не за этим ли едет? Однако... Тут вон еще какое дело. Видел, замечал, как загорались у него глазки, когда встречался случайно с княжной!»

А Хатаю казалось, что лошади не мчались крупной рысью, а лениво плелись, казалось, день выдался бесконечно длинным. Эх, дать бы коню шпоры, бросить его в галоп, чтобы ветер в ушах запел! Какие неожиданности порою преподносит жизнь... Теперь Хатай – наследник богатый. Для него даже не богатство имело самый главный смысл. Главнее всего, что он достоин быть мужем Минсуры. Хотя она ни разу не говорила ему, что он крепостной, но это разумелось само собой, создавая стену между ними. Знал Хатай, видел – он нравится ей. А как нравилась она ему! Но эта стена... И вот она рухнула, теперь он на равных пошлет к ней сватов.

– Что это, зиусхан, мы надулись, как сычи, всю дорогу молчим. Или ты никак не опомнишься, будто тебя с морской глубины вынули? – весело пробасил Калакут.

Хатай сморщился, словно от зубной боли:

– Прошу тебя, Калакут, не называй меня зиусханом, очень прошу. Я хочу остаться для тебя таким, каким был все время.

– Хорошо, больше не буду, только учти – обязательно настанет такое время, когда я буду просто обязан называть тебя зиусханом, иначе меня осудят.

– Не понимаю, почему это должно случиться?

– Ты еще многого не понимаешь, мой друг, но, как гласит поговорка, с волками жить – по-волчьи выть.

– Но люди не волки! – возмутился Хатай.

– Бывают и хуже. Волки не едят друг друга, а человек человека – за милую душу!

– Неправда это, так не бывает! – еще больше возмутился Хатай.

Калакут придержал коня, грустно улыбнулся:

– Хотелось бы поговорить об этом с тобою лет через десять-двадцать.

– Хорошо, а сейчас не надо. Прошу тебя.

Скрылось от людей за ближними горами солнце. Угасло, будто отправилось ко сну. А как только угасает оно, в вышине является людям другой мир, совсем не похожий на дневной, полный загадок и таинственности.

Едва спешились Калакут с Хатаем, не успели еще разнуздать лошадей, как с веранды белой бабочкой вспорхнула Дария, весело взвизгнув, кинулась за ворота и повисла на шее брата:

– Что вас так долго не было? Я вся тут измаялась, даже плакала. Ты забыл разве, что я одна в этом громадном и пустом доме?

Калакут погладил ее, приобнял за плечи:

– Почему одна? Мы же договаривались: соседская девочка будет приходить к тебе ночевать.

– Приходила один только раз. Она трусиха больше меня. Вдвоем нам почему-то было еще страшнее.

– В следующий раз,– заулыбался Калакут,– найду тебе смелого мальчишку с кинжалом.

– Послушай, Хатай, что он, бессовестный, говорит своей сестренке?! – полушутя-полусерьезно возмутилась Дария.

Все трое весело рассмеялись.

– Пойдемте, я покормлю вас, небось голодные.

– Хорошо. Пока мы будем есть твой вкусный четлибж, ты нам выкладывай все новости.

– Какие у меня новости – ни разу из дома не выходила. Тем более что платок ношу, а не шапку... Правда, вчера ко мне наведалась Минсура и сказала, что состоялось хасэ.

– Что?! – Калакут от неожиданности даже выронил на тарелку кусок мяса, резко поднявшись, зашагал по комнате. Наконец остановился около Хатая, поглядел на него сверху вниз.– Скажи мне, почему Сибок решил проводить хасэ без нас?! Мы стараемся, ездим, рассказываем повсюду о его добрых делах, а ему, оказывается, нет до нас никакого дела! Видно, вправду говорят – у костра греется не тот, кто его разводит.

– А ты не слыхала, Дария, как прошло хасэ?

– Минсура говорила – прошло, как хотел ее отец.

– Ладно, не будем сердиться, раз уж оно прошло хорошо,– успокоился Калакут, вернувшись к анэ.– Главное, у чахоточного Тахо с его прихвостнями ничего не получилось.

– Эту сметану и сыр принесла Минсура. Ешьте на здоровье.

Хатай чуть покраснел, сдерживая волнение, негромко сказал:

– Спасибо ей... А она знала, что мы приедем?

– Потому и принесла,– понимающе улыбнулась Дария.

– Ешь, ешь, Хатай! У тебя сметана должна быть вкуснее,– весело рассмеялся Калакут.– Да не красней ты, не красней. Теперь все наладится, пойдет как по маслу!

– О чем это вы? – не поняв сказанного братом, спросила Дария.

– Это наше мужское дело,– ответил Калакут.

– Понятно. У мужчин только и разговоров, что...

Калакут метнул взгляд в сестру: мол, это уже неприлично для девочки.

– Ты говорил,– обратился Хатай,– после ужина сходим к князю, расскажем о своей поездке?

– Обязательно расскажем,– ответил Калакут,– но он куда-то уехал и еще не вернулся, об этом мне Бжамит сказал. Пойдем-ка почистим, обласкаем, приведем в порядок лошадей. Тебе следует чаще бывать со своим конем, чтобы привыкнуть, хорошо понимать друг друга.

– Спасибо за совет. Послушай, что это за дыра в крыше, надо починить, не дожидаясь зимы.

– Уже поздновато. Давай лучше завтра, с утра и начнем.

– Ты как хочешь, а я начну сейчас таскать камыш в речку, чтобы он размок к завтрашнему дню.

Калакут, взвалив на плечо несколько снопов, зашагал тропинкой, мысленно улыбаясь: «Ну и парень, прямо огонь, такого бы иметь работника. Скажи людям, что мою конюшню помогал перекрывать князь, ни за что не поверят».

Хатай и в самом деле был горяч в работе, но тут было еще одно обстоятельство: он знал, что княжна вечером выходит с подружками прогуляться – вот тут и увидит ее, поздоровается, может, удастся обмолвиться словечком...

Только не вышла она.

Утром они с Калакутом убрали с крыши истлевший камыш, тщательно почистили конюшню, а к обеду успели даже обновить часть кровли.

«Ну и парень, ну и князь! Это за что же мне такое везение?»

Калакуту сообщили, что его хочет видеть Псамит.

– Ого! Вон где ты! Значит, гостей своих будешь встречать на крыше, как ворон?

Спрыгнул Калакут, земля вздрогнула под его ногами.

Псамит сказал:

– Верно говорят: на кого надеешься, с тем и не ладишь.

– Чем я обидел тебя? – удивился Калакут.

– Я твой старый друг, а юный, совсем еще юный – уже ближе к тебе, с ним, а не со мною ты перекрываешь конюшню.

– Конечно, он ближе: ты в своем доме живешь, на отшибе, а он теперь под одной крышей со мной.

– Из-за чего ты не поладил с зиусханом?

– О чем ты? Если имеешь в виду Хатая, то Сибок подарил ему лучшего из своих коней, с полной боевой выкладкой и дал вольную. А сейчас, мой друг Псамит, я

сообщу тебе такое, что от удивления раскроешь рот: дворовый Хатай стал зиусханом!

– Отчего же раскрывать рот, такого просто быть не может, это твоя выдумка.

– Калакут сказал правду, Псамит,– отозвался сверху Хатай.– Он меня взял с собою в поездку, благодаря чему я нашел родную семью. Оказалось, в селе Джамбечий княжит мой отец. Это в Беслинее. И у меня есть сестра.

– Не знаю, не бывал я там. Это Калакут решил объехать весь белый свет, а мне и здесь, в своем доме над речечкой, хорошо. Если все так, поздравляю тебя, Хатай, поздравляю! Дай тебе Аллах счастливой жизни в родной семье, радости.

Теперь втроем они дружно принялись за работу. Но вскоре опять у ворот послышался топот копыт. К себе во двор въехал Сибок.

– Пусть он немного отдохнет с дороги,– сказал Калакут.– Мы с Псамитом продолжим работу, а ты, Хатай, иди приоденься в свою темно-синюю черкеску с белыми газырями, красные сапожки и серую папаху.

– Ну, просто красавец, настоящий молодой зиусхан! – воскликнул Калакут, увидев на веранде переодетого Хатая.

У дверей гостиной Сибока он задержался, чтобы пропустить Калакута, но тот отступил в сторону и вошел вторым. Им навстречу приподнялся в приветствии князь:

– С возвращением, Калакут. Как твоя первая поездка, Хатай, доволен ею? Думаю, поездить с таким бывалым и мудрым человеком все равно что золотой в карман положить. Выглядишь ты прямо-таки как настоящий молодой зиусхан.

– Он и есть такой,– Калакут подтвердил в Хатае князя.

– Конечно,– согласился Сибок, но тут же спохватился.– Как это – зиусхан, разве можно шутить этим?

– А я и не шучу. Ты знаешь беслинеевского зиусхана Джамбеча?

– Кто ж его не знает!

– Мы неделю у него пировали в честь того, что нашелся его сын Хатай. Джамбеч был так рад, невозможно даже передать.

Встал Сибок, удивленно поднял глаза:

– В таком случае почему ты не остался в родном доме? Ведь здесь у тебя нет ничего.

– Зиусхан,– застенчиво произнес Хатай,– родной дом не всегда тот, в котором ты родился... Отец обязательно приедет возблагодарить тебя, что ты вырастил меня, воспитал. Он желает тебе удачи и радости, надеется, что вы с ним станете друзьями.

– Спасибо,– ответил Сибок поклоном на поклон Хатая.– Помоги Аллах, чтобы добрые пожелания твоего отца Джамбеча разносили по белу свету ангелы на своих быстрых и чистых крыльях. Пусть живет он долго и счастливо, никому не завидуя, и чтобы у него не было черных завистников... А если ты породнился душою с нами, будет у тебя и дом, и все, что необходимо. Об этом мы еще поговорим.

Выходя из гостиной, Хатай увидел стоявшую у порога Минсуру и нерешительно приподнял в приветствии руку. Она хотела тоже подать знак приветствия, но в дверях показались ее отец с Калакутом, и Минсура, опустив голову, заспешила в дом.

Остаток дня и весь вечер показались Хатаю бесконечно долгими, нудными и бессмысленными. Сколько он помнил себя, когда с мальчишками и девчонками играл в разные игры на лугу или ходил в ближний лесок за ягодами, все было обычно и просто, как восход и заход солнца, а сейчас... Когда и почему началось все это, понять и объяснить не мог.

Однажды во время игры он нечаянно коснулся локтем ее груди, Минсура вздрогнула и покраснела. И он ощутил какую-то неловкость, но почему-то очень приятную. Повзрослев, Минсура стала стесняться оставаться с ним наедине, даже во дворе или на улице среди бела дня. Потом, сами того не замечая, они стали искать этих встреч и очень скучали, если долго не виделись. Только не нравились эти встречи ее отцу и матери, они строго поглядывали на дочь, если молодые оказывались рядом.

Дария все расспрашивала и расспрашивала Хатая, как он встретился с отцом и сестрой – ей это так интересно, что будет делать, став настоящим князем, не захочет ли построить себе дом, какие бывают в сказках? А если

построит, кто в нем будет жить с ним, наверное, какая-нибудь первая красавица?

– Да, только первая, и только в сказочном доме,– шутливо отвечал он.

Все размышлял и размышлял Хатай и заснул лишь под утро. Калакут не стал его будить, отправился сам в конюшню к лошадям и вдруг услышал из-за плетня окрик княгини Загиреты:

– Ты куда пошла, Минсура? Я же сказала – пусть кувшин Калакуту отнесет Камбулат, а ты не смей туда ходить, иначе отец тебя накажет!

– А что тут плохого,– возражала Минсура,– если сама отдам кувшин Дарие. Да вот и сама она. Возьми, Дария, кувшин!

«Вон, оказывается, какие дела,– подумал Калакут.– Росли мальчишка и девчонка в одной семье, дружили по-семейному, теперь видишь, как все обернулось. Конечно, не допускали мысли отдать княжну замуж за своего крепостного, сколько позору было бы князю Сибоку. Однако теперь Хатай – князь, наследник большого богатства, да и сам собою красавец-мужчина».

«В двух сердцах, выходит, возгорелся святой огонь. И если князь с княгиней станут поперек, то сгорят две молодые, чистые души. Да и самого князя с княгиней не помилует этот огонь...»

XI

Человеческое сердце только с виду кажется небольшим, на деле же в нем умещается все сущее в подлунном мире – любовь и ненависть, слезы восторга и печали, честолюбие, возвышающее к подножию тронов, посылающее служить в чужие края, как князя Сибока с его сыном в Москву. Как заставило Темрюка отдать в жены своих дочерей в чужую даль? Порою человеческому сердцу становится тесно даже во всем мире. Оно ищет свободы, а обретает узы.

В середине XV века, после распада Золотой Орды, при впадении Волги в Каспийское море образовалось Астраханское ханство. Главой этого государства считался хан, однако на деле вся власть принадлежала крупным

феодалам. Каждый из них жил по своим собственным законам, по своей воле и произволу. Разумеется, такое государство не могло быть могучим, оно постоянно находилось под чьим-либо влиянием. Ногайская Орда, расположенная рядом, преследовала свои интересы, а Крымское ханство – свои. Не оставалась в бездействии и Россия. Она оттеснила Астраханское ханство, удалив с престола близкого крымскому хану Мугурчея и поставив угодного ей Дервиш-Алия. Но и этот правитель не оправдал надежды, начал сближаться с Крымом. И тогда в 1556 году, потеряв терпение, Россия присоединила Астраханское ханство к своей территории, передав во владение Касимовское ханство на Оке, что вблизи от Москвы, послушному князю Бекбулату...

Доманук и Мамстрюк в сопровождении семи байколов двинулись по благодатной земле адыгов в сторону Астраханского ханства. В дороге, которая измеряется многими днями, всадники едут привольно, стараясь не переутомить лошадей, да и свои силы разумно распределить, чтобы поездка не оказалась суетной, доставляла глазу и сердцу радость.

Остались позади горы, как бы растворившись в небе, сделавшись его частью. Все дальше дубовые рощи, луга, покрытые высокими сочными травами. Каждое утро перед всадниками появлялись все новые и новые картины.

Доманук уже в третий раз следовал этой дорогой. Первый, как и полагается, вместе со своими байколами и татарскими сватами в свадебной поездке провожал сестру, второй раз ездил просто навестить новых родственников, узнать, чем живут и дышат они, а теперь вот – третий.

Мамстрюк ехал впервые, и ему все было внове, прежде не виданное.

– Доманук, когда у нас едешь, то горы, море или еще какая красота, а здесь, куда ни посмотришь – всюду пусто, и небо пустое, ни облачка, ни птички. И сколько вперед ни смотри, как ни поднимайся в седле, тоже ничего не увидишь. Когда первый раз я поднялся на голый курган, подумалось, увижу море... Оно, конечно, похоже на море, только с застывшими волнами. Опять же – пустота, не провалиться бы в ней.

– Не волнуйся,– откликнулся Доманук,– если провалишься, тут же назад выберешься. Ты знаешь, что такое ад и рай?

– Мулла несколько раз как-то толковал мне, но... Я говорю ему: если это кусок жареного мяса, дай мне откусить, попробовать дай, тогда я поверю. Но он обозвал меня великим грешником, грозился даже.

– Бывал я на Руси, в Турции, в Крыму, и в Астрахани и скажу тебе: нет на свете земли, равной нашей. Ее и считаю земным раем. А здесь что – голые до срамоты места, настоящий ад, в котором все страдают: и этот колючий куст лоха, и вон та ящерица, и горькая полынь, и одинокий, тоскующий в небе орел. Хотя все они этого и не понимают, потому что лучшего не видели. Так же и мы у себя дома – не знаем, что живем в раю, нам он привычен, как здесь это пекло. А мы все чего-то ищем, отдаем на чужбину своих девочек и мальчиков, тоскуем по ним, заискиваем перед татарскими ханами и урусским царем, предаем друг друга.

Всадники двигались вдоль холмов по неглубокой впадине. Справа и слева росла высокая, с горьким запахом полынь, а поверху серебристыми волнами плескались на ветру ковыли.

К вечеру с востока потянул ветер, пропахший горячим, будто раскаленным на громаднейшей сковородке песком. А там, вдали, за желтеющим маревом, уходило белесое небо, сливаясь с песчаным морем.

– Слыхал, эту песчаную бурю называют астраханцем. Давайте быстренько вон под тот бугорок, он хоть немного нас прикроет,– скомандовал Доманук.– Лошадей ставьте головами внутрь круга. Скорее доставайте бурки и башлыки, надо укутаться, чтоб не задохнуться. Сейчас начнется такое...

И в самом деле, мгновенно землю накрыла мгла, шквалом набросился ветер, угрожающе загудел в вышине. Путники в страхе прилегли у подножия кургана. Лишь старому кусту тамариска, росшему на склоне холма, все было нипочем. Он, словно подразнивая ветер, то припадал ветвями к земле, то вновь выпрямлялся, высвистывая шальную мелодию. Ветер рвал и метал, словно тысяча шайтанов, спустившись на землю, устроили бешеный пир.

Казалось, уснуть под неистовый гул и вой ветра было немыслимо, но путники выбрались утром из образовавшихся песчаных берлог в бодром настроении.

– Послушай, Доманук, в какой страшный ад мы попали.– Мамстрюк замолчал, думая о пережитом.– Сказал бы, даже страшнее ада.

– Слыхал я от муллы: в аду огромные котлы кипят, в них грешники от мук скулят...

– Край этот чем-то похож на наш адыгский ад. Не слыхал сказ, как погибли в нем адыги? – улыбнулся Доманук.– Тогда послушай. Значит, бросают в кипящие котлы грешников. Дошла очередь до адыгов. Им говорят: кто сумеет выбраться живым, тому прощаются все грехи. И что же произошло? Никто не сумел выбраться из котла, остаться живым. Если кому-то удавалось высунуть голову из кипящей воды, его другие тут же тянули вниз. Так и погибли все в кипятке... Ты посмотри, а эта пустыня, как тебе кажется, не так уж безжизненна. Кто это выглядывает из песка?

– Ящерица!

– Если приглядеться, еще и змею увидишь, жуков каких-нибудь... Чего ты замолчал, Мамстрюк, все о сказе думаешь?

– Поневоле задумаешься. Если все мы, все наши племена будем по-прежнему жить, то и с нами может произойти, как в том самом аду, о котором ты рассказал, перегрызем друг с другом...

Неподалеку от кургана, у которого спутники заночевали, оказалось небольшое озеро, заросшее шумливым камышом. На его отмели важно прогуливались белые цапли. Люди, видно, здесь так редко бывали, что птицы не боялись их.

Отпустив лошадей на прибрежный лужок, встали у своих ковриков, повернувшись лицом на юг, совершили намаз.

– А теперь всем отдыхать,– сказал Доманук.– Ночью нам предстоит дорога, которую мы должны вовремя пройти и предстать перед родственниками в наилучшем виде, быть радостью для них.

Ночь после дневного зноя выдалась прохладной, с легким освежающим дуновением. В небе сияла большая,

немного застенчивая луна, казавшаяся по-домашнему красивой. В прошлый приезд в день прощания были устроены пышные торжества. Съехалось все Астраханское ханство со всех дальних его селений. И все подарки, подарки – золотые заграничные изделия. Жемчуга, бриллианты. А меха! Откуда их только ни привозили! Говорили – из самой дальней Сибири! А игрища какие, скачки на лошадях и верблюдах. И все для гостей, сидевших на возвышениях.

Доманук, наклонившись к сестре, спросил:

– Ты счастлива?

– О да! – ответила она, склонив голову. Он увидел, как из ее глаз покатились слезы...

Вспомнилось это ему, и так тоскливо сделалось на душе, что он дал коню шпоры, потом, подъехав к брату, спросил:

– Брат мой, ты не уснул в седле?

– Нет, Доманук, я задумался.

– Раз задумался, значит, озабочен делами.

– Да, мой брат, но моим думам нет конца.

– Что поделаешь, без них жизнь невозможна.

Всадники поднялись степной тропою на крутой холм и увидели перед собой широкую равнину, которой, казалось, нет конца, как не бывает его у моря.

Вдалеке сквозь марево замаячили юрты, в стороне от которых паслись стадо верблюдов и табун лошадей, а над всем пространством – серое и плоское, как степь, небо. В дальнем конце его сквозь серую мглу неярко сияло солнце.

Доманук остановил коня, поднялся на стременах:

– О Боже, и это Твой возлюбленный мир, с Твоими возлюбленными детьми! Прими же и нас с миром. Ну, тронулись, не будем терять времени. Татары говорят, по красоте с их степями не могут сравниться ни море, ни горы. Должно быть, все созданное Аллахом премудро и прекрасно, надо лишь уметь видеть и сердцем его чувствовать. А еще – вон за тою далью у них есть великая река – Итиль, а урусы называют ее Волга. Слыхал, по ней можно на кораблях хоть в Московию плыть, хоть и в саму Сибирь.

Уже хорошо протоптанной степною тропой адыги выехали на дорогу, ведущую к Астрахани. Недалеко от

города их встретили татарские всадники, ожидавшие гостей.

Первым к ним подскакал внук князя Темрюка Саид-Булат. Среди многочисленных, роскошно одетых всадников он выделялся и шитым серебром и золотом одеянием, и дорогой сбруей коня, и статью молодого воина. Не соблюдая положенные условности, он ловко спрыгнул с коня, на хорошем адыгском языке обратился к приехавшим всадникам:

– С приездом вас, братья моей матери! Будьте гостями нашего славного ханства!

Прибывшие и встречающие спешились, приветственно раскланиваясь друг перед другом. Саид-Булат, словно забыв, что он ханский сын, не обращая внимания на старших татарских всадников, сначала поклонился, затем обнялся с Домануком и Мамстрюком, поклонился всем байколам. Он велел своим слугам ехать впереди, а сам пристроился справа от Доманука, оставив Мамстрюку место слева. И торжественная кавалькада направилась к городу. После кратких обоюдных расспросов – как там дома, все ли живы-здоровы, все ли благополучно, Мамстрюк обратился к племяннику:

– Кто научил тебя адыгским обычаям?

– Разве ты забыл, дядя, что моя мать – твоя сестра? Она говорила: в человеке, в его сердце от отца с матерью, от его земли рождается такое, что уходит от него только вместе с жизнью. Я же, как видите, жив. Ты помнишь, Мамстрюк, когда, приезжая к вам, я делал что-нибудь не так, ты давал мне подзатыльники? Знал бы, как потом они пригодились мне, до сих пор вспоминаю о них с благодарностью.

– Тебе не кажется, Саид-Булат, что твоя мать учит татар слишком многому адыгскому, не вызовет это гнев у твоего отца? – поинтересовался Доманук.

Саид-Булат придержал коня, повернувшись к Домануку, мягко улыбнулся:

– Дочь зиусхана Темрюка достаточно мудра, чтобы вызывать в сердце своего повелителя гнев вместо чувства благородства, которого достоин истинный муж.

Просторный, как сама степь, ханский двор был праздничнo многолюден. По обеим сторонам широкого прохода

к дворцу, приветствуя гостей, пели и плясали нарядно одетые парни и девушки. На полпути их встретил младший брат хана Бекбулата с кувшинами айрана и хрустальными стаканами. Приветствуя, он преподнес им хлеб-соль и пригласил в ханский дворец.

Хан Бекбулат, зять Темрюка, оказался человеком улыбчивым и веселым. Поднявшись с мягкой широкой тахты, он легкой походкой пошел навстречу родственникам, тепло поприветствовав, усадил их, а сам с Саид-Булатом уселся напротив.

– После недолгой мужской беседы к нам пригласят и вашу сестру,– пояснил он гостям.

Саид-Булат, нагнувшись к отцу, что-то прошептал ему. Выслушав, хан с улыбкой произнес:

– Мой сын из-за своей матери готов воевать со мной.– Пожалуйста, обратился он к младшему брату, пригласи сестру наших гостей.

Доманук понял, что произошло между сыном и отцом, поднял руку, прося у хана внимания. Бекбулат согласно кивнул головой в шапке из дорогого меха.

– Саид-Булат, племянник мой дорогой, ничего не делай вопреки обычаям. Придет время – и мы обязательно повидаемся с твоей дорогой матерью, нашей любимой сестрой. Ведь мы мужчины и окажем ей большую честь, если сами пожалуем к ней.

Очень это понравилось хану, наклонившись к сыну, он что-то сказал ему, и они улыбнулись друг другу, благодарно улыбнулись гостям.

Между хозяевами и гостями завязалась неспешная беседа. Князь Доманук поделился, что адыги довольны теперешними отношениями с астраханскими татарами, гордятся, что дружат с такой сильной державой. Бекбулат, чуть улыбнувшись искрящимися глазами, покачал головой:

– Держава, держава... Вот у Чингисхана, Батыйхана действительно были державы. Они держали в своем повиновении половину мира, а может, и больше. Потом же все рассыпалось, и наше ханство, можно сказать, всего лишь осколок канувшего в прошлое величия.

– Прости, хан, что перебиваю, но, будь моя воля, запретил бы тебе говорить о своем государстве как об осколке.

– Оттого, зиусхан, что ты запретишь, осколок не станет глыбой,– весело рассмеялся хан.– Еще недавно мы были хоть и небольшим, но самостоятельным государством, а теперь вот зависим от Руси. Сейчас много говорят о вас – и в нашем ханстве, и в Крыму, и в Турции, даже в Персии... Получилась какая-то странность: просторы богатейшей и самой красивой земли от Каспия до Азова, от Эльбруса до наших степей оказались вроде ничейными, как бы брошенными. Где-то в горных долинах – по берегам речек и рек, на плодородных полях и тучных лугах правят по своему усмотрению ваши племена. Нет на этой земле, как ты говоришь, державы, потому и устремляются туда за добычей все кому не лень... Вам нужен правитель умный, сильный и беспощадный, способный подчинить всех, без чего нельзя обрести единство и возвыситься над миром.

– Есть такой,– в нерешительности произнес Мамстрюк.– Калакут по имени.

– Слышал, слышал. Недавно у меня гость был из Крыма,– сообщил хан.– Говорил – могучий человек, чистой, открытой простоты.

– Вот именно – простоты, простоватый он,– усмехнулся Мамстрюк.– Тфокотль он и есть тфокотль.

– Как знать, зиусхан, как знать! – засомневался хан и, нахмурившись, продолжил: – Тфокотль, конечно, не родовитый князь, но ведь великий Чингисхан так тот и вовсе пленником был, в кандалах ходил, а потом мир к своим ногам положил. Однако, дорогие гости, вы с дальней дороги, а я вас разговорами тешу. Не обижайтесь, это от радости свидания с вами. Думаю, вы сейчас пойдете к сестре вашей, она, бедняжка, уже заждалась. А там подоспеет время намаза и обеда. Потом и обсудим наши дела. Прошу,– обратился хан к младшему брату и сыну,– будьте внимательны и предупредительны к нашим гостям, не давайте им скучать... Саид-Булат, какой мудрой адыгской пословице тебя научила мать, скажи!

Улыбнулся Саид-Булат:

– С родственниками по женской линии надо обращаться, как с сырыми куриными яйцами.

Все рассмеялись добродушно.

Алтынчач прожила среди астраханских татар больше восемнадцати лет. Приехала сюда, не зная ни языка, ни обычаев, ни простой каждодневной жизни этих людей.

Страшно ей было ехать сюда?

«Мать сказала: быть женой хана – это твоя судьба, а судьбу не надо бояться, надо верить ей, как веришь наступающему утру, грядущему вечеру. Надо учиться понимать ее. А еще, доченька, я тебе не раз говорила, но повторю еще: главная сила женщины, жены, матери – в ее доброте. Быть доброй в нашей грешной жизни очень трудно, но это, как говорила моя бабушка, единственная дорога к счастью, к покою души».

Высокая ростом, светлолицая и светлоглазая, с большими вразлет черными бровями, с тихим застенчивым взглядом Алтынчач стала украшением ханского двора. Украшением и семейным покоем.

С удивительной легкостью она освоила их язык, освоилась с непростыми обычаями древнего народа, сдружилась с придворными. И частенько к ней обращались за советом как к человеку очень значительному, очень знающему. О ней так говорили:

– Дети, рожденные ею, становятся достойными людьми, одежды, пошитые ею, никогда не распорются.

Братья с сестрой и племянником после обеда все говорили и говорили: и о прошлом, и о нынешнем, о здешних делах хана. Коснулись и Крыма с Россией.

– Я радуюсь, Доманук,– поделилась Алтынчач,– что кумыкский шамхал наконец оставил нас в покое. За это поблагодарите Бекбулата. Сколько сил он приложил, чтобы унять кумыка... Но что будет с вами из-за нашего отъезда в Касимовское ханство, переданное нам царем Иваном? Думаю, Кайтукины в отместку напустят на вас крымского хана. Впрочем, с благословения Аллаха одолеем и эту беду. Передайте отцу, что у нас одобряют его стремление сблизиться с Русью, его поездку в Московию. Когда мы станем жить там, вблизи ее, у нас будет больше возможности помогать вам советами. Только, дорогие братья, не думайте, будто у нас тишь да благодать. Как мелкие князья у вас, так и здесь крошечные ханы постоянно враждуют между собой. Это, должно быть, наша общая беда, но как от нее избавиться?.. Я часто думаю: народу, который мечтает иметь свою большую страну, хочет жить спокойно и достойно, необходимы такие предводители, как Чингисхан, Батый, как царь Иван.

Мамстрюк усмехнулся:

– Есть у нас один богатырь... тфокотль Калакут. Ему только дай власть, он...

Алтынчач вскинула в удивлении брови:

– Мы с тобой, Мамстрюк, кажется, стоим на разных берегах нашей большой и бурной реки Терек.

Мамстрюк вопросительно взглянул на сестру, но возражать не стал.

– Вот мы с ханом Бекбулатом думаем,– продолжила Алтынчач,– что у Калакута большое сердце адыга, которое он готов отдать своему народу, а это – самое главное.

– Слышал, брат?! – весело воскликнул Доманук.

– Слышал, да быстро забыл! – с усмешкой ответил Мамстрюк.– А скажите, в этом ханстве ночами спят? Пора бы отдохнуть с дороги...

Вместо трех адыги пробыли в гостях семь дней. Много впечатлений осталось у них от этой поездки. Посетили интересные места ханства. Побывали на реке Волге-Итиле и на берегу Каспийского моря. Приняли участие в охоте на быстроногих сайгаков. Показали им скачки на верблюдах и состязание лучников. А угощениям, пиршеству не было конца. Все было на столах в изобилии: и разная рыба, и конина, и айран, и кумыс. А однажды чуть было не женили холостого Мамстрюка на татарской красавице.

Но больше всего удивил он всех под конец, когда в честь гостей были устроены праздничные состязания. Мамстрюк неожиданно вышел в круг и в поединке победил ханского борца-пелвана, да так ловко уложил его на траву, что тот поначалу не мог толком понять, как это произошло. Об этой победе долго судили да рассуждали всадники, возвращаясь домой.

Черкесы – один из храбрейших на всем земном шаре народов.

Ф. Каниту

Храбрость у черкесов первая добродетель. У них воспитание направлено к тому, чтобы внушить величайшую храбрость, воздержанность, повиновение родителям и почтение к старикам.

Р. Скасси

Черкесия является школой для татар, из которых каждый мужчина, который не обучался военному делу или хорошим манерам, считается «тентеком» – ничтожным человеком. Сыновья крымских ханов отсылаются к черкесам на воспитание и обучение. Черкесы могут быть названы французами в отношении татар.

Д. Кантемир

Знаменитый и грозный хан Золотой Орды Узбек в молодости в течение тринадцати лет воспитывался в Черкесии и говорил по-адыгски.

Р. Трахо

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Не просто, очень не просто разобраться во взаимоотношениях Турции и Крыма. Два предводителя, султан Сулейман и хан Давлет-Гирей, встречаются, как говорится, с дружескими объятиями, улыбаясь друг другу, а что на сердце у каждого, стараются скрыть. Не только говорить о том, даже думать боятся. И причиной тому вовсе не какие-то счеты между их государствами. Беспокоит другое – как будет строить каждый из них свои отношения с адыгами.

После того как турки покорили восточную Византию, их вожделенные взгляды были обращены на причерноморских адыгов, на их благодатные земли. Но как найти повод, чтобы прибрать эти земли к рукам, подчинить своей власти свободолюбивый народ... Впрочем, церемониться турки не привыкли. Однако было препятствие, не считаться с которым они не могли,– Крымское ханство. Оно ближе к адыгам и по территории, и по вере, да и укладу жизни, что и усиливало влияние их по сравнению с турками.

В своих отношениях с соседями крымские татары, как и турки, руководствовались корыстными интересами. Вооруженные нападения, грабежи, разорение – бесконечные беды приносило адыгам Крымское ханство. И произошло то, чего опасалась Турция,– в поисках союзника адыги повернулись лицом к России. Первыми в Москву отправились беслинеи и абазины, годом позже – жанеи, а в наступившем – терские кабардинские адыги, возглавляемые князем Темрюком.

Сближавшая адыгов и русских беда исходила от Крымского ханства. Но было оно уже не столь могучим, как раньше. Близкими ему Казанским, Астраханским и Ногайским ханствами владела теперь Россия. Верной дружбе по-прежнему оставалась лишь Турция. Однако

Давлет-Гирея все чаще тревожила мысль, что и она, храня глубоко в тайне, стремится постепенно отойти от него. Кому он мог полностью довериться, так это самому любимому из сыновей Адыль-Гирею. В один из беспокойных дней они сидели вдвоем, а в самом деле, как подумал хан,– втроем: с вчерашним, сегодняшним и завтрашним.

День выдался солнечным, с тихим прохладным ветерком, а на душе у Давлет-Гирея не было покоя.

– Послушай, сын мой, послушай, первый наследник нашего древнего рода, наследник завтрашнего и всего будущего! Тебе не кажется, что наше единство всадников начало рассыпаться? – почему-то весело спросил хан, усевшись в кресло напротив сына.

– Верь, посланник Аллаха, оставшимся трем.

– Каким трем?! – удивился хан.

– Казань, Астрахань, Ногай.

– Как?! – еще больше удивился хан.

– Мы были все вместе, теперь их покорила Русь, они стали, как говорит царь Иван, ее холопами, недругами ее, а все недруги их – наши друзья.

«Вон ты какой, наследник! – подумал Давлет-Гирей, отведя в сторону взгляд.– Молодец, но с отцом мог бы и поскромнее быть, не выставлять себя. А в общем – молодец!» – Подумал и не без затаенного лукавства спросил:

– Ты веришь, сын мой, что я посланник Аллаха?

– Если бы ты не был посланником Аллаха, разве стали бы все подданные поголовно называть тебя так?

Помолчав, хан, прищурившись, сказал:

– Хотя ты прямо и не ответил на мой вопрос, мне приятно, что далеко смотришь. Теперь о подданных, которые называют меня посланником Аллаха, боготворят... Сын мой, наше, как и всякое другое ханство, держится на их преданности правителю, на их силе и даже на их уме, однако – это же стадо, а лучшее стадо всегда у лучшего пастуха,– сказал хан и многозначительно улыбнулся.

– Я понял тебя, отец, понял, посланник Аллаха.

– Теперь о всадниках. К тем трем ты мог бы прибавить еще кого-нибудь?

– Конечно, надо бы назвать и нашего единоверца султана Сулеймана, польского короля Сигизмунда, но, как опять же я учусь у тебя, мы можем подавать им наде-

жду, а по-настоящему верить только самим себе, только себе и никому больше.

– Спасибо, сын мой, ведь недаром говорят: не все рожденные одной матерью становятся братьями. Еще вот о чем хочу сказать: нельзя скрыть того, что лежит на дворе, а мир людей – это, в конце концов, двор, в нем нет ничего тайного, что не становилось бы явным. Сулейман приветно улыбается нам с тобою, называет себя верным союзником, а за нашей спиной перешептывается с царем урусов.

– Но это же предательство! – воскликнул Адыль-Гирей. Его небольшие желтые глаза зло округлились.

– Да! – не сдержался и хан.– Сулейман съякшался с царем урусов и хочет одурачить не только нас, но и адыгов. Бедные, бедные черкесы, сами лезут в смертельную петлю, а ведь какой красивый, какой свободолюбивый народ. Мудрый и мужественный. Его вековая мудрость вошла и к туркам, и к нам через аталычество, через красавиц, рожавших и воспитывавших нам славных мужчин. Да взять хотя бы черкесских мамлюков, державших более трехсот лет в своих крепких руках власть в Египте, на Ближнем Востоке.

– Если черкесы такой свободолюбивый, такой гордый народ, зачем же они сами надевают на свою шею гяурскую петлю? Мы должны поделиться с ними нашей многовековой мудростью, помочь им стать с нами рядом, должны!..

– Да, сын мой, чтобы решить это, найти верный выход из трудного, такого запутанного для нас положения, мы сейчас и сидим с тобой. Ты и я, третьего здесь нет и не должно быть.

– Ты прав, отец! – с добрым сыновним чувством ответил Адыль-Гирей.

– Всякое дело – это палка о двух концах. Один конец – в наших руках, другой – у нашего противника, которым он может причинить нам боль, наказать может, но если мы с тобой мужчины, если в наших руках держава, должны уметь стерпеть и боль, и обиду, чтобы потом достойно ответить своим концом. Да так ответить, чтобы противник потом никогда не смог этого забыть, избавиться от нашей воли.

– Да, отец, да, посланник Аллаха! Мы стерпим, с достоинством стерпим оскорбление Сулеймана, но настанет наш час, и он увидит, как говорят черкесы, что и мы не носом воду пьем! Что честь и сила на нашей стороне.

Хан закрыл глаза, ощутив всем своим существом ласковую теплоту солнца, глядевшего с небесной высоты, услышал, как забилось его сердце – умиротворенно, с тихой несказанной радостью.

«О мой Аллах, которого просят все, а сам Он не просит никого! Повели Твоей неисповедимой силой, чтобы смертоносные стрелы и удары булатных ятаганов обходили стороной сына моего Адыль-Гирея, не только охраняли его жизнь, но и поражали врагов наших, Твоих врагов, о Аллах... Я люблю, Ты это видишь и знаешь, всех своих детей, рожденных от меня женами, но Адыль-Гирей – это не только надежда Крымского ханства, но и всех правоверных мусульман. Дай ему силу, дай ему мудрость во имя Твое... И еще прошу: Ты знаешь, черкесы – добрый правоверный народ, но они из-за своей гордыни не умеют жить по-братски, в мире. Смягчи их сердца, поверни их к нам, к своим добрым покровителям. Дай силы и королю Сигизмунду, которого Ты выбрал нам в союзники, помоги опомниться отошедшим от нас соплеменникам, вразуми их своею мудростью».

Адыль-Гирей благоговейно смотрел на молящегося отца и просил Аллаха милости к нему.

– Спасибо, сын. Думаю, мы с тобою так горячо и сердечно обращались в своих молитвах к Аллаху, что он непременно услышал нас и своей великой волей поможет нам. Ты знаешь, урусы хотят разделить богатейшие земли черкесов от Каспия до Азова на три части. Одну забрать себе, другую уступить Турции, а третью – нам. Да-да, Адыль-Гирей, сейчас с трех сторон ведутся тайные переговоры.

– Как и с нами, отец?!

– Да. И с нами тоже. Уж очень велик и заманчив этот благословенный Аллахом край.

– Но разве бывает так, чтобы трое делили между собой такую богатую добычу и не перессорились?!

– Вот именно, не бывает! Но ты, наверно, догадываешься, как мы будем себя вести с ними! Будем ладить с теми и с другими, возрастая между ними своею силой. Мы создадим такую армию, которая была в добрые старые

времена. Турция, конечно, будет на нашей стороне. О, благословенная старина Чингисхана, Батыя!..

– А что станет с черкесами?

– А что с ними будет в нашем могучем союзе с Турцией? Я не позволю разным Пшиапшокам, Темрюкам, Машукам, Сибокам и Калакутам своевольничать. Однако среди них есть и такие, как наш мужественный Мамий! – встал и неторопливо, но твердым хозяйским шагом прошелся по комнате хан.

– Ты прав, отец! Если бы все наши воины были такими, как Мамий, мы уже давно сожгли бы Московию! – поднялся в нетерпении и Адыль-Гирей.

– Всему свое время, но, сын мой, хочу тебе напомнить: сегодня здесь разговаривали только двое! Третьего нет и быть не может! Все это должно остаться нашей тайной.

– Конечно, посланник Аллаха, я просто подумал: что-то долго из Жанеи не возвращается Мамий.

– Видимо, очень скрытно ведет себя Татар-Мурза, вот он и ищет его. А я жду и не дождусь, когда Мамий положит к моим ногам голову этого мерзкого человека...

Спустя неделю после этого разговора из Крыма ушли несколько тайных групп и растворились среди адыгов. Одна из них осталась у жанеев, натухаев и бжедугов, вторая – среди абадзехов, махошей, беслинеев и абазин, а третья направилась к кабардинским адыгам. Все три группы выступали в роли мирных посланников, которым можно было верить...

Мамий вместо головы Татар-Мурзы, которую ждал Давлет-Гирей, привез голову его младшего сына.

II

Князь Сибок сидел у окна. В его большой, отяжелевшей за день голове роились мысли. Не тревожные, не печальные, не озорные – просто мысли.

«День катится к вечеру, вечер – к ночи, ночь – к утру, а утро – к полудню. Разве день думает, зачем он – день? Он просто – день, а ночь – ночь, дождь – дождь. Разве им бывает тесно на земле, разве они спорят друг с другом? Они просто есть, они – наша жизнь. Каждый из них живет и радуется своей жизни. Они не знают, как утро может

завидовать полудню, а дождь – грозе... Очень интересно, что было бы, если б человек мог просто брать все ему необходимое, если бы люди не стремились стать один выше другого. Тогда не было бы ни царей, ни князей, ни тфокотлей, ни крепостных, день был бы просто днем, а ночь – ночью, вместо печали была бы лишь радость, как только радостным бывает весенний дождь, утренний лучик солнца...»

Скрипнула дверь.

Вошла княгиня Загирета. Вроде бы даже не вошла, а возникла, как возникают утро или вечер, закат или восход солнца.

Она была в просторном, длиннополом ночном одеянии, на плечи ниспадала рассыпавшаяся черная, до пояса, коса.

– Проходи, проходи! – обрадовался и в то же время удивился князь.– Я очень рад, но...

– Что «но», мой повелитель?

– Ты так красива!

– Как всегда, для тебя.

– Но сегодня, моя хорошая, ты – особенная.

– И ты не знаешь, почему?

Он поднял в удивлении плечи и почему-то вздрогнул.

Княгиня подошла, положила голову на его плечо:

– Сегодня тридцать лет нашей с тобой любви, мой повелитель, и в память об этом, в честь этого нашего с тобою праздника я и нарушила обычай, сама явилась к тебе. Думаю, ты простишь мне это?

– Прости, моя хорошая, моя родная и самая красивая из всех земных красавиц, что я забыл об этом дне. Спасибо, что ты мне напомнила, что хранишь эту память как святыню в своем сердце.

Они обнялись, затихли, и ему показалось, что в мгновениях этой тишины сошлась вся его жизнь, может быть, весь смысл любви двух горячих сердец – и дом их под солнцем, их дети, будущие внуки и правнуки – счастье двух, изливающееся счастьем других.

Князь задул свечу и бережно, словно боясь потревожить удивительную тишину, повел княгиню в спальню...

Проснулся Сибок и, не открывая глаз, протянул руку к соседней подушке. Княгини уже не было.

Ее не было, а ему казалось, что она все еще рядом с ним, в нем самом, вот как этот солнечный лучик, краешек неба, как пуховая подушка, еще хранившая ее тепло и запах, будто морем рассыпанных волос.

Он подмигнул синему краешку неба: «А что, князь, даже главный князь Жанеи тоже может быть счастливым, хоть на одну ночку, на утреннюю зорьку. Да, может...»

Но только на одну ночку и раннее утро, за которым придет жаркий, тревожный полдень...

Ему вдруг почудилось: в окошко заглянул мальчишка, еще совсем мальчишка – Кудадек.

Показалось, почудилось...

Как он там в безумно большом и суетном городе, среди чужих, а то и вовсе чуждых ему людей?

Рядом с Кудадеком возник другой мальчишка, Хатай, украденный когда-то у родителей, с громадными испуганными глазами, а теперь – счастливый княжич. Счастливый он, на беспокойство, а может, и на беду князю Сибоку.

Почему не остался Хатай у отца, зачем живет в чужом доме, княжич – с тфокотлем? Рядом с заневестившейся сестрой Калакута. Не просто им уберечься от греха, друг от друга... А случайные, но может, и не случайные встречи Хатая и Минсуры? Ой, не нравится князю, как они улыбаются друг другу, как весело разговаривают о разных пустяках. Уж эти разговоры о пустяках между девушкой и парнем – от них до беды один шаг.

«А что делать, что делать, ведь ночь обязательно сменяется утром, утро – жарким полуднем...»

После завтрака он услышал какой-то шум во дворе.

– Что там еще за суета в такую рань?! – сердито спросил князь.

– Гости к тебе, зиусхан,– сообщил Бжамит.

– Что делать, гостю, как и солнцу, не скажешь – не входи. Проси их пожаловать, ведь гость в доме, как говорят,– счастье в доме.

С почтением раскланиваясь, вошли Калакут и Хатай.

– Спасибо, что не проехали мимо, проходите, дай вам здоровья и всего, что к здоровью полагается. Иди сюда, Хатай, садись на почетное место, а то Калакут ославит меня.

– Спасибо, зиусхан,– с улыбкой ответил Хатай,– но я не сяду выше Калакута.

– Ну-у,– широко развел руки Сибок,– у зиусхана Хатая и воля зиусхана – пусть будет, как ему хочется. Садитесь, рад видеть вас и слышать. Давненько не встречались – новостей, наверно, целый ворох привезли.

Сел Калакут, обеими руками огладил бороду, солидно покашляв, с почтением проговорил:

– Спасибо на добром слове, зиусхан, храни тебя Аллах с твоим домом и твоим княжеством. Как живется-можется тебе, все ли ладно в твоей жанеевской земле, какие добрые новости принесли вам на своих крыльях горные орлы?

– Все хорошо, сосед. Держусь на страх врагам и радость всем нам. Ты тоже, гляжу, не жалуешься на здоровье, крепко и ладно сидит на твоей голове папаха, где носили тебя ветры вольные?

– По горам да по долам славной земли адыгской.

– Как люди встречают вас с молодым зиусханом,– продолжал Сибок,– как провожают? С добром ли?

– Разные люди встречают по-разному. Тфокотли согласны с нами, многие из дворян – тоже, а вот ваши зиусханские сородичи... они противятся, слышать нас не хотят.

– А как ты думал,– улыбнулся Сибок,– кто тебе позволит выбить себя из седла. А как твой отец, Хатай, зиусхан Джамбеч?

– Он понимает, поддерживает нас,– с гордостью ответил Хатай.

– Я уважаю Джамбеча, его мудрость и самостоятельность. Он не станет просто так шапку ломать.

– Ты говоришь, зиусхан, никто не позволит выбить себя из седла, но мы-то и не собираемся никого выбивать. Мы думаем – все адыги должны сами решить, сами должны найти достойного человека, который бы и правил нами, как, скажем, в Турции, на Руси, в том же Крыму.

– Это у тебя уже что-то новое, Калакут. Есть над чем подумать.– Князь, заложив руки за спину, неторопливо прошелся по комнате, остановился перед сидящим Калакутом: – Что ж, я готов подчиниться воле народа, готов отказаться от своей главной должности...

– Нет, нет! – воскликнул Калакут.– Не надо торопиться, а то какой-нибудь Тахо или Цахо такую грызню устроит, что всем тошно станет.

– И правда! – рассмеялся князь.– Эти обшарпанные Тахо и Цахо будто созданы для того, чтобы портить добрые дела. Но очень непросто, Калакут, услышать истинное мнение народа, понять его волю. Об этом надо думать, надо беспокоиться. Однако, дорогие гости, уже время обеда.

– Зиусхан, обед подождет,– сказал Калакут.– У нас очень важный и... трудный разговор.

– Я слушаю вас,– насторожился Сибок.– Чем так обеспокоены?

– Зиусхан, нам стало известно,– взволнованно начал Хатай,– что царь и султан заключили между собою тайное соглашение, хотят разделить между собою земли адыгов, рассечь наш народ.

– Я знаю. Об этом уже говорят в Жанее.

– Не только в Жанее,– вступил в разговор Калакут.– Об этом уже знают в Абадзехии, Махошии и в Беслинее. И в Кабарде тоже об этом говорят... Мы очень встревожились, мало что грабит крымский хан, теперь еще... на части нас хотят разрубить, прямо по-живому. Правда, пока это только разговоры.

– Я послал Ацамука к Темрюку,– сказал Сибок,– пусть направит своих людей к царю Ивану. Подождем, что нам привезет Ацамук, пока будем молиться, надеясь на добрую волю к нам Аллаха.

Тихо стало в гостиной. Так тихо, что сквозь приоткрытое окно слышалась доносившаяся с небесной высоты трель жаворонка.

– Вы, уважаемые гости, наверно, не знаете о беде, что случилась в нашем селе...

– Если ты говоришь о сыне Татар-Мурзы, нам уже сообщила Дария. Это страшная месть Давлет-Гирея.

Князь Сибок знал, что эту подлость совершил Мамий, хотел назвать его имя гостям, но не назвал и, когда проводил их, стоя у ворот, подумал: «Ты – потомственный князь, ты – главный князь Жанеи... и дрогнул, боясь попасть на язык Мамию. Выходит, утерял мужество? Или тебя уже одолевает старость? Если утерял, если состарился, найди в себе хотя бы под самый конец остаток былого мужества, чтобы достойно уйти, или...»

Совершенно расстроенный, обозленный на себя князь едва успел вернуться, как за ним следом – Бжамит:

– Вороной уже под седлом, зиусхан.

– Что?!.. Да-да, я сейчас.

С шумом открылась дверь, и в комнату решительно вошла княгиня Загирета.

Князь оторопел: она вошла в присутствии дворового. Совершенно растерялся и Бжамит.

Княгиня метнула в него недовольный взгляд:

– Ну что ты топчешься?

Бжамит исчез.

– Что случилось, старуха Каншауковых! Ты почему позоришь меня перед моим холопом?!

– Что ты сказал? – возмутилась княгиня.

– То, что слышала, женщина! – повысил голос князь.

Спохватилась Загирета. Сложив руки на груди, виновато посмотрела на мужа:

– Вчера вечером была молодуха, а...

– То был сладкий вечер, а сейчас наступило хмурое утро. Не сердись на меня,– смягчился князь и тоже виновато улыбнулся: – Садись. Слушаю тебя, ты же не без дела пришла?

Она села на краешек стула, сложила руки на коленях:

– Языкастые соседки разносят сплетни о нашей дочери, о Хатае выдумывают всякое...

– Успокойся, моя хорошая.– Он сел с нею рядом.– У наших соседок языки такие же длинные и ветреные, как их платки. Ветер дует, поднимая над землею пыль и всякий мусор. Его не остановишь, пока сам не стихнет... Мы спасли этого мальчика, дали хорошее воспитание, помогли найти его отца, достойного беслинеевского князя... и теперь на наши головы свалились эти сплетни, позорящие нас!

– Джамбеч должно быть, и в самом деле достойный человек, но его вторая жена! Как жить бедному Хатаю с мачехой?

– Мачехи тоже бывают разные, встречаются и очень добрые, но, моя дорогая княгиня, зачем ему, взрослому человеку, мачеха, зачем жить с нею, если отец хочет построить ему прекрасный княжеский дом... Вот мы с тобою говорим о нем – наш мальчик, наш мальчик, но если бы он был добр и чист душою, то обязательно позаботился

бы о том, как отблагодарить нас с тобою или хотя бы оставить в покое. Так нет же! Нам не хватает только разных сплетен обо всем этом. И в самом деле – почему он, сын известного зиусхана, его наследник, живет с тфокотлем, у которого уже заневестилась девочка, почему своими улыбочками, разными словечками не дает покоя нашей дочери? Но дело еще и в другом: он поселился у Калакута, чтобы следить за нами. Но зачем, для кого это нужно в наше запутанное, такое тревожное время?

– Да, зиусхан, да, мой повелитель, я сама об этом думала, только молчала, чтобы не беспокоить, ведь у тебя столько дел, столько забот разных, смею ли я отвлекать твое внимание.

– Спасибо тебе, спасибо. Да и не женское это дело.– Сибок встал, прошелся по комнате, присмотрелся, прислушался. Подойдя к княгине, вопросительно посмотрел ей в глаза.– Думаю вот... не договориться ли с одним из натухаевских... есть там отчаянные...

Услышав, княгиня побледнела. Князь положил ей руки на плечи, ощутил, как они вздрогнули.

– Зачем давать знать об этом кому-то постороннему? А сам ты не можешь?

Он так сжал ее плечи, что она чуть не вскрикнула.

– Нет. Пусть сделает другой.

– Но ведь он может выдать тебя.

– Не выдаст. Я найду такого, который тайно уберет его.

– Я знала, что ты мудрый и сильный, за это очень любила и люблю тебя...

В полдень Ацамук со своими спутниками вернулся из Кабарды.

– Ну что? – встретил вопросом его у ворот Сибок.

– Кудадек жив-здоров, служит в войске Вишнивецкого. Воевода, говорят, им доволен и в звании хочет повысить.

Когда вошли в гостиную, Ацамук помялся, стоя перед князем и княгиней, и с робостью произнес:

– Есть еще одна новость, она...

– Не мужчины мы, что ли? – рассердился Сибок.– Не тяни, а говори обо всем!

– Зиусхан, Кудадек... принял христианство...

– О Аллах! – испуганно воскликнула княгиня Загирета.– Как мог?

Сибок помолчал в раздумчивости, согласно кивнул головой:

– Я еще тогда, в самом начале, когда стоял у окна и слушал красивый колокольный звон, подумал, что это должно случиться. Раз он стал на эту большую дорогу, она не позволит ему свернуть с нее просто так. Знал, сын мой – не ветреный мальчишка... Вот и случилось то, что должно было случиться. Мой мальчик стал мужчиной. Я на его месте поступил бы так же.

Ацамук, видя, что все улеглось, уже без всякого беспокойства сказал:

– Когда его и Дударука крестили, как и полагается, дали им другие имена. Мой племянник теперь Александр, а Дударук – Иван.

– Как, говоришь, Кудадека назвали?

– Александром.

– Красивое имя,– распрямил плечи Сибок.– Так и должно быть, ведь он – мой сын!

– А Иван разве хуже? – улыбнулся Ацамук.

– Отчего же, и это хорошее. А скажи, Ацамук, об этой новости знают те, с кем ты ездил в Кабарду?

– Да. Они обещали никому не говорить, пока я не скажу вам.

– Теперь уж, конечно, это не будет тайной. И хорошо: пусть знают и те, кому не нравится, и те, кому по душе – так вся наша жизнь устроена, и нам ее не переделать, думаю, да и незачем.

Ацамук достал из-за пазухи узелок, развязал его:

– Это золотое кольцо, как мне сказали, с очень дорогим бриллиантом, сын твой прислал тебе, княгиня, а эти сережки – тоже золотые и тоже с дорогими камнями он прислал своей сестре Минсуре. Ну а нам с тобой, зиусхан, низкие поклоны из Московии.

Загирета обливалась слезами радости, целовала подарки:

– Да хранит тебя, сын мой, Всевышний, а что ж ты, мой хороший, дядю и отца своего оставил без подарков?

– Как это без подарков! – весело воскликнул Сибок.– Хорошая весть для настоящего мужчины – самый лучший подарок. А если еще из самого далека, да от родного сына!

– Правда, правда,– вздыхая, проговорила Загирета,– вот только как же он веру свою оставил? Не накажет ли за это Аллах?

Князь слегка улыбнулся:

– Какую веру ты оплакиваешь, дорогая княгиня, жена моя? Разве забыла, как мы с тобой в мальчишеские годы, стоя в христовой церкви, молились святой Марии? Не оплакивай то, чего нет в душе. Я не заметил, чтобы вера, которую вдалбливают в нас турки и ногаи, помогала адыгам. Знаю, наш сын – человек искренней, чистой души. И если он принял христианскую веру, значит, принял душою, а только это и помогает человеку.

– Мы там не одни, в Московии осталось служить царю Ивану несколько кабардино-адыгских парней,– продолжал Ацамук.– И еще одна новость, зиусхан, очень важная новость: будущей весной царь Иван приглашает тебя в Московию.

– Спасибо за добрую весть,– сказал, скептически улыбнувшись, Сибок,– но разговоры есть разговоры, они бывают похожи на ветер.

– Не ветер, совсем не ветер,– восторженно заметил Ацамук.– Из Московии вместе с кабардинскими посланниками приехал их воевода, он тебе и передаст приглашение самого царя Ивана!

Встал Сибок, подбоченясь, прошелся по комнате, остановился у очага, поковырял щипцами еще ранней весной потухшие угли, потом подошел к княгине, будто продолжая давно начатый разговор, сказал:

– Если сам воевода из самой Московии приедет ко мне с бумагой от царя Ивана, почему бы не поехать к нему в гости, заодно погостить у сына? Да я и сам давно уже собирался побывать у правителя великой державы, побеседовать еще раз с ним.

– А если он и тебя оставит у себя? – не то испуганно, не то обрадованно спросила Загирета.

– Тогда,– подмигнул Сибок брату,– проси Аллаха, пусть там сбудутся мои желания, проси, чтобы я достойно вернулся домой.– Еще раз он подмигнул Ацамуку: – Кажется мне, ты много лет уже хранишь тайком в сундуке икону святой Марии?

– Да что ты говоришь?!

– Не пугайся. Бог один на всех, как одно небо, одно солнце, а святая Мария, говорят христиане, богородица... Помнишь, в церкви перед нею горели свечи, но у нас нет свечей, и ты воскурила перед нею плошку с душистым маслом. Еще не забыла, как крестятся?

– Зиусхан!

– Если забыла, позови меня... и мы, может, помолимся вместе. Все хорошенько помолимся, попросим у Бога милости. Иди, княгиня... Послушай меня, Ацамук. Завтра же надо послать наших людей по всем селениям, вроде бы как по своему делу они едут, а в самом деле пусть рассказывают о том, что царь Иван приглашает меня в Московию. Пусть об этом знают и стар и млад, пусть бесятся от зависти и злобы Тахо и Цахо, другие мои недруги, пусть рвут они последние волосенки на своих кривобоких головах.

III

Поначалу Кудадеку по душе пришлась земля в далекой России. Все ему казалось интересным в Москве, хотя многого не понимал. Длинные холодные зимние дни воспринимались не столь уж и долгими, метельные с завывающими ветрами – не так и суровыми. С наслаждением взирал он на новый для себя мир, освещенный солнцем, улыбчиво глядевшим на землю с высоты чистого неба. Позолоченные островерхие купола церквей, устремленные ввысь, разноголосые перезвоны колоколов, то прямые, то кривые улицы и улочки, по которым ходят люди, проносятся запряженные в сани тройки и верховые, аппетитные запахи всяких кушаний из разных питейных и едальных заведений. Все это представало перед глазами, становилось близким его адыгскому сердцу.

Редкие дни случались, когда бы Кудадек, а теперь – Александр, не проводил на Боровицкой возвышенности, на которой раскинулся Кремль. Правда, пока его не допускали близко к царю. За всю неделю лишь один день выпадает дежурство у кремлевских ворот или у одних из дверей царского дворца. Гораздо чаще его можно видеть среди водовозов или с теми, кто убирает снег на Соборной площади, чистит царские конюшни, задает лошадям корм. Но как бы там ни было, молодой адыгский князь прожи-

вает в Москве и работает в Кремле, а оказался он здесь по воле царя и без принуждения, добровольно принял христианскую веру.

Больше того: изучает язык и тоже без принуждения. Для него это словно дыхание – если не выучит, как будет общаться с русскими? Но старается не забыть и родной язык, оставшись наедине, вечерами подолгу беседует с Дударуком по-адыгски.

Князь иногда замечает ему:

– Зиусхан, я стараюсь, чтобы ты не забыл адыгский язык, а вот свой абазинский уже начинаю забывать. Почему ты не хочешь изучить мой язык, оттого, что вас, адыгов, гораздо больше или считаешь ниже своего достоинства?

– Как можешь ты говорить такое, когда мы вместе живем вдали от родной земли.

– Говорю... как тебе объяснить – положение заставляет. Если ты не желаешь знать мой язык, почему я должен говорить с тобой на твоем?

– Твоя же мать черкешенка, зиусхан, разве это ничего не значит,– стараясь не обидеть князя, возражал Кудадек.– И сам же ты сказал, вас, абазин, гораздо меньше. В этом, конечно, ничего такого нет. Получается, хочешь того или нет, а приходится говорить по-адыгски.

– Что моя мать черкешенка и что вас больше, ты считаешь самым главным? – улыбнулся Дударук.

– Прости, зиусхан, я не это имел в виду...

– Да, да, каждый живет, как считает нужным. Только вот... нас оставили здесь, чтобы чистили царские конюшни, не посчитавшись с нашим происхождением. Узнают дома об этом – посмеются...

Слова абазинского князя Дударука Кудадек старается близко к сердцу не принимать, но, оставаясь один, поневоле задумывается.

На адыгских землях уже вовсю бушует весна, а здесь, в Москве, она едва начала о себе напоминать. На протаявших местах появилась первая травка, распускают почки деревья. Все теплее с голубой вышины пригревает солнце. Короче становятся ночи, длиннее – дни. Все неугомоннее пенье и щебет птиц.

И вот торопливая северная весна уже в разгаре. Сегодня Кудадек несет охрану у одних из дверей царских покоев.

Вместе с ним, с другой стороны, высокий русоволосый парень, имени которого он не знает. До смены караула они могут лишь смотреть друг на друга, переговариваться строго запрещено. С длинными пиками стоят они по обе стороны двери, стоят уже много времени, но никто ни разу не вышел из покоев.

«Странно как-то,– размышлял Кудадек,– и в прошлом месяце, и в минувшую неделю, как и сегодня, мы несли охрану у этой двери, но ни одного раза не проходил здесь царь. Интересно, узнал бы он, увидев меня, вспомнил бы, что подарил ему кинжал и пояс? Без черкески, наверное, вряд ли узнает. Теперь я одет, как и этот парень, в длинный кафтан, перетянутый поясом, на голове островерхая круглая шапка. Хотя я и не соглашаюсь с Дударуком, с нами все же происходит что-то непонятное. Может, нам не доверяют, поэтому и ставят у дверей, через которые никто не проходит. Хуже того – заставляют чистить конюшни... А этот парень урус – ему тоже не доверяют или он следит за нами? Ничего не понимаю, живем здесь в неведении и о том, что происходит у нас дома, на нашей земле...»

Желая избавиться от неприятных мыслей, Кудадек глянул в сторону воина, чуть улыбнулся ему. И тот, словно ждал этого, ответил ему улыбкой. И Кудадек устыдился своих недобрых мыслей: «Нет, что-то ненужное приходит мне в голову, ведь не плохие эти люди. Лучше посмотри, как прекрасен мир, радуйся ему. Надо поговорить с Дударуком: не стоит обращать внимание на тех, кто станет смеяться над нами. Что же, проявим терпение, продолжим подметать двор, выполнять другие недостойные нас работы...»

С другой стороны здания, где Соборная площадь, доносились стук копыт, смех и голоса толпы. Кудадека и русского воина сменили на посту и велели им идти на площадь. Увиденное поразило Кудадека. Напротив образовавшегося круга возвышался помост с восседавшим в кресле царем, позади которого стояли воеводы в доспехах, бояре и прочий знатный люд. За железной решеткой огромный медведь. Поднявшись на задние лапы и обхватив передними железную стойку, он пытался грызть ее, хватая зубами. Из его пасти свисала пена.

Заметив в толпе Дударука, Кудадек пробрался к нему, спросил:

– Что они надумали сделать с медведем?

– Наверное, будут с ним бороться...

Услышав чужую речь, стоявший рядом мужчина бросил на них хмурый взгляд, чуть отодвинулся в сторону, что-то сказал худощавому старику с белой бородой. И он тоже посмотрел с неодобрением на чужеземцев.

– Не надо говорить по-адыгски,– шепнул Дударук,– им это не нравится.

– Разве мой язык хуже, чем их? – нарочно громко произнес Кудадек, чтобы услышали другие.– Жаль, не знаю твоего языка, а то бы сказал и по-абазински.

Когда царь подал знак рукой, стражники подвели рослого, с растрепанными волосами мужчину в холщовой рубахе и босого, втолкнули за решетку к медведю. Почему-то не дали в руки сразу, а бросили вслед нож. Мужчина торопливо нагнулся, чтобы поднять, но в это время в прыжке медведь накрывает его и начинает с ревом терзать. Вскоре человек недвижно лежал в луже крови, а зверь, отойдя в сторону, притих, словно, как показалось Кудадеку, чувствовал себя виноватым...

Вернувшись к себе домой, Кудадек долго не мог успокоиться. В его ушах все еще слышался гвалт разгоряченной толпы, перед глазами лежал растерзанный зверем, истекающий кровью человек. «Казалось, мы живем среди неплохих людей,– размышлял он, оглядываясь на проведенное в Москве время.– Не лишены они ни сердечности, ни уважительного отношения, ведут себя, как заботливые друзья, а как понять то, что увидел сегодня? Понятно, когда звери нападают один на другого, на то они и звери. Но как могут люди бросить в пасть разъяренному зверю своего соплеменника, как понять такую жестокость? Если бы увидел мой отец, с ума, наверное, сошел бы. Он не мог терпеть жестокости крымского хана, потому и послал сюда нас в поисках помощи. А что же получается – и те, и другие, выходит, одинаковы... Особенно удивляет, как спокойно смотрел на кровавое зрелище царь. Он что, учится жестокости или уже научился? Не знаю, не знаю, трудно мне понять все это...»

Дударук застал Кудадека в тяжелых раздумьях, лежащим на тахте с подложенными под голову руками.

– Тебя не видно и не слышно, вот и решил зайти, думаю, не случилось ли что с тобой,– пояснил он.

Быстро поднявшись, Кудадек прошелся по комнате, повернувшись к Дударуку, спросил его:

– Как это... Что это было там, на площади?

– Здесь называют – суд.

– Какой же это суд? – продолжал удивляться князь.

– Воевода Вишнивецкий мне пояснил: тот человек, которого бросили медведю, в Ливонской войне предал своих товарищей врагу, вот его и осудили.

– Но человека должен судить человек, а не зверь...

– Так у них заведено: если бы тот человек победил медведя, ему бы простили его вину, вроде как по воле Всевышнего.

– Странно все очень,– продолжал переживать Кудадек.– Царь не только велел отдать виновного на растерзание зверю, но и сам наблюдал за этим, и вроде бы ему даже нравилось наблюдать. Выходит, жестокий он человек.

– Это правда, жестокий, от них самих слыхал об этом. Говорят, не хотели бояре, чтобы он правил ими, всякие козни ему устраивали, вот и ожесточился он в этой борьбе.

– Опять все это странно... А отец Кирилл мне в церкви сказал, что христианская вера – вера любви и добра...

– Вот и я об этом задумываюсь.– Сделав паузу, Дударук продолжил: – Задумываюсь о том, не слишком ли поторопились мы с тобой принять эту веру. Мои абазины, хотя молятся Аллаху, до сей поры держат в сердце древних богов, а многие верны православной вере. Давай поживем здесь еще до осени или зимы, присмотримся ко всему, а потом двинемся к себе домой, на родную землю, к своим богам.

– Нет, зиусхан,– решительно произнес Кудадек,– без ведома моего отца, который договорился с царем Иваном Васильевичем, без его разрешения, как бы трудно здесь ни пришлось, ни одного шага я не сделаю.

– А если и тебя кинут в клетку медведю? – не то в шутку, не то всерьез спросил Дударук.

– Когда хочешь до конца остаться верным тем, кто на тебя возлагает все надежды,– ответил Кудадек,– должен выдержать любые испытания.

Дударук не стал возражать, зная, что его младший друг отступать не привык.

IV

– Калакут, скорее иди сюда! – послышался с веранды испуганный голос Дарии.

Выбежав, чуть не сорвав с петли дверь, он увидел дрожащую от страха сестру.

– Что случилось?

– Мальчишки раздразнили быка, он ворвался к нам во двор, разворотил весь плетень!

– Где этот проклятый бык?

– Убежал...

– Чего же ты дрожишь? – рассмеялся Калакут.

– Потому что страшно...

– Эх ты, зайчишка! Ну ладно, иди в дом, пора готовить обед.

Поправив на голове тонкий цветастый платок, Дария удалилась легкой походкой. Глядя ей вслед, он застыл в удивлении, будто заметил лишь сейчас, что она уже вовсе не девчонка, а девушка. Вон как вышагивает, настоящая невеста! Скоро кто-нибудь ее уведет, и останется он в доме один. Впрочем, почему же один? Все ближе назначенный срок женитьбы. Остается только просить Аллаха, чтобы никому не позволил помешать его счастью.

Сняв черкеску и засучив рукава, Калакут принялся ладить поломанный плетень. Руки умело сплетали гибкие прутья, а в его голове сплетались мысли. И были они совсем не простыми. Почему-то вспомнился ему недавний разговор с другом Псамитом. «Хочу того или нет,– сетовал он,– но люди обо мне говорят и хорошее, и плохое. Я не разбойник, не вор, дело, которому себя посвятил, принесло мне известность. Только вот нет у меня семьи. А если живешь без семьи, люди не станут тебя ценить».

«И со мной ведь такое,– подумал Калакут,– каждый день, просыпаясь, встречаю с тоской. Потому и придумываю разные причины, чтобы повидаться с Накурой. Но срок – он и есть срок, никуда не денешься. Если не вижу долго ее, все больнее становится на сердце. Когда возвращались с Хатаем из Бжедугии, не мог не заехать к счастливому тхаматэ Тлимафу. Отца Накуры дома не было, а дедушка, хотя и знал о наших отношениях с его внучкой, как мне показалось, встретил меня душевно. Накура принесла нам анэ. Хотя мы и далеко друг от друга, но для наших сердец нет расстояния, они все равно бьются рядом. С тех пор прошел месяц, а кажется – целый год... Близится счастливый день нашей свадьбы. Хатай уехал к отцу. Я попросил его на обратном пути навестить Даура, взять его с собой. Хочу, отправляясь за невестой, ощущать рядом его сильное плечо. И Ацамук, думаю, не откажется со мной поехать, мы уже не раз вместе приезжали к Накуре...»

Управившись с плетнем, Калакут поглядел на свою работу и остался доволен. Подул легкий освежающий ветерок и он с удовольствием подставил ему лицо, отвлекаясь от затянувшихся раздумий. Его взгляд невольно коснулся княжеского двора, и снова в голове закружились разные мысли.

Недавно Ацамук вернулся из Кабарды. Как и здесь, там много разговоров о том, что русский царь и турецкий султан заключили тайный договор о разделе адыгской земли. Сторонников Пшиапшоко настраивают против князя Темрюка. Но и тот не сидит сложа руки. Посланные в Москву всадники привезли весть, что никаких тайных переговоров царь ни с кем не ведет. И Темрюк рассылает по всем селениям верных людей: князей, дворян, тфокотлей. Пусть успокоят народ, не грозит ему никакая опасность. И все же сообщение Ацамука не избавило Калакута от подозрений.

«Мы, конечно, не лишены ума, но урусы и турки посмышленее,– размышляет он о грозящей беде.– Они сумели создать свои государства, теперь стремятся расширить границы, скрывая от нас задуманные планы. Нам же во что бы ни стало надо уберечь свои земли. И лучше других понимают это князья Машук и отец Хатая Джамбеч. А мой сосед Сибок, когда поделился с ним своими мыслями, вдруг сразу переменился, не хочет иметь предводителем тфокотля. Для меня же главное – найти человека, способного всех нас повести за собой. Не могу сказать, что совсем не доверяю Сибоку. Он живет не только сегодняшним днем, но и смотрит в будущее, беспокоится за народ. Но Ацамук по натуре своей ближе к людям, сердцем

чувствует, что на душе у них. Вот и со мной – только в глаза посмотрел и тут же понял, что нелегко мне. Как он сказал? Ты, говорит, переменился очень. И это понятно – близится срок, назначенный Накурой, вот и переживаешь. У меня, говорит, подобное тоже было. Все мужчины и женщины переживают свои чувства одинаково, испытывая тайный страх...» Словно очнувшись от бесконечных мыслей, Калакут собрал инструмент, отнес в сарай, неторопливо пошел в дом.

У адыгов стало традицией: когда в семье ожидают важное событие – торжественное или печальное – начинают готовиться к нему заранее. Украшают комнаты, приводят в порядок двор, приберегают живность, баранов, молодых бычков откармливают. Родителей Калакут лишился еще в ранней молодости, и все же успел перенять от них многие народные обычаи. А что не успел, постигал после, общаясь с сельчанами. О приближающейся свадьбе сказал лишь самым близким друзьям, не сообщив даже сестренке. Тем не менее подготовка к торжеству шла полным ходом и в доме, и во дворе. Правда, нет у него никакой живности, но он не сомневался: помогут, чем смогут, блюдя адыгство, и друзья, и соседи, да и Хатай вернется от отца не с пустыми руками.

Он знал – кто расположен к нему душой, все сделает от чистого сердца. Но есть и такие, кто таит к тебе ненависть и постарается, когда появится случай, сотворить зло. Впрочем, о них Калакут старался не думать. Не потому, что вообще не знал, есть ли на самом деле такие. Спокойствие и уверенность придавала ему надежность друзей: ни Ацамук, ни Псамит, ни Хатай, конечно же, о времени его женитьбы никому не скажут. Только не мог он подумать, если даже и знал: что известно троим – уже не может оставаться секретом...

Где-то далеко от него находился Мамий, которому уже давно не давала покоя мысль прибрать к рукам Накуру, насильно сделать своей женой. Об этом хорошо знал Ванатуг, помирившийся с Калакутом, но почему-то не сообщил. Возможно, просто забыл сказать или не хотел расстраивать, а может, не ведал о том, что Накура – невеста Калакута. У коварства, считают, сотни ушей и глаз, оно слышит и видит издалека, нападает на свои жертвы

внезапно, как хищник. Словом, когда Мамию донесли о том, что Накура выходит замуж, он, сверкая глазами, загремел, как гром:

– Если даже во всем мире не осталось ни одного мужчины, кроме меня, все равно не позволю этому Калакуту жениться на ней, а пустоголовая дочь Дзегашта получит то, что заслужила! Пусть не надеются, что их ждет веселье и теплая постель. Вместо брачного ложа они окажутся в сырой земле, а я исполню танец на их могиле!

Ранним утром, когда удалились вернувшиеся из Жанеи прислужники, которые принесли неприятную весть, порог комнаты робко переступила Мариам и остановилась в ожидании.

– Чего уставилась, как сова? – крикнул на нее Мамий.– Иди готовь мне завтрак!

– Так рано? – удивленно промолвила Мариам, как всегда, подслушавшая за дверью разговор и уже знавшая причину гнева своего господина.– Я всей душой, Мамий, болею за тебя, может, тебе принесли плохую новость?

– Не нужна мне твоя душа,– исходил он гневом.– А ты слыхала когда-нибудь, чтобы приносили мне от адыгов добрые вести?

Мариам удалилась на кухню, а Мамий в ночном одеянии нервно шагал по комнате. Затем, чуть усмирив гнев, начал обдумывать, какие незамедлительно следует предпринять действия. Как ни размышлял, вывод напрашивался один: без его личного участия здесь не обойтись. Приняв решение, быстро поднялся и, одевшись, ушел из дома, забыв о завтраке.

В сопровождении Сарбая Мамий отправился в Жанею. С удовольствием вспомнил, что без особого труда удалось уговорить Давлет-Гирея отпустить его. Хану стало даже приятно, что сам он вызвался поехать к адыгам, разъяснить им, какими опасными последствиями чреват сговор России с Турцией.

Последние годы князь Тахо тяжело переносил раннюю весну. Не приносила ему облегчения и летняя жара, дышалось легко лишь в пору прохладного бабьего лета. Разбудили пожилого князя заполночь, сообщив о приезде Мамия. После обычных приветствий, чтобы остаться в гостиной наедине, Мамий отослал Сарбая к верховым

коням, лишь только он удалился, снял с себя отделанный золотом и серебром адыгский пояс и протянул князю, затем вынул из-за пазухи тяжелый кисет с золотыми монетами. Вручая его, пояснил:

– Не хочу, чтобы видел Сарбай. Это лишь предварительная плата за мою просьбу к тебе.

– Не знаю, чем и отблагодарить тебя, Мамий,– просиял морщинистым лицом Тахо, готов выполнить твою любую просьбу.

Он быстро поднялся, спрятал пояс и кисет под подушкой, вернулся на свое место, преданно посмотрел гостю в глаза.

– Я попрошу, если встретишь наших людей, сообщи им о моем приезде. Меня, мол, очень тревожит соглашение двух стран. И что мы с тобой нашли надежных помощников, которые отправятся разъяснять народу, какая угроза нависла над адыгами. Пусть эта весть дойдет до моего хана и он поверит, что послал меня не напрасно. Если же о главной причине моего приезда... Очень обеспокоила меня весть о том, что этот негодник Калакут собрался жениться на дочери Дзегашта. Якобы бездумная девчушка дала согласие. Мало, что постоянно баламутит людей вокруг себя. Ты, наверное, уже знаком с этой вестью?

– Валлахи, впервые слышу,– признался откровенно Тахо.

Мамий немало удивился такому ответу, чуть было не упрекнул князя: мол, живешь, не видя дальше своего носа, словно ворона в жару глядишь в небо с открытым ртом. Но он сдержался, боясь испортить дело, ради которого приехал.

– Ты хорошо знаешь, зиусхан, как высоко ценят в Жанее старика Тлимафа,– начал Мамий издалека.– Если Калакут с ним породнится, то возрастут его сила и признание в народе. А ведь он близок к Сибоку. Вот и подумай, чем обернется это, не дадут они тебе дышать. Теперь понял – мы не должны допустить их сближения.

– А что нужно сделать?

– Да что угодно! – воскликнул Мамий.– Подговори верных людей, не жалей им платить,– потом я все восполню. Пусть не гнушаются никаких наговоров, запугивают, словом, дадут понять, что нормальной жизни у них не будет. А если ничего не поможет... ну что же, останется лишь убрать жениха и невесту.

– А если узнают жанеи – они скорее уберут нас...– испуганно промолвил Тахо.

– Не надо паники,– строго взглянул Мамий,– не забывай, что я рядом с тобой, а за моей спиной великий крымский хан.

Ранним утром, позавтракав, Тахо в сопровождении байколов отправился к Цахо, которому обычно поручал рискованные, не всегда чистые дела, считая их для себя недостойными. Цахо встретил Тахо, будто их отношения не омрачали никакие неприятности. Оставшись вдвоем в гостиной, Тахо, не теряя времени, рассказал о цели своего приезда, не упустив припугнуть, вспомнив слова Мамия, что женитьба Калакута на Накуре принесет обоим князьям немалые беды. Цахо равнодушно выслушал гостя, сложив руки на животе, непривычным для него спокойным тоном произнес:

– Если хотят, пусть женят Калакута на дочери Дзегашта, пусть ставят его главным вместо пустоголового Сибока – меня это ничуть не волнует. Если же ты приехал сюда, чтобы натравить меня на него, то глубоко ошибся. Или уже забыл, как опозорил меня на хасэ? Ради тебя я не только не пойду бороться с медведем, но даже старого кота не обижу. Хватит, не желаю больше иметь с тобой никакого дела.

– И в этом все твое мужество? – вскочил Тахо, побагровев от гнева.– Ты уже помешался, не веришь самому себе!

– Как сам танцуешь, так я пританцовываю,– бросил ему вдогонку Цахо, не поднявшись проводить гостя.

Тахо гнал своего быстроногого коня во весь упор, байколы едва поспевали за ним. Не боясь, что его услышат, он вслух проклинал Цахо. «Старый дурак, чтоб ты до конца своих дней остался нищим! К кому я поехал? Приблизил к себе... Да и без его помощи найду людей, которые снесут голову Калакуту. Не поздоровится и Дзегашту с дочерью, проучу их так, что вовек не забудут. Разве просто так мне отвалил Мамий столько золота? Этот возомнивший о себе тфокотль и девчушка не стоят сотой

доли того, что лежит в кисете. И зачем только поехал просить этого дурака Цахо. Вон за моей спиной сколько мчится байколов. Каждый из них не пожалеет жизни, чтобы выполнить мое слово... Да-да, мое слово!..»

Заехав в свой двор, Тахо спешился, пошел в гостиную. Едва переступил порог, как почувствовал тяжесть в груди, перехватившую дыхание. Он долго кашлял, хватая ртом воздух, добравшись до постели, прилег на подушки. Боль постепенно отступила, успокоившись, велел позвать самых верных байколов. Беседуя с каждым в отдельности, наставлял на нечистые дела, в совершении которых считался большим мастером. В первую очередь велел отправиться в селение Трамхабль, распустить слухи, порочащие Накуру и Калакута.

Сплетни о женихе и невесте поплыли по селу. Одной из первых узнала о них старуха Цираца. Возбужденная, она заспешила домой. Зазий рубил для топки дрова. Увидев ее, подумал: «Опять что-нибудь принесла, хоть не выпускай со двора. Добро бы, хорошую весть, а то ведь...– и он подумал о сыне.– Неужели он снова набедокурил и ей сообщили об этом? Впрочем, она причитала бы и поспешила в дом...»

Как ни осуждал он сына, порою был готов даже лишить его жизни, но ведь родной сын. Хочешь того или нет, а душа болит за него. Зазий с тревогой начал прислушиваться, о чем с возмущением бормочет старуха.

– Что ты там мелешь? – не выдержал он.

– Я знаю, что говорю! – подбоченясь, затараторила громче Цираца.– У твоего друга старого Тлимафа нет головы, он ослеп, наверное. Сколько раз я намекала про нашего Мамия, чтобы выдал за него Накуру...

– Закрой рот, соседи услышат! – строго предупредил старик.

– А я и хочу, чтобы слышали,– не унималась Цираца.– Разве только мой сын служит у ногаев? Его там ценят, он богатство имеет, какое не снилось у нас никому. А здесь ему никакого внимания, отдают дочь за тфокотля, соседа Сибока. У него ни кола ни двора, а с моим сыном жила бы как в раю да благодарила Аллаха, что послал ей такое счастье.

– Какой еще сын! – взорвался Зазий.– Не хочу даже слышать о нем. Похваляешься его богатством, пропитанным адыгской кровью!

– Ты завистникам веришь, враждуешь с единственным сыном...

– Вон с моих глаз, пока не огрел тебя палкой! – Зазий нагнулся, собираясь поднять валявшийся под ногами сук. Старуху как ветром сдуло.– Твой сын не стоит и ногтя Калакута,– бросил он ей вслед...

У сплетен длинные ноги. Бегут они от дома к дому, от села к селу, не зная преград и препятствий. Люди, отрабатывавшие дорогие подарки, полученные князем Тахо, старались и днем, и ночью, перемывая косточки всем, кто одобрял женитьбу Калакута на Накуре. Одни верили услышанному, другие отрицали, третьи не могли разобраться, где правда, а где ложь, лишь в недоумении пожимали плечами.

Как нередко бывает в жизни, последними наговоры и сплетни узнают те, против кого они направлены. Вначале Калакут не придал им значения – мало ли что взбредет в чью-то неразумную голову. Он собрался с Псамитом съездить в Трамхабль. Пошел в конюшню, почистил коня, не успел оседлать его, как во дворе послышался топот копыт. Выглянув, увидел Хатая – наконец-то вернулся. Заспешил навстречу поприветствовать. Спешившись, Хатай отсоединил от седла узел. Внимание Калакута привлекла протянувшаяся через всю щеку царапина.

– Что с тобой? – поинтересовался он, пожимая руку,– упал с коня или зацепился за ветку?

– А, пустяк, ветка тут ни при чем.– Хатай осторожно притронулся рукой к щеке.– Ладно, пошли в дом.

Навстречу показалась Дария. Она шла степенно, не порхая как прежде, посмотрела на Хатая и, встретив его взгляд, вдруг зарделась, улыбнувшись ему какой-то особой, словно исходившей из сердца улыбкой. «Боже, что я вижу! – воскликнул мысленно Калакут.– Что случилось с тобой, моя сестренка? Разве не знаешь, что Хатай влюблен в нашу соседку Минсуру? Это же... это совсем не к добру, ведь вы, соседки, можете стать врагами...»

Войдя в дом, Хатай молча присел, развязав узел, вынул серую черкеску, брюки и сорочку, поднявшись, положил

на кровать, рядом на пол поставил сапоги. Каракулевую папаху взял в руки, повертел, полюбовался и тоже положил на кровать.

– Это тебе отец мой прислал,– чуть торжественно проговорил он.– Сказал, что не считает подарок ценным – ты заслужил большего, так много сделал для нашей семьи... Еще он прислал немного серебра и золота купить бычков или овец – не станешь же гнать их из такой дали. И еще – пусть Дария закажет нарядное платье с шапочкой для невесты, это будет ее подарок Накуре.

– Ну, вы с отцом взяли на себя прямо все заботы по подготовке моей свадьбы,– с благодарностью проговорил Калакут.

Когда Дария ушла по своим делам, Хатай, посмотрев в окно, завел речь о том, что, видимо, его немало волновало.

– Не могу, Калакут,– начал он,– не сказать тебе об этом. После Трамхабля, проезжая лесную чащу, догнал трех всадников. Посредине ехал пожилой мужчина, по бокам – молодые. Их разговор меня просто ошеломил. Двое молодых высказывали о тебе такие пакости, что не поворачивается язык повторить. Пожилой, слушая их, заметил: «Любовь завоевывают силой только негодяи». «Что ты имеешь в виду?» – не смог я умолчать. И что он мне ответил... Ладно, не буду, не в силах заставить себя сказать такое, не поворачивается у меня язык.

– Нет уж, Хатай, раз начал этот разговор, выкладывай все до конца,– потребовал Калакут.

Хатай смущенно опустил голову, помолчав, почти шепотом произнес:

– Он сказал, что ты обесчестил Накуру, а теперь ее родственники умоляют тебя взять ее в жены.

– Какой позор! – едва шевеля губами, промолвил Калакут.– Лучше бы они снесли мне голову, чем позорить ее... Эх, если бы вместо тебя я встретился с ними!

– Ну, я тоже спускать не стал. Старшего так треснул рукояткой кинжала по голове, что он свалился с коня. Молодому, как ты учил, въехал левой рукой по носу, выбив из седла. Третий кинулся наутек, как перепуганный пес. Я их узнал – это люди Тахо.– Сделав паузу, Хатай добавил: – Ты правильно решил – нельзя ехать за невестой с небольшим отрядом. Тахо может со своей оравой байколов напасть и перебить всех...

И вот настал долгожданный день. Полюбуйтесь, люди, на это прекрасное шествие! Впереди – Калакут на быстроногом скакуне везет в седле свою невесту Накуру. Рядом верные друзья: слева Ацамук и Хатай, справа Даур и Псамит. Следом за ними многочисленный отряд всадников, все рослые, один к одному, крепкие джигиты. Зорко смотрят по сторонам: вдруг какая опасность – мигом последует отпор.

А по обе стороны дороги, притаившись в лесных зарослях, свадебный отряд поджидали люди Тахо. Их было тоже немало – князь рассчитывал внезапным ударом осуществить свой коварный замысел. Но, видимо, слишком постарел он уже не только телом, но и умом, вот и постигла его неудача. Байколы Тахо, увидев, какой отряд сопровождает жениха и невесту, сидели, притаившись в зарослях, беспокоясь лишь о том, чтобы никто их случайно не обнаружил...

А когда шествие приблизилось к селению, взметнулась над землей песня:

– О-ри-да-дари-орида, везем мы красавицу невесту!..

Торжественная свадебная песня летела над селом Каншаукохаблем, призывая жителей разделить счастье молодых.

Во дворе Калакута вскоре не осталось свободного места, и люди, запрудив улицу, толпились у раскрытых ворот. Соблюдая обычай, Калакут на время перешел в дом своего друга Псамита.

V

Адыги, как говорил один мудрый старик, это вечное дерево, простирающее свои ветви к небу, корни которого берут начало где-то в глубине земли. И как неизмерима та глубина, высота раскинувшегося над нами неба, так же неизмеримы и глубины адыгской истории.

Одни ветви этого дерева устремляются на восток, чтобы каждое утро встречать восходящее солнце, другие – на запад, чтобы с благодарностью за труды провожать его ко сну, третьи, южной стороны – самые богатые, север-

ной – это могучая спина богатыря, над которым возвышается вершина – вся его сила, красота, а может быть, и смысл.

Издревле адыги делятся на племена, которых так же много, как ветвей большого дерева – это абадзехи, адамии, бжедуги, беслинеи, егерухаи, жанеи, кабардины, мамхегы, махоши, натухаи, темиргои, убыхи, хакучи, хатукаи, шапсуги. По языку и обычаям близки к ним абазины и абхазы.

Каждая улица вроде бы – село, каждое село – государство, хотя никто из них не хочет иметь государство со своим собственным названием, со своими законами. А вот когда собираются в своих гостиных, тут только и споров-разговоров, что о других государствах, о их неладах, злых намерениях, о том, как быть адыгам: то ли повернуться к крымскому хану, то ли податься в союзники к туркам или русскому царю?

Разговоры, разговоры, разговоры, потому что говорить легче, чем делать, но жить от этого не становится лучше: ничего не прибавляется в закромах, не становятся богаче урожаи, обильнее виноградники и сады.

Когда вернулся из Москвы Сибок, оставив там своего сына и князя Дударука, как живо откликнулись адыги по всей земле своей! Одни одобряли его дела, другие осуждали, а были и такие, которые называли предателем. И не только разговоры вели: одни становились на сторону Сибока, другие – на супротивную. Даже до угроз доходило, но вот после него съездили в ту же Москву, к тому же царю посланники главного князя Кабарды Темрюка, и получалось так, будто ничего не произошло – никто не одобрял их поездку, никто не осуждал ее, а если и делал что-то похожее, то втихомолку, чтобы не подставить свою щеку для оплеухи, а то и голову под дубину.

Тфокотли разделились: одни поддерживали главного князя, другие – осуждали, третьи – молчали, но ждали, что скажут князья, куда они повернут.

У старого князя Кайтука пятеро сыновей. Позвал он к себе старшего, Пшиапшоко, как всегда, весело спросил:

– Что слышно, зиусхан, в прекрасном мире адыгов, чем обеспокоен он, опечален или обрадован чем?

Понимающе улыбнулся сын:

– Все спокойно в прекрасном мире адыгов, как говорят – мир да благодать. А как ты себя чувствуешь, отец? Хорошо ли спал прошлую ночь, не мучают ли боли к непогоде?

– Хорошо спал... Мой покойный отец говаривал: не верь тишине, от нее можно оглохнуть, так ничего и не услышав,– с улыбкой ответил старый князь, а потом, сдвинув брови, добавил: – Не обманываем ли мы сами себя тишиной, чтобы сердцу было приятно, но ведь все дела делаются не доверчивым сердцем, а умом. Неторопливым, расчетливым, больше спрашивающим, чем отвечающим. Конечно, очень хорошо, что уродилась пшеница, добрый овес, что грядки на редкость сгружены овощами. И денечки для уборки такие стоят – просто благодать! Очень хорошо, но... Говорят, будто тфокотлям нравится то, что привез из Московии Темрюк. Им нравится быть холопами царя? А нашим гордым зиусханам – тоже?

– Что ты говоришь, отец?!

– Но тогда почему они рабски молчат?! Испугались главного, с голой тыквой вместо головы Темрюка? – Тихо стало в гостиной.– Ты знаешь, зиусхан, что означает твое и его имя?

– Темрюк – сын севера, а Пшиапшоко – сын главного зиусхана.

– Верно. Тогда не дай обмануть себя холопу урусов.

– Я понял тебя, отец, и, конечно же, обращу свой взгляд на запад или на восток, а может, на юг.

– Здесь тоже надо как следует подумать, все взвесить на весах жизни. Конечно, шамхал Будай – не мед, но он рядом, а крымский хан не только очень далеко, ему придется пробиваться через враждебные земли западных адыгов. Что касается астраханского ханства, то оно уже под властью Московии и никакой нам не союзник, не помощник... Пока зиусханы и тфокотли только перешептываются, пройдет время, и все они не простят Темрюку его поездку в Московию, такое же предательство адыгов, как и Сибока. Ты, сын мой, надеюсь, понял меня. Даю тебе полную свободу. И не затягивай! Не позже осени все это надо сделать.

Слушая отца, Пшиапшоко подумал: еще когда Темрюк собирался переезжать в Малую Кабарду, надо было про-

тивостоять ему, теперь бы не было этой заботы, а кроме того, и он теперь приблизился бы к должности главного князя Кабарды. «Конечно, всегда надо смотреть дальше того, что видно... И вот сейчас царь Иван поддерживает Темрюка, как и Сибока, оставил ему своего младшего сына Султана. Почему же наши князья не понимают, что такая политика Темрюка неизбежно приведет к беде всех адыгов? Надо, надо предпринимать что-то решительное. Прав отец, не стоит затягивать, это промедление может нам обойтись дорого, как и предательство Темрюка и Сибока...»

– Над чем ты, сын мой, так задумался, даже отдалившись от меня?

– Не отдалившись. Наоборот, думал над тем, что ты сказал мне, что поручил делать. Подумал и о другом.

– Слушаю тебя, говори. И смелее. Я – отец твой, ты – наследник мой. Мы – единое целое.

– А что, если мы обратимся к Турции, пожалуемся Сулейману?..

– Нет,– негромко, но твердо прервал сына старый князь.– Забудь раз и навсегда эти слова: жаловаться, просить, кланяться... Слава Аллаху, наш старинный род всегда вел, ведет и будет вести себя достойно. Спицы колеса по очереди становятся на землю. Придет время, когда вернется к нам должность главного всей Кабарды, но это вовсе не значит, что мы можем враждовать с Крымским ханством, Кумыкским шамхалом, с Турцией, Персией, а если понадобится, сын мой, то обратимся и к царю урусов. Это не сейчас, а когда понадобится. Сейчас нам нужен шамхал, якобы по Кабарде прошли волнения и обрушились на голову Темрюка. Чем больше будет этих волнений, разных неурядиц, тем непримиримей станут наши адыги и прикончат своими руками Темрюка, выбросят его в какой-нибудь заброшенный гнилой овраг...

– Да, отец... Я всегда восхищался твоим умом, знанием всех закоулков запутанной жизни.

– Спасибо, сын мой. В молодости я был, как и ты, решительным, горячим, а однажды твой дед сказал,– князь засмеялся по-старчески дребезжащим смехом,– он сказал: не дойдя до брода, не засучивай штаны. Закончить наш с тобой разговор мне хочется небольшой просьбой,– улыбнулся князь Кайтук, когда будешь у шамхала Кумыкии

Будая, попроси, пусть не балуется мелкими набегами на Малую Кабарду. Пусть лучше совершит один набег, но такой, чтобы небу стало жарко. Кроме добычи в селениях над Тереком, кое-что получит и от нас. Хорошо получит, скажи ему.

В Москве считалось: Кавказ – это оборонительная застава России от Персии, Турции, Крыма и других, кому захочется на нее посягнуть с юга, но вот воевода Григорий Плещеев приехал в Кабарду и, можно сказать, был ошеломлен увиденным. Поля пшеницы, ячменя, овса показались ему сказочно тучными по сравнению с российскими. А персики, абрикосы, виноград, арбузы и дыни он вообще увидел и попробовал впервые здесь, восприняв их как что-то неземное.

Об адыгах в Москве говорили как о полудиких племенах, живущих в горах или глухих жарких степях.

В российских деревнях того времени крестьяне ютились в тесных курных избах, часто вместе с телятами и поросятами. Здесь же – дома с высокими крышами, с большими, по сравнению с подслеповатыми русскими окнами, просторными комнатами, верандами, навесами, оплетенными виноградом. Отапливались искусно сложенными очагами с дымоходами.

«Батюшки,– подумал про себя воевода Плещеев,– какой красивый народ эти черкасы, как богата их земля. Это поистине будет южная житница Руси, а не только ее пограничная застава».

Он так и сказал Темрюку:

– Какая богатая и прекрасная ваша земля, какие красивые у вас люди, ее хозяева, но почему до сих пор вы не создали своего государства, не объединились в дружную семью?

Князь Темрюк как бы обиженно нахмурился, помолчал, потом сказал:

– Как ты говоришь, воевода, очень богатая и прекрасная земля от моря до моря, от горы Ошхамахо до немереных степей – это и есть древнейшее государство адыгов, вот только обидно, что нет у нас своего царя, как, скажем, у вас.

– Царь-батюшка Иван Васильевич тоже так думает,– сказал воевода, а сам подумал: «Если у вас появится самодержец, нам придется тогда и от черкасов искать заставу».

– Удивительно,– улыбнулся Темрюк, будто услышал мысль воеводы,– но то же самое нам говорит и турецкий султан.

– Тогда получается – о вас беспокоятся два царя. Тут уж выбор ваш, князь, смотрите, не ошибитесь.

– Не знаю, может, и ошиблись – мы уже выбрали Русь.

– Оказывается, князь, я скажу это без стеснения, адыги-черкасы не только красивые, но и умные люди.

В гостиную вошла дочь Темрюка, красавица Гошевнай. Глянул на нее воевода и не удержался:

– О-о, солнышко вошло! Недаром владыки мира сего грешного берут себе в жены черкашенок!

Гошевнай взяла из рук слуги блюдо с крутобокими яблоками, золотистыми грушами, поставила на анэ и пошла к выходу. Отец остановил ее:

– Знаешь, что наш гость говорит, дочь моя? Хочет забрать тебя с собой в Московию, к брату твоему Султану.

Зарумянилась княжна, засияли ее глаза.

– Если кто-то из моих старших братьев поедет со мной, я хоть сейчас готова. Еще бы – Султана увижу, Московию, о которой теперь все говорят и говорят, будто о чуде каком!

– Правильно, княжна, Москва – это чудо! – в тон ей воскликнул воевода.– Мы выдадим тебя замуж за сына богатого человека, за русского богатыря!

– За богатого?! Мне не золото нужно, а хороший человек,– засмеялась Гошевнай и исчезла.

– Ах, какая прелесть, какая умница твоя дочь, князь,– восхитился воевода.– Придется нам без нее ехать, а жаль, тут уж ничего не сделаешь. Но у нас на Руси говорят: чего хочет красавица, того хочет бог... А теперь, князь, мне нужен твой мудрый совет.

– Совет одно, воевода, а мудрость – другое, они так редко бывают вместе,– лукаво улыбнулся Темрюк.

Улыбнулся и воевода:

– Мне в Москве сказали: у главного князя Кабарды совет и мудрость всегда есть про запас, так что не скупись. Скажи, кроме главного князя Сибока, с кем еще можно встретиться в Жанее?

– В Жанее много достойных мужчин, но уж если доверяешь мне выбрать одного из них, назову Калакута,– на этот раз скрыв свое лукавство, ответил Темрюк.

– Князь он или дворянин?

– Нет, простой крестьянин.

– О-о, среди наших крестьян тоже есть весьма мудрые люди.

– Вот сам и рассудишь. Думаю, не зря ты сказал: адыги не только красивый, но и умный народ.

– А главный князь Сибок? – удивился воевода.

– Ну-у, главный он и есть главный. Тем более что уже побывал в Московии, вы наслышаны о нем...

Дороги в горах – трудные и опасные, с крутыми подъемами и мрачными пропастями. Это для степняка, а для горца – его стихия, с неожиданностями, с неизбывной, за каждым поворотом новой красотой, новыми поднебесными далями, она ему так же понятна, как горному орлу, парящему в вышине. А вот дорога в ногайской полупустынной степи, ровной и безысходно скучной, для горца – сущее испытание. Да если еще палящее солнце, от которого некуда спрятаться, или песчаная буря, когда и дышать нечем, и куда ни глянь – сплошная мгла, ни приметы, ни следа.

К вечеру перед Пшиапшоко с его спутниками, когда они поднялись на лысый курган, она и открылась в мглистом ветреном просторе.

– Очень хорошо! – сказал Пшиапшоко, приподнявшись на стременах и распрямив плечи.– Ветер скоро стихнет, потянет прохладой, так что скакать нам будет одно удовольствие.

– Как ты знаешь, зиусхан,– спросил байкол Тавташ,– когда ветер стихнет и прохладно станет?

Засмеялся князь:

– Очень просто. С детства я поездил с отцом и в горах, и в степи, он и научил меня, как говорил, читать небо, хоть днем, хоть ночью, хоть в бурю, хоть в грозу. Звездное будет сегодня небо – по звездочкам и будем держать путь к шамхалу.

Все так и было.

Шумел в камышах прохладный ветер, гонял белоснежными волнами по холмам ковыли.

Утром шамхал Будай – невысокого росточка, круглолицый, с жиденькими усами, безбородый, с бегающими темными глазками – подошел к дверям комнаты, где спал князь Пшиапшоко.

Покашлял, приоткрыл дверь. Князь грузно сидел, откинувшись на спинку тахты. Поздоровались они легкими поклонами, глядя на гостя, шамхал проговорил с улыбкой:

– Что, Пшиапшоко, не пошел тебе наш крепкий кумыс, а?

– Понимаешь, Будай, каждый раз, как приезжаю к тебе, велю себе быть аккуратным с кумысом, но ничего не получается, и потом в животе...

Щуря глазки, тоненько рассмеялся Будай:

– В животе ладно, а когда я у вас нахватаюсь крепкой бузы, то в голове такое бывает, что не пойму – где я, что и как!.. Ладно, пройдет. Думаю, ты по делу приехал, по глазам твоим вижу – по важному делу. Давай поговорим, мы с тобой старые друзья, к тому же твоя родственница моя жена. И вера у нас с тобой одна, да будет милостив к нам Аллах.

– Да, да, все правильно, но жизнь в этом мире куда как сложнее бузы и кумыса. Еще говорят: слез радости куда как меньше, чем слез горя...

– Пшиапшоко, зачем ты так долго и неясно говоришь? Ваши тревоги – мои тревоги, ваши заботы – мои заботы. Говори прямо.

Рассердился князь, что шамхал перебил его, но сдержался и спокойно сказал:

– Посланники Темрюка вернулись из Московии.

– Знаю.

– Ничего хорошего ни вам, ни нам не привезли.

– Но царь Иван сделал Темрюку, чего он просил, а мне в том же тогда отказал,– зло сверкнули глазки Будая.

– Мы – против этого сговора Темрюка с Московией. Возражаем и всей силой будем возражать!.. Я приехал к тебе по поручению многих кабардинских князей! – глазом не моргнув, соврал Пшиапшоко.– Мы знаем, что согласие Темрюка с царем тоже не нравится турецкому султану, крымскому хану, даже польскому королю. То, что они уже

в Астрахани, лезут к адыгам, очень не нравится и персидскому шаху. И ты не должен оставаться в стороне.

Будай согласно кивал головой, думая: «То Машук, то Сибок, то Темрюк – сами бегаете на поклон в Московию, сами зовете на Кавказ их, а теперь хнычете. Посмотрим, посмотрим, что ты еще скажешь, князь». Так подумал Будай, однако, нахмурив лоб и решительно взмахнув кулачком, собранным из коротких жирненьких пальцев, сказал:

– Считайте, что мы с вами заодно!

– Я знал, рассчитывал на твою мудрость, потому и приехал к тебе. И теперь, после твоих слов, скажу, зачем меня прислали. Мы надеемся, что ты проучишь как следует Темрюка.

«О, вы хотите, чтобы я в ваш черкесский костер подбросил сухих кумыкских дровишек? Молодцы, молодцы!..»

– Я не один раз делал то, о чем вы просили, и не один раз случалось, что вся Кабарда выступала против меня!

– Горько, горько это слышать, Будай, но ведь в прошлом году мы не пошли против тебя.

– Но и не заступились!

– Если бы у нас были такие могучие силы, шамхал, как у тебя!

– Надейтесь, надейтесь, обязательно помогу! – с улыбкой, как бы в знак уважения, поклонился Будай.

– Спасибо,– с княжеским достоинством поклонился и Пшиапшоко, подумав при этом: «Надо попросить родственницу, пусть она... Не зря говорится: ночная кукушка перекукует дневную».

VI

Цахо и Тахо считали, что князь Сибок выскочил в главные, как им казалось, на мутной волне. Переругались на хасэ между собою князья, перецапались, и он, ловко натравливая их друг на друга, сумел по их спинам подняться над ними.

Надеялись они – он долго не продержится у власти, но шло время, а раздор их лишь углублялся, каждый обвинял другого, оправдывая себя. Больше того, недавно один из друзей Сибока сказал князю Цахо:

– Он поднялся на такую высоту, что папаха сваливается, если поднимаешь голову, чтобы рассмотреть его. А твоя, зиусхан, гляжу, держится, от зависти что ли?

– Что ж это за высота такая? – помрачнев от злости, спросил Цахо.

– А ты подними голову, зиусхан, и увидишь... Сибока не только самолично принимает в Московии царь, так еще присылает к нему воеводу, а с ним и поклон свой царский.

– Чего же гяурскому царю не благодарить того, кто предает свой народ!

– И не только царь, но и многие наши зиусханы, дворяне, тфокотли на его стороне, только вы с Тахо да еще несколько, похожих на вас.

– На песке, сыпучем песке стоит пустоголовый Сибок! Погоди немного, погоди – дунет свежий ветерок, и ничего не останется ни от той высоты, ни от продажного Сибока! – плюнув под ноги, Цахо пошел прочь, чтобы не ввязаться, как говорят, в драку.

Несколько дней не находил он себе места, плохо ел, плохо спал, срывал свою злость на прислуге, самыми скверными словами поносил князей и дворян, сторонников Сибока, называя их трусами, предателями, никак не удавалось ему укротить разбушевавшийся в сердце гнев.

А сегодня утром он с аппетитом позавтракал, чуть ли не всю курицу умял, почти кувшин медовухи выпил, и с удивлением спросил себя: что случилось? Сам спросил, сам ответил: «Оттого, что ты гоняешь свою прислугу, будто перепуганных кур в курятнике, поносишь самыми скверными словами князей, громыхаешь так, что в окнах стекла звенят, разве прибавится у тебя сторонников, а у Сибока противников? Нет! Чтобы уродилось зерно, надо идти и работать в поле, а не сидеть дома. Ты посмотри, что делает Темрюк? Сколько людей своих рассылает по селениям, как он за каждого своего сторонника борется, а ты да Тахо, больной человек, по характеру больше подковерный говорун, чем работник, вот и все воинство. Опустись на колени, поблагодари Аллаха, чтобы надоумил тебя, рукам и уму твоему силу дал».

Вспомнилось Цахо хасэ, на котором он поближе познакомился с князем Мартоком, который не был ярым противником Сибока, но и не поддерживал его.

«Правильно, князь,– бодро сказал он себе,– птичка по зернышку собирает и бывает сытой. По одному, по два надо отбивать у Сибока его сторонников, так, глядишь, и останется он в одиночестве».

Пристегнув кинжал и взяв плетку, Цахо направился в конюшню, но у крыльца ему перебежала дорогу черная кошка и шмыгнула под сапетку.

– Эй, люди, откуда взялась в нашем дворе эта черная тварь?!.. Да вы что, пооглохли?!

Прибежал к нему байкол Шиблан:

– Слушаю, зиусхан.

– Откуда взялась у нас глазастая черная кошка?

– Два дня как приблудилась.

– Все вы у меня, вижу, приблуды какие-то. Под сапеткой она. Достань, убей и закопай подальше от дома. В дальнем овраге.

Очень опасался Цахо, что из-за проклятой черной кошки его поездка будет неудачной, но все было иначе: не успел спешиться у ворот, как тут же показался князь Марток.

– О, зиусхан, заходи, будь моим гостем! – открывая калитку, приветствовал хозяин.– Много о тебе слышим, но редко видим, а знаешь, я о тебе еще со вчерашнего дня думаю.

– С добром или с худом думаешь, зиусхан? – придерживая шаг, спросил Цахо.

– Что ты говоришь! Как можно о зиусхане Цахо думать плохо? Просто соскучился. Виделись мы с тобою месяца три назад. Последние дни лета. Славные денечки стояли!

– Вон какая у тебя острая память! В Натухай с тобой ездили.

– Верно, в Натухай,– согласился Марток.– Как у тебя дома? Все ли хорошо, все ли спокойно, здоровы ли твои домашние?

– Все живы-здоровы, радость не покидает наш дом, а вот в Жанее... Давай с добрыми мыслями переступим порог твоего дома.

– Конечно, пусть радость не покидает наших с тобою домов.

В гостиной, удобно откинувшись на высокие спинки мягких стульев, они продолжили разговор.

– Ты, зиусхан, начал что-то говорить о Жанее. Слушаю тебя, гость, продолжай, пожалуйста.

Цахо огладил короткую бороду, затем усы:

– Ты, конечно, знаешь, чем растревожена, будто улей пчел, вся Жанея.

– Чем же, зиусхан? – удивленно откинув голову, спросил Марток, устремив взгляд на хозяина.

– И в самом деле не слышал? – теперь удивленно откинул голову Цахо, подумав: «Уж не хитришь ли, уважаемый хозяин?»

– Если бы знал, зиусхан, зачем бы стал спрашивать? – ухмыльнулся Марток.

– Верно говоришь, верно.– Помолчал многозначительно Цахо, потом неторопливо продолжил: – Я говорю о гостях урусов, недавно приезжавших к надутому, будто огородная тыква, Сибоку.

– Вон ты о чем, а я думал, у тебя что-нибудь поновее. А скажи, зиусхан, почему ты не был на княжеском сходе в честь его гостей?

– Будто я один из зиусханов там не был,– усмехнулся Цахо.

– Да, один,– подтвердил Марток.

– А разве Тахо был?

– Был! И за торжественным обедом столько остроумных здравиц провозгласил, что все удивились даже!

– Вон как! – вспыхнул от злости Цахо и, скрипнув зубами, подумал: «Чахоточный краснобай опять предал меня, ведь условились не ходить на ту говорильню».– Когда по делу надо что-то твердое сказать, Тахо всегда прикусывает свой язык, подзуживает, настраивает простаков, сидя где-нибудь в уголке, а тут, видишь ли, выпить, поесть на дармовщину, покрасоваться захотелось. Недаром его донимает неизлечимая болезнь... Но, зиусхан, я же член высшего жанеевского хасэ и не позволю выживающему из ума Сибоку унижать меня! Иногда у меня появляется желание разделаться с ним по-мужски!..

– Что ты, что ты, зиусхан! Оставь эту мысль, иначе она погубит тебя! – предостерегающе замахал руками Марток.

Опустив голову, сник Цахо:

– Да, зиусхан, но что делать, если у меня такое горячее сердце.

– Хорошо, что вы живете в разных селениях, а то ведь до беды с твоим сердцем – один шаг...

Они помолчали. Было слышно, как то жалобно, то угрожающе жужжала осенняя муха, скользя по оконному стеклу.

– Если начистоту, зиусхан,– как бы в раздумье заговорил Марток,– Сибок и мне показывал свои хмурые брови, словечки тяжелые ронял.

– Как?! – взвился вроде бы возмущенно, а в самом деле обрадованно Цахо.– Чем же достал он тебя, верного, как я знаю, ему человека? Я даже порывался поговорить с тобой, открыть твои глаза на этого дурного и опасного человека! Если не секрет, скажешь, чем он тебя обидел?

– Не люблю я разные суды пересуды, не мужское это дело, но, как говорят, раз уж замахнулся – бей... Ему не нравится, что мы с тобой дружим. Больше того: обманывает, будто я тебя натравливаю на него, как болтливая баба в грязном платке, а еще... это же надо такое придумать! Ему, видишь ли, не нравится, что я дружу с одним бжедугским зиусханом, его недругом...

– Должно быть, ты говоришь о порядочном и добром человеке, о Хаджемуке, покойный отец которого первым среди адыгов посетил священную Мекку?

– Вот именно – о порядочном человеке Хаджемуке. Это я бы еще стерпел, но когда он ведет себя в наших общих делах так, будто самый умный, а остальные, мол, выеденного яйца не стоят, получается, только и света в нашем окне – Сибок.

– Именно он по-свински себя ведет, зиусхан, будто и вовсе не адыг, не знает скромности наших отцов и дедов. Вот поэтому я и выступаю против него – ему же все это во благо.

– Конечно,– прищурился Марток, пожав плечами,– если я скажу, что Сибок ничего доброго не сделал жанеям, люди засмеют меня. Сумел же сделать так, что многие тфокотли и зиусханы повернулись к нему. Говорят о нем с добром. Не только подхалимы, трусы и дураки, но и порядочные люди. Ничего не скажешь, съездил он в Московию, сумел заручиться поддержкой царя, и поуме-

рились, поутихли малость к нам турки и татары. Все так, все верно, однако я не позволю ему оскорблять, унижать меня...

Услышал Цахо эти слова и почти воспылал радостью. Еще бы: такого откровенного, почти сердечного разговора не было у него, можно сказать, ни с кем. Разве с Тахо, но нет, там всегда было что-то недоговоренное, припрятанное, вот и приходилось ему жить со своими сомнениями, душевной болью – один на один, терзать самого себя.

«Говоря вот так откровенно, Марток, конечно, стал со мною рядом. Теперь вместе с Тахо нас трое. Надо вот так же поговорить, может, на первый случай, чтобы войти в душу, осторожно и с другими. А там, смотришь, с нами рядом станет четвертый, пятый, шестой... Только так можно сбросить тех, кто мешает двигаться вперед. Не дома сидеть, занимаясь душевным самоедством, а ездить, искать, находить».

Цахо налил в тяжелую глиняную кружку бузы, поставив ее перед собой, не спеша разгладил усы:

– Я не увлекаюсь слишком, как Тахо, хмельным, ты тоже не из таких, но у нас с тобою состоялся не просто приятный разговор, а произошло нечто большее, и давай выпьем, чтобы думы наши стали делом на благо адыгам, многострадальному народу нашему.

После крепкой бузы сухонький князь Марток загорелся лицом, заискрился глазами. Мысли, как он сказал себе, в голове заиграли.

«Над Тахо он посмеивается, а сам такой же краснобай, такой же двуличный. И вроде не смотрит на тебя, а выглядывает то ли из-за угла, то ли из темной комнаты. Сколько лет я его знаю, а лица не могу запомнить. Сидит передо мною – вижу, а уйдет – не в силах вспомнить, какой он из себя. Вот Тахо – помню, наверное, потому что у него бледное лицо чахоточника и горячечный взгляд. Слышал, будто он невзлюбил Сибока и распространяет о нем всякие сплетни. Говорят, все чахоточные – ненавистники».

– Зиусхан, я никак не могу привыкнуть к твоим усам и бороде. Раньше их будто и не видел.

– А я их и не носил, просто долгое время безвылазно сидел дома, вот и зарос. Отправляясь к тебе, хотел сбрить, да не успел... Не сердись, зиусхан, но я еще раз вернусь к

Сибоку. Не стану о его тяжелом характере и самолюбии, ладно! Если бы он просто возил их по нашей земле – пусть люди смотрят, пусть знают, но он же предает нас! Вместе с воеводой уже набрал наших парней в их войско! Говорят, больше ста человек! Что же будет?! Воины-адыги станут покорять адыгов гяурскому царю! Страшнее этого не придумаешь! Надо кончать с Сибоком, если мы честные люди, достойные дети своего народа. Я чист душой и телом, готов отдать свою жизнь за правду, за добро! Посмотри мне в глаза, посмотри на мои руки. Они честные, чистые!

«Что с ним?! Наверное, буза в нем взыграла и представила таким, какой он есть в самом деле. Скорее, он больной, а не Тахо. Опасно больной. Надо убрать от него нож,– подумал Марток и усмехнулся: что нож, если у него кинжал у пояса. Нужно его как-то выпроваживать, но как? Ведь он – гость».

Встал Цахо, словно услышал тревожные мысли хозяина, произнес с чувством в голосе:

– Давно я не получал такого удовольствия от умной беседы, давно ни перед кем не раскрывал своего сердца. И такого раскрытого, чистого, как твое, зиусхан, не встречал... Надо поторапливаться домой, вот-вот налетит шальной ветер. Вечером или ночью.

– Почему так думаешь?

– Не думаю, а знаю, своим телом чувствую. И не только ветер, зиусхан, где-нибудь землю тряхнуло или какая другая беда случилась – в голове моей отзывается, тревогой в сердце. Это у меня дар такой от Аллаха. Как говорил мне мулла – избранный я... Всего тебе доброго, зиусхан, пусть множатся твои стада, тучнеют поля и луга, пусть боятся тебя враги твои и процветают друзья.

Будто взлетел, а не поднялся в седло Цахо, дал коню шпоры и помчался навстречу ветру, восторженно разговаривая с ним: «Видно, я и в самом деле избранник Аллаха, а иначе как понять мою нынешнюю удачу, породившую легкость во всем теле, радость в сердце. И кошку черную, что перебежала мне дорогу, я разгадал, и хитреца Мартока уломал, склонил на свою сторону. Главное теперь – не давать ему уклониться от нашей дороги, держать поближе к себе. Есть у него, конечно, свои друзья, значит, теперь они будут и моими. Нашими будут, так что – держись,

Сибок! Вот так, Тахо, надо жить, натягивая поводья!.. Валлахи, что это такое?! Кто там из леса выехал? Конечно, Тахо со своими спутниками! О Великий Аллах!»

– Добрый день, зиусхан Тахо, да будет славен день твой, счастливый тхаматэ! А я только что подумал: надо обязательно повидать тебя с хорошей, очень хорошей новостью. Марток, от которого я еду, с нами, наш воин! Когда вернешься, поговорим. Счастливого пути!

– А я еду в Беслинею. Меня пригласил отец Хатая, которого бессовестный Сибок держал за слугу.

– Никак Хатай женился? Говорят, Сибок за что-то возненавидел его.

– Позвал меня Джамбеч, а зачем – не знаю.

– Получается, зиусхан,– криво усмехнулся Цахо,– везут тебя туда с завязанными глазами?

«Этот человек с противной рыжей бороденкой не может, чтобы не ущипнуть даже своего друга»,– подумал Тахо и с достоинством ответил:

– Думаю, как у нас водится, зиусхана по пустякам не станут приглашать в гости, оказывать честь.

– Валлахи! – воскликнул Цахо.– В пятницу меня приглашали на свое хасэ махоши. Послезавтра надо выезжать. Если ты успеешь вернуться, хорошо бы к ним поехать вместе.

– Ты же знаешь – конь у меня добрый, так что успею...

Разъехались друзья.

На самом же деле Тахо ехал не в Беслинею, а Цахо никто не приглашал на хасэ в Махошию.

VII

Свое решение отправиться в путь Сибок откладывал трижды.

Умер тфокотль, конечно же, князю следовало быть на похоронах, это, как говорится, святое дело. После проливных дождей речка вышла из берегов, угрожая затопить южную часть селения. Надо было срочно укрепить дамбу. Вышли, как говорится, стар и млад, и он не мог отлучиться. А в третий раз – не поладили два тфокотля, чуть не до кинжалов дело дошло: не поделили часть луга. Пришлось ему собирать старейшин, унимать страсти.

«Она, жизнь, вся такая,– подумал Сибок,– только дела у нас разные. Эти двое были готовы убить друг друга из-за небольшого клочка земли, Турция, Крым и Русь делят все земли адыгов, а великие державы делят между собою весь мир, и за все расплата одна – человеческая кровь, а золото всего лишь разменная монета».

Все эти три дня, возвращаясь домой, князь видел, как Дария и Минсура о чем-то увлеченно щебетали, настороженно поглядывая по сторонам. Что за подозрительные разговорчики у них возникли? Уж не связаны ли они с Хатаем? «Может, этот своевольный мальчишка решил завладеть моей дочерью, глупой девчонкой? Все может быть... У главного князя всегда по горло дел в его селах, их не смог переделать мой отец, не сможем и я, мой сын, внук, потому что им не бывает конца, а вот уберечь свою семью от бед – сумею и обязан. Завтра же займусь этим...» Подумал князь, и ему вспомнился разговор с княгиней. Столько лет уже с нею прожил, казалось, знает каждую извилину в ее голове, а оказалось... «Она сказала – а ты его сам... То есть – своими руками убей. Не просто человека, а того, кого ты взрастил. О Аллах, и это – женщина, мать! Кто знает, что завтра взбредет в ее голову... Подожди, подожди, а ты? Нет! – почти закричал Сибок.– Я просто велю убрать его с моей дороги, защищу мою девочку от беды, исполню свой отцовский долг, и больше ничего».

Братья, поужинав, разговорились.

Ацамук сказал:

– Как у тебя, зиусхан, хватает сил и терпения? Ты каждый день с утра до вечера занят делами селян: что-то распутываешь, кого-то миришь, кого-то наказываешь.

– Что делать, брат. Согласился в упряжке быть коренником – вот и упирайся, не надейся на пристяжных. Они ведь только пристяжные.

– Мало того, так есть еще и не довольные тобою.

– И правильно! – засмеялся Сибок.– Первый и самый хлесткий кнут всегда достается кореннику.

– Ведь не ради же своего личного благополучия ты оставил своего сына, чтоб не было больно отцовскому сердцу. Я думаю, люди должны быть тебе благодарны за труды твои, почитать тебя, а они...

– Брат мой, если ты все будешь делать ради чьей-то благодарности – ничего путного не сделаешь. Дело надо делать во имя его самого, и когда оно свершается – вот тебе и благодарность, радость тебе. Завтра я поеду в Натухай, давно там не был, если задержусь – не беспокойтесь.

– Хорошо, зиусхан, что едешь туда, а то мой друг Калакут слишком там разворачивается, уже так высоко свою голову поднял, что земли под собою не видит.

– Верно, очень высоко свою крутолобую голову держит твой закадычный друг,– засмеялся Сибок.

– Зря смеешься, брат. О нем уже спрашивал тебя московский воевода, Темрюк то и дело заводит разговор о нем... В этом что-то есть.

– Сегодня есть, а завтра не будет,– нахмурившись, ответил Сибок.– Пойдем спать, завтра хочу пораньше выехать.– Провожая взглядом Ацамука, Сибок подумал: «Как быстро он взрослеет, оставаясь молодым годами и силой, хорошая мне подмога и смена».

Есть счастливые люди – не успеет положить голову на подушку, и уже заснул, а к Сибоку в последние годы, особенно когда стал главным князем, сон приходил не сразу.

Вот и сегодня: все, казалось, обдумано, решено, надо лишь отдохнуть перед дорогой, но ничего не получается, не может уснуть. То подушка кажется жесткой, и он взбивает ее, то одеяло слишком тяжелым, то разные беспокойные мысли лезут в голову...

Луна выглянула из-за занавески. Огромная и яркая, будто солнце. Задернул князь занавеску, задернул тяжелую штору. Казалось, теперь уж заснет, но вместо сна голову снова будоражат мысли.

Зачем он так плохо подумал о княгине? Попробуй подойти к собаке со щенками, взять хотя бы одного – скорее сама погибнет, чем позволит отнять. И это не прихоть, таков закон жизни. Не княгиня его выдумала и не ей за это отвечать, мучиться совестью.

Подумал князь и о себе.

«Иногда говорят: дочери бери в мужья – повыше, а сыну в жены – можно и пониже. Разве можно взять в мужья дочери главного князя вчерашнего крепостника, который хочет добиться своего хитростью и коварством.

Значит, я поступаю по народной мудрости, а что касается... нет, мои руки не будут в крови».

Блеснула молния, раздался такой удар грома, что вздрогнул весь дом.

«Что это?! Ведь только что светила с ясного неба луна! Не гнев ли это Аллаха? – тревожно застучало сердце князя.– Нет! Если бы гнев, то он покарал бы меня смертью».

Ранним утром князь Сибок в сопровождении семи байколов отправился в путь, но не в Натухай, как сказал Ацамуку, а в другое место. «Так будет лучше».

Стояли первые дни осени, такие же прекрасные, как и все первое – первые дни зимы, весны, лета.

Шли всадники ходко, до восхода солнца оставили за собой три села, что лежали в просторной долине с лесами и перелесками, с лугами и полями. Лес уже начал менять летнее убранство, вспыхнув под тихой синью неба золотом берез и пурпуром кленов.

Справа от Сибока ехал байкол Матыж, плечистый молодец с орлиным носом, с жгуче-черными сросшимися бровями и удивительно голубыми глазами. Слева от князя – Бжамит. Был он невысокого роста, не плечист, но ловок и сноровист, быстр в движениях, как и полагается байколу-телохранителю.

Неожиданно конь Сибока споткнулся.

– Что такое? – насторожились байколы. Князь успокаивающе поднял руку:

– Это моя вина. Задумался, расслабил поводья.

– В такое красивое утро, зиусхан, если нет очень срочных дел, дай отдохнуть своей голове,– весело сказал Бжамит.

– Слава Аллаху, никаких срочных и важных дел у нас с вами нет,– проговорил Сибок, поняв, что таким способом Бжамит хотел узнать, куда и зачем они едут.– Что-то давно уже нет новостей от Дударука из далекой Московии, может, что-нибудь есть у его родственников. Не нравится мне, что урусы так долго молчат, добрых знаков нам не дают. И опять же, как знать: не бывает худа без добра.

Кончилась утренняя прохлада, всадники скатали свои бурки, приторочив к седлам, двинулись дальше. Пришлось ехать и рысью, и галопом, даже не пообедав, чтобы к

назначенному месту успеть до сумерек, до того, как землю окутает мрак.

Впрочем, они остановились на лесной поляне неподалеку от селения, где жил Ванатуг, за которым князь и послал Бжамита. Всадники пустили коней попастись, попить из ручейка, протекавшего через поляну, сами перекусили тем, что было у них в сумах. Затем присели под развесистым дубом, росшим на краю опушки, размышляя о предстоящей встрече.

Вскоре Ванатуг прискакал на своем знаменитом скакуне. Сибок отошел с ним подальше от поляны, за густой орешник, объяснил, зачем его позвал. Подобные дела были тому не в новинку, поэтому не выразил никакого удивления. Глядя в глаза князю, спокойно сказал:

– Ты, зиусхан, доверяешь мне не простое, опасное дело... Чтобы вернуть Калакуту его сестру, я выкупил ее у купца за большие деньги...

– Я не постою за ценой,– перебил его князь и, вынув из внутреннего кармана черкески кисет, протянул Ванатугу.– Это половина моей платы, остальное получишь, как будет сделано дело.

Подержал Ванатуг кисет, как бы взвешивая его, прислушиваясь к звону золота. Вспыхнул в его круглых, навыкате, глазах огонек, но тут же он пригасил его, вернул кисет князю.

– Это хорошая цена. Я согласен... Думаю, наш уговор до смерти будут знать только двое – ты и я.

– Да,– твердо сказал князь.– В этом я заинтересован не меньше тебя. Но чего же ты ждешь, почему не берешь кисет?

– Нет. Когда дело будет сделано, тогда отдашь сразу два кисета.

– Себе не веришь? – испытующе глянул князь.– Слыхал, ты взял плату у Тахо, а дело не сделал.

– Что ты говоришь, зиусхан! – возмутился Ванатуг.– Какой-то чахоточный зиусханишко, у которого нет ни совести, ни стыда, а ты... нет равного тебе во всей адыгской земле. Не беру сейчас кисета, чтобы показать, как верю тебе, с каким почтением отношусь к главному предводителю всей Жанеи.

Вышли они на поляну, и князь, чтобы слышали все, сказал, глядя вслед Ванатугу:

– Спасибо за добрые вести! Передай мои приветствия Мишаосту и его друзьям!

Когда скрылся за поворотом Ванатуг, всадники направились не на восток, а повернули на юг...

Солнце клонилось к закату, когда во двор князя Сибока вошел Калакут с Псамитом и Хатаем. Увидела их княгиня Загирета, поняла, что к чему. Забилось в тревоге ее сердце, однако, сдерживая себя, спокойно вышла на веранду и решительно заявила:

– Хозяина нет дома, Калакут. Ацамука тоже!

– А мы не к ним идем, княгиня,– весело отозвался Калакут, спокойно шагая к веранде.

– Кроме них, у нас не с кем говорить,– нервно дернулись губы княгини. Ей очень хотелось все свести к шутке, хотелось улыбнуться, но она не смогла.

– Когда на крышу дома опускается светлый полумесяц, его видят сначала другие, а только потом хозяева. Тут уж ничего не сделаешь,– весело сказал Калакут и направился с друзьями в девичью.

Загирета кликнула младшего сына Камболета и поспешно увела его в свою комнату:

– Ты хороший, послушный мальчик, а вот сестра твоя – неслух! Она сделает несчастной всю нашу семью.

– Как?! – возмущенно воскликнул Камболет.

– Они сговорились с Дарией, и теперь к ней, к нашей ненаглядной дочери, пришли нежеланные женихи.

– Как они посмели, да я их!..

Она закрыла ладошкой его рот:

– Ты в этих делах еще ничего не смыслишь... Набери кружку холодной воды и отнеси в девичью, поставь ее на анэ и стань рядом с сестрой. Что бы те мужчины тебе ни предлагали, чем бы ни соблазняли – не отходи от сестры.

– Да, нана, я им!..

Она опять прикрыла ему рот:

– Ничего не делай, ничего не говори, только неотступно стой рядом с сестрой и внимательно слушай, о чем они будут говорить.

Все так и сделал Камболет.

Калакут зажег лампу.

Вошла Минсура. В накинутой белой шали, в расшитом серебром платье, с застенчиво опущенными черными глазами она была такой красивой, какую Камболет никогда не видел. Он чуть не вскрикнул от удивления, но сдержался. Только и посмел молча стать рядом с сестрой.

Калакут, глядя на нее, подумал: «Бывает, бывает такое с девушкой, когда она вдруг становится красивой». Подумал и сказал:

– Садись, Минсура.

– Можно и сесть, здесь все свои,– улыбнулась она, села, сложив руки на коленях. Камболет стал у нее за спиной.

Калакут взял кружку, будто хотел попить и, понимающе улыбнувшись, протянул ее Псамиту:

– Поставь ее на подоконник. Говорят, если между сидящими холодная вода, то их сердца становятся холодными друг к другу. Правда, Хатай?

– Говорят,– улыбнулся Хатай,– но бывает и наоборот – холодная вода сближает людей.

– Именно так! – поддержал его Калакут.– Скажем, в жаркий день всадник едет по какой-нибудь тропе, вблизи нет ни ручейка, ни родничка, путник уже изнемогает от жажды, и тут ему и встречается человек, дает ему кружку холодной, такой вкусной воды! Разве эта вода не сблизит их!

– Ну, Калакут, сколько лет я знаю тебя – ты всегда умеешь найти что-нибудь интересное! – воскликнула Минсура.– И откуда оно у тебя берется?

– Тебе, Минсура, кажется, я много знаю, а мне – будто очень мало. В ручейках, в родниках жизни я и черпаю. Богатым был твой дед, да и Сибок, твой родитель, не обделен мудростью, а я с ним рядом живу – вот и черпаю, как всякий жаждущий, и получается, как говорил твой дед, жажда – мать мудрости.

– Верно, верно,– поддержал Калакута Псамит.– Я вот еще что хочу сказать: мне довольно часто доводится видеть в ясном небе луну и солнце. На одном небосводе и в одно время...

– Очень интересно ты говоришь, Псамит, но дозволь мне закончить начатую мысль, чтобы она не осталась

бесхвостой. Мы говорим, что одни люди живут, не замечая друг друга от своего самолюбия, другие почему-то отдаляются, третьи чем дольше живут рядом, тем ближе становятся друг другу и умом, и сердцем, нуждаются один в другом, как луна в солнечном свете.

– Правда, но бывает, что между луной и солнцем появляются тучи, и тогда луна не видит солнца, не чувствует его тепла,– грустно сказала Минсура, будто пожаловалась Калакуту.

– Ну и что?! На то и есть ветер, чтобы разогнать тучи.– А если тот ветер холодный?! – вопрошала своим взглядом Минсура Калакута и Хатая.

Калакут как бы про себя, а в самом деле для Минсуры, хохотнул баском:

– Раз есть холодный ветер – значит, есть и теплый.

– А хватит ли у теплого силы, чтобы одолеть холодный? – спросила Минсура, как бы взглядом своим обращаясь к Хатаю и Калакуту за помощью.

– Найдутся, обязательно найдутся такие силы, которые помогут теплому ветру зиму обратить в весну.

Ушли женихи. Камболет кинулся к матери:

– Все хорошо обошлось, нана. Меня они не трогали: всякие пустяки говорили о луне, о солнце и о ветре,– протараторил Камболет и убежал.

Княгиня нахмурилась, она поняла, что произошло.

У ворот Калакут спросил у Хатая:

– Ты понял – она любит тебя!

– Да.

– А понял, что тебе мешает?

– Конечно.

– Когда вернется Сибок, я обязательно с ним поговорю. А ты успокойся, Хатай. Чего тебе волноваться, она ведь тебя любит, а это – главное, все остальное не имеет значения.

На следующий день Калакуту сообщили:

– На полянке, что у развилки за селением, тебя ждет какой-то хромой мужчина...

Псамит увидел скакавшего на коне Калакута: «Куда это он, вроде никуда не собирался».

Калакут быстро вернулся и, не спешиваясь, окликнул Псамита:

– Если Хатай дома, пусть выйдет.

– Позову, но что случилось? Ты даже не хочешь спешиться.

– Очень спешу, Псамит, извини, это правда – мне очень некогда, поэтому и не могу зайти к тебе в дом.

– Я нужен тебе, Калакут? – появился Хатай.

– Больше, чем нужен,– нахмурился Калакут.– Чтобы с сегодняшнего дня ты больше никогда не заходил во двор Сибока. И еще – один из села никуда не выезжай. Даже не вздумай к себе ехать домой!

– Что случилось? – удивленно спросил Хатай.

– Пока ничего, но может такое случиться! Я не должен, не хочу унизиться перед твоим отцом! – бросил Калакут и ускакал.

Весь день не находил он себе места, метался по дому, по двору, будто одержимый.

«Рассерженный мужчина похож на рассвирепевшего дикого кабана,– когда-то Накуре говорила мать,– ни в коем разе нельзя его трогать». И она не трогала его, даже старалась не попадаться ему на глаза.

И ночь он спал плохо. То и дело просыпался, бродил по дому, опять ложился, поднялся утром в свое обычное время, без аппетита, но все же поел. Долго возился в конюшне и, когда выехал за ворота, направляясь к Псамиту, увидел Сибока с его байколами и остановился у княжеских ворот.

– Приятной встречи, мой славный сосед,– без тени усталости проговорил Сибок.

– Если ты не устал, зиусхан, нам надо поговорить, удели мне, пожалуйста, немного времени.

– Я совсем не устал,– нахмурился князь.– Случилась какая-нибудь беда?

– Пока не случилась, но...

Едва они вошли в гостиную, сел князь и сдержанно спросил:

– Что значат твои непонятные слова?

– Почему ты не хочешь, чтобы Хатай стал твоим зятем?

– Я тебе уже объяснял,– с трудом сдерживая гнев, ответил князь.

– Но, зиусхан, души Минсуры и Хатая в одном табачном кисете. В этом случае даже Аллах не мешает.

– В разрезанном кисете не удержится и одна душа! – побагровел Сибок, едва сдерживая гнев.

– Не видеть его своим зятем ты можешь, но зачем же лишать его жизни, данной ему свыше?

– Что ты сказал? – с надрывом прошептал, побледнев, князь.

– То, что ты слышал. Я знаю, куда, к кому и зачем ты ездил. Осторожнее, зиусхан! Это может окончиться большим скандалом для тебя и для всего твоего рода. Я Хатаю не скажу об этом, но я обязан беречь жизнь и честь моего соседа, как велит обычай адыгов, о жизни которых ты так заботишься. Ты должен обязательно отказаться от своего замысла. Обязательно, зиусхан,– сказал Калакут и, не оглядываясь, твердыми шагами ушел из гостиной.

VIII

Цираца, сидя за чесалкой, тянула тонкую шерстяную нить.

Выглянула из окна:

– Ты посмотри, посмотри, как он идет! Не идет, а вышагивает, прямо как танцует! Вот тебе и старик! За милую душу можно сосватать с какой-нибудь одинокой молодухой...

– О ком ты так говоришь? – спросил Зазий, мастеривший у стола самшитовую ложку.

– О Тлимафе, о ком же еще! Один он такой на всю Жанею.

– Старуха! – воскликнул Зазий.– На твоей седой голове от старости платок уже не держится, а язык все как помело поганое на ветру! Когда же ты угомонишься?!

– Ладно, ладно, больше не буду, видит Аллах – не буду, а то ведь и правда, в молодости только и говорили: Цираца – красавица, теперь же, чего доброго, станут звать поганым помелом. Еще и то надо сказать: мало у нас промеж собою было добрых, тихих дней. Особенно стали мы ругаться из-за паршивца, что ушел к татарам. Ты хорошо сказал: пора угомониться. Солнце с утра да в полдень какое бывает ярое, а к вечеру утихомиривается, ласковым становится. И наша жизнь к закату тоже подошла, а значит, покой, тишина нам нужны, в такую пору уже вредно волновать

сердца. Вот так и люди к старости. А если останусь одна, кому нужна буду, кто скажет тихое, доброе слово...

– Э-э, да ты, кажется, чуть ли не хоронить меня собралась, а я ведь еще... могу тебя и в постельку уложить.

– Как тебе не стыдно! Среди бела дня! – залилась стыдливым румянцем Цираца и поспешно стала убирать на всякий случай чесалку.

– Мне стыдно? Сама же начала, засматриваясь на Тлимафа.

– Видите, люди добрые, я говорю одно, а он слышит то, что ему хочется. Я про старика Тлимафа, а он – про постельку. Пойду обед готовить,– заторопилась Цираца и у дверей на всякий случай с хитринкой оглянулась.

Зазий тихонько засмеялся в кулак, подумав: «О Аллах, какою ты создал женщину! Она говорит одно, думает другое, а делает третье. Попробуй после этого понять, что она может выкинуть».

Когда Цираца родила Мамия, он стал для нее всем на свете. Казалось, она даже не воздухом дышала, а малышом, спала его сном, плакала его слезами. Теперь она то проклинает его, что он бросил ее, то гордится, что очень богатый, что в ханстве, как ей говорили, он первый человек после хана. Но когда Зазий проклинает его за то, что опозорил отца с матерью, что проливает кровь адыгов, Цираца защищает, мол, все это клевета завистников.

«Спасибо тебе, Всевышний, что ты не создал меня женщиной»,– подумал Зазий и решил пойти к Тлимафу посидеть с ним и его приятелями на бревне. Дошел до ворот, но, увидев, что среди стариков сидел один неприятный ему человек, вернулся назад, взял метлу, чтобы подмести двор.

Прошлой ночью дул холодный ветер, почти догола раздел старую грушу, молодую яблоню и кусты барбариса. Двор был устлан мягким разноцветным ковром. Зазию даже жалко стало рушить его метлой, но так уж устроен мир: вздохнув, начал мести.

Шуршит листва, Зазию кажется, что и мысли у него в голове шуршат.

«Опять к Сибоку привозили гостей из Московии, а зачем – непонятно, потому как дела никакого не видно. Чтобы защищаться от турок и крымчан, теперь уже потянулись к ним не только жанеи, но и беслинеи, абазины, кабардинские адыги. А Калакут свою линию гнет, мол, никого нам на нашей земле не надо – только мы: в один кулак сойдемся, и нас никто не одолеет. И вот ведь какое дело: за Калакутом поднимаются почти все тфокотли, даже кое-кто из дворян. Хорошо бы, ох, как хорошо, если б и Мамий стал с ним рядом!»

От этой мысли у Зазия даже голова закружилась. Он бросил метлу и направился к Тлимафу.

Пришел и удивился:

– Вас было так много, куда все подевались?

– Вот это ореховое дерево еще вчера тоже было очень густым от золотой листвы,– сказал старик с длинными и белыми, как первый свежий снег, усами,– а пока ты шел к нам, с него упало еще несколько листьев... Сижу я тут, а меня дома дела заждались.

Вслед за ним молча поднялся второй старик. Они остались вдвоем. Молча сидели, как бы слова у них потерялись.

Зашумел ветерок, тихонько, будто жалуясь, прошуршали оставшиеся листья на старом ореховом дереве и, падая, закружились.

– Не обижайся на них, Зазий. У каждого есть сердце, каждое сердце болит по-своему,– грустно сказал Тлимаф.

– Не обижаюсь... я ни к кому не лезу в душу, каждому из них желаю только добра, а они... каждый из них... Ты же знаешь, Тлимаф, что мой сын будто гонимый дьяволом, убежал из дома от отцовского присмотра и материнского сердца. Кто и как его сделал таким? Ведь у каждого, кто ушел отсюда, чтобы не видеться со мной, отойти от меня, есть дети, значит, есть у каждого из них отцовское сердце, значит, они знают, как оно болит. Почему не хотят услышать боль моего отцовского сердца, услышать, как оно стучит?.. Откуда у них такая жестокость?

Зазий хотел уйти, но Тлимаф придержал его:

– Остановись, Зазий, нельзя же так...

– Нет, Тлимаф, у меня на тебя обиды, ты совсем не такой, как они. И на каждого из них у меня нет обиды, есть только боль, и не знаю, как ее унять.

– Я думаю: если бы каждый мог чувствовать своим сердцем боль сердца своего соседа, понимать ее, брать

9 Заказ 06

часть ее на себя, думаю, адыгам не пришлось бы метаться между Турцией, Крымом и Русью.

– Но как их научить этому, Тлимаф?! – воскликнул Зазий.

– Не знаю, ведь сердце не подчиняется разуму, а разум чаще всего бывает глух к боли сердца.

Шел во двор Зазий так, будто нес на себе мешок. Не хотели быть резвыми ноги, тяжелой была голова, а к горлу что-то подступало, давило...

Вошел в конюшню, припал к шее своего верхового коня, обнял и почувствовал, как горячими слезами излилась из него горечь.

Конь вздрогнул, ударил копытом и тихонько заржал, словно бы не только понял хозяина, но и почувствовал его тяжесть.

– Что случилось, накажи меня Аллах! – испуганно вскрикнула Цираца.– Что же ты молчишь, Зазий? Это я тебя так обидела?

– Нет, нет, просто немного закружилась голова.

– Не говори, будто я не знаю, что слез по этой причине не бывает.

– Какие слезы! – Он, отвернувшись, смахнул их ладонью.– Где ты видела слезы? Я пока еще папаху ношу, а не платок.

– Да, Зазий, нет слез, я просто так сказала. Возьми меня под руку, как раньше это делал, и пойдем. У меня готов обед. Такой вкусный получился почему-то сегодня. Хочешь, пригласи Тлимафа или еще кого-нибудь.

Увидел Зазий уставленный яствами стол, кувшин с бузой, другой – с медовухой, и воскликнул:

– А что сегодня? Праздник?

– Да.

– Какой?!

– Мне захотелось сделать тебе праздник, вот и все. Хочешь, позови кого-нибудь, а хочешь – посиди один, отдохни душой.

– А может быть...– сказал он, помолчав, решительно закончил: – Садись со мной рядом.

– Ой! Разве можно?! – испугалась Цираца.

– Раз мужчина, хозяин, сказал, значит, можно. Хоть один раз нарушим обычай,– ответил он озорно, как когда-то в далекой молодости, засмеялся,– посмотрим, что из этого получится.

Выпили они по кружке бузы и принялись за четлибж с мамалыгой.

– Послушай, Зазий, я никогда ни у себя, ни у людей не ела такого вкусного четлибжа и такой легкой, веселой бузы не пила. Почему бы это?

Зазий засмеялся, застенчиво опустил глаза:

– Я много раз тебя целовал, но... самый сладкий был первый. А?

– Да-да, да-да! – покраснела Цираца.

– А сколько лет мы с тобою прожили вместе?

– Не знаю,– озадаченно ответила Цираца.– Много. Не считала.

– Я до сорока досчитал. В коробку каждый новый год клал орех, а потом коробка как-то перевернулась – много орехов затерялось, и я перестал считать.

Они еще посидели, поговорили, помолчали.

Зазий принялся доделывать ложку.

– Пойду к соседям,– сказала Цираца,– со вчерашнего дня не была у них.

«Сходи,– подумал он,– я сходил и вернулся со слезами... Эх, если бы мне... Хоть лет сорок назад, пошел бы к Калакуту. Говорят, к нему приходит столько тфокотлей, хоть войско из них создавай. О, я бы тогда не позволил этим старикашкам так вести себя со мною. В прошлом году они мягче были, а теперь просто возненавидели. Но ведь не знают, не знают сухари эти, что я противостою сыну, готов с ним разделаться по-мужски. И не только за обиду мне, Цираце, а всем адыгам».

Вошла хмурая Цираца с ситом в руках.

– Чего вернулась так скоро, чего нахмурилась, как туча перед дождем?

– А! Лучше бы дома сидеть! Придумала, будто за ситом пришла, и тут же домой.

– Не таись, не надрывай молчанием свое сердце, глупая женщина.

Цираца швырнула сито, и оно, подпрыгивая, покатилось к очагу.

– Что за муха тебя укусила? – вспылил Зазий.

– Та же, что и тебя у Тлимафа. Теперь в доме его зятя уже не живет больше Хатай, вот они и радуются, что их молодожены остались одни.

– И что же ты видишь в этом плохого? – удивился Зазий.

– А ты не видишь, как они унизили нас? Сколько росла на моих глазах Накура, сколько я видела красавицу своей невесткой, так нет же! Они выдали ее за шалопая Калакута. Видишь ли, о нем болтают, будто предводительствует тфокотлями. Вот невидаль какая: верховодит голодранцами! А мой сын верховодит могучим войском Крыма, купается в золоте! Хватит, старик, возиться с ложкой! Хоть раз послушай меня хорошенько!.. Если бы я не носила его во чреве своем, не вскормила грудью своей, не покоила его сон ночами, его бы и на белом свете не было, а теперь! Сколько лет я не видела его, а он не может приехать, чтобы хоть посмотрела в его глаза, услышала голос его, за плечо бы потрогала...

Конечно, Зазий не просто бросил свои слова на ветер, а и в самом деле готов по-мужски рассчитаться с сыном-отступником, но вот он слушал Цирацу, не только голос ее слышал, но и сердце. Тесно сделалось у него в груди, и теснота эта давила на сердце. Он, с трудом одолевая эту тесноту, сочувственно сказал:

– Да, Цираца, да, мать сына моего, я понимаю тебя, но если он приедет сюда, его тут же схватят и убьют.

– Я знаю, но слышала, тайком он бывает в наших краях. Мог бы, мог тихонечко и к матери своей заглянуть. Э, Зазий, если бы он был настоящим нашим сыном, мог бы забрать нас в Крым, чтобы мы в старости не бедствовали. А еще,– перешла Цираца почти на шепот,– мало ли что может с ним, с воином, случиться в наше страшное время, и все его богатство достанется ногайской женщине, а мы останемся ни при чем...

Зазий остановил ее хмурым взглядом:

– Поступай, старая, как хочешь, а я свою хату не поменяю ни на какой дворец, хоть весь он будь золотым.

Спустя несколько дней после этого разговора Зазий незаметно для стороннего глаза стал собираться в Крым, чтобы встретиться с сыном.

Подковал коня, поправил седло, сбрую – путь не близкий, все должно быть надежным. Харчей в дорогу не брал – пока будет ехать до самого моря по адыгской земле, всегда и всюду открыты для каждого путника гостиные, где рады накормить, уложить спать и утром проводить. Да и в Крыму, подумал он, живет немало добрых людей. Опять же – сын его – ханский баскак. Однако на всякий случай прихватил с собой немного монет.

Единственный человек, от которого Зазий не таился, был Тлимаф, к воротам которого он ранним утром и подъехал.

– Какой ты нарядный, будто на праздник едешь,– улыбнулся Тлимаф, приветливо глядя на гостя.

– Зачем я еду, ты знаешь,– угрюмо ответил Зазий,– а что нарядный, пусть там не думают, что мы здесь нищими живем.

– Правильно,– согласился Тлимаф,– мужчина всегда должен мужчиной выглядеть, тем более на чужой стороне. Счастливого пути тебе, друг мой, не надо спешиваться.

Но Зазий с легкостью спешился:

– Разве можно мне смотреть на тебя свысока, да еще перед такой дорогой?

– А что Цираца?

– Я же сказал – никто не знает, кроме тебя. Цираца тоже... Видишь, Тлимаф, всякое может быть со мной, могу и не вернуться. Пусть старуха пока не тревожит свое материнское сердце.

– Да хранит тебя Аллах! – молитвенно сложил руки Тлимаф.– Поднимись в седло. Я подержу повод и стремя. На счастье, Зазий.

– Спасибо, Тлимаф, мой самый добрый друг!

Хорошо ехалось Зазию – и погода стояла добрая, и попутчиков в сторону Крыма хватало – не изведешься одиночеством.

Разговоры были разные, но все беззлобные. Зазий даже подумал с улыбкой: может, настала уже пора, когда утомились от скандалов и перебранок, подобрели люди.

«И ни разбойных крымских татар не видно, ни турок, вот тут и подумай о Сибоке, чего он больше нам сделал – вреда или пользы. Может, и Мамий уже стал другим»,– с надеждой он подумал о сыне.

На третий день услышал разговор двух попутчиков. Сначала они поговорили о том, как в схватке столкнулся Мамий с Калакутом, а затем о том, какой Мамий:

– Собачий выродок! Будто и вовсе не человек, тем более – не адыг...

Попридержал коня Зазий, отстал от попутчиков – уж очень больно сделалось его сердцу. И вдруг подумал, что, конечно, рассчитается с ним, но, наверно, надо бы ему рассчитаться и с самим собою. «Нечего всю вину сваливать на Цирацу, ведь сын взрастал мужчиной, а не женщиной, и прежде всего я за него в ответе, а уже потом злые, жестокие, властолюбивые, грязные люди... Не научил я его добру, но и не учил же ценить золото дороже человеческой крови, да еще крови братской. Я лишу жизни не сына своего, а зло, которое поселилось в нем. Уничтожу его, и Аллах простит мне, ведь он тоже уничтожает зло, которое борется с добром».

Ранним утром с розовыми кудрявыми облаками подъехал Зазий к Керченскому проливу.

Он не был здесь уже несколько лет и теперь не узнал увиденное. Уютное прибрежное селение разрослось и вдоль берегов, и в степную сторону – конца и края ему не видать. Большие красивые дома и хатенки под нахлобученными соломенными крышами, с подслеповатыми окошками. Сараи и сарайчики, плетни выше человеческого роста, навесы, оплетенные виноградниками. Сторожкие пирамидальные тополя, развесистые вербы, яблони и абрикосы, груши и вишни. И надо всем этим возвышалась мечеть с минаретом. Но главное, конечно же,– базар. Нарядные магазины, лавки и лавчонки, балаганы и балаганчики. И, понятное дело, разные харчевни, шашлычные, просто столы с пирожками и жареными курами, горы арбузов, дынь, тыкв, телеги с яблоками, грушами, виноградом, с венками лука, чеснока и перца. От такого изобилия просто разбегались глаза.

Как бы отдельно – другая площадь, где торговали лошадьми, скотом, птицей. Там стояло неумолчное ржание, мычание, блеяние и переругивание продавцов с покупателями. Базар жил своей многоголосой, шумной жизнью, не утихающей с утра до позднего вечера.

Люди в черкесках и бешметах, в длиннополых халатах и в пиджаках, в суконных брюках и ярких шароварах. Смуглые и белолицые, жгуче-черные и русоволосые, и говорят на разных языках, но все одинаково улыбаются, радуются, грустят и печалятся. Каждому из них надо что-то продать или что-то купить для дома, для семьи. Им всем одинаково нужно солнце и небо.

Под разлапистым каштаном мужчины в черкесках и бешметах на разостланных бурках закусывали лепешками, вяленым мясом и виноградом. Но вот заиграли зурначи, захлопали ладоши. Двое мужчин – один в черкеске, другой в бешмете – пустились в пляс, стремительный, летящий, неудержимый. Потом выхватили кинжалы и стали друг перед другом выделывать ими замысловатые движения, показывая свою ловкость. И улыбались, улыбались, как только может улыбаться добрый, веселый человек.

Смотрел на них Зазий и тоже улыбался: вот так бы всем и жить. Вон их сколько, все разные, а ничего, есть, оказывается, и одно для всех, такое нужное – весело плясать с кинжалами, а не драться ими, радоваться жизни, человеческому счастью.

«Есть оно и почему-то нет его»,– нахмурился он и пошел в харчевню, чтобы поесть, а потом идти на пристань, откуда отправлялся в Крым паром.

За одним столом с ним сидели двое вооруженных татар. Подбирая кое-как слова, путая с адыгскими, Зазий не без гордости сказал, что он направляется в Крым, где его сын Мамий служит баскаком у хана.

Ногаи не то с подозрением, не то с удивлением глянули на него:

– Ты правду говоришь, старик?!

– Да,– почему-то шепотом ответил Зазий.

– Пойдем! – строго сказал татарин с жиденькой рыжей бородой и зачем-то положил руку на саблю.

В соседнем доме, куда привели Зазия, за большим столом, уставленным богатой едой, во главе шумной компании сидел Мамий. Зазию показалось, будто это сидел князь князей. Даже, может, и некто больший.

– Это ты, Мамий? Мой сын?! – задыхаясь, спросил Зазий.

– Да, это я,– с ухмылкой ответил Мамий.– Да вот не знаю, твой ли я сын?

– Как ты смеешь, собачье отродье! Перед тобою твой отец, давший тебе жизнь! Мне говорили, но я не верил, что ты стал таким, каким тебя вижу! – Зазий выхватил кинжал, но ему тут же подоспевшие телохранители вывернули руку и поставили его на колени.

Откинулся Мамий на спинку стула, с едкой усмешкой глядя на отца, сказал:

– Надеюсь, ты понял, как ценят, как берегут голову не только крымского хана, но и его баскака?

– Я понял, что твоя голова не только ничего не стоит, но и не должна жить, и даже если останусь один на белом свете, заберу то, что я дал тебе.

Мамий рассмеялся:

– А если я не дам тебе дожить до этого, безумный старик! Вон его с глаз моих! – крикнул он своим защитникам.– Отправьте туда, откуда он пришел. Пусть не думает, что я стану об него марать руки.

Когда Зазий, вернувшись домой, спешился во дворе, тут же кинулась к нему с веранды Цираца:

– Бог меня наказал за все мои грехи! Где ты пропадал?! Да на тебе лица нет, что с тобой?

Зазий, не обращая внимания на причитания Цирацы, расседлал коня, обласкал, поглаживая спину и шею, прислонился щекою, молча, про себя поблагодарил его.

– Ну скажи хоть что-нибудь, старик. Уехал молча и теперь глухим притворяешься. Если я обидела тебя, прости меня, дуру. Наверно, опять за сыном гонялся?..

Зазий ничего не сказал. Он знал, если расскажет о встрече с сыном, сделает ей очень больно. «Старая она уже,– подумал он,– совсем старая, а старики труднее переносят боль, уж я это знаю. Потом, потом, как-нибудь помягче скажу ей. Потом».

Они прошли в спальню. Зазий уже был под одеялом, а она все не уходила, ждала.

– В этот раз не гонялся я за ним, встретился, вот как с тобой.

– Ну и что, ну и что?! – вспыхнула Цираца.– Жив-здоров, все хорошо у него?! Да не молчи же!

– Все хорошо,– уронил Зазий и забылся.

На другой день он поведал Цираце, как встретился с сыном, но ничего, конечно, не сказал о кинжале.

– А обо мне спрашивал он? И... хоть в подарок немного серебра прислал?

– Замолчи, погремушка! – не сдержался Зазий.– Если я еще встречусь с ним, то привезу тебе его голову.

– Аллах меня покарал! – исступленно закричала Цираца.– Разве такое можно? Опомнись, старик!

Зазий сделал вид, что не слышал ее вопля и, стиснув зубы, ушел.

IX

Утро выдалось тихим и призывным, и Сибок пошел прогуляться. Шел тропинкою и вдруг будто из преисподней вырвался и подул ураганный ветер. Он то пригибал до земли деревья, то с ревом бросал их к небу. Подхватила князя березовая ветка и подбросила чуть ли не под облака. Он начал падать, хватаясь за ветки. Ухватился за одну, почувствовал боль и проснулся. Оказалось, сильно ударился рукой о стенку.

Надо бы подняться с постели, а князь расслабился весь, сидел, прислонившись спиной к стене. Телом расслабился, а сердцем, умом напрягся весь: уж не вещий ли это сон. Он не верил предсказаниям снов, но этот был такой яркий, и в такие тревожные дни, что Сибок задумался. Вернее, само собой подумалось.

«Вот уже несколько ночей почти не сплю, а тут вдруг среди бела дня... Старость берется за меня? Да чего ей не браться, когда годики мои уже далеко не молодые, однако нельзя же так вдруг, будто прыгнула она на меня. А все Калакут. Хотя он тут совсем ни при чем. Я сам взялся за дело не только не привычное мне, но и противное моему сердцу, уму. Думал, поеду подальше от дома, будто в глухой лес, поручу Ванатугу, мастеру всяких черных дел, жадному до золота. Но то ли судьба моя такая, то ли проделки шайтана: разбойник решил стать на праведный путь. Именно при мне ему это понадобилось! Когда он отказался от кисета, у меня шевельнулось какое-то сомнение, но ведь он не отказался от дела, а просто, зная меня, решил взять плату, когда все будет сделано. Да и как он мог пре-

дать меня, ведь нас никто не видел и не слышал, я мог бы обвинить его в клевете и князю Сибоку поверили бы люди, а его, вора, осудили бы, а мои байколы от него мокрого места не оставили бы... И все-таки пока надо оставить это, а то ведь потом, когда поползут разные слухи и догадки, его ничем не остановишь. Поднимется князь Джамбеч, поднимутся все мои враги, вот и получится сегодняшний сон в руку. Вон на какую высоту я поднялся: главный князь, от великого царя Ивана ко мне приезжают гости, мой сын при нем служит! И, как говорят люди, чем выше поднимаешься, тем страшнее падать. Вот тут и получится: сам себе выкопал могилу... О Аллах, пошли мне в дом достойного жениха, я, не задумываясь, отдам за него свою единственную дочь, и все безгреховно будет решено».

Княгиня Загирета очень рассердилась на Калакута, что тот приводил в девичью к Минсуре Хатая и Псамита. Сибок, стараясь успокоить ее, рассуждал так:

– У кого есть в доме девушка на выданье, к тому ходят женихи, и чем красивее невеста, тем больше их. Вот я и говорю: пусть ходят все, пусть их побольше, а последнее слово, как водится у нашего мудрого народа, за нами, родителями невесты!

Солнце солнцем, тучки тучками, а всему первым вестником ветерок. Вот и сегодня – в небе еще веселое солнце, белыми барашками гуляют по голубому небу тучки, но уже потянул с северной стороны ветерок, по-зимнему резвый, первый предвестник холодов.

Вышел князь на веранду в черкеске, в высокой серой папахе, глотнул бодрящего ветерка, ощутил как бы хрусткую свежесть, улыбнулся ей, спустился по ступенькам и увидел в соседнем дворе у сарая Калакута с Псамитом и Дарию с Накурой – они разгружали арбу с белыми тыквами и носили их в сарай.

«Хорошо,– подумал князь,– когда сосед видит улыбку соседа и не видит его хмурых бровей, значит, и тебе незачем хмуриться, чтобы не потускнело солнце, не набежала хмарь на небо».

– Помоги вам Аллах делать доброе, божеское дело! – весело поприветствовал князь, войдя во двор к Калакуту.

– Спасибо за добрые слова! – ответил Калакут.– Проходи, зиусхан. Ты видишь, какой богатый урожай. Это еще

только половина того, что уродило поле. Всем нам хватит, проходи!

– Спасибо, спасибо. А как там поживает мой друг Тлимаф? – спросил князь у Накуры.– Давно не бывал у него. Соскучился.

– Спасибо, он велел кланяться тебе.

– Счастливый тхаматэ держится в свои немалые годы молодцом,– сказал Калакут,– а его друг Зазий захворал, вот он и лечит его разными травами. Уж так заботится, как только умеют заботиться настоящие друзья. Но у Зазия такая болезнь, которую никто не вылечит. Это его единственный сын. Говорят, единственный сын все равно что у отца один глаз, но Мамий такой сын, что лучше жить слепым, чем быть его отцом. Так говорит сам Зазий.

– Вот видишь, сосед, не узнаешь, где тебя ждет бесчестье.– Князь отошел в сторонку, продолжая негромко говорить.– Ты, Калакут, знаешь меня лучше, чем кто-нибудь другой, ты знаешь, я человек терпеливый. Мне лучше стерпеть, чем обидеть кого-нибудь неосторожным или грубым словом, а тут взбесило меня, не сдержался я!

– О ком ты, зиусхан?

– Да о том, кто наплел на меня всякое. О Ванатуге я. Конечно, тот вор и бандит только и мог сказать тебе такое.

– Нет, Сибок, нет! Он не мог приехать из такого далека.

– Не говори, сосед, только он. И вот почему. Я ехал в Беслинею, чтобы узнать, не прислал ли из Московии Дударук какую весточку. Может, и о сыне моем что-нибудь скажут, а дорогой нам встретился Ванатуг и хотел навязаться в спутники. Я ему сказал твердо – нет, не хочу ехать рядом с тем, кто сделал столько горя моему соседу Калакуту. Он позеленел от злости и сказал: «Если так, я сделаю твоего соседа твоим врагом». Ты сам подумай, Калакут, разве я могу поднять руку на того, кого воспитал в моей семье? Конечно, моя дочь и Хатай выросли вместе, они как брат с сестрой, потому грешно им быть мужем и женой. Да будет во всем на то воля Аллаха.

– Я рад, что ты смягчился сердцем своим к Хатаю. А то ведь потушить в двух горящих сердцах святой огонь любви тоже большой грех. Еще мне надо выбрать время и посоветоваться с тобою по нашим тфокотльским делам, да и по другим.

– Свет солнца не доходит до людей, пока небо в тучах, но рассеются, обязательно рассеются тучи, солнце многое высветит.– Сибок был очень доволен, что Калакут обращается к нему за советом, так сказать, возвышает его. Стал уходить и, обернувшись, добавил: – Заневестилась, как говорят, моя дочь, и ее воля выбирать достойного себе спутника жизни. Спутника всей жизни, значит, нельзя с этим суетиться. Ничего не случится, если Хатай пока и подождет.

Глядя вслед князю, Калакут подумал: «Похоже, ничего ты не понял, похоже, твое княжеское «я» очень многое закрывает от души твоей, от сердца твоего, от доброго разума».

Сибок позвал Бжамита. Вскоре тот появился, нерешительно замер у порога, глядя на князя.

– Садись, Бжамит.

Тот смутился, пожал плечами:

– Но я не смею, зиусхан, я этого никогда не делал, как могу сидеть в твоем присутствии.

– Ничего, мы всегда что-нибудь делаем первый раз. Если кто-нибудь появится, встанешь.

Бжамит осторожно, будто садился на что-то колючее, опасное, сел, положив руки на колени, устремив взгляд на князя.

– Ну вот и хорошо,– улыбнулся князь.– Я знаю, Бжамит, ты из всех моих байколов, из всех, кого я знаю, самый надежный человек, самый верный мне. Даже из членов моей семьи...

Бжамит хотел встать, но князь задержал его, мол, не надо, все хорошо.

– Но, зиусхан! Как я могу равняться с членами твоей семьи?!

– Не перебивай,– опять улыбнулся князь.– Я так тебе скажу: первый враг в твоей семье – жена твоя. Если ты разойдешься с нею, она всему миру разболтает были и небылицы семейные. Слушай и мотай на свой ус, Бжамит. Когда дочь выйдет замуж, это почти чужой человек, потому что у нее своя семья, свое родство. А сыновья?! Старший остался царю Ивану служить, и я ему уже не указ. Подрастает младший, что из него выйдет? То ли дуб могучий, то ли бурьян полевой. Да-да! Спасибо, но не перебивай.

Тебя же я знаю – изо дня в день, уже многие годы, и ты ни разу не подал мне повода усомниться в тебе...

– Да, зиусхан! – заблестели глаза Бжамита, щеки зарумянились гордостью.– Надо будет, жизнь свою отдам за тебя!

– Сиди, сиди.– Князь положил руки на его колени.– Спасибо. Я никогда не сомневался в твоей верности, да отблагодарит тебя за это Аллах... Есть у меня дело, которое могу доверить на всем белом свете только тебе одному.

– Да, зиусхан!

– Помнишь, когда мы ездили в Дударукай, ты приводил ко мне в лес Ванатуга? Он давным-давно задолжал мне немного золота, вот я тогда в лесу и сказал ему – долг платежом красен, честен тот, кто возвращает его. Он вернул долг, но очень рассердился, прямо-таки рассвирепел и стал меня поносить среди людей всякими мерзостями.

– Как он смеет! – вскочил Бжамит.– Надо его проучить как следует!

– И, конечно,– князь закатил глаза,– дело не столько во мне, сколько в правде.

– Думаю, надо сделать так, зиусхан, чтобы из его поганого рта не исходило ни одно грязное слово!

– Ну-у,– как бы смутился князь,– не думаю, что ты сам должен заняться этим делом... Знаешь, наверно, зубатого Панахеса, он такой же мерзавец и бандит, как Ванатуг. Возьми этот кисет с золотишком. Панахес отца родного за него удушит, а тебе, моему верному байколу, честному человеку, не надо рук своих марать об эту гадость.

Взял кисет Бжамит, встал решительно:

– Прикажи, зиусхан, нынешней же ночью и отправиться мне в дорогу. Думаю, с этим нельзя тянуть, а то ведь худая молва ползуча, как змея ядовитая. Чем раньше мы ее остановим, тем чище будет божий мир.

Встал и Сибок.

– Ты прав, Бжамит, суетиться не надо, но и тянуть с этим нельзя. Думаю, завтра же приготовишь коня в дорогу, все снаряжение всадника, а уж потом и отправишься. И еще, думаю, об этом деле ни одна живая душа, кроме нас с тобой, знать не должна.

– Да, зиусхан!

– Если Ацамук что-нибудь спросит, скажешь – в Дударукай ездил, мол, кое-какие дела улаживал.

Ночь одела землю в крупный, искристый иней. Сверкающим покрывалом укрыла поля и луга, крыши домов и сараев, на ветвях деревьев развесила серебряные гирлянды. Это, как говорят, зима наступила на пятки осени.

Вышел князь Сибок солнечным утром на веранду и возрадовался, как он сказал себе, сказочному, божественному сиянию подлунного мира. Легко и просторно стало у него на душе. «Хорошо, это хорошо в дорогу Бжамиту, пусть она будет ему удачной в совершении наказания зла... Помолись, помолись, князь, чтобы твое дело было скрыто вот так же чисто, как укрыта земля инеем». И Сибок решил с сегодняшнего дня почаще находиться среди людей, на виду у всех, чтобы ни в чем дурном не могли его заподозрить. Он объедет все скотные дворы, побывает в отарах овец, на конюшнях, где выращивают скакунов. И, конечно, даст несколько баранов и бычков бедным, многодетным людям, преподнесет молодым хорошие подарки на свадьбах.

– Ацамук, вели приготовить коней мне и Камболету. Поездим мы с ним по нашим княжеским владениям, ведь когда долго не бываешь в хозяйствах, людям начинает казаться, будто они и есть сами хозяева. Да и Камболету нашему пора видеть, что его ждет в недалеком будущем, пора ему постепенно к делам приучаться.

– Я его иногда беру с собой. Он уже хорошо держится в седле и, ты знаешь, очень интересуется, обо всем расспрашивает меня, присматривается. А куда это наш Бжамит делся?

– Слыхал, что старший брат Дударука собирается послать к нему в Московию своих людей с подарками, вот и решил попросить его – пусть кое-что передадут и нашему Кудадеку. Чтобы не отягощать сильно, решил передать немного золота и серебра, пусть и там чувствует себя человеком.

– Очень хорошо ты решил. Пусть и там знают наших.

– Да, конечно, только не надо об этом никому говорить, а то ведь злые языки станут болтать, что мы заискиваем перед царем.

– Да,– согласился Ацамук,– болтунов у нас, пожалуй, больше, чем истых хлеборобов. Не будем зря тратить время, зиусхан, поехали – мой и Камболета кони готовы, мы с ним сегодня тоже собирались проехаться. Уж больно хороша погодка.

– Хорошо ли одет в дорогу Камболет?

– Как и полагается мужчине, при кинжале,– улыбнулся Ацамук.

– Значит, доброго нам пути.

Просторный скотный двор был обнесен добрым плетнем. Коровник и кошара размещались в длинном приусадебном сарае. Тут же колодец с журавлем, поильные корыта, скирды сена и соломы.

Из трубы пристройки, где размещались скотники, струился душистый дымок.

Их встретил у ворот старший скотник – детина в овчинном полушубке и мохнатой овечьей шапке. Весь обветренный, крепкий, как сам ветер, как сама степь.

– Чабаны жарят бараньи потроха,– улыбнулся Сибок. Он хотел быть добрым, как и собрался с самого утра. Хотел, чтобы видели его хозяйскую доброту.

Скотник тоже улыбнулся в пушистые черные, уже с сединой, усы, но не без смущения.

– Жалко, дело у нас, торопимся, а то с удовольствием посидели бы с вами, по кружке бузы выпили... Снаружи, вижу, уже хорошо сарай утеплили свежим камышом. А как изнутри?

– Все в наилучшем виде, зиусхан, как ты велел.

– Молодцы. Вели-ка сегодня же отвезти трех-четырех барашек вдове Биче. У нее свадьба.

– Так, зиусхан,– ухмыльнулся из-под мохнатых бровей скотник,– трех или четырех?

Рассмеялся главный князь:

– Раз ты переспросил, добавь тогда еще и пятого. Послушай, почему это у тебя вскрыты сразу две скирды сена? Чтоб ветром разносило вокруг, разве по-хозяйски это?

– Нет, зиусхан, мы так аккуратно берем, что ветер тут ни при чем, а почему сразу две – да потому что в одной скирде сено очень хорошее, а в другой похуже, вот мы и смешиваем его, чтобы все съедалось.

– Ах, какой ты молодец! Посмотри, Камболет, учись, как надо хозяйствовать.

Побывав еще на двух кошарах, осмотрев озимые посевы, заскочили в лес, где заготавливались дрова, и ближе к вечеру вернулись домой. Бодрые, веселые, зарумяненные первым ласковым морозцем.

После ужина Ацамук, собравшись уходить, сказал:

– У Бжамита очень быстрый конь.

«К чему бы это он?» – удивленно и в то же время рассерженно подумал Сибок и сказал:

– Если верховой конь небыстрый, значит, он не конь, если бык несильный, значит, он не бык, а твой конь – норовистый.

– Нет, зиусхан, напрасно ты так, я своим конем очень доволен, но конь Бжамита резвее моего.

– Ухаживай за своим получше, и он будет резвее,– не переставая сердиться, сказал Сибок и добавил:

– Сегодня вечером пойдем на свадьбу к вдове Биче. Как сказал один мудрец: спешите делать добро.

Ацамук ухмыльнулся, но ничего не сказал.

Ночью пошел мохнатый и, как показалось Бжамиту, теплый снег. Он – белый, а ночь от него почему-то стала темней, какой-то непроглядной, или это казалось ему.

У Панахеса домишко невзрачный, подслеповатый, покрытый уже ставшим трухлявым камышом. Хилые ворота, тесная калитка.

Как говорит пословица, кто нечестно живет, тот чутко спит.

Услышал Панахес осторожный цокот копыт, притаившись за занавеской, выглянул из окна, но ничего толком во мгле не увидел – только силуэт коня и человека.

Быстренько накинул бешмет, пристегнул кинжал, напялил папаху и, стоя в сторонке у притолоки, приоткрыл дверь на веранду.

– Панахес, это я, Бжамит из Жанеи.

Кинулся Панахес к калитке, убедившись, что это и в самом деле Бжамит, спросил:

– Тебя встречать, как гостя, или... чтоб никто не видел?

– Я не только в гости, но и по важному делу приехал,– уклончиво ответил Бжамит.

– Иди в дом, а я заведу коня в сарай.

– Я подожду тебя здесь.

– Нет,– твердо сказал Панахес.– Хоть ночь и темная, у нее есть свои уши и глаза. Иди в дом.

Бжамит в темноте, на ощупь, прошел в дом.

Вернувшись, Панахес зажег светильник, развел огонь в очаге.

– У меня есть зажаренный ягненок, сейчас подогрею и накормлю тебя. Славный такой, жирненький попался,– засмеялся Панахес.– Ты же знаешь, я один живу, научился вкусно готовить. На-ка вот этот румяный кусочек. А приправа из перца. Ну как?

– Знаю, ты мастер на все руки... Вкусно, очень вкусно. Мой хозяин сказал: если и есть человек на адыгской земле, кому можно доверять серьезные дела, так это Панахес.

– Спасибо. Ты ешь, ешь. Ягненок молоденький, такой мягонький, губами есть можно... Думаю, мы с тобой знаем, что к чему в этой запутанной жизни, а поэтому не будем ждать гостя три дня, как нас учат выживающие из ума старики, а сразу и приступим к нашему делу. Но ты сначала доешь этот лакомый кусочек, я подожду. Да не спеши, кушай спокойно, торопиться нам некуда.

– А я уже... Есть важное для зиусхана Сибока дело,– сказал Бжамит, вытерев ладонями жирные губы.

– За Сибока – хоть в огонь, хоть в воду. Да если еще и важное дело! Слушаю тебя, Бжамит.

– Вонючий Ванатуг своим грязным языком распускает всякие сплетни о нашем главном. Можно сказать, унижает, позорит его перед тфокотлями, перед всеми нашими зиусханами.

– Он что, совсем обалдел?! – вскочил Панахес.– Надо заткнуть его поганую глотку, чтобы захромал и на другую ногу!

– Я рад, что ты так болеешь душой за нашего славного зиусхана, за человека, которого уважают не только у нас, но и в дальних землях. Садись, садись, дружище.

– А чего эта хромая бестия хвост поднял на такого знатного человека?

– Он брал взаймы у зиусхана золото. Все сроки прошли, а возвращать долг не собирается. Вот и клевещет на него повсюду, чтобы как-то оправдать свой подлый поступок.

– Это как же?! Что за хамство?!

– Верно ты сказал – хамство. Вот зиусхан и потребовал у него. Тот, правда, отдал, но до того разозлился, что напридумывал о нем всякое и стал распускать по ветру.

– Вон какие дела... Ванатуг, говорят, перестал заниматься грабежами, но разве это не грабеж – не отдавать долги? Я сколько раз говорил ему: что украл – твое, а что в долг брал – обязательно верни. Это для нас святой закон.

– Вот видишь, Панахес, какой ты мудрый. Думаю, надо Ванатугу так намять бока, чтобы он, как ты сказал, и на другую ногу стал хромать.

– Ну нет, Бжамит! Слишком много чести ему будет, чтобы я выходил на поединок с ним. Его нужно прибить как бешеную собаку. Скажи мне лучше, сколько стоит его голова?

Бжамит протянул ему кисет, подумав: «Да ты ведь тоже добрая сволочь».

Панахес взял кисет, потискал в руке:

– Хорошая цена. Пусть это будет пока у тебя – не люблю заранее брать. Чтоб совесть была спокойней... Завтра встанем до рассвета и пойдем в лес, хромой дьявол обязательно придет охотиться по первому снежку в дубраву на кабана. Я знаю его излюбленные места, там и накроем.

Панахес скоро уснул, сладко похрапывая, а Бжамит все ворочался с бока на бок: не зря, говорят, два волка не поворачиваются друг к другу спиной. «Что этому голубчику придет темной ночью в голову, как он поступит, как поведет себя – разве узнаешь».

И все-таки, как ни крепился Бжамит, уснул, но не крепко – услышал осторожные шаги Панахеса.

– Спи, спи, еще рано. Снежок стихает – это хорошо.

Бжамит почему-то успокоился и уснул.

– Вставай, друг, ты так сладко спал, что я даже позавидовал. Настоящий мужчина, есть у тебя сила... Я уже завтрак приготовил, поднимайся. Вон там в углу ведро, вода и полотенце. Садись ешь, а я пойду лошадей приготовлю, и тронемся в путь.

Дом Панахеса в небольшом селении второй от края, и почти от него начинается белый заснеженный лес, привольно раскинувшийся на пологих холмах. А там, за

холмами, под небом – горы, тоже одетые в праздничные белые одежды.

В лесу они подъехали к глубокому оврагу, поросшему мелким кустарником.

– Спустись по этому краю вниз, там у дуба начинается кабанья тропа. Притаись за орешником, а я выйду с другой стороны. Когда появится Ванатуг, покашляешь, он обернется, тут я его и достану.

– А если он будет не один?

– Нет, он свою добычу ни с кем не делит. И вообще, как старый бирюк, не любит никого рядом. Этим мы и воспользуемся.

Они ехали молча малым осторожным шагом. У опушки остановились, прислушались. Панахес сказал:

– Ты знаешь, Бжамит, я никогда не занимался подобными делами... и сейчас пошел, конечно, не из-за золота, а чтоб уважить зиусхана Сибока, а заодно и грязь убрать.

– Посмотри, Панахес,– встревожился Бжамит,– там кто-то выехал из села. Кажется, конь Ванатуга, а вот сам ли он в седле, никак не пойму...

– Он. Давай за орешник. Подождем, когда спиной к нам обернется... Все хорошо. Езжай теперь на свое место. И поосторожней, чтобы не спугнуть его.

Они разъехались.

Вскоре Ванатуг показался на тропе в овраге.

Бжамит припал к гриве коня, будто изготовился к прыжку. Выехал на тропу и Панахес. Он поднял, приветствуя, обе руки:

– Хоть раз опередил тебя, великий охотник! Будем надеяться, что и для нас двоих охота окажется удачной! – весело говорил Панахес, а когда он поравнялся с Ванатугом, Бжамит громко закашлял.

Оглянулся Ванатуг, и Панахес тут же всадил в его спину кинжал по самую рукоятку.

Рванул своего коня Бжамит, поднявшись в стременах, вонзил свой кинжал в Панахеса...

Спешился, брезгливо вытер его о полу черкески, затем взял кинжал из руки Панахеса и воткнул в рану Ванатуга.

С великой завистью посмотрел он на коня-красавца Ванатуга, даже потянулся к нему, но сдержал свою руку.

Вскочив в седло, дал шпоры своему каурому и помчался навстречу поднимавшемуся над лесом веселому солнцу...

X

В здешних местах погода меняется, как полет быстрой птицы в небе. Только что светило яркое солнце, и вот, появившись из-за гор, его наглухо закрывают тучи. Тучи – это и снег, и ливень под грохот грозы, и просто хмурое небо. Вечером подул с моря теплый ветер, а к утру, откуда ни возьмись, морозец.

Если бы только погода, а то ведь и жизнь всего этого края, от Каспийского моря да Азовского, настолько переменчива, стремительна, что и предвидеть невозможно, что будет с тобой, с твоим домом, с твоей семьей. Такова земля, где живут испокон веков адыги, земля, созданная Всевышним, как райский уголок необъятного мира.

Говорят, еще не назначенная встреча – далека, а назначенная – рядом. Но это только говорят, потому как порою долгожданная встреча может оказаться такой далекой, что не хватит сил дойти до нее, не хватит терпения дождаться.

Князь Сибок должен отправиться в Москву.

Приезжавший из России по поручению самого царя воевода со стрельцами укрепил прочность положения главного князя Жанеи. Вроде бы притихли его враги, меньше стало сомневающихся в его затеянном деле. И не только в Жанее крепло оно – шире, дальше и дальше зашагало от селения к селению.

Отправляясь в дальнюю дорогу, подумай, позаботься и о том, что оставляешь дома.

Не годилось это, согласно обычаю, но князь наказал жене, настоятельно попросил, чтобы до его возвращения из Москвы дочь не вздумала что-либо предпринять по своей воле. Оставляя Ацамука на хозяйстве за старшего, поговорил с ним князь и об этом. «Ведь ты будешь в ответе не только передо мною, а и перед всем нашим княжеским родом. Будь во всем аккуратен, уважителен, но в главном – по-мужски тверд».

И еще одно семейное дело, которое, хочешь или нет, стало семейным – это дело с Ванатугом. Бжамит сказал,

что не собирался убивать Панахеса, просто когда вскинуты в бою кинжалы, тут ум мало чем помогает. Поверил этому князь, но тфокотль как-то невзначай замолвил, что Панахес, мол, не лучше Ванатуга и не стоит княжеского золота. Если бы Бжамит утаил это золото, был бы понятен его злой умысел, вышло же хоть и не хорошо, но все чисто. Князь велел ему молчать об этом, утаить и от Ацамука решил.

Об этом размышлял князь в кузнице, пытаясь выковать подкову, а она получалась какой-то кривобокой. Ацамук усмехнулся:

– Похоже, голова твоя занята чем-то другим, а не подковой, вот она и скособочилась.

– Правда твоя, я сейчас подтяну этот уголок, будет, по-моему, все как надо.

И заработал, заработал молотком Сибок. Выправил косину и весело, победно рассмеялся.

– Пора,– сказал он,– кончать работу, скоро Калакут придет.

– Вы помирились?

– А разве мы ссорились? – удивился Сибок.

– Ты говорил, какая-то размолвка у вас с ним была.

– Размолвка – не ссора. Нельзя, зиусхан, ссориться с соседом. Даже если он попытается, ты не должен этого допустить. Так говорил мне когда-то отец. А разве Калакут говорил тебе что-нибудь? – насторожился Сибок.

– Нет. Я просто так.

– О-о, в таких делах ничего нельзя – просто так.

– Опять ты оказался прав, зиусхан. Прости мою глупость.

– Раз ничего не было, так и прощать нечего.

Они помолчали, как бы ожидая чего-то. Пожимая плечами, заговорил Сибок:

– Не пойму, что нашел наш сосед в Хатае, почему держит у себя под боком, ведь у него есть отец, есть родовое поместье... Ты прав, небольшая размолвка у нас с ним была. Я попросил его поговорить с Хатаем, добром объяснить ему, что мы не хотим иметь его своим зятем. Что ж тут такого, родители не только имеют на это право, они обязаны заботиться о благополучии своих детей. Калакут согласился со мною, на этом и кончилась наша размолвка,

остались добрыми соседями. Но ты не говори с ним об этом, так будет лучше.

– Согласен. А куда уехал Калакут?

– В Бжедугию. Он там в западных селениях готовит тфокотльское хасэ, а с восточными пока у него не получается.

– Точно так же, как у тебя сейчас все-таки не получилась подкова. Дай-ка, я ее доделаю.

– Да выбрось ты эту кривую железку!

– Нет, зиусхан. Отец говорил – нельзя выбрасывать подкову. Она не просто железка, а подкова. Посмотри, брат,– еще удар, еще один посильнее, а этот – поточнее... И, кажется, получается.

– Вон как здорово ее выправил! Да ты, оказывается, настоящий мастер, меня обскакал, а я, как отзываются люди, неплохой кузнец.

Они вымыли руки, Сибок сел на табурет, кивнув Ацамуку на другой, мол, садись, отдохнем, поговорим.

– Как ты думаешь, Ацамук, мое дело и дело тфокотлей, которым занят Калакут, а ты, кажется, его поддерживаешь, не противоречат одно другому? Почему молчишь? Выходит, я зря ездил в Московию, оставил там сына на службе царю. И опять молчишь, тогда я как старший твой брат, как главный в Жанее, должен, обязан сказать: раз и навсегда выбрось из головы бунтарские тфокотльские мысли, иначе, уезжая туда, в далекую страну, как я могу доверить тебе Жанею?

Наступило короткое и совсем не мирное молчание. Сибок встал и твердыми шагами пошел к двери.

– Старший брат! – вскочил Ацамук.– Прости, пожалуйста, но мне думается, я твой единомышленник, а сказанное мною... я просто не сумел поточнее выразить свои мысли. Ты только подумай, зачем мне дела тфокотлей, над которыми судьба возвысила меня зиусханом? Ведь мы с тобою – два лезвия одного кинжала.

– Вот! Это уже слова зиусхана! – обернулся Сибок.– Много ли нам с тобою надо, брат? Наши заботы, наша душевная боль – прежде всего о благополучии всех адыгов, а значит, и о тфокотлях. Надо прислушиваться, присматриваться к ним, ведь это наш народ, наша сила, ее надо уметь использовать, но ни в коем разе не разрешать своевольничать... Я рад за нас с тобою, брат, и спокойно пойду, хочу немного отдохнуть.

Глядя вслед старшему брату, Ацамук думал: «Вот видишь, главный князь, в чем-то и я прав. Младший, но не настолько уж, как иногда тебе кажется... Князей можно по пальцам пересчитать, а тфокотлей вон сколько. Да еще такие, как Калакут! Один за сотню, а то и больше сойдет. У него есть то, что очень редко встречается среди нас, грешных. А как женился, и вовсе стал степеннее. Зная свою силу – не только рук, но и ума, сердца, он не возвышается ни над кем, никого не унижает, а как спокойно и мудро ведет себя с князьями, которые настроены против него в делах адыгов. И, избавь меня Аллах, стать между ним и Сибоком. Но как тут быть? Калакут по своим мыслям, по намерениям мне ближе, чем брат. Так ближе, как адыги, а не урусы, не ногаи, не турки, будь они хоть самыми большими и бескорыстными нашими друзьями».

Вздул Ацамук горн, сунул в ярый огонь пластинку железа, хотел что-нибудь выковать, глядя на огонь, все думал, а что же именно.

– Ацамук! Быстро к отцу! – вбежал в кузницу Камболет.– Там приехали ногайские всадники.

– Ого! Уже и не помню, как давно у нас они были.

– Один, худощавый, хорошо говорит по-нашему, а другой – не знаю! – все шептал Камболет.

В гостиной Ацамук увидел Мамия и Сарбая. «Вон как! – подумал он,– такие люди среди белого дня разъезжают по Жанее – что бы это могло значить?»

Сибок понял брата, улыбнулся ему:

– Зиусхан, к нам пожаловали нежданные гости. И хоть по нашим обычаям нельзя спрашивать, я все-таки спрошу у гостей – по какому делу вы приехали?

– У нас дело к одному тебе. Только к тебе,– об этом нам строго наказали,– нахмурился Мамий.

Сибок пожал плечами:

– Не знаю, как тут быть. Это зиусхан Ацамук, мой брат, а это – тфокотль Бжамит, которому я доверяю, как самому себе.

– Ясно, зиусхан. Хорошо, что доверяешь своему тфокотлю, что у тебя есть такие верные люди, но для нас, для наших переговоров – он только тфокотль. Что касается

Ацамука... в этих тайных переговорах пусть будет вас двое и нас двое.

– Я не знаю, как сохранить тайну между двумя, а уж между четырьмя – только в сказке бывает,– усмехнулся Сибок.– А что касается тфокотлей, зря думают, что они совсем простенькие. Иной тфокотль, что необъезженный конь: не знаешь, что из него получится. Такое может сотворить, что потом только ахнешь. Ну, если вы не намерены засиживаться, слушаю вас.

– Мы хотим, чтобы ты встретился с посланником Аллаха, крымским ханом Давлет-Гиреем.

– Это вы хотите или крымский хан? – не без иронии спросил Сибок.

– Как хочешь, так и понимай,– сухо ответил Мамий.

– Ну! – удивленно воскликнул Сибок, а потом добавил:

– Коли так, считайте, что переговоры наши уже закончились.

Сарбай обеспокоенно заерзал на стуле и заговорил на плохом адыгском языке:

– Не обижайся на Мамия. Вы обязательно должны встретиться.

– Именно так я и понял: хан этого хочет, это его воля, только вы как-то невнятно говорили об этом.

Глядя исподлобья, Мамий заговорил в своем тоне:

– Посланник Аллаха, крымский хан Давлет-Гирей, послал нас к тебе. Мне приятно, что ты это понял, зиусхан.

– Я это понял, но то, как ты со мной разговариваешь, мне не нравится. Ты плохо выполняешь свои обязанности ханского посланника.

– Я хочу, зиусхан, чтобы ты понял – я не просто посланник...

– Знаем, что ты баскак,– перебил Мамия Ацамук,– и не смей равняться с главным зиусханом Жанеи, а просто скажи, что тебе велено сказать.

Злостью сверкнули зеленоватые глаза Мамия: «Попался бы ты, князек, мне где-нибудь в лесу...»

– Крымский хан хочет встретиться с главным зиусханом Жанеи один на один, но сначала он должен встретиться с сыном, Адыль-Гиреем. Надо назначить время и место их встречи.

– Если крымский хан хочет встретиться со мною, я согласен, но без всякой предварительной встречи с Адыль-Гиреем. Если говорить о сыновьях, то с ханским сыном может встретиться мой сын, который служит в Московии в воинстве царя Ивана. Но это не просто, поэтому с Адыль-Гиреем может встретиться мой младший брат Ацамук. Если же хан передумает и решит без всяких предварительных встреч встретиться со мною, то я готов. Меня приглашает в Московию наш союзник царь Иван, отправлюсь туда через месяц, за это время мы и должны будем встретиться с ханом. А вот где мы встретимся... В Крым поехать не могу, предлагаю на берегу Керченского пролива с нашей стороны. Берег базара, на который съезжаются люди с разных сторон. А можно встретиться и в Тмутаракани. Очень хорошее место. Буду ждать ответа хана, пусть шлет его без промедления.

Закончив разговор, Сибок велел Ацамуку проводить гостей за околицу.

– Не надо,– возразил Мамий.– Как приехали, так и уедем.

– Напрасно. Вы же мои гости, я обязан... А то вдруг столкнетесь с Калакутом, с верными ему людьми, они не пощадят вас...

– Волков бояться – в лес не ходить,– криво усмехнулся Мамий.

– У нас тут недавно был случай,– улыбнулся Ацамук,– один волк задрал двух вооруженных охотников.

Фыркнул Мамий и, можно сказать, выскочил со своим напарником из гостиной.

Братья потом громко, с удовольствием хохотали.

– Помнишь, я тебе как-то говорил, что Давлет-Гирей сам придет к нам,– сказал Сибок.

– Очень даже интересно, согласится ли хан на твое, я бы сказал, унизительное для него предложение.

– Он понял, что попал в тиски между Русью и Турцией, что ж ему, бедному, остается делать. Тут, конечно, не обошлось без наших ходов-выходов, когда я повернулся лицом к Руси. Знал я, что это раздразнит и Турцию, и Крым. Сегодня Давлет-Гирей еще пытается надавить на нас, а завтра уже не сможет – покрупнее силы вступили в эту, я бы сказал, довольно крупную игру. А произошло это по

их глупости. Ведь они – наши соседи, братья по вере, и мы надеялись, что перестанут творить бесчинства на нашей земле, что мы все вместе задружим, однако они не вняли разуму.

– А это правда, будто Русь и Турция заключили между собою тайный союз по отношениям с нами?

– Правда, зиусхан, правда, но если даже два человека не могут сохранить свою тайну, то что можно сказать о государствах! О каких тайнах можно говорить в мире, где люди, кривя душой, говорят о благородстве и чести, требуют плату кровью...

При этих словах Сибок, вспомнив смерть Ванатуга и Панахеса, вздрогнул.

Помолчал и притихшим голосом продолжил:

– Тайна – это хитрость. Порою даже – коварная. Такую же тайну держит про себя и Давлет-Гирей, иначе зачем он прислал, да еще Мамия. Говорят, гордый – дрожит, больной – стонет, подождем, посмотрим. Конечно, Русь тоже хитрит с нами, но! Посмотрим, как дальше себя поведет она. Пока вроде бы все хорошо.

Ацамук сокрушенно пожал плечами, покачал головой:

– Если бы я не видел своими глазами, не слышал своими ушами того, что сегодня здесь произошло, ни за что бы не поверил. А скажи, зиусхан, что подумают урусы, узнав о нашем сегодняшнем разговоре, что скажут турки?

Сибок сощурился в усмешке:

– Нет, не над твоим вопросом смеюсь, я подумал: если бы урусы и турки не прятались от нас своими тайными переговорами, то вряд ли появились бы наши сегодняшние переговоры.

Прошло три недели со дня приезда Мамия в Жанею. Наконец из Крыма, конечно, тайком, прискакал посланник от хана и сказал, что Давлет-Гирей согласился встретиться с Сибоком на берегу пролива, от имени хана предложил день и час. И еще от его же имени попросил по возможности соблюдать скрытность этой встречи, чтобы она не была многолюдной.

Сибок согласился: чего же возражать, если хан вежливо просит, а не требует. Отправился князь в назначенный день, как обычно, всего лишь с семью байколами.

Ацамук тем временем проехал от села Каншаукова до самого берега Керченского пролива и всюду тайком от посторонних оставил своих людей.

Сибок и Давлет-Гирей встретились после полуденного намаза в одной из комнат мечети.

Стоя, без стеснения, быстрым пристальным взглядом встретили друг друга и потом сели у стола один против другого. Сзади хана стоял, словно остолбеневший, Мамий.

«Последний раз мы виделись с ханом,– мельком подумал Сибок,– несколько лет назад, когда выкупили у него пятнадцать наших мальчиков и девочек. Не стареет он, не стареет, только и дела, что в его жидкой бороде появилось немного седины. Она даже украшает его, солидней делает».

«Он, этот главный князь жанеев, мой ровесник,– в свою очередь подумал и Давлет-Гирей.– Немало годочков уже за его спиной, а таким молодцом выглядит, будто время и не касается его. Дерзок, смотрит на меня, как на равного себе. Главный князь крошечной Жанеи».

– Дорогой хан,– улыбнулся Сибок,– а зачем за твоей спиной этот... мне кажется, и твоего адыгского, и моего ногайского вполне достаточно, чтобы мы с тобой поняли друг друга. Не утруждай его, пусть отдохнет.

Улыбнулся узкими, с желтизной глазами, тонкими губами хан:

– Ты прав, зиусхан, пусть человек отдохнет.

Мамия будто ветром сдуло.

– Мне сказали, хан, что ты хотел видеть меня. Я слушаю тебя.

– Дело, зиусхан, не только в моем желании, хотя я всегда рад видеть тебя, так наша жизнь с тобой складывается, что мы просто-напросто нуждаемся друг в друге.

«Не лукавишь, вижу, не лукавишь, хан. Ну-ну».

– Знаю, зиусхан, ты в начале будущего месяца отправляешься в Московию. Там они наобещают златые горы, но, скажу тебе просто, по-мужски: не верь им, обманут.

– Думаю, хан, ты это говоришь, зная на собственном опыте цену обещаниям. Я имею в виду твои отношения с Турцией. Спасибо тебе за совет, спасибо. Мне тоже хочется сказать тебе чистосердечно: если бы Турция и Крым жили

с нами, как живут добрые соседи, не позволяли лихим людям тревожить нас, ведь нам не нужны ни земли урусов, ни Крым, ни Турция – нас Аллах не обделил своей благодатью. И горы, и море, и плодородные степи, и доброе небо над нами, и солнце – все свое, всего в достатке.

– Я очень хорошо понимаю тебя и хочу сказать: не ставь нас на одну полку с Турцией и Русью. Крым тоже, как и ваш благодатный край, тоже очень небольшой, тоже между жерновами: между Русью и Турцией. Рано или поздно они нас сомнут, если мы с вами не сможем жить в добром, соседском союзе. Каждый сам по себе и в то же время – вместе... Не спеши, зиусхан, с решением, подумай все, и да благословит тебя Аллах... Может быть, наученный горькой жизнью, ты считаешь, что и я хитрю, но нет: Всемогущий знает,– поднял руки хан и молча помолился.

Князю Сибоку очень хотелось верить, потому как много горькой правды в словах хана, а еще потому, что очень устал жить в безверии... Он тоже воздел руки, подождал, пока хан молился, потом сказал:

– Спасибо тебе, хан. Твердо обещаю – Аллах тому свидетель,– я поступлю только в пользу жанеев, избравших меня главным князем, в пользу нашей многострадальной земли. Ты как глава ханства это хорошо понимаешь. Думаю, вернувшись из Московии, обязательно повстречаюсь с тобой. Если ты считаешь, хан, что наш разговор закончен,– расстанемся и с надеждой.

В первый день второго месяца весны 1560 года главный князь Жанеи Сибок Каншауков отправился с сотней своих воинов, специально подготовленных по просьбе русского царя, в Москву.

XI

У надежды нет начала и конца, она вечна и, как говорят, покидает человека в этом бренном мире последней.

Минсура знала, что родителей нет дома, и все-таки не без сердечного трепета и предосторожности отправилась к соседям, и только когда переступила порог дома и закрыла за собой дверь, облегченно вздохнула.

Накура встретила ее восторженно. Обняла и с веселым визгом закружила по комнате.

А хмурая Дария даже не поднялась ей навстречу.

– Вы что, пока нет дома Калакута, поссорились, чем-то не угодили друг дружке? – удивленно спросила Минсура.

– Что ты выдумала?! С чего бы это я ссорилась со своей милой невестушкой?!

– Значит, это я, Дария, испортила тебе настроение, ты хмуришься оттого, что я сюда пришла?

– А то кто же, кроме тебя, может сделать меня несчастной! Конечно, вы произошли от луны и солнца, а нас сделали из глины. Нас размазывают по стенам, топчут ногами!..

– Перестань, Дария, прошу тебя,– кинулась Накура к золовке, обняла ее:

– Успокойся, пожалуйста, не говори плохих слов, чтобы потом не пожалеть.

– Но скажи, что мне делать с собой, с болью своей? Она не дает мне житья, я не знаю, как с нею справиться.

– Успокойся, пожалуйста, пойми, не ты первая, кому досталась несчастная любовь, пойми, это от тебя не зависит, значит, и нечего убивать себя, донимать своей болью других.

Дария уткнулась головой в плечо Накуре и заплакала навзрыд.

Беззвучно заплакала и Минсура, кончиком платка вытирая слезы.

– Не надо, Дария, не надо,– слезно просила она.– Это наша судьба. Кто знает, как с нею справиться. Разве ты виновата, что полюбила его, а я виновата? В чем ты можешь меня обвинить. Надо нам с тобою послушаться Накуры и не говорить друг другу обидных слов. Мы с тобою всю жизнь живем вместе, и скажи, было такое, чтобы я обидела тебя?

– Не было, но теперь ты разбила мою любовь.

– Я твою? А не ты мою? – заплакала теперь и Минсура.

– Не надо, девочки, не надо,– взмолилась Накура.

– Я не знаю, я не помню даже такого в своей жизни, чтобы со мною не было Хатая. Он всегда был так, как бывает утро, вечер, теплый дождик или веселый ветер. Ходили по улице парни, приходили к нам в дом, но для

меня, даже когда была совсем маленькой девочкой, и потом – Хатай был единственным мужчиной.

– Теперь, девочки, давайте вот о чем поговорим. Вы обе любите Хатая, а кого любит он? Ведь у него тоже есть сердце, которое в любви мало ему подчиняется. Он к кому приходил свататься? Наверно, к тому, к кому позвало его сердце. А что он тебе сказал, Дария?

– Сказал, что я опоздала,– ответила Дария и опять заплакала.

– Не плачь, Дария, успокойся, моя хорошая. Не ты первая и не ты последняя. Как говорила моя бабушка: пройдет это, придет другое. Надейся, цветочек мой. И, конечно, Минсура здесь ни при чем. У каждого свое счастье.

– Ты считаешь меня счастливой, Накура? – горько улыбнулась Минсура.– Я никому не завидую, Дария, не завидуй и ты мне, не завидуй моему счастью. Не солнце, не луна меня родили, как ты сказала. Отец мой и дядя Ацамук любят иногда, как они говорят, поразмяться в кузнице, куют там разные разности, а мне кажется, они куют мне кандалы. Между мной и Хатаем судьба воздвигла непроходимые для меня и для него горы. Мы никогда не будем с ним вместе...

Вскочила Дария, кинулась к Минсуре, обняла ее, а потом отстранилась:

– Прости меня, Минсура! Что ж ты теперь будешь делать, что мне делать?

– Говорят, если в огонь не подбрасывать дрова, он потухнет. Бабушка сказывала: сердце влюбленной девушки – огонь. Потерпи, потерпи, и он потухнет. Ничего другого для нас с тобою не остается.

– Да-да, но где взять это терпение, у кого попросить?

Вытерла Минсура концом полушалка слезы, помолчала недолго, потом промолвила чуть слышно:

– У судьбы.

– Но судьба, как хочет, так и делает, она не слушает никого!

– Бабушка еще говорила: если старательно ее попросить, она может смиловаться.

– Хорошо бы! – вздохнула Дария.– Но как ее просить, какими словами?

– Не знаю. Наверно, у каждого свои слова.

Накура с улыбкой слушала разговор девушек и подумала: «Любовь, должно быть, может одного человека сделать счастливым, другого несчастным, третьего мудрым». Подумала и, вздохнув, сказала:

– Хорошие вы мои девочки, я вас так люблю. А теперь давайте поедим, я тут состряпала вкусный обед. Скоро отелится наша коровка, тогда у нас будет и молочко, и сметанка, и маслице. Садитесь поближе и принимайтесь за пищу.

Ели девочки нехотя, но все-таки ели, каждая думая о своем, каждая прислушиваясь к боли своего сердца, к его тревоге.

Говорят, Всевышний одарил людей благородным чувством любви, говорят, оно одинаково к богатым и бедным, к князьям и тфокотлям, но почему этот дар одних делает счастливыми, а других несчастными, причиняет сердечную боль? Как, кому и за что он достается? Чем и перед кем виноваты эти миленькие девочки? За что Хатаю такая участь? Нет, дар Всевышнего здесь ни при чем, это грешные люди виноваты, что они добро любви обращают во зло. И самое обидное, что Сибок, человек умный и добрый, как бы восстает против великого дара Аллаха...

– Где ты научилась так вкусно готовить, Накура?

– Как все – у матери.

– Спасибо тебе, ты настоящая кудесница. Ой, засиделась я у вас! Там, наверно, уже ищут меня. Дай обниму тебя, Накура... Хорошая ты моя, красивая, сестра моя.

Склонила к ним свою голову и Дария.

– Не сердись на меня, Минсура, мы теперь и вовсе сестры... по несчастью. Спасибо за бабушкин совет – пусть потихоньку угасает жар в наших несчастных сердцах.

Хозяева до калитки проводили гостью.

– Не забывай нас, захаживай. Говорят, двум лошадям легче катить телегу, чем одной, а трем легче, чем двум,– грустно улыбнулась Накура.

Все трое весело рассмеялись.

Накура жила в зажиточной семье, ни в чем не знала нужды, любила не только искусно готовить, наводить в

доме чистоту и порядок, но и ухаживать за садом, огородом, за скотиной и птицей.

Проводив гостью, они пошли вскапывать грядки.

После трудных для сердца разговоров и девичьих слез долго работали молча, как бы отдыхая после многословия. И все-таки не выдержали молчания, снова заговорили.

– Как ты думаешь, все ли будет хорошо у твоего брата в поездке? – с озабоченностью спросила Накура.

– Пока складывается удачно, тфокотли верят ему, но... Чем больше их будет поддерживать его, тем ему труднее, разве согласятся богатые, чтобы простолюдины, объединившись, противопоставили им свою силу?

– Но почему, если этого захочет сам народ, хлеборобы? – удивилась Накура.

– Захочет народ,– усмехнулась Дария,– ты выросла в благополучной семье, среди хороших соседей и думаешь, что весь мир такой... Когда все тфокотли выступят против них, думаешь, эти зиусханы со своими воинами будут сидеть сложа руки?

– Вы посмотрите, как она рассуждает! Откуда это у тебя?

– Мы дружно живем с Калакутом,– не без гордости ответила Накура.– Я не один раз слышала, как он разговаривал обо всем с Псамитом и не только с ним.

– Но послушай, ведь все люди хотят жить нормально, по таким порядкам, какие дал Бог.

– Правда, все от Бога. Одних он создал богатыми, других бедными, третьих умными. Калакут не против бедных, не против зиусханов и уорков – это на него наговаривают. И власть ему не нужна, лишь хочет, чтобы все адыги соединились в одну страну. Свою, адыгскую, без власти над нею Руси, Крыма или Турции. Чего он хочет, того хотят и тфокотли, потому и идут за Калакутом... Выбрали жанеи на хасэ главным зиусханом Сибока, так почему бы не созвать всеадыгское хасэ и не выбрать главного зиусхана всей адыгской земли?

– Значит, ты держишь сторону не зиусханов, а тфокотлей?

– Да! – с гордостью ответила Накура.– Тфокотлей и мужа своего!

– Наверно, вышла за него замуж не только потому, что он тфокотль? – улыбнувшись с хитрецой, спросила Дария.

– Конечно,– залилась румянцем Накура.– Тут мы с судьбой были заодно.

– Счастливая ты.

– Конечно... Только, дорогая, я тут ни при чем...

К воротам подъехал всадник, спешился, поприветствовал женщин:

– Я хотел бы видеть Калакута.

– Он в Бжедугии,– ответила Накура.

– А если поточнее – Бжедугия большая.

– Очень большая, он ездит по селениям, а где сейчас, одному Аллаху известно. Не обижайся на нас, путник, в доме нет мужчины, потому и не приглашаем войти.

– Понятно. А может, вы мне и без него поможете?

– Ты кто такой и откуда? – строго спросила Дария.

– Ох ты, какая серьезная! – удивился гость.– Это хорошо, а я – Тамтеч, из Махошии, прислал меня сюда друг Калакута. Кто же ты будешь?

– Зовут ее Дарией, сестра Калакута, а я его жена,– пояснила Накура.

– Ну вот и познакомились. Брат твой – богатырь, какие в сказках бывают, а ты такая маленькая, такая... красивенькая.

– Какой ты скорый! Не успел в дом войти, а уже все разузнал и мне наговорил всякого,– с ехидцей засмеялась Дария.– Если ты такой острый на язык, тогда скажи: женщина бывает красивее, чем выше она ростом, чтоб выше даже всадника?

– Да нет же, нет,– смутился Тамтеч,– я совсем этого не говорил. Ты такая, что к тебе ничего не прибавишь, не убавишь, от женихов, наверно, нет отбоя.

– Ничего, успеваю отбиваться, у меня не очень-то разгонишься, это ты уж очень разговорился! – рассердилась Дария.

А Тамтеч еще шире улыбнулся:

– Теперь вижу – ты и в самом деле сестра Калакута. Открытая, как лучная стрела, и...

– Что – и? – усмехнулась Дария.– Если ты приехал не свататься, скажи, что тебе надо, чем мы, в платках, можем помочь тебе?

– Дело, по которому я приехал, случилось давно, но люди толком не знают, кто в нем замешан, отчего оно случилось.

– В нем замешан Калакут?! – встревожилась Накура.

– Нет! Я просто хотел у него спросить. Не помните, когда выпал первый снег, Сибок или его люди никуда не уезжали?

– У нас только и дела,– ответила Дария,– сидеть у окна и смотреть, кто и куда поехал. Разве упомнишь все. Не то что в тот день, когда выпал снег, я уже забыла кого и вчера видела.

– Подожди, не озоруй, Дария,– задумалась Накура.– Я помню, в тот день у вдовы Биче была свадьба, и зиусхан ездил к ней с подарками. Об этом все потом говорили. И старший скотник хвалился, что у него побывал он и был к нему очень добрым... Не помню, чтобы кто-нибудь выезжал из двора Сибока. А что произошло, ты можешь сказать?

Покачал головой Тамтеч:

– Два разбойника, Ванатуг и Панахес, погубили друг друга.

– Так и надо хромому дьяволу,– мстительно вспыхнули глаза Дарии,– сам виноват, сует свой нос куда не следует.

Накура обняла ее за плечи:

– Знаю, какую боль причинил Ванатуг тебе и Калакуту, но он вернул же тебя домой. И не надо, не надо тебе возвращаться к тем страшным дням. Говорят же: Аллах прощает тому, кто раскаялся в своем грехе, надо и нам простить его.

– Я тоже так думаю. Тут главное, что теперь снимается подозрение со двора ваших соседей, с его людей... Ванатуг и Панахес – вы это знаете – почему-то поссорились и убили друг друга, но на том месте на снегу были еще чьи-то следы. Думаю, найдется и тот, кто оставил их. Ну ладно, спасибо, что помогли, кланяйтесь от меня Калакуту.

Проводили гостя. Глядя ему вслед, Дария сказала:

– И что он тут молол? Снимается подозрение со двора ваших соседей... Сибок со своими байколами уже в дальней дороге, а он – подозрение. И чего они не живут спокойно, не радуются простым маленьким радостям, а все чего-то суетятся, подозревают. Там еще чьи-то следы – вот и этот Тамтеч рыщет, ищет беду еще на чью-то голову.

– Хорошее ты слово сказала – рыщет. Как волк зубастый. Ну, хватит, Дария, а то, я гляжу, они нас с тобою втянут в эту кровавую историю. Давай ужин приготовим, может, Калакут вернется, как там в гостях ни кормят, а дома лучше.

Вошел Ацамук, сдвинул на затылок папаху, сдержанно улыбнулся.

– Спасибо, Ацамук, что пришел, мы тут вдвоем совсем заскучали. Садись,– усмехнулась Накура.

Сел Ацамук:

– Если женщина одна – она скучает, но если их две – как они могут скучать, да если еще у них и гость был,– ухмыльнулся он.– Говорят, приезжал к вам кто-то, вот я и пришел: может, случилось что-то нехорошее, моя мужская помощь нужна.

– Слава Аллаху, у нас все спокойно. Какой-то парень из Махошии приезжал.

– Чей он, какого рода?

– Тамтечем назвался,– ответила ему Накура.

– А зачем, что ему понадобилось у нас? – допытывался Ацамук.

– Хотел повидаться с Калакутом. Там, как он сказал, не поверили, что Панахес и Ванатуг убили друг друга, вот и прислали Тамтеча с каким-то подозрением, а с каким, мы так и не поняли.

– Но все-таки они кого-то подозревают? Не сказал он? – стараясь не показывать свою настороженность, спросил Ацамук.

– Не знаю,– пожала плечами Дария,– он только спросил, где был зиусхан Сибок, куда ездили его люди в тот день, когда выпал первый снег.

– Что же ты ему сказала? – чуть побледнев, спросил Ацамук.

– А что я могла ответить, сказала, что было: ездил по хозяйству, был на свадьбе, больше никто никуда не ездил.

– Все так и было,– облегченно вздохнул Ацамук и сердито добавил: – Как они там могли подумать недоброе

о главном зиусхане Жанеи, какое ему дело до тех разбойников. Его в Московии сам царь ждет, государственные дела.– Говорил он спокойно, а сам тревожился: ведь Бжамита в те дни не было дома, могут и о нем спросить: «Слава Аллаху, что эти соседки ничего не сказали о нем, должно быть, не заметили».

А женщины, конечно, были заняты своими делами, которые для них важнее всего.

– Поторопилась я немного,– усмехнулась Накура,– у него так светились глаза, когда смотрел на тебя, так уж он вытягивался весь, что если бы не остановила его – стал бы к тебе свататься.

– А ну его! – скривила губы Дария,– какой-то ненормальный.

– Напрасно, он видный такой, привлекательный, не хуже Хатая.

– Что ты выдумываешь! Для меня или Хатай, или никто другой! – отрезала Дария.

Невозможно коротко дать представление о стремительности черкесской атаки, для самых храбрых европейских войск она должна быть абсолютно ужасной, поскольку осуществляется буквально с быстротой молнии. Восхитительная тренированность лошади и всадника таковы, что все это кажется невозможным для человеческого организма. Черкесский воин никогда не сдается в плен и сражается до тех пор, пока в нем не останется хоть одна искра жизни.

Э. Спенсер

Он храбр как черкес.

(Грузинская поговорка).

Он подобен черкесу.

(Чеченская поговорка).

Черкес оружием обвешен.
Он им гордится, им утешен.
На нем броня, пищаль, колчан,
Кубанский лук, кинжал, аркан
И шашка, вечная подруга.
Ничто его не тяготит,
Ничто не брякнет, пеший, конный –
Все тот же он; все тот же вид
Непобедимый, непреклонный.

А. С. Пушкин

...Смотрел и внутренне гордился,
Что он черкес, что здесь родился.

...Черкес удалый в битве правой
Умеет умереть со славой.

М. Ю. Лермонтов

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Суетливые нередко опаздывают.

Вспомнилось это Сибоку, и он подумал: в Московии, должно быть, заждались его. Сколько раз уже откладывал он поездку. Едва успеешь управиться с одними делами, как подступают другие. Опять же, как говорят в народе, если опрокидывается твоя телега, ни на кого не надейся, подставляй свое плечо. Вот и приходилось в трудах да заботах откладывать день за днем сборы в дорогу.

Хатай, когда его после выкупа на черноморском побережье привезли в княжеский дом, рос послушным и благодарным мальчишкой, но вот повзрослел, поднялся в седло – сделался как бы сам по себе, даже против княжеской воли стал. Это из-за него погибли невинные люди. Пусть они плохие, даже разбойники, но все равно ведь люди. «А вдруг об этом узнают Тахо и Цахо, узнают тфокотли, Калакут? Вот уж возрадуются мои недруги, которых становится все больше. Впрочем, пусть делают, что хотят: чему суждено быть, то обязательно и сбудется. И дело тут не только в Ванатуге и Панахесе... Много ли мне с моей семьей надо, у меня есть прекрасное хозяйство, а должность главного князя – это такой груз, что плечи пригибаются. А дела с Давлет-Гиреем, с царем Иваном? Не мне лично, не моей семье это нужно, а всем адыгам, всей нашей земле. Бог знает все мои грехи и мою большую правду для народа. Он не только простит мне, но и поможет, ведь делаю я, как говорят, божеское дело».

Князю показалось – окликнул его кто-то. Посмотрел налево, на Бжамита, потом направо, оглянулся назад на воинов, с восторгом и грустью посмотрел на свою дружину.

Только слышались похрапывание коней да топот, будто скакуны переговаривались между собою.

Сотня бравых, наверно, самых лучших парней Жанеи. Один к одному: чернобровые, плечистые, с веселым и пытливым взглядом молодости, одетые в черкески, каракулевые папахи, при кинжалах, поясах и газырях серебряной отделки. Быстры и легкокрылы они, словно и не было позади долгого месяца пути в летнюю жару.

Отправляясь с ними в дорогу, князь Сибок опасался: одолеют ли такую даль эти, можно сказать, еще мальчишки, едва изъездившие лишь пути своей маленькой Жанеи, не успевшие познать все сложности долгих и трудных дорог?

В этой бесконечной неизвестности, подумал потом князь, и было все дело: парни не просто ехали, они открывали для себя новый мир, а всякое открытие – это радость, а радость – это сила.

Ехали они улицами незнакомых сел и городов, среди людей в невиданных одеждах, с чужим говором, и князю было не понятно: они больше рассматривали все новое или показывали себя, раздвигая плечи, улыбаясь тем, кто улыбался им. А улыбающихся да любующихся было много на улицах городов и сел, даже просто на перекрестках полевых дорог.

Глядя на них, радовался князь, гордился и в то же время печалился: кто из них вернется в родную Жанею, а кто останется в России – надолго или навсегда?

«Навсегда? – само собой пронеслось у князя.– А почему бы и нет? Встретится парню русоволосая, голубоглазая, влюбится он в нее... Любовь ведь не разбирает, кто, откуда, на каком языке говорит, она просто – любовь...»

Вздрогнул князь, даже коня чуточку придержал: «Правду говорят: глупый ушедшими мыслями богат. Что ж ты думал раньше, что?! Взял бы с собой Хатая, переговорил с воеводой, мол, так и так, княжич хочет быть вашим воином, только стесняется, помоги ему, пожалуйста. А для уверенности подарил бы воеводе перстень с дорогим камнем. Э-э, ускакал уже конь, только хвостом махнул... Нет, не ускакал! Договорюсь с Вишнивецким, привезу Хатаю и еще нескольким парням приглашение из самой Московии!.. А если проворонит Ацамук, если вернусь, а Хатай – уже мой зять! О, нет! – вскипел князь и так поддал коню, что тот поднялся на дыбы и кинулся в галоп.– Тогда, да пусть накажет меня Всевышний, не жить на белом свете ни Хатаю, ни Калакуту!»

Вслед за своим предводителем вся сотня пошла галопом навстречу ветру, оглашая поле веселым ржаньем скакунов и гулом сотен подкованных копыт.

«Все хорошо, все хорошо,– перейдя на мягкую рысь, успокоившись, подумал Сибок,– и вместо Кудадека оставлю кого-нибудь из этих парней. Только скажи я, не один найдется доброволец, ведь адыга, как говорят, медом не корми, только дай ему покрасоваться на коне, послужить, повоевать. Любого оставлю, кроме Бжамита. Без него я как без рук... Опять же, главный князь, перегибаешь палку. Конечно, Бжамит – верный, преданный тебе, спокойный, уважительный, все домашние его любят, говорят, он мухи не обидит, а двух человек одним махом сжил с белого света, будто воды напился в жаркий день. Вот и прикинь, зиусхан, а то уж больно хорошо о себе думаешь. Об адыгах заботишься, но сначала хорошенько разберись в самом себе, чтобы не спотыкаться вот так, как с Калакутом, Хатаем, а теперь еще и с Бжамитом, пора уже ума набраться».

Сибок с малых лет выделялся среди своих сверстников: во время игр его никто не мог догнать, а прятался он так, что его не могли найти. Кто-то из взрослых сказал: «Хитер, как лиса, глаза у него кошачьи, а нюх собачий». И вот теперь он ехал за две тысячи верст в Московию всего лишь второй раз, но ни разу не сбился с дороги, ни разу ни у кого не спрашивал: не то была у него острая зрительная память, не то способность предчувствия предстоящего, а вот с людьми... Далеко не сразу он разглядел подлые душонки Тахо и Цахо, не сразу добрался до понимания Калакута, а теперь – Бжамит.

– Как тебе нравится здешняя погода, как дышится? – спросил князь у него.

– Дышится мне здесь как-то легче, зиусхан. И вообще легче себя чувствую – будто крылья у меня отросли, будто вместе со скакуном моим мы летим. Вижу, ты здесь тоже хорошо себя чувствуешь.

«К концу жизни у муравья вырастают крылья,– подумал Сибок.– Что за глупость мне лезет в голову, будто подкапываюсь под верного себе человека. Только за этим и взял его с собой? Может, уже и боюсь его?» – совсем рассердился на себя князь и как можно помягче заговорил:

– Говорят, будто здесь климат другой, воздух мягче, потому грудь как бы шире становится, и дышать легче.

Должно быть, и сам от этого кажешься легче, словно летишь... Но ты знаешь, Бжамит, хотя и легко дышится, будто лечу я на своем коне, а все ж какая-то тревога в душе. О сыне думаю, конечно, потому что соскучился, а беспокоиться о предстоящих делах вроде бы и не стоит, однако покоя на душе почему-то нет. Будто идет кто-то за мной, зовет, но кто и куда?.. Дома тоже все хорошо, о дочке нечего волноваться, там она в надежных руках Ацамука и княгини.

Сказал он, что дочка в надежных руках, хотя сам в эту надежность мало верил.

– Валлахи, зиусхан, у меня тоже сердце нехорошо постукивает.

– Если у тебя и у меня одинаково сердце тревожится, значит, неспроста,– вздохнул князь и замолчал, как бы прислушиваясь к чему-то, потом задумчиво сказал: – Когда мышь на старости обросла длинными густыми волосами – стала почему-то мерзнуть. Наверное, что-то похожее происходит и со мною.

– Слышал и я такое,– согласно кивнул Бжамит и подумал: «Зачем в такую жару вспомнил он это? Намекает на что-то? Пока не пойму». Подумал и, усмехнувшись, сказал: – Думаю, это больше относится ко мне, это я в жару натягиваю папаху на свою лысую голову.

– Сказал я про длинные волосы, совсем забыв о твоей лысой голове, да и о своей, уже лысеющей... А вообще не знаю, Бжамит, зачем я привел эту глупую поговорку. От пустоты мысли, что ли? И еще есть одна глупая поговорка: когда овца задрала хвост, коза долго смеялась над нею. Однако и вправду: что это из меня прет глупость за глупостью! – рассердился князь.– Давай-ка поговорим лучше о чем-нибудь приятном. Накинь, Бжамит, на дорогу лестницу, ты ведь много разных небылиц знаешь.

Бжамит стал рассказывать что-то веселое, но князь, как он сказал себе, двинулся по другой, по своей лестнице-мысли. Она была странной какой-то – не стояла на земле, только касалась ее, не опиралась другим концом в стену или еще во что-то, а уходила куда-то ввысь и там растворялась.

«Странно, очень странно,– подумал он,– должна же она на чем-то держаться, не висеть же ей между небом и землей... И эти глупые поговорки. Похоже, ты просто расстроился,как говорят, нервы сдали, возьми себя в

руки»,– и долго он ехал, будто в забытьи, будто и вовсе его не было. Потом опять появился из той глубины.– Я понимаю тебя, зиусхан, когда ты кривишь душой в разговорах с князьями, тфокотлями, ханом Давлет-Гиреем, плетешь, запутываешь и распутываешь свои тропинки-мысли, чтоб доказать свою правоту, свою силу и правду, но зачем ты лукавишь с самим собою? Ах, зачем я надел на себя это неблагодарное ярмо главного князя, зачем надрываюсь и все только для адыгов, зачем подобно канатоходцу рискую каждое мгновение сорваться и разбиться? Ведь и до меня были главные князья, жили они вольготно, в почете и покое, зачем же мне все это понадобилось?.. А очень просто: приятно, когда за почет считается подержать для тебя стремя, помочь подняться в седло, но это мелочи, а вот жить так, чтобы с тобой считались турецкий султан, крымский хан, чтобы тебя приглашал царь великой страны, и не только приглашал, а и своих послов присылал, желая стать союзником адыгов под твоим предводительством. Такого не знали твои деды и прадеды, никто из них не поднимался на такую высоту. И понятное дело, чем выше ты поднимаешься, тем больше у тебя завистников. Вон даже сосед твой, тфокотль Калакут, хочет не только не отстать от тебя, а еще и опередить. Если бы все твои противники были открыты и просты, как ветер, тогда и тебе не пришлось бы хитрить, лукавить. И не ной, пожалуйста, сам понимаешь, чем выше гора, тем труднее на нее подняться. Попробуй-ка поднимись на Ошхамахо! Ого, сколько сил надо, умения. А зачем тебе, зиусхан, Ошхамахо? Мог бы и поменьше попроще что-нибудь выбрать. Мог бы, но Ошхамахо – наша гора, наша высота. Так что оставь сомнения, главный князь, укрепи веру в божеское дело для своего народа, не бойся больших слов, маленькими только и меряется маленькое... Ну вот, и конец лестнице, она уперлась в белое облако, она твердо стоит на земле. Надо спускаться... Как там поживает мой Кудадек? Он, должно быть, знает, что мы приедем в Московию, теперь ждет не дождется. Конечно, ему стало немного веселее, с ним служит младший сын князя Темрюка, его ровесник».

Вспомнил Сибок сына, вспомнил родной Каншаукохабль. И ему почудилось, будто услышал перезвон наковальни с молотом. Вспомнил, улыбнулся: Ацамук и Калакут обещали ему отковать новый меч.

«Вот как все устроено в нашей жизни. И, как знать, против кого я подниму его, с кем сойдусь в схватке, если придется?»

На ночлег всадники расположились еще засветло.

– Завтра к обеду будем в Московии,– сказал князь Бжамиту,– надо чтобы люди получше отдохнули, были бодрыми.

Хотелось этого Сибоку, но воины никак не могли угомониться. Конечно, волновались. И дело не только в том, что закончилась долгая и трудная поездка. Возбуждало их, что завтра увидят невиданное, почти сказочное, а может быть, и судьбе своей заглянут в глаза.

Сосновый лес казался нескончаемым. «Не может же Московия стоять в глухом лесу»,– сердито думал Бжамит. Но вот наконец впереди стало светло. Пошло мелколесье, потом открылось перед всадниками поле.

– Поднимемся вон на тот холм – и увидим Московию.

И увидели: черное облако закрывало в той стороне небо.

Горела Москва.

Поднял руку князь. Остановилась озадаченная сотня.

– Помолимся, пусть Аллах поможет людям справиться с бедой.

Воздев руки, всадники стали молиться.

Князь просил у Аллаха еще и милости к его сыну Кудадеку.

Помолились короткой, взволнованной и тревожной молитвой.

– В той стороне, где бушует огонь, где большие дома, царские дворцы, живет мой сын, живут люди... Когда случается пожар, даже маленькая птичка в клюве носит воду, помогает тушить, а нам сам Всевышний велит идти туда на помощь.– Поднявшись на стременах, Сибок скомандовал: – Вперед! За мной!

И всадники понеслись во весь опор.

Все ближе и ближе горящая Москва...

До самого утра боролись с огнем и, понятно, никто не обращал внимания на людей в каких-то странных одеждах, лишь утром, когда огонь стал затихать, мужчина с обгоревшими волосами, с разгоряченным, в саже, лицом удивленно спросил у Бжамита:

– Э! Кто такие, откуда взялись?!

Бжамит, не знавший русского языка, тоже весь в саже, в тронутой огнем черкеске, пожимая плечами, смущаясь, ответил на своем языке:

– Не понимаю! Скажи, чтобы понял. Дай напиться,– взял из рук мужчины кружку с водой.

– Ты никак уже с урусом разговариваешь? – удивился Сибок.

– Уже договорился, он дал мне напиться! Мы с ним из одной кружки пили. Это хороший знак, зиусхан.

– Очень хороший,– ответил князь и сказал взглянувшему на него мужчине: – Я Сибок Каншауков, с Кавказа.

– Что?! – сбивая островерхую шапку на затылок, воскликнул русский.– Ты Каншауков?! Кудадек Каншауков служит у воеводы Вишнивецкого, а ты кто такой? Может, отец ему?!

– Да, я ему отец, он мой сын,– ответил ему по-русски князь.

– Я из царских стрельцов – Иван Богучаров,– ткнул себя в грудь стрелец.– Твой сын Кудадек, а я Иван, Иван!

Подскакал Айдар, сообщил князю:

– У нас беда, зиусхан, угнали три коня.

– Как это угнали?! – возмутился князь.– Мы делали такое дело вместе с ними, а они!

Богучаров угрожающе потряс кулаками:

– Мерзавцы, подлые рожи! Не беспокойся, князь: найдутся ваши кони, а тех воров на кол посадят!

– Я думал, только у адыгов есть воры, а оказывается, у них тоже,– горестно покачал головой Бжамит.– Ты это ему не переводи, зиусхан, не надо, а то еще подумает что-нибудь недоброе.

Иван Богучаров отвел адыгов в казарму стрельцов, где располагались и адыгские воины.

– А теперь, князь, не знаю, с чего начать: с плохого или хорошего? – смущенно спросил Иван.

– Начинай, Иван, с плохого. Оно легче на сердце, если знаешь, что есть и хорошее. Говори,– выпрямился Сибок.

– Кудадека и Дударука нет в Москве, они с воеводой Вишнивецким на войне в Ливонии.

Ударило сердце, но князь перехватил его, зажал волей своей.

– А боярин Щепотев и воевода Плещеев?

– Щепотев где-то в Турции, а Плещеев в Астрахани.

Вспомнил Сибок поговорку, что суетливый, торопящийся всегда опаздывает, горько усмехнулся: «Вот и получается, как ни спешил, а опоздал, но мужчина, если он настоящий, справится и с этим».

– Значит, Иван, кроме царя и тебя, в Московии никого не осталось из наших знакомых? А кто же царю скажет, что мы по его приглашению приехали?

– Неведомо мне сие,– смутился Богучаров.

– Что ж, так тому и быть, а теперь давай, как обещал, хорошее.

– Нашли ваших коней. Переведи это на ваш язык.

– Валлахи, вот это да! – вскричал Бжамит.– Если бы украли адыги, то конец! А эти – посмотри, зиусхан, вот это работа!

В комнату вошел парень в черкеске, в папахе, с кинжалом. Почтительно поклонился:

– Со счастливым приездом, зиусхан.

Сибоку все показалось – и черкеска, и газыри, и кинжал, и папаха – трогательно родным, он готов был обнять парня, но это уже было бы не по-мужски, не по-адыгски. Они с Бжамитом просто встали, с легким почтительным поклоном, как это полагается старшему, первым подал руку молодому земляку.

– Если я не ошибаюсь, ты сын зиусхана Темрюка?

– Да, сын зиусхана Темрюка, мое имя – Султан.

Утром следующего дня, после завтрака он опять пришел к князю:

– Тебя, зиусхан, приглашает в Кремль царь всея Руси Иван Васильевич.

– Не ожидал, что царь так уважит меня, так скоро призовет к себе. Бжамит, вели в лучшей сбруе оседлать моего коня.

– В этом нет надобности, зиусхан, я приехал за тобой в карете, запряженной тройкой рысаков.

– Кого мне взять с собой? Не появлюсь же перед царем один, как палец.

– Ты не будешь один, зиусхан, я буду с тобой.

– Ну, если ты, то не только перед царем, а перед самим Аллахом достойно предстать.

– Зиусхан, мой Бог,– Султан перекрестился,– Христос, который взял все наши грехи на себя.

– Значит, и ты, как мой сын, теперь православный чиристанин?

– Да,– перекрестился Султан,– я принял эту веру всем своим сердцем и умом. Мое крещеное имя – Михаил, но адыгство для меня свято, как моя родина, извечная родина моих предков.

Сибок вздохнул, хотел тихонько помолиться Аллаху, но передумал:

– Что делать, раз уж вы живете с ними, добровольно стали воинами их страны, надо принимать и все здешние порядки, а если они еще не заставляют вас забыть свою родину, свой народ, как мы говорим, адыгство, так это совсем хорошо. Так я говорю, Бжамит?

– Да, зиусхан.

– Ведь наши предки тоже были чиристанами, а потом почему-то отошли, признали Аллаха да и... приняли, но что-то не совсем, что ли, прости меня, Аллах...

Князь показал Султану темно-синюю черкеску с поясом, кинжалом, отделанными серебром, золотом, драгоценными каменьями.

– Как ты думаешь, сгодится царю черкеска по размеру?

– Думаю, будет впору, и подарок твой считаю вполне достойным,– похвалил Султан.

Когда они выходили, Сибок не сдержался, как бы между прочим сказал:

– Интересно, как теперь нас встретит царь? Тот раз он сидел, а мы стояли перед ним. И уж очень короткой была та встреча, не успели ни о чем важном поговорить.

Князь Султан только улыбнулся в ответ, уступая дорогу Сибоку.

Лакированная рессорная карета, богато украшенная, была запряжена тройкой – гнедой коренник и пристяжные белые в яблоках. Под дугой – колокольчики.

Перед каретой – два вооруженных бердышами стрельца, а сзади – три.

Сиденье было таким мягким, что Сибок покачивался на нем, будто на мягких ласковых волнах. Рессорные кареты есть у турецкого султана и крымского хана, но они, подумал князь, конечно же, хуже этой. А еще он подумал, что на зависть всем он должен обзавестись такой. «Не умеем, не умеем мы жить так красиво, как живут другие... Этот Султан служит царю, мой сын и Дударук воюют за

его страну, могут и кровь пролить за нее, а мы, как говорит Калакут, скачем сломя голову к нему, и он заставит нас, как в прошлый раз, унизительно стоять перед ним, сидящим, возвышающимся над нами. Но ничего, ничего, одолеем и это, только не надо суетиться».

Когда они проезжали мимо Арбата, Султан, глядя на пожарище, сказал:

– Не умеют люди обращаться с огнем. Каждое лето, в самую жару, случаются эти страшные пожары.

Слушая Султана, Сибок подумал: «Огонь пожара и огонь войны – это страшные беды, с которыми люди не умеют пока справляться, да и настанет ли такое время, когда будет им это по силам».

У края площади стояло шесть высоких кольев, на каждом из них человек со связанными руками, с поникшей головой.

– Зачем этих мертвецов насадили на колья? – удивленно спросил Сибок.

– Их насадили живыми,– ответил Султан.

– Как, зачем?! – даже привстал и вскрикнул князь.

– Это преступники, вот таким образом их казнили по приказу царя всея Руси Ивана Васильевича. Троих за то, что струсили на войне и предали своих. А этих двоих обвинили во вчерашнем пожаре, шестой – это тот, кто украл ваших коней.

– Кто выдумал такую страшную казнь? Его самого бы посадить на кол,– сказал Сибок и пожалел: не надо было этого говорить князю, он может по-своему истолковать сказанное. «Но,– усмехнулся Сибок,– слово не воробей, вылетело – не поймаешь. Ты, мужчина, его выпустил, тебе и отвечать».

Привели Сибока в Кремль, в Грановитую палату, где обычно царь принимал самых важных гостей. Был одет он в длиннополый, шитый золотом кафтан, в такой же нарядной шапке, со скипетром в руке. Он встретил гостя почтительным поклоном и указал на кресло. Ответил Сибок царю сдержанным поклоном, довольный тем, что не придется стоять столбом, и негромко, прочувствованно заговорил:

– Великий царь великой Руси, Казанского, Астраханского и Ногайского ханств,– обратился князь Сибок к царю, как его учил Султан,– от имени всех адыгов выражаю

тебе и всем твоим пострадавшим в пожаре подданным нашу сердечную боль, наше душевное соболезнование.

Царь с внимательной задумчивостью слушал Сибока.

– Вся наша жизнь, великий государь, состоит из горестей и радостей, пусть вчерашнее горе сменится сегодня и во все последующие дни светлыми радостями. Позволь нам, государь, преподнести тебе наш скромный дар.

– Спасибо, Сибок, главный князь Жанеи. Мы тоже молимся в наших церквах об упокоении душ людей, погибших на пожаре. Мы наказали виновных, но от этого пострадавшим не легче. Огонь, когда разбушуется, никого не щадит. Мне сказали, ваши люди очень хорошо помогали, говорят, мужественно вели себя. Всем передай мое царское спасибо. Что ж, князь, ты хорошо сказал: вся наша жизнь состоит из горестей и радостей.– Царь помолчал потом улыбнулся: – Если твоя черкеска будет мне впору, обязательно покажусь на людях, пусть знают, и кавказские люди у нас в чести. Все ли у вас там хорошо князь, расскажи.

– Все у нас хорошо. Адыги не из тех, кто жалуется. Жаловаться на свою судьбу, плакаться у нас считается позорным делом.

– Ты можешь гордиться своим народом, главный князь. И о тебе я думаю – крепкий ты человек, вроде бы первое, о чем ты должен бы у меня спросить,– о твоем сыне.

«Слава Аллаху, спасибо и тебе, что сам заговорил о моем сыне»,– подумал Сибок и с откровенной благодарностью улыбнулся:

– По нашим обычаям нехорошо набиваться с вопросами о своем сыне, но раз уж ты сам заговорил о нем, я хотел бы знать, как служит он тебе, не делает ли глупостей по молодости лет, достойно ли мужчины ведет себя. И если что не так, позволь мне поступить с ним, какая будет на то моя отеческая воля.

Очень доволен остался ответом царь и, не скрывая этого, сказал:

– Дозволь мне, князь, раз уж у нас с тобою мужской разговор, ответить тебе по-мужски: я доволен твоим сыном Александром-Кудадеком Сибоковичем. Когда мы возобновили войну с Ливонией, он один из первых обратился ко мне, решил добровольно пойти на войну. И уже оттуда мне сообщили, что он – настоящий воин.

– Мне даже неловко, великий царь, слышать от тебя такие похвалы моему сыну. Спасибо тебе.

– Ты умеешь держать слово. А это очень важно в наших делах. Я благодарю тебя, что привел в Москву своих воинов. Пусть знают немцы, эстонцы, литовцы, шляхтичи, пусть все знают, что мы дружим с древним народом Кавказа – черкасами. Вам совсем не надо широко ввязываться в войну, надо, чтобы просто увидели вас, узнали.

Сибок поднял руку:

– Великий царь, ты не говорил этих последних слов, а я их не слышал. Мы приехали не показывать свое достоинство, свою красоту и удаль, мы приехали делать мужское дело вместе с вами. Не похвалюсь, а скажу, как оно есть и ты в этом убедишься: если мы поднимаем свой меч на врага, то или победим, или перестанем быть. Я вместе с тобой надеюсь на первое. Когда прикажешь отправиться в дорогу, великий царь?

Царь вальяжно откинулся на спинку трона – он был доволен князем, собой, доволен этим днем. И сказал:

– Пусть твои воины отдохнут перед нелегкой дорогой, перед непростым делом. Недели хватит?

– Хватит.

– Стрелец Богучаров проводит вас к воеводе Вишневецкому в Мариенбург. Переводчиком при тебе будет Михаил-Султан Идаров-Черкасский. Может, еще желаешь что-нибудь спросить, главный князь Жанеи?

– Скажу честно, я не ожидал такого большого, такого мужского разговора с самим царем всея Руси.– Поклонился Сибок и продолжил: – Раз ты спросил, скажу. До нас доходят слухи, будто Русь и Турция... за нашей спиной ведут какие-то тайные переговоры, которые касаются и адыгов.

Царь нахмурился, потом вдруг звонко, совсем не по-царски рассмеялся. Он как бы перехватил стрелу, пущенную в него князем, и вернул ее обратно:

– А скажи, главный князь Жанеи, ты ведь тоже тайно встречался на берегу Азова с крымским ханом Давлет-Гиреем. Или не встречался?

– Встречался, как он сказал, его беспокоят ваши тайные переговоры. Встречался я с ним, но мы с врагами не договариваемся.

– Теперь, видишь ли, он беспокоится, а когда вечно вместе с Турцией враждовал с Русью, не беспокоился, что придет время расплаты за свое безумство. Вот и пусть от злости рвет волосы на своей жиденькой бороденке,– сказал царь и подумал: «Какими Господь создал черкасов, такие они до сих пор, будто дети, доверчивые, правдивые».– Вы не верьте разным слухам. Святая Русь протянула вам руку, твердо стала на вашей стороне, вот они и лютуют, распускают разные нелепости. Мы никому не позволим вас обидеть или унизить. Вот завершим Ливонскую войну – и пойдем на Черное море, покажем туркам и крымским татарам, где их место, проучим за все, что творили они вам и нам. Черкасия ваша, говорят, райская, вот они и грызутся из-за нее. Пусть грызутся, но не суют к вам свои грязные лапы.

Они встали.

– Отдыхайте, а потом, как будет на то Божья воля и ваше желание, двинетесь в Мариенбург.

II

От края до края земли адыгской стояла хорошая погода.

Когда князь Пшиапшоко со своими всадниками поднялся из распадка на холм у моря, перед ним открылась удивительная картина.

Там, где должны быть снежные вершины гор, клубилась, ворочалась гряда черных облаков с синевато-белой каймой. С противоположной стороны – синее небо, а в вышине сияло солнце. Большое, яркое, словно бы удивленное.

В самом низу черный клубящийся вал, повисший над морем.

Из тучи, как бы из неволи, вырвалось огненное копье и вонзилось в морскую гладь.

Возмущенно загрохотало море, ему эхом ответило небо.

Еще один удар, еще!

– Посмотри, Дадайкан, какая красота! – обернувшись к своему байколу, восторженно воскликнул князь.– А силища какая, даже море затихает перед нею! И ты знаешь, мне кажется, каждая стрела молнии вонзается в моего

врага! Очень люблю стихию. Она такая, как есть, без человеческого коварства и предательства, она сама по себе.

«Князь обычно говорит,– размышлял Дадайкан,– что удар меча лучше удара молнии. Он точнее и определеннее, а тут, видишь ли, ему очень нравится молния. Не сразу и поймешь, что к чему. Лучше было бы, если б он сказал: хорошо, когда молния помогает моему мечу расправляться с моими врагами».

– Слышишь, Дадайкан, тучи понесли грозу в Турцию, лучше понесли бы ее на север, чтоб она там погоняла коекого.

– Зачем же наших адыгов гонять, они и так напуганы-перепуганы всеми, кому не лень,– сказал Тавташ.

– Подожди,– возразил ему сосед, другой байкол,– а разве жанеи тоже адыги?

– Ну ты чудак! – рассмеялся Тавташ.– Разве они не адыги, если разговаривают с нами на одном языке?

– На одном?! Я не могу слышать, как они коверкают наш красивый язык. Мы как с тобой говорим – он едет верхом, а жанеи говорят – он едет рядом с конем. Это же надо додуматься до такой глупости!

– Ну-ка, не болтайте разные глупости, если едете рядом с князем,– пожурил Дадайкан своих товарищей.

– Глупости не надо болтать, даже если зиусхан далеко от вас,– добродушно сказал Пшиапшоко.– Посмотрите, какое чудо вокруг нас, созданное великим Аллахом. Он для нас, для нашей радости сотворил, а мы – словно не имеем ни ушей, ни глаз, ни горячих сердец, только зубы, чтобы кусать друг друга. Да и это неправда. Вот послушайте, что говорит тот же человек: «Приподнял плечи князь, устремил перед собою взгляд и размеренно заговорил: – Солнце светит, жизнью дышит, белоснежны цепи гор, с них сбегает лес дремучий, к небу рвется дуб могучий...» Ну, кто смелый, продолжай эти стихи.

Дадайкан распрямился и заговорил высоким певучим голосом, гордо подняв голову:

– Пенятся реки, несясь конницей белых армад, дробные звуки копыт в небо взлетают привольно. Земли кумыцкие голы, земли гяурские тоже, лучшая из лучших на свете наша родная земля.

– Молодец, Дадайкан! Ты уже прямо как настоящий усак, на ходу слагаешь стихи. Как ты сказал: лучшая из

лучших на свете наша родная земля. Все у нее есть – ни прибавить, ни убавить, но находятся у нас такие, которые торгуют ею, будто на базаре. Сибок, Темрюк, Машук. Какие же они князья, если не понимают, что понятно простым людям, всему нашему народу. Впрочем, хватит об этом, надоело,– рассердился Пшиапшоко.– И пусть знает Машук, что я по их беслинеевской земле еду, но у его гостиной не спешусь. Где мы сейчас, какое тут селение?

– Как бы поприличнее сказать...– чуть помялся Тавташ, потом сообщил: – Хавтугай, зиусхан.

– Как?! – рассмеялся Пшиапшоко.– Собачий хрен? Вот это да! И как только его называют среди порядочных людей. А женщины?! А зиусханы-то как называют?! – Не сдержались байколы и захохотали каким-то неприличным хохотом.– В селении с таким названием,– продолжил Пшиапшоко,– и зиусхана не должно быть.

– Это селение зиусхана Джамбеча. В старину так оно называлось, а теперь переименовали в Джамбечий, в честь его. Мы когда-то из Баксана сюда воровать лошадей приезжали,– объяснил Дадайкан.

– Ну и что? – заинтересованно, даже озорно спросил князь.– Удачным был поход?

– Еще как, тридцать отличных скакунов угнали! – с гордостью ответил байкол, глядя на князя. Хором одобрения ответили все всадники.

– Тогда получается, это не маленькое селение.

– Сам Джамбеч считает его очень большим и, конечно, достойным. И зиусханом себя считает достойным должности главного.

– Я почему-то и не знал, Дадай, что у тебя полная сумка всякой очень нужной всячины. Не собирался я останавливаться здесь, но сами видите, что в небе делается. Тучи с моря пошли в нашу сторону и, по-моему, собираются напасть на нас. Ну-ка, Тавташ, скачи вперед, скажи Джамбечу, что я хочу заехать к нему. А мы последуем за тобой неторопливо, как и полагается ездить в гости.

Однако ехать неторопливо не пришлось. Вскоре с моря налетел порывистый ветер. Тучи неожиданно быстро развернулись и, как сказал князь, напали на всадников, сначала дождем, а потом ливнем с градом, с грозою, потрясавшею землю и небо. Иные градины были величиною с голубиное яйцо.

Заржали лошади, стали шарахаться в стороны, удерживать их удавалось с большим трудом.

– Дадайкан, стань впереди,– скомандовал князь Пшиапшоко,– веди нас к зиусханскому дому.

Всадники перешли на галоп.

Одна градина рассекла правую скулу Пшиапшоко, другая – левую руку. Досталось и другим.

Мокрые, измятые, некоторые окровавленные вошли в княжеский дом и вместе с князем Джамбечем стали на благодарственную молитву...

Это было вчера.

Сегодня же вечером сидел Пшиапшоко с князем Джамбечем и стариком Батом в княжеской гостиной.

– Не обессудь нас, зиусхан, что не идут аульчане поприветствовать вас – большую беду принес нам вчерашний град. Побил посевы, в садах навредил. Все заняты делом, пытаясь хоть что-то спасти, привести в порядок.

– Ну что ты, зиусхан, какая обида. Мы благодарим, что вы приютили нас, и передай всем наше сочувствие, пожелание побороть эту беду. Я думал, мне будет плохо, не знал, смогу ли подняться в седло с моими ранами, но ты видишь, как они затянулись. Эта старушка просто чудодейка – примочками да травками разными прямо-таки исцелила меня, я поначалу думал, что и не оклемаюсь больше.

– Это не только старушка,– улыбнулся Джамбеч,– это мудрость наших предков, спасибо, пока еще сбереженная нами. И дальше будем беречь вопреки нашим недоброжелателям.

– Ты прав, мы только наследники многовековой мудрости наших отцов, которую надо беречь, а иначе погибнем как народ.

– Святая правда ваша, зиусханы,– согласно кивнул уже не седой, а белой головой старик Бат.

– Аллах даст, завтра и продолжим свой путь в Крым. Мне обидно и больно, что мы будто с собой привезли вам злосчастный град.

– Не думай так, гость наш дорогой,– крутя кизиловую палку, отделанную черненым серебром, сказал Бат.– Не вы, а Аллах нам его прислал. Град частенько нас навещает, не дает соскучиться. Радуйся, зиусхан, что только и отделались небольшими ранками, а то бывает и хуже. Вчера

был с голубиное яйцо, а ведь бывает и в куриное, тогда, случалось, до смерти забивал иных путников.

– Да-да, наши сельчане говорят,– грустно улыбнулся Джамбеч, град – наш вечный гость, и если его долго нет, мы скучаем, а когда приходит, плачем.

«Куда я попал,– размышлял Пшиапшоко,– и прежнее название у селения такое... и этот пузатый князь, мнящий себя большим, важным, и этот старикашка, все крутит и крутит палку,– сердился Пшиапшоко,– сухари какие-то, а не люди. Ну, град, ну, беда, а сегодня уже светит веселое солнце, да и вчера, когда мы мокрые, помятые пришли к ним, мог бы хозяин, обязательно должен был выставить два-три кувшина крепкой бузы, чтобы согреться нам, а они все – ох да ах. Ну ладно, вчера – беда, но сегодня-то уже все хорошо, значит, и хороший анэ с бузой и медовухой должен быть перед гостями, но вместо них только скучные разговоры. Может,– Пшиапшоко едко усмехнулся,– град и бочки с бузой и медовухой побил?»

– Не обессудь меня, зиусхан, но я не могу понять тебя: зачем ты живешь в своем селении, где житья не дает град? Почему не найдете приличное место, слава Аллаху, на земле адыгов много прекрасных, я бы даже сказал, счастливых мест.

Джамбеч пожал плечами, вместо него, постучав по полу палкой, покрутив ее между пальцев и сощурившись, заговорил старик Бат:

– Сказать всегда легче, чем сделать. Красивыми словами даже самую маленькую пылинку с места не сдвинешь, а не то что селение. Да и дело не только в этом, дорогой и уважаемый гость.– Старик помолчал и, глядя в окно, продолжил: – Землю эту, хорошая она или плохая, мы не выбирали, нам оставили ее по наследству наши праотцы. Конечно, зиусхан, здесь бывают и град, и засуха, случаются даже заморозки, однако на этой земле могилы наших предков, сказал бы, их вечно живой дух, их мудрость, доброта, радость и боль. А небо с солнцем, горы, леса, речка, а вон и та скала, вечный наш богатырь, это все мы. Что касается града, ну, налетит он, повредит кое-где и тут же растает, и поднимутся травы, весело зашумит лес, будто и не было никакой беды. Но есть тут еще очень важное, память наша гласит: покинутая тобою родная земля проклянет тебя. Да-да, зиусхан, так гласит нам наша память.

А град... Это вас он напугал, а для нас он такой же, как ветер, как гроза, как тихое небо, как наш воздух, самый лучший во всем мире... Прости, гость, уж очень глубок мой колодец, я долго доставал из него воду, утомил тебя.

– Да, уважаемый, очень глубок твой колодец, зато воде его нет цены, как нет цены самой жизни, нет таких базаров, где ее можно купить,– сказал Пшиапшоко и подумал: «О-о, да этого старика голыми руками не возьмешь. Не сразу до дна его колодца доберешься. Правильно он сказал: «Это не мы, а наши праотцы...» Да, праотцы, а праотцы – это время, мудрее которого ничего не бывает».– Твоя кизиловая палка в черненом серебре из Крыма? Ты бывал там?

– Она из Персии. Не бывал я ни в Крыму, ни в Кумыкии, даже не знаю, где они, и знать не хочу. Зачем они, приносящие людям зло, зачем мне эти горькие кислицы? Да если уж на то пошло, я уже много лет дальше околицы нашего селения не бывал.

– Что, и у соседей своих не бывал? – удивился Пшиапшоко.

– Бывал, но только по случаю большой радости у них или большого горя. Тут уж, как говорится, камень и тот сдвинется с места.

– Говорят, ваш соседний главный зиусхан Жанеи Сибок ездил в Московию. Правда это или только разговоры? – лукаво спросил Пшиапшоко.

Старик Бат горько усмехнулся, сердито постучал палкой об пол:

– Голова у него безмозглая, потому и ездил.

– Послушай, Бат, как ты можешь!..– хотел его остановить Джамбеч, но старик отмахнулся все той же палкой.

– Я уже достаточно стар, чтобы попусту разбрасывать свои слова. Сказал – значит сказал... Сибока выбирал главным не я, а жанеи, с них и спросится.

– Кем? – удивился Джамбеч.

– Тем, кому дано это.

– Кому же это дано? – теперь удивился и Пшиапшоко.

– Зачем, зиусхан, спрашивать о том, о чем знаешь сам.

– Ты, наверно, думаешь об Аллахе? – усмехнулся Пшиапшоко.

Бат сделал вид, что не слышал, и продолжил свое:

– Сибок, конечно, благородный человек, он твоего сына Хатая, над которым попробовала надсмеяться судьба, воспитал не рабом, а настоящим мужчиной, в остальном же он оказался неважным человеком, не главным зиусханом, каким его хотели видеть люди Жанеи – он кинулся в лакеи к урусам. Даже сына своего не пощадил, оставил его гяурам в залог. Дурные примеры прилипчивы, как заразная болезнь – Темрюк тоже, говорят, лащится перед царем.

– Почтенный Бат, я согласен с тобою, как и ты, смотрю на Сибока, на Темрюка, называю их предателями. Тут мы с тобой, как говорят, рука об руку... Ты назвал имя Хатая. Я слышал о нем добрые слова, но не знал, что это твой сын, зиусхан. Это правда?

– Правда. Еще мальчиком у меня украли, его купил на приморском базаре Сибок, не зная, что он мой сын, ну, воспитал, спасибо ему, но мне думается, что как мужчина он больше обязан Калакуту.

Пшиапшоко брезгливо поморщился:

– Лучше бы ты не называл имя этого тфокотля. О сыне твоем слышал добрые слова, а этого выскочку... Да знаешь ли ты, зиусхан, он хочет создать государство, которым будет править чернь, а нас – на мусор. Это же неслыханно! По-моему, поступать с Калакутом надо как с преступником.

Тихо стало в гостиной.

Испытующе Пшиапшоко глянул на Джамбеча, но спросил у старика Бата:

– А что ты, почтенный? Как ты думаешь?

– Спасибо, зиусхан, ты поступил по-мужски, не стал витийствовать, а рубанул напрямую. На твою прямоту я тоже отвечу прямотой... Мой сосед Джамбеч знает, я на их стороне. Да-да, зиусхан, но то, что они хотят, как ты сказал,– вас на мусор, это неправда, это клевета на них. Наоборот, они говорят, все зиусханы адыгов должны собраться вместе, собраться со своею мудростью и выбрать из всех такого великого, который и правил бы всеми соединенными в одну страну адыгами. А что касается турков, крымчан, урусов – и на порог их не пускать. Только добрыми гостями.

– Но где взять такого, как узнать, что он самый мудрый и добрый? – улыбнулся Пшиапшоко.

– Соберитесь все вместе, подумайте, поговорите, поищите. Если у народа нет мудрого, достойного, он не может считать себя народом, а просто толпа, стадо.

– Я думаю, есть у нас мудрые зиусханы, есть истинные труженики, готовые отдать себя на благо адыгов.

– Ну вот, а вы – Калакут, Калакут, пока я вижу, он один печется об этом со своими тфокотлями. Пора и нам браться за дело, а не заниматься сварами, доказывая один другому свою правоту.

– Верно! – воскликнул Пшиапшоко.– Надо, надо нам, засучив рукава своих черкесок, браться за дело, чтобы не остаться без голов. Зиусхан,– обратился он к Джамбечу,– давненько я не беседовал с таким мудрым, почтенным тхаматэ. Наверно, правильно говорят: у кого голова побелела, у того ум тоже посветлел. Не обессудь меня, зиусхан, я понимаю, у вас скорбное время после вчерашнего града, но стоило бы нам выпить рог доброй бузы с почтенным Батом.

– Спасибо тебе, зиусхан, за доброту к нашему старцу, а заодно и к нам. Я бываю очень доволен, когда вижу, как люди кончают трудные дела миром. Конечно, да простит нам Аллах, выпьем бузу.

– Спасибо и тебе, зиусхан,– сказал Бат.– Вот ты говоришь, где взять, где найти и как определить мудрого, достойного правителя. Нам просто надо не забывать таких наших людей, как светлой памяти зиусханы Инал, Идар. Не надо чураться и тфокотлями. Мы знаем – из них выходили такие крепкие умом и добротой своей, как Саусрук, Тлепш, Шабатнук, Чачан. Адыги будут жить как народ, как хозяева земли своей до тех пор, пока будет жива у нас память о наших предках, об их делах.

Потом не было дня, чтобы князь Пшиапшоко дорогой в Крым не вспоминал старика Бата. Иногда казалось, что он идет с ним рядом и говорит, говорит. И князь то спорил с ним, то соглашался, а то даже восхищался остротой ума этого простолюдина, то хотел забыть о нем, но это не удавалось.

«Селение Джамбечий или, как в старину называли, Хавтугаевское. И это название, и град, и этот старик... Хорошо это или плохо, что они есть – занозистые, упрямые, верящие в себя, вернее, не в себя, а в свою старость, в те

годы, что остались у них за спиной, в те дни, которых они уже не увидят. Хорошо. Мы должны жить с ними, быть внимательными к ним, чтобы лучше подготовиться к своей старости, к встрече с теми, кто потом придет к нам, как мы приходим к ним сегодня. Да – они занозистые, беспокойные, упрямые, часто неприятные нам, но они – это завтрашние мы».

III

Если сердце рванулось в полет, то ногам уже не догнать его.

Адыги еще только выехали из Москвы, а сердцем уже были на войне, которая их ждала, чтобы показать там себя. Даже не показать, а заставить жить ею: грохотом пушек и звоном мечей, дымом пожарищ и горячей кровью.

За полторы недели адыги добрались от Москвы до Новгорода, а потом, оставив Псков, ступили на землю Ливонии и вскоре услышали запах пожарищ и пороха, увидели разрушенные и сожженные села. Им навстречу попадались телеги с ранеными. В одну и в другую сторону шли воины, везли пушки, огнеметы. Было много пеших, но и конных немало.

Впереди адыгской дружины ехал Иван Богучаров с князем Султаном. За ними – князь Сибок с байколами Айдаром и Бжамитом.

Смотрели встречные люди на смуглолицых воинов в каком-то невиданном одеянии, видели, что ведет их русский воевода, понимали – воины эти хоть и не русские, но идут воевать с ливонцами за Россию, и приветно махали им, как приветствуют друзей, которые идут на смертный бой ради их жизни.

– Как они рады, зиусхан,– сказал Айдар,– какие красивые слова нам говорят.

– Ты понимаешь по-ихнему? – с усмешкой спросил князь.

– По глазам вижу.

– Молодец, Айдар! А помнишь, когда мы первый раз в Московию приезжали, как нас оскорбил пьяный мужик?

– Думаю, зиусхан, это не он нас оскорбил, а злая их буза.

– Ты правду сказал: виновата буза, а наказали того мужика. Но что делать, в жизни много перепутанного, непоправимого.

– Вот мы и едем поправлять! – весело рассмеялся Айдар.

– Конечно, все они рады, что мы едем за них воевать,– сказал Бжамит,– они верят нам, мы верим им... а можем мы на них меч обнажить?

– Как это?! – очень удивился князь.– Зачем же на друзей обнажать меч?

– А разве не бывает, что сегодняшний друг завтра станет врагом?

– Что это с тобой, Бжамит? Жара, что ли, подействовала? Конечно, конечно, мы живем в обманчивом мире, есть еще такие, как Тахо и Цахо, Мамий, у которых ни совести, ни стыда, ни человеческой доброты. Еще бывает и так: один для видимости становится на сторону другого, а в душе – против него, и при случае предает. Ты это имеешь в виду, Бжамит?

– Может, это, а может, другое.

– Странный ты какой-то сегодня. Возьми себя в руки, ведь нам завтра такой день предстоит, какого не было и, может быть, никогда не будет. Взбодрись, взбодрись, адыг.

Непрошенно-негаданно почему-то вспомнился Бжамиту тот зимний день в лесу. Тогда он всего лишь окликнул Ванатуга и этим обрек его на смерть, а потом ударом в спину лишил жизни Панахеса. Вспомнилась площадь, шестеро посаженных на кол... Вспомнилось, увиделось и как бы легче ему стало, потому как сам теперь ехал на смерть. Ее не ударишь в спину, будешь смотреть глаза в глаза и, может, хоть этим облегчишь свою вину перед Аллахом.

Князь кинул косой взгляд на Бжамита: «Как он сказал?.. «А можем мы на них меч обнажить?» И еще сказал: «Разве не бывает, что сегодняшний друг завтра станет врагом?» К чему это? Что за мякина в его большой круглой голове? Смотри, князь, смотри. Ведь во всей Жанее у меня нет более близкого и верного человека, чем Бжамит, он знает, как говорят, всю мою подноготную и ни разу, даже намеком, не дал об этом кому-нибудь знать. А теперь вот – Хатай, Ванатуг, Панахес – топором висят на моей и его шее. Хорошо, что я взял его с собою, а то ведь, как

знать, остался бы он там с Ацамуком и просто от скуки мог рассказать ему эту историю. Конечно, Ацамук мой брат, я верю ему, как самому себе, но лучше, если он этого не узнает. Постой, постой! А не уронил ли он случайно или по великому секрету об этом деле Калакуту? Если еще не сказал и не скажет, то может просто случайно, невзначай уронить. Упаси Бог! Уж не лучше ли ему не вернуться в Жанею, а прослыть героем, погибшим на войне?»

Взвихрились в голове у князя мысли, и он, чтобы отбиться от них, заговорил:

– Ты, Бжамит, уже вполне зрелый, у тебя жена, дети, не жалеешь, что идешь на войну, может, надо было тебе остаться дома с Ацамуком, не рисковать своей жизнью?

– Что ты, зиусхан! Как я мог остаться дома, не быть рядом с тобою на войне! Я душой бы весь изболелся.

– Спасибо, ты еще раз подтвердил свою верность мне, нашему роду, всем адыгам. Да и то сказать, не думал я, что поведу вас вдалеке от родины на войну. Но сам знаешь – не ради себя это делаю. А на войне, как на войне, пусть каждый из вас простит меня, если...

– Я не помню, зиусхан, чтобы ты делал что-нибудь ради себя,– не удержался и сказал князю Айдар.

– И не беспокойся, предводитель, пока наши ноги в стременах, а сабли – в руках,– раздвинул плечи Бжамит,– все будет так, как ты повелишь, как благословит нас Аллах.

– Спасибо вам всем! – громко сказал князь и, кивнув Бжамиту и Айдару, оглянулся на следовавших позади воинов.– И не только от меня спасибо и боевой поклон, а и от всех тех, кто с надеждой смотрит на вас, радуется вам, людям другой национальности, далекой кавказской земли.

– Очень обидно, когда тебе не доверяют из-за того, что ты – из другого народа,– сказал Айдар.– Вот мы не урусы, а идем воевать, значит, и умирать за них, которые стали нашими друзьями. Я бы согласился, как Кудадек и Дударук, принять их веру, чтобы во всем идти до конца вместе, как и полагается настоящим друзьям.

– Значит ты, Айдар, тоже готов поменять свою веру, поменять имя, данное тебе родителями? – спросил князь и продолжил: – Что ж, как говорится, вольной птице – воля, что же касается меня, то придерживаюсь другого мнения... Мне силой навязали мусульманскую веру и, если

мои жанеи меня поддержат, вернусь к вере моих предков. Имя, которым меня нарекли родители, мой дед, не поменяю. Сын мой поменял, и тут уж ничего не сделаешь. Опять же – он взрослый, самостоятельный и потому вольный человек. Мой-то еще ничего – фамилию деда своего оставил, а кабардинского адыга назвали Черкасским, вот ведь как получается.

– Значит Султан теперь стал настоящим урусом? – спросил Бжамит.

– Ну, зачем же так? Разве он разучился говорить и думать по-адыгски, отказался от своей родины, от своих предков, обычаев? Конечно же, нет. А ты, Айдар, разве стал ногаем из-за того, что у тебя ногайское имя?

Всадники так громко расхохотались, что Богучаров и Султан удивленно оглянулись.

«А чего хохочут, чего веселятся,– подумал Бжамит,– будто на свадьбу едут, правда, счастливый тхаматэ Тлимаф говорил: не каждому, кто едет на свадьбу, удастся потанцевать, не каждого, кто идет на войну, убивают». Подумал так Бжамит и тоже рассмеялся. Над собой рассмеялся.

До Мариенбурга езды оставалось полдня, когда адыги увидели у опушки леса схватку. Дрались и пешие, и конные.

Звон мечей, крики, ржание коней, звон щитов.

– Всадники – это русские, а пешие – эстоны! – крикнул Богучаров.

– Вон из леса выскочили всадники!

– Надеть кольчуги и шлемы! Быстро! – скомандовал Сибок.

– Слушай мою команду! – привстал на стременах Богучаров.– Наперерез вражеским всадникам – за мной!

Когда всадники почти сблизились, ливонцы вдруг остановились, подняв лошадей на дыбы,– их поразил вид мчавшихся на них людей с саблями, но в невиданных одеждах.

Адыги, не сбавляя хода, врезались в строй неприятельских всадников.

Заржали лошади – не то испуганно, не то грозно.

Зазвенели сабли. Загремели щиты. Грозясь друг другу, истошно закричали люди. У одних глаза налились кровью, а у других побелели.

С горьким удивлением смотрело с высоты солнце.

Сибок выбил из седла предводителя ливонцев. Тот тяжело грохнулся на землю, хотел подняться, но его достала сабля князя и свалила теперь уже навечно.

Рядом с князем, справа от него, Айдар тоже лихо срубил своего соперника. Труднее пришлось Бжамиту. Он кружился в схватке с противником, пытаясь его одолеть. Выручил подоспевший Сибок, в одно мгновение срубивший голову врагу. И не понять, чего было больше в ударе князя – силы или лихого умения...

Долгой ли, короткой ли была сеча, никто не мог сказать, потому что невозможно измерить неизмеримое. Вернее, измеримое не как все меняется, а чем-то особенным и непонятным. Когда она стихла, когда бросил князь саблю в ножны, вытер рукавом черкески лоб, когда остатки ливонцев кинулись в лес, он увидел перед собою воеводу Вишнивецкого, совершенно неожиданно явившегося перед ним. Но князь почему-то не удивился и совершенно спокойно спросил:

– Где Кудадек, он жив?

– Жив! – весело ответил воевода.– С пустяковым ранением в Мариенбурге. Скоро увидишься с ним, князь.

– О Всевышний! – воздел руки Сибок.– Одари нас своим милосердием, обрати на нас свой взор.

Адыги воздели руки и стали молиться.

– Подождите! – спохватился Сибок.– Все ли наши живы?

– Бжамит тяжело ранен.

– Где он?!

– Там, с нашими воинами.

Бжамит лежал на спине, вытянув руки.

Князь опустился перед ним на колени:

– Как же это, мой старый, мой верный друг? Как же я теперь без тебя?

Бжамит поднял тяжелые веки:

– Не дано человеку знать, где он родится и где успокоится, на все воля Всевышнего, воля Аллаха.

– Что ты говоришь?! Как же я буду без тебя?

– Ты иногда не доверял мне, теперь эту тайну знаешь только ты один. Теперь это настоящая тайна. Помоги моей семье, зиусхан, помолись, упроси Аллаха простить мне мои грехи...

Долго Сибок сидел, склонившись над телом Бжамита, и впервые, будучи взрослым, плакал. Плакал главный князь и не стеснялся своих слез.

Он тяжело поднялся, постоял, склонив голову:

– Спи спокойно, я все сделаю, о чем ты просил. Помолимся Аллаху – да будет он милостив к нашему Бжамиту, откроет ему врата рая.

Похоронили его, как полагается, по-мусульмански, отдельно от других воинов, потом у могилы остались Вишнивецкий, Богучаров, Михаил Черкасский и русские воины. Они по-христиански помолились.

Солнце уже клонилось над Мариенбургом. Только спешился Сибок у ворот больницы, и тут же увидел во дворе Кудадека с перевязанной рукой пониже локтя. Сдерживая волнение, чуть дрогнувшим голосом позвал:

– Сын мой!

Кудадек стремглав, словно мальчишка, кинулся к отцу, обнял его за плечи здоровой рукой.

– Ты узнал мой голос? Не обнимай, не позорь меня перед нашими адыгами и... я с большей печалью, чем радостью от нашей встречи...

– С матерью? Дома что-нибудь?

– Нет, сын, дома у нас все хорошо... сегодня в бою мы потеряли бедного Бжамита.– Отец и сын положили свои головы на плечи друг другу, помолчали, вздрагивая от беззвучного рыдания.– Ладно, теперь уж ничего не поделаешь, не будем забывать лучшего из лучших, нашего с тобой Бжамита. А как твоя рука, цела ли кость?

– Кость не задета. Пустяковая рана. Она уже, слава Богу, заживает.– Хотел он перекреститься, но постеснялся отца.– Думаю, скоро поправлюсь, скоро буду в твоей дружине.

– Конечно. Я уже разговаривал с твоим воеводой, он согласен. А теперь скажу тебе и хорошую новость. После некоторого пребывания здесь на войне мы с войском воеводы Вишнивецкого вернемся к нам домой. Мне об этом сам царь сказал. Это будет очень хорошо, сын мой! Пусть все увидят их воинов рядом с нашими. Очень мне интересно посмотреть на кислую рожу Давлет-Гирея, когда ему об этом донесут, а то, видишь ли, он то пугает нас своими разорительными налетами, то лебезит, устраивая

тайное свидание. А у наших князей-пустомель челюсти отвиснут от злости. Очень хорошо! А еще – запрещу Пшиапшоко, болтающему про нас разные глупости, ездить по нашей земле, топтать ее своими погаными ногами, пусть обходит стороной, по-над Азовским морем, через Дон. Что ты скажешь, сын мой, по этому поводу, справедливо я поступаю?

– Тебе судить, зиусхан. Каждому надо воздать то, чего он сам заслужил.

– Молодец, хорошо сказал! А теперь... Хочу с тобой поговорить, как бы это сказать, о делах душ наших. К нам дошел слух, что ты принял чиристанскую веру...

Помолчал князь, пытливо глядя на сына.

Молчал и Кудадек.

– Если ты принял ее не по какому-нибудь хитроумному расчету, а чистотой души своей, по ее требованию – это, наверное, хорошо. Тело наше мало живет, тленно оно, а душа – вечна.

– Спасибо тебе, отец. Твое слово – отчее благословение. Я не попросил твоего благословения перед крещением, ведь ты был очень далеко, но я знаю тебя и был уверен, что благословишь.

– Спасибо, сын мой... Если во мне, в душе моей возникнет такая необходимость, как у тебя, я тоже... но ... с этим нельзя торопиться...– Скрыл от сына Сибок, что по пути в Ливонию тайно от своих попутчиков крестился в одной из придорожных церквушек вблизи Пскова, принял православную веру.

– Да, отец. Я думаю... Это будет очень хорошо. У нас есть прекрасные священники...

– Но что скажет твоя мать, как к этому отнесется Ацамук? Как мы будем жить среди мусульман?

– Прости, отец, но душевные дела только душе принадлежат, ее вера, ее радость и печаль не обсуждаются ни с кем, ни на каком хасэ, только с одним Господом, с Духом Святым...

Князь слушал Александра-Кудадека, сына Сибока Каншаукова, с восторгом и тревогой: «Если его пощадит война и оставит жить, он станет большим человеком».

Над Россией стоял полдень седьмого дня августа 1560 года.

Русских и адыгских воинов Москва встретила колокольным звоном.

Воевода Вишнивецкий ехал впереди войска. Остановив коня, он снял шапку, широко перекрестился:

– Звонят, возвещая о печали.

– Что за беда случилась? – обеспокоился Сибок.

– Может, напали на нас крымские татары? – спросил Богучаров.

Раздался голос глашатая:

– Слушайте все и передайте всем, кто не слышит... С миром отошла к Господу благоверная супруга царя Ивана Васильевича Анастасия Романовна...

– Упокой, Господи, во царствии Твоем душу рабы Твоей Анастасии,– перекрестился Вишнивецкий и подал команду:

– Всем спешиться на молитву!

Спешились воины.

Адыги, повернувшись лицами на юг, прочитали свою молитву по умершей.

Сняв шапки, став лицом к церкви, каждый христианин про себя помолился:

– Упокой, Господи, душу новопреставленной рабы твоей Анастасии, царство ей небесное.

– Слава Богу, не царь-государь наш помер,– помолившись, сказал Богучаров.

– Как-то не верится,– сказал Вишнивецкий, пожимая плечами,– царица Анастасия, и вдруг...

Звонили и звонили печально колокола по всей Москве.

Народу было много на улицах. Все одеты в траурное, говорили тихо, многие женщины плакали. Коляски и кареты ездили неторопко, с приглушенными колокольчиками под дугой.

Много людей собралось у Кремля. Стрельцы пускали туда очень немногих, кому было дозволено. И все шепотом, шепотом. Все в ожидании чего-то, в настороженности.

Вечером в казарму пришел Вишнивецкий. Он приложил палец к губам, мол, все должно быть тихо, и они уединились в комнате Сибока. Сели рядом на диване. Воевода негромко произнес:

– Сказывают – отравили царицу...

11 Заказ 06

– Как?! Отравили жену царя? Царицу?! Кто это мог сделать, кому мешала она? – не унимался Сибок.– А ведь царь Иван еще так молод. Ему всего лишь тридцать лет.

Вишнивецкий подошел к окну. Окинул взглядом двор. Затем, подойдя к двери, немного приоткрыл ее, прислушался.

– Не надо бы тебе этого говорить, князь, но раз ты спрашиваешь, раз входишь в наши государственные дела, так скажу: наш царь-батюшка строгий, крутой правитель, не щадит неугодных, непослушных ему людишек, а у нас есть такая пословица: как аукнется, так и откликнется. А еще так говорят: если ты занес свой меч над чьей-нибудь головой, как бы он и над твоей не повис. Может, не надо бы тебе этого говорить, да уж раз сказал, то сказал, будешь знать теперь это.

«Сказать, что воевода недолюбливает царя... Но ведь он воевал как настоящий, храбрый, не щадящий себя воин. И под Мариенбургом, и под Дерптом. Только зачем он мне это говорит? Уж не дано ли ему такое задание: проверить меня попристальней, покопаться, узнать, чем я и мои сподвижники дышат, можно ли мне и всем нам доверять? Хотя для чего нас проверять, ведь мы сами к царю приехали, а как может быть неверным тот, кто просит помощи, как нищий может навредить тому, кто ему дает кусок хлеба, жизнь дает? За полтора месяца мы потеряли убитыми одиннадцать наших воинов. Да и я не сидел в кустах, воевода видел это своими глазами, не одна срубленная мною вражеская голова осталась лежать в поле. Правильно говорят: верность не словами, а делом проверяется. Видел и Вишнивецкий, и Богучаров, все видели, как адыги умеют постоять за себя и за друга своего. Не одного их воина уберегли они в бою».

– Я не знаю, как нам быть, научи, воевода: у нас обычно люди приходят в дом беды и выражают свои соболезнования. Если это можно, мы готовы хоть сейчас сделать это.

– Именно так и надо вам сделать, князь, но не сейчас. Сегодня государь сидит у изголовья покойной. Говорят, он очень тяжело переживает эту утрату... Завтра я поведу вас в Кремль, а сейчас отдыхайте. Надо как следует отдохнуть перед далекой дорогой.

– А удобно ли нам вроде как поспешно покинуть Московию? Как отнесется к этому царь, не покажется ли ему наш отъезд подозрительным?

– Не беспокойся, князь, я поступаю, как повелел царь.

– Вот и хорошо, а то я уже волнуюсь: что там у нас, все ли хорошо и спокойно.

– Да-да, князь, думаю, вам не надо здесь задерживаться после похорон,– сказал воевода и опять сначала подошел к окну, а потом к двери, прислушался.– Царь отомстит за эту страшную для него беду, сурово накажет, вот только жаль, что могут пострадать и безвинные, но что делать, ведь рядом с виновными стоят и безвинные, и они страдают, гибнут в вихре мести...

Сибоку очень хотелось как-то отстраниться от этой беды, а то ведь, чего доброго, можно оказаться, как сказал воевода, в неистовом, часто слепом вихре мести. И князь, сделав вид, будто не расслышал воеводу, сказал:

– Куда запропастился мой сын Кудадек, ему уже давно надо быть здесь... Да, да, горе у царя... Я подожду...

Через день после похорон царицы Анастасии три сотни русских и адыгских воинов во главе с воеводой Вишнивецким и князем Сибоком отправились походным маршем в Черкесию.

IV

На тропе, что вилась вдоль старого букового леса, вывернувшись из-за поворота, встретились Тахо и Цахо.

Пока сближались, каждый, улыбаясь, думал свое.

Цахо подумал:«Что-то слишком часто стали мы встречаться в лесу. И откуда возвращается этот чахоточный, у которого язык как помело в дурную погоду».

А Тахо подумал: «Посмотрите на него, на этого пустомелю! Вечно он куда-то торопится и с таким видом, будто делает очень важное дело, чуть ли не самое важное во всей адыгской земле. Трепач и бездельник».

Оба в приветствии подняли руки.

– Счастливого пути, зиусхан! – как бы радостно воскликнул Тахо.

– Приятного возвращения тебе, мой друг! – тоже как бы радостно воскликнул Цахо.

– Да тут недалечко был. Возвращаясь из Крыма, заехал ко мне зиусхан Пшиапшоко, посидели у меня. Сам понимаешь, по-мужски посидели, о делах поговорили, а потом я проводил его, как и полагается, до границы своей усадьбы.

– Как же это,– нахмурился Цахо,– когда гостил у тебя Пшиапшоко, тем более что из Крыма он ехал, почему ты меня об этом не известил, а еще другом моим называешься. Нехорошо это, зиусхан, не по-дружески. «Что б тебе не выпрямиться до самой могилы!»

– Не обижайся на меня, мой друг, не обижайся, зиусхан, видит Аллах, я ни капли не виновен перед тобою. Пшиапшоко неожиданно появился у меня, неожиданно спешился и сказал, что только из уважения ко мне заехал, потому что очень торопится. Я тут же хотел известить тебя об этом, но Пшиапшоко уже собрался покидать мой двор... Не сердись, он передает тебе свой уважительный поклон, который я специально и везу тебе. «Нужен ты мне как собаке пятая нога. Да еще и с обидою. Посмотрите, какую важную фигуру он разыгрывает из себя, а ведь Пшиапшоко даже не вспомнил его».

– Спасибо высокочтимому Пшиапшоко,– с достоинством поклонился Цахо,– спасибо тебе, моему верному другу. И дай Аллах, чтобы поклон, который ты везешь мне, разошелся по всей адыгской земле. Встретились мы с тобой у этого моего леса, посаженного, как говорят старики, моим прапрадедом триста лет назад. Да-да, буки живут по пятьсот лет! Раз уж встретились по твоей доброй воле, расскажи, что за новости привез из Крыма зиусхан Пшиапшоко. Неужели Давлет-Гирей до сих пор не понял, что лиса Сибок сын Каншаука бесстыдно его обманул? Он сложа руки дожидается, какую новость ему еще привезут из Руси.

– Валлахи, зиусхан, ты мне столько вопросов назадавал, что даже не знаю, за какой ухватиться, потому что один важнее другого,– чуть прищурившись, проговорил Тахо.

– Я никогда не сомневался в твоей мудрости, не сомневаюсь и теперь. Пораскинь палату своего ума, порадуй меня. «Да ты хоть бы на один мой вопрос ответил толково».– Тоненько, тоненько усмехнулся про себя Цахо.

– Если так ты говоришь, мой друг, то для этого разговора надо накрыть настоящее зиусханское анэ, а просто так, на дороге – это не годится. Не будем торопиться и портить добрую беседу, которую мы с тобой обязательно продолжим. А сейчас, зиусхан, куда держишь путь, если не секрет?

– Ты же знаешь, что моя душа перед друзьями всегда открыта, как эта дорога... Говорят, бедный Ванатуг пришел в себя, вот я и хочу повидаться с ним, порасспросить, покопаться во всем, вывести кое-кого на чистенькую водичку, за ушко да на солнышко. Вот и решил поехать с ним и еще кое с кем встретиться, кое о чем поговорить.

– Валлахи, столько лет тебя знаю, но что ты такой отважный и решительный мужчина, не знал,– пряча за улыбкой ехидство, проговорил нараспев Тахо и добавил: – Да поможет тебе в этом благородном деле Аллах, да хранит тебя, твою семью и твой славный род.

– Спасибо, но ты и в самом деле за столько лет нашей дружбы только сейчас узнал, что я отважный, решительный? Надо бы мне обидеться, но не буду, наша дружба дороже всяких обид.

– Валлахи, какая обида! Просто пошутил, потому что у меня сегодня хорошее настроение.

– Я так и понял,– великодушно согласился Цахо.– Думаю, и наши байколы именно так и поняли своих зиусханов. Пусть они, пусть все знают, если я все разведаю, выведу на чистую воду, будет покончено с наглым, хитрым, как ядовитая змея, Сибоком. И об этом обязательно должны знать все.

«В народе говорят: если человек не трудится, как хлебороб, у него вырастают ослиные уши, вот и у этого толстопузого коротышки глупая ослиная морда, а болтает о каких-то больших делах. Дружбу же свою он навязал мне сам. Болтун, болтун, а тоже – в полете! Наверно, мечтает стать главным, вот как неуловимый ветерок гуляет по вершинам деревьев. И еще говорят: жеребенок еще не родился, а он ему уже седло ладит. Пустомеля». Улыбнулся Тахо и как бы добродушно сказал:

– Да поможет тебе Аллах, зиусхан, осуществить твою мечту, сделать твое доброе и мудрое дело на благо всей нашей Жанеи, но я думаю, по Его воле Сибок не вернется с войны, ляжет на чужбине где-нибудь под кустом.

– На какой войне? – удивился Цахо.

– Как это – на какой? – удивился и Тахо. И с чувством превосходства спросил: – Или ты не знаешь? – И еще с большим превосходством добавил: – Он вместе с воинами царя урусов воюет в Ливонии. Это мне Пшиапшоко из Крыма такую новость привез.

– Вон уже куда он добрался, вот это да! Сам туда поехал или принудил его царь? Все равно – очень хорошо! Правильно ты сказал, сгниет он где-нибудь под кустом на чужбине. И поделом, поделом ему, паршивцу, а то ведь и совсем уже земли под собою не чувствует, в небесах витает!

– Зиусхан,– весело рассмеялся Тахо,– ты так говоришь о Каншаукове, будто его уже нет в живых.

– Правильно ты заметил: для меня его уже давно нет в живых, но я не успокоюсь, пока не докопаюсь до его мерзкого поступка, пока не покажу всем, какой он коварный. Я достану его и на том свете, зиусхан! И тогда люди, которые не знают его подноготной, ослепленные его фальшивой славой, поймут. Если хочешь, поехали со мной, вдвоем мы быстренько все решим!

– Что ты сказал, зиусхан? – возмущенно спросил Тахо, оскорбившись развязанностью Цахо, но сдержался и вежливо ответил: – С удовольствием поехал бы, но сегодня не могу, если бы узнал раньше...

Когда всадники расстались, разъехались спина к спине, Цахо усмехнулся: «Позвав с собою, я хотел проверить тебя еще раз. Люди пугаются одного твоего вида, да и меня иногда просто тошнит, как вспомню твою болезнь. По нужде я сошелся с тобою. Куда ты такой больной, такой глупый, никчемушний, а ведь хочешь стать главным князем в Жанее... Ты умеешь слушать умных людей, а потом к сказанному ими ловко добавляешь несколько своих слов и все выдаешь за свое, вот люди, не знающие тебя, и думают, что ты умный, мудрый. Правда, теперь это многие поняли и сторонятся тебя, боясь, как бы ты не присвоил, не похитил то, над чем они думают и днем, и ночью, над чем бьются в поисках правды, добра».

Устал князь Цахо от этих размышлений, а попросту говоря, надоели они ему, и он обратился к своим спутникам:

– Слушайте, байколы, не обращайте внимания на то, о чем мы болтали с Тахо. Я многое говорил, подхваливал

его из сочувствия к нему, больному, несчастному человеку. Вы сами убедились, какой он глупый, как любит самого себя больше всего на свете, хотя не стоит и ломаного гроша. Вы это сами все понимаете. Не обращайте на это внимания.

Кто-то из байколов громко засмеялся, кто-то хихикнул, кто-то промолчал. А князю это было не так и важно. Главное – он сказал, излил, как он подумал, свою душу. Пришпорив коня, пустил его веселой рысью навстречу ветерку:

– Шиблан, становись со мной рядом!

Стал байкол слева от князя, отставая от него, как и полагается, на полседла.

Понравилась князю аккуратность байкола:

– Сравняйся с моим седлом,– добродушно позволил он, перевел коня с рыси на шаг: – У тебя красивое имя, Шиблан, и мое, в отличие от Тахо, тоже неплохое.

– Да, зиусхан, твое имя – звонкое, как стрела, выпущенная из лука!

– Как здорово ты сказал! В моем табуне есть жеребые кобылицы. Первый жеребенок – твой, за то, что ты меня уважил добрым словом!.. Думаю, вы это знаете и понимаете, что не только мое имя лучше имени пустомели, но и многое другое! – Громко, чтобы все байколы слышали, сказал, а потом, наклонившись к Шиблану, тихонько, но со значением шепнул: – Если мы вернемся удачно из своей теперешней поездки, вы все станете байколами главного князя... да-да! – с восторгом добавил он,– ты правильно подумал. А кто же, кроме меня... Посмотри, какое яркое небо, какие горы! Это все добрый знак нашему делу.

«С тех пор как знаю Цахо,– подумал про себя Шиблан,– не могу понять, что он за человек? Может быть, потому что не понимаю – и расхваливаю его, верю разным словам, вот как теперь о главном князе. И не только я такой, другие тоже расхваливают вовсю. Конечно, с одним он ласково, по-княжески поговорил, можно сказать, погладил по головке, вот как сейчас мое имя похвалил, другому отрезал землицы, третьему подарил еще не родившегося жеребенка, а иному, если выгодно ему, нагрузит полную арбу всякого добра... А с Тахо? Очень интересно. Уж как он расхваливает его при встрече, а только тот уйдет, перед нами так поносит, хоть возьми и выброси его, как хлам. Да и тот не лучше, как говорят, друг друга стоят. В одном

они, пожалуй, только и сходятся – готовы на куски разорвать князя Сибока, ругают на чем свет стоит, будто он ничего доброго и не делает жанеям. А все из-за должности. И вот интересно: и тот, и другой метит на его место, только себя считает достойным. Но Сибока хасэ выбрало, а выберет ли оно кого из них? Это еще неизвестно, мне же кажется – вряд ли».

– Люди, вы что, уснули в седлах?! Ну-ка веселее! – громко произнес Цахо и пустил коня крупной рысью.

Он не хотел ни у кого останавливаться в гостиной, решил провести короткую летнюю ночь в предгорном лесу, недалеко от селения Кураш, куда и держал путь.

На пригорке, на высокой мягкой траве постелил князь бурку, ею же укрылся и под дремотный шум леса, пока не шел сон, думал о встрече с живучим Ванатугом. Думал, как он, можно сказать, вернувшийся с того света, будет разговаривать с ним, назовет ли убийцу. Думал, думал и не заметил, как уснул... Когда открыл глаза, лес, забавляясь лучами солнца, уже шумел – весело, призывно. Сладко потянулся князь, шумно зевая, умылся ключевой водой и потом, жуя размоченное в кипятке сушеное мясо, опять в мыслях вернулся к Ванатугу – как он, князь, будет разговаривать с бывшим разбойником и вором, как расположить его к себе, чтобы вызнать тайну. Жевал, жевал, думал, думал и вдруг ему представилось, что все злодейство совершилось вон за тем кустом орешника, из-за которого выскочил таившийся убийца... А не следит ли и за ними тот же убийца? Конечно, он на все может пойти, чтобы скрыть свою страшную, преступную тайну. Не доев кусок мяса, Цахо решительно встал:

– Седлайте моего коня. Ты поедешь со мною, Шиблан, а вы останетесь здесь и будете нас ждать. Думаю, мы к обеду вернемся.

У околицы Цахо придержал коня и, склонив ухо к Шиблану, заговорщицки сказал:

– Ты сам понимаешь, что за птица Ванатуг, во всем с ним надо держать ухо востро. Я пойду к нему один, он не терпит свидетелей, а ты тайком найди такое местечко, чтобы ко всему быть готовым.

– Будь спокоен, зиусхан. Если что... он не успеет и руку на тебя поднять, как я его прикончу.

– Нет-нет! Мы не убивать приехали. Я говорю просто так, на всякий случай. Не думаю, чтобы он поднял на меня руку... Но будет ли он дома? Не думаю, что он уже настолько выздоровел, чтобы куда-то уехать.

Они не спеша тронулись дальше. Вскоре Цахо увидел Ванатуга. Тот стоял у себя во дворе, привалившись грудью на плетень.

– Быть тебе богатым, Ванатуг, не узнал я тебя! – весело воскликнул Цахо.

– Это я, Цахо, я. Если привел ты что-нибудь такое, от чего можно разбогатеть – рад видеть. Спешивайся, будь гостем.

Ванатуг подошел к плетеным воротам, чтобы открыть их перед гостем.

– Не спеши, Ванатуг, тебе еще нельзя! – предостерегающе воскликнул Цахо.– Шиблан, быстро! Открой ворота!

– Не беспокойся, зиусхан. Я и не из таких переделок выворачивался и, как видишь, крепко стою на земле. Рад, что ты приехал, я и сам собирался в ваши края.

Ванатуг, открыв ворота, сказал байколу:

– Заведи коней за сарай.

Цахо, довольный тем, что Ванатуг встретил его лучше, чем он этого ожидал, был приветлив и радостен:

– Мы не собираемся засиживаться, Ванатуг, хотя ты нас так хорошо встретил, что отказать тебе трудно.

– Можете и не засиживаться, как говорят, вольному воля, но коней оставлять на дороге... мало ли что случится, некрасиво. Люди скажут, Ванатуг не умеет принять гостей как полагается... Заходите в дом, он рад принять вас.

Цахо потоптался в нерешительности и мягко спросил:

– А нельзя ли нам посидеть на скамеечке, вон под тем деревом. Погода хорошая, воздух такой живительный...

Ванатуг пожал плечами:

– Как скажешь, можно и под деревом. Погода и вправду такая, что только сидеть под солнышком и радоваться... Слушаю тебя, гость.

– Скажу тебе, Ванатуг, так: дело, с которым я приехал, важно не только для меня, но и для многих других уважаемых зиусханов, да и не только для них. Думаю, это важно для всей нашей адыгской земли, для которой правда – превыше всего, наравне с небом.

– Кто ж эти зиусханы? Очень хотелось бы знать.

– Конечно, я обязательно назову, ты должен знать имена этих честнейших людей. Решил добраться до корня этого дела я, а потом ко мне присоединились всеми уважаемые зиусханы Тахо, Марток, Жанэ...

Тень усмешки скользнула по лицу Ванатуга, стараясь не выдать ее, он проговорил:

– Очень, очень уважаемые люди. Можно сказать, честь и совесть нашей несчастной земли.

– О да! Но не только те, кого я назвал, а, можно сказать, почти все зиусханы Жанеи хотят добраться до истины, до причины беды, что с тобой случилась, узнать имя виновника, имя того, кого ты подозреваешь.

– А кого я подозреваю, зиусхан? – не то удивленно, не то с подковыркой спросил Ванатуг.– Хочешь – верь, хочешь – нет, но мне известно не больше, чем тебе и другим.

– Как же, как же! Ты его знаешь, как и все мы! – Цахо наклонился к Ванатугу и, затаив дыхание, прошептал: – Это обрусевший, обнаглевший Сибок Каншауков. Назови его имя, и этот кисет с золотом от меня, от тех зиусханов, которых я назвал,– твой. Посмотри, взвесь в своей честной руке и поймешь: здесь столько золота, что тебе его хватит на всю жизнь.– Цахо протянул кисет Ванатугу.

Тот, посмотрев на кисет, поднял глаза на Цахо:

– А скажи, Цахо, какое отношение я имею к тому делу, в котором не могут разобраться все мудрые зиусханы? Кого и в чем вы подозреваете?

Цахо на мгновение растерялся, но тут же нашелся, совершенно уверенный в себе, сказал:

– Мы не только подозреваем того, чье имя противно произносить, мы знаем – именно Каншауков протянул свою грязную руку, чтобы убить тебя, потому что ты опасен для него.

Ванатуг поглядывал на Цахо почти с откровенной усмешкой: «Какой несчастный этот толстенький, жирненький коротышка, делая вид, будто знает нечто важное, владеет чем-то очень большим, а в самом деле беспомощен и глуп, как его отвисший живот. Собираясь осчастливить меня золотом, он и не предполагает, а я знаю, сколько несчастий приносит оно, сколько прольет крови...»

– Думаю, зиусхан, мы сделаем так: я назову имя человека, который пытался меня убить, а ты отвезешь это

золото тому, кто дал его, и скажешь, что истина неподкупна, да еще вот таким грязным золотом.

Вздрогнул Цахо, напрягся, собрал всего себя в кулак. Спрятав кисет за пазуху, не то кисло, не то озлобленно улыбнулся:

– Если такая твоя воля, я, конечно, не буду ей перечить и сделаю, как ты сказал, но прошу тебя – назови имя коварного, однако бессильного, как оказалось, перед твоей судьбой убийцы.

– Его звали Панахесом.

– Да-да! – почему-то восторженно воскликнул Цахо.– Это он ударил тебя кинжалом в спину. Мы это знаем, но с Панахесом был еще один человек, который убил его самого!

– Но ведь ты приехал, чтобы узнать, кто меня хотел убить. Я тебе сказал, выполнил твою просьбу,– теперь не скрывал усмешки Ванатуг.

Цахо понял, что у него ничего не выходит. Побледнев и нервно дергаясь, стал бить кулаками по дрожавшим коленям.

Нахмурился Ванатуг, поднялся:

– Слушай, Цахо, я выполнил твою просьбу, что ты еще хочешь? Вижу, очень недоволен чем-то. Не торговаться же нам с тобою. Или будешь пугать меня? А может быть, ты забыл, что тебе уже пора отправляться в обратную дорогу?

Вскочил Цахо:

– Ванатуг, ты меня оскорбляешь!

– Но я ведь тоже могу оскорбиться твоими вопросами. У вас там свои дела с Сибоком, ну и разбирайтесь сами. Я ничего с ним общего не имел и не собираюсь к нему соваться. Ты пришел ко мне с добрым настроением, с веселой улыбкой и надеждой на свою удачу, я хочу, чтобы и в обратный путь ты отправился с таким же настроением. Что касается меня, как видишь, я улыбаюсь и, провожая, говорю: доброго тебе пути... А твой байкол, думаю, тоже ничего плохого здесь не видел и не слышал.

– Но,– как-то сморщился Цахо, потом мягко, с улыбкой попросил,– дай мне слово, что никому не скажешь о нашей с тобой встрече, о разговоре, который мы вели.

– Ну, мы ведь папахи носим, а не платки. Обещаю – я не пророню ни слова.

Ванатуг открыл ворота, проводил гостей, пожелав им доброго пути. Тут же закрыл их на засов и облегченно вздохнул, как вздыхают, избавившись от душевной тяжести.

Всадники долго ехали молча, потом Шиблан сказал:

– Я много слышал о Ванатуге, но увидел его впервые. Правду говорят, зиусхан, он похож лицом на сову. Как-то странно он смотрит и никак не поймешь, что у него на уме.

Цахо усмехнулся:

– Сова – птица мудрая, а о Ванатуге говорят как о страшном зубастом волке, на которого валят все, что было с ним и чего не было. Мне же он сегодня показался добрым бедняком,– заключил Цахо и, рассердившись на себя за сказанное, пришпорил коня.

Шиблан тоже усмехнулся, удивившись сказанному князем, и тоже дал шпоры коню, бросив его в галоп.

V

В том месте, где сходились земли натухаев, жанеев, бжедугов и абадзехов, Калакут созывал всеадыгское тфокотльское хасэ. Абадзехи, бжедуги, егерухаи, махоши, хатукаи, беслинеи, которым он сообщил через посланцев о времени и месте, прислали своих представителей и наблюдателей. Перед началом хасэ от кабардинских адыгов Пятигорья прибыло несколько всадников, а с Баксана и Терека все не было и не было.

Хакучинцы, собравшись, обсудили приглашение Калакута и решили: поскольку живут они в горах, как в очень надежной крепости, то ни в ком не нуждаются, а потому и не желают ввязываться ни в какие дела, чтобы не нажить себе врагов.

Сложное дело получилось у абазинов. Здесь возникло несколько разных мнений по поводу того, посылать представителей на хасэ или нет. Кончилось все тем, что предводители разругались, потом помирились и разъехались, решив, что у абазинов нет близкого родства с другими адыгскими племенами, а потому вполне достаточно сохранить со всеми добрососедские отношения. Так ведь спокойнее, никому не будет обидно.

«Внешним обличьем мы схожи с абазинами,– размышлял Калакут,– но языки наши так мало похожи, что

будто они разные. А если не разговариваешь на одном языке, как считаться одним народом? Вот абазины и абхазы, пожалуй, ближе друг к другу, чем с нами, они как две ветви одного дерева. Старики рассказывают: когда-то мы были ближе с ними, чем теперь. С убыхами тоже немного разнимся, но те все-таки прислали своих. А хакучи? Думают, что горы спасут их, но разве у нас нет гор, а у беслинеев и убыхов разве не такие же горы? К тому же и в горах зависит жизнь от человека, именно он делает свое жилье неприступным... Но вот почему не приехали тфокотли из Баксана и Терека? Ведь обещали, что обязательно приедут. Неужели обманули? Быть такого не может, что-то другое там».

– Слушай, почему так долго не открывают хасэ? – спросил у Тамтеча Ванатуг.– Ждем, пока поднимется солнце и начнет нас поджаривать, как тыквы на огороде?

– Ты, Ванатуг, думаю, из тех, кого не испугаешь солнцем, уже такое в своей жизни испробовал, что выдержишь жару самого ада, а не только солнца. И потом, чего беспокоишься, ты ж всего только наблюдатель махошевский,– со смехом ответил Тамтеч.

– То-то и есть – только наблюдатели мы с тобой, будто нам нечего сказать, будто чужие мы адыгской земле.– Увидел Ванатуг Калакута и вспомнил тот день, когда он вынес его с круга хасэ, не дал сказать свое слово. Вспомнил тот день, но теперь у него уже не было обиды на Калакута.– Я, ты правду сказал, и в преисподней не пропаду, а вот коней жалко – в такую жару на открытом месте, у них кровь может закипеть.

– Но, Ванатуг, кровь человека мало чем отличается от крови лошади, значит, и у нас она может закипеть,– усмехнулся Тамтеч.

– Э-э, я же сказал: человек все может выдержать, если захочет, лошадь же – животное очень чувствительное. Вот мой Белоногий – как он все чувствует, как понимает! Меня даже умные люди не всегда так понимают, очень душевное существо. Когда я вернулся из Турции, куда меня упек... когда вернулся и нашел его, ты бы посмотрел, как плакал он, но не горькими, а радостными слезами! И лизал меня, и клал голову на мое плечо, и ржал так, будто словами говорил. Истинная правда – я все понимал... А когда в прошлую зиму этот... меня ударил кинжалом и я лежал

без чувств, мертвым, можно сказать, лежал, Белоногий своим лошадиным чувством ощутил, что я живой еще и мне надо помочь. Лег он рядом со мною, подставил свою спину...– заблестели слезами глаза Ванатуга, отвернулся он в сторону, чтобы не видел Тамтеч... Постоял молча и продолжил снова: – Ко мне приезжают купцы, много золота дают за него. Глупые они люди...

– Наверно, и Цахо приезжал, чтобы купить Белоногого?

– Ну да! – сказал неправду Ванатуг.– Он давал мне тяжелый кисет с золотом, а в придачу еще и своего коня со сбруей, думал, я позарюсь. Пустой и... подлый человек.

– Пусть он пустой и подлый,– воскликнул Тамтеч,– но такое богатство!

– Что ты говоришь! Ты еще очень молод, вот поживешь и узнаешь, что у золота, у богатства нет души, оно холодное, как лед. А мой Белоногий всего лишь лошадь, но я скорее умру, чем расстанусь с ним, поменяю хоть на сто кисетов золота.– Ванатуг припал к шее коня, погладил, надел на него белую войлочную шляпу, подождал немного, потом снял, припал к ней лицом, подышал, как он считал, животворящим запахом Белоногого.– Не беспокойся, мой хороший, как солнце станет припекать, я надену ее опять на твою голову, укрою от зноя.

Солнце поднималось все выше и выше, даря всему сущему жизнь.

Кружил в вышине орел, резвились, будто играли в догонялки, ласточки, пролетая низко над землей.

Махали хвостами лошади, отбиваясь от оводов.

Начинали маяться на солнцепеке в ожидании хасэ адыги: там и сям возникал ропот.

– Хватит, Калакут, сколько можно ждать кабардинских адыгов, будто на них вся земля клином сошлась! – рассерженно сказал Даур.

– Я тоже так думаю,– поддержал старшего друга Хатай.– Те, кого мы ждем, наверно, не могут перешагнуть через волю своих зиусханов Темрюка и Пшиапшоко. Думаю, такие нерешительные люди не нужны самому хасэ. Что толку от них, если они живут не своим, а чужим умом. Выходит, такие же никчемные, как Тахо и Цахо.

– Я думаю, брат мой, напрасно ты думаешь так о своих соплеменниках,– возразил ему Калакут.– Тахо и Цахо

куда хитрее, чем выглядят снаружи. Загляни в них и увидишь это. Ведь они прислали на хасэ своих наблюдателей, значит, не просто отказываются от него, а чего-то мудрят, что-то замышляют, и мы с вами должны их знать и понимать. Да и они не одиноки в своих расчетах. Бжедугские, хатукаевские, егерухаевские зиусханы тоже прислали своих наблюдателей, значит, им не все равно, о чем будут говорить на хасэ, что решат. Выходит, мы не просто должны отмахнуться от них, а держать с ними ухо востро.

– Калакут,– обратился Даур,– ты посмотри, сколько людей собралось, вполне можно начинать хасэ.

– Согласен, но подождем еще немного. Я чувствую, они вот-вот появятся. Потерпи, Даур, потерпите немного... Посмотрите, там, кажется, Ванатуг стоит. Верно, он. Надо поздравить его с выздоровлением. Каким страшным мы знали его много лет, а теперь совсем другой человек, добро в нем взяло верх... С выздоровлением, Ванатуг! – протянул ему руку Калакут.– Слышал, слышал я, что случилось с тобою, но был уверен – ты останешься в живых и скоро поднимешься на ноги, покинет тебя болячка... И все-таки спрошу: как теперь здоровье, как чувствуешь себя?

– Как видишь, Калакут, не только живой и здоровый, но и веселый – таким ты меня, по-моему, не знал. Да и я себя таким не знал, будто другой, по воле Аллаха, появился и ходит по земле. У тебя столько дел, что не мог меня, больного, проведать, но прислал своих людей с лекарствами, харчами. Помоги, Аллах, чтобы я мог тебя отблагодарить за это, до конца своей жизни не забуду твою доброту.

– Не одного меня благодари, Ванатуг, и их тоже,– Калакут указал на стоящих у холма тфокотлей.– У нас немало сердобольных людей. Земля наша никогда не была скудной на доброту, к сожалению, мы не умеем объединить это воедино, а ведь честные, сердобольные и добрые люди – это и есть основа вечного, сила и красота каждого народа.

– Спасибо,– благодарно сказал Ванатуг, слегка поклонившись в сторону холма.– Всем спасибо.– И подумал, не без удивления глянув на громадного, какого-то угловатого и крепкого, как придорожный валун, Калакута: он – это все, все – это он.

– С приездом тебя, Тамтеч,– подал руку Калакут.– Как поживаешь, все ли благополучно в твоем доме?

– Не жалуюсь – здоров и крепок, как и полагается мужчине. Нас прислали махоши просто послушать, о чем тут у вас будет разговор. Но я скажу, мы не просто приехали слушать, мы душой и сердцем нашим с тобою и молимся, чтобы ты был крепок и удачлив в твоем деле. В этом году намного больше людей стало на твою сторону, чем в прошлую весну. Вот и абадзехи согласны стать с тобою рядом, а егерухаи точат мечи на своих богачей,– засмеялся Тамтеч.

– Мечи, говоришь, точат? – засмеялся и Калакут.– Подожди-подожди! Там всадники к нам направляются. Это, наверное, кабардинские адыги. Не подвели, не ошибся я в них. Хатай, поезжай встретить их. Вот теперь можно и начинать хасэ.

Вскоре к холму Хатай привел пятьдесят всадников, представителей нескольких групп кабардинских тфокотлей. Впереди каждой группы – князь с байколами.

Тепшанук – младший брат Пшиапшоко, и Балгайрук – сын князя Темрюка поприветствовали участников хасэ. Как бы не замечая Калакута, Тепшанук не без высокомерия спросил:

– На этом хасэ, куда нас пригласили, есть зиусханы?

Калакут сдержанно улыбнулся:

– Тебя, уважаемый гость, пригласили на всеадыгское тфокотльское хасэ, но, кроме тфокотлей, приехали и зиусханы, уорки. Это сын беслинеевского зиусхана Джамбеча, мой друг Хатай, рядом со мной – Дзегашт, сын почтенного тхаматэ Тлимафа. Приехали некоторые зиусханы из Бжедугии, Темиргои, Жанеи...

– Называй, Калакут, и меня! – Это подъехал со своими байколами Ацамук.

– Да-да, зиусхан Ацамук.

Обнял Ацамук Балгайрука, подал руку Тепшануку, спросил, все ли хорошо у них в Кабарде.

– Не обижайся, гость, ты приехал на хасэ тфокотлей,– уважительно сказал Калакут.– Пусть наши зиусханы сами разбираются в своих делах, в своих достоинствах, мы же будем говорить здесь о том, как жить адыгам дальше на своей земле, как сохранить ее в целости, а это возможно лишь при условии, если будет у нас свое, единое государство, а не раздробленные мелкие уделы. Если тебе близки

заботы адыгов, их родной земли, будь нашим уважаемым и почитаемым гостем, скажи свое мудрое слово.

– Спасибо, как говорят, на добром слове,– с достоинством заговорил Тепшанук, не называя имени Калакута.– Сначала послушаем вас, если понадобится, но и свое мы слово скажем. Вот только почему здесь не вижу уважаемых зиусханов Тахо и Цахо?

– Тахо и Цахо, уважаемый гость, считают себя птицами очень высокого, недосягаемого полета и на хасэ тфокотлей не ходят. Если пожелаешь с ними встретиться, мы потом обязательно поможем,– не без лукавства ответил Псамит.

– Конечно,– напыжился Тепшанук,– раз уж приехал в такую даль, то обязательно повидаюсь с ними... Если бы зиусхан Сибок не задержался у царя урусов, счел бы за честь обязательно побывать и у него.

– Желаю тебе удачи,– скороговоркой проговорил Калакут и обратился к тфокотльским предводителям: – Если не возражаете, будем открывать хасэ.

Калакут поднялся на сколоченное из бревен возвышение.

Глашатаи, расставленные среди людей, потребовали тишины, и когда она наступила, Калакут заговорил. Его слова, чтобы все слышали, громко и внятно повторяли глашатаи.

– От имени всех тфокотлей, живущих на наших землях, мы со своим словом обращаемся к вам, уважаемым участникам всеадыгского хасэ, к наблюдателям, присланным из разных мест, а также и к тем, кто приехал сюда по своей доброй воле. Вот уже несколько лет, как многих тфокотлей адыгской земли забота о судьбе нашего народа свела воедино, стала смыслом их жизни. Конечно, не вдруг и не просто мы сошлись воедино. Бывало, ссорились, потом, поразмыслив, мирились, расходились по своим углам и вновь сходились, а сейчас с уверенностью скажу вам: сейчас мы едины в своих мыслях, в своих устремлениях. Но как по утрам неизменно поднимается солнце, так перед всеми нами неотвратимо встают все те же вековые вопросы. Почему наши земли грабили и продолжают до сих пор грабить, угоняя в рабство братьев и сестер, разбойники крымского хана и кумыкского шамхала? Почему они не дают нам житья? Эти беды и другие несчастья приходят к нам со стороны, но есть у нас и свои,

которые всегда рядом с нами. Говорю о нашем многочисленном и сильном народе, о его богатейших землях, но не могу сказать и слова об адыгском государстве, потому что нет его из-за нашей раздробленности. Мы по-прежнему живем отдельными племенами, отдельными уделами, а то и вовсе крошечными селениями, где каждый поступает, как ему хочется, а не так, как надо всему нашему народу. У кого есть сила, тот и хозяин. Захотел – перегородил дорогу, и она стала на пути преградой. Кому-то захотелось, и он захватил обширные поля, другому же овцу свою негде пасти, вырастить пшеницу или кукурузу, чтобы накормить детей. Правда, мы в своих гостиных принимаем и угощаем каждого, кто к нам заглянет. Мы очень любим посидеть, поговорить о доброте, о чистой и красивой правде, но расходимся и забываем, о чем говорили, не спрашиваем себя, какая польза от наших умствований...

– Что он говорит? – кисло сморщившись, спросил натухаевский дворянин.

– Кажется, что-то интересное, но уж больно длинно,– ответил ему сосед.

– И такие тяжелые слова просто в моей голове не вмещаются.

– Да, он слишком длинную веревку вьет,– подхватил один из тфокотлей, присланных князем Цахо.

– Ну-ка успокойтесь, у себя дома будете болтать! – возвысил голос Псамит.

– Не трогай ты их, Псамит,– остановил его Калакут,– есть такие люди: если медом им только губы помазал, кричат: – мало, а дал много – объедятся и тоже будут недовольно горланить... Кому здесь неинтересно мы не держим – нет здесь ни плетня, ни каменного забора.

– Говори, Калакут! – донеслись голоса издалека.– А горлопанам тут делать нечего. Говори, слушаем!

Поднял руку Калакут, прося тишины.

Шумящему волнами морю надо время, чтобы оно улеглось, успокоилось. Так и расшумевшемуся хасэ – не сразу оно утихло.

– Нас, адыгов, двенадцать племен, и каждое из них считает, конечно же, себя самым лучшим, самым умным и мудрым. И лошади у них – самые быстрые, и песни они поют самые душевные, и пляшут азартнее всех. А если я самый умный и мудрый, то все другие, выходит, должны

почитать меня, слушаться. Вот и получается: махоши и егерухаи ссорятся между собой, абадзехи и бжедуги убивают друг друга, косятся один на другого беслинеи и абазины, не уживаются мирно адыги Терека и Баксана. Сколько же можно враждовать нам, единокровным братьям?

«Чего доброго, он и до нас доберется,– нахмурившись, подумал Тепшанук,– вы посмотрите, как распоясался этот громила тфокотль, будто он всему тут хозяин, будто нет здесь ни князей, ни дворян, и удивительно – почему они молчат? Конечно же, он не дурак, хотя имеет мужскую волю, способен держать в руках эту разношерстную толпу. Я уверен, если он скажет: долой всех князей, тфокотли пойдут за ним с топорами, вилами и сделают все, что он им велит. А сделают они это потому, что много в его словах правды. Впрочем, если уж говорить о главном князе над всеми адыгами, то это решать должны князья, а не разношерстная толпа, потому что она так же глупа, как бездумная морская волна.– Он глянул на Балгайрука.– Его ничего не волнует, он знает лишь свое «я». Вот из-за таких, из-за их себялюбия и равнодушия ко всему иному происходят многие беды, и еще большие могут произойти. Вон как тфокотли слушают своего предводителя».

Калакут между тем продолжал своим звучным басом:

– Одни из наших предводителей заискивают перед Крымом, другие – перед Турцией, третьи ездят на поклон к царю Руси, своих сыновей оставляют ему в услужение. Но есть и такие – и их становится все больше, которые надеются только на свой народ, на его единство как неодолимую силу.

– Правда твоя, Калакут, это говорим все мы, и больше никого не слушайся! – звонким голосом крикнул, привстав на стременах, бородатый, в белой мохнатой шапке мужчина.

– Правильно! – поддержал его пожилой тфокотль.– И не обращай внимания на зиусханов, которые становятся нам поперек дороги!

Глашатаи разнесли эти слова по всему хасэ, как говорят, до самого неба, до его высоты.

И вспыхнула на поляне, покатилась из конца в конец волна одобрения Калакуту и угрозы тем, кто станет против него, а значит, против их всех.

Поднял руку Калакут:

– Уважаемое хасэ, не думаю, что мы собрались сюда, чтобы разбираться в зиусханских делах, противостоять им. Нет! Наша сила в единстве всего адыгского народа. Нечего греха таить, есть и среди нас бездельники, бузотеры. А посмотрите, что делается на наших приморских базарах. Не князья же там занимаются нечистыми торговыми делами. Там людьми торгуют, будто скотиной...

Вздрогнул Ванатуг, подумав, что Калакут назовет его имя, ведь торговал, торговал он тоже людьми, занимался грязным делом.

Но не назвал Калакут его имени, и выпрямился он:

«Спасибо тебе, спасибо, что понял меня, что пожал мою руку и смотрел на меня добрыми глазами».

– Сила народа и его государства не только в его войске, умелых, храбрых воинах, а и в душевной красоте каждого, в душевной доброте и чести, в мудрости, оставленной нам нашими отцами и дедами, сила в том, что мы называем адыгством. Если у вас есть вопросы, если кто хочет сказать свое слово, выходи и говори.

Балгайрук, наклонившись к Ацамуку, негромко сказал:

– Я ехал сюда, полагая, что будет зиусханско-тфокотльское хасэ, где можно серьезно говорить о том, что наболело и требует решения. Делом, а не словами. Думал-гадал, а получилось чисто тфокотльское хасэ, поскольку руководит им тфокотль, которому за плугом бы ходить, а он, видишь ли, умствовать начал. И вся эта толпа вместо того, чтобы работать в поле, на пастбищах, собралась попросту пославословить. Уж этот... предводитель,– усмехнулся Балгайрук,– сам умствует и мужиков зовет к тому же. А что они смыслят, да еще в государственных, как говорит он, делах. Государственных, Ацамук! Выступай не выступай, что ни говори им – ничего не поймут. И сердиться на них нельзя, разве можно сердиться на человека за то, чего ему не дано.

Ацамук, спрятав усмешку в усах, посоветовал:

– Думаю, тебе лучше не вмешиваться в это хасэ. А мой друг Калакут не говорил мне, что это будет только тфокотльское хасэ, ведь он пригласил и многих зиусханов.

– У меня есть вопрос! – выкрикнул худощавый мужчина.– Я – тфокотль из страны Бжедугии. Скажите: если мы создадим тфокотльское государство, куда денем наших зиусханов?

Откашлялся Калакут:

– Начну с того, что на нашей адыгской земле нет страны Бжедугии, есть просто бжедуги, одно из двенадцати племен, как мы знаем, составляющих адыгский народ. Мы хотим создать не государство тфокотлей, а всеобщее адыгское, где в мире и согласии будут жить и тфокотли, и зиусханы, и уорки.

Абадзех, стоявший рядом с худощавым бжедугом, чуть не до самых глаз заросший смоляно-черной бородищей, захохотал, придерживая руками живот, которого могло бы хватить и на двух человек:

– Ну да! Посадишь ты за один стол зиусхана и тфокотля!

– А что? – пожал плечами Калакут,– я частенько сиживаю в их гостиных и, конечно, за одним столом с ними. В нашем государстве, если мы его создадим, как и в любом государстве, каждый будет заниматься, как и сейчас, своим делом, а править будет один человек, скажем, царь, объединяющий всех нас в одну семью. Словом, заживут по-братски все двенадцать племен.

Громче прежнего захохотал абадзех, придерживая, как бы успокаивая, колыхавшийся живот:

– Дорогой мой Калакут, тогда зачем ты готовишь такой вкусный обед, если тебе его есть не придется?!

– Если бы только обо мне шла речь, уважаемый, я – человек простой, могу поесть и всухомятку.

– Выходит, и зиусхан может стать царем? Тогда зачем ты созвал тфокотлей? – не унимался абадзех.

– Нас, крестьян, большая часть всего нашего народа, вот пусть зиусханы знают, чего хочет их народ, куда он стремится. Закончим работу хасэ, примем свое решение, тогда, думаю, и они соберут свое хасэ. А теперь, если нет вопросов, начнем выступления, продолжим наш разговор.

– У меня есть вопрос! – опять обратился сухощавый бжедуг, хитро сощурив веселые черные глаза.– А если зиусханское хасэ не захочет этого адыгского государства с властью царя над ним? Что тогда? Значит, облизнемся мы.

– Почему же не захочет? – озадачился Калакут. Он даже не подумал об этом, настолько был уверен в правоте

своего дела. Озадачился, помолчал и, как-то беспомощно пожав своими могучими плечами, сказал: – Тогда мы поднимемся... тогда погибнут и зиусханы, и тфокотли, и уорки. Адыги погибнут как народ. Но мы – мужчины, мы – адыги и будем надеяться на лучшее, будем просить помощи у Аллаха.

– Будем просить, будем надеяться, пока ничего другого не вижу... Хорошо, хоть надежда есть. Но ответь еще на один вопрос. Мне даже неловко, что я все спрашиваю да спрашиваю, а остальные почему-то молчат. Робеют, что ли, но разве они не мужчины, не адыги?.. Я вот о чем: как будут жить в одной стране двенадцать племен, как жить, чтобы сохранить себя, обычаи наших отцов, пядь каждой своей земли и в то же время быть под одним правителем, под одними законами для всех?

– Очень хороший вопрос. Я на него отвечу вопросом: а как живет семья, в которой, скажем, двенадцать сыновей, дочерей, невесток, внуков? И каждый из них сам по себе – человек. У каждого свой характер, свое сердце, ум, честь, совесть, из которых и складывается сила семьи. А во главе всего этого – мудрый отец. Думаю, вот такой семьей и должно быть государство адыгов, руководить которым должен мудрейший из мудрейших, кому мы спокойно можем доверить свою судьбу.

– А как найти этого мудрейшего? Кто назначит его царем?

– Все мы, весь народ. Если вопросов больше нет, тогда начнем разговор. Кто хочет сказать свое слово – пожалуйста!

К возвышению направился Дзегашт. Очень не хотелось, чтобы первым выступил его тесть, но ничего не поделаешь – Калакут уступил ему место и, соблюдая обычай перед тестем, отошел чуть в сторону.

– Люди добрые, дай Аллах, чтобы наше хасэ было счастливым,– решительно начал он,– чтобы мы нашли ту дорогу, которая приведет адыгов к достойной нашего народа жизни... Я зовусь Дзегаштом. Отец мой не разделяет нас на племена, на зиусханов, уорков и тфокотлей, так же, как на лугу нельзя разделить душистые цветы, все это – луг, который кормит нас, радует, за которым мы по-хозяйски ухаживаем. Так и мы: какому бы племени ни принадлежали – все адыги. Помнить это надо, гордиться, стать

единым и потому сильным государством, с мудрым царем во главе, тогда никто не посмеет нас унижать, безнаказанно топтать нашу землю... Тут могут подумать, мол, Дзегашт – тесть Калакута, потому и расхваливает его дело. Я еще до знакомства с ним частенько разговаривал со своими друзьями, о чем сегодня говорим с вами. Знаете, ходят-бродят по небу белые облачка без всякой пользы, но вот они из белых тучек станут тучами и прольют на землю благодатный дождь. Так и Калакут – не выдумал он это, видно, пришло время, и сама жизнь выдвинула его вместе со многими его друзьями, с их делом, что называется, на самую вершину земли адыгов. А еще я вот что хочу сказать, уважаемое хасэ. Как только создадим наше адыгское государство, как только окрепнет оно, мы совсем другими глазами будем смотреть на весь мир – на ту же Турцию, Русь, Крымское ханство, на Персию, и все они увидят нас иными, достойными их внимания и уважения... Не обижайтесь, что я так длинно говорил.

– Хорошо говорил!

– Мы согласны!

– Верную нам дорогу обозначил!

Прошумела над хасэ, ушла в бесконечность волна одобрения.

Один за другим поднимались на возвышение выступавшие. Большинство их считали, что надо, не затягивая время, создавать вместе с князьями адыгское государство с царем во главе. Иные высказывали, мол, дело серьезное и торопиться не надо, не натворить бы в спешке чего-нибудь непотребного. Двое решительно высказались против князей, даже угрожали им, если станут поперек тфокотлям. Правда, народ в ответ загудел возмущенно.

К возвышению, припадая на левую ногу, направился Ванатуг. Шел не быстро, как бы сомневаясь, что разрешат ему говорить. Не дойдя трех шагов до Калакута, спросил:

– Можно мне сказать свое слово?

Калакут услышал Ванатуга, его робкий вопрос и вздрогнул сердцем. Мать родная, человек, которого лишь несколько лет назад считали исчадием ада, за которым он, Калакут, гонялся, чтобы убить, которого он когда-то выволок из круга хасэ, вот теперь...

– Поднимись, скажи, Ванатуг, у тебя есть что сказать. Проходи.

Поднялся Ванатуг, и ему показалось, что все слышат, как у него стучит сердце. О, сколько людей на него смотрело! И не просто смотрело, а ждало. Очень ждало. И странное дело – легко у него вдруг стало на сердце, так легко, как никогда еще не бывало. И слова появлялись как-то легко и просто:

– Да будет ваш нынешний день в сто ваших счастливых дней!

Сдержанным, даже настороженным шумом ответило хасэ и тут же умолкло, над толпою повисла тишина.

– Вы, конечно, узнали меня, я – Ванатуг. Я в своей жизни сделал больше зла, чем добра...

Нет! Такого не бывает, чтобы человек прямо сказал да еще перед всем миром, что он – злодей.

Выждал, пока улегся шум, и продолжил твердым спокойным голосом:

– Думаю, сам бы я не справился с шайтаном, но Аллах услышал мое раскаяние и помог вернуться к нему, вернуться к добру. И вот сегодня я вместе с вами думаю не только о себе, а и о вас, как и вы обо мне, все вместе о нашей древней, красивой и доброй земле адыгов.

Мощный гул одобрения прокатился над поляной и устремился к светлому небу.

– Своим умом и сердцем я поддерживаю дело Калакута и вас, его добрых и мудрых друзей. Когда создадим адыгское государство и будем выбирать его руководителя, давайте не забудем о том, кто начал это святое дело и привел всех нас сюда... Не перебивай меня, Калакут! Я не тебе стараюсь угодить, а нашему общему делу. Теперь вот о чем хотел бы сказать.– Ванатуг поднял руку, прося тишины, и продолжил: – Черноморское и Азовское побережья – это богатство, если оно в хозяйских руках, а сейчас с тамошних базаров растаскивают все лучшее, что производит наш народ, там торгуют даже нашими детьми, братьями и сестрами. Лишь когда создадим единое государство и единое войско, мы сможем навести там порядок и пользоваться богатством морей и побережий. Если понадобится, я пойду с воинами, помогу им, ведь я знаю там все ходы и выходы, все кривые дорожки.

Гулом одобрения проводило хасэ Ванатуга.

К Калакуту подошел молодой парень:

– Ты помнишь, Калакут, я – Минач. Вы с Дауром несколько лет назад отбили меня у разбойников и помогли вернуться домой. Я приехал сюда с двумя своими младшими братьями по поручению матери. Она просила сказать хасэ, что вместе с нами поддерживает Калакута и его друзей. Если надо, я с братьями хоть сейчас стану рядом с тобой.

– Спасибо вашей мудрой матери, спасибо вам, будущим воинам будущего адыгского государства.

Выступили еще несколько человек, поддержали предводителя тфокотлей. Калакут просто светился от радости, поднявшись на возвышение, он спросил:

– Теперь, уважаемое хасэ, вы должны сказать свое твердое слово: хотите создать адыгское государство, призвать всех зиусханов обсудить это на своем хасэ?

Над поляной взвились и засверкали обнаженные кинжалы:

– Согласны, хотим!

Ацамук и князья, стоявшие с ним рядом с некоторым промедлением, но все же подняли свои кинжалы.

Нет, не рассердился на них Калакут, он просто улыбнулся, вкладывая в ножны свой кинжал.

VI

– Что за ветер такой противный здесь дует! – сердито проворчал Цахо, слезая с коня и кинув поводья байколу Шиблану. Направляясь в дом, он продолжал ворчать: – И что за человек, что за хозяин этот Тахо, если во дворе грязно, будто сто лет не подметали, плетни вот-вот развалятся, почти сгнили уже.

В гостиной он поприветствовал Тахо с его гостями и, усмехнувшись, спросил:

– Что это вы сидите, как на похоронах? Тфокотльское хасэ оплакиваете?

– Что это еще за хасэ? Сборище бездельников?! Слава Аллаху, у нас добрых дел хватает! – не без гордости ответил Тахо.

– Какие такие у вас еще добрые дела? – со скрытой усмешкой спросил Цахо.

– Я думаю,– сказал князь Марток,– когда жеребятся в твоем хозяйстве пять кобылиц, да еще если они принесли

невиданных по красоте и резвости жеребят, это очень важное, доброе, даже счастливое дело. Я уже поздравлял зиусхана, поздравь и ты, Цахо.

– Конечно, конечно, поздравляю! Счастливчик ты, Тахо, счастливчик! Да пусть умножится твое богатство вместе со всеми жеребятами! – с ехидной торжественностью произнес Цахо. «И везет же этому доходяге».– Пять! Да еще в один день! Редчайшее счастье...

– Ты прав, зиусхан, все в жизни бывает.– «Он даже позеленел от зависти. Я – друг твой, я – друг твой, а на самом деле...» – Марток пошутил: не в один день ожеребились мои кобылицы, а за одну неделю.

– Не завидую, не завидую тебе, дружище, всю неделю с коня, наверное, не слезал. И какое там хасэ, правильно ты сказал – сборище бездельников. А меня тоже счастье не обошло. Конечно, не пять жеребят. Помнишь зиусхан, я при тебе обещал своему байколу подарить первого, какой только появится, жеребенка? Конечно, подарю, не нарушать же княжеского слова. Вот и получается – мы живем больше для людей, чем для себя. Делаешь, делаешь для них, а они еще морды свои недовольные воротят, суются, видишь ли, в государственные дела. Ладно, хватит об этом. Не знаю, как ты, Марток, а я едва пробивался сквозь шальной ветер. И к чему бы он так задул, не пригнал бы какой беды. Хотя, мне кажется, уже надул – это тфокотльское хасэ. Нет-нет, зиусхан Тахо, не говори, что это сборище бездельников, нет! Там один бунтарь Калакут чего стоит. Попробуй справиться с ним, когда у него за спиной вон сколько горластых голодранцев! Они еще ничего не сделали, а уже власть свою заявляют – не спросившись у нас, не посоветовавшись ни с кем. Нельзя, нельзя нам сидеть сложа руки, ждать, когда они сядут нам на шею. А если сядут, так и голову нашу в свое удовольствие срубят. Быдло – оно и есть быдло.

– Смотрю я на тебя, мой друг Цахо, и вижу, каким ты в молодости был горячим, боевым, таким и до сей поры остался, не сворачиваешь скакуна со своей дороги.

– А чего это я должен сворачивать своего скакуна?! – почему-то обиженно возразил Цахо.– Я – зиусхан, а не какой-нибудь голодранец!

Тахо, вроде бы дружески улыбнувшись, сказал:

– Ты чего, дружище, рассердился? Я как раз и сказал о твердости твоего характера.

– Истинно, истинно, зиусхан, если бы мои слова расходились с делом, то, как говорят, горы бы рухнули. Стоят они, стоят и вечно будут стоять, как настоящее слово настоящего зиусхана. Мне думается, вы до моего прихода говорили о чем-то важном? Давайте продолжим. Думаю, и мое слово не будет лишним.

Тахо с откровенной усмешкой глянул на своих гостей Жанэ и Мартока, как бы говоря им: «Вы посмотрите на этого лупоглазого нахала: не успел еще и войти к нам, а уже хватается за удила наших коней, уже и нами хочет командовать!»

«Какой черт впихнул меня между этих двух одинаково глупых зазнаек! – с досадой подумал Марток.– И что они точат свои поганые зубы на Сибока? Сколько я их уже знаю, себялюбивые, самовлюбленные бездельники. У Сибока богатое хозяйство, он главный князь, казалось бы, живи, наслаждайся, так нет же – он, можно сказать, не слезает с коня, все в заботах. Договорился бы потихоньку с Турцией, с Крымом и жил бы в свое удовольствие, но он знает: от султана и хана не жди ни добра, ни покоя, поэтому и ездит за тысячи верст к царю, видит в нем надежного защитника земли адыгской, нет, не своего княжества и своей семьи, а всей земли адыгов. Мы виноваты, что стоим в стороне, не помогаем ему. И некем, некем его заменить, не вижу равного ему – не эти же двое несчастных. Не дай Аллах, по какому-нибудь недоразумению кто-то из них станет главным, тогда конец Жанее.– Марток посмотрел на князя Жанэ и понял, что они с ним одинаково думают.– Да-да, я в последний раз встречаюсь с ними, лучше обойти их стороной, чтобы не влипнуть в какое-нибудь грязное дело».

Размышлял и Жанэ: «О чем хочет поговорить с нами этот лупоглазый Цахо? Какое «свое» слово он может вставить? Глупость какую-нибудь, ведь у него, кроме княжеского имени, ничего в голове нет, разве еще непомерные претензии. Он, наверное, спит и во сне видит себя главным князем. Тахо тоже мнит себя великим мудрецом и, понятно, считает себя достойнее своего друга Цахо. Да и друзья они – до первой стычки. Глаза друг другу выцарапают...»

– Никак я не пойму, зиусханы, чего мы сидим, как воды в рот набрали. До меня вы тут разговаривали, а я пришел – замолчали. Напугал я вас, что ли? – скривился в обиде Цахо.

– Ну, зиусхан, наоборот: ты, одолев страшный ветер, вошел к нам такой просветленный, так обрадовал нас, столько нам мудрых слов сказал. Да поможет тебе Аллах во всех твоих делах.– Поднялся Жанэ, расправил пояс на черкеске, поправил кинжал.– Думаю, мы хорошо поговорили, только и хочу добавить: если понадоблюсь, можете рассчитывать на меня в любое время. Ты сказал, зиусхан, что ветер усиливается, а мне предстоит дальняя дорога. Счастливо оставаться.

Поднялся и Марток:

– Лучшего попутчика, чем зиусхан Жанэ, да еще в такую непогодь, не бывает. Я тоже скажу, как и он: если понадоблюсь, можете рассчитывать и на меня в любое время. Счастливо вам оставаться.

Когда Цахо и Тахо остались вдвоем, Цахо поднялся дергаясь, заходил по комнате, потом остановился напротив хозяина дома, глянул на него сверху вниз и фыркнул:

– Это как же они ушли?! Будто плюнули на нас!

Поднялся и Тахо, как-то виновато сдвинул свои сухонькие плечи, поморгал бесцветными глазами:

– Конечно, конечно, зиусхан, но пойми – мы тут довольно долго сидели, о многом и важном поговорили, поразмышляли. «А чего этот убогий Цахо взъерепенился? – мелькнула у него мысль.– Ветром, наверное, помутило его небольшенький разум». И когда ты, счастливый тхаматэ, пожаловал к нам... уже все было переговорено, не перемалывать же нам было все заново... Конечно, не совсем прилично они встали и ушли, но и гневаться на них в такое трудное время нельзя – надо беречь каждого своего единомышленника. Не сердись, зиусхан, видит Аллах...

– Что он видит?! Может, и видит, да ничего мне пока не говорит, а вы тут, наверное, распотешились за моей спиной, все мои косточки с песочком протерли.

– Что ты говоришь, зиусхан! Как ты можешь такое подумать о своем лучшем друге? Я костьми бы лег, но не позволил даже единого плохого слова сказать о тебе. Да садись ты, садись! Что мы стоим, будто вот-вот выхватим кинжалы. Сядем и успокоимся.

Сели, помолчали, поглаживая колени.

– Спасибо тебе, мой друг Тахо. Я всегда верил тебе и, как видишь, не ошибся... Не сердись, просто горячая адыгская кровь взыграла. И, честно говоря, подумал на всякий случай, сам знаешь, время такое – лучше перегнуть, даже сломать палку, которой могут тебя отлупить по спине. Я так считаю, разве не правильно?

– Зачем ты думаешь о таких вещах – только сердце свое надрываешь. «Он похож на кошку, которую только погладь – и она блаженно закрывает глаза и мурлычет. Князь-мурлыка».– Ты же знаешь, мы с тобой в одной упряжке, у меня, скорее, разорвется сердце, чем я оставлю тебя. И не только я, у тебя много настоящих друзей. Уехавшие зиусханы уважают тебя. Когда я им рассказал, как ты ездил к хромому Ванатугу, они, прямо скажу, восхитились твоим поступком.

– Ты все это им рассказал? – заинтересованно посмотрел Цахо, прищурив глаза, словно глядел на солнце.

– Да! Все, как было, вот только хромой дьявол этот... как думаешь, не подведет нас с тобою?

– Думаю, он не отступится от своих слов. А ты, может, что-нибудь слышал? – насторожился Цахо.

– Слышать не слышал, но верить на слово разбойникам и ворам очень опасно. Не знаешь, когда они тебя купят и когда продадут тому, кто им больше даст. С ними всегда держи ухо востро, поэтому я и сказал.

«Интересно, эта сухая кочерыжка разговаривает со мной так, будто сам слышал мой разговор с Ванатугом»,– подумал Цахо и вспомнил, как он в лесу, вернувшись после встречи с хромым, растолковал своему байколу Шиблану, что убить Ванатуга по заданию Сибока пытался Панахес, но только ранил его, а Ванатуг прикончил Панахеса. Сообщил ему об этом Цахо и сказал, что все это должно знать как можно больше людей. Понятно, Шиблан растрезвонил своим приятелям, вот и пошли вокруг слухи, как волны от упавшего в воду камня».

– Если эта мерзость откажется от своих слов,– грозно нахмурившись, заговорил Цахо,– я расправлюсь с ним, как с бешеной собакой!

– Правильно. Собаке – собачья смерть. Но знаешь,– как-то промямлил Цахо,– лучше, если бы мы собрали

золотишка для Ванатуга, это было бы надежнее. У золота, сам знаешь, очень большая сила.

Тахо сделал вид, что не слышал слов своего друга, и спросил:

– Скажи, зиусхан, когда ты рассказывал эту историю, кто-нибудь был, кроме Шиблана?

– А как же! Все байколы слышали. Я еще им сказал что об этом гнусном деле должны знать все честные люди. Думаю, теперь уже многие знают, ведь многих медом не корми, только дай на язык что-нибудь остренькое, небывалое. Даже вонюченькое. Конечно, ты человек мудрый и сам понимаешь: главному зиусхану чем-то мешает бывший разбойник.

– О мой друг, о счастливый тхаматэ, ты совершенно прав, считай, что полдела уже сделано! – ликовал Тахо.– Я наливаю, мы должны выпить моей чудодейственной бузы за твой героический и на редкость мудрый поступок, прямо скажу, не постесняюсь – героический!

– Я благодарен тебе, очень благодарен, мой друг, но пить не буду. Когда дует такой шальной ветер, у меня в голове шум нехороший поднимается, и если выпью твоей крепчайшей бузы, то будет совсем нехорошо, а мне еще в седле сидеть.– «Он хочет вскружить мне голову и выпытать то, что ему неположено знать. Да-да, кроме всего этого, он любитель перехватывать и выдавать за свои мои остроумные и звонкие здравицы».– Я подниму, уважительно и благодарно пригублю, только пригублю. За удачу такого дела, конечно, надо выпить.

– Согласен, но я хотел... Ты помнишь, мы с тобой однажды спорили по поводу одной здравицы?

– Подзабыл что-то, напомни,– лукаво сощурился Цахо.

– Та моя здравица, которая стала теперь обязательной на застольях тфокотлей, зиусханов и уорков, у крымского хана и даже турецкого султана. Да-да – у турецкого султана и крымского хана! Мне об этом говорили верные люди. Так вот – ты услышал ее от меня, перехватил и выдавал за свою. Вот эта здравица: «Пусть будут наши враги под нашей пятой, а друзья – перед Аллахом». Выпей, если возвращаешь то, что принадлежит мне по праву.

– О, конечно!

Они выпили до дна.

– О Великий Аллах,– продолжал восторженно Цахо,– как легко у меня стало на душе! Правда, правда, всегда так бывает, когда человек кается в своем грехе. Теперь уж не припомню, кто тогда вовлек меня в эту нехорошую историю, не помню, кто стал говорить, будто эта здравица моя, а я не возражал, и она пошла гулять по белу свету. Прости, зиусхан, до сих пор не понимаю, что заставило меня присвоить чужую здравицу, да еще моего лучшего друга. Вон как, вон как легко и радостно стало у меня на душе. Тебе великое спасибо, что помог мне избавиться от греха. Вот что значит настоящая мужская дружба!

Оба князя раскраснелись под действием бузы и были очень довольны, даже счастливы.

– Как хорошо, когда все кончается хорошо! Скажи, разве это не так, многоуважаемый зиусхан Тахо?

– Очень даже так, сто раз, многоуважаемый Цахо! Я помню, как те удивительные слова вселились в меня по воле свыше. Мудрость – она всегда связана с высшей, даже божественной силой! Спасибо, ты это понял и великодушно возвратил ту великую здравицу ее хозяину, мне. Но, мой друг, но! Как теперь убедить людей в том, что именно я породил ту здравицу, а не кто-то другой, скажи мне, как?

– Это же совсем просто, если речь идет о высоком благородстве... Подожди, не перебивай меня, не охлаждай моего вдохновения. С сегодняшнего дня я беру на свои плечи тягчайший, но и благороднейший груз. Где бы я ни пил, в каких бы высоких компаниях ни присутствовал, всюду, произнося эту здравицу, обязательно буду говорить, что ты, зиусхан Тахо, сотворил ее, ты поднял за столом эту здравицу первым!

Тахо торжественно поднял руки:

– Я много встречал благородных, самоотверженных мужчин, но ты – первейший среди них! В тебе сочетаются строгость и суровость, без которых мужчина – не мужчина. В то же время у тебя чувствительное, добрейшее сердце и мягкая, красивая душа. Будь здоровым и богатым. Я выпью, чтобы ты долго-долго жил с нами, своею мудростью освещал нам путь! «Пошли, Аллах, ему легкую и скорую кончину».

Слуга принес зажаренные потроха молодого барашка.

– Попробуй, зиусхан. Такое блюдо готовится из только что освежеванного, жирненького и совсем молоденького

барашка. Это дорогое блюдо, но мне его готовят каждый день к обеду.

– Как ты сказал, зиусхан? – удивленно вытаращил уже осоловевшие глаза Цахо.– Каждый день?! Но если каждый день забивают тебе барашка, то, наверное, в твоем хозяйстве каждый день и рождается ягненок?

– Конечно! И не один – такое у меня хозяйство.

– Те двое уехавших, когда узнают, какого блюда они лишились из-за своей глупости, очень пожалеют.

– От зависти околеют! – тоненько засмеялся захмелевший Тахо.– И поделом им, а мы будем наслаждаться. Знающие люди говорят, что такого блюда не попробуешь даже в самой Турции.

– Правильно. А скажи, достопочтенный, сколько ножек у анэ? Правильно, три, значит, и третью здравицу надо поднять. За тебя, за твое мужественное благородство, за твою редкостную щедрость! Пусть умножается твое богатство, пусть будут мир и покой в твоей прекрасной семье! Да пусть никогда не потухнет в твоем очаге благодатный огонь! А сам ты жил бы счастливо, в добром здравии столько, сколько тебе захочется!

– Во-ви-виу, я буду премного тебе благодарен, даже если только половина того, что ты пожелал, сбудется.– Забыв о сильном ветре, о дороге, которая ему предстоит, Цахо еще осушил рог бузы.– Иногда я состязаюсь, вернее, пробую состязаться с тобой в выдумке здравиц, но разве могу с тобой сравняться, куда там!

– А как ты думал! И другие пробуют меня обскакать, да не получается у них. Но и ты – мастер! Большой мастер!.. Послушай, Цахо, хочу спросить, может, ты там у себя слышал...

– Я все слышу, что происходит в Жанее!

– Говорят, на прошлой неделе Ванатуга видели на побережье.

– Как это?! – возмутился Цахо.– Что он делает там? Однако я слышал, что ему на хасэ, после того как он выступил, сделалось плохо. Говорят, рана открылась, и он с большим трудом добрался домой. А ты говоришь, что видели его на побережье...

– Здоров он, как бык! Притворяется больше. Говорят, милостыню бедным золотом раздает. У разбойников выкупает пленников и отпускает их на волю.

– А где же он берет столько золота?! – удивился Цахо.

– Или ты не знаешь? Он торговал украденными людьми, грабил нас же с тобой, вот и накопил гору золота.

– Все равно, хоть две горы: отдавать просто так свое золото – значит грабить самого себя! – трясся в возмущении Цахо.

– Ну это награбленное золото, но он не только выкупает пленников, а силой их отбивает, обнажая кинжал. Жизнью рискует. Зачем ему все это нужно? Не пойму.

– И понимать нечего – перед Аллахом выхваляется,– ухмыльнулся Цахо,– чтобы тот определил его в рай. Да сдохни он, этот хромоногий дьявол, чтобы мы с тобою ломали над ним свои головы. То, что нам надо, мы получили от него, теперь только бы благополучно закончилось наше с тобой дело.

– Дело наше честное, значит, по-честному оно и должно закончиться. Будем молить об этом Аллаха.– Тахо воздел руки, потом огладил бороду, смиренно прикрыв глаза.

Цахо побарабанил пальцами по анэ, покачал тяжелой круглой головой:

– Мы с тобой – зиусханы, мы стоим в вышине над нашей землей, над толпой, и делать одно дело с тфокотлями, мне кажется, недостойно нашей благородной крови.

– Именно, именно так! – возликовал писклявым голосом Тахо.– Раз уж, зиусхан, и здесь у нас с тобой единомыслие, я скажу: Жанэ и Марток такого же мнения, и уехали они, не зная, что ты их единомышленник. Пусть тфокотли обвиняют Сибока, пусть нападают на него, шумят на тфокотльском хасэ по нашей указке, но без нас.

– Только чтобы без кровопролития! – всполошился Тахо.– Чтобы все как-то тихо, по-мирному.

– Верно, согласен, но дела могут так сложиться, что оружие само поднимется, сама кровь брызнет. Судьба никого не спрашивает, как ей поступить, что делать.

– Думаю,– поднял указательный палец Тахо,– пока Сибок в отъезде, надо натравить на него тфокотлей. Да так обставить дело, будто мы тут ни при чем, а когда он приедет, созвать зиусханское хасэ.

– И это будет самым верным решением! – восторженно похлопал ладошками по коленям Цахо.– Ну, скажи, разве не мудро я придумал?

– Очень мудро мы с тобой придумали.

VII

Балгайрук считал, что минувшее хасэ было ну самое обычное: собрались крестьяне, поговорили, пошумели, мирно разъехались, и, казалось, можно забыть его. Но странное дело, возвращался он в Кабарду, все дальше уезжая от поляны, а хасэ, казалось, не удалялось, а, наоборот, приближалось к нему, иногда даже чудилось, будто оно уже за спиной у него. Услышанный там разговор беспокоил его в гостиных за дружескими беседами, куда заезжал с друзьями по пути, даже на свадьбе, куда пригласили, и не давал возможности отдаться веселью. Выйдя в круг, он, мастер лихо, с огоньком сплясать, танцевал вяло и скучно.

Он сердился на себя, но хасэ, ушедшее, улетевшее с поляны вместе с ветром, от него не уходило.

Балгайрук несколько раз встречался раньше с Калакутом, знал его, но на хасэ увидел совсем другим. Был он могуч телосложением, но, как показалось князю в этот раз, не в плечах, не в разлапистых руках была его сила, а во взгляде больших, распахнутых всем навстречу глаз, в низком, рокочущем, сильном, но мягком и призывном голосе. И ходил он своим тяжелым телом, ступал большими ногами по земле, как сказал себе Балгайрук, уважительно. «Калакут – истинный крестьянин! Но не только и не столько крестьянин, а и предводитель. Да какой предводитель! Так его определило все многочисленное крестьянское хасэ, а не он сам назвался, как иногда поступают некоторые князья. И в этом тоже его большая сила, а еще – Ванатуг рядом с ним. Вор и разбойник, которого знали и боялись во всей адыгской земле, но от него прежнего только и осталось, что хромая левая нога. И откуда в его глазах, в его голосе взялась такая доброта, в которую все поверили? Ему, вчерашнему преступнику».

На иных княжеских хасэ порою случаются такие споры, такие нелады, что заканчиваются дракой. «Это у них, а не у какого-то мужичья! А у тфокотлей, у этого самого мужичья, вон как все прошло, как закончилось. Как дружно они, один к другому, будто плечо к плечу, подняли свои кинжалы, совесть свою. И князьям не ответили грубой силой, а смиренно посоветовали собраться на свое хасэ, проявить заботу о всей адыгской земле. Вот

тут поневоле задумаешься, обеспокоишься, глядя на их сплоченность и силу, и станет после этого не до веселья, не до плясок».

Подумал так Балгайрук и вспомнил, что и сам он, и Ацамук, и Тепшанук были не согласны с решением хасэ, однако тоже в знак согласия подняли свои, княжеские, кинжалы. И правильно сделали, ведь подняться им в тот час против них, которые стояли, можно сказать, стеной, было все равно что плевать против ураганного ветра – не только бы их плевок достался им самим, но и головы могли с плеч полететь.

Спустя несколько дней после хасэ Ацамук пригласил в гостиную князей, с которыми находился на поляне, а также Калакута с Хатаем и Псамитом, хотелось поговорить, обменяться мнениями.

«Похоже,– подумал Балгайрук,– не только у меня, но и у них осталось в душе что-то недосказанное, вот и собрались, поглядывают друг на друга, как бы выжидают, решают для себя что-то».

Ацамук с хитрецой прищуренных глаз улыбнулся Калакуту:

– Вот мы все боимся, как бы адыгов не подмяли под себя Русь, Турция, Крым или кто другой. Происходит такое потому, что мы не знаем себя, духа и силы своей не знаем. Мне думается, зиусхан, где бы ни жил адыг – в Жанее, на Тереке или Баксане, в Беслинее или Абадзехии даже за пределами родной земли, он всюду – адыг.

Калакут поднял ладонь, как бы отгораживаясь от Ацамука:

– Конечно, Терек или Баксан, Пятигорье или Жанея – это все наша, родная земля, а увези адыга в Русь или какую-нибудь Ливонию, он будет там по-прежнему похожим на адыга, но только похожим, а вот по духу своему это будет уже не адыг. А то и вовсе пропадет. Вон у тебя за окном какой куст винограда растет – чудо. А увези его туда, где метут метели да трещат морозы, он если даже и приспособится, выживет, но станет такой кислятиной, что и в рот его не возьмешь! – возразил Калакут.

Подождал Псамит, о чем-то подумав, обратился к нему:

– Можно сказать, согласен я с тобою, но как быть с Адыль-Гиреем, которого родила хану адыгская женщина? Нарожали наши женщины наследников турецкому султану,

астраханскому и ногайскому ханам, стоят у тамошних престолов люди с нашей, материнской кровью. Кто они?

– Яснее ясного – полукровки, как ни больно сознавать. Хотя и с нашей, пусть даже материнской кровью, но чужие они нам люди. Еще и так скажу: если кто рожден в семье адыгов, но живет на чужой земле, служит чужим людям, нельзя его считать адыгом. Все вы знаете сына уважаемого нами Зазия – Мамия. Кто он на самом деле? Разве можно его назвать адыгом?

– Ты прав,– с горечью заметил Хатай,– и кровь у него наша, родился и вырос на нашей земле, только никакой он не адыг, а крымский баскак-разбойник.

– И разговаривает ведь на языке наших отцов и дедов. Мне хочется вырвать его поганый язык и выбросить собакам! – возмущенно сказал Ацамук, непроизвольно сжав кулаки.

Калакут удрученно покачал тяжелой головой:

– Что Мамий? Это просто сорная трава, которую следует вырвать с корнем! Куда больше меня возмущают Кудадек, твой племянник, Ацамук, и твой брат, Султан, Балгайрук. Обрусеют они там, поднимутся в чинах у царского трона, и как бы потом кого-нибудь из них не сделали нашим царем.

– Ну да! – засмеялся кто-то из князей.– После Московии вряд ли они захотят ехать в нашу глухомань!

– Приедут! Еще не было, чтобы кто-то отказывался даже от должности главного зиусхана, а уж о царстве и говорить нечего. Приедут!

Ацамук с ухмылкой глянул на Калакута:

– Я был на зиусханско-тфокотльском хасэ, которое решило послать Сибока в Московию. Помнится, и ты за это поднял свой кинжал?

Калакут тоже ухмыльнулся, шутливо погрозил Ацамуку пальцем:

– Ты обманываешься, мой добрый друг. Или шутишь? Я один из тех, кто возражал против нашего преклонения перед Московией. Правда, было потом и другое. Когда вы оставили в заложники царю урусов Кудадека и привезли какую-то пустую бумажку, вроде бы подписанную самим царем, против вас поднялись Тахо и Цахо со своими пристяжными, а я со своими тфокотлями встал на вашу сторону. Об этом ты помнишь, зиусхан Ацамук? – с усмешкой проговорил Калакут.

– Спасибо, что напомнил забытое. И не сердись на меня, пожалуйста.

– Или мы не друзья с тобой? Чего ради я буду сердиться на друга. Память иногда бывает дырявой, вот на нее и надо сердиться, хотя что толку, она ведь живет сама по себе, ей не прикажешь.

– Если по-дружески, то я и скажу, чтобы немного поумерить твой пыл: когда Сибок вернулся из Московии, крымский хан поутих, значит, не такая уж пустая та царская бумага.

– А мне кажется, хан поутих, как говорится, для отвода глаз, не хочет злить царя Ивана,– возразил Хатай.

– Может, и так,– согласился с ним Ацамук и, пожав плечами, добавил: – Как ни толкуй, а жанеи вздохнули облегченно.

Скуластый, с рыжинкой в густых волосах Псамит, не скрываясь, с откровенным осуждением посмотрел на Хатая, потом на Ацамука:

– Верно, вздохнули облегченно, уйдя от одной двери к другой. А вы уверены, что за второй дверью встретят вас приветливо и дружески, как встречают каждого гостя адыги в своих гостиных, не принудят потом за свою открытую дверь дорого расплачиваться? Вон как лихо царь Иван разделался с Астраханским и Ногайским ханствами!

– Это очень верно сказано! – с неожиданной для себя решительностью поддержал его Балгайрук.

– Если бы только с этими ханствами,– нахмурился Калакут,– он и с Ливонией хочет расправиться, и с Польшей, навострился теперь на величайшую из великих земель – Сибирь! Видите, какое ненасытное брюхо у царя. Будь даже мы единой страной от Каспия до Азова, все равно очень трудно противостоять этой громадине, ну а при сегодняшнем положении, когда живем вразброд, нередко враждуя друг с другом, и говорить не приходится: общиплет он нас, как курицу, по перышку и пустит на ветер. Может, только и останется от всего нашего народа полузабытое название.– Помолчал Калакут, в задумчивости глядя в даль за окном, и снова заговорил печально, будто на похоронах.– Может статься и другая страшная беда по нашей вине.

Все настороженно примолкли.

– Мы ссоримся, скандалим между собою, одни из нас зовут на свою сторону Русь, другие – Турцию, третьи – Крым, четвертые – Персию, а земля наша – леса, поля и луга, горы и моря – такая богатая да красивая, что из-за нее можно и повоевать. Вот и представьте себе войну этих могучих держав между собою, в которую своим неразумием мы можем их втравить.

Заговорили, зашумели в гостиной.

«О Аллах, откуда это все у неотесанного тфокотля? – воскликнул про себя Балгайрук.– Хотя ведь князья и дворяне тоже не с неба явились: из земледельцев, из тфокотлей вышли. А сколько среди них олухов, вроде Тахо и Цахо, топчут нашу землю».

Когда Балгайрук вошел в гостиную, то подумал, что всех его собеседников, наверное, волнуют такие же сомнения и тревоги, как и его, что вот тут, когда уже улеглись в умах и сердцах страсти состоявшегося хасэ, они обо всем поговорят спокойно и обстоятельно, помогут ему выпутаться из того, в чем он запутался, что его так тревожит. Так думал, а получилось почти наоборот... Еще года полтора тому назад, когда Калакут начал говорить о необходимости создать на всех адыгских землях единое тфокотльское государство, над этим просто посмеивались: чем бы дурак ни тешился, лишь бы не наделал беды. Но прошло немного времени, и у Калакута стали появляться друзья, и с каждым днем их становилось все больше. Вот тут-то они и спохватились – как бы не лишиться своих княжеств, а вместе с ними и голов. Однако на том хасэ было сказано, что государство должны создать все адыги – тфокотли, дворяне, князья. Это будет единое государство, править которым должен всенародно избранный царь.

Балгайрук, хотя и не совсем с этим соглашался, но поднял кинжал. Поднял неохотно: конечно, хорошо, если бы было создано такое государство, а главное – мирно, но какой там мир! Если тфокотли согласились, то многим князьям не осилить свою гордыню.

Как и полагается по чести и совести, пришла очередь князя Темрюка быть главным, избрали его, и вечный старец князь Кайтук и его старший сын Пшиапшоко уже засуетились, помышляя, каким образом отнять у него эту должность. Какую только грязь на него не льют. Сплетничают, распускают разные небылицы. У Темрюка же только и заботы о мирной жизни на своей земле. А Сибок с Москвой дела затеял, тайком встречался даже с крымским ханом.

«Постой, постой! – само вырвалось у Балгайрука.– Так и получится, как говорит Калакут: растащат адыгские земли, адыгский народ!» Выговорилось это, и так забилось у него сердце, так тревожно стало на душе, что он дал шпоры коню, поднял его на дыбы и увидел: впереди как бы вздыбился в яркое синее небо двуглавый Ошхамахо! Будто спрашивал: может, и меня, Гору счастья, растащите, распродадите по кускам?!

– Гляньте, сам Ошхамахо нам явился! – радостно вскрикнул кто-то из дружины.

Осадил коня Балгайрук:

– Помолимся,– взволнованно сказал он. Спешились всадники, воздели руки и прочитали молитву мусульманской веры.

Кто-то помолился про себя священной горе, как молились его предки, а кто-то тихонько перекрестился, низко склонив голову.

Балгайрук сказал Всевышнему, что живет среди грешных людей и сам тоже, конечно, грешный, а потому сердечно просит избавить его от недобрых мыслей, от тяжести дум, просит Его, чтобы одарил мудростью и спокойствием. «Во имя Твое, облегчи мне дорогу моей жизни». Помолившись, и в самом деле почувствовал облегчение, радость душевную и был уверен, что Аллах услышал его молитву. Пустив коня легкой рысью, всем своим существом ощутил легкость, благость веселого встречного ветерка.

Переправившись через Уруп, потом через Кубань, двигаясь дальше на восток, всадники увидели в мглистой дали Кинжал-гору, возвышающуюся над просторами своей заостренной вершиной.

Адыги, как говорится, едва научившись ходить по земле, уже не расстаются с кинжалом, он, как папаха и черкеска, будто их живая часть, а вот гору, похожую на обнаженный кинжал, не любят. Если она встречается в сказаниях и сказках, то не во имя правды и добра. Может, потому, что в мрачном одиночестве возвышается над степью, и ни одна молния не миновала ее, а ветер на ее острие почему-то всегда будто плачет.

В довольно длинном переходе от Кубани всадники изрядно утомились, им отдохнуть бы на лесной поляне у подножия Кинжал-горы, но они, миновав ее, двинулись дальше.

Тронул встречный ветерок бороду и усы Балгайрука, цокот копыт тронул мысли, но теперь они были иными, более понятными, даже успокаивающими, чем прежде.

«Разумеется, каждый думает о Калакуте по-своему: одни поддерживают его, другие – нет. Некоторые из князей возмущаются, мол, как это так – за простым тфокотлем, как за предводителем, идет столько людей. А что тут такого? Многие из тех, чьей мудростью, чьими заветами веками живет наш народ, не были выходцами из князей, являлись простыми земледельцами. Калакут одарен мудростью народа. Вон каким послушным этой мудрости было крестьянское хасэ, вон как в гостиной возвышался он в разговорах и рассуждениях над ними. Правда, некоторые делали вид, будто не хотят вступать в разговоры с тфокотлем, а в самом-то деле, считал Балгайрук, им было просто не под силу возражать ему. Если возразишь, тогда почему не стал возражать всему хасэ?.. Обидно, конечно, что Калакут больше говорил о нашем отце, о Сибоке, но разве Пшиапшоко не заискивает перед Крымом и Турцией? Хорошо, что он не сказал о поездке отца в Астрахань встречать воеводу Плещеева. Приедет воевода, тогда и посмотрим, как поведет себя Пшиапшоко со своими сторонниками. И еще интересно: осмелится ли теперь шамхал Кумыкии нападать на нас?»

Оставляя слева Кинжал-гору, а справа Пятигорье с возвышавшимся над ним Ошхамахо, всадники, миновав неоглядное болото, шумевшее под ветром дремучими камышами, выехали на прямую дорогу к Тереку, по обе стороны которой то приближаясь, то отступая, кудрявились заросли.

Почувствовав приближение к своим конюшням, веселее пошли кони. И Балгайрук тоже в мыслях приблизился к своему дому.

«Теперь, наверное, отец уже вернулся из Астрахани... Интересно, чего это воевода в прошлый раз все заигрывал, любезничал с моей младшей сестренкой Гошевнай? Все заговаривал с нею, улыбался. Говорил ей, что найдет для нее в Московии богатого жениха. Может, для своего сына

присматривает? Мать очень расстроилась и сказала сердито: какой богатый ни будь он, пусть хоть сам царь, но мы не отдадим свою девочку еще за одного чужеземца, хватит с нас и двоих, ей здесь найдется достойный княжич».

Вывернулись всадники из-за крутого поворота и увидели на пологих склонах к реке Баксан горевшие селения Пшиапшоко, где в доме старшего сына доживал свой век бывший главный князь Кабарды Кайтук.

– За мной! – поднявшись в стременах, скомандовал Балгайрук и повел галопом полусотню своих байколов к ближнему селению. «Кто мог это сделать? – размышлял он.– С ногаями они в родстве состоят, хорошо с ними живут, с соседними балкарцами дружат. Может, из нашей Малой Кабарды пришли? – подумал с тревогой.– Отец позвал к нам воинов царя Ивана, чтобы усмирить то и дело нападавших на нас кумыков... Пшиапшоко два раза зачем-то ездил к шамхалу. Не отсюда ли пришла беда?» Из села им навстречу скакал мальчишка. Балгайрук поднял руки. Остановились всадники. Байкол Алихан, взяв под уздцы коня, подвел мальчишку к князю. Босоногий, в разорванной рубашке, он заплакал в голос, вытирая слезы кулачками, размазывая их по лицу.

– Успокойся, парень, не бойся нас, расскажи, что у вас случилось?

– Там,– он протянул руку в сторону догоравшего села и, судорожно всхлипывая, промолвил,– Темрюк с гяурскими воинами жжет наши дома.

Балгайрук сказал мальчишке:

– Перестань плакать, ты же мужчина! Все будет хорошо, обязательно будет хорошо.

На околице догорали две скирды сена, пламя охватило конюшни и овчарни.

У княжеского двора Пшиапшоко вдоль плетней стояли женщины, старики, дети, они как бы защищали собою своего князя. Были среди них и опаленные огнем, и окровавленные. А в соседнем доме оплакивали покойника.

На площади во главе своих всадников – их было сотни две – стояли воевода Плещеев и главный князь Кабарды Темрюк. Перед ними, в окружении конников, князья-братья Пшиапшоко, Асланбеч, Тепшанук и Кайтук-младший. Они были обезоружены: Пшиапшоко – в обгоревшей черкеске с оторванным рукавом, у Асланбеча – перевязана

рука, Тепшанук – без шапки, с окровавленным лицом, а младший – тоже без шапки, с опаленными волосами головы и бороды.

Балгайрук остановился рядом с братьями Доманукoм и Мамстрюком, у которого ниже колена кровоточила рана.

Все, кто находился на площади, у плетней двора, нахмурившись, чего-то ждали.

Из калитки тяжелой старческой походкой вышел Кайтук-старший в сопровождении младшего сына Жансоха. Все – от красных сафьяновых сапог, расшитых серебром до высокой папахи редкостного золотистого каракуля, посох и кинжал, отделанные золотом, черкеска с серебряными газырями было великокняжеского, да хоть и царского достоинства.

«Князь, истый князь»,– подумал Темрюк.

А сухая согбенная спина, паралитически вздрагивавшая левая рука, тусклые слезившиеся глаза и седая, изрядно поредевшая борода – старость.

«Старость,– продолжал размышлять Темрюк,– она неумолима, как и смерть».

С тех пор как он принял у Кайтука должность главного князя Кабарды, ни разу с ним не встречался, но все время с его стороны следовали разные мстительные пакости. Его самого или сыновей, стоявших сейчас безоружными. Знал это, но все равно не считал своим врагом, и вот теперь, хотя Кайтук и старался выглядеть князем, однако в сущности был немощным, жалким стариком.

– Я мог бы пригласить тебя, зиусхан, спешиться, но ведь ты не гость. Тем более, как ты знаешь, на поле брани не обмениваются оружием. Ты недавно вместе с воинами урусов разбил сильное войско кумыкского шамхала, так что мы для тебя – пустяк. Ты, как говорится, на коне, а мы – пешие. Ты победил нас, и если позволишь, у меня есть к тебе слово.

– Я не понял, зиусхан, слово ко мне или просьба?

Князь Кайтук сделал вид, будто не расслышал его, и продолжил, стараясь говорить спокойно:

– Я прошу, зиусхан, отпусти моих сыновей.

– Отпустите их. Вы свободны,– небрежно взмахнул рукой Темрюк.

Когда сыновья стали рядом с отцом, он, не глядя на них, сухо сказал:

– Не становитесь со мною рядом. Идите в дом... Спасибо тебе, главный зиусхан Кабарды, что не унизил меня, моих седин... А теперь я хотел бы и свое слово тебе сказать. Конечно, я не доживу, не увижу, чем, как и где ты закончишь свою жизнь, а начал ты ее, жизнь главного зиусхана, плохо. Очень плохо. Если и дальше будешь связываться с чужаками, погибнешь. Бесславно, а может быть, и с позором.

Улыбнулся Темрюк:

– Думаю, ты сказал эти слова от всей твоей души, какая она у тебя есть. Где, когда и как я закончу свой путь на земле, знает один Всевышний, один он нам с тобою судья. А я тоже хочу сказать тебе, зиусхан. Когда вы, чтобы одолеть нас, рука об руку идете с крымчанами, с турками, почему бы и нам не обратиться за помощью к добрым людям?

Князь Темрюк вместе с воеводой Плещеевым поскакал впереди войска.

«Жалко, жалко, придурочный князишко, что я не увижу, как с тобой разделаются мои сыновья»,– подумал Кайтук, смахивая ладонью мстительные слезы со своих тусклых глаз.

А в догоравших баксанских селениях оплакивали погибших в этой схватке ни в чем не повинных людей. Многие сидели у разрушенных, сгоревших домов, не зная, где теперь им преклонить свою голову, чем и как накормить детишек. Они молились Всевышнему, просили Его помощи, просили наказать князей, которые затевают эти схватки, стравливая ни в чем не виноватых друг перед другом адыгов.

VIII

Солнце выглянуло из-за синей горы и заиграло с белыми барашками облаков в прятки – то выглянет, то спрячется, то опять весело засияет.

У края чагарника на поляне стояли, переговариваясь о том о сем, а в общем ни о чем, конные тфокотли, а их князья Тахо и Цахо, спешившись в сторонке под развесистой алычой, вели свой княжеский разговор. Конечно, каждый из них считал себя самым умным, самым хитрым князем во всей адыгской земле.

Тахо, прислонившись плечом к дереву и приняв задумчивый вид, произнес:

– Если отара гибнет, значит, ее ведет паршивый козел.

– Очень мудро сказано! – воскликнул Цахо, не подозревая, что одним из таких козлов Тахо имел в виду и его.– Я знаю, кого ты считаешь главным козлом.

– А чего ж не знать, если и на свадьбах, и на похоронах, хоть просто в гостиных только и разговора, как за него дружно проголосовали на хасэ, как поверили, что он всех осчастливит. Как же, держите карман шире! Он только и делает, что обещает, попусту шляется в Московию да у себя дома принимает хомут урусов на наши шеи.

– Ох, как ты здорово угадал мои мысли, как очень красиво и мудро их высказал! – восторгался Цахо.– Думаю, и ему самому, козлу рогатому, надо обязательно это высказать. Прямо в глаза, на хасэ! Принародно! Пусть хлебает свое дерьмо!

– Конечно, конечно, принародно, во весь голос, чтобы этот пустоголовый козел Сибок и другие, ему подобные, почувствовали силу правды! – почти торжественно произнес Тахо и, пожав плечами, с улыбочкой добавил: – Однако ты помнишь, зиусхан, как на том давнем хасэ я один, можно сказать, сражался с толпой дураков? Один!

Цахо хотел бы покраснеть, но это ему никогда не удавалось, потому не удалось и теперь. Он пожал плечами и упрекнул друга:

– Но ты же знаешь, зиусхан, я был тогда очень болен, у меня спина надвое разламывалась, а иначе я был бы там твоей правой рукой.

Тахо визгливо рассмеялся:

– У Мартока и Жанэ тоже тогда разламывались спины?

– Нет, они просто не знали о хасэ.

– А теперь почему не едут?

– Мать родная! – вскрикнул Цахо,– мы так хорошо с тобою здесь разговорились, что я забыл даже тебе сказать: они вчера были у меня. Мы с тобой мудрые и не в пример другим – смелые люди, а им... кое-чего не хватает, и мы с тобою должны понять их и быть снисходительными как стоящие выше них... Они выбирали Сибока главным, а теперь подниматься против него... нехорошо это, не по-нашему. Но они стоят на нашей стороне, прислали нам в поддержку по два десятка своих тфокотлей.

Слушая друга, Тахо, прищурив бесцветные глаза, размышлял: «Те двое – грязные хитрецы, а мой пучеглазый друг – обалдуй. Если с нашим делом не получится, те два грязных мудреца скажут, мол, ничего не знали, наши подлые тфокотли сами решились на эту гадость. А если получится? Как же! Наши ребята были там впереди других! Мы, мы!»

– Ты мой старый и верный друг,– прочувствованно начал Тахо,– ты прожил так свои годы, что многое познал в наших княжеских хитросплетениях, многие завидуют моей дружбе с тобою, и я горжусь этим. Я ставлю тебя выше многих зиусханов нашей многострадальной земли, а что касается Жанеи, то в ней вообще нет равного тебе. Да-да, не смущайся, мой друг, я говорю это от чистого сердца. Мы бы не стояли с тобой сегодня под этой чинарой по очень важному делу, если бы я не был уверен в твоих мудрых и добрых намерениях, если бы не верил в твои искренность, преданность нашей дружбе.

– Ты думаешь, зиусхан,– зачем-то сдвинув высокую черную папаху на затылок, осторожно перебил его Цахо,– думаешь, Марток и Жанэ хитрят, хотят обойти нас? А?.. Вчера и у меня, когда разговаривал с ними, тоже мышонком проскользнуло сомнение.

– Значит, мы с тобой должны поступить так, чтобы не дать себя обмануть, оказаться наверху, над ними.

– Но как? «Не завел бы этот сумасброд в какое-нибудь болото».

– Мы знаем, говорили уже с тобой об этом, но все тфокотли – и наши, и другие – недовольны пустозвонным Сибоком, знают его дела с Ванатугом и Панахесом. Я своих уже обработал, постарался задобрить разными подарками. Надо и всех остальных как следует обработать, для верности задобрить, это очень помогает в делах, хотя у каждого, кто прослышал эту историю, совесть и без этого болью возгорается...

– Ну дальше, дальше! – уже сам возгорался нетерпением Цахо.

– Можно их и бузой подпоить...

– Очень надо!

– У меня есть байкол – голосистый, как петух, может возгласить призыв к намазу не хуже любого муллы. Так вот, пусть подъедут наши уже веселенькие байколы к дому

Сибока, и мой говорун, возвысивши свой петушиный голос, начнет говорить: «Все знают, каким страшным разбойником и вором был хромой Ванатуг, но Всемогущий Аллах очистил его от грехов, сделал праведником. Теперь он защищает людей от бандитов, помогает бедным. Все знают, как на том хасэ он хорошо говорил, защищая простой народ, защищая правду. Это не понравилось главному зиусхану Жанеи, и он нанял разбойника Панахеса, повелел убить Ванатуга, но Аллах не позволил это, Ванатуг был только ранен...» Кроме того, пусть и другие кричат, что Сибок продает нас с нашими землями в рабство урусам.

– Хорошо! – воскликнул Цахо.– А дальше, дальше что?!

Развел свои высохшие плечи Тахо, кинул на друга взгляд победителя:

– Ты же знаешь, зиусхан, народ – что ветер. Только брось в него искру, и он раздует ее в пожар. И только этот пожар у дома главного зиусхана Жанеи начнет разгораться, тут-то мы с тобой и подлетим на наших скакунах, вскинем боевые сабли! Наши же тфокотли, высекшие искру и бросившие ее в толпу, нас же и станут поддерживать, будут каяться перед нами, прося прощения, а Марток и Жанэ останутся в дураках! – восторженно взвизгнул Тахо.– Ну, что ты скажешь, мой мудрый друг?

У Цахо был свой замысел, он опасался, что Тахо по своей глупости может ему помешать, но то, что он услышал, ошеломило его: «Пустомеля с высыхающими мозгами, но, поди ж ты, такое выдумал!.. Возьми себя в руки, князь, возьми!»

Нахмурился Цахо, похлопал жиденькими рыжими ресницами и как бы баском заговорил:

– Я знал – ты большой мастер хитросплетений, но что можешь придумать такое! Скажу честно, надо иметь немалый разум, чтобы проникнуть в глубину твоего плана.

– Да-да, зиусхан,– задыхаясь от гордости, сказал Тахо.– Только человек твоего крупного ума и может его понять... Хорошо, если бы Сибок был в это время дома, чтобы сам увидел разбушевавшуюся толпу, понаблюдал, как мы с тобою утихомирим ее.

– Тут я, позволь, зиусхан, с тобою не соглашусь. Пожалуй, лучше, если его не будет дома, после ему все подробно

передадут. Если же он окажется дома, наверняка вскипит яростью и может воинов своих кинуть на толпу кровь пролить...

– Позволь, зиусхан,– хитровато взглянул Тахо на друга,– мне согласиться с тобой, с твоей мудростью. Теперь пойдем к тфокотлям, и ты постарайся им все подробненько разъяснить.

– Почему я? Пусть люди знают, кто у них впереди, я ведь только второй, поэтому не мне следует с ними говорить.

– Я – корень, а ты – могучее дерево!

– Дерево только потому и красуется, что у него есть крепкие корни,– пытаясь скрыть лукавство, улыбнулся Цахо.– Но, мой друг, ты же говорил, что тфокотлей уже старательно обработал.

– У тебя хорошая и цепкая память, зиусхан,– дружески засмеялся Тахо.– Да, я говорил и своим, и тфокотлям Жанэ и Мартока, а теперь ты скажешь своим. Главное, пусть они всем говорят, что поступают так только по своей воле, по своей совести...

– Да-да! Строго им надо сказать, упаси Аллах, проболтаются!

– Кто проболтается, тому язык вон! – закашлялся Тахо, прикрывая рот платком.

«Э-э, как бы чахотка не подвела его сегодня, а завтра...» – подумал Цахо и сказал:

– Тому вон не только язык, но и голову. Послушай, мой друг, ты что-то говорил насчет бузы.

– Не только говорил. В чагарнике со вчерашнего вечера стоят припрятанные кувшины с крепчайшей бузой, и мои ребята уже всех угостили, так что у парней теперь горят глазки, только дай им команду – и они рванутся!

Так и было.

Цахо, стоя на стременах перед подвыпившими тфокотлями, воинственно подняв руку, заговорил:

– Адыги, дети земли нашей, вы сейчас пойдете на святое дело добра и правды. И идете не потому, что вас кто-то поднаучил, а потому, что вы – мужчины, хозяева своей земли, поэтому хотите порядка и правды на ней! Не забывайте мудрых слов, сказанных вам зиусханом Тахо.

Байколы ответили ему гулом одобрения.

Поднял руку Тахо:

– Да поможет вам всемогущий Аллах. Вперед!

С гиком тфокотли бросили коней в галоп! И понеслись дорогой в село Каншауково, будто подхваченные шальным ветром.

Побледнел Тахо. «О Аллах, вразуми их, а то ведь сомнут и растопчут все, что встретится им на пути. Спаси и сохрани нас, всемудрый и вседобрый».

– Ты посмотри, посмотри, зиусхан, как лихо, как красиво они скачут! Силища какая! Наша она, наша! Может, и нам кинуться туда же, вслед за ними?

Вздрогнул и побледнел еще больше Тахо: «Вот так же они могут когда-нибудь кинуться и на нас, растоптать в пыль. Упаси Аллах, упаси нас».

– Я думаю, спешить нам не следует, и показаться в Каншауково попозже. Сначала я появлюсь, а потом и ты.

«Ну, чахоточный наглец, он и тут хочет быть первым. А как же – это он первым кинулся в бучу, затеянную тфокотлями, конечно, в защиту главного князя Жанеи, он вскинул свой боевой меч».

– Нет, я должен быть рядом с тобой в эту опасную для твоей драгоценной жизни минуту! Мы вместе кинемся в страшный водоворот!

– Хорошо, зиусхан, мы вместе кинемся в этот водоворот для того, чтобы если уж погибать, то дружески обнявшись!

Адыг, в каком бы дальнем или ближнем углу своей родной земли ни родился, где бы ни возрос на ее просторах, он – адыг, наследник ушедших в глубину веков своих пращуров, их вечного духа в бесконечном небе над ее горами, морями, степями. Он открыт душою навстречу каждому и, скорее, останется сам голодным, чем откажет просящему. В своей гостиной, даже если он тебе кровный враг, адыг, скорее, сам погибнет, чем позволит кому-нибудь оскорбить гостя. Если окажешься спиной к нему, он не прочь посудачить о тебе, усмехнуться своим превосходством над тобою. Но тут же, если понадобится его помощь, он поднимет своего коня на дыбы, обнажит саблю, защитит тебя, не жалея своей крови. Уж такой он – адыг. Он тверд, как гранит, в своем слове, этого же требует от каждого. Ты можешь тысячу раз сделать ему добро, но если хоть однажды не сделаешь – все будет забыто, словно его и не было. Есть еще одно качество, которое делает его и

счастливым, и несчастным, которое живет с ним, как только он появился на белый свет, и до самой могилы. Адыг не нуждается ни в чьем снисхождении, потому что всегда и во всем считает себя первым. Даже если его в схватке положат на лопатки, не считает себя побежденным, потому что, как он говорит, побежденным можно себя считать только в день смерти. Опять же, если успеешь с последним вздохом осознать это, а то и умрешь, считая себя победителем. Даже над смертью.

Адыги так живут, будто среди них нет второго, все первые. По крайней мере, так каждый думает о себе. Наверное, именно поэтому Сибок не может договориться с Темрюком, Тахо – с Цахо, Калакут – с Кайтуком, дружат же с теми, кто льстит им, даже с иностранцами. Наверное, именно поэтому на прекрасной земле адыгов никогда не будет сильного государства с единственным хозяином ее – законом...

Тем временем у ворот главного князя Жанеи Сибока затевалось довольно странное столкновение. С одной стороны – больше полусотни байколов и тфокотлей князей Тахо и Цахо, а со двора у плетней и входа в княжеский дом противостояли им дворовые с топорами, вилами и кольями, женщины с граблями, палками и метлами.

У ворот во главе дюжины настроенных женщин стояла с граблями в руках Дария. Рядом с нею – Матыж, предводитель княжеской охраны, с обнаженной саблей.

– Шиблан, если бы вы были истинными мужчинами, разве позволили бы себе затеять этот шум, когда дома нет ни главного зиусхана Сибока, ни зиусхана Ацамука? Ты и твои сподвижники хорошо знаете, что разрешает, а чего не позволяет адыгство... Наделали тут шума, а чего ради, должно, сами толком не знаете. Ну, скажи, наконец, чего вы хотите, зачем пришли, какая шальная муха вас укусила?!

– Главный зиусхан Жанеи связался с разбойниками, он предает нашу землю гяурам! – возмущенно закричал из-за спины Шиблана рыжебородый тфокотль.

– Он нанял бандита, чтобы тот убил бедного Ванатуга! – поддержал его один из тфокотлей Цахо.

Дария, подняв грабли, вышла вперед и как-то не по-женски грозно спросила:

– Это с каких пор и за какие заслуги вы стали на защиту хромого Ванатуга?!

– Вы посмотрите, люди, юбка еще нами не командовала! Позор!

– Заткнись ты! Это сестра Калакута!

Тут-то и подскочили Тахо и Цахо. Всадники расступились перед ними.

– Шиблан, что ты тут затеял?! – напрягая голос, как бы возмущенно закричал Цахо.– Да ты не один тут! Как вы смеете позорить меня перед главным зиусханом Жанеи, перед всем народом!

Шиблан поднял руку, требуя тишины. Тфокотли тут же смолкли.

«Хорошо, молодец Шиблан, он всех держит в своих руках»,– подумал Тахо.

– Мы все недовольны главным зиусханом,– обстоятельно заговорил Шиблан.– Мало того, что он у нас за спиной, ведет разные разговоры-переговоры с Московией, совсем забросив свои дела дома, так еще и тут устраивает разные козни – подкупил разбойников, чтобы убили неугодных ему адыгов Ванатуга и Панахеса...

– Подожди-подожди, Шиблан! – возмущенно взвизгнул Тахо.– Кто тебе наплел эти гадости?! Наверное, враги наши, которые не желают, чтобы у нас был мир, хотят нашего кровопролития, но мы рука об руку с зиусханом Сибоком не допустим этого!

В это время протолкался к воротам Ванатуг на знаменитом скакуне со своим спутником Тамтечем:

– Кому и зачем я тут понадобился? Тебе, Цахо, или тебе, Шиблан?

– Нужен ты нам здесь!..– брезгливо поморщился Цахо.– Тут дела посерьезнее. Или не видишь, как народ разбушевался?

– Вон оно что!..– засмеялся Ванатуг.– Тогда на твой крючок я отвечу своим. Или ты забыл, как приезжал ко мне, совал кисет с золотом, чтобы подкупить как свидетеля в твоем грязном деле? Если забыл, тогда пусть твой байкол, который все за правду ратует, скажет, как вы с ним наведались ко мне!

Тахо обалдело смотрел то на Цахо, то на Шиблана. А Шиблан, ударив пяткой по бокам, ускакал.

Со двора в сопровождении женщин вышла княгиня Загирета, остановилась перед всадниками:

– Я не хотела говорить – неженское это дело, но увидела, что мужчины поступают не по-мужски, и не смогла сдержаться. Такое мое женское, материнское слово. Мне стыдно смотреть, как вы топчете святое адыгство. Если вам надоели ваши папахи и кинжалы, то наденьте наши платки, вместо кинжалов возьмите вот эти палки да метлы. Думаю, зиусханы,– она обратилась к Тахо и Цахо,– если уж вы не можете справиться со своими тфокотлями, так будьте хоть достойными мужчинами, истыми адыгами, откажитесь от своих зиусханских титулов. Сами понимаете, в таком положении я не могу вас пригласить в гости. А вы, Ванатуг и Тамтеч, будьте нашими гостями, проходите в дом!

Тахо и Цахо, не проронив ни слова, повернули своих коней и ускакали.

– Спасибо тебе,– склонил голову Ванатуг к Загирете,– за твое доброе слово, спасибо, что поверила в меня, грешного. И всем вам, уважаемые женщины, тоже спасибо. Я приехал к вам с Тамтечем по делу и, думаю, вовремя, весьма кстати подъехал к вашему дому.

«По какому делу они приехали,– заинтересовалась Дария.– И чего этот белобрысый да синеглазый так бессовестно опять смотрит на меня? Да и я тоже хороша: сама хочу, чтобы он так смотрел...»

«Можешь отворачиваться или не отворачиваться,– усмехнулся Тамтеч,– все равно сегодня вечерком мы придем к тебе...»

Солнце было еще высоко над лесом, когда прискакал к княжескому дому верховой мальчишка и сообщил радостную весть: едет главный князь Жанеи с какими-то невиданными воинами!

Вскоре ко двору подъехало русско-адыгское войско под предводительством князя Сибока и воеводы Вишневецкого.

Не спрыгнул, а можно сказать, слетел со своего скакуна Кудадек и кинулся к матери... Она предостерегающе подняла ладонь:

– Я очень рада видеть тебя, сын мой, рада обнять, но сначала поприветствуй своих дядю, младшего брата, сестру...

IX

Вся Жанея затихла в напряженном ожидании опасных событий, которые могли нагрянуть со дня на день, а может, как думали иные, и минуют они княжество. Подует шальной ветер в другую сторону и пронесет, словно ничего и не было.

– Ну что, зиусхан, после того, что произошло у нас, когда мы были в отъезде, так и будем сидеть сложа руки, ждать, как говорят, пока гора нам на голову рухнет? – спросил князь Ацамук старшего брата.

Тот в ответ бросил на него тяжелый взгляд, потом почему-то с опаской глянул на Кудадека, стоявшего у дверей, затем в окно и, будто у дальней горы, спросил:

– Это у кого же – у нас? В доме или в Жанее?

– Для меня, зиусхан, то и другое равнозначно,– ответил Ацамук и тоже посмотрел на островерхую гору, угрожающе возвышавшуюся на фоне чистого синего неба.

– А так ли это? – с ехидцей усмехнулся Сибок.

– Помнится, брат, кто-то из стариков, по-моему друг нашего отца, беседуя с нами, говорил: у кинжала есть рукоятка, клинок и острие, что вся сила, смысл кинжала – в его острие, но оно немыслимо без рукоятки и клинка. Поэтому, дорогие мои, я и сказал: ты – острие, а также сказал, что твоя Жанея и твой двор – единое неразделимое. Значит, скандал у твоего двора – это скандал во всей Жанее...

Когда Сибок вернулся из Москвы, с Ливонской войны, он ходил на поминки к тем, чьи сыновья полегли в далекой чужой земле. Соболезнуя им, говорил о погибших как о героях, отдавших свою жизнь хотя и в дальней стороне, но за свою родину, за адыгскую землю. Одни понимали его и поддерживали, другие же, пусть и осторожно, но высказывали ему свое недовольство, а третьи в своих гостиных откровенно и резко осуждали его.

Конечно, он искренне любил свою Жанею, всю землю адыгов, ее народ, без них просто не мыслил себя, но он любил и свою небольшую семью и без нее также не мыслил себя, но как разделить свою любовь между Жанеей и дочкой Минсурой, между Кудадеком и Бжамитом? Как?!

«Перед воином, павшим на поле боя, Аллах открывает врата рая. Значит, Бжамит в раю, а мне до самой могилы

гнуться под тяжестью своих грехов. Мои воины, павшие на Ливонской войне,– в раю, а меня каждый день их родственники жгут своими упреками. За что?! За мою любовь к своей земле, к адыгам, за то, что ищу для них защиту? А что грешен – так не я создал этот мир грешным. Да простит меня Аллах».

Немножечко, самую малость, но все-таки ему стало легче от такого размышления, и он, вздохнув, поднялся. Ацамук тоже хотел подняться, но брат остановил его:

– Сиди. Я просто так, потопчусь немножко... Не согласен я, что зиусханский двор и вся Жанея равнозначны. Они, конечно, похожи, но далеко не одинаковы. Ведь размеры у них совсем разные. Значит, забота о них и любовь к ним тоже должны быть разными. А если так, то и грехи бывают разные, и Всевышний наказывает за них каждый раз иначе. Или снисходительнее, или жестче. Накажет он и меня, и моих недругов – каждого по-своему. Теперь по поводу шума, устроенного у нашего дома. Говорят, тфокотли Тахо, Цахо, Жанэ и Мартока вскипели недовольством и сами по себе пришли к нашему дому в один и тот же день и час. Мы рассылаем по селам своих вестовых, через них назначаем место и день хасэ, потом еще и ждать приходится – кто придет, а кто нет, что они будут говорить, с чем согласятся, против чего восстанут. А тут будто по команде предводителя явились и все кричали одно и то же. Кто-то сказал: народ недоволен. Какой это народ – прихлебатели Тахо и его компании. Не будем же мы затевать с ними драку, так сказать, войну. Шальным ветром их принесло, тем же ветром и унесло. Если ты, зиусхан, сказал о кинжале и его острие, то, как и мне помнится, тот старик еще говорил: перед тем, как нанести удар, подумай, не обернется ли он против тебя самого... Меня удивляет другое: Ванатуг пусть и сильно изменился в последнее время, как говорят, стал верить в Аллаха, но он у нас в гостиной?! Это не просто удивительно.

– С Ванатугом был и рыжий здоровяк из Махошии Тамтеч. Он все заглядывается на нашу Дарию. Тамтеч этот приезжал к нам и раньше, когда ты был в Московии.

– Зачем? – насторожился Сибок.

– Говорил, повидаться с Калакутом, который тоже находился в отъезде. Ну и стал тут расспрашивать-вы-

спрашивать у наших домашних, у соседей – где мы с тобой были в день схватки Панахеса с Ванатугом.

– Ну и что ему тут сказали? – с трудом скрывая встревоженность, спросил Сибок. Остановился около Ацамука, мельком глянул на сына.

– Сказали, как было. Сообщили, как мы ходили с подарками к вдове Биче, женившей сына. Сказали даже, сколько мы овец подарили ей.

– Вот видите,– облегченно, даже радостно вздохнул Сибок и сел напротив брата,– недаром говорится: твой добрый сосед – твое второе богатство. Слушай, Ацамук, а почему тот махошевец все выспрашивал о нас, о наших тфокотлях? Не называл ли кого по имени? – Я спрашиваю, потому что в тот день, если помнишь, Бжамита не было дома, я посылал его в Дударукай.

– Как не помнить, я тогда еще сказал, что у Бжамита молодой и очень резвый конь.

– Бедный Бжамит,– князь воздел руки,– мой добрый, мой верный друг, да откроет Аллах пред тобою врата рая... Я уговаривал его тогда не ехать со мною в Московию, а он ответил: как я могу своего зиусхана отпустить в такую дальнюю дорогу одного. И на войну я не хотел его брать, но он тоже сам настоял. Разве я не адыг, сказал, как я могу отстать от своих друзей-воинов. И вот теперь я остался его вечным должником, остался виновником перед его дружной, по-настоящему адыгской семьей... Это, Ацамук, об острие кинжала, о котором поведал мудрый старик, друг нашего покойного отца. Верно, в острие кинжала вся его сила, весь смысл, но и кровь, и боль, и греховность достаются ему первому.

– Я согласен с тобой, старший брат.

– А что скажет мой сын?

– Разве я могу, отец, вмешиваться в такой серьезный разговор старших?

– Не только можешь, но и должен, если старшие хотят слышать тебя, слышать твое сердце, твой ум.

– Если приезжавшие тфокотли позволили себе дурными криками опоганить дом главного зиусхана, если это останется безнаказанным, они в следующий раз могут и не такое натворить – взломать ворота, ворваться в наш дом. Недаром говорят: безнаказанное преступление – не месть, а возмездие. К тому же Тахо и Цахо открыто борются

с тобой, и не обращать на это внимания будет грубой ошибкой.

– Верно, Кудадек, мой племянник! Я горжусь тобой.

С гордостью посмотрел на сына и отец, подумав, однако: «Не перехвалить бы, только не перехвалить. Излишняя похвала обязательно испортит, как лишние соль или перец портят добрый соус». Так предостерегающе подумал князь, но не без гордости сказал:

– Я гляжу, ты на хасэ многих заткнешь за пояс. Только смотри, как бы тебя потом не назвали краснобаем, наши пустоболты способны на это, поэтому каждое твое слово должно быть весомым и обязательным, как меткий удар камня. И еще, сын главного зиусхана Жанеи, хочу тебе сказать, что преждевременный рывок без трезвого ума и хитрости может подставить твою голову под саблю неприятеля. А теперь, хотя вы и младшие, хочу спросить: что вы посоветуете делать?

– Наступать на них, только наступать, а не обороняться! – решительно сказал Кудадек.

– Это только слова, сын мой.

– Но, отец, иное слово рубит не хуже меча!

Сибок, отвернувшись к окну, нахмурился. Это заметил Ацамук и подумал: «Не слишком ли много мы с Кудадеком берем на себя, не обижаем ли его? Это одна сторона дела, а другая – мне кажется, он что-то скрывает от нас, что-то прячет за своей открытостью. Каким-то другим вернулся в этот раз из Руси с ее войском. Иногда мне кажется, он Вишнивецкому доверяет больше, чем мне, есть у них что-то недозволенное для нас с Кудадеком. Может, он уже жалеет, что привел воинов русского царя на наши земли? И еще ждет пополнения, готовится разместить его в укреплении на берегу Керченского пролива. Вместе с тем на сходках в селениях рассказывает, какую большую пользу будут иметь адыги от поддержки их царем. Но ведь войско это будет не ему, а воеводе Вишнивецкому подчиняться, а как говорят, у кого сила – тот и хозяин. Может быть, это и беспокоит главного князя?»

Очень интересно устроен человек, в нем одном как бы живут одновременно еще два или три. Один разговаривает, другой одновременно думает, может быть, о чем-то другом, третий в это же время может обедать или выполнять какую-то работу. Причем в одно время он способен

бывать в разных местах. Вот и князь Сибок, разговаривая с братом и сыном, мысленно побывал в лесу, это когда встретился с Ванатугом, чтобы тот убрал Хатая. Он согласился вроде бы, но плату золотом не взял. Увидел князь, как Панахес ударил Ванатуга кинжалом, а Бжамит сразил его. Знал обо всем этом Ванатуг, но не только не выдал его, а даже защитил, когда у княжеского дома взбунтовались тфокотли. И главной княгине посмотрел в это же время в ее красивые глаза – ведь это она надоумила его убрать Хатая, а теперь пригласила Ванатуга в гостиную. Вот и получается – хромой разбойник, конечно же, по воле Всевышнего, с Его помощью вон как душою своей возвысился. Княгиня тоже возвысилась, значит, и ему надо возвыситься в своей душе по отношению к ней. А как быть с Хатаем, кто он для княжеской семьи? О-о, не так просто ответить на этот вопрос, но отвечать надо... Он в это же время мельком глянул на Кудадека: «Что будет с тобою, где ты окажешься? На Руси или на земле адыгской? Как передать тебе мою власть, как сделать ее значительнее?»

Если отец, заботясь о будущем, оглядывается на прошлое, как бы черпая в нем мудрость, свою и отцов, а у Кудадека было такое маленькое прошлое, что, собственно, и оглядываться еще некуда. Его жизнь – сегодня и завтра. Однако!.. «Отец спрашивает, что ему делать после глупого, но не такого уж безопасного шума тфокотлей? Царь Иван разных смутьянов, как сорную траву на поле, вырывает с корнями и сжигает в беспощадном огне. Только так он и держит в своих руках страну. Конечно, его обвиняют в жестокости, но честным людям, верным его слугам нечего бояться этой жестокости. Они и говорят: у царя милосердия не меньше, чем жестокости. Правду сказал Калакут: если у вас нет единого государства, то вы и между собою воевать будете, и другие государства, другие народы станут грабить вас, унижать... Э-э! – воскликнул про себя Кудадек – это в комнату зачем-то впорхнула Дария. Не просто впорхнула, а обожгла своим взглядом Кудадека...»

– Ну?! Вы можете сказать мне толком, чего хотите от меня? Что я должен делать? – сердито спросил Сибок.

Ацамук почувствовал себя виноватым, что расстроил старшего брата. Вопросительно глянул на Кудадека, тот ответил ему невозмутимым взглядом и сказал:

– Если дядя молчит, тогда разреши мне, отец. И уж не обессудь, если что по молодости не так скажу. Думаю, твоей руке главного князя не хватает твердости, не хватает того, за что подданные боятся и уважают своих предводителей, даже любят... Я виделся с Шибланом. Он рассказал, как с мерзкими своими намерениями Цахо ездил к Ванатугу. С ним я тоже разговаривал.

– Что-о?! – ошеломленно произнес Сибок и глянул на Ацамука: – Ну вот, а ты говоришь – сидим со сложенными руками. Смотря кто. Как видишь, твой племянник уже вовсю занимается нашими делами. Правда, не сообщив нам, за спиной у нас. Насколько я тебя понимаю, сын мой, ты считаешь, что я должен обнажить свой меч?

– Ванатуг мужественный и честный, уважающий тебя человек и... он немного на тебя обижается.

– Очень интересно, Ванатуг на меня, видите ли, обижается. За что же? – не то возмущался, не то удивлялся Сибок.– Кажется, у него нет никакого повода на меня обижаться.

– Говорит, вернулся зиусхан и хоть бы поинтересовался, что за сплетни тут сплетают вокруг его имени.

Сибок махнул рукой:

– На каждый роток не накинешь платок, все сплетни не расплетешь. Да и пропади они пропадом! А ты когда встречался с Ванатугом?

– Несколько дней тому назад. Я был у Калакута, к нему и приезжал Ванатуг.

– Понятно. Заневестилась у соседа девушка, значит, от гостей отбоя не будет... Знаю, что Ванатуг, когда был шумок у нашего дома, как следует отчитал Цахо, Тахо и их прихлебателей. Ничего не скажешь – и сильный, и мужественный он человек. Если вы поддерживаете меня, думаю, надо пригласить его к нам в дом, одарить хорошим подарком и добрым словом. Думаю, также надо пригласить Шиблана и тех двух всадников – они тоже заслуживают нашего внимания... А теперь скажите, в чем заключается моя, как вы говорите, непозволительная мягкотелость?

Переглянулись Ацамук с племянником. Кудадек считал, что, конечно, должен говорить старший, но Ацамук кивком головы как бы уступил это право Кудадеку, и тот, улыбнувшись, заговорил. Старался быть уважительным, как и полагается перед отцом.

– Я слышал, как один седобородый тфокотль в разговоре со своими друзьями сказал: Тахо и Цахо никакие ни зиусханы, они занозы на теле адыгов, их надо выковырять и сжечь. Как рассказывают, Темрюк именно так и поступил с занозистым Пшиапшоко. Ты знаешь, именно так со своими недругами поступает и царь всея Руси Иван Васильевич. Сила государства, как он говорит, в строгости порядка.

Сибок встал.

Поднялся и Ацамук.

Теперь все трое стояли друг перед другом, все трое адыгской, княжеской крови старинного рода Каншауковых.

Прошелся Сибок к окну, кинул взгляд в бесконечную, спокойную даль. Прошел мимо Кудадека, мельком глянул на него исподлобья, подошел к Ацамуку:

– Надеюсь, ты слушал и услышал умные речи своего племянника, унаследовавшего от меня силу. Что бы ты ему сказал? – спросил Сибок и, не дождавшись ответа, продолжил: – Лес – это чудо для нас с вами. Его могущество, его красота... В нем и могучий зверь, и малая птаха, и душистый цветочек – все для нас с вами, пока этот лес мирно шумит, поет свою вечную песню, а, не дай Бог, вспыхнет в нем пожар?! Страшный, гибельный ураган огня! Гибельный и для нас с вами... И вы хотите, чтобы я разжег такой пожар?! Это посоветовал мне мой сын, адыг по имени Кудадек из рода Каншауковых, а ты что скажешь, ну? Почему молчишь?

Ацамук улыбнулся:

– Чтобы не напирать на тебя, ведь ты – мой старший брат, родная кровь, как ты сказал, древнего рода Каншауковых.

– Так-так, и на том спасибо,– ухмыльнулся Сибок и опять прошелся к окну, к сыну, к брату.– Если бы зиусхан Темрюк спросил меня, я не только не посоветовал бы ему так поступить, как он поступил, но, прямо глядя ему в глаза, решительно осудил бы этот поступок. Ведь мы с Русью вступили в союз, чтобы она помогала нам отбиваться от крымских татар, от турок или кумыков, чтобы не лилась адыгская кровь от чужеземцев, а что получилось? Ту же адыгскую кровь пролили чужеземцы, только под другим именем. Сегодня по подсказке Темрюка им не понравился

Пшиапшоко, завтра не понравится Машук, потом – Сибок... Не торопитесь высекать искру, потому что неизвестно, как отзовется зажженный ею огонь... Теперь о царе Иване. Может, я как главный зиусхан Жанеи понимаю, даже одобряю его крутые меры к своим подданным, но по-человечески, по-божески не могу принять. А закончить наш разговор хочу вот чем. Тахо и Цахо не волки, не шакалы, а всего лишь назойливые оводы, которых просто надо пришлепнуть. Ну ладно, у меня есть еще дело сегодня. Думаю, Кудадек пусть останется с матерью, повеселит ее, порасскажет о Московии, о Руси, а ты, Ацамук, поедешь со мною. Кудадек, позови Калакута!

– Он уехал в Темиргою,– ответил сын и почувствовал, как тихой радостью отозвалось его сердце: раз они уезжают, значит, он сможет повидаться с Дарией, даже тайком посидеть с нею.

Остался в комнате Сибок и как бы со стороны теперь посмотрел на все, что здесь происходило. Из разговора о Ванатуге ему стало ясно: все закончилось добром. По воле Всевышнего Ванатуг раскаялся в своих грехах и не только не будет творить зло князю, но даже стал защищать его, а если еще раз побывает в гостиной главного князя, посидит на месте почетного гостя, почувствует сердцем добро княжеского дома, княжеской семьи... «Слава тебе, о Великий и Вседобрый». Уже нет в живых Панахеса, Бжамита, значит, все улеглось, ушло вместе с ними в вечность. Вот только обошлось бы все добром с Кудадеком. То, что с ним происходило сегодня, кажется невозможным. Расскажи кому-нибудь из адыгов — не поверят: младший, можно сказать, еще мальчишка, на равных разговаривал со старшими, с самим главным князем. Не только на равных, даже поучал его, давал советы в его княжеских делах. С одной стороны, это должно возмущать его, а с другой — он может гордиться сыном. Однако... Это, конечно, он у них всему научился, это они так отточили его острый ум. Княгиня сказала: «Я родила его, выходила, а он приехал, и мне кажется, будто это и он, и не он». Князь тоже подумал так и решил: «Надо женить его, и все обернется добром. Слыхал, у Темрюка — дочь-красавица. Вот поеду, переговорю с ним, и будем засылать сватов». «Воевода Вишневецкий под строжайшим секретом сообщил мне, что Русь

и Турция ведут тайные переговоры, хотят разделить между собою адыгские земли: все, что лежит по правому берегу Кубани, отойдет к Руси, а по левую — Турции. Вот тогда они и расстанутся с сыном». «Нет, не быть этому, не быть!»

Князь Сибок увидел в окно, как Кудадек в парадной форме русского воеводы зашел во двор Калакута.

«О, вон еще откуда нас беда подстерегает. Не хватало нашему старинному роду невестки из тфокотлей. Не быть этому, не быть!»

X

Солнце коснулось краешком морской глади, будто после жаркого дня испило прохладной воды, и дремотно улыбнулось. Так увиделось Сибоку. Он тоже улыбнулся и остановил коня.

– Что случилось, зиусхан? – спросил Ацамук.

– Солнце садится.

– Ну и что? – удивился Ацамук.– Оно каждый день садится, чтобы завтра опять подняться.

– Ты уверен, брат мой, что оно завтра поднимется?

– Конечно!

– Напрасно. Бывает, человек увидел, как оно вечером ушло, увидел и уснул вечным сном и, понятно, не увидел, не узнал, взошло ли оно.

– Ну зачем же ты так...– шепотом упрекнул Ацамук.– Такой красивый вечер, а ты!..

Не ответил Сибок брату, продолжая свою грустную, как он подумал, нескончаемую мысль.

Все радуется солнцу, красоте, которую оно создает,– и люди, и зверь лесной, и могучий дуб, и крошечный цветочек, но зачем Всевышний создал так, что все кончается вечным сном, названным людьми смертью? Да и не просто вечным сном, а сначала старостью, при которой, обессилев, все должно сморщиться, страдая, согнуться и лишь потом забыться в вечном покое, как говорят верующие в Бога люди. Зачем, зачем Он так создал? Может быть, зная, что их ожидает немощная старость, а потом смерть, люди и торопятся жить своей молодостью, силой, спешат ухватить побольше, отнять у другого, завидуя удачливому, а зависть – это и есть огонь, который сжигает в душах все доброе, тихое, красивое, живое.

– Я вижу, Ацамук, ты хочешь долго жить, и это, как думаю своей уставшей от разных мыслей головой, мне нужнее, даже дороже, чем тебе.

– Э-э, старший брат, ты опять сплел такое, чего я никак не могу расплести в своей голове, в которой и без этой путаницы невозможная теснота. Объясни мне, пожалуйста, понятнее.

– Но это же так просто и понятно: если ты, другие мои младшие умрут раньше меня, тогда кому я отдам то, над чем трудился всю свою жизнь? Оно останется ненужным, значит, и жизнь моя окажется такой же, как бы пустой. Зачем тогда солнце надо мной сияло, теплый дождичек поливал, веял веселый ветерок, зачем деревья цвели под моим окном?

– Если так, то, конечно,– смущенно согласился Ацамук.

– Вот тебе и «конечно»,– усмехнулся князь и обратился к своему байколу: – Матыж, ты, когда ложишься спать, говоришь какие-нибудь слова?

– Обязательно, зиусхан. Я прошу, чтобы Бог послал мне и моему семейству доброе утро, добрый завтрашний день.

– Ты слышал, зиусхан, как живут, как мыслят наши люди?

– Слышал,– усмехнулся Ацамук.– Только не знаю, у какого Бога он просит.

– Разве ты не знаешь, что Бог один, это грешные неумные люди разделили его, заблудились, как говорят, в трех холмах.

– Позволь и мне слово сказать, зиусхан,– обратился к князю байкол Айдар.

– Говори, послушаем и тебя.

– Ты правду сказал – в трех кустах заблудились. Одни подались в мусульманство, другие – в чиристанство, а третьи возвращаются к многобожеству наших отцов. Как тут быть, кого слушать? Тут и мудрецу нелегко разобраться.

– Думаю, лучше всего слушать свое сердце. Я тоже в этих делах не большой знаток и полагаю: все мы каждый день идем вперед, как же можно идти вперед, возвращаясь назад? Думаю, надо идти в завтра, не забывая о вчерашнем дне. Если только человек по малости лет своих ходил на четвереньках, потом поднялся, зачем же ему опять ходить

на четвереньках? В дружине воеводы Вишнивецкого служат и адыги. Пятеро из них приняли по своей доброй воле христианскую веру, приобрели для своих семей у священника дружины иконы Божьей матери и молятся перед ними. Как адыг, как главный зиусхан Жанеи могу сказать народной поговоркой: вольному – воля. Одна тут только забота – чтоб все это делалось от чистого сердца, на благо нашей земли.

Всадники долго ехали молча: было над чем поразмыслить, задуматься, остаться наедине с самим собою, особенно в вечерней тишине, когда над морской гладью, над всем миром осталась только макушка золотой солнечной короны. И с лукавой хитринкой продолжил Сибок свои слова:

– Посмотрел я на закатное солнце и подумал: ты неважный кузнец, Ацамук.

– Опять ты, брат, сотворил что-то недоступное для моего скромного разума. Я какой-никакой, но зиусхан, а в кузню захожу, как ты говоришь, косточки свои поразмять, и не больше. Настоящему кузнецу, понятно, и в подметки не гожусь.

– Что верно, то верно,– усмехнулся Сибок.– А тебе не кажется, зиусхан Ацамук, что подлунный мир – это кузница нашего Бога? Утренняя заря – это когда ты только вздуваешь горн, день – это уже ярый деловой огонь, а вечерняя заря – затухающий горн... Мы в своей кузне куем или лемех, чтобы землю пахать, или подкову для своего коня, или меч, который, как известно, для мирных дел совсем не пригоден. Чего мы с тобой больше скуем, кузнец Ацамук? Почему ты как-то безнадежно, брат мой, пожимаешь своими плечами?

– Чаще, зиусхан, мы куем не то, что нам хочется, а что требует сама жизнь, ее кривые стежки-дорожки.

«Да, кривые стежки-дорожки. А еще обрывы и мрачные пропасти»,– вздохнул Сибок.– Когда крымцы стали до невозможности донимать набегами селения адыгов, я поехал просить помощи у царя Ивана, как это сделал Машук. Многие тогда на меня обрушились, в том числе и сосед Калакут, призывавший адыгов создать свое собственное, на всей своей земле независимое ни от кого государство. Я тогда считал это глупостью, которая никогда не сбудется. Потом поехал в Московию Темрюк, потом было всеадыгское тфокотльское хасэ. И вот теперь дружина

царя вместе с Темрюком учинила расправу в селениях Кайтука. Другая дружина во главе с Вишнивецким и с моим сыном Кудадеком хозяйничает в Жанее, строит свое укрепление на берегу Керченского пролива. Приведет к себе в Беслинею царских воинов, наверное, и Машук. Вот и ломай после этого голову, как дальше жить, куда повернуть, в какую податься сторону. А теперь тайный сговор Руси с Турцией о разделе адыгских земель. И еще: оказывается, воевода Вишнивецкий не ладит со своим царем, не вышло бы адыгам это боком... Кривые стежки-дорожки, ох, какие кривые!» – будто завязал на этом свою мысль узлом князь Сибок.

– Послушай, Ацамук, что это мы насупились и молчим, словно в рот воды набрали? Как там у нас по этому поводу говорят: скучно стало – разведи огонь, страшно стало – вспомни что-нибудь хорошее и расскажи. Говори, веселее говори! Тут где-то над падинкой есть красивая полянка и звонкий родничок.

Из-под тяжелого, мрачного валуна величиной с копну сена вырывалась на свободу чистая струя и, обрадовавшись свободе и свету, журчала между камушков, напевая нехитрую, но такую ласковую песенку. По обе стороны ручья мягким ковриком расстилалась зеленая травка.

Байколы стреножили коней, пустили их пастись на луг, принесли из чагарника сухих веток и развели два костра. Один у самого родничка – для князей, другой немного поодаль – для себя.

Матыж соорудил для князей из трех бурок просторный шалаш, постелив в нем четвертую бурку, в головах положив седла. Айдар у костра под развесистым зеленым кленом поставил раскладной дорожный анэ, разложил на нем вяленое мясо, копченый сыр, лепешки, а в котелке уже закипала вода.

– Добро,– сказал Ацамук,– теперь занимайтесь своей едой, своим ночлегом.

Тем временем сгустились сумерки, уже не день, но еще и не ночь и, как при всякой неопределенности, как-то тревожно: что кроется за непонятной расплывчатостью, за ее непроглядностью?

Но вот робко выглянула, пробившись сквозь серость сумерек, первая звезда, за ней, уже смелее – вторая, третья, наступила ночь, мать завтрашнего дня. Мерцание ярких

звезд на неохватном черном бархате – это веселый, искрящийся радостью праздник, а Млечный Путь – торжественная дорога в вечность.

Стрекотали цикады и кузнечики, черными молниями носились, едва не касаясь крыльями земли, летучие мыши. Весело потрескивали дрова, плясали свою пляску языки пламени, озаряя лица братьев.

– Ты слышишь, Ацамук, как среди этой радости, среди божественной роскоши стонет в тоске филин. Стонет в своем одиночестве. Вот и у меня стонет сердце, будто тоже в одиночестве.

– Что ты говоришь, брат? О каком одиночестве, если с тобою вся твоя семья, весь род Каншауковых? Посмотри на Кудадека – это уже мужчина и, не побоюсь сказать, не по годам умен. А Камболет? В богатыря возрастает! Глянешь на него – невольно залюбуешься.

– Верно, дружною семьей живем, спасибо Аллаху. А как ты думаешь, Кудадек насовсем приехал домой или опять вернется в Московию?

Ацамук удивленно посмотрел на брата, помолчал, потом, улыбнувшись, сказал:

– Думаю, брат, тебе это лучше знать и ты не об этом хочешь меня спросить. Скажи прямо: что тебя беспокоит? Да-да, я уже заметил твое беспокойство и как брат твой, как Каншауков, наверное, должен знать, чем серьезным взволнован главный зиусхан Жанеи. Извини, если я, младший, как говорят, суюсь не в свое дело.

– Ты – зиусхан рода Каншауковых и должен все знать, что касается нашего с тобою рода. Если бы все было так просто, как хочется тебе и мне, но! Меня угнетает, что не сбываются мои планы. Может быть, не следовало ехать за многие сотни верст в Московию, может быть, надо было поближе искать себе союзника и защитника? Крым, Турция... Но теперь, дорогой мой брат, не вернешь того, что уплыло в море вечности. Я не могу понять, как относится к нам царь Иван, хотя он и говорит, что наш друг и защитник, а как на самом деле... Очень трудно мне это понять.

– Или хозяин великого государства не принимал тебя у своего трона, не сажал с собою рядом, разве не доверял тебе свою судьбу на Ливонской войне? Или не дал своих воинов сюда, к нам?

Сибок горько засмеялся, потом умолк, собираясь с мыслями, взглянув на Ацамука, печальным голосом заговорил:

– Все верно, принимал меня, все дал, прямо вот как надо его благодарить, но разве не его воины сожгли селения Кайтука за то, что ему припомнили дружбу его сыновей с Крымом? Наказали вроде бы его, а горели ведь дома простых, ни в чем не повинных людей... Боюсь, дружина воеводы Вишнивецкого может поступить так и с нами. А виноват буду я за то, что привел их на нашу землю... Надо бы мне поговорить с царем, но в то время умерла царица Анастасия, и, конечно, не до разговоров было. А вот теперь...

– У тебя нет согласия, ты не веришь воеводе Вишнивецкому?

– Я ему верю больше, чем своему сыну.

– Что ты говоришь, брат?!

– Почему ты кричишь, Ацамук?

– От боли... От душевной боли.

– Разве ты не слышал, как Кудадек настаивал на том, чтобы я обнажил меч против Тахо и Цахо, начал войну в Жанее? Тахо и Цахо, конечно, будут сидеть в кустах, а прольется кровь простых людей. И у тебя по этому поводу не болит душа? Ты ведь тоже сначала поддерживал Кудадека: обнажи меч, пролей кровь...

– Я тогда просто пожалел тебя, старшего брата, а по-настоящему понял только теперь. Уж такой тугодум. А ведь и в самом деле с Русью и адыгами получается, как гласит поговорка: кот радуется, а мышки обливаются горькими слезами.

– Это относится и ко мне: некоторые думают, что Сибок – могучий кот, вон сколько у него силы – вся Русь за его плечами. Мне же иногда кажется, что это кот урусов гоняет меня, как мышонка. Того и гляди, как-нибудь невзначай придавит меня в темном углу, на этом все и закончится. Интересно, не думает ли так и Темрюк? Особенно после того, как увидел рыдающих женщин со своими детьми на пепелищах, как услышал запах горячей крови, пролитой и по его вине?

– Когда Балгайрук приезжал на тфокотльское хасэ, мы разговаривали с ним о твоей поездке в Московию, о

Кудадеке и Султане, но о воинах урусов тогда не было никакого разговора.

– Ну вот и дождались этой радости,– с грустью сказал Сибок, подбросил сушняку в костер, взбил палкой тучи искр и смотрел, как они вспыхивают и гаснут в темноте.

Звезды в небе были такими яркими, что казались Сибоку живыми существами, и он, вздохнув, сказал:

– Хорошо там у них.

– У кого? – удивился Ацамук.

– У звезд.

Ацамук глянул на небо, потом на брата.

– Ты знаешь,– Сибок, забыв о звездах, как говорится, уже спустился на землю,– Кудадек, держа стремя, когда я поднимался в седло, сказал: ты езжай, отец, спокойно, здесь все будет хорошо, я прослежу. Представляешь, он уже берет на себя власть! Что это, брат, хорошо или плохо?

– Пожалуй, хорошо и... не знаю.

– Ты, наверное, к нему ближе, чем я. Ничего он тебе такого... не говорил?.. Не скрывай, скажи все как есть. Я ему отец, а ты приходишься дядей, и если вы будете таиться от меня...

– Успокойся, зиусхан. Ты в этот раз вернулся из Московии каким-то взъерошенным, обеспокоенным и... вроде как с недоверием относишься ко всему и ко всем. Может быть, я не прав, тогда прости меня, а с Кудадеком... Я думаю, он настоящий твой сын с характером, волей, совестью, он пока просто подражает тебе, не имея твоего опыта, твоей мудрости. Думаю, ты правильно решил: никакой войны не надо затевать, а просто пришлепнуть Тахо и Цахо как зловредных комаров. И тут Кудадек не посмеет тебя ослушаться, вернее, поймет, что ты прав. А у меня два беспокойства. Первое – наши отношения с Турцией и Русью...

– Это и мое беспокойство. Иногда думаю: не слишком ли далеко заплыл от берега в бушующем море, не остановиться ли, пока еще хватит сил и возможности вернуться обратно... Мы ждем очень важного человека из Московии, а пока он в пути, хочу встретиться с главным зиусханом Кабарды Темрюком и ханом Давлет-Гиреем. Причем не буду скрывать, даже хочу, чтобы об этом знали и в Турции, и на Руси. Пусть знают, что мы не такие уж простаки. Ну, это твое первое беспокойство, теперь давай второе.

Ацамук как-то поморщился, пожав плечами, пошуровал палкой в затухавшем костре.

– Я даже не знаю... Может, и не надо?

– Надо, брат, надо. Между нами не должно быть ничего тайного. Один раз я тебя обманул – каюсь и не хочу, чтобы это повторилось. Я догадываюсь, о чем ты хочешь поговорить со мною. Об этом болтали приспешники Тахо и Цахо у наших ворот и другие поговаривают, да все не так, все невпопад... Из-за Хатая ведь началось. Я решил уберечь нашу семью от позора, решил, что вчерашний наш дворовый не должен стать нашим зятем, хотя и оказался зиусханом. И задумал убрать его с помощью Ванатуга, а тот отказался. Тогда я решил убрать его самого, чтобы не выдал меня. Бжамит должен был убрать его руками Панахеса, а потом и самого Панахеса для верности уже по своей воле! Хотя я ему делать этого не приказывал. Теперь нет бедного Бжамита, лежит в чужедальней стороне, а Ванатуг стал, как говорят в народе, праведником. Ты поэтому и спрашивал прошлой зимой, легок ли конь Бжамита?

– Считай, что не спрашивал.

– Спасибо, брат.

На следующий день, в пору охоты орла, Сибок со своими спутниками приехал в селение Четаш к воеводе Вишнивецкому и был крайне удивлен увиденным: вдоль опушки сосновой рощи высилось пять домов, рубленных из бревен, крытых дранью, будто привезенных из России. Это срубили русские стрельцы, видно, специально были подобраны Вишнивецким мастера.

Немного в стороне стояла длинная, побеленная турлучная конюшня, рядом с нею такой же длинный хозяйственный сарай, скирда сена и скирда соломы.

Русские и адыгские воины рубили из бревен просторный дом, с большими окнами. Над срубом уже возводили стропила. Там и находился воевода Вишнивецкий с топором в руках. Спустился он и пошел навстречу Сибоку:

– Принимай, главный князь, работу!

– О-о, как много вы сделали, просто молодцы!

– Мы – это и воины, и жители. Стар и млад помогали нам. Как ты говоришь – молодцы.

– А это что там, с крестом? Никак христианская церковь?

– Она,– широко перекрестился воевода,– маленькая, но пригожая. Там руководил отец Кирилл. Он не только священник, но и превосходный плотник, топором будто игрушкой владеет! Пока строил, уже окрестил по их просьбе несколько местных жителей, а на будущей неделе окрестит еще несколько адыгов.

«Вот такие мы люди – адыги, своевольные до невозможности. И не просто своевольные, а как птицы в небе – свободные. В древности были многобожцами, чуть ли не у каждого был свой бог. Побывали христианами, мусульманами, а теперь вот опять – крестимся. Правда, бывало, нас силой заставляли принять веру, но она долго не держалась, ее будто ветром сдувало. Я даже не знаю – хорошо это или плохо».

– Чего доброго, Ацамук, отец Кирилл и нас с тобою окрестит,– усмехнулся Сибок, скрыв опять от брата, что там, на Руси, в одной из церквушек он тайно принял православие.

– А что! Среди наших предков уже были христиане, а теперь мой племянник Кудадек принял эту веру, почему бы и мне не стать христианином. У них очень красиво в церкви, и служба красивая – с пением, иконами, со свечами и лампадами.

Войдя в дом, чуть ли не у самого порога Сибок с нетерпением спросил у Вишнивецкого:

– Что слышно из Московии, есть ли какие новости?

Воевода неторопливо подошел к столу, сел на скамью и только потом заговорил:

– Ничего хорошего мой человек не привез. У Руси с Турцией пока все по-прежнему не совсем понятно, не совсем твердо. Не знаю, что тебе и сказать, а в Московии...– Воевода, опустив голову в островерхой шапке, мрачно помолчав, с печалью продолжил: – Царь Иван Васильевич разогнал Избранную Раду.

– Как это разогнал?! – удивленно спросил Сибок.

– Очень просто, одних просто взашей выгнал, других посадил на кол, а кто успел, тот сбежал куда глаза глядят. Хорошо, что я к вам уехал, а не то... он даже самых близких ему людей не пожалел.

– О каких близких ты говоришь, воевода?

– Об Адашеве, Сильвестре. Их хорошо знает Кудадек.

– Да-да, как-то он говорил. В чем царь обвинил их?

– Будто они в сговоре отравили царицу Анастасию.

– О, Боже! Она, говорят, была такой тихой и доброй женщиной. Значит, кому-то мешала, кому-то не хватало власти, хотелось еще больше ухватить. Упаси нас, Всевышний, от злых, бесовской силы людей. А какое отношение вы с Кудадеком имеете к этому страшному делу?

– Я сказал об Адашеве и Сильвестре, бывших самыми близкими царю. Я с ними состоял в Избранной Раде. Видит Бог, я чист перед своим государем, но дорожку своей судьбы не знаешь, не ведаешь, то ли в тупик она тебя заведет, то ли выведет на простор. Это мое дело, а что касаемо Кудадека, не беспокойся, князь, все знают, как он предан своей службой царю.

– Спасибо тебе, воевода, ты хоть немножко смягчил боль моего сердца, а если говорить о тебе, знай, пока ты в моем доме, мой гость, я никому не позволю тебя обидеть. Даже самому царю. Как у нас говорят: если не останется никого из моих людей, один я останусь, все равно никому не позволю обидеть тебя, разве что моя смерть одолеет меня, но я еще и с нею померяюсь силою.

В день сражения черкесы одеваются в самые лучшие одежды, которые представляют прекрасный, разнообразный и величественный вид.

Черкесы превзошли многие народы в одежде и оружии. Мужская одежда у них красотою и удобностью превосходит все одеяния, мне известные, не только в Азии, но даже в Европе.

С. Хан-Гирей

Предметом роскоши у черкесов считается прекрасное оружие, за которым они следят с величайшим тщением. Одежда у них легкая, элегантная и наилучшим образом приспособлена для езды верхом и военных походов.

Ж.-Ш. Бесс

Удобный и изящный костюм, приспособленный к образу жизни адыгов, широко распространился за пределами Черкесии. Они были не только наиболее высокими по стадии общественного развития народа, но и по образцам в области бытового уклада, обычаев, одежды. Черкесский тип костюма получил столь широкое распространение не только на Северном Кавказе, но и в Закавказье... и казаки заимствовали из Черкесии форму одежды, вооружение, посадку на коне и внимательно следят за всеми изменениями черкесской моды.

Е. Н. Студенецкая

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Говорят, потерять жену – все равно что упасть с коня на скаку.

После смерти царицы Анастасии Иван Грозный больше недели не выходил из дома. Раньше он к своим малолетним сыновьям Ивану и Федору относился из-за напряженных, беспокойных государственных дел довольно прохладно. А теперь с ними не расставался. Садился вместе обедать, ползал на четвереньках, играя в разные игры, сажал к себе на колени и рассказывал сказки, которые иногда сам выдумывал.

Придворные опасались – не захворал ли какой болезнью царь, не тронулся ли с горя умом. Они даже представить не могли, не верилось им, что царь Иван Грозный – ласковый, тихонько целует детишек, гладит их по головкам, говорит им нежные слова и улыбается, улыбается...

Ивану Грозному не было и четырех лет, когда умер его отец. Горе в одиночку не ходит – на восьмом году он лишился и матери. Остались они с младшим братом Юрием круглыми сиротами. Рос будущий царь, что называется, среди чужих людей. «Родственники нами не занимались, они не признавали нас»,– не однажды с грустью вспоминал он позже. С той поры и затаились в его сердце непроходящая горечь, подозрительная недоверчивость к окружающим, понуждавшая надеяться лишь на самого себя.

Государственные мужи изредка вспоминали осиротевших царевичей – в дни рождения или престольных праздников, а еще приглашали их, когда приезжали посланники других государств. Но вскоре попросту забыли о них, увлеченные тайной борьбой за царский престол. Воспитывать братьев взялся боярин Шуйский. Взялся, конечно, не из любви к сиротам – другое чувство владело им – чувство обладания государственной властью. А как

себя вел боярин... Помнит, все помнит Иван Васильевич. Как бывало, появлялся Шуйский в царской опочивальне, усевшись в кресло, клал свои ноги в грязных сапогах на кровать его отца. Как можно вспоминать об этом без гнева в сердце?

В декабре 1553 года малолетний Иван был объявлен государем России под опекой матери, потом – под опекой князей Шуйских, князя Ивана Бельского и опять Шуйских. В схватках за власть они использовали его царское имя, как им хотелось, как было выгодно, а что он, ребенок, нуждался в простой ласке, простом и мудром понимании взрослых, это их не волновало. Поступали они с ним бесцеремонно – унижали, считали: глупое дитя, которое можно обвести вокруг пальца, подкупить пустяшной побрякушкой.

Нет, ничего не забыл Иван Грозный, ни обид и оскорблений, ни бессовестного и бесчеловечного обращения. С тех детских лет и берут свое начало его подозрительность и жестокость, мужество и трусость, неровное отношение к религии. Ему постоянно казалось, что окружен он врагами, которые только и озабочены тем, как сплести ему путы, заставить ошибиться, а может, и убить. Вот и не знал он покоя ни днем, ни ночью, думая, как упредить козни своих недругов. Может, поэтому, боясь одиночества, в шестнадцать лет сказал он приближенным боярам о намерении жениться. Его спокойная рассудительность, неуравновешенность, веселье и грусть менялись за день несколько раз.

Был он умен, острый на язык, добро и зло жили в нем поровну. Его цепкий недюжинный ум ничего не забывал, не прощал обид, унижений. Он скоро понял, кто он есть, какая сила в его руках, понял, какие грязные царедворцы его окружают и дурачат. Уже в одиннадцать лет он принимает участие в подготовке защиты Московии от крымских татар. Бояре и воеводы удивлялись остроте мышления мальчишки. В то же время боялись его. И неспроста – в двенадцать лет он повелел казнить князя Андрея Шуйского, одного из грязных царедворцев. На четырнадцатом году своей жизни, 29 декабря 1543 года, объявил себя самодержцем, стал грозою для всех непокорных и недругов.

Кто-то из его современников сказал: «Если бы было такое мерило, которым можно измерить сердечную боль человека, то боль царя Ивана Грозного просто в этом мериле не уместилась бы».

Сидя на коленях отца, Ваня и Федя затеяли какую-то игру – весело смеялись, повизгивали, и царь вдруг подумал, что у него ведь не было детства. Конечно, не было: сколько помнил себя, все он – царь, государь. Помнил и до сей поры не забыл, как бояре и воеводы с усмешкой, а то и с издевкой называли его государем или царем-батюшкой. Помнил, как те же бояре и воеводы стали бояться его, а если бояться, значит, хитрить, врать, ненавидеть. Он платил им тем же, но с той лишь разницей, что они для себя, для собственной шкуры творили это, а он – для Государства Российского, для всех. Знал, что грешен тяжкими грехами перед Богом и, молясь ему, говорил: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, ибо не для себя, а во имя Твое, во имя Святой Православной Руси тщусь».

Слушая веселый лепет своих мальчишек, он вспомнил горестное детство, и его глаза заискрились от набежавшей боли, так жалко ему было осиротевших детишек, жалко самого себя...

На окне лежали два яблока. Одно из них – надкушенное. Этим яблоком и отравилась Анастасия. Он услышал крик и, когда вбежал в ее покои, она уже в беспамятстве лежала на полу и билась в конвульсиях.

Кто, когда и как впрыснул в яблоки яд? Два яблока – одно ей, другое ему...

Иван упал перед нею на колени и заплакал навзрыд.

Прибежали мальчишки с мамкой Варварой Патрикеевной.

Царский дом огласился рыданиями... Поднялся Иван, вытер рукавом слезы. Со сжатыми до синевы кулаками он был страшен в своем гневе. Потом этот гнев многим бывшим царским приспешникам отзовется смертью.

Он разогнал Избранную Раду и тем самым еще больше обострил свои отношения с боярами. Они были против войны с Ливонией, они заставили ее прекратить, а теперь, когда он возобновил ее, и вовсе лютуют. Тайно встречаются, плетут разные козни против него. Почему присмирели, борясь со смутьянами, бояре Басманов, Малюта Скуратов,

Василий Грязнов? И к ним, решил он, надо внимательнее присмотреться.

Адашев, возглавлявший Избранную Раду, переметнулся, стал ее противником. Сейчас он находился на войне, в Юрьеве комендантом. Иван решил сообщить Андрею Курбскому, командовавшему там войсками, чтобы тот разделался с Адашевым. Решил царь разделаться и со своим духовником, священником Сильвестром. Уж очень он стал вездесущим и своевольным, а злокозненность против царицы просмотрел. А может, был и заодно со злодеями.

Близким был царю Ивану Грозному и воевода Вишнивецкий, но в то же время сохранял близкие отношения с Адашевым, поэтому царь решил убрать и его. «Вот он уладит мне договор с Жанеей в Черкесии, вернется в Московию, тут его и упокою. Всех до единого упокою моих врагов, а значит, и врагов Государства Российского».

– Ничего, сыны мои,– сказал царь, поднимаясь с Иваном и Федором на руках.– Мы, Рюриковичи, народ могучий, все сдюжим. Теперь пойдем помолимся на сон грядущий в нашу домовую церковь, нас, поди, уже ждет любимый вашей матушкой царицею настоятель Чудова монастыря игумен Левкий.

После молитвы проводил мальчиков в спальню, поцеловал каждого в лобик, перекрестил, укрыл одеяльцем и оставил с ними мамку Варвару, чтобы почитала им Псалтырь.

Пришел он в свои покои.

Сегодня вечернее правило – молитва на сон грядущий – принесло Ивану Грозному душевную тишину. Сел он в кресло, откинулся на высокую спинку, прикрыл глаза и затих. Ему подумалось, что все хорошо, очень хорошо в царстве. Вспомнился отец. Он не помнил его, но всегда знал душой своею великого князя Московского и всея Руси Василия Четвертого, так же знал и чувствовал умом и сердцем своего пращура Рюрика, жил силой и духом его.

И вот теперь его, царя всея Руси Ивана Васильевича, под его флагом плывут по Балтийскому морю корабли, заходят они в порты Финляндии, Швеции, Дании, Франции, Англии, Польши и Германии. Теперь вся Волга до

самого низа – река Государства Российского. Покорились ему некогда грозные Астраханское и Ногайское ханства.

Надо скорее заканчивать победой войну в Ливонии, подумал он, и хорошенько закрепляться на берегах морей Каспийского, Черного и Азовского. Россия должна быть хозяйкой на тех морях, как и на Балтийском, без этого она не может быть великой державой, а она день ото дня все больше становится ею. И, конечно же, подумал он, надо раз и навсегда рассчитаться с крымским ханом, чтобы не торчал занозой в теле России.

«Интересные люди черкасы,– улыбнулся царь,– народ-то небольшой, а вон какие земли держат в своих руках, какое богатство, Господом им дарованное. Понятно, зарятся на это богатство и турки, и персы, и крымские татары. Ничего, ничего, вот договоримся с Турцией и сделаем нашу границу по Кубани неприступной. Воевода Плещеев сказал, что черкасы – мужественные и умелые воины, знают честь свою, на них можно надеяться... Это хорошо. Когда человек знает честь свою, он – человек... Помогаем мы им, но маловато. Правда, говорят же: просящему не отдавай все сразу, чтобы не разбаловать, чтоб умел он ценить каждую малость, дарованную ему тобой. И Темрюк, и особенно Сибок показались мне достойными, есть в них истинно княжеское».

Не сиделось ему, большими шагами заходил по комнате.

Чешутся руки его, сжимаются в кулаки: делать, делать, делать Россию великой среди великих.

В дверь тихонько постучали.

Вошел в монашеской мантии и белом клобуке седобородый митрополит Макарий, вошел благословить государя на сон грядущий.

Из духовных он был ближе других к царю – благословлял его на трудные государственные дела, на войну с Ливонией. И все-таки с царскими опальными Вассияном и Максимом Греком, лишенными царем свободы, как стало ему известно, поддерживал связь, даже написал Максиму Греку письмо, в котором были слова: «целую твои кандалы, но помочь не могу».

Поцеловал царь крест, данный ему митрополитом, и потом задумчиво уронил:

– Как много врагов, святый отче, у нашей православной Руси.

– Это правда, великий государь, много врагов,– негромко, успокаивающе сказал Макарий.– Но услышь меня и поверь: ничего у них не выйдет, как бы они ни бесились. Создатель на нашей с тобой стороне, он не допустит коварства, не даст в обиду.

– Как же не выйдет, если они убили царицу. Кто из них? – в упор царь глянул митрополиту в испуганные старческие глаза.

– Не ведаю, государь, кто бы это мог такую мерзость сотворить.

– Так уж и не ведаешь, святый отче?

Дрогнули под мантией сухонькие плечи митрополита. Он качнулся, чтобы уйти, качнулся и замер.

Иван Грозный отошел к окну, у которого стояла яблоня, с нее-то царь и сорвал те два яблока.

Долгим молчанием помучил старого митрополита, а потом качнул головой в сторону двери.

Заторопился, заторопился Макарий, шелестя старческими губами: «Благодарю тебя, Боже, за милость твою».

– Он не ведает! – громко, с едкой усмешкой сказал царь.– А зачем тогда отираешься у трона Божьего помазанника?! Все вы завистники, все подлы самой гнусной подлостью, но ужо погодите! Будете ведать.

И потом, уже сидя в кресле, он говорил про себя: «Вот такие же двуличные подхалимы и ядовитые завистники в Царьграде предали великого государя Константина, предали святую Византию басурманам-туркам, которые вон как теперь поднимают свою голову вместе с крымским ханом, зарятся на земли черкасов, а там, смотришь, и мы рядом. Не позволю!.. Именем деда Ивана Третьего, отца Василия Четвертого, всех Рюриков, твоим именем, голубка Анастасия, клянусь растоптать всех ворогов наших, возвысить на достойную высоту Святой Православной Руси».

Утром Иван Грозный отправился на Пушкарскую слободу. Думал вечером вернуться, но пробыл там до поздней ночи.

Конечно, Московский кремль с его приказами и соборами, с царскими палатами – святая святых российской державы, а Пушкарская слобода, сказал Иван Васильевич, святая святых российской мощи, ее воинства.

Пришел он в тигельный цех, где варилась булатная сталь, основа всего оружия то ли пушек, то ли ружей, мечей и кольчуг. Конечно, мастера, как и полагается, в пояс поклонились государю, оказали ему свою честь, и была эта честь совсем иной, чем у князей и бояр. В их глазах было уважение, а не заискивание, такая же чистота и определенность, как у кипящей стали.

В кузнице, где ковались булатные мечи и сабли, как показалось царю, стоял перезвон человеческой силы, тонкого искусства больших, сильных рук мастеров.

– Посмотри, батюшка государь, на эту пушечку,– не без гордости говорил еще молодой, но уже знатный пушечных дел мастер Никита Строгов.– Имя мы ей дали – Красавица. Нет ей во всем свете равной – и по дальности, и по меткости стрельбы. В то же время она легче, способнее других в передвижении. Канониры наши будут весьми довольны ею.

По-мужски запросто обнял его царь, а вечером посидел с мастерами за чаркой, сказал, что с нынешнего дня всем им удвоит хлебное и денежное довольствие, даст больше денег на создание нового, надежного оружия для российских воинов.

Возвращаясь из Пушкарской слободы, Иван Васильевич дремал в карете и думал, что побывал на самом лучшем своем празднике. А еще думал, что сила его страны не столько в воеводах и всемудрых боярах, сколько вот в таких мастерах, в тех, кто на поле боя идет не за своим чином, не за своею славою, а за высоким чином, высокою славой будущей державы Российской. «Слава Богу, их всегда хватало и будет хватать на нашей благословенной земле».

Был год 1560. Месяц октябрь.

Из маленького городка Шпрее, что в Германии, наконец пришло долгожданное сообщение. Там 11 октября 1560 года открылся всегерманский депутационистаг, где обсуждали положение немцев, проживающих в Ливонии, в связи с войной. Долго спорили, ссорились, обвиняя во всех бедах Русь. В конце заседания выступил представитель немецкого императора Карл фон Гогенцоллерн, председательствовавший на заседании, и зачитал письмо баварского герцога Альбрехта к императору. Герцог считал, что Германии нельзя конфликтовать с Русью, потому что

Турция, союзником которой предательски стала Франция, уже лезет со своими войсками в Европу. Он считает, не стоит обращать внимания, если против такой политики Германии будут возражать Польша, Швеция и еще кто-нибудь. Считает он также, что сближение Германии с Русью пойдет только на пользу немцам, живущим в Ливонии. Правда, особенно сближаться Германии с Русью не следует – надо держать ее на определенном расстоянии. В конце концов, на заседании решили отправить русскому царю посла и просить его о прекращении войны, просить о помощи пострадавшим в Ливонии немцам. Но для Ивана Грозного дело о войне уже было решено. Вскоре пришло сообщение из Смоленска от воеводы Морозова о том, что польский король Сигизмунд, начавший войну против Руси, направляет в Москву своих послов с просьбой о мире.

«Приятно, конечно, когда у тебя просят мира,– подумал Иван Грозный,– но тут есть какая-то хитрость, ведь мне ничего не надо ни от Польши, ни от Ливонии, я только хочу вернуть свои исконные земли. Ладно, посмотрим, что Сигизмунд затеял».

Польско-литовских послов Ходкевича, Валовича и Гарабурду, как и полагается, достойно встретили российские всадники во главе с Григорием Нагим и провели в тронный Брусяной зал, представили самодержцу всея Руси Ивану Васильевичу.

Несколько дней представители Руси, Польши и Литвы вели переговоры, пировали, так ни о чем не договорившись, разошлись.

«Я так и знал, что Сигизмунд, прикинувшись миролюбцем, будет тянуть свою линию, а мы только и хотим, чтобы он вернул наш искони русский город Ругодив. Он обещает жить в мире с нами, если мы уйдем из Ливонии, хотя если бы он ушел из Балтии, было бы всем спокойнее и прежде всего ему самому со своим государством...»

Три месяца минуло с того дня, как умерла Анастасия. Он ни разу не подходил к окну, за которым стояла та яблоня, а сегодня подошел.

С облетевшей листвой она показалась ему зябкой, скорбной.

Тихонько постучались в дверь.

Вошел Сильвестр, теперь уже бывший царский духовник.

Они стояли друг против друга. Постаревший и совсем иссохший Сильвестр с опущенными глазами:

– Великий государь, благослови поселиться мне в Кирилло-Белозерской обители. Остаток дней своих хочу провести в молитвах... За тебя молиться, за державу твою.

– Что?! За меня молиться?! А за упокой души рабы Божьей...

Отошел царь от окна и, стоя спиной к Сильвестру, спросил:

– Ты знаешь, что случилось с дружком твоим Адашевым?

– Да, умер в Дерптской темнице.

– Нет такой – Дерптской! Забудь это слово. В Юрьевской темнице он околел. И ты... сгинь с глаз моих! Не нуждаюсь я в твоих греховных молитвах, не будет тебе моего благословения. Уходи!

II

Бывают собеседники, которые в свое удовольствие и наговорятся, и поразмышляют молча, уносясь мыслями из гостиной в другие места, в иное время. Такими были Калакут и Псамит. До позднего вечера они сидели вдвоем: разговаривали, молчали, размышляя, в чем-то соглашались друг с другом, что-то оспаривали. И все было ладно, во всем они понимали друг друга, будто шли одной стежкой-дорожкой, хотя каждому случалось и сворачивать с нее, в жизни ведь бывает всякое.

Сынишка Псамита принес анэ с горячими душистыми лепешками и плошкой сметаны. Глянул Калакут на вихрастого, веселого мальчишку, и сердце зашлось тоской. Его мужские годы-годики уже подходили к самой что называется вершине, а до сей поры нет у него того, кто идет по его следам, подпирает своей молодостью дедовский род. Вот и женился, все посматривает на свою Накуру, на ее живот, а она все ходит – легкая, стройная, как девчонка.

Говорят, жить – значит слушать советы мудрых людей и самому их давать. И еще говорят: самое неблагодарное дело – давать советы. Если по твоему совету случилось что-нибудь хорошее, удачное, то человек, кому помог твой

совет, о тебе уже и слышать не захочет, себя считая умным и удачливым, а если твой совет окажется неудачным, то тебе этого вовек не простят, не понимая, что советы живут сами по себе и пользоваться ими тоже надо уметь – какой-никакой, но обязательно надо иметь свой ум к любому совету.

Калакут потратил много лет, разъезжая по адыгской земле с мыслью о добром, по его мнению, совете – объединить все племена адыгов в одну семью, в одно сильное самостоятельное государство. Он советовал, поясняя мудростью самой жизни. Многие соглашались с ним, даже тфокотльское хасэ, поддерживали князья, сам главный князь Жанеи Сибок не возражал. Но соглашались в общем -то лишь на словах. Одобрительно кивали головой, приветно улыбались, а вот чтобы за дело взяться – ни одного шага никто не сделал.

«Вот и получается,– с грустью размышлял Калакут, макая лепешку в сметану,– тот случай, когда твои советы и ты вместе с ними могут оказаться посмешищем... О Аллах, пошли мне, грешному, в утешение сына, дочку, еще сына, чтобы не умереть в тоскливом и бесплодном одиночестве... Что же получается: главные князья Сибок и Темрюк выпросили у царя воинов, а зачем, чтобы расправиться со своими же адыгами, как произошло у Пшиапшоко? Тогда чем это лучше крымчан, которые проливали нашу кровь? А для чего понадобились воины урусов князю Сибоку? Чтобы подчинить своей воле непокорных князей? Значит, и здесь не обойтись без кровопролития. Но самое-то страшное в другом. Сегодня их сотни три, потом будет и пять, и десять, а у кого сила – у того и власть. Вот так мы сами себя по своей глупости обращаем в рабов Руси. Уж посмеюсь я тогда, посмеюсь, глядя, как наши гордые князья будут стоять на задних лапках перед воеводами урусов...»

– Ты что сидишь такой хмурый, Калакут? Какая боль или обида тебя гложет, мой друг? – спросил Псамит.

– Как тут не хмуриться, если мы живем среди обид, оскорблений и унижений. Как не печалиться, если я по глупости лучшие годы своей жизни потратил впустую, пытаясь убедить упрямых адыгов, что жить одной дружной семьей лучше, чем вразброд да еще во вражде.

– Что с тобой, что ты говоришь, Калакут? – воскликнул Псамит.– Тебя знают и уважают по всей земле адыгов от моря и до моря не только тфокотли, но и зиусханы, уорки, все адыги знают!

– Уважают, знают... А что толку от этого? Мне больно говорить, но я уверен – ничего у нас, адыгов, не получится, не быть нам единой, дружной и сильной семьей, потому что каждый из нас считает себя первым, самым достойным, особенно наши заносчивые, часто пустозвонные зиусханы вроде Тахо или Цахо.

– Ты хочешь сказать, что и Сибок такой?

– Нет, он над многими зиусханами возвышается своими умом, заботой о людях, однако не стремится создавать единое Адыгское государство. Мне думается, Ацамук ближе стоит ко мне. Да и характером он мягче, добрее, чище душою, а Сибок... если он способен на такую подлость в своих личных интересах, какую допустил по отношению к Ванатугу, тогда это страшный человек.

– Постой-постой, Калакут, но Сибок сказал, что это грязные наговоры завистников.

– Я был бы рад, будь это так. Мне Ванатуг сам рассказывал, как Сибок пытался его подкупить, уговаривая прикончить Хатая. Когда они с Панахесом встретились в лесу, Ванатуга окликнул Бжамит. Тот оглянулся, и Панахес... Сам понимаешь, чтобы замести следы, Бжамит прикончил Панахеса. Потом он погиб на Ливонской войне, куда повез его Сибок с другими адыгскими воинами. Словом, все концы в воду.

– Бжамит?! – воскликнул Псамит.– Но сколько лет я знал его – это добрый и порядочный человек.

Калакут улыбнулся:

– Те воины урусов, которые сожгли селения Пшиапшоко, убили людей, ни в чем перед ними не виноваты... И эти добрые парни, дети чьих-то добрых матерей, как воины только выполнили приказ своего воеводы. Так и Бжамит, он только выполнил волю своего зиусхана.

– Но это же страшно!

– Будет еще страшнее, если мы не опомнимся, не поймем, что идем дорогой, ведущей в пропасть...

Вечер был прохладный и туманный, туман уже таил в себе предчувствие зимы, ее ветров и холодов, ее тоски по весне.

У ворот Псамит попросил:

– Может, и не надо мне этого говорить, но уж позволь.

– Говори.

– Я о сестре твоей, сосед мой души в ней не чает. Он, ты знаешь, из доброй семьи, степенный и добрый, хороший будет семьянин. Уж поверь мне, с ним она счастливо проживет всю жизнь.

– Ты с твоим соседом, наверное, хочешь, чтобы я выдал за него Дарию, но ты забыл, что я – адыг, свято хранящий обычаи нашего народа. Пусть твой сосед хоть со звездою во лбу, но я ради него не стану вмешиваться в душевную жизнь моей сестренки, выдавать замуж против ее воли, против ее любви. Когда у нее заболело сердце по Хатаю, он любил в то время Минсуру. И она была к нему неравнодушна, но ее родители восстали против него, бывшего их дворового. И если бы Хатай, оскорбившись отказом, женился на влюбленной в него Дарие, ничего хорошего не было бы у них в семье, не было бы чистоты и искренности... Я знаю, что Кудадек, вернувшись из Московии, увидел Дарию и, как говорят, воспылал к ней. Не знаю, что в сердце у Дарии, но если она захочет стать женой Кудадека, я попробую, не обижая ее и ее чувств, объяснить, что Сибок ищет для своей дочери зятя высокого полета – богатого, знатного, что и Загирета сочтет своей невесткой девушку из тфокотлей страшным оскорблением, втопчет ее в землю.

Откуда-то из темной вышины подул ветерок, пошептался о чем-то с голыми и потому сиротливыми ветками дуба и снова улетел в темноту, будто его и вовсе не было.

– А если Дария во имя своей любви, своего возлюбленного захочет быть втоптанной в землю? – тихонько спросил Псамит.

– Что же, будет она не первой и не последней в этом грешном мире.

И опять прошумел ветерок, в разрыв, образовавшийся в тумане, выглянула стайка веселых звезд...

Накура с такой радостью встретила Калакута у порога, будто не виделась с ним не день, а целый месяц.

– Проходи, мой хороший, мой большой и добрый. Я тут вся извелась. Садись ужинать, я приготовила твою любимую фасоль с кислым молоком и соус из цыпленка. Очень вкусно все получилось!

– Я знаю, во всем нашем селении никто не умеет так вкусно готовить, как моя Накура... Э-э! – вскрикнул он вдруг, услышав мужские голоса в соседней комнате.– Кто там еще?!

– Парень из Махошии Тамтеч с приятелем. Они уже давненько пришли к Дарие. У нее как раз находился Кудадек. Очень опечалился, что ему пришлось тут же уйти, соблюдая обычай.

– Ты посмотри, Кудадек живет среди урусов, а не забыл наш обычай. Молодец. А если эти парни решат у нас заночевать, постели им! – умышленно громко произнес Калакут.

– Что ты говоришь! – замахала обеими руками Накура.– Не позорь наш дом!

– Успокойся, пожалуйста, я им просто напоминаю: нельзя у девушки в гостях допоздна засиживаться.

– Может, они еще не знают этого.

– Так будут знать! – еще громче сказал Калакут.

– Прошу тебя,– заговорила шепотом Накура,– девочка только духом воспрянула после... Хатая. И не волнуйся, она такая же сильная, как и ты.

– О чем это ты?

– Я так боялась, что она не переживет свою неудачу с Хатаем, но оказалась достойной, даже с гордостью одолела себя, свое бедное сердечко.

– Садись, садись, моя кареглазка... Есть любовь, похожая на костер из сухого хвороста, да еще с ветерком. Вспыхнет он быстрым ярким пламенем, и, смотришь, уже потух, только и осталась от него горстка пепла, а настоящая любовь, что правит миром,– это огромный костер. Он тоже возгорается ярко, а когда пламя достигнет своей высоты и идет на убыль, остаются горящие угли. Они всю жизнь, до самого ее конца светят и греют обоих.

– Ты очень хорошо сказал, мой дорогой муж, влюбленным нужен такой огонь сердец, который каждому из них будет светить, греть до самого конца. Даже в глубокой старости, и, как знать, может, в старости он и нужнее всего.

– Не зря, оказывается, я тебя так упорно искал и добивался,– улыбнулся Калакут,– у тебя, я бы сказал, особая любовь. И мудрость.

Накура положила голову ему на плечо, они долго молчали, будто прислушиваясь, как стучат их сердца.

– Я хочу,– заговорил Калакут,– чтобы ты помогла мне. Думаю, у тебя это лучше получится... Мой добрый друг Псамит сегодня сватал Дарию за своего соседа. Ты сказала о Тамтече. Если бы ты и Дария спросили меня, я остановил бы свой выбор на парне из Махошии. Вот и прошу – помоги мне.

Накура рассмеялась.

– Неужели я такая сильная, что многие просят у меня помощи?

– Кто – многие?!

– Сиди, пожалуйста, не волнуйся... Вчера Минсура просила помочь ей смягчить сердце Дарии для Кудадека.

– Вон как! Почему же ты мне об этом не сказала? Или я Дарие чужой?

– Ну, зачем тебя, мужчину, впутывать в разные женские дела?

– Это уже не просто женские дела, речь о судьбе моей сестры. И ты помогла Минсуре, каким же образом?

– Я ей очень... помешала,– рассмеялась Накура.

– Ну-у,– озадачился Калакут,– ты, наверное, сильно ее обидела? Нехорошо, нехорошо, надо бы помягче.

– А я и так – очень мягко,– лукаво улыбнулась Накура.– Ничего ей не сказала, а привела Дарию, посадила рядом. Пусть, думаю, поговорят девушка с девушкой, они лучше поймут друг дружку, чем я, замужняя женщина... Минсура стала говорить о чувствах своего брата. Дария покраснела, застеснялась такого разговора, а потом спокойно сказала: «Я выросла с ним, можно сказать, на одном дворе, как брат и сестра росли мы, и вдруг – такое». Я тут же возразила ей: «Разве вы могли быть братом и сестрой: ты – дочь тфокотля, а он – княжеский сын».

– И что же ответила на это моя сестра?! – резко встал Калакут.

– Передай тому,– сказала Дария Минсуре,– о ком ты просишь, пусть не теряет время попусту, поищет достойную его высокого титула. Но это еще не все,– продолжила Накура.– Собираясь уходить, Минсура высказала, что у Дарии нет своего характера, что она сама лишает себя счастья. Выйдя замуж за Кудадека, могла бы счастливо жить в самой Московии, при царском дворе. И еще что-то хотела сказать, но я остановила ее и мягко, чтобы не обидеть Минсуру, возразила: «Спасибо, что ты беспокоишься

о Дарие, но у нее есть все, чтобы быть счастливой, и она будет такой».

– Думаю, получилось все как надо. Вы обе у меня молодцы. И Минсуру не оскорбили, и себя не унизили... Но что там у Дарии? Как-то все там тихо.

Накура осторожно заглянула в комнату Дарии и тут же вернулась:

– Парни, наверное, обиделись и ушли, а Дария уже спит.

– Если обиделись, значит, будут помнить, как себя надо вести в гостях у девушки, а раз Дария уже спит, значит, у нее спокойно на душе. Думаю, и нам пора отдохнуть от дневной суеты.

Накура в постели, положив голову на плечо мужа, тут же с улыбкой уснула, а ему не спалось, хотя на душе было покойно. Лежал, прикрыв глаза, размышлял о житье-бытье.

«Что ж,– подумал он,– рыжий Тамтеч – хороший парень, неторопливый, обстоятельный, и этим похож на меня, ростом тоже не обижен. Наверное, правду говорят, что девушка выбирает себе в мужья, сама того не подозревая, парня, похожего на брата, а парень – невесту, схожую с сестрой. Ведь и правда, Накура схожа с Дарией, только характером Дария чуть поострее, беспокойнее она... Что интересно, привел Тамтеча ко мне Ванатуг, за которым когда-то я гонялся, чтобы убить его, тот самый Ванатуг, который будто заново, с другой душой родился. А как он поступил с Сибоком, хотевшим тоже убить его. Не только не стал мстить, а защищал от толпы тфокотлей, собравшихся опозорить главного князя... И все-таки, думаю, Сибок будет искать смерти для Ванатуга, а тот, как и всякий, станет защищаться, и неизвестно, чем все это может закончиться. А тут еще тфокотли стали плечо к плечу. Не так просто будет князьям с нами разговаривать, топтать нас своим сапогом. Как все сплелось, как запуталось!.. Пойду-ка завтра к Ванатугу, посидим, поговорим, поразмыслим, разыскивая нашу стежку-дорожку...»

После завтрака отправился Калакут в дом, где остановились Ванатуг с Тамтечем. Хозяин для приличия перебросился с ним несколькими словами о погоде, о подувших холодных ветрах, которые уже гонят с дальних краев зиму, и проводил его в гостиную, где Ванатуг чинил седло. Увидев Калакута, он отложил работу, встал, выпря-

мился, как перед очень важным человеком, с поклоном пожал ему руку и указал на почетное место гостя.

– Ты что, Ванатуг, не вводи меня в краску, не срами перед хозяином. Я здесь свой человек, могу и постоять перед гостем, да еще перед таким, как ты, так что не мне, а тебе следует сесть на почетное гостевое место. А я постою, соблюдая наш добрый обычай.

– Ты, конечно, моложе меня, Калакут, но предводитель крестьян всей земли адыгской!

– Нет, Ванатуг, садись, так я говорю, хозяин?

– Да-да, по обычаям наших отцов гость – самый важный человек в гостиной. Садись, Ванатуг, а я скажу несколько слов Калакуту... Очень умело, я даже сказал бы ловко ты объединил вокруг себя столько людей, такую силу, вот только не знаю, поддержат ли вас зиусханы.

Калакут пожал плечами:

– Нас, настоящих хозяев земли, громадное большинство, и поступим мы, как нам подскажет народный разум.

– Ну-у, народный разум! Сила и разум – разные вещи, очень часто они не совмещаются, а то и вовсе противостоят друг другу... Зиусханы Сибок, Машук и Темрюк вроде бы для обороны от крымчан позвали урусов. Может быть, для этого, но, оказывается, не совсем. Если им понадобится, они могут вас так прижать, что своею кровью умоетесь.

– Ничего. Если все адыги – зиусханы, уорки, тфокотли объединятся, мы и их одолеем. Вот только как объединиться, если многие из вас выглядывают из-за зиусханской спины.

– Что ты говоришь, Калакут! Ведь на хасэ тебя все дружно поддержали. Думаю, если понадобится, то мы кинжалы не только поднимем, а и в дело пустим.

Со двора вдруг донесся отчаянный крик. Выбежав из дома, хозяин и Калакут с Ванатугом увидели рыжего быка, прижавшего Тамтеча к стогу сена.

Несколькими прыжками Калакут подбежал к стогу, схватив быка за рога, так крутанул его в сторону, что тот повалился на бок.

– Держи, держи его, проклятого, прирезать надо! Житья от него нет! – кричал хозяин, обнажив кинжал.

– Успокойся, сейчас с ним справимся,– откликнулся Калакут.

– О твоей силе много говорят, но чтобы с таким быком разделаться! – воскликнул восхищенно Тамтеч.

Вытерев кинжал, Калакут кинул его в ножны и, засмеявшись, свысока поглядел на Тамтеча.

– Смотри, если будешь обижать мою сестренку, разделаюсь с тобой, как с этим рыжим быком.

– Что ты говоришь! – взволновался Тамтеч.– Я готов носить ее на руках.

– А это уже лишнее, недаром говорят: возьмешь жену свою на руки, а она потом тебе на шею сядет.

III

Сибок находился в селении Четаш, когда ему из дома привезли очень непростую новость: Дария отказала Кудадеку и вышла замуж за тфокотля из Махошии Тамтеча. С одной стороны, даже хорошо: в семью старинного княжеского рода не пришла невесткой какая-то девка из простого крестьянского племени, а с другой – обидно, может быть, даже оскорбительно: какая-то... отказала Кудадеку, сыну главного князя Жанеи!

Князь как-то неопределенно улыбнулся:

– Вы посмотрите, что с нами делает беспощадное время: еще недавно она была девчушкой, а теперь – мужняя женщина, не сегодня завтра родит человека... Дай Бог, чтобы она желанной ступила на махошевскую землю, а душою своею осталась в Жанее, любила ее, как любим все мы.– Прочувствованно сказав это, Сибок обратился к Ацамуку: – Нас пока дело здесь держит, ты пошли вестового, пусть Загирета, не ожидая нашего возвращения, щедро одарит счастливую Дарию, как полагается у Каншауковых. Обязательно сегодня, Ацамук, пошли.

– Не обессудь, зиусхан,– обратился байкол Матыж к князю,– и позволь сказать слово. Даже не сказать, а как бы выпустить из души своей. Верно, очень верно говорят люди, что наш главный зиусхан Жанеи – твердый, сильный, решительный и строгий предводитель в делах своих, и в то же время в нем отцовская доброта и мягкость даже к самому простому человеку, к каждому он обращается по-отцовски. Вот посмотрите: находится он в дороге по важным делам, а посылает в Каншауково вестового, чтобы поздравили сестру нашего богатыря Калакута с ее радо-

стью, чтобы щедро одарили молодую семью. Только обидно и жалко мне, что брат отдает ее в дальний край, а ведь сколько у нас своих достойных женихов.

Сибок кивнул большой круглой головой, как бы благодарно, хотя в ней было все совершенно другим.

«Что это понесло его?! Хорошо, хоть Вишнивецкий не понимает по-адыгски. У этого болтуна байкола, видите ли, Калакут – богатырь, чуть ли не ровня князю. И здесь, при людях, при мне это говорит! Язык бы ему укоротить. И с женихами, конечно, намекает, что девчонка отмахнулась от сына главного князя».

Сибок улыбнулся Вишнивецкому, мол, видишь, как у нас все хорошо, а толмачу сказал:

– Этого не переводи ему. Только и скажи, что все у нас хорошо. А сам,– он обратился к Матыжу,– как следует подумай над тем, что сказал.

«Семья – такое государство, которым труднее управлять, чем княжеством,– досадовал Сибок.– Я просил и княгиню, и всех своих близких, чтобы как-то изгнали любовную блажь из Кудадека. Ничего у них не получилось, тогда я, нарушая обычай, сам твердо поговорил с ним. Не послушался он отцовского совета и вот заслуженно получил оплеуху от тфокотльской девки... Слава Аллаху, Хатай, кажется, отвязался от Минсуры. Месяца три не появляется. Должно быть, помог мой разговор с его отцом, неглупым князем Джамбечем... Говорят, будто у Калакута с Хатаем произошла какая-то размолвка. Хорошо бы».

Наконец отбился Сибок от своих горьких суматошных мыслей. Вздохнул облегченно:

– Спасибо, Матыж, на добром слове, но каждый из нас прежде всего должен думать о людях, а уж потом о себе, о своей семье.– По ходу разговора толмачу велел: – Вот все это можешь перевести воеводе. Мы согласны с Калакутом, надо нам иметь свое государство, своего царя, но ты же знаешь, мы ног из стремени не вынимаем, стараемся делать добро, как испокон веков заведено у нашего древнего рода. Сделал добро и, не требуя награды, брось его в речку, пусть оно идет к людям, своей радостью творит радость другим.

– Это великая мудрость, но у нас на Руси мало кто ее исповедует,– произнес Вишнивецкий, горько улыбнувшись.

В церкви заблаговестили к вечерне. Певучий звон колокола, привезенного из России, поплыл над Четашем над лесом в горы, и над морем в Грецию, откуда пришла на адыгскую землю православная христианская вера, потом пришел из Турции ислам и взял верх, а теперь вот заблаговестили христиане и русские воины с адыгами, принявшими их веру, пошли на вечернюю службу.

Мусульманам, понятное дело, не нравился звон, мешавший их мулле, а сохранившие еще себя язычники посмеивались над теми и другими.

В гостиной остались Сибок и Ацамук. Им было о чем поговорить один на один. Начинать разговор, как полагается, должен старший, но Сибок, сдвинув густые брови и поглядывая то на брата, то в окно, молчал, как бы неслышно разговаривая с самим собою: что ждет младшего в Крыму, куда он завтра отправится? Старший не то что не доверял младшему серьезных дел, просто щадил его как младшего, большую часть тяжелой княжеской ноши беря на себя. У него острый ум, хорошая сметливость и решительность. И вот теперь старший, понимая всю сложность, ответственность, даже опасность предстоящего дела, решил направить его. «Рано или поздно он как мужчина, князь рода Каншауковых, должен это пройти». Дорога в Крым, после того как Сибок сдружился с русскими, стала опасной, даже если ты хорошо говоришь по-татарски. А что будет впереди, после всех разговоров, переговоров? Вишнивецкий сказал: «Вы окажетесь между двух огней». Но разве раньше не так было? С одной стороны, турки, с другой – крымчане, а на востоке еще и кумыки, персы. Перед последней поездкой в Москву хан во время встречи у Керченского пролива сказал князю: «Сулейман что-то затеял с царем урусов против тебя и меня, никак они хотят обвести нас с тобою. Держи ухо востро в Московии, а потом, когда вернешься, нам обязательно надо повидаться, чтобы не попасть в хитроумный предательский капкан. И вы, и мы для них – всего лишь козявки, если наступят на нас, раздавят, не успеем даже опомниться». «Конечно,– подумал тогда Сибок,– в его словах есть много правды, но и лукавства не меньше, и теперь с этим предстоит столкнуться моему младшему брату. Хватит ли у него мудрости, чтобы не попасть в расставленные вокруг нас капканы?»

Братья так долго молчали, что Ацамук начал терять терпение, но пытался еще держаться. И вдруг старший громко рассмеялся.

«Что такое, что это значит,– обиженно вскинулся младший,– чего он вдруг развеселился?»

– Я над собой смеюсь, себя укоряю: как мог позволить людям, не достойным и моего старого сапога, унижать мое достоинство?

– Кто обидел, кто унизил тебя, старший брат? Назови, и я расправлюсь с ним, как подобает мне из рода Каншауковых.

– С ним, с ханом Давлет-Гиреем! – воскликнул Сибок, едко усмехнувшись.– Если бы он был один... Мой сын Кудадек, мой сосед Калакут и его худосочная сестрица поступили со мной недостойно.

Ацамук облегченно вздохнул. Улыбнулся:

– А что это, брат мой, вместо того, чтобы радоваться случившемуся, вдруг так горько обиделся?

– Ты прав. Но что делать, если горячее сердце не подчиняется и главному зиусхану, человеку, как говорится, повидавшему виды...

– Но тогда скажи: если оно не подчиняется мудрому в годах человеку, то что же остается молодому? Так что мой любимый племянник после этой оплеухи вдвое дороже стал.

Сибок опять громко, с удовольствием рассмеялся:

– Молодец! Вижу, младший брат уже стал взрослым, поэтому со спокойной душою пошлю в Крым на очень трудное дело, однако...

Сибок опять решительно сдвинул брови:

– Что верно, то верно – сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит. Это я о нашем Матыже. Не очень понимаю, но вижу, он свою линию гнет. Не постеснялся ни нас с тобою, ни воеводы: о Кудадеке и насчет Калакута подбросил словечко – богатырь! Плечо в плечо со мною поднял тфокотля. А ведь никуда не денешься, посмотри, сколько людей за собою он повел. Простой, да, оказывается, непростой. Мы никому не позволим поссорить нас с ним. Тем более – разве мы с тобою против сильного самостоятельного государства, да еще с зиусханом во главе? Я думаю, надо тайком дать им немного золотишка на поддержку их дела.

– Да, надо!

– Спасибо, Ацамук. Когда вернешься из Крыма, надеюсь, из удачной поездки, хорошо, по-княжески отметим свадьбу Дарии... С тобой в дорогу решил послать одного байкола Айдара.

– Правильно. Лишние глаза в этом деле тоже ни к чему.

– Об этом я даже воеводе Вишнивецкому не говорю правды. При случае будете говорить, что поехали за украшениями для женщин. На базаре у пролива, мол, ничего подходящего не нашли, потому и поехали в Бахчисарай. А там от моего имени дашь знать хану, и он примет тебя... Будь начеку с хитрым и весьма коварным лисом. Не увлекайся разговорами, помни: за каждым твоим словом он может увидеть два или три, перелицевать их так и эдак. Если будет требовать каких-нибудь обещаний, скажи, что ты – лишь слова и уши главного князя, который только и решает, как и что делать. Не покупайся на разные угощения, не верь их лести и красивым обещаниям. Скажи, что при надобности я согласен с ним встретиться. Пусть назначит место и время.

– Думаю, все так и будет. А если встретится Мамий или захочет увидеться со мною?

– Сам встречи с ним не ищи, но и не избегай. Разговаривай с ним, как и полагается зиусхану с тфокотлем. Без заносчивости, но с достоинством. Но лучше бы с ним не встречаться, уж больно крученый какой-то и грязный он, хотя и при власти в Крыму у хана... Я домой вернусь послезавтра, думаю до зимы съездить в Кабарду, к Темрюку. Возьму с собой Кудадека, пусть привыкает к разным нашим делам. Правда, эта поездка во многом будет зависеть от того, что ты привезешь из Крыма.

На следующий день где-то близко к обеду к Сибоку приехали два всадника и сообщили, что Пшиапшоко, возвращаясь из Крыма, остановился у Жанэ и хочет повидаться с главным князем.

Сибок, выслушав посланника, помолчал, потом, улыбнувшись, сказал:

– Конечно, мне очень приятно, что зиусхан Пшиапшоко хочет повидаться со мною, но... селение Четаш входит и в мое владение, есть здесь гостиная не хуже, чем у него, поэтому я как главный буду рад принять у себя

зиусхана Пшиапшоко, если же он очень торопится, пусть спешится у моих ворот, и я его, одного из видных мужей Кабарды, встречу, как это принято у адыгов.

– Но мой зиусхан Пшиапшоко,– кабардинским говорком заговорил байкол Тавташ,– не хочет видеться с урусами.

– Вон как! – не без улыбки произнес Сибок.– Он в размолвке с ними, а мы не дружим с его крымскими друзьями, однако ничего, встречаемся, разговариваем – уж так устроен этот мир.

– Но все же, зиусхан! – начал байкол, но князь махнул рукой:

– Ты что, приехал спорить со мной?!

– Нет, зиусхан, нет! – испуганно вскрикнул Тавташ.– Прости меня, это я по своему неразумию...

– Ладно. Передай мой ответ зиусхану Пшиапшоко.

Выпроводив посланников, Сибок, позвав Матыжа, спросил:

– Правда, что ты когда-то был знаком с Мамием?

– Было такое,– смущенно ответил байкол,– но очень давно. С тех пор как он ушел к ногаям, я не виделся с ним. Правда, когда уже был твоим байколом, он несколько раз присылал своих людей, хотел со мною встретиться, но я очень резко ответил ему, и он отстал. Что он хотел, зачем я ему понадобился, не знаю, да и знать не хочу. Был и остаюсь верным тебе, зиусхан. Разве что-нибудь случилось?

– Нет, ничего не случилось. Я верю тебе. Ты знаешь: быть верным тому, кому служишь, тоже честь и мужество. Я знаю и о твоем былом отношении с Мамием, и о нынешнем. Знаю, как он приводил к нам крымчаков, как мерзко поступил со своим отцом, уважаемым Зазием. И вот теперь, как ни противно, мне надо встретиться с ним...

Матыж удивленно вскинул взгляд на князя, слегка побледнел.

– Я понимаю тебя, но дело есть дело. Говорят, Мамий сейчас у Жанэ. Сходи и тихонько узнай, так ли это, а потом и поговорим о моем намерении...

Спешно, но со всеми предосторожностями смотался Матыж в дом Жанэ.

– Среди гостей Мамия нет, по большому секрету мне сказали – он гостит у Тахо. Если надо, зиусхан, к утру

доставлю его, а попробует воспротивиться – голову его положу к твоим ногам!

«Надо бы раньше принести эту дьявольскую голову»,– подумал князь и сказал:

– Не надо затевать это ночью. Да еще связываться с этим вонючим Тахо. Не надо, подберем более подходящий случай.

Спустя три дня поздним вечером князь Тахо, приоткрыв дверь в гостиную князя Сибока, просунул голову в облезлой шапке, дребезжащим болезненным голосом спросил:

– Можно войти, зиусхан?

– Где это видано, чтобы адыг да еще зиусхан вот так просовывал в щель голову и спрашивал, можно ли войти в гостиную? Когда и какому гостю не радовался хозяин?

– Не знаю, зиусхан, что ты скажешь...

– Я уже сказал. Проходи, будь гостем.

– Я... не буду долго сидеть, я только...

– Ты сначала войди, а уж потом разберемся, когда уходить.

Матыж внес анэ с едой.

Тахо кинул косой взгляд на кувшин: «Что там? Молоко или буза? Эх, теперь бы кружечку крепенькой».

– Я про то, зиусхан, уже поздний час, не потревожу ли?

– Зиусхан Тахо! – сокрушенно воскликнул Сибок.– Разве может гость потревожить? Гость в доме – счастье в доме. Спасибо тебе, осчастливил меня... Усаживайся получше, рассказывай, что хорошего в вашем краю, в твоем селении.

– А что в нашем краю? – Тахо кинул нетерпеливый взгляд на кувшин, облизнул сухие губы.– Ты сам был недавно у нас, все видел, все знаешь,– улыбнулся Тахо.– Как у нас говорят, у главного жанеевского зиусхана Сибока сто глаз, сто ушей. Что за горами делается, он видит, что в дремучем лесу творится, слышит. Если же говорить о моем княжестве, то по милости Аллаха живем и мирно, и в достатке, и, как говорят старые люди, благочестиво. Благодаря твоим заботам крымцы стали меньше беспокоить, вот только беспокойно на душе у нас... это когда воины чужого государства на земле адыгов появились. Чужой воин – он и есть чужой, подчиняется своему пред-

водителю, а не тебе. И неизвестно, что у того предводителя в его смутной голове. Но не мне судить об этих делах. Я, зиусхан, приехал к тебе по другому, сказал бы, кляузному делу, в которое меня втянули мои завистники и недоброжелатели... Смотрю я на этот красивый кувшин и думаю: если там не молоко, а буза, то зачем ей стоять без дела?

Налил Сибок две кружки, и Тахо, в нетерпении забыв, что надо сказать тост, выпил ее одним залпом до дна.

Тяжело отдышавшись, блаженно произнес:

– Недаром идет слава о твоей бузе. Ух, славная! И сердце мое от радости запело. Пить надо такой, не побоюсь сказать, божественный напиток с благоговением, а не так, как хлещет Цахо. Верно я говорю, зиусхан?

– Я не очень разбираюсь в хмельном, а ты, похоже, любитель и большой знаток в этом деле?

– Да! – воодушевленно воскликнул Тахо и тут же спохватился: – Это Цахо – любитель, а я... разве что по праздникам или по торжественному случаю, как сейчас.

– Конечно,– ухмыльнулся Сибок,– однако слушаю, по какому делу приехал ко мне, зиусхан?

– Да вот меня до сих пор мучает тот позорный случай у твоих ворот. Стыдно вспомнить. Было там и моих двати три байкола. Они оскорбили не только тебя, но и меня, мое достоинство. Я их в тот же день в шею выгнал, пинком под зад! Нехорошо, неприлично говорить, что я сейчас скажу, но от правды, как от Аллаха, никуда не денешься. Главный виновник этого позора – Цахо со своими нечистоплотными дружками. Сколько раз я говорил ему: держи в крепкой узде своих тфокотлей, но он ненамного умнее своих непутевых...

– Ладно, давай оставим в покое незадачливого Цахо: чего нет у него, того нет и ни на каком базаре, ни за какие деньги не купишь. О том позорном случае очень хорошо сказал Ванатуг. Главное, я думаю, чтобы от той выходки не осталось следа в нашем народе. Если у тебя есть ко мне и другое дело – говори, слушаю.

– Вот и получается: вчерашний вор и разбойник даже как бы в чести у нас становится. Думаю, сам он тут ни при чем, вседобрый Аллах снизошел к нему, думаю, на благо нам – не ворует у нас, никого не грабит. А о Цахо ты очень мудро сказал: чего нет в голове и в сердце, того ни за какое золото, ни на каком базаре не купишь, так что и сердиться

на него нечего. Но я никак не пойму, зачем он обо мне всякие нелепости говорит. Тоже от глупости? О, тогда глупость эта страшна. А к тебе я приехал, зиусхан, поблагодарить за доброту, справедливость, за твое настоящее княжеское достоинство. Я и мои друзья верим в тебя, знаем – ты воинам царя не позволишь поступить с нами, как они поступили с Пшиапшоко и его селениями... А еще хочу сказать: случалось, я что-то нехорошее говорил о тебе, осуждал по глупости, делал неприятности. Боялся, расправишься ты со мной, а ты оказался великодушным. Да, старею уже, порою туман в голове... вот и пришел, раскаиваюсь.

Встал Сибок, встал и Тахо:

– И еще одна просьба. Думаю, о нашем с тобой разговоре, о том, что я приезжал просить у тебя прощения за свои грехи, незачем знать разным болтунам, незачем соваться им в наши дела.

– Ты прав, нельзя разных болтунов и ротозеев допускать в наши дела. Не беспокойся: то, о чем знаем только ты и я, никто никогда не услышит, хотя... мир болтлив и суесловен.

– Пусть! Лишь бы не из твоих, главного зиусхана, уст это исходило.– Сдерживая кашель, Тахо протянул руку Сибоку.

Князь отвернулся к окну, будто не видев руки, сказал:

– Ты боишься, что о твоем приезде ко мне узнают Цахо и его дружки, а сам садишься за один анэ с ненавистным всем адыгам Мамием. Как это понимать, Тахо?

– Валлахи, ты убил меня, зиусхан! – Желтое, как осенний лист, лицо князя побагровело.– Я ненавижу Мамия, как бешеную собаку, но скажи: я – адыг, к тому же зиусхан, мог ли нарушить древний наш обычай и не пустить путника в гостиную! – задыхаясь, прохрипел Тахо, заспешив к двери. Уже из коридора донесся его удушающий кашель. Сибок, брезгливо морщась, сказал Матыжу:

– Дай мне помыть руки, проветри гостиную, а все, к чему прикасался Тахо, выброси вон. И подальше от дома.

– Как я понимаю, Тахо приезжал не только, чтобы загладить свою вину перед тобою, но и проститься. Он совсем высох, кашляет кровью, думаю, уже не жилец.

– Можно сказать, последние дни доживает, а все злобствует, все плетет свои гнусные петли. Он просил, чтобы

его покаянный приезд ко мне остался тайной. Думаю, скоро эту тайну он унесет с собой в могилу.

Едва Ацамук переступил порог и закрыл за собою дверь, как Сибок бросил на него встревоженно пытливый взгляд:

– Что нового привез? Рассказывай!

Улыбнулся Ацамук, мол, нет причины для беспокойства. Неторопливо сел на тахту:

– Хану было приятно видеть меня как твоего посланца. Место и время встречи с тобою он сам назначит и сообщит.

Улыбнулся и Сибок, садясь напротив брата:

– Ну-ну, и как же он встретил тебя, как принял?

– Когда ему доложили, тут же без всяких ханских церемоний пригласил меня. Усадив, сел сам вот так же напротив, тут же спросил, как у нас дела, как чувствуешь себя ты, а уж потом заговорил о деле. Не строил он из себя великого, не рисовался. Не заметил у него и хитрости. Скорее, это была озабоченность, которую он не пытался скрывать.

– Что он сказал по поводу того, что у нас расположились царские воины?

– Я тоже ждал этого вопроса, его встревоженности, но он лишь между прочим коснулся, как бы случайно.

– Это более чем интересно,– усмехнулся Сибок.– Мне кажется, Давлет-Гирей за этим как бы равнодушием скрывает что-то. Не враждует с нами, но и не раскрывает своих объятий. Ждет чего-то, а может, и кого-то. Ты знаешь, я на его месте поступил бы точно так же... Я собирался съездить к Темрюку, а теперь, получается, и с другими зиусханами обязательно надо повстречаться, поговорить...

IV

День царю Ивану Грозному иногда кажется какой-то быстрокрылой птицей. Рассмотреть ее не успеешь, как она уже улетела.

И того не успел сделать, и этого. Надо бы непременно еще с кем-то повидаться, что-то важное сказать ему... Надо бы! Но глядишь – а уже нахмурился закат, а там и луна насмешливо выглянула, потом и вовсе ночь.

Все затихает, блаженствуя в забытье. Букашка малая и та спит. Только он, самодержец великой России, не может уснуть. Подушка из гагачьего пуха кажется ему жесткой доской, одеяло – тяжелым и то холодным, то горячим.

Все видится, все слышится ему – весь минувший день, а может вторгнуться и другой, уже давний. Иногда начинает болеть голова, и, кажется, всему этому не будет конца. Бояре, воеводы – все хитроумны, завистливы, трусливы и потому очень опасны.

Если день иногда казался ему легкой быстрокрылой птицей, то ночь – старым, неумолкающим филином. Нет, скорее, бесконечным дождем. Бывает он и нудный осенний, и веселый весенний, и летний с грозой.

Прошел один, другой месяц после похорон Анастасии, но царь не единожды видел потом, как вели его под руки братья Юрий и Владимир, как опускали в могилу гроб. Видел и все повторял горестно сказанные тогда слова: «Куда ты уходишь, на кого меня покидаешь?» Иногда тихонько, почти неслышно начинал молиться: «Пресвятая Владычеце моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене смиренного и окаяннаго раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца...»

После похорон Анастасии царь ушел в затвор – никого не хотел видеть, кроме детей своих да няньки Варвары, ни о каких делах даже слышать не хотел. Иногда ему чудилось, будто он вообще ушел из суетного, злокозненного, утонувшего в грехах мира. Но, как говорят, какой бы ненастной и длинной ни была ночь, ей обязательно на смену придет день. Днем для него была Россия, на царство которой он был свято помазан. Он считал: люди, отравившие Анастасию,– враги не только его личные, а и всей России, враги не явные вроде поляков или ливонцев, а скрытые, они страшнее явных, потому как стоят с тобою рядом, заискивающе улыбаются, а меч свой не перед тобою держат, как на поле боя, а у тебя за спиной. И он безжалостно покарал смертью Адашева, Сильвестра, трех бояр и двух воевод. Подозревает и еще несколько из таких же, но пока присматривается. Приблизил к себе Малюту Скуратова и Василия Грязнова, наказал им строго выслеживать подленьких людишек.

14 Заказ 06

Его Высокопреосвященство митрополита Макария в белом клобуке, с выцветшими глазами, с посохом в руках водят под руки два монаха. Он с трудом передвигается, но делает вид, будто достойно ступает по земле, как ее архипастырь. Кто-то сказал: у него на языке мед, а под языком яд. Иван Грозный согласен был с этим, потому и относился к владыке, прищуривая свои быстрые и острые глаза.

Как-то в беседе с царем митрополит сказал:

– От восхода солнца до его захода и нового восхода надо неустанно вершить добрые дела, постоянно приумножать их и радоваться.

Сегодня в глубоком раздумье сидел царь, наследник великого Рюрика.

«Я, государь немереной Руси, с кем должен творить добро для нее, владыка? – чуть усмехнулся мысленно он.– С тобою? Но ты уже одной ногой стоишь в могиле. Воеводы Карачаров, Сырогозин и Богданов предали меня, перебежали на сторону нашему врагу королю Сигизмунду. А воеводы Репнин и Курлятьев предали доблестных защитников, сдали немцам ливонский город Ринген. По ходатайству воеводы Курбского я простил их, но, Боже Праведный, я знаю, что доброта иногда может стать поблажкой и породить новое зло. Негодуют на меня бояре и воеводы вроде бы за мою жестокость. А они, предавая меня, предавая Русь, разве не жестоки? Они не только жестоки, но еще и подлы. И как бы вы ни лютовали, какие бы козни ни строили, враги мои, я не отступлюсь, потому что не вами, а Господом возведен на трон, перед ним только в ответе. Скорее бы, скорее подросли мои сыновья, моя опора и надежда».

Иван Грозный подошел к киоту и возжег три свечи перед образом Спаса Нерукотворного – от себя и от двух сыновей. Возжигая каждую свечку, крестился, повторял молитву:

– Господи, спаси, сохрани и помилуй нас, грешных. Помоги во имя Твое, Господи.

Вдруг показалось ему – за дверью кто-то топчется. Прислушался. Там стоят стражники, муха и та мимо них не пролетит незамеченной...

Все ж постоял у киота прислушиваясь. Нет, просто почудилось.

Подошел к окну, выходившему на Москва-реку. Ни солнца, ни неба, ни облаков – просто висела над рекой, над домами непроглядная хмарь, будто тут, недалеко за окном, все и закончилось.

«Нет,– подумал царь,– там, на просторах, оно только по-настоящему и начинается. Здесь – лукавые царедворцы, а там, в Пушкарской слободе, в Туле, в Ярославле и Устюге,– мастеровой народ, сила Руси, там куют мечи, отливают пушки и ядра, мастерят пищали, чтобы просторам нашим было покойно, чтоб по Балтийскому морю ходили наши корабли, наша сила и гордость».

– Эй, кто там! – крикнул царь.– Быстренько позовите мне Висковатого.

Вошел Висковатый, остановился у двери.

– Слушаю тебя, великий государь.

– Проходи и рассказывай. Что там, еще не пришел от королевы из Англии ответ на мое письмо?

Государство сильно не только своей внутренней силой, но и своими деловыми связями с другими странами, своим влиянием на соседей, заимствуя у них все лучшее, что создает человек. Это Иван Грозный прекрасно понимал, а потому и хотел, чтобы Балтийское море было для Руси своим, воротами в Европу, в великую морскую державу – Англию, через которые должно торг вести с заморскими державами.

– Пока ничего нет. Думаю, к концу месяца придет.

– Скажи, чтобы из Пскова срочно вызвали воеводу Курбского.

– Будет сделано, великий государь.

Висковатый дружил с Адашевым и Сильвестром, когда царь убрал этих двух, взял его к себе, потому что раньше к нему присматривался, нравился он ему. Немногословный, очень исправный в деле, умеет хорошим слогом писать деловые бумаги – все это царь ценил и вот теперь, глядя вслед уходившему Висковатому, подумал: «После того, как я расправился с его друзьями, моими бывшими приближенными, не подумывает ли он, что и его может постигнуть такая участь? Должен задумываться. Надо сказать Скуратову и Грязнову, чтобы присмотрели за ним... А не слишком ли подозрительным я становлюсь? Может, напрасно?.. Однако убили же они мою мать, а теперь – жену. Я сам остался живым только потому, что не успел

съесть яблоко. Не во мне лично, не в Анастасии дело, а в том, где я стою, у какого кормила. Согласись я разобрать Русь по косточкам, позволь им растащить ее по княжествам, они руки и ноги мне целовали бы с рабской благодарностью. Русь – это Божье произволение. Нельзя ей без Балтийского моря, вот и приходится проливать кровь. Нам нельзя жить без южных морей, и по произволению свыше черкасы сами нас туда зовут...»

Забежавший царевич Иван кинулся в объятия отца.

– А где твой младший брат Федор Иванович?

– Федор? Спит. Ты же знаешь, он спит и днем, и ночью, даже стоя и сидя...

– Не смей так о брате своем говорить – грешно это. Ты же знаешь, болезненный он, да и младшенький твой. Ты должен заботиться о нем. Вам дружно следует жить, иначе пропадете. Ну, ступай.

Выбежал Иван в другую комнату и тут же вернулся:

– Ты почему нынче не сказал, чтобы я зажег свечу за упокой души моей матушки?

– Ты так скоро ушел, что я не успел. Иди, поставь. Не забывай – от себя и от брата твоего младшего. И молитовку скажи.

– Обязательно скажу: упокой, Господи, в царствии небесном Твоем душу усопшей рабы Твоея Анастасии.

– Молодец. Иди я тебя в лобик поцелую.

Посмотрел царь вслед мальчишке, перекрестился: «Помоги, Иисусе Христе, не жить же мне бобылем, и детям моим нужны женская доброта и забота, иначе они вырастут с такой же бедой, с какой вырос я... Мне стоит только пальцем поманить, и прибежит сотня красавиц, но где и как найти ту, единственную, нужную мне, детям моим? Помоги мне, Господи, мне, значит, и православной Руси, богоносному народу Твоему».

Спустя три недели погожим солнечным утром Иван Грозный с Висковатым и Скуратовым прогуливался по Кремлю. Он любил иногда вот так пройтись, постоять на возвышенности Боровицкого холма и посмотреть, как он говорил себе, на свое царство.

Сегодня первое, что представилось его взору, была Пушкарская слобода, где ковалась булатная рука России. Гордился он и мастерами ковать мечи, бердыши, гордился пушечных дел мастерами, искусными мастерами пищалей.

Вчера он послал туда «царевым оком и рукой» воеводу Михаила-Султана Черкасского. Висковатый проворчал: «Не надо бы на такое важное государево дело ставить воеводой неруся». Царь сделал вид, что не расслышал сказанное, и подумал: «Побольше бы мне таких, как Михаил Черкасский, Кудадек и Дударук, таких воинов, которые на Ливонской войне под командой князя Сибока показали себя истыми воинами, преданными Руси. И на Кавказе князь Темрюк показал свою верность. Нам надо не только Кавказ сделать своим, но и богатейшую Сибирь, а пока властвует ею презренный Кучум. Найдем и там таких же верных нам людей, как черкасы, а тебе, Висковатый, с твоими дружками лучше бы помолчать».

Еще любил царь Иван Васильевич постоять молча, полюбоваться девятистолпным Покровским собором, что на рву, сооруженным по его царскому повелению в честь и в память взятия Казани.

Пять лет строился собор. Своими глазами видел царь, как мужики, простые мужики выкопали котлован, как сложили фундамент белого камня, как подняли стены кирпичные, вознесли в небо купола и кресты, все сам видел, а теперь вот смотрел на него, крестился широким крестом и думал, что красота сия нерукотворна. А то и вовсе думалось: эта хоромина – не только собор, а вся нерукотворная, сложенная, однако, работными руками Россия, возвысившаяся на просторах своих.

Вспомнилась битва за Казань, вспомнился воевода Андрей Курбский, показавший себя мужественным и искусным воином.

– Теперь уж он, поди, прибыл к нам.

– Кто он? – удивленно спросил Скуратов.

– Воевода Андрей Михайлыч Курбский,– ответил ему царь и крупными быстрыми шагами направился в свои покои...

Андрей Курбский с ранних лет возрастал рядом с царем, а потом и вовсе стал одним из самых близких, стоящих у трона. Иван Грозный часто поручал ему самые трудные, как говорят, горячие дела, и Андрей всякий раз справлялся с ними. Усмирил взбунтовавшихся бояр в Новгороде, Смоленске, Пскове. В то же время он дружил с Адашевым, Сильвестром, Висковатым, Вишнивецким, Мстиславским. Это для царя было хорошо, но вот он

отправил в мир иной Адашева с Сильвестром, и, как передали царю, Курбский заявил: «Если наш самодержец и дальше будет размахивать своим горячим мечом, то, смотришь, и наши головы полетят вдогонку Адашеву и Сильвестру».

«Есть тут правда,– подумал царь,– есть. Мудер Андрей Курбский, но пусть каждый сам печется о своей голове, если она ему дорога».

Вошел Курбский, остановился у двери, заложив пальцы рук за серебряную бляху пояса.

Окна царской палаты высоки, но узкие, поэтому в комнате не было яркости солнечного света, стоял легкий светящийся полумрак.

«Он моложе меня на два года, а выглядит старше. А как сдал после смерти Анастасии, видно, и в самом деле ее любил редкой любовью,– мелькнула мысль у воеводы.– И бородка стала уже седеть, а в глазах – жгучесть и неумолимая твердость. Анастасия своей мягкостью умаляла его нрав, а теперь... что будет с ним без нее? Вон как он размахался, вон как обнажил гнев».

– Ну?! – после долгого молчания, вскинув брови, не то спросил, не то повелел царь.– Что привез нам из Пскова? Как там у вас?

– На псковской земле, великий государь, мир и покой.

Сдвинул брови царь, посмотрев мимо Курбского, будто острым краешком коснулся его. Из глубины идущим угрожающе-глуховатым голосом заговорил:

– Полагаешь, Андрей Михайлыч, мир и покой, а рядом со Псковом, в Ливонии все тревожно и плохо... Мы крепкое войско держим у Смоленска, потому король Сигизмунд подтягивает туда свои полки, подбивает против нас ливонцев, хочет поссорить нас с английской королевой Елизаветой, очень не терпится богомерзкому Сигизмунду напасть и разграбить Московию. А ты, Андрей Михайлыч, говоришь – мир да покой.

Курбский вытянулся, подняв плечи:

– Ты, как всегда, прав, великий государь, самодержец всея Руси. Приказывай, я со своим воинством готов выполнить твое любое повеление.

– Проходи, садись, воевода. Спасибо тебе. Да что – спасибо! Мы с тобой сколько лет идем единой дорогой, ведущей нашу матушку Русь к ее благополучию и высоте.

Я никогда не сомневался в тебе, доверяя самые важные государственные дела. Но вот мне сказали, что и ты не доволен мною за Адашева, Сильвестра, за бояр, наказанных мною смертью. Это правда?

– Я всегда говорил тебе, государь, только правду, скажу и теперь: да, было такое. Но я не знаю, возможно, они еще страшнее кары заслуживают, тебе виднее. Ты ведь не сам по себе, а Божий помазанник, только пред Богом отвечаешь за все свои дела, за судьбу Руси великой и своих подданных.

Царь встал, широко перекрестился:

– Я ничего не делаю без благословения Всевышнего. Тебе по-прежнему верю.

Встал и перекрестился Курбский.

– Садись, воевода... В Пушкарской слободе, в Туле, в Ярославле, в Устюге все оружейники отныне будут готовить много и лучшего оружия для наших воинов. Русь – богохранимая, православная держава, я обязан заботиться о ее величии. Я разделаюсь с ливонцами и поляками, мы будем хозяевами на Балтийском море. С Турцией мы заключаем договор по разделу черкасских земель. Все, что лежит по левому берегу Кубани, отходит туркам, а по правому – нам. Жалко, конечно, мы отойдем от Черного моря, но потом и это поправим. Христианской Грузии не дает покоя мусульманская Персия. Думаю, когда мы укрепимся на черкасских землях на Северном Кавказе, нетрудно будет сблизиться с единоверной Грузией... Вот что и нас с тобою, и нашу Русь ждет, воевода.

Царь опять встал. Встал и Курбский.

– Отныне я вверяю тебе все войска Руси и благословляю на ратные подвиги во имя Отца и Сына и Святого Духа.– Самодержец перекрестил воеводу, склонившегося перед ним. Потом обнял его.– Понятное дело, воевода: все, о чем мы тут с тобой говорили,– государственная тайна есть.

Проводив Курбского, Иван Грозный подошел к киоту, затеплил большую свечу. Положив земной поклон, поднялся и стал горячо молиться:

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа... Ни о себе – о святой Руси молю Тебя, Господи: силой Честнаго Животворящаго Креста огради ее от всякаго зла, пусть путь ее во

имя Твое будет светел. И помилуй, помилуй, помилуй нас, грешных.

Вошел Висковатый:

– Репнин с двумя боярами пришел, просит принять.

– Звал я их? – раздраженно спросил царь, садясь в кресло.

– Нет... Говорят, важное дело.

– Пусть войдут. Только скажи, чтоб недолго.

Вошли, как полагается, поклонились.

– Ну? В молчанки играть будем?

– Смерть царицы Анастасии Романовны до сей поры стоит болью в наших сердцах. Царство ей небесное...– сказал Репнин.– Мы, верноподданные холопы твои, думаем, что великому государю великой Руси негоже жить вдовцом. Думаем, надо тебе жениться и жить счастливо, продолжать царский род.

Немного подумал царь:

– Коли мои верноподданные пекутся обо мне, о нашем древнем роде Рюриковичей, я согласен. И на ком же вы хотите женить меня? – улыбнулся царь.

Повеселели бояре. Самый молодой с длинной рыжеватой бородой выступил вперед и весело сказал:

– По всей Руси-матушке соберем всех красавиц в Москву, и ты, великий государь, выберешь из них самую достойную.

– Нет,– сказал царь.– Сделаем, как во всем свете ведется у государей: они женятся на красавицах из других стран. Вот и найдите мне хоть в Англии, хоть в Германии или Австрии, хоть в недружной к нам Польше, а то привезите княжну с Кавказа. Говорят, черкешенки красивы, воспитанны, умны и мягки характером. Слыхал, у князя Темрюка очень хороша собой княжна, и у князя Сибока тоже, говорят, красавица из красавиц. Хорошо бы оттуда взять невесту! Ведь там и Черное море, и Кавказ!

V

Одна из главных заповедей Аллаха – будь милосердным к ближнему твоему, только милосердие и любовь – источник всех радостей земных. Если человек занят лишь собою, своим благополучием, рано или поздно расплатится за это скорбью, а может быть, и самой жизнью. Пока молод,

пока его не обожгли беды, которыми полон мир, пока не знает унижения от болезненной старости – горд, живет сам по себе. Но вот пришла беда, одолевает старческая немощь, и он протягивает руку, просит о помощи, о сострадании, милосердии, и ему на холодность его сердца люди отвечают такой же холодностью, тогда он сетует, что нет в мире справедливости, нет любви, а только ненависть. С ненавистью и уходит в могилу, надеясь лишь на милосердие Всевышнего.

Вернулся Калакут домой, Накура кинулась было кормить его, но он отказался, потому что сытно поел в гостях и теперь, лежа на топчане, отдыхал, неторопливо ведя свои мысли о милосердии, о любви к ближнему, о том, как украшает жизнь доброта человеческая.

«Большая беда заключается еще и в том, что частенько любовь к себе человек выдает за любовь к ближнему. Спроси любого князя, и он скажет, как у него болит душа за каждого из людей княжества, как он душевно относится к каждому из своих людей, это и есть, скажет он, милосердие, любовь к ближнему. Может быть, может быть,– размышлял Калакут,– но любит тот князь каждого через свою личную любовь, через свое благополучие. А я? – вдруг спросил он себя.– Я, предводитель крестьян, как кто-то сказал, крестьянский князь. Друзья мои даже считают, что я не должен ездить без сопровождения байколов. А если придется князей, дворян, всех, кто станет поперек дороги создания государства, унимать силой, значит, и кровью? Кровью адыгов... Разве бывают обнаженные мечи и кинжалы милосердны? Да, бывают, если они подняты за справедливость, за правду и чистоту... Успокойся, Калакут, не горячись. Тебя называют князем, это просто так, как говорится, для красного словца. Ведь у каждого настоящего князя есть крепостные, дворовые люди, собственные, как его дом, конюшни. А если говорить о князе Цахо, драчливом, как петух, сварливом и ворчливом, как выжившая из ума баба, то, когда он умрет, его люди облегченно вздохнут. Но он ведь тоже трубит о своем милосердии, о заботе и любви к своим крепостным, дворовым... Ко мне крестьяне сами идут, они свободны наравне со мною. Псамит сказал, что не отпустит меня одного в дальнюю дорогу. А у него хозяйство, жена на сносях, шестеро детей...»

Тоскою вдруг отозвалось его сердце, словно тревога какая-то его коснулась неожиданно.

Шестеро детей у Псамита, а у него, уже в приличных годах мужчины, нет ни одного. Ему вдруг показалось, что это такая радость, даже счастье – подержать на руках своего мальчишку, погладить его по пушистой головке, поиграть с ним. Может быть, даже не счастье, а такая же необходимость, как дышать.

«Почему так долго не идет Накура, что она там делает?»

Он подошел к окну, прислушался. Накура ласково о чем-то говорила с Буренкой. Хотел крикнуть, мол, жду тебя, но устыдился и опять лег на топчан.

«Пока я бесконечно сплетаю и расплетаю мысли в своей башке о пустоголовых и зловредных Тахо и Цахо, пока разговариваю в гостиных о необходимости создать государство адыгов, пока рассуждаю и осуждаю, можно сказать, бросаю все это на ветер, а умные и сильные князья Сибок и Темрюк уже сделали свое дело, привели чужестранных воинов к себе домой, можно сказать, предали нас вместе с нашими отцами и дедами – наше солнце, наше небо, наши леса и горы. Надо от слов переходить к делу. Пора и нам дело делать!..»

– Если не хочешь ужинать, попей свежего молочка,– вошла Накура и протянула ему крынку с душистым парным молоком.– Может, смягчишься сердцем, а то сердитый какой-то.

– Ты вошла, и сразу у меня на сердце посветлело,– улыбнулся Калакут и начал большими глотками пить молоко. Глянув краешком глаза на живот Накуры, он чуть не вскрикнул от догадки, от радости. Тут же поставил на подоконник крынку и обнял Накуру.

– Ой! – вскрикнула она.– Осторожнее! Нас теперь двое.

Он отстранился, внимательно глядя на живот Накуры:

– Почему ты мне не сказала?! – весело возмутился он.

– Я все ждала, когда сам заметишь, а тебе за этим, как его, государством некогда и глянуть на меня.

Калакут обнял ее теперь осторожненько, стал целовать в щеки и шею, проговорил взволнованно:

– Если родишь сына, я буду самым счастливым человеком на всей земле, а тебя завалю подарками!

– А ты знаешь, наша Буренка раньше тебя заметила мой живот.

– Как?!

– Прежде, чтобы она не опрокинула подойник, я спутывала веревкой ее ноги, а теперь подхожу, и она так смотрит на меня, будто все понимает, и стоит смирнехонько. И знаешь, дает теперь полный подойник молока. И теленку хватает, и нам с тобой.

– Если так, значит, ты родишь обязательно сына. Я слышал, старушки разговаривали, мол, корова чует, и, если женщина понесла мальчика, она дает больше молока.

Накура весело рассмеялась:

– Теперь и я это буду знать.

– Молоко парное, думаю, тебе очень нужно, тебе и ему, а мне – буза. Я должен выпить за вас и помолюсь всем богам – и мусульманскому, и христианскому, и нашим древним. Помолюсь за его рождение, за будущую жизнь адыга... Подожди уходить, все забываю тебе сказать: никому ни слова, ни полслова, что я держу связь между Хатаем и Минсурой. Пусть Сибок и Загирета думают, будто они уже забыли друг друга.

– Конечно,– согласно закивала Накура.– Минсура мне сказала: мы должны быть с Хатаем вместе, я скорее умру, чем откажусь от него. Неужели у Загиреты и Сибока нет Аллаха в душе, неужели у них такие холодные сердца!

– Я тоже многие годы уважал их, даже восхищался, а оказалось... особенно после того, что рассказал Ванатуг. Теперь мы знаем, где поперек нашей дороги лежит пропасть. Только бы уметь благополучно обойти ее. Особенно теперь,– он кивнул на ее живот.

Калакут говорил: с той минуты, как человек проснулся, его подкарауливают опасности. Можно вывихнуть ногу, вставая с постели, даже сломать ее, споткнувшись о порог, можно упасть с коня и разбить голову о камень, может на тебя напасть грабитель. Но если всего этого бояться, то лучше не подниматься с постели. Не бояться надо, а просто знать, что все это существует, подкарауливает тебя. Надо уметь не спотыкаться, не падать с коня.

Все так, но вот узнал сегодня новость от Накуры, и как-то иначе застучало сердце, оно как бы предостерегало: смотри, надо не только дождаться, когда он появится, когда подаст голос, улыбнется, но и взять его за руку,

помочь сделать первые шаги, теперь ты отвечаешь не только за себя, но и за мать его. Конечно, хорошо бы побыть рядом с Накурой, чтобы ей спокойнее было, а значит, и малышу.

Утром следующего дня веселой зарею Калакут в сопровождении Псамита тронулся в путь. Поднимаясь в седло, он улыбнулся: «Считай, теперь на коне нас будет трое. Конечно, мне в дороге будет веселее с вами и опять же на душе спокойнее. Просто спокойнее».

К хакучам решили не заезжать. Живут они высоко в горах, будто в неприступной крепости. Отдельно, как они говорят, не только от адыгов, а и от всего мира. Не захотели они принимать участия в тфокотльском хасэ. Убедить их в том, что дружба людей прочнее любой крепости, даже неприступнее той, что за семью горами, невозможно. Станешь с кем-нибудь из них разговаривать о чем-то серьезном, прикинется дурачком, будет согласно кивать и улыбаться, а поступит по-своему.

Бжедуги, куда направились Калакут и Псамит, тоже не радовали. Там нет главного князя, живут по правому и левому берегу речки Псекупс, как два отдельных государства. Случаются даже между ними войны с пожарами, грабежами, кровопролитием. Конечно, не большие, но жестокие.

Единственное, что привлекало туда Калакута,– бжедуги не умеют лукавить, значит, их можно хотя бы понять, а это не так уж мало. Понять и, может, помочь чем-нибудь.

Перистые облака над лесом в свете заходящего солнца были похожи на золотые распластанные крылья небесной птицы, и потому закат был каким-то праздничным. И вот два всадника на закате спешились во дворе князя Хаджемука.

Князь, как и положено, встретил гостей радушно, тем более что был в добром знакомстве с Калакутом.

– Какой вы удачливый и добрый народ! – воскликнул князь, широким жестом приглашая гостей в дом.

– Чем же мы заслужили такую похвалу, зиусхан? – удивленно спросил Калакут.

– Не знаю, по какой причине, но очень мне сегодня захотелось зажарить на вертеле валушка. Да под медовуху, под бузу! Захотелось – и все тут. А теперь скажите мне, уважаемые гости, как можно одному, несчастному, приняться за такую еду?! И вдруг вы осчастливили меня, мой дом.

Все трое весело рассмеялись.

– То-то я глянул на небо, а оно в праздничном наряде! – пробасил Калакут.

После сытного, как сказал Хаджемук, веселого ужина Калакут заговорил о том, что хочет повстречаться с князьями Бжедугии, рассказать им о своем замысле по поводу создания единого государства адыгов.

Выслушал князь, потеребил пышную бороду, расправил усы, как бы собираясь с мыслями:

– Очень хорошее дело ты задумал, Калакут, очень хорошее, но,– широко раскинув руки, с улыбкою покачал он головой,– ничего из этого не получится, мой дорогой друг.

– Почему? – вскинув брови под самую папаху, спросил Калакут.

– А потому! Мне проще простого позвать зиусханов на зажаренного барашка, на душистую медовуху. Они, как полагается, очень внимательно выслушают тебя, но если хоть один из них согласится с тобой, я отдам тебе свою папаху. Государство, адыги – все это большие слова, а живем мы простыми, как воздух, словами. Понимаешь, Калакут, я многое из того, что есть у меня, могу отдать – с жалостью или без жалости, но отдать самое святое – свою свободу... Нет! После вашего хасэ мы тут между собою собирались, разговаривали. Никакого зиусханского хасэ нам не надо. А теперь после того, как Сибок и Темрюк посадили на шею адыгов царских воинов, мы и слышать вас не хотим. И это не только у нас, бжедугов... Ты говоришь, государство – это семья, правит которой, ведет которую по жизни отец, ее глава. Но даже если мы соберемся в семью, где взять нам достойного отца? Выбрать на всенародном хасэ? Э-э, мой друг, это говорильня. Да и выбирать из кого? Из зиусханов? Но мы-то знаем – каждый из нас только себя и считает достойным. Не знаю, Калакут, может, в Кабарде, в Абадзехии, в Беслинее и договоришься, а у нас... Ты же знаешь, в Бжедугии даже главного нет. У нас все – главные! – захохотал князь Хаджемук. Отсмеявшись, спросил: – Ну, будем собирать наших зиусханов?

– Нет. Спасибо тебе за бесхитростные, чистые слова твои. Поедем дальше, как знать, может, нам повезет в других краях.

Утром, чуть только зарделся восток и пропели свою третью песню петухи, Калакут и Псамит поднялись в седла. Хаджемук вышел во двор их проводить, заговорил сожалеюще:

– Ты, Калакут, любишь говорить об адыгстве. Я тоже чту обычаи наших предков. Я как хозяин обязан с уважением относиться к каждой просьбе гостя, сделать все, чтобы у него осталась в сердце теплота гостиной, всего княжеского селения, а вы ничего хорошего от нас не увозите. Разве что зажаренным барашком да медовухой я вам угодил, но это такая малость, что о ней даже вспоминать не хочется.

– Я тебе уже говорил, зиусхан, спасибо за твои бесхитростные, чистые слова, а еще добавлю: ты нам указал дорогу, по которой не надо ходить, не надо попусту бить свои ноги и подковы лошадей, а то ведь, не зная, можно было пойти по той дороге и нахватать там шишек на свою глупую голову. Спасибо тебе. Ты ничего не нарушил против адыгства.

Оставив позади первую абадзехскую неширокую долину реки Пшеха, всадники вышли к просторной долине другой реки – Белой, как бы украшенной лесами, вершинами гор под голубым шатром высокого неба и лугами вдоль берегов.

С косогора увиделось селение Даура.

– В Бжедугии нас вроде холодной водичкой окатили, а как отнесутся абадзехи? У них ведь никогда не было ни зиусханов, ни уорков, они и вовсе похожи на ветер, который не поймать, не взнуздать. О каком государстве с ними можно говорить?

– Ты прав, абадзехи – вольный и своенравный ветер. У них, говорят, слово крепкое, как камень, а дело ценится выше всякого самого красивого, пусть даже справедливого слова. Как знать, может, им и приглянется наша мысль, и если приглянется, если они поверят, то будут стоять, как стоят их горы.

– Дай Бог, но ты не забывай – они в корне своем тоже адыги, а я еще не встречал ни одного адыга, который бы

не сказал, что его папаха выше всех других,– с усмешкой сказал Псамит.

– Это наша большая беда,– согласился Калакут.– Мудрые люди говорят: гордыня – мать всех пороков, а значит, и несчастий. Я ведь тоже адыг и не из слабеньких, но очень устаю, да простит меня Аллах от этого хвастовства. И самое главное, не знаю, как его одолевать. А еще... Никому этого не говорил и не скажу, только тебе, да ты и сам знаешь – сильный человек никогда не хвалится, не похваляется своей силой, а если хвалится, я сомневаюсь в его силе. Вот так же наши родные с тобою адыги... тоже иногда сомнение змеею возникает у меня в душе, что не знаю, куда себя деть...

Псамит придержал лошадь:

– Если позволишь, скажу свое слово.

– Скажи.

– Не надо так надрывать свое сердце. Закрой глаза, молитвенно сложи руки и попроси Всевышнего о помощи твоим родным адыгам и тебе.

Они долго потом ехали молча.

Из леса вышел мальчишка с вязанкой дров на плече. Остановился, сбросил дрова, испуганно глянул на всадников, потом заулыбался и, подхватив дрова, направился к всадникам.

– Ты что, глупенький, идешь так запросто к незнакомым людям? Вот я сейчас тебя свяжу и увезу, продам в Турцию или Крым,– весело сказал Калакут.

– Не свяжешь и не увезешь,– выпрямившись с вязанкой дров, сказал мальчишка,– я знаю тебя, ты – Калакут.

– Откуда ты это взял?

– Отец брал меня на ваше хасэ, там я тебя и увидел.

– Верно. Давай дрова, я довезу их, а Псамит тебя посадит с собою.

– Нет! – бойко воскликнул мальчишка.– Ведь вы едете к нам в гости. Я сейчас быстренько пойду напрямик тропинкой и потом обязательно вернусь за вами. Встречу, как положено встречать гостей.

И зашагал, зашагал вприпрыжку мальчуган.

Влажными стали глаза у Калакута:

– Наверное, не зиусханами, не стариками, а вот такими молодыми и будет сильной земля адыгов.

Даур уже стоял у ворот:

– Парнишка мне сообщил, хотел бежать вам навстречу, но я отпустил его, сказав, что он настоящий адыг... Рад, очень рад вас видеть.

После ужина Калакут рассказал о цели своей поездки, о встрече с князем Хаджемуком, о своем намерении повстречаться с абадзехами.

– Я уже со многими нашими людьми беседовал,– ответил Даур,– рассказывал им о твоей и нашей совместной цели. Большинство согласны с тобою и при надобности всячески поддержат нас. Думаю, тебе не стоит здесь задерживаться, надо ехать в Махошию и Кабарду.Там будет потруднее. Я с удовольствием поеду с вами в качестве поддержки от абадзехов.

В послеобеденный час Калакута с его спутниками у ворот поместья князя Джамбеча встретил старший байкол. Поприветствовав, пригласил в гостиную:

– Мы рады вас видеть. Присаживайтесь, отдыхайте. Зиусхан Джамбеч уехал в Дударукай на похороны.

Гости встали, молитвенно сложив руки на груди, помолчали.

– Мы выражаем соболезнование семье и родственникам покойного. Да милостиво примет усопшего Аллах,– произнес Калакут.

– Да будет добр к вам Аллах,– сказал байкол.– Присаживайтесь. Вы, наверное, захотите видеть молодого зиусхана. Он теперь обустраивает свой новый дом, хозяйство, занимается конюшней, овчарней, птичником. Я уже послал к нему человека.

И тут распахнулась дверь, в гостиную быстрой походкой не вошел, а вбежал Хатай и с распростертыми руками направился к Калакуту...

Мальчишки всего селения очень завидовали Хатаю, ведь он не только жил по соседству с «самым сильным человеком на всей земле», как они считали, но и был его другом. Так его называл сам Калакут. Прошло, промелькнуло, как быстрокрылая птица, детство, за его беззаботностью и чистотой наступили житейские, суетные будни. Так сложилось, что дом и семья, которым он был обязан всем, что имел на белом свете, стали не только чужими – Хатай знал, что князь Сибок хотел его смерти. А Калакут как был, так и остался Калакутом, светом его детства и доброты.

После обеда, обычных для гостиной разговоров и расспросов Калакут и Хатай наконец остались вдвоем.

– Может, ты хочешь поехать повидаться с сестрой и зятем?

– Нет, Хатай, с сестрой мы недавно виделись, а зятю, сам знаешь, по обычаю еще рано со мной встречаться... Ну, чего ты уставился? – улыбнулся Калакут,– чего ждешь?

Хатай покраснел, смущенно пожал плечами:

– Минсура сказала Накуре: если ты женишься на другой девушке, то для нее погаснет солнце, и небо станет черным, а если, сказала, ты позовешь ее, то ничто и никто ее не удержит.

Теперь Хатай залился огненным румянцем радости:

– Глупая девчонка, на ком я могу жениться, кроме нее!.. Но, Калакут, поперек нашей дороги ее отец и мать. Как Минсура с этим справится, как и когда все это будет?

– Мудрец сказал: все будет так, как должно быть, даже если все будет совершенно иначе. Не поднимай без надобности коня на дыбы, дай ему идти ровно и твердо...

Князь Пшиапшоко встретил в Кабарде Калакута с его спутниками, как и полагается встречать гостей, тем более, если это добрые старые знакомые. Он слова не проронил о налете на селение адыго-русских воинов, о чем напоминали кое-где непочиненные плетни, заново отстраивающиеся конюшни и сараи.

В гостиной уже было приготовлено легкое предобеденное угощение. Князь охотно рассказывал, что добрым урожаем порадовали поля, что выдался хороший приплод овец, что люди живут в мире и согласии.

– Вы, конечно, по делу приехали? Отец будет рад вас видеть. Пойдемте к нему.

«Как сильно сдал старик,– подумал Калакут, глядя на сидевшего в кресле князя Кайтука.– Наверное, никакие годы и невзгоды не могут так состарить, согнуть человека, сделать такими скорбными его глаза, как унижение достоинства, тем более – княжеского. Если человек этот еще молод годами и силой, у него есть надежда вернуть себе достоинство, наказать обидчика, но если ты уже стар и немощен, то понимаешь, что свои обиды и унижения унесешь с собою в могилу».

– Слушаю тебя, Калакут. Я много наслышан о тебе, о твоих замыслах, но то, что ты скажешь сам, никто так

верно не скажет, поэтому я рад, что услышу от тебя самого, как говорят, из первых уст.

Калакут пересказал свои мысли о единении всех адыгов, о крестьянском хасэ, о том, что его предложение большинство собравшихся встретили с пониманием.

Князь Кайтук слушал, сложив руки на эфесе кинжала, прикрыв глаза. Когда закончил Калакут, выждав немалое время, заговорил сухим глуховатым голосом, но с княжеской неторопливостью и раздумчивостью:

– У тебя живой и острый ум, гость. То, что ты задумал, к чему пришел своим разумом, прекрасно, только ничего из этого не выйдет. Тебе не у адыгов бы родиться... Мусульманин Сибок сдружился с чиристанами, а мы, мусульмане,– с мусульманами. Вслед за Сибоком подался в Московию и Темрюк, привел на землю адыгов гяуров и пожег наши селения, показывая свою силу. Мне, глубокому старику, пришлось унижаться перед ним. Придет время, и Сибок тоже прольет адыгскую кровь, сожжет их селения... А ты говоришь – единое государство, что надо выбрать из адыгов царя. А кого?! Уж не Сибока или Темрюка? Так что не зря говорится: у кого сила, у того и власть... Ну, ладно, Калакут, моя старческая спина уже просит покоя.

«Да, стар он уже, совсем стар, а я его донимаю своими заумными разговорами»,– укорил себя Калакут и, поднявшись, попрощался и не спеша направился к выходу. Глядя ему вслед, старый Кайтук подумал: «Эх, парень, ты ведь крестьянин, а не знаешь, что всякому овощу свое время. Вот и получается – даже этого не знаешь, куда же тебе до большего. Придет, настанет время – будет и государство, а может, и не придет, вон как в поле бывает – зреет, зреет урожай, потом вдруг засуха или выбьет его градом... Вон какие у тебя плечи, вон какие руки – добрый крестьянин, хлебороб, а ты...»

Думал свое и Калакут: «Что ж ты, зиусхан, не понимаешь простую истину – только в едином государстве не будет междоусобиц, только единому, сильному государству не надо будет звать никого к себе, не надо идти к ним в рабство. Это же так просто, зиусхан».

Утро было солнечным и тихим, но вскоре навстречу всадникам как бы вспыхнул ветерок и пригнал из-за леса, взбиравшегося по горе к небу, дождик. Был он еще не

осенним, но уже и не летним. Шел робко и недолго, уступив место солнечному небу.

На опушке возвышались два клена. Они наклонились друг к другу, и получилось что-то вроде шалаша из покрывала зазолотившихся листьев. В этом шалаше и решил Калакут со своими тремя спутниками отдохнуть, но только приблизились они, не успев спешиться, как Даур закричал:

– Смотрите, смотрите вон туда, где стог соломы!

Там из леса выехали три всадника, у переднего поперек седла лежал человек. Спешились они, стащили с седла и принялись привязывать к сухому дереву.

– За мной! – скомандовал Калакут и бросил скакуна в галоп.

Те трое уже хлестали плетками молодого парня с окровавленным лицом. Разгоряченные злобой, они не заметили устремившихся к ним всадников. Одного Калакут сбил ударом ноги. Другого конем опрокинул Хатай, а Даур, спрыгнув, повалил третьего, Псамит стал развязывать пленника, придерживая, чтобы тот, обессиленный, не свалился на землю.

– Разрежь веревку на три куска,– велел Калакут,– надо связать всех троих. Ни стыда, ни совести, будто не мужчины – втроем бить одного! Ты, олух мордатый, что вы хотели с ним сделать?

– Мучительной смертью отправить на тот свет! – дрожа от гнева, ответил Дадайкан, байкол князя Пшиапшоко.

– За что?

– Он шел впереди урус-адыгских воинов, громивших наши селения,– вместо Дадайкана ответил другой байкол, Тавташ.

– Это правда?

Молодой парень отер рукавом окровавленное лицо:

– Правда. Я – Алимхан, байкол зиусхана Темрюка.

Калакут подошел к связанным, каждому глянул в лицо:

– Месть – не помощник в деле, а такая грязная, какой вы замарали свои руки, позор не только вам, но и вашим детям... Даур, кладите этих бесстыдных на коней, отвезем их к князю Темрюку. Пусть смотрит, пусть решает, что с ними делать.

Опять заморосил дождичек. Будто не дождик, а грустная небесная роса.

Из селения Идария навстречу им выскочило больше десятка всадников, но, увидев пришельцев, они остановились.

– Что случилось, Алимхан? – спросил поседевший мужчина, похоже, старший из всадников.

– Они мучили меня, хотели убить,– дрожащим голосом ответил тот и с размаху ударил по лицу лежавшего поперек седла мордатого Дадайкана.

– Алимхан,– сердито окликнул Калакут,– бить лежачего недостойно! Пусть во всем разберется зиусхан и поступит по справедливости.

Князь Темрюк встретил всадников у ворот. Увидев Алимхана, внука старого Салеха, трех связанных на спинах коней и Калакута с Хатаем, которых хорошо знал, все понял и все же спросил у Алимхана:

– Что это значит?

– Их трое, зиусхан, они напали на меня, связали и увезли в лес. Если бы не Калакут со своими спутниками, убили бы меня.

– Развяжите и отдайте им коней... А вы,– обратился он,– передайте Пшиапшоко: если посмеет еще раз обидеть моих людей, хотя бы пальцем тронуть, получит от нас вдвое больше того, что уже получил. Езжайте! Чего оглядываетесь? Мы втихаря, как это вы сделали, не нападаем. Проходите в дом,– обратился он к Калакуту и его спутникам.

В доме занялись подготовкой угощения, помогала княгине и ее юная дочь Гошевнай. Калакут подумал: «Уж очень красивая и очень высоко несет свою красоту. Наша Минсура куда как мягче, душевнее, она с добром, с девичьей чистотой на все смотрит, а эта недоступно гордится своим величием». Подмигнув Хатаю, он кивнул на княжну. Тот лишь поморщился: мол, не по мне, совсем не по мне она.

За спиной князя Темрюка стояли три его сына, один другого достойнее что ростом, что статью, что княжеским взглядом. «Какое счастье – три таких сына,– позавидовал Калакут и подумал о Накуре,– помоги ей, Аллах, родить мне сына, а может, сразу двух, ведь бывает такое, бывает!»

Мысль Калакута о создании адыгского государства, о котором шел разговор на крестьянском хасэ, уже облетела многие селения, во многих гостиных говорили, спорили

о ней. Знали обо всем и в семье князя Темрюка, поэтому Калакуту не было необходимости широко распространяться, он говорил только об основном, чтобы потом услышать мнение князя с сыновьями. За этим мнением, собственно, он и ездил по селениям.

Мамстрюк был занят своим делом: он смотрел на могучего Калакута и думал, сумеет ли победить его в дружеской схватке, какими приемами для этого следует воспользоваться.

Старший из братьев, Доманук, был согласен с Калакутом, считал, что надо обязательно создать такое государство с единовластным правителем во главе.

Балгайрук уже не один раз встречался с Калакутом, разговаривал с ним: с чем-то соглашался, что-то оспаривал, а сейчас выжидал, что скажет отец.

Заговорил князь Темрюк. Неторопливо, вроде бы даже бесстрастно.

– Дело совсем не в том, что я согласен с тобою, это уже не только поняли, а и осуществили многие народы. Нынешняя Русь состоит из множества бывших удельных земель. Ты, наверное, знаешь, какой ценой достигнуто объединение. Знаешь из рассказов, а я бывал в Московии и видел, как сажают на кол тех, кто не согласен с царем, с его волей. Сколько погибло в этой многолетней кровавой схватке бояр и воевод! Там ведь до сих пор царю приходится бороться с людьми, жаждущими растащить Русь по своим удельным углам. Хотя уже и создано единое государство, но схватки, кровопролития еще продолжаются... У царя Ивана могучее войско, а что есть у тебя, с чего и как ты начнешь? Тем более что зиусханы, у которых свои дружины, не хотят этого объединения. Нет среди адыгов и человека, за которым бы они пошли. Не доверят они свои судьбы ни Сибоку, ни Пшиапшоко, ни Машуку, ни кому другому. Если ты спросишь, смогу ли я руководить таким единым государством, отвечу тебе так: может быть, и хватило бы силы, ума, но откажусь, потому что считаю – не время еще создавать у нас государство, не созрел для этого наш народ. Я отдал своего сына царю урусов, дочерей астраханскому и ногайскому ханам, чтобы сблизиться с этими правителями и таким образом в какой-то мере обезопасить нашу землю. Но есть у нас тупоголовые зиусханы, которые не понимают этого, даже считают меня

предателем. Что ж, как говорят, всем дуракам не накланяешься. Так я думаю, уважаемый Калакут, так намереваюсь жить со своими сыновьями, со своим народом.

– А скажи, зиусхан, ты думаешь, царь, на которого вы с Сибоком надеетесь, будет лучше крымского хана или турецкого султана? А может быть, персидского шаха? Верите ли вы ему, а то говорят, будто он заключил тайный сговор с Турцией, разделив между собой адыгские земли и не спросив, согласны ли мы с этим. Мне думается, они бесчестие учинили нашему народу.

– Я ничего не знаю об этом сговоре. Насколько знаю царя Ивана, он не позволит себе такого. Хотя, иногда думаю, мир, в котором мы живем, вывернут наизнанку – черное может быть белым, а белое – черным.

– Вот я и думаю: какие мы с вами – белые или черные? А то и вовсе спрашиваю, что такое белое и что такое черное,– проговорил Калакут поднимаясь. Встали Хатай, Даур и Псамит.

Встал и князь Темрюк.

Калакут знал, что разговор у него с князьями будет непростой, но что будет такой со всеми, с кем теперь встречался, не ожидал. Чисто по-княжески они были сдержанными, уважительными к нему, иногда даже доброжелательными, но смысл у всех разговоров был один – нет, не надо нам никакого государства, ни великого князя, ни царя, как жили наши мудрые деды, так будем жить и мы. Он полагал, что кто-то из князей соблазнится быть избранным царем, но нет. Темрюк прямо сказал: адыги еще не созрели, не поднялись на такую высоту, чтобы стать единым государством.

Калакут придержал коня, как бы остановив свою мысль, которая вроде бы начала от него ускользать. «Ладно, если боитесь государства, боитесь стать его царем, взять на своим плечи такую ношу, я создам государство под властью тфокотлей, людей, работающих руками и трудовым умом, а не пустословием. Но если вам и это не понравится, восстанете против нас, я скажу вам: «будьте вы прокляты» и уйду домой, заживу с Накурой, с сыновьями, которых она мне нарожает... Нет!.– воскликнул он про себя и тронул коня.– Ведь сколько лет ты потратил, сколько старался, а в результате лишь облаяли тебя эти... гончие, и ты испугался, сложил руки, обмяк, но что скажет крестьянское хасэ, на котором все единодушно подняли кинжалы в знак согласия, все надеялись на тебя! Отец говорил: если сбили с тебя папаху и ты сдался, значит, в тебе нет и не было настоящего, нерушимого мужества. Нет и нет!»

Он бросил коня в галоп.

VI

Минсура, сколько помнила себя, столько помнила и Хатая. Она считала, что была всегда, значит, всегда был и Хатай. О нем говорили – дворовый мальчик. Она жила с ним на одном дворе, значит, тоже дворовая? О нем говорили – хороший, уважительный. И она так считала: когда просила его сходить в сад и принести яблок или поймать бабочку, он никогда не отказывал. На улице никому не позволял ее обижать – был ловким и смелым.

Шло время.

Любовь, любить, люблю...

Любила она мать, отца, братьев, подружек. Так же любила и Хатая, а со временем стала как-то стесняться, если он видел ее плохо причесанной или неряшливо одетой. Потом ей самой хотелось увидеть его, даже если не было к нему дела. Взгляд у него стал каким-то другим, какого раньше не замечала, и теперь стеснялась этого взгляда, в то же время радовалась, когда он смотрел на нее. И еще – если он уезжал куда-нибудь, она с нетерпением ждала его, старалась увидеть, поговорить, показаться ему. Ей было обидно, даже больно, если он разговаривал у плетня с Дарией или другой соседской девушкой... «Что это?» – спрашивала она себя.

Любовь – это радостное, восторженное, как полет, стремление. Только испытавший знает силу и высоту его, но если это стремление обрывается, один только он, познавший его, испытывает сполна силу боли, силу страданий, только один он знает, как день становится ночью.

Все испытала Минсура – и восторг полета, и страдания после падения.

В тот день, когда Хатай пришел к ней с Калакутом и Псамитом, радость ее сердца была такой сильной, что она боялась, как бы другие не заметили ее – нехорошо это, стыдно. А еще Минсура видела, как девушки на своих

свадьбах становились грустными, только она не знала, из-за чего это, и ей теперь тоже вместе с радостью становилось грустно. Она решила: наверное, так и должно быть, если бывает со всеми, значит, оно – настоящее и надо быть готовой к нему.

Псамит тогда сказал:

– Мне почему-то видится в небе луна и солнце рядом с нею.

– Мне тоже, а еще – что они идут навстречу друг другу и обязательно должны сблизиться,– добавил Калакут.

Минсура, конечно, поняла, о чем речь, и, как полагается скромной девушке, сказала, потупив взор:

– Но часто между ними появляется туча.

Сказала вроде бы между прочим, а именно так и получилось. Сначала между нею и Хатаем появилась влюбленная в него Дария, но как-то скоро она погасила свою страсть и вышла замуж за Тамтеча. Миновала, ушла с небосклона одна туча, но появилась другая: отец с матерью заявили – если она, княжна, выйдет замуж за вчерашнего дворового, то опозорит не только их, а весь старинный княжеский род. Минсура, будучи послушной дочерью, решила подчиниться воле родителей, как бы ни было больно ее сердцу, какой бы страшной ни была тьма предстоящего одиночества.

Но время не только лечит, но многое подчиняет себе, своей воле. Настал день, и Минсура сказала Накуре: если Хатай женится на какой-нибудь другой девушке, то для нее погаснет солнце, небо станет черным, а если он позовет, то ее никто и ничто не удержит.

Бабушка ей как-то сказала: «Время – всему хозяин, надо только уметь слышать и терпеливо слушаться его».

Вот Минсура и вверила ему свою судьбу.

Из Москвы вернулся Кудадек, увидел Дарию – как повзрослела она, из бутона стала цветком. Влюбился он и пошел звать в жены, а она наотрез отказала, тут и возник, как бы завязался и тут же развязался узел.

Страдал Кудадек, потому что любил Дарию, страдало его оскорбленное мужское и княжеское самолюбие.

Минсура чувствовала в какой-то степени себя виноватой: это она однажды сказала Дарие, что дочь тфокотля должна гордиться, выйдя замуж за князя, должна быть за это благодарной Кудадеку. Дария вся так и вспыхнула:

«Не князь, не царь мне нужен, а просто человек, который бы любил меня и которого бы любила я».

Конечно, Тамтеч хороший, достойный парень, но вышла Дария за него как бы в отместку тфокотлей всем князьям. Так посчитала Минсура.

Князь Сибок и княгиня Загирета, конечно, были довольны, что их сын не женился на Дарие, не смешал кровь княжеского рода с кровью безымянных тфокотлей, а с другой стороны, они были оскорблены отказом простой девки их сыну, но, как говорят, сам смешал кислое со сладким, сам и пей – хочешь морщись, хочешь улыбайся... Для них было бы лучше всего, если б Дария вышла замуж за Хатая. Как сказал князь Сибок: все стороны были бы довольны.

К Минсуре зачастили женихи, княжичи из дальних и ближних селений. Она была бы рада не пускать их в свою комнату, но тут ничего не поделаешь – таков обычай. Да и отец с матерью надеялись – все-таки придет однажды к ним в дом достойный жених, который заставит Минсуру забыть о Хатае, как забыла о нем Дария. Но она их вовсе не воспринимала как женихов. Ее забавляло, как они хотят ей понравиться, становятся похожими на петухов, и ей стоило труда, чтобы не рассмеяться, глядя на них.

А позавчера явились три рыжих парня из Натухайи. Огненно-рыжих. Она так и не поняла, кто из них жених. Наперебой каждый старался рассказать что-то смешное. Каждый рассказчик очень смеялся, хотя другие морщились, а Минсура хохотала, глядя на всех троих. «О Хатай, если б ты здесь был, как бы мы с тобой вместе посмеялись!»

Когда ушли женихи, Камболет, глядя на сестру, смеясь, сказал:

– Я боялся, что они подожгут тебя и ты тоже станешь рыжей!

– Не беспокойся, мой добрый брат, я все стерплю.

– Да, я знаю, ты такая. Кудадек тоже говорит...

– Что говорит?

– Говорит, ты осилишь все.

– Что все?

– Не знаю. Все!

Минсура расшивала золотой нитью свою праздничную кофточку. Увидела в окно Кудадека. Он сидел на скамей-

ке у орехового дерева, чинил сбрую. Минсура улыбнулась: мать ее, хоть и главная княгиня, у которой полон двор работниц, любила и умела сшить себе платье, кофточку, связать кружевное украшение, приготовить обед. Главный князь и его младший брат Ацамук мастерски работали на кузнице, любили шить красиво отделанные серебром сапоги, починить сбрую, ухаживать за скакунами – подстричь гриву, почистить скребницей, искупать в речке. Не только умели и любили, но и гордились делом своих рук. Как говорил Сибок, это родовая княжеская гордость. Вот и в Кудадеке, вернувшемся из Московии стремянным стрельцом царского придворного войска, взяло свое, родовое, отцовское. Правда, заметила про себя Минсура, это уже был как бы другой – с неторопливой, немножко вразвалку походкой, посадкой на коне Кудадек. И разговаривал он без адыгской горячности, твердо расставляя слова по своим местам, и смотрел, как бы проникая в каждого. Всему этому научила его служба при дворе, при вершине огромного государства.

«Какой парень, какой мужчина! Девчонки должны бы за него драться!» – думала Минсура, глядя в окно на брата. Заметив ее взгляд, он улыбнулся сестре.

Говорят, глаза знают, что видят, руки – что делают, а мысли – они сами по себе. Глаза его улыбались сестре, руки сшивали уздечку, а мысли были в Махошии, у хромого Ванатуга.

Перед поездкой отец сказал:

– Дед мой говаривал: самое ценное в человеке, самое достойное в нем – твердое слово, сказал – все равно что сделал. Я обещал Ванатугу хороший подарок, поэтому отдам ему лучшего коня из своей конюшни, в сбруе отделанной мной собственноручно. Это будет настоящий княжеский подарок.

В Махошии, во дворе у Ванатуга, передавая коня, Сибок сказал:

– Конечно, мой конь кабардино-арабских кровей не сравнится с твоим знаменитым, но и не уступит ему ни в красоте, ни в резвости.

Ванатуг отнесся к княжескому подарку как-то с прохладцей, что очень удивило Кудадека.

– Я очень благодарен тебе, Ванатуг, что ты тогда у моих ворот проучил своим словом и поступком взбунтовавшихся тфокотлей, не дал разгореться огню.

– О чем ты говоришь, зиусхан,– пожал плечами Ванатуг,– на моем месте так поступил бы каждый уважающий себя мужчина. Да ты ведь уже благодарил меня за это,– он почему-то с прохладцей отнесся и к похвале главного князя.

– И еще хочу тебе сказать,– продолжал князь, будто не замечая его холодности,– не гневайся на меня за тот случай в лесу, о котором теперь знаем лишь мы вдвоем. Только теперь я по-настоящему узнал тебя как человека добра, чести и мужества...

Ванатуг молитвенно сложил руки на груди:

– Да, зиусхан, Аллах милостив к нам обоим. Не надо больше ничего говорить об этом. Я тоже с глубоким уважением отношусь к тебе, а что касается Тахо и Цахо, скажем: да простит их, грешных, Аллах.

Кудадек стоял, опустив глаза, и думал: что сделал отец этому человеку, чтобы теперь извиняться перед тфокотлем даже при своем сыне?

– Скажи, зиусхан, а что ты думаешь о едином государстве адыгов, о создании которого говорит Калакут?

– Мы с Ацамуком, Джамбеч и еще двое-трое поддерживаем Калакута, остальные же противятся, боятся потерять власть в своих владениях, не хотят подчиняться будущему царю, которым каждый хотел бы сам стать, но ведь он может быть только один...

Сибок говорил еще что-то, но Кудадек уже не слушал его: «Что это за случай в лесу, за который отец так униженно извинялся перед тфокотлем, почему он сказал, что поддерживает Калакута? Мне-то он говорил совсем другое. Как же это, как же это, главный князь Жанеи?..»

Минсура тихонько подкралась к Кудадеку сзади, хотела его напугать. Окликнула, а он хоть бы что, даже не вздрогнул.

– Ты деревянный какой-то. Я ему прямо в ухо крикнула, а он и не шелохнулся,– по-детски обидчиво сказала она.

– Ну, сестричка, если пугаться каждого окрика, то лучше из дома не выходить. Садись, садись рядом, моя

хорошая. Ну, что ты мне принесла, что веселое расскажешь?

– Послушай, стремянной стрелец царского войска, у тебя, бедненького, нет даже конюха, чтобы следил за сбруей твоего коня?

– У меня, сестричка, десять конюхов и коноводов, но мы, из рода Каншауковых, любим не только командовать, но и делать что-то хорошее своими руками. От этого и душе приятно, и назойливые мысли уходят из головы.

– Ты чем-то обеспокоен, брат? Конечно, тебе опять предстоит дальняя дорога.

– Если бы мужчина каждый раз перед дорогой переживал, он состарился бы раньше времени. А еще думаю: пусть дорога сама думает о дороге,– улыбнулся он.

– У вас, мужчин, мужское сердце, оно покрепче, иначе ему нельзя, как ты сказал, а мое всякий раз тревожится, когда вы уезжаете, каждый раз с нетерпением ждет вашего возвращения. Думаю, таким оно и должно быть, женское, заботливое сердце. И о тебе, старшем брате, конечно же, я тоже беспокоюсь.

Кудадек воткнул в дерево шило, положил уздечку, Усмехнулся, а потом и вовсе рассмеялся:

– С тех пор как Дария вышла замуж, у всех появился ко мне повышенный интерес. Одни, глядя на меня, сочувственно вздыхают, другие ухмыляются, третьи намеками говорят мне всякие хитрые слова, а иные... подбадривают: держись, мол, все еще впереди!

– А какое отношение имеет к тебе замужество Дарии? – с мягким лукавством спросила Минсура.– Может, они думают, что ты собирался на ней жениться, а она...

– Вот видишь ты какая, дорогая сестра. Мол, я обихаживал ее, даже сватался, а она вышла замуж за Тамтеча... Да, я захаживал к ней несколько раз со своими друзьями, ну, по-соседски. Она расспрашивала меня о Московии, один раз даже пришел по ее просьбе в форме стрельца. А что тут такого?

– Только и всего? – улыбнулась Минсура.

– Знаю, ты тоже так думаешь, а уж об остальных и говорить нечего. Зря, зря ты так думаешь, сестра. Дария умница, с добрым сердцем. Ты не обижайся на нее. Она мне призналась, что, полюбив Хатая, шла поперек твоей дороги. Впрочем, у любви свои дороги, своя правда. Теперь

вот она об этом жалеет, просит тебя не сердиться, тем более что все уже осталось позади.

– Да, я очень обижалась на нее. Благодаря Накуре мы не поссорились с Дарией. Ты прав – у любви свои дороги, своя правда. Сейчас я хорошо понимаю, а тогда, когда горели неприязнью друг к другу два девичьих сердца... тогда не могла понять этого.

– Да, было бы очень плохо, нашлись бы, есть такие люди, которые с удовольствием позлословили, потрепали бы твое имя рядом с именем Дарии... Я знаю о теперешнем твоем трудном положении. Слышал я однажды в Московии пословицу: дай сердцу волю – заведет в неволю, но ведь любят сердцем, а не хитромудрым, холодным умом. Мы говорили о тебе с Ацамуком, он согласен со мной.

– А они?! – воскликнула Минсура, глядя на брата большими распахнутыми глазами.

– Я думаю, если мы втроем... думаю. Всевышний нам поможет.

Заблестели счастливыми слезами девичьи глаза, забилось, застучало сердце:

– Спасибо вам. Я всегда знала, что у дяди Ацамука добрая душа, он такой...

Пришла служанка и сказала, что Минсуру зовет главная княгиня.

Встали брат и сестра. Кудадек посмотрел на Минсуру, как бы сказал: вот видишь, иди, неси свою сердечную ношу, мы с тобою.

– Доченька, любушка моя, помоги мне – запропастился куда-то наперсток. Все перерыла, все обыскала, даже голова заболела.

Минсура перерыла сундучок, в котором хранились украшения матери, нитки, иголки, парчовые и шелковые лоскутки, но не нашла наперстка.

– А что у тебя на пальце? – рассмеялась она.

– О Аллах! – схватилась за палец княгиня.– Что он делает со мною, бессовестный! Сколько раз расстраивалась из-за него. А ты знаешь, доченька, он мне дорог не потому, что серебряный, нет. Ты знаешь, что это за наперсток?

Минсура много раз слышала его историю, но чтобы доставить матери удовольствие, сделала вид, будто не знает.

– Купила, наверное, на базаре?

– О, нет, доченька, нет, моя любушка! Он живет в нашем доме столько же лет, сколько тебе. В год твоего рождения отец привез его из самого Истамбула!.. Когда ты выйдешь замуж, я подарю этот наперсток тебе. Обязательно!.. Пройдут годы, много лет пройдет, и ты будешь рассказывать своим детям и внукам историю этого наперстка. Но что с тобой, доченька, почему стали влажными твои милые глазки? Конечно, тебя тронула эта удивительная история. Ты такая у меня чувствительная, такие ласковые и теплые твои ручки. И твои братья, и отец твой любят меня, но твоя дочерняя любовь ни с чем не сравнима.

Они, обнявшись, сели на тахту.

– Я смотрела и любовалась вами, когда вы сидели под деревом, как милые брат и сестра... А скажи, он очень обиделся на Дарию? Страдает, наверное, его сердечко.

– Нет! С чего это все взяли, будто он влюблен в нее, будто ходил свататься. Вовсе нет! У него были с нею простые соседские отношения.

Княгиня отстранилась от дочери, с удивлением и подозрительностью глянула на нее:

– Ты у него спрашивала или он сам сказал? – облегченно вздохнула она.

– Конечно, сам. И что за люди у нас! Только дай посудачить, поболтать своими длинными языками.

– Ты права. Эти дворовые, эти уличные сплетни хуже дурного ветра. И надо же такое придумать! Ему в Московии царевну в жены прочат. Он не говорил тебе об этом?

– Не говорил.

– Попрошу тебя, доченька, скажи ему от моего имени: я никуда его не пущу, пока он не женится на девушке из адыгской семьи.

– Но почему только от твоего имени, разве отец думает иначе, разве вы не родители? – удивилась Минсура.

– Конечно, конечно, доченька, мы оба душами болеем за вас, детей наших, но... у мужчин мужское сердце, а у нас с тобою, у женщин, оно заботливее, осторожнее и, я бы сказала, правдивее. Правду оно лучше чувствует, к любви иначе относится, чем мужское. Ах, как хотелось, чтобы он влюбился в Кабарде. Говорят, дочь Темрюка – красавица из красавиц!

– Кабарда – это так далеко! – с усмешкой сказала Минсура, припомнив, как мать говорила, что Хатай слишком далеко живет, поэтому и не подходит ей, не может стать ее мужем.

– Ах, Минсура, не морочь мне голову! Всем известно – для любви не существует расстояния. Ну, хватит об этом, а то у меня начинает болеть голова. Да и тебе надо проветриться. Сходи к Накуре, узнай, что у них новенького, как они между собой живут... Уже несколько дней прошло, как из поездки вернулся Калакут, а к нам и глаз не кажет. Обиделся на нас, что ли? Но за что?! Мы всегда желаем ему только добра, а он, видишь, даже не наведался.

– Зачем ты такое говоришь, ведь Калакут и Накура так хорошо к нам относятся. Живут они между собою мирно и в достатке, другим бы так...

– Тогда почему не сидится ему дома, почему он все ездит и ездит из конца в конец адыгской земли?

– Калакут говорит, если всю адыгскую землю объединить в одну семью, в одно очень сильное государство, если этим государством будет править один человек, великий зиусхан или царь, тогда ни турки, ни крымские татары, ни урусы, никто не посмеет нас обижать.

– О-о, доченька,– простонала княгиня,– его ли дело соваться в такие большие дела. Пусть об этом думает умнейший среди умных, главный зиусхан Жанеи Сибок, твой отец.

– Почему же о таком большом народном деле должен думать только один человек, хотя он умнейший среди умных, почему и Калакут не может об этом заботиться?

– Доченька,– тоненько засмеялась княгиня,– у петуха тоже есть голова. Но он от этого не становится орлом.

– Правильно, вот и пусть один из орлов станет во главе государства, как гора Ошхамахо возвышается над всем Кавказом.

– Ну и кого же он называет таким верховным правителем? – прищурившись, спросила княгиня.

– Первым называет моего отца, если у него это не получится, вторым может быть Темрюк.

– Как это у него, умнейшего и мудрейшего, не получится?! – удивленно вскинула брови княгиня, потом, застеснявшись, порозовела лицом: – Когда я была в твоих годах, доченька, сколько со всех концов адыгской земли

приезжало ко мне парней свататься, но я не торопилась, ждала своего. И дождалась. Он едва успел переступить порог моей девичьей комнаты, как мое сердце сказало: это он, достойный из достойнейших!

– Наше счастье, что так случилось! Вышла бы замуж за другого – не появились бы на свет ни я, ни Кудадек, ни Камболет.

– Вот и я говорю, доченька, не торопись с выбором, пусть твое сердце не плачет по тому, кто вошел в твою девичью комнату и вышел,– сказала княгиня Загирета, намекнув на Хатая.

Минсура хотела сказать, что Хатай не в комнату к ней заходил, а в само сердце. Зашел, остался и никогда не выйдет из него. Хотела это сказать матери, но она ведь не поймет, не захочет понять.

Минсура встала и поспешно вышла, чтобы мать не увидела ее слез.

VII

Прокричали третьи петухи, и в наступившей тишине началось таинство рождения грядущего дня, рождение будущего.

Облака в полумраке небесной вышины, вершины гор, одетые в осенние нарядные одежды,– все озарилось легким золотистым светом, который тут же уходил в прошлое, становясь веселым и пурпурным, а потом разгорался тревожно багровым цветом. Но вот выглянуло солнце, залило все ярким светом, сделало небо голубым, чтобы вечером потушить его, отправить в прошлое перед новым грядущим. Будущее умирает уже во время своего рождения.

В этой рассветной тишине уже был слышен мягкий топот копыт по траве, уже проснулась и возвестила об этом горластая сойка, ворчливо прокричал старый ворон и заверещали, зазвенели высоко над полем жаворонки, оповещая о наступлении нового дня.

Дохнул первый робкий ветерок навстречу направлявшемуся в Кабарду князю Сибоку, его сыну, стремянному стрельцу Кудадеку, всем спутникам, как бы приветствуя их, желая доброго пути.

Несколько лет прошло с тех пор, как князь Сибок съездил в Москву, как договорился с царем, а потом привел в Жанею русских воинов, как пришел покой на адыгские земли. Не смели больше нападать на адыгов ни турки, ни крымчане с запада, ни кумыки с востока. Живите, адыги, богатейте, радуйтесь радостью своей земли, своего неба, своих поднебесных гор.

Живите, радуйтесь...

Однако тревожилось сердце Сибока в ожидании бед, которые могут грянуть на адыгов. Знал, предвидел, но пока никому ни слова, ни полслова об этом не сказал. Думал – да поможет Всевышний, да минует нас черная волна.

Князь знал от воеводы Вишнивецкого, а теперь еще и из рассказов Кудадека о кровавом правлении Ивана Грозного. А он, князь Сибок, за эту власть на войне с Ливонией похоронил Бжамита и других адыгов. Этой власти служат Кудадек, Дударук, сын Темрюка Султан, эта власть теперь держит своих стрельцов и в Жанее, и в Кабарде. Если русский царь безжалостно проливает кровь своих людей, то что он может сделать, если ему вдруг понадобится, с адыгами?

«Вот и получается: Иван Грозный живет за тридевять земель от нас, но беспокоит не меньше, чем крымчане или турки. Как тут не вспомнить мудрые слова: лучше иметь другом близкого соседа, чем дальнего друга. Да и друг ли тот дальний, если он шепчется с твоим близким соседом у тебя за спиной? Оказалось, мои близкие соседи и тот, который за тридевять земель, кинули меня с моим народом в угрожающе пустой круг. Что ж, князь, сам метался из стороны в сторону, сам выбирал, сам теперь и попробуй выбраться из этой петли, держи ответ перед своими соплеменниками. Ничего, ничего, выше голову, как любил говорить твой отец. Посоветуюсь с Темрюком, с мудрым Кайтуком и другими князьями, с дворянами. Главное, уйми свою княжескую гордыню и советуйся с другими, думай вместе с ними. А если на то пойдет, найдем общий язык и с Турцией. Ведь ладит же с нею крымский хан».

Ветерок посвежел – с гор принес душистую прохладу, а может быть, даже с моря. Он, ветер, все может.

Прибавил ходу Сибок, перевел коня на легкую рысь – навстречу, прямо навстречу ветру.

15 Заказ 06

«Но почему опять Турция, Крым? А почему не дом свой родной? Почему не Калакут? Не хитри перед самим собою, князь. Ведь есть, есть доброе зерно в замысле Калакута. И главное, не один он, а все крестьянство, которое идет за ним. Только одна беда – наш княжеский гонор, часто он один стоит поперек разумной дороги».

Кудадек догнал отца:

– Зиусхан, байколы говорят – пришло время намаза.

– Я уже подумал об этом. Вот и остановимся здесь. А твое время тоже подошло?

– Да. Я тоже почитаю утреннюю молитву.

После омовения мусульмане разостлали коврики, обратились лицами на юг. Кудадек пристроил складную иконку на ветке дерева, стал лицом на восток:

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа! – начал он громко, а потом продолжал уже про себя. После молитвы долго ехали молча.

– Кудадек, скажи байколам, пусть немного отстанут от нас. Мне надо поговорить с тобою.

Отстали байколы.

– Если бы в мире все происходило так, как мы хотим,– сказал князь и опять надолго замолчал.

Кудадек не знал, как ему быть, наконец не выдержал и спросил:

– Ты хотел что-то сказать, отец?

– Если бы только «что-то», сын мой... У меня от этих «что-то» пухнет голова. Да-да, их столько скапливается в ней, что, как мне чудится, она и в самом деле распухает. Вот я и думаю, стоит ли этой тяжестью загружать еще и твою голову. В последние несколько лет я столько и таких греховных дел натворил, что Бог не простит мне их. Ладно, сын, тебе в твоей жизни еще столько своего достанется, что лучше мне поберечь тебя от моих тяжестей, я сам в них как-нибудь разберусь. Давай поскачем, как говорят, с ветерком.

– Подожди, отец... Я не смею настаивать, но очень, сыновне прошу, чтобы ты поделился со мной своими, как ты говоришь, греховными делами. То, что ты делаешь как главный зиусхан, видят все, вижу и я. Вижу и знаю...

– Что ты видишь, что ты знаешь?! – нервно сказал князь, но тут же одернул себя.– Извини, сын, когда сердце болит, всякое может вырваться из уст даже крепкого

человека... О чем я задумал сегодня поговорить, надо было раньше, сразу же, как вернулись из Московии, а я откладывал, тянул, надеялся... На что надеялся, сам не знаю.

– Я ждал этого разговора, когда мы еще только тронулись из Московии домой.

Князь придержал коня, глянул на сына, горько усмехнулся:

– Ждал, когда мое сердце не выдержит... Нет-нет, я не виню тебя, ни в чем не виню. Скажи, ты уже знал, что царь обманул меня?

—Да.

– Как?! Когда?

– Еще до того, как отправиться на Ливонскую войну.

– Что?! – не сдержался князь.– Как же ты мог ехать воевать за него, зная, какое предательство он замыслил против нас?!

– Если ты ехал, как же я мог отказаться, отец?

Смутился князь. Ему показалось, не копыта его коня стучали по каменистой дороге, а само время. Хотелось хотя бы на несколько шагов оказаться впереди этого времени, увидеть – что там?! Но нет, оно не позволяет, оно такое же упрямое, как каменистая дорога.

– Царь, когда мы сидели с ним вдвоем, сказал мне, что знает о моей тайной встрече с крымским ханом, сказал, что я разумно поступил, надо уметь вести тонкую игру, стоя в высоте над нею. Сказал, чтобы я не обращал внимания на разные толки и сплетни вокруг наших с ним отношений. Он так хорошо говорил, такие, как мне показалось, чистые были его глаза, что я поверил ему без малейшего сомнения. Потом, когда мы возвращались из Ливонии, я хотел еще раз встретиться с царем, закрепить наш разговор, но умерла царица, и, конечно, в траурное время нельзя было.– Князь, сказав это, грустно засмеялся: – Правду говорят: невезучего собака укусит, даже если он сидит высоко на верблюде.

– Отец, мне кажется, ты надеешься на добрый исход отношений между Турцией, Русью и тобою?

– Тот, кого несут, надеется, что его не уронят, не жмякнут о сырую землю, и, если сказать правду, сын мой, меньше, чем на царя, я надеюсь на адыгов, вот кто может

нас с тобою жмякнуть о сырую землю. Они меня хуже понимают, чем царь, а то и вовсе не понимают.

– У нашего народа, как и у каждого другого, есть дураки и умные, есть добрые, чистые, а есть и грязные, завистливые. Умные, добрые, чистые сердцем понимают тебя, знают, какое тяжелое бремя ты добровольно взял на свои плечи во имя нашей родной земли. Дураки по своей глупости не способны тебя понять, а грязные завистники, что бы ты ни сделал, оклевещут, испохабят. Не мучь свое сердце, отец, ведь ты знаешь – как ни топчи правду, она все равно снова и снова поднимется, а клевета, кривда, придет время, сама рассыплется.

– Спасибо, сын... Я не побоюсь перехвалить тебя и скажу: жил ты среди чужих и даже чуждых в какой-то степени тебе людей, далеко от родины, а духом своим, душою оставался вместе со своею родиной, с ее заботами и печалями, с ее добротой... Дерево живо своими корнями, а народ – своими потомками, их умом, честью, их силой и волей, что составляет будущее народа, его честь, силу, душевную красоту, без которой люди превращаются в стадо. Я спокоен за тебя, сын, наследник старинного рода Каншауковых.

Умолк князь. Нехорошо стало у него на душе – лишнее, совсем лишнее сказал он сыну... «Прости меня, Всевышний, помоги мне и сыну моему быть достойными твоими созданиями. Прости».

Стук да стук копыт коня, словно стук самого времени по каменистой дороге, ведущего в соблазнительную и в то же время страшную своей непонятливостью и неизвестностью вечность...

Стук самого времени...

Есть люди умные, сильные, честные и достойные этой чести, есть среди них и такие, которые начинают мнить себя как бы созданными самим солнцем и красавицей луной, забывая или не понимая, что дальше с вершины есть только один путь – вниз. И бывает не просто вниз, а еще и похуже – в самую пропасть.

Сибок считал, что главным князем возвысили его над собою люди, а не сам он взлетел, живет, не нарушая мудрых обычаев своего народа, служит ему, сколько хватает ума и сил, но почему любовь Хатая и Минсуры стала ему поперек горла? Лишь потому, что Хатай был дворовым,

унижал его княжеское достоинство и Минсуру ему не отдал, будто бы заботясь о ней, о ее судьбе и чести, а в самом-то деле только о своем высоком достоинстве и заботился, душой изболелся. До того изболелся, что сделал несчастной свою дочь, что согласился на убийство Хатая. Дария отказала Кудадеку, как это бывает довольно часто между молодыми горячими сердцами, а он возгорелся от ненависти: как это простая девка посмела отказать его высокородному сыну? Даже не столько сыну, сколько самому князю, человеку, как говорят, голубой крови. И с Калакутом... Сибок понял его большую мысль. Даже не просто мысль, а судьбу и путь всех великих государств земли. Но почему громко заговорил не он, а простой тфокотль, почему у него, у главного князя, столько недругов, а у того столько друзей по всей земле адыгов от моря до моря? И князья, враги Калакута, стали его сторонниками, даже друзьями.

«И к чему это привело тебя и мудрого Темрюка? Русский царь не захватывал наши земли, мы сами его привели, сами подставили шею под его ярмо. А что будет дальше? Ты можешь поручиться, что они не выжмут из тебя согласие, не прольют кровь адыгов, как это случилось у Темрюка? Ты уже поднялся на такую вершину, с которой не спустишься тихонечко, осторожно, каждому твоему шагу будет грозить обрыв в пропасть. Может быть, ты все это расскажешь своему наследнику? Ты уверен, что он не отойдет от тебя?»

Стук да стук копыт, одетых в звонкую сталь подков, стучит само неумолимое время.

Что было удивительно самому князю, обо всем этом, отзывавшемся неутолимой болью, он размышлял как-то отстраненно, будто о ком-то другом шла речь. «Да,– решил он,– верно говорят – всему свое время. Время из цветка на дереве завязаться яблочку, время налиться ему соками земли, созреть и добрым плодом упасть на ту же землю».

С шумом выпорхнула из-под куста куропатка, взмыла в небо. Вздрогнул от неожиданности конь. Вздрогнул и князь. Улыбнулся.

«Ты сейчас похож, князь, на мышонка, к хвосту которого привязали тыкву. Вернуться бы тебе в норку своей семьи, жить бы тихонечко, да где там! И дело не только в том, что с тыквой не пролезешь в норку, а еще и в том, что

просто наступят на этого мышонка, раздавят, когда он лишь подумает о своей милой норке... А ведь как было бы все здорово, послушайся тфокотля Калакута, и весь народ, все адыги пошли бы следом, исключая разве мелочь вроде Тахо и Цахо. Да, наверное, пролилась бы кровь, но она пролилась бы за правду, за свободу, за честь, а не позорно, как у Темрюка. Хорошо и бойко ты размышляешь, князь, а где был раньше? А может быть, румяное яблоко адыгов еще может созреть?»

Поглядывал Кудадек на молчавшего отца и понимал: очень большой думой он занят, иначе как можно так долго молчать в дороге, когда перед тобою весь мир с его красотою, радостями и тревогами. Он вспомнил, как отец говорил, что не боится перехвалить его, сына своего, какими высокими словами говорил, и подумал: «Конечно, я для него еще ребенок, и как с ребенком он разговаривал со мною. Когда я приехал из Московии, Калакут часами расспрашивал меня: кто такие бояре, воеводы, как и чем вооружены стрельцы, кто и как их обучает военному делу. Очень много расспрашивал о царе – чем он занят с утра до вечера, как разговаривает и о чем с боярами и воеводами и многое другое, а отец между делом о какой-нибудь мелочи спрашивал. Конечно, о мелочи, он считает меня все еще мальчишкой. А возможно, ему просто неинтересно государственное устройство Руси... Умница, умница Калакут, он смотрит далеко вперед. Жаловался и Ацамук, что отец с ним не очень-то разговаривает, тем более о серьезных вещах. Говорил Ацамук: носит отец в своем сердце нечто такое, чем не хочет ни с кем делиться, вроде как прячет что-то, таит. Ох, отец, тогда получается, ты в своей семье совсем одинокий, но это же так страшно».

– Ты тоже, сын, кажется, занят серьезными мыслями. Это хорошо. Говорят, человек, который умеет, не скучая, оставаться с самим собою, знает настоящую цену молчанию, настоящую цену слову, знает глубину души... А мне захотелось поговорить с тобою, наследником моим. Когда у отца возникает такое желание, такая необходимость, это значит, созрело их время... Я перед поездкой к царю Ивану тайком встречался с Давлет-Гиреем. Он сам позвал меня. Хан знает о сговоре урусов с турками и не хочет оставаться в стороне, тоже хочет отхватить кусок адыгской земли.

Ведь и царь, и султан, и хан – неглупые люди, почему же они не понимают, что человек, родившийся свободным, взраставший и живший свободным, скорее, умрет, чем согласится жить под чьей-то чужой и чуждой ему властью. Если они начнут гнуть нас к земле, ставить на колени, дорого им это обойдется, много крови своей прольют. Я уверен, не только наши мужчины поднимут свои мечи. Старики, дети, женщины тоже покажут им свой характер свободного человека.

– Ты прав, отец,– задумчиво сказал Кудадек, помолчал и потом так же задумчиво продолжил: – Об этом давно надо было думать, видеть приближавшуюся беду издалека, а не тогда, когда она уже на пороге, даже в дом наш вошла. Почему ты, Темрюк, Пшиапшоко, Машук и все остальные зиусханы даже слышать не хотели Калакута, который именно об этом громко, призывно говорил и продолжает говорить, звать всех вас?

Князь придержал коня, приподнялся на стременах и глянул в упор на сына, может, хотел крикнуть: как ты смеешь, щенок?! Хотел, но не смог, ощутил вдруг такую слабость в ногах, что опустился в седло и, горько улыбнувшись сыну, тронул коня.

Стук да стук о камни дороги копыт, одетых в звонкую, грозную сталь.

– Ты понимаешь, сын,– заговорил князь, как ему показалось, совсем другим голосом, будто не с Кудадеком, а с самим собою заговорил,– очень мне понравилась Русь, ее степные просторы, такие же бесконечные, как море, как небо. И люди понравились. Они такие же распахнутые и откровенные, как степи. И царь Иван тоже понравился. Я уже был наслышан о его жестокости, но как самодержец такой бескрайней страны может быть милым голубчиком, а не орлом. И я доверился ему.

– Ты не ошибся, отец, урусы – народ в самом деле, как ты верно подметил, простодушный, распахнутый тебе навстречу, как ровная, бесхитростная степь. Сначала я очень радовался тем, что живу с ним, служу ему, я принял его веру, а потом увидел, что бояре, воеводы, дворяне не лучше наших. Вокруг царского престола – свалка, грызня между ними за теплое местечко, за власть, а главное, они такие же, как наши: хотят жить каждый в своем удельном

местечке, хотят растащить эту громадную, сильную и красивую страну по своим углам-закоулкам. И когда все это увидел, понял, тогда понял и царя Ивана, который их держит в беспощадной, кровавой узде...

Князь Сибок оглянулся на байколов, наклонился к Кудадеку и негромко сказал:

– Все так и есть, сын мой, как ты понимаешь, как говоришь, только будь осторожнее в своих высказываниях – рядом с тобой всегда сто ушей. Трус и разумно осторожный – разные люди, с разными судьбами. Неосторожность так же глупа, как сама глупость. Воевода Вишневецкий каждый раз при наших встречах поносит царя, рассказывает о его кровавых делах, я ему в ответ только молча киваю головой, все, им сказанное, кладу в дальний карман своей памяти, берегу, как воин бережет свое оружие.

– Согласен с тобою, отец. Позволь задать еще один вопрос.

– Конечно, спрашивай. Все спрашивай, сын мой.

– Когда царь и султан начнут делить между собою земли адыгов, что станешь делать ты, как отнесешься к этому, как встретишь его?

– А ты сам не догадываешься?

– Одно – догадываться, а другое – твердо знать.

– Молодец, сын мой. Неположено, конечно, сыну навязывать отцу свои вопросы, но сегодня у нас с тобой выдался какой-то особенный день... Думаю, ты сам понимаешь: если царь и султан начнут рвать нашу землю на куски, на первый случай я подамся в Крым, где нас ждет хан... все же они наши единоверцы, да и адыги живут там.

– И ты, отец, конечно, знаешь, что я пойду вместе с тобой – с моим отцом, с моими соплеменниками.

– Спасибо, сын. Я никогда не сомневался в тебе, как не сомневаюсь и в нашем младшем Камболете.

– Спасибо и тебе... Раз ты сказал, что сегодня у нас с тобой выдался особый день, позволь еще сказать, чтобы до конца унять свою душевную боль... Ацамук говорит, что у тебя есть от нас какие-то секреты?

– Есть, есть, сын мой, но это такая суета, такой житейский мусор, которым я не хочу загружать ваши сердца. Только это – и не больше! – сказал Сибок, с отцовским восторгом подумав: «Молодец, Кудадек, ты истинно мой сын, нашего древнего рода».

Пришпорил коня Сибок, бросил его навстречу ветру, навстречу простору, одетому в яркие осенние краски,– веселые и в то же время грустные.

Из-за края леса над мелководной речушкой, одетого в яркий праздничный багрянец, выехала почти сотня всадников.

– Не пойму, что за люди? – остановился князь на взгорке и прислонил ладонь ко лбу, чтобы разглядеть получше.

– Там адыги и урусы,– поднялся на стременах Кудадек.– Откуда, куда и зачем они? – положил он руку на эфес сабли.

Князь обернулся к своим всадникам:

– Сабли не обнажать, но быть ко всему готовыми! Если они приблизятся к нам с обнаженным оружием, тогда мы и покажем им, чего стоим.

Приблизившись рысью, всадники перешли на шаг.

Все ближе, ближе...

Русоволосый бородатый стрелец, ехавший во главе всадников, поднялся в стременах и восторженно закричал:

– Кудадек, друг мой! Ты ли это, мой боевой товарищ! – Спрыгнув с коня, он бросился к Кудадеку, который тоже спешился.

– Гаврила! Здравствуй, душа моя! – по-русски ответил Кудадек.

Обнялись они, трижды накрест расцеловались.

– А это мой отец, познакомься. Мой батюшка, как у вас говорят.

Гаврила в островерхой стрелецкой шапке и в ярко-красном длиннополом кафтане широко шагнул навстречу, улыбаясь, протянул ему большую руку:

– Рад-радешенек встрече, князь Сибок, далече ли держите путь?

– Хочу повидать старого князя Кайтука.

– Князь, я знаю тебя еще по Московии как нашего доброго союзника, твой сын Кудадек – мой военный побратим, а ты едешь к Кайтуку, который недружелюбно относится к Руси и князю Темрюку. Как же это? Может, повернем к тому, с кем дружим? – продолжая улыбаться, посоветовал Гаврила.

– Понимаешь, Гаврила... Чем меньше у нас с вами недругов, тем лучше.

– Истинно так, князь!

– Вот я и еду к одному из старейших наших князей Кайтуку, чтобы объяснить ему, а через него и другим, как важно нам дружить с Русью.

– Хорошо бы,– почесал стриженый затылок Гаврила,– да вот боюсь, ваши князья, как и наши бояре, непонятливы и упрямы, но помогай тебе Бог, княже, и доброго пути! – сказав это, Гаврила низко поклонился князю, коснувшись рукой земли.

Когда разъезжались, всадник-адыг из повстречавшейся сотни сказал байколу из дружины Сибока:

– Когда вернетесь домой, Айдар, крепко пожми от всех нас руку Калакуту, скажи, что мы уважаем и надеемся на него.

«Вот так, ты – главный князь Жанеи, а простого тфокотля знают по всей адыгской земле, отовсюду шлют ему поклоны, о верности ему говорят. Если стали бы выбирать верховного правителя, то Калакут обскакал бы всех самых именитых князей...»

В гостиную вошли сыновья Кайтука, поприветствовали гостей. Отец подал им знак, и они ушли.

Старик положил скрещенные ладони на кизиловую трость с серебряным набалдашником. Тонкие, бледно-сухие губы сложились в усмешку, впалые морщинистые щеки тронул едва заметный, но все-таки румянец. В выцветших, больше серых, чем карих, глазах проскользнула искорка:

– Я приятно удивлен, зиусхан Сибок, что ты пожаловал, думал, не увидеть нам тебя, как осени лета, а хотелось, хотелось повидаться, перекинуться словами.

– Я рад, зиусхан Кайтук, что угодил тебе своим посещением.

– Хоть и грешно спрашивать гостя, пока он не отдохнет, но я спрошу. Думаю, простится мне это, старому, ведь день у такого, как я, совсем иной, чем у молодых... Какие такие важные дела привели тебя к нам, главный зиусхан Жанеи, ведь вы с Темрюком теперь люди другой, не нашей веры, все говорят, что вы породнились с урусами?

– Аллах свидетель, зиусхан, я был и остаюсь мусульманином,– сказал это Сибок и вдруг ощутил, как вздрогнуло его сердце, потому что сказал неправду. Он помнил, хорошо помнил тот день, когда по пути на Ливонскую войну он зашел в церковь со стрельцом Богучаровым,

конечно, тайно от своих земляков-адыгов, и не просто зашел, и не просто тихонько крестился с другими прихожанами, но и принял там православную веру.

– Не могу понять, как ты можешь быть мусульманином, если твой единокровный сын – чиристанин, если он служит в чужом нам гяурском войске. Так же и с Темрюком, с его младшим сыном.

– Не знаю, что с Темрюком, как было с его сыном, а что касается меня, то положи передо мною Коран, и я поклянусь, что не знал, когда и почему мой сын стал христианином, не спросив отчего благословения. Я когда узнал, очень опечалился, очень разгневался...

Кайтук негромко, но как-то язвительно засмеялся:

– Куда ему, бедненькому, было деваться, если ты, отец, покинул его там, среди чужаков, а потом все произошло само собой, так что мальчика и винить нельзя, недаром говорится: сосущий собачьи сосцы будет лаять по-собачьи.

– Вон как, вон как ты отделал меня, зиусхан, а нет бы по-братски – ведь адыги мы с тобой – помочь, сердечно посочувствовать,– несколько возвысил голос Сибок.– Где вы все были, когда крымские татары не давали нам житья,– грабили, жгли дома, кровью нашей землю поливали?.. Деваться мне, главному зиусхану Жанеи, некуда было, я обязан был хоть как-то помочь своему многострадальному народу, великая нужда заставила меня обратиться за помощью к царю, и сына моего он оставил аманатом-залогом. Ты говоришь, другие говорят, но только один я знаю, как болело мое отеческое сердце. Когда я возвращался из Московии, мои глаза были на моей спине, они слепли от слез, только никто этого не видел...

– Сибок, ты же главный зиусхан, тебе люди доверились, и ты должен знать, к кому ехать, а кого стороной обходить. Говоришь, многострадальная Жанея, а разве у нас во всей Кабарде тишь да гладь да божья благодать? Ты же сам знаешь – и у нас не сладкая жизнь, но мы, Кайтукины, не бегаем, не зовем к себе иногородных, гяурских воинов. Правда, ты пока еще не устроил у себя побоище, как у нас Темрюк. Но лишь пока это, пока! Поберегись, зиусхан, поберегись.

– Согласен с тобой. Это наша беда, это наш позор.

– Да, ваша беда, ваш позор. Не гневайся, большой грех на правду гневаться.

– Не гневаюсь, а сердцем плачу.

Тихо стало в гостиной, так тихо, будто само время остановилось.

Заговорил князь Кайтук:

– А что ты будешь делать, когда Русь и Турция станут делить нас между собою, резать по живому?

– Как слышно, мы окажемся под Турцией и Крымом, а вы – под Русью, под христианами, к чему и стремится Темрюк. Что вы тогда будете делать? – усмехнулся Сибок.

В хитрости сощурил глаза старый князь:

– Ты за нас не беспокойся. Если турки и крымские татары простят тебе дружбу с гяурами, наладится у вас с ними добрая жизнь, мы тогда как-нибудь тоже поладим с урусами.

После сытного обеда с крепким, душистым медком гости засобирались в дорогу. Перед тем как подняться, Сибок хотел сказать Кайтуку, что он уже сейчас хочет попробовать примириться с крымским ханом, но передумал: «Пока мы будем ехать, мысль эта моя может явиться к Темрюку раньше меня. Бывает, бывает такое». Сказал другое:

– Давай, зиусхан, оставим в стороне и турок, и урусов, и татар, объединимся все в единое адыгское государство, тогда нам никто не будет страшен.

– Э-э, где ты был раньше? Не слишком ли много и попусту мы рассуждали, спорили об этом, к великому сожалению, среди наших умников не нашелся истинный предводитель, которому бы мы сказали, вместо я, ты. Это относится, зиусхан, и к тебе. Слышал, знаю.

«И это мне сказал старик, одной ногой уже стоящий в могиле... Может быть, именно ему перед самой-самой дорогой в вечность и дана такая правда».

То, что не прямой дорогой, а с разными поворотами то в одну, то в другую сторону приехал к нему Сибок, Темрюк уже знал, однако встретил его с распростертыми объятиями.

Сыновья Темрюка знали, что их брат Султан служит вместе с Кудадеком в Московии, поэтому русского стрельца забросали кучей вопросов, а потом повели в девичью, познакомили с красавицей княжной Гошевнай. Она тоже обрадовалась, стала расспрашивать, как они живут на

чужбине, и очень удивилась, когда Кудадек сказал, что им там не только не скучно, а даже очень интересно.

– Кудадек, раз ты живешь в Московии, значит, умеешь играть в шахматы. Садись – сыграем. Меня один воин из дружины Гаврилы научил этой интересной игре.

Гошевнай играла еще совсем слабо, поэтому Кудадек как ни пытался свести игру хотя бы вничью, но это не удалось, игра завершилась его победой.

Братья тихонько ушли из комнаты.

– Давай еще! – не унималась княжна и стала расставлять фигуры: ей так хотелось, чтобы их встреча длилась подольше.

Из века в век бродит по земле такое выражение: любовь с первого взгляда. Что это, толком никто не может объяснить, но говорят и, наверное, никогда не перестанут говорить, пока живут на земле, пока умеют говорить.

Было это любовью с первого взгляда или что-то другое, но для Кудадека и Гошевнай ничего на белом свете не существовало, кроме их самих, кроме их загадочно-соблазнительных улыбок, веселого разговора, а вернее сказать, щебетания. Даже шахматы, в которые они играли, были как бы сами по себе, отдельно от сердец игроков...

Разумеется, между встретившимися двумя князьями отнюдь не любовь была, тем более с первого взгляда, а редкая между адыгскими князьями искренность. Дело совсем не в любви, а в том, что они оба идут, вроде бы обнявшись (вроде бы!), по одной узкой, очень не простой, а местами и опасной тропинке, когда нет третьего, который мог бы подать руку помощи...

– Ты говоришь, зиусхан, как бы ни поступила, что бы ни сделала с нами Русь, все равно не порвешь с нею дружеских отношений, будешь их продолжать? Правильно я тебя понял?

Темрюк помолчал, покачивая головой в высокой, дорогого золотистого каракуля папахе, будто с кем-то еще разговаривая, потом неспешно, но твердо заговорил:

– Да, зиусхан, лучшего союзника, чем Русь, я не найду. По душе мне ее люди – простые и открытые, как небо в ясную погоду. Я через своих дочерей породнился с астраханским и ногайским ханами, утихомирил их, но без союза с Русью не смогу противостоять шамхалу Кумыкии, шаху Персии, а она уже нависла, нависла над нами черной тучей.

Если ваши земли отойдут под Турцию и Крым, тебе тоже придется искать дружбу с ними. Думаю, вам нетрудно будет сойтись на единой дороге Аллаха. Наслышан я о Калакуте, о его замысле. Говорят, ты тоже стал его как бы поддерживать. Что я тебе скажу? Начать объединять адыгов – значит начать большую междоусобную войну, будто мы еще мало своей братской крови пролили. Ты же знаешь адыгов: повоюют, повоюют и опять разбегутся по родным углам, а ты со своими добрыми делами – не сердись – останешься, что называется, ни с чем. Не зря у нас говорят: прежде чем обнажить кинжал, хорошенько подумай, не поддавайся горячему сердцу. Оно бывает чистым, добрым, но никогда не бывает мудрым. Как говорил мой покойный отец, мудрость ума и чистота сердца – совсем разное, очень часто просто несовместимое.

Замолчал Темрюк, глядя в окно.

Не давая воцариться многозначительной, иногда предательской тишине, Сибок спросил:

– Как ты думаешь, зиусхан, может быть, мне заранее договориться с Давлет-Гиреем, тем более что хан сам это мне предлагает?

– Как сказать... Но, думаю, это будет правильно. Ведь хорошо, когда идешь по трудной тропе и знаешь, что есть еще одна, запасная, которая может оказаться очень нужной. И как своему другу, собравшемуся в трудный путь, скажу: счастливо, да поможет тебе Аллах.

Князья расстались.

Отправляясь в поездку по княжествам Черкесии, Сибок надеялся, что ему удастся, если не развязать, то хотя бы расслабить узел, все туже стягивающийся вокруг свободной родной земли, и теперь, возвращаясь домой, он понял: адыги стоят у истока дороги, которая называется «спасайся, кто как может». И, странное дело, у него не было ни тревоги, ни боли в душе. Ему чудилось, будто все из него ушло: был он какой-то опустошенный. С горькой улыбкой подумал, что его, опустошенного, легко, как высохший лист, может подхватить какой-нибудь шальной ветер...

«Ну и пусть,– подумал он,– все будет так, как должно быть, даже если все произойдет совершенно иначе». Подумал так, попытался вспомнить, от кого и когда услышал это, и не смог. Опять улыбнулся: «Ни от кого не слышал, никогда – оно просто само собою, оно – сама жизнь». А еще с усмешкой подумал: «Они говорят: кто и как посмеет нас разделить без нашего согласия! Ну что тут скажешь? Смешные они, словно слепые и глухие, не видят или не хотят видеть, что мы уже давно разделены».

Из Кудадека тоже все как-то ушло, посторонилось, вместо него поселилось нечто другое. Он не пытался понять, определить, что это такое, как называется – оно вошло в него вместе с Гошевнай и было таким же светлым, как чистое голубое небо, радостным, как встречный свежий ветерок. А что это такое, чем закончится, что с ним делать? «Оно сделается само, как и должно сделаться». И ехал Кудадек, приятно покачиваясь в седле, напевая про себя, чтобы не слышали другие, веселые песенки – адыгские и русские. Они были такими одинаковыми.

VIII

В гостиной сидели князь Тахо и его гость Мамий.

Глядя на князя, крымский баскак подумал: «Сидит, подбоченившись, будто вон какой грозный, вон какой мужчина княжеского достоинства, а высох телом до того, что, кажется, вовсе и не тело, а скелет, обтянутый черкеской. Лицо желтое, глаза тоже желтые, светятся чахоточно-пронзительным горячечным светом. Он вроде бы уже вчера умер, а посмотрите, сколько еще будет жить. Какая-то старуха приезжает к нему с высокогорья, привозит чудодейственные травы и держит его на белом свете. И все-таки сильно сдал он за минувший год».

Стараясь быть солидным, Тахо высоким, почти писклявым голосом произнес:

– Я очень доволен, что Сибоку дали в Кабарде от ворот поворот.

Сказал и закашлялся удушающим кашлем. Закрывая рот платком, вышел из комнаты, но вскоре вернулся, сел в кресло:

– На днях ездил проведать своего друга Цахо. По дороге прохватило ветром, вот и...

Увидел Мамий в руках Тахо окровавленный платок, брезгливо вздрогнул, прямо тут бы подхватиться и уйти, но ему надо все выведать у князя, к которому, будто ветром со всех концов, приносит все – и сплетни, и правду, узнать,

как встречали приезжавшего Сибока князья, о его разговоре с Темрюком, о чем они договорились. Без этого нельзя возвращаться к хану.

А тут еще принесли анэ. Есть вместе с человеком, который харкает чахоточной кровью!

– Спасибо, зиусхан, но я сыт.

– Если сыт, можешь не есть, а бузы-то моей знаменитой обязательно отведаешь!

– Тут уж никуда не денешься.– Мамий подумал, что буза крепостью своей оградит от заразы, и почти залпом выпил полную кружку.

– О-о, знатная, знатная буза! Вот почему ты так долго живешь, вот почему у тебя крепкое здоровье!

– А иные морщатся, мол, невкусная, горло дерет. Глупые люди: не все сладкое полезно душе, не все очень нужное человеку приятно на вкус. А ты можешь сказать, кто выдумал бузу,– мужчина или женщина?

Мамий пожал плечами: «Вот старый болтун, тебе и до этого есть дело».

– Не знаю, зиусхан.

– Я сначала подумал: мужчина выдумал для поддержания своих мужских сил, а потом решил: скорее, женщина, чтобы подпоить мужчину и выведать у него все, что ей нужно.

– Ты, должно быть, прав, зиусхан.

– Нет! – воскликнул Тахо, подняв руку.– Это свыше послали нам ее, чтобы испытать, кто мы такие, сумеем ли справиться с ее хмельной силой.

– Правильно. Пьянство – большой грех для мусульманина. Убери, зиусхан, кувшин со стола.

– Нет! – взвизгнул Тахо.– Это для слабого, для пустого грех. Если он хлещет и хлещет, теряет ум-разум свой – большой грех, а настоящему мужчине, если он говорит красивые тосты, если возвышается силой и духом – нет! Скажи, Мамий, мудрый тост, чтобы возвысились мы с тобою душой!

– Если мудрый тост – то ты в этом наибольший мастер.

– Что ты?! – притворно застеснялся Тахо.– Откуда это взял?

– Как откуда?! Об этом говорят всюду – от моря до моря.

– Ну, если так! – зарделся бледным румянцем подвыпивший князь.– Ты говоришь правду, есть такой знаменитейший мой тост.– Тахо выпятил свою сухонькую грудь, вскинул голову с жиденькой бороденкой.– Вот этот тост: пусть будут наши враги у нас под ногами, а наши друзья – пред Аллахом!

– Я встречал людей, которые присваивали этот мудрейший тост.

– Да, Мамий, я знаю. Один из них – Цахо. Он в нескольких компаниях, произнося его, выдавал за свой. Люди говорят: дураку отдай папаху и уходи от него прочь с поднятой головой. Я человек, все знают, великодушный, простил Цахо его неприличный для зиусхана и постыдный поступок, тем более сейчас, когда у него...

– Что у него, зиусхан?

– Плохо с ним, очень плохо.

– Заболел, слег в постель?

– У него какая-то странная болезнь. Нет, он не лежит в постели, просто стал заговариваться. И все одно и то же, одно и то же. Как дятел, долбит и долбит о нашем пустоголовом Сибоке. Главное и страшное – угрожающе держится за эфес кинжала. Ни с того ни с сего начинает рассказывать, как он будто ездил с ним к гяурскому царю, и тут же говорит, как на скачках обогнал турецкого султана. Думаю, мой бедный друг начал трогаться умом. Что с ним происходит, даже подумать страшно.

– Бедняга Цахо. Думал я заехать к нему, но если у человека ум за разум начал заходить, как и о чем с ним можно говорить? Приедешь посочувствовать ему, но он не поймет этого. Как же быть? За ним нужен хороший присмотр.

– Да-да. За ним присматривают все домашние, байколы... Думаю, его подкосила заваруха у ворот Сибока, которую устроил мой бедный друг. А тут еще история с байколом Шибланом. Цахо подарил ему кобылицу с жеребенком, а тот при всех людях оскорбительно отказался от его подарка и не стал ему больше служить. А когда Сибок вернулся из Московии с дружиной царских воинов, Цахо перестал даже из дома выходить. Очень мы боялись, что Сибок отомстит нам за ту скандальную историю у его ворот, напустит на нас гяуров, как Темрюк, но он, хитрец, не сделал этого...

«Ну вот, это уже немного ближе к делу»,– подумал Мамий и сказал:

– Присматривайте за Цахо, а то как бы он не навредил Сибоку.

Тахо, разинув от удивления рот, спросил:

– В ваших делах что-нибудь переменилось?

– В каких, зиусхан, наших?

«Эге! Держи нос по ветру, а то как бы не вляпаться в какую-нибудь лужу!» – воскликнул про себя князь и, мягонько улыбнувшись, сказал:

– Время такое, что не поймешь, надо ли сегодня говорить то, что говорил вчера, и как – завтра? Не станет ли черное белым?

– Мудро ты сказал, очень мудро. Сегодня только один Аллах знает, что будет завтра, а где уж нам с тобою, грешным. Разве у тебя не бывало: бросишь вперед камень и потом сам об него и споткнешься?

– Да-да! – воодушевился Тахо.– О камни, брошенные им самим, Сибок сам же и окровенит свои ноги. Привел чужих воинов на свою землю и теперь боится, как бы они не набили ему морду. Вот и бегает из конца в конец по зиусханам, ломает перед ними свою папаху главного. Подался в Кабарду, и там старик Кайтук и Темрюк дали ему, можно сказать, по шее...

– А до нас дошли другие слухи,– как бы невзначай уронил Мамий.

Тахо, отхлебнув бузы, поперхнулся, снова закашлялся, в его глазах блеснули слезы.

– Вот я и говорю: слухи всякие – это шальной ветер, не знаешь, откуда и куда он дует, куда лицом становиться, а куда спину повернуть.

– Главный зиусхан Жанеи – не мальчишка, не бродяга какой-нибудь, чтобы ему в Кабарде, как ты сказал, по шее дали. Да и Кайтук с Темрюком – люди солидные, уважаемые, не позволят себе мужицкой глупости.

– Да-да, просто я не то и не так хотел сказать, а оно вырвалось...

– Досточтимый Кайтук отечески строго говорил с Сибоком. Строго, но с достоинством,– не обращая внимания на Тахо, продолжал Мамий.– Во время тайной встречи, которую я организовал, Сибок не внял мудрым советам светлейшего хана Давлет-Гирея, и теперь, как правильно ты сказал, он взвалил себе и всем адыгам мешок с камнями, сам унизился перед чужедальним царем и

народ свой унизил, но главный зиусхан Кабарды – Темрюк, несмотря на это, встретил его с уважением и достоинством, хотя совсем не поддерживал его дел.

Пришел в себя, подбоченился костлявыми кулачками Тахо:

– Ты, Мамий, получается, все знаешь, а зачем приехал ко мне?! Учить уму-разуму? Все говоришь, говоришь, совсем уболтал меня.

– Не сердись. Ты ведь, как и они, зиусхан, да еще какой! Нам нужны твое мнение по этому делу и твоя мудрость, вот я и приехал, вот и беседую с тобой. Говорю и очень внимательно слушаю.

Выпрямился Тахо, улыбнулся:

– Слушаю тебя.

– Понял свою ошибку, свой промах Сибок и кинулся в другую сторону, к Калакуту, другую ошибку стал делать. Когда все адыгские земли Русь, Турция и Крым разделят на три части, земли главного зиусхана Жанеи, наверное, отойдут к нам, и о неверных даже поминать нечего будет.

Пригнулся Тахо, будто из норы выглядывал на Мамия.– А скажи, гость, нас поделят или уже поделили?

– Светлейший хан Давлет-Гирей сказал, что все уже решено. Ты побледнел, зиусхан, что с тобой? Не с радостью, а с болью это переживаешь, что ли? Странно мне видеть это.

– Пойми меня и не обижайся. Когда ты живешь своей отдельной от всего мира семьей, своим уютным и свободным домом, и когда этот дом, твою семью кто-то начинает делить между собой, как говорят, резать по живому, конечно, очень больно.– Тахо помолчал, втянув маленькую продолговатую голову в плечи, настороженно поглядывая на Мамия, не зная, что от него ждать. А тот был занят какой-то своей думой.– Ты знаешь мою многолетнюю верность Крыму,– продолжил он,– мои верные дела ему... Может, светлейший хан Давлет-Гирей как-то выделит меня среди других жанеевских зиусханов?..

Мамий склонил голову, чтобы Тахо не видел его усмешки:

– Если бы хан слушался моих советов, я бы посоветовал возвысить тебя не только над Жанеей, но и над всеми адыгскими землями,– сказал и подумал: «Несчастный ты человечек, уже в могиле... а все ерепенишься. Да уймись

ты хоть на закате своих дней. Видишь ли, возвысить его, тут, думаю, как бы обо мне не забыл хан. Взял бы своего верного баскака, да и возвысил над адыгами. Нет, ни тебе, ни мне не видать такого возвышения, пока жив Сибок». Подумал так Мамий и, не сдержавшись, сказал: – Думаю, скорее всего, Давлет-Гирей сделает верховным предводителем над землями, которые достанутся Крыму, хитрого, сильного и мудрого Сибока.

Налил Мамий себе бузы, выпил, неторопливо прошелся по комнате, остановился спиной к окну.

Тахо сидел, понурив голову, папаха его как-то сползла набок. Он дышал шумно, с присвистом. Не глядя, нащупал кувшин, налил и себе бузы и выпил большими, судорожными глотками.

Мамию жалко стало Тахо. Редко такое бывало с ним, очень редко. В этот раз оно случилось, наверное, потому, что, понимая и жалея его, понимал он и жалел себя, как ему показалось, чем-то отдаленно похожего на Тахо с его судьбой.

– Не рви так свое сердце, зиусхан, не гневи Аллаха. Знай, сколько я буду стоять рядом со светлейшим ханом, столько и буду помнить о тебе, помогать, чем могу.

В приоткрывшуюся дверь заглянул дворовый.

– Чего ты высунул свое поганое рыло? – вскипел Тахо.

– Не я беспокою, зиусхан. Из Трамхабля прискакали два всадника, хотят видеть гостя Мамия.

– Откуда они узнали, что Мамий у меня?! – вскочил Тахо в сердцах.– Кто их звал сюда, чего им нужно?

– Говорят, по очень важному, какое не откладывают, делу прискакали.

– Позови их. Покоя не дают, дьявол бы их задрал.

Вошли те двое, остановились у двери. Старший из них с печалью проговорил:

– Нас прислали сообщить, Мамий, что Зазий, твой отец, отошел в мир иной и предстал пред очи Аллаха. Мы разделяем твое горе, пусть оно будет последним в вашем роду.

Они ушли.

Тахо протянул гостю худую, костлявую руку:

– Я приношу тебе свои соболезнования, Мамий. Но ты смотришь так, будто... ведь умер человек, давший тебе жизнь.

– Только и дела, что он зачал меня в свое мужское удовольствие, на том и все. Ничего доброго я от него не видел.

– Он родил тебя, Мамий, на белый свет родил, а ты! – покраснел от волнения Тахо.– Ты должен сейчас же ехать туда, оплакать отца и предать земле, как велит наша мусульманская вера. Что бы ты ни думал о нем, он ведь родной твой отец!

– Успокойся, зиусхан. Я обязательно поеду на похороны, но оплакивать не стану, да простит меня Аллах. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты поехал со мною.

– Да, но ты видишь, что делается: погода уже осенняя, простужусь дорогой и буду там своим кашлем беспокоить покойную тишину.

– Уж ладно, как наказание Аллаха – поеду один.

– Что ты говоришь? Или я не адыг! Сейчас распоряжусь, поедешь с моими байколами. Повидаешься там с Тлимафом, передай ему мой поклон и как-то скажи – мог бы он и за мной людей прислать, чтобы сообщили о смерти отца моего друга.

– Может быть, он и послал сообщить, да, как говорят, пошли мальчишку по делу, а потом сам иди за ним следом. Вон эти двое: зашли, даже не глянули на меня, а такую весть принесли.

«Видно, так они тебя любят»,– в сердцах хихикнул Тахо и вдруг закашлялся, захрипело у него в груди...

К Сибоку прискакал Дзегашт, сын Тлимафа, и сказал, что похороны состоятся завтра.

– Думаю, Калакут, нам надо поехать сегодня,– поделился Сибок.– По словам Дзегашта, Тлимаф тяжело пережил смерть своего друга. Посидим с ним, повспоминаем. Ему будет приятно и душе легче, ведь хоронит же своего друга-соседа.

Сибок, Ацамук и Калакут отправились в Трамхабль. Лесом выехали к неширокой долине, по которой петляла речушка, по мелкому броду пересекли ее, поднялись на взгорок, где стояли копны сена, и увидели четырех всадников, тоже направлявшихся, похоже, в Трамхабль.

Калакут, поднявшись на стременах, из-под ладони посмотрел на всадников:

– Трое – байколы Тахо, а четвертый... Посмотрите, кто четвертый! Да это же Мамий!

– Он еще и сын нашего покойного друга Зазия,– заметил Сибок,– так что успокойся, Калакут. Я вижу – у тебя уже кулаки зачесались.

– Не беспокойся, зиусхан, я не нарушу скорбную тишину этого дня, а этого негодяя обязательно найду и рассчитаюсь за все его мерзости.

– Не сердись, сосед,– смягчился Сибок.– Давайте свернем к роднику, не хочу заезжать в Трамхабль вместе с ним. Сворачивайте за орешник, пропустим их, а потом тронемся своей дорогой.

Проскакал Мамий с байколами, утих за поворотом топот коней.

– Лучше умереть, чем жить вот так,– с искренней болью в сердце продолжил Сибок,– когда твои земляки-братья не хотят тебя видеть, будто бешеную собаку.

– Да что мы,– всей грудью вздохнул Калакут,– родной отец желал ему смерти.

– Его и своему позору искал смерти истый адыг покойный Зазий, да откроет пред ним ворота рая Аллах,– сказал свое слово и Ацамук.

В селении, не доехав до открытых ворот, они спешились и вошли во двор.

Как положено, во дворе должны стоять мужчины, родственники покойного и принимать соболезнования, но двор почти был пуст, лишь из женской половины доносились негромкий плач и причитания.

Тлимаф с почтением выслушал соболезнования, поблагодарил:

– Спасибо, что приехали.

– Как же не приехать к одному из самых уважаемых наших стариков,– ответил князь Сибок.– Мне кажется, здесь еще что-то случилось?

– Да, зиусхан, да. Как говорится, не успело остыть тело Зазия, как не вынесла тяжести потери его жена, и тоже ушла следом за ним, упокоилась... Большое горе, но... зачем старой женщине на склоне лет своих страдать в одиночестве, вот Аллах и ее взял к себе...

Сибок со своими спутниками довольно долго сидели молча возле покойника, потом вышли во двор, где длинным

рядом уже стояли мужчины, родственники усопшего, принимая соболезнования.

Приходили, все приходили мужчины и женщины, старые и молодые. Приходили односельчане и жители других селений.

Мамий одиноко стоял в стороне. Иногда становился в ряд с родственниками, принимавшими соболезнования. Люди пожимали руки, он стоял, не шелохнувшись, словно высеченный из грязно-серого камня, только прищуренные глаза горели такой яростью, что, казалось, подойди к нему – и тут же вспыхнешь.

«Подождите немного, подождите, придет и мой день, и вы придете, нет – приползете ко мне, и тогда я припомню вам все. Так припомню, что не только вы, а и ваши дети, ваши внуки никогда не забудут...»

Мамий не хотел ни с кем прощаться, не хотел, чтобы видели, как он уезжает, поэтому на другой день после похорон, лишь забрезжил рассвет, тронулся в дорогу.

Сам собою в его памяти предстал позавчерашний день, снова вспомнилась поговорка: «Богатый – слеп, с виду он выглядит благополучным и достойным, а душою гол и бос». Почему-то всю последнюю неделю она не давала Мамию покоя. Стоило ему остаться наедине с самим собою – в комнате ли, в седле или в постели, как она тут же досаждала назойливой осенней мухой: богатый слеп, душою гол и бос... Все время она сверлила его сознание и в пути к родному селению. Невольно он подумал: «Не обо мне ли эта поговорка? Ведь я богат, очень богат, я – правая рука великого хана Давлет-Гирея, вон как высоко стою, а душою-то гол и бос, и что после этого стоит мое богатство...

Впрочем, к дьяволу все эти наваждения, я верный, преданный душою слуга Аллаха».

Рассудив так, Мамий решил, что теперь эта гадкая муха должна оставить его в покое, только нет, не оставляла. Ни днем, ни ночью...

И вот показалось родное селение, родной дом.

«А родные ли,– шевельнулось в нем.– Разве здесь меня обогрели, разве окружили заботой и лаской?»

Едва он переступил порог дома, где в отдельных комнатах лежали покойные отец и мать, как снова в его сознании – «душою гол и бос». Даже сердце похолодело в груди.

Ему хотелось заплакать, но если сердце холодное, откуда взяться горячим слезам...

Теперь уже не только наедине, но и при людях преследовала его эта поговорка и с такой силой, что он пошатнулся. Хотел прислониться плечом к кому-нибудь, но не было никого рядом, все, будто ощущая что-то недоброе, отшатнулись от него.

Холодная пустота дохнула на Мамия.

И он торопливо вышел во двор, за угол сарая. Применившись к стене плечом, сцепив до боли зубы, чуть не закричал: «За что вы так, люди? За что?!» Хотя бы кто-нибудь хоть раз спросил у него, у его сердца: тебе больно, что с тобою, может, тебе надо помочь? Нет, не было такого».

Он слышал, как мальчишки хвалились своими отцами, своими добрыми матерями. Это было ему просто непонятно. Его отец и мать, сколько он их помнил, только и были заняты тем, что ссорились между собой, а сына просто не замечали. Разве когда за что-нибудь поколотить. Не только чужие люди, даже родственники обходили его.

И вот теперь, стоя у сарая, подумал: как можно утратить то, чего у тебя не было. Он тут же решил кинуться в седло, но сдержался, подумав, что скороспешный отъезд вызовет лишние разговоры.

Он переночевал в опустевшем доме и, чуть забрезжил рассвет, ни с кем не попрощавшись, уехал. Даже не уехал, как он потом себе сказал, а убежал. Но от кого, от чего и куда?..

От тяжелых воспоминаний Мамия отвлек перебежавший дорогу заяц. Поднявшись на задние лапы, он устремил испуганный взгляд в сторону чагарника, откуда только что выскочил. Мамий заметил, как подрагивает от чьих-то усилий куст, и повернул коня к зарослям. «Похоже,– решил он,– тут кто-то попал в беду». Спрыгнув с коня, увидел второго зайчишку, застрявшего между веток. Ловко схватив его за уши и освободив из плена, подумал:

«Давненько не пробовал свежей зайчатинки». Но несчастный зверек смотрел так жалобно, что Мамий тут же отпустил его:

– Иди, гуляй, косой. Там, наверное, твой друг тебя ждет.

Разжал он руку и вдруг почувствовал необычное тепло, отозвавшееся радостью в его сердце. Растроганный неожиданно нахлынувшим чувством, он присел на валун.

«Видишь, косой, а они считают, что я гол и бос душой. Скорее, это они сами бездушные, своими взглядами убивали и убивают меня. А за что? Говорят, будто я предал своих родителей. Каких родителей? Которые относились ко мне, как к чужому, словно к подкидышу? А отец... Какой он отец, если охотился за мной, хотел убить. Нет, не отцом он мне был, а скорее, врагом, и я благодарю Аллаха, упасшего меня от большого греха, от убийства. И Зазий, и все они говорили, что я предал адыгов, служа у Давлет-Гирея. Вот закончатся переговоры, отойдет Жанея под власть Давлет-Гирея, он сделает меня ее верховным правителем, тогда посмотрю, как они будут служить мне, а через меня – и великому хану... А все Тахо – езжай да езжай, не теряй адыгства. Оскорбить, унизить человека, как они меня, это и есть адыгство?» Конь нетерпеливо ударил копытом, заржал призывно, закусив удила, поднял высоко голову. Мамий глянул на солнце:

– Знаю, пора нам двигаться дальше, но пришло время намаза, потерпи еще немного.

Горячо, благодарственно помолившись с земными поклонами, он только хотел подняться лицом с коврика, как уста сами взволнованно произнесли слова:

– О Аллах! Да будет милость Твоя, Ты откроешь врата рая перед отошедшими к тебе...

И он со стоном, навзрыд заплакал. С болью забилось, застучало в груди его сердце. Потом все тише, тише, а вскоре совсем успокоилось, а когда он поднялся в седло, и вовсе себя ощутил окрыленным, и появилось желание закричать во весь голос: «Неправда, я вовсе не гол и не бос душою!»

К вечеру мохнатые осенние тучи ушли в неведомые края, оставив звездным небесный простор. Или в самом деле звезды в этот вечер были ярче, веселее обычного, или казались Мамию такими. Он улыбнулся, вспомнив сказанные кем-то из стариков слова: «Не звезды украшают и радуют человека, а человек их».

На ночлег остановился в стороне от дороги, на небольшой полянке среди карагачей.

В роднике напоил коня, дал овса и пустил пощипать еще зеленевшую травку. Поел и сам вяленого мяса с лепешкой, запил родниковой водой и лег на разостланную бурку, положив под голову седло.

Смотрел он на звезды и думал: всего-то лишь черное небо да звездочки и ничего больше, а сколько ни смотришь – все равно не насмотришься, и нет на земле ничего красивее этого. «Почему так?» – спросил он себя во сне и вдруг услышал зазвучавшую музыку. Свадебную музыку. И звездное небо, казалось, теперь он видит над головой уже у себя во дворе... С одной стороны, как и полагается, стоят девушки в своих лучших нарядах, а напротив них – парни. Один другого красивее, все как на подбор!

Распорядитель свадьбы танцует свой первый танец. Обойдя по кругу, останавливается около Мамия и возглашает нараспев:

– Все мы просим одного из самых достойных мужчин Жанеи – Мамия выйти в круг и станцевать!

Дух у него захватило от радости и в то же время от робости – еще бы, такая честь!

Прошелся он по кругу, вроде бы как на крыльях летел, остановился возле девушек.

Подруги вывели под руки дочь главного князя Жанеи Сибока Минсуру.

«О Аллах, как красива, как легка в танце! Она вошла в мое сердце, только бы не разорвалось оно от счастья. Сбылась, сбылась мечта всей моей жизни».

Но что такое?! Он не попадает в такт музыке. Ну, конечно, музыка не адыгская, а он танцует ногайский танец. Знает, умеет, хочет по-своему, а ноги не слушаются его. И тогда он стал показывать Минсуре, как надо танцевать по-ногайски, но она не хочет даже видеть и продолжает танцевать по-адыгски. Легкой птицей парит по кругу.

А это что?! Уже не Минсура, а Марьяна танцует. И сам он вовсе не в круге, а у сарая свежует только что забитого теленка, и вдруг оказывается, это вовсе уже не теленок, а черный бык... Он так прижал Мамия к стенке, что тот закричал и... проснулся. Сев, смахнул рукавом холодный пот со лба...

По-прежнему в вышине светили тихие звезды. Похрустывая травой, всхрапывал от удовольствия конь.

«Неспроста, совсем неспроста привиделся мне этот сон, не иначе случится со мной что-то недоброе».

Перед отъездом из Крыма в Жанею мулла с ним вел разговор:

– Все знают, Мамий, как ты исправно служишь посланнику Аллаха Давлет-Гирею. Зачтет он тебе, когда станешь пред его очи, а я как слуга Его хочу сказать тебе, правоверному мусульманину, вот что. Гяуры уже ступили своей грязной ногой на землю мусульман. Церкви строят, мусульман обращают в свою мерзкую веру. Думаю, кому, если не тебе, следует первому показать им волю Аллаха. Не мне тебя учить в этих делах.

Мамий оставил коня в перелеске у околицы селения Четаш, неподалеку от деревянной христианской церкви, построенной для русского войска. В ней только что закончилась служба, прихожане уже разошлись, однако из приоткрытой двери выбивался свет. «Значит, там еще кто-то есть»,– решил Мамий и быстрыми кошачьими шагами поднялся на паперть. Промолвив про себя «бисмиллах», заглянул вовнутрь.

«У-у, как у них! Зачем столько огоньков, и пахнет чем-то непонятным, а это... святые их нарисованы. У, сколько их, гяуры проклятые!»

Спиной к нему стояли двое. Бритоголовый адыг, а рядом – в черной до пят рясе священник отец Кирилл. «Это и есть их мулла или поп?»

Мамий неслышно подошел к ним, тронул за плечо бритоголового:

– Молишься гяурскому богу?! – зло прошептал он и мгновенно вонзил в него кинжал, а следом – в отца Кирилла.

Брезгливо морщась, он вышел из церкви:

– О Великий Аллах, я выполнил Твою волю и теперь прошу милости ко мне: пусть злые языки не судачат, что я душою бос и гол.

IX

В течение недели до князя Сибока долетели три вести, одна вдогонку другой. Третья еще куда бы ни шло, а две первые – хуже некуда.

– Ацамук, вели седлать коней! Ты и Кудадек поедете со мной. И поторапливайтесь! – с трудом сдерживая раздражение, крикнул князь в окно.

«Что за неожиданная спешка, куда и зачем так срочно надо ехать?» – встревожился Ацамук, но ведь не спросишь,

надо терпеливо ждать, когда тебе без твоих расспросов все скажут.

Они долго ехали молча.

Ацамук и Кудадек, видя князя таким хмурым, будто и вовсе ушедшим куда-то от них, понимали: случилось что-то очень тревожное, поэтому терпеливо ждали.

– Вчера в Четаше в церкви убили священника и прихожанина адыга... Среди бела дня! Вон как обнаглел наш враг,– не повышая голоса, будто прислушиваясь к чему-то, заговорил Сибок.– Едем в Четаш.

– Говоришь, зиусхан, среди бела дня? Конечно, сделал это наш враг. Злой враг,– высказал Ацамук.

– Злой и наглый,– поддержал его Кудадек.

– Это не просто враг, он бросил вызов нам и всем адыгам. Не кривя душой, скажу: мои сомнения в делах моих начинают оживать,– отозвался Сибок и тронул коня.

Из лесной тишины поднялись они на открытый взгорок, и там их встретил пронизывающий осенний ветер. Такой холодный, будто зима уже на пороге.

Вспомнил Сибок, как он в зимнюю стужу ехал первый раз в Москву, как русский мужик в овчиной шубе, подбоченясь, насмешливо и даже как бы угрожающе крикнул: «Татарва к нам пожаловала!»

Вспомнил, как царь Иван даже сесть его не пригласил.

Как сына единокровного оставил в Москве в обмен на какую-то сомнительную царскую бумагу...

Потом Ливонская война – в далекой чужбине похоронил Бжамита с его боевыми товарищами, адыгами.

Вспомнил поездку в Кабарду...

До сих пор судачат и судачат о главном князе Жанеи по всей адыгской земле. Как только его не называют, но мало кому может прийти в голову, как болит у него сердце, отчего не спит по ночам. А зачем? Хоть кто-нибудь из его недоброжелателей подумал, что ему, князю Сибоку из древнего княжеского рода Каншауковых, ему лично нужна ли эта боль? Многие меряют его на свой аршин самолюбия, не могут поверить, что для него важнее всего в жизни благополучие адыгов всей Черкесии. Как люди говорят: каждый меряет другого своим кривым аршином. Вот так и смотрят на него, не веря ему.

«Однако хватит!» – сердито сказал князь себе. Надоели ему запутанные в клубок беспокойные мысли, и он, чтобы избавиться от них, спросил:

– Как ты думаешь, Ацамук, чьих рук может быть это злое дело?

– Мало, что ли, зиусхан, у нас с тобою врагов? Если твердо не знаешь, как можно кого-то подозревать?

– Я спросил не о том, сколько у нас врагов, а кто мог совершить такое преступление. Но ты всегда хочешь хорошо прожарить мясо, не накалив вертел, чтобы не обжечь об него руки.

Кудадек – как он подумал, чтобы братья не обожгли своих рук об уже слишком накалившийся вертел – по-простецки весело сказал:

– Отец, если этого еще никто не знает, откуда же знать моему дяде? Как можно говорить о том, чего не знаешь?

– Да, сын мой,– нахмурился Сибок,– ты прав.

– Прости, отец...

– Да не за что вас прощать. Когда в голове становится тесно от разных тревог, от нагрянувших бед, она становится горячей,– улыбнулся Сибок,– будто сильно нагретый вертел... Подозревать, догадываться можно, однако... Ты не помнишь, Ацамук, как на похоронах почтенный Тлимаф ответил одному из стариков о его догадках и подозрениях?

– Не говори вслух, о чем не уверен, и не верь всему, что говорят. Так, кажется.

– Догадываться, предполагать, подозревать – это еще далеко не истина. Правда так просто не дается в руки. Верно, верно, Ацамук.

– Калакут нам с Хатаем тоже интересную поговорку сказал,– снова осторожно вмешался в разговор старших Кудадек,– не все, на что надеются, сбывается, и не обо всем, что сбывается, рассказывают.

– Очень хорошо сказано. Мы часто смотрим вдаль, ищем там мудрецов, а своих домашних не видим... Значит, Хатай был в наших краях, а к нам даже глаз своих не показал, будто нас и знать не знает,– обиделся Сибок.– Не думал даже, не ожидал от него такого.

– Что ты, отец! В тот день вы с Ацамуком ездили в Натухай. Про всех нас все выспросил, всем поклоны передавал и сожалел, что очень торопится.

– Славный парень, спасибо, что не забывает,– не без волнения сказал Сибок и перевел коня на легкую рысь.– «Кажется, я остался уже один. Ацамук и не был против Хатая, Кудадек – тоже, а теперь и княгиня присоединилась к ним... А что, Джамбеч очень влиятельный князь после Машука в Беслинее. А если еще и у Кудадека завяжется дело в Кабарде, семейно свяжемся с Темрюком, попробуйте тогда с нами потягаться, не один перед нами шею согнет. А сейчас первое и самое, пожалуй, важное дело – убийство. Лучше бы похоронить десятерых адыгов, чтобы сберечь потом благополучие и покой тысячам... Найти, во что бы то ни стало надо найти убийцу или того, кто его подкупил... Откровенные мои враги Тахо и Цахо, но самый наиопаснейший – Мамий. Однако он был на похоронах... Калакут возражал против ввода в Жанею царских воинов, но он с больной спиной лежит в постели уже целую неделю. Может быть, он кого-нибудь подговорил, подкупил?.. Опомнись, князь! Как ты мог подумать такое о Калакуте, об одном из честнейших и порядочных людей... А может, царь ведет тайную торговлю за моей спиной, но зачем ему убивать своего священника? Но вот турецкий султан и крымский хан... От них всего можно дождаться. О Великий Аллах, помоги, вразуми, не дай ошибиться, не дай впасть в грех. Да будет во всем Твоя воля, во имя добра всем адыгам».

У дома, что на краю селения Четаш, толпилось множество людей. Они собрались похоронить убитого адыга. Но где его похоронить? По этому поводу и разгорелся спор. На мусульманском? Но он уже был крещеным христианином, значит, как считали мусульмане, осквернит кладбище.

– Кладбищу этому, наверное, не одна сотня лет, значит, там похоронены не только мусульмане, но и люди дедовской веры. Даже чиристане есть. Было же время, когда наши предки принимали и чиристанство,– поднявшись на валун, неторопливо говорил седой в высокой папахе мужчина.

– О люди, дорогие селяне, дайте и мне слово свое сказать! – это пробился к валуну Тахо. Седовласый уступил ему место на валуне.

– Если кто меня не знает, скажу: я Тахо из селения Джигун, гость вашего многоуважаемого зиусхана Жанэ.

Приехал, чтобы разделить постигшее вас горе, чтобы горячими молитвами просить милости Аллаха. Вы только подумайте, какой великий грех свершился у вас. На земле наших отцов, правоверных мусульман, гяуры построили свою богомерзкую церковь, привели свое войско, вскинули свои мечи над нашими головами. И самое страшное, они стали нас сбивать на свой греховный путь. То, что произошло у вас,– это только начало грозного возмездия Аллаха... А кто привел гяуров с их патлатым попом? Это тот, кто предал всех нас царю урусов, своего сына единокровного отдал ему, предал гяурской вере. Мы должны опомниться, с благословения Аллаха подняться во весь свой рост...

– Пропусти-ка меня, пропусти,– похлопал Сибок по плечу тфокотля в мохнатой волчьей шапке. Тот оглянулся и удивленно воскликнул:

– О, главный зиусхан! Тахо, посмотри, кто пришел, как бы тебе худо с перепугу не стало.

– Зиусхан, куда же ты? Я хочу поздороваться с тобою! – засмеялся Сибок.

Тахо оглянулся и, прикрывая ладошкой рот, силясь быть грозным, взвизгнул:

– Если б не кашель, я показал бы тебе...– А тфокотлю в мохнатой шапке кинул: – Знай, и тебе не прощу твоего хамства.

– На том свете, что ли, куда тебе пора уже отправляться! Может, там хоть кашлять не будешь!

Вышел в круг Сибок, поднялся на валун:

– Уважаемый зиусхан Жанэ...

– Зиусхан, здесь Жанэ уже нет, это только его спина! – захохотал тот же тфокотль, что в мохнатой шапке.

Зашумела, загалдела толпа.

Сибок поднял руку, требуя тишины, обождав, пока все умолкнут, спокойно продолжил:

– Уважаемый зиусхан Жанэ, уважаемые селяне, мы приехали, чтобы выразить свое соболезнование родственникам и близким погибших. Смерть – это великое таинство, перед которым все равны. Каждый человек, кем бы он ни был,– творение Аллаха. Склоним же перед этим великим таинством свои грешные головы. Думаю, пусть родственники сами решат, где похоронить адыга.

– Скажи, зиусхан,– обратился к Сибоку старик, опиравшийся грудью на посох,– как и где вы хоронили наших воинов, которые погибли, воюя на стороне урусов?

Заговорили, зашумели – одни как бы осуждали старика за его вопрос, другие поддерживали.

– Здесь не надо много слов,– поднял руку Сибок.– Я понимаю тех и других. Раз уж зашел об этом разговор, позволю себе вот что сказать... Знают ваши отцы и деды, да и вы знаете, как нам не давали житья своими набегами турки, крымские татары, кумыки. Вот я и решил: надо нам подружиться с сильным государством, которое было бы нашим другом и защитником. Таким я определил Русь, с нею мы завязали добрые отношения. Наши воины были там, их воины теперь у нас. Не сам по себе я это придумал – жанеевское хасэ единодушно благословило меня. Если оно так же единодушно решит порвать с Русью, я тоже выполню его волю... А похоронили мы в Ливонии своих воинов с полным соблюдением нашего мусульманского порядка. А теперь о священнике урусов. Он ведь тоже – создание Всевышнего, его смерть, как и каждого человека, тоже великое таинство. Здесь неподалеку есть забытое греческое кладбище, там, считаю, и надо похоронить его.

В круг вышел мулла. Он, высказав добрые слова о погибшем адыге, продолжил:

– Я хочу сказать: все мы грешные, но есть такие тяжкие прегрешения, которые Аллах не прощает, сурово наказывает, как наказан за отступничество и наш селянин. И это все мы должны знать, чтобы не оступиться, не угодить в ад... Уважаемый зиусхан Сибок, я не со всеми твоими делами согласен, не все принимаю своей душой, но ты наш предводитель, данный самим Аллахом, поэтому во всем поддерживал и поддерживаю тебя.

Вскоре после похорон в Четаш прискакал воевода Вишнивецкий со своими воинами. Оставшись в гостиной вдвоем с Сибоком, он сказал, что из Московии прибыл гонец: царь приказал Богучарову всю русскую дружину увести в Астрахань.

– Надеюсь, князь, ты понял, что это значит?

– Ты, Вишнивец, хочешь сказать, что царь Иван договорился, как ходили слухи, с турецким султаном? Но ведь царь, как говорят, Божий помазанник, неужели он мог так обмануть меня...

– Ты все еще сомневаешься, князь, на что-то надеешься?

– Надеюсь и буду надеяться на царскую порядочность, пока своими глазами не увижу бумагу, самим им подписанную.

Воевода глухо, будто утробой своей, засмеялся:

– Тебя и близко к ней не подпустят, а если увидишь, чего доброго, глаза выколют. Так что оставь свои надежды.

Сибок отошел к окну, прислонился лбом к холодному, черному ночной теменью стеклу, долго молчал:

– Ты немногословен, воевода...

– Теперь уже не воевода, князь,– качнул тяжелой головой Вишнивецкий.

– Для меня ты был и навсегда останешься воеводой... Ты немногословен, каждое твое слово, как говорят, дороже золота. Должно быть, правда, эта черная правда – на твоей стороне. Значит, распрощаемся с тобой, поедешь в Московию за новой должностью, ведь ты здесь хорошо исполнил царскую волю...

– Нет! – резко перебил князя Вишнивецкий.– Думаешь, меня там возвысят? Скорее, на высокий кол посадят! Если возьмешь меня к себе, князь, пригожусь твоему воинству, а если не возьмешь – вернусь к своим полякам, другого пути у меня нет.

Сибок положил руку на плечо Вишнивецкому:

– Только у покойника один-единственный путь, а не у живого! Для меня будет большой честью стоять плечом к плечу с таким человеком, как ты, воевода. У нас говорят: даже змею можно выманить из норы добрым словом, добрым сердцем и даже подружиться с нею. Будем молить об этом Всевышнего, надеяться на него. Думаю, Вишнивец, о нашем с тобой разговоре пока никто не должен знать. Я не скажу об этом даже своему брату и сыну. Пока.

– Конечно. Я тоже хотел тебе сказать это же самое,– упавшим голосом проговорил Вишнивецкий.

А утром, едва успели возвестить зарю петухи, к воротам прискакало три всадника. Они привезли в Четаш новую весть: Давлет-Гирей приглашает к себе и ждет главного князя Сибока в своем крымском дворце.

– Готовься, сын, в дальнюю дорогу,– воодушевленно сказал князь Кудадеку.– Едем в Крым, а там, может, и в Стамбул отправимся.

16 Заказ 06

Черкесия прекрасна, изобилует плодоносными деревьями, орошается чистыми реками. Чарующими лесами покрыты белоснежные горы. Воздух здесь благорастворенный и чрезвычайно здоровый. Полагаю, что от этого происходит цветущая красота черкесов. Природа наряду с глубоко продуманной системой воспитания – вот основа красоты черкесов.

Ферран

Черкесы стройны, изящны и тонки в поясе. У них кровь алая, благородная, глаза черные, брови дугой, особенно у женщин, которым, я думаю, можно отдать предпочтение перед всеми другими женщинами мира.

Э. Дортелли д' Асколи

Как мужчины, так и женщины Черкесии приветливы, доброго нрава и целомудренны.

Н. Витсен

Черкесы высоко ценят щедрость и охотно отдают все, чем обладают, исключая, впрочем, коней и оружие.

Д. Интериано

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Как сказал мудрец, вдовый царь – это только полцаря, а царство без царицы – это только полцарства. Поэтому меж бояр уже гулял, шумел разговор: обязательно надо женить царя Ивана.

Если надо, значит, надо, тут нечего попусту ломать голову, а вот на ком?! О-о! Это большой, очень трудный вопрос и даже, может быть, судьбоносный, ведь недаром говорится: каковы царь и царица, таково их царство.

Вот тут царским советчикам, боярам было над чем поломать голову.

Чем ближе к трону стоял советчик, тем большая трудность в царских делах, будто гора каменная стояла перед ним. И трудная, и опасная. Надо было угодить не только царству, а может, и не столько царству, сколько царю, сколько самому себе, своей шее.

Царь сидел на троне. Перед ним стояли Оболенский, Воротынский, Репнин, Висковатый.

– Если высокое боярство считает, я согласен, однако на ком вы хотите меня женить,– царь поднял свой тяжелый взгляд.– Ну?! Чего же вы молчите?

– Великий государь и самодержец всея Руси, думаю, поступим, как издревле у нас повелось: соберем всех красавиц нашей благословенной Руси, а ты уж сам и выберешь, кто твоему сердцу окажется люб,– ответил Висковатый.

– Если вы ведете речь о всей державе нашей, а не только о ее самодержце, это, думаю, не годится. Сила нашей державы многим на западе колет глаза, может, породниться нам с какой-нибудь европейской страной? – лукаво прищурился царь.– Англичане от нас нос воротят. Да и датчане с немцами. А вот что такое Польша? Ведь поляки – славяне, можно сказать, братья по крови. Как мы живем со шляхетской Польшей? Это вы знаете не хуже

моего. Породнившись с нами, возможно, король Сигизмунд станет относиться к нам по-родственному, думаю я. У него на выданье две сестры. Вот и присмотритесь... Но так, чтобы не терять своего достоинства... Слышно, славятся красотой своей, мягкостью характера, добротой и материнством женщины из Черкасии. Недаром берут их в жены турецкие султаны, крымские, астраханские и ногайские ханы, персидские шахи... Ведомо мне, есть невесты у наших добрых знакомцев – у князей Сибока и Темрюка. Походите, полюбопытствуйте...

С Польшей ничего не вышло, Сигизмунд не хотел отдавать за царя Ивана Грозного свою сестру. Не без робости сказал об этом царю Висковатый, думал, рассердится самодержец, а в гневе страшен он, страшнее урагана, но, к удивлению боярина, он лишь усмехнулся:

– Тут и дивиться нечему. Разве ты отдал бы свою дочь за врага своего, а Сигизмунд на нас так и смотрит. Теперь я это уже твердо знаю. Выходит, у него ничего не осталось в душе славянского, да и как оно могло остаться, если он завзятый католик, папы Римского слуга. Страшный он человек. Жестокий и все воюет, воюет...

– Правда твоя, государь,– сказал Висковатый. «А сколько ты пролил крови своих верных слуг, православных христиан, сколько посадил на колья? Где Адашев, Сильвестр, где бояре из Избранной Рады, где их родственники? Сколько бегством из родной земли спаслось от твоего гнева? И все воюешь, воюешь! Тебе нужны Ливония, Варяжское море. На Сибирь поглядываешь, а теперь вот еще и на Кавказ положил свой страшный глаз...»

– О чем ты так сильно задумался, Иван Михайлович, о чем душенька твоя страдает?

Вздрогнул Висковатый:

– Да все о том же, великий государь, о святой Руси, как лучше устроить твою жизнь, чтобы был ты спокоен и радостен душою, ведь недаром говорится: как счастлив, спокоен, радостен государь, так и государство его.

– Хорошо сказал. Ведь и правда: о каком покое государства можно говорить, если сам государь не спокоен душою, если сердце его надрывается в тревоге.– Он подошел к киоту с неугасимой лампадой перед образом Спаса Нерукотворного: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианом на

сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство... Помоги мне, Господи, очистить Балтию от недругов, помоги вырастить сыновей моих во Имя Твое... Ты сказал: когда мужчина и женщина сочетаются в священном браке, то они становятся единой плотью. Пошли, Господи, такую мне женщину, чтобы она стала со мною, государем Руси православной, единой плотью».

Стоя за спиной у царя, молился и Висковатый: «Помоги, Господи, стоящему пред Тобою государю святой Руси, смягчи и успокой его сердце, чтобы мы, его подданные, жили с ним рядом в покое и благополучии. Пошли в жены и ему, и государству нашему достойную женщину. Успокой, Господи, в Царстве Небесном Твоем души рабов Твоих, лишенных жизни государем нашим. Верую, Боже, Ты и только Ты – единый Судья царю Иоану и нам, рабам Твоим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй».

Умиротворенным обернулся царь к Висковатому, посмотрев на него, возговорил душевно слова похвальные:

– Я доволен тобою, Иван Михайлович, спасибо тебе за добрые и мудрые слова. Иди, занимайся делами, и, что бы ты ни услышал, что бы ты ни узнал, доброе или дурное, я тоже обязательно должен слышать, должен знать. Чем ближе человек стоит к царскому трону, тем тоньше должен быть его слух, острее взгляд. Его ухо, его глаз, а значит, и ухо, глаз государя.– Царь помолчал и потом продолжил:– Я думаю, женщина, которая должна стать моей женой, а значит, и царицей, должна понимать, какая великая честь ей оказана, какая царственная ноша – высокая и очень нелегкая – ляжет на ее плечи. Иди, счастливо тебе.

День стоял тихий и солнечный, а перед полуднем, как говорят, будто с цепи сорвался ураганный ветер. Пригнал черные тучи, загромыхал громами, засверкал плетьми молний. Сорвал с крыши царского дворца лист железа, повалил, расчахнул надвое яблоню, стеною обрушился ливень...

Ту самую яблоню, которую посадил своими руками царь Иван, которая радовала его своей радостью и... своим яблоком принесла смерть Анастасии...

Как внезапно налетел ураган, так же внезапно умчался.

Из-под черной тучи выглянуло, будто из неволи вырвалось, солнце. И было оно такое яркое, такое радост-

ное! А царь подумал: «Не к добру этот огненный хлыст, ох, не к добру. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Он подошел к окну, увидел поваленную яблоню и побледнел: «Вот оно! Не беда ли уже это? Не ее ли начало? У-у, сколько лизоблюдов вокруг меня, завистников с черными душонками. Сначала с помощью моей любимой яблони они загубили Анастасию, радость мою, а теперь вот... Не к добру это, но ничего! Господи, да будет во всем Твоя святая воля».

Он кликнул постельничего Вешнякова.

– Да поможет тебе Бог, великий государь.

– Что мне одному, пусть всем поможет!.. Иди-ка сюда. Видишь, что сделала черная сила с моей яблоней? Кликни людей и тут же, прямо сейчас же вместо яблони посадите молоденькое деревцо, клен посадите, любимое дерево моих отца и деда.

– Сей момент будет исполнено, великий государь.

Не успела закрыться дверь за Вешняковым, вошел Висковатый. Глянул на него царь и отшатнулся:

– Что с тобой, боярин?! Ты светишься, будто месяц в ясную погоду.

– Значит, есть тому причина, великий государь,– весело ответил Висковатый.

Царь, продолжая с подозрением смотреть на боярина, сел в кресло.

– Ну?! Никак, Иван Михайлович, ты принес мне добрую весть или?..

– Есть и хорошая, очень хорошая, а есть и...

– Дурная?! – почти вскрикнул царь Иван.

– Так себе.

– Ладно. Откуда, о чем? – уже почти спокойно спросил царь.

– Письма от королевы англицкой. Ее величество получила письмо от Сигизмунда...

– Он, конечно, пишет королеве, что я хочу завоевать не только Польшу, но и все другие европейские державы. Если меня не сдержать, грозит он королеве, то я доберусь и до Англии. Он пишет ее величеству, какой я жестокий, кровавый правитель, настоящий дикарь?

Висковатый, выслушав царя, спросил:

– Ты, государь, уже читал это письмо?

Царь рассмеялся:

– Я и не читая знаю, что может написать богомерзкий Жигимонд.

– Он просит, он умоляет королеву о помощи...

Царь вальяжно откинулся на спинку кресла, озорно улыбнулся:

– Я и не знал, Иван Михайлович, что такой могучий, что могу всю Европу положить к своим царским ногам, к порогу святой Руси.

– Ты все-таки, государь, послушай, что пишет, как ты сказал, этот Жигимонд: «Еще совсем молодое государство москалей уже стало угрозой не только моему королевству, а всем свободным, культурным народам и государствам. У царя Ивана огромная армия, очень хорошо вооруженная, хорошо обученная военному искусству...»

Царь поднял руку, дескать, хватит.

– Он прав, ушли в прошлое разрозненные княжества русских людей, под солнцем теперь стоит единая, сильная держава... Дикари. Повремени, Сигизмунд, и ты увидишь Русь высоко-высоко в чистом небе, увидишь, как у нас, у русичей, многие будут учиться добру, уму, чести, а это и есть настоящая культура... Теперь дай мне письмо королевы.

Ушел Висковатый.

Иван прочитал письмо, перечитал еще раз, а в третий остановился на словах: «... таким образом, общаясь друг с другом, будем бороться с нашими врагами, проявляя единство и дружеское согласие между собой. До тех пор, пока будем проживать Богом время, даем Вам наше королевское слово относиться к вам, Государь, и Вашей державе, как это сказано в каждом написанном Вам слове».

Встал Иван Грозный.

Поднялся во весь свой рост, даже сутулость его распрямилась, и почувствовал себя небывало большим, сильным.

Он каждый день слышит поток льстивых ему слов, но не верит им, иногда даже опасается: «Раб он и есть раб, и его слова, какие бы они ни были – рабские. Даже если и веришь им, они не дают тебе такой радости, какую дают слова противостоящего тебе. Пусть он лукавит, но это лукавство сильного, потому и цена ему другая».

С еще большей страстью и усердием – сам не зная покоя и своим подданным не давая – вел он государствен-

ные дела, обсуждая их с боярами, воеводами, всячески поощряя мастеровой люд, создававший вооружение. Приказал заново отстроить сгоревшую типографию в Печатном дворе, сделать ее лучше, чем была, чтобы больше выпускала добротных книг. «Видишь ли, мы – дикари. Да у тебя, Сигизмундишка, и десятой доли не делается того, что делается с Божьей помощью у нас. Погоди ужо, погоди! Ты еще увидишь, что такое православный русский народ – душою чистый и добрый. И не только для себя, а для всех живущих, как и мы, во имя добра, чести и совести. Конечно, не сразу и не просто это делается, но мы – народ настойчивый и терпеливый. Все сдюжим!»

Душою от государственных дел отдыхал царь Иван Васильевич с сыновьями Ваней и Федей. Ходил с ними в церковь, учил их святым молитвам. Случалось, в лес выезжал по ягоды, по грибы, как он говорил мальчикам, «полюбоваться Господней благодатью, послушать ее». Хорошо было с ними, но мало и не совсем так, как хотело, как требовало его мужское сердце, не привыкшее к ласке душевной.

После того как поляки не пустили дальше своих ворот царских сватов, они побывали в Германии, Австро-Венгрии.

В Датском королевстве им сказали:

– Если царь Иван хочет жениться на нашей принцессе, пусть сам приезжает, пусть покажет себя, а то ведь такое рассказывают о нем, о его жестокости, что нам даже страшно подумать.

Англичане очень хорошо, с почестями встретили сватов, с неменьшими и проводили, но насчет невесты ничего определенного не сказали. Мол, после сообщим.

Висковатый понимал: сказать царю правду – значит вызвать бурю недовольства, и он пошел на хитрость.

– Объехали мы, можно сказать, всю Европу, и скажу тебе так: базар большой, да пустой. Все какой-то худосочный народишко при правительствующих дворах. Особенно женский пол. То толстая и рыхлая, похожая, скорее, на сдобную булку, чем на девушку. То длинная и тощая, как тарань сушеная. А чтобы стройная, дородная, с живым веселым взглядом или с женской горделивостью? Нет, не видели мы таких принцесс. И отчего это у них, великий государь, не пойму. Те заморские красавицы с нашими

боярскими девчатами – просто серая тень. У нас на Руси, государь, такие красавицы...

– И чего же они такие там...– Иван Грозный, сделав вид, что не слышал Висковатого, спросил:

– Как ты говоришь, худосочные? Может, голодом их морят? – засмеялся царь.– Нет, Иван Михайлович, в другом дело. Сколько в Европе государств? С десяток, наверное. Женят тамошние монархи да замуж отдают свои чада между собою, между своими домами. И так из века в век, вот я и думаю: у них там уже пошло, как говорят, кровосмешение, от которого и идет в потомстве вырождаемость, чахлость. Ладно, не будем пока с этим торопиться, нельзя в нашу кровь допустить ту слабость. Позови-ка Юрия Васильевича да Владимира Андреевича Старицкого.

Подошел царь к окну, посмотрел на клен. У того уже набухли почки, вот-вот брызнет листва. Обрадовался, улыбнулся: «Живем, живем. Земля наша такая, солнце, небо такое, что все у нас живет и радуется».

Понимал Иван Васильевич: Висковатый пощадил его царское самолюбие и сказал полуправду. Понимал, что молодую, но уже сильную Русь побаиваются в королевской Европе, не верят в нее, значит, и нечего рисковать своими детьми.

Усадил царь братьев напротив своего кресла. Передал им свой разговор с Висковатым.

Юрий понял то, что государь прятал за своими вроде бы благополучными словами, и смотрел на старшего брата не только сочувственно, но и с обидой за него. Даже ревностью: как они посмели отказать великому государю Руси, кто они такие?!

Владимир был под хмельком и безо всяких расхохотался:

– Молодец, Висковатый, все там увидел, все понял. Правильно, у нас своих обезьян хватает, хоть вывози их туда! Ты, Иван Васильевич, кроме того, что великий государь, еще и видный мужчина, значит, и царица должна быть под стать. Высокой, дородной, с большими, светлыми и сильными глазами царицы...

– А какие должны быть глаза у царицы? – улыбнулся царь.

– Как у тебя. Красивые, повелительные и привлекательные, особливо последнее зело важно для женщины.

– Это для кого еще – привлекательные? – нахмурился Иван Васильевич.

– Для своих подданных. Для них она должна быть самой красивой и привлекательной, за которой каждый пойдет не задумываясь. За царицей, государь, за царицей, стоящей под одной короной со своим повелителем.

Помолчали все трое.

– А не послать ли нам сватов к черкасам? – как бы осторожно спросил царь.

– Они же, эти черкасы – дикие! – удивленно воскликнул Юрий.

– Не скажи,– покачал головой царь.– Или ты не видел, какие красавцы их парни, что у нас при дворе служат, или не знаешь, как они себя показали на Ливонской войне?

– Так то парни, государь,– ответил Юрий,– а женщины...

– Красавицы, достойные собою, недаром на них женятся султаны, ханы, шахи.

– Они же мусульманки! – не унимался Юрий.

Царь весело рассмеялся:

– Сегодня – мусульманка, а завтра выйдет из церкви православной христианкой. Говорят, черкашенки очень преданы своим мужьям, семьям.

Утром следующего дня царь наказал боярину Федору Вокшерину:

– Готовься к поездке на Кавказ. Возьми с собой Голохвастова и Федцова. Там сейчас воевода Вишнивецкий. Я его отозвал в Москву. Если встретишься с ним, возьми с собой...У князя Сибока, говорят, дочь-красавица. Если она вам понравится, сватайте ее в царицы, а если не понравится, поедете к князю Темрюку. У него тоже дочь на выданье. Ту красавицу, которая вам понравится, привезете в Московию на смотрины.

II

Княгиня Загирета осторожно, чтобы не обидеть мужа своим женским словом, спросила:

– Сибок, что там у вас в Крыму, в Турции, случилось? Кудадек приехал оттуда каким-то другим. Хмурится, сторонится всех. Все один да один. Думала, уж не заболел

ли? Присмотрелась и поняла – если заболел, то недобрыми думами...

Князь точил оселком кинжал. Нахмурился и сердито заширкал камнем: «Душою заболел... Вот у него и спросила бы, а чего мою душу бередить. Ты родила его, грудью своей вскормила, учила ходить, а он, научившись и окрепнув, сам по себе пошел, по такой тропинке, что уже и неподвластен тебе. Если у него сердце заболело – напои настойкой целебной травки, но когда болит душа, не найдешь такой травки, никто не знает ее... Наши дети, княгиня, становятся такими, какие мы с тобой, или похожими на нас, на нашу греховность. Ни ты, ни брат мой, ни дети – никто не знает, кроме стрельца Богучара, что я крестился в православие. Мужчина он крепкий на слово, а однажды назвал меня крещеным именем – Василием. Хорошо – рядом никого не было. Я подумал тогда, княгиня, повторяя в церкви слова священника: «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым», что делаю это не для себя, а на благо моего народа, подумал: Всемилостивый Аллах простит мне этот грех, ведь в сердце моем был и остается один Он. Однако, княгиня, не напрасно говорят: все тайное рано или поздно становится явным. Султан Сулейман в разговоре с нами, усмехнувшись, назвал меня человеком трех богов. Откуда, от кого он узнал, ветром, что ли, ему принесло?.. Слышал и Кудадек эти слова. Я ждал от него вопроса, но не дождался. Никак затаился, никак уже взрослым, самостоятельным мужчиной становится?..»

– Ты меня не слышишь, зиусхан? Все ширкаешь и ширкаешь своим камнем по железу! – раздраженно сказала Загирета.– Разве трудно тебе уделить мне хоть немножко внимания?

– Я слышу тебя,– не переставая ширкать, тоже не без раздражения ответил Сибок.

Княгиня виновато улыбнулась:

– Я только и хочу сказать: неужели некому у нас наточить твой кинжал?

– Слава Аллаху, работников у нас с тобою пока хватает, но мое боевое оружие не хочет никого знать, кроме меня, только тогда оно и будет верным мне. Даже в самом трудном положении, мое оружие – это я.

– О каком еще трудном положении говоришь, Сибок? Сколько на твоем теле боевых шрамов, доставшихся от турок, от ногаев! А душевных сколько? От своих соплеменников?

Князь вложил кинжал в ножны и с улыбкой сказал:

– Вижу, тебе, как и раньше, не нравятся позвавшие нас к себе.

– Не знаю... Но хорошего от них не дождешься. Так я думаю своим слабым женским умом. Сделай, Аллах, чтоб я ошиблась, чтоб все у тебя, мой дорогой муж, было вопреки моему слабоумию.

– Хорошо. Это султан турецкий и хан крымский, а царь? Он ведь тоже нам показал сыр, а попробовали мы его на вкус – оказался камнем.

– Правда твоя. Я ведь тоже думала – сыр, мед. Была своим женским сердцем за тебя, за твое дело. Была...

– А теперь?

– Прости, зиусхан, прости меня, не женское это дело – вмешиваться в мужские дела, тем более – большие, но если ты спрашиваешь, отвечу: не верю ни тем, ни другим, ни третьим.

– Никому не веришь?! – вскинул в удивлении брови Сибок.– Но как тогда жить?! Скажи мне, женщина, скажи, мать детей моих, как? Или это секрет? – усмехнулся он.

– Вы, мужчины,– усмехнулась и Загирета,– это сплошные секреты, так пусть у меня будет хотя бы один свой секрет, хоть одна от вас тайна, которую храню в своем сердце.

– Ладно, на этот раз будет по-твоему,– махнул рукой Сибок.

«Ну вот, отмахнулся, будто от мухи, ушел в самого себя, теперь не подступись к нему – не увидит, не услышит... Говорят, муж и жена – одно целое. Нет. Муж и жена – это два дома под одной крышей. Под одной крышей, но два, и часто каждый из них бывает сам по себе. Мужчина никогда не поймет, что такое носить под сердцем своего ребенка, свое будущее, что такое родить его. Просто родить. Как это? А никак, если сам не родил. Как растить его, что это такое кормить своей грудью, самой собой? Мужчина – это кинжал, конь. Женщина тоже может с кинжалом в руках, когда надо, защитить свой дом, своего мужа, но это будет по-женски, совсем не как у мужчин. Сорок лет мы

живем с ним вместе. Вместе и отдельно. Я всегда принадлежала ему, только ему одному, никогда не хитрила с ним, не делала ничего дурного. В семье всякое бывает, но каждый раз я первая шла к нему с миром, прикрывая горечь обид добротой, улыбкой смирения и ласки. Я мало или почти не вникала в его мужские, княжеские дела, но они всегда были в моем сердце. Своим сердцем, своею душой всегда была с ним... Правильно говорят: дети съедают родителей. Одно дело – Камболет и совсем другое – Кудадек. Конечно, он почти уже воин, вникает, как и должно, в отцовские дела, но чисто мужское начало берет свое. Ему надо больше бывать на скачках, на свадьбах, на разных игрищах, где бывают девушки. Отец очень занят своими делами и считает, ему не до этих глупостей. Ах, мужчины, мужчины! Кто вам посочувствует, кроме нас, которые носят платки». Она улыбнулась, взглянула на него светлым взглядом:

– Я пошутила, Сибок. Какие у меня могут быть тайны от тебя. Конечно, ты прав: человек без веры – это не человек, а чурбан... Знаю, ты не согласен со мною, но раз спрашиваешь, конечно, хочешь правды, ее и скажу: я поддерживаю тфокотля Калакута.

– Что-о?!

– Мы недовольны сейчас урусами, были недовольны турками, крымчанами, но разве мы нужны им всем со своими бедами? Мы нужны царю, султану, хану, нужны их выгоде, нашей богатой землей. Наши слезы для них все равно что вода. Мы нужны только своему государству, о котором говорит Калакут. О твоем народе болит только твое сердце. Только твое сердце жгут слезы твоего народа, а для всех других они просто солоноватая вода.

Встал Сибок, неторопливо прошелся по комнате, подошел к очагу, поворочал кочережкой холодные черные угли, потом сел: «Надо вместе прожить сорок лет, чтобы на сорок первом понять, с кем ты жил, как дорог, как нужен тебе этот человек...» Не показывая своего смущения, удивления и радости, оставаясь мужчиной, князем, он спокойно и твердо сказал:

– Валлахи, ты права, но не сегодня надо браться за это дело. Когда скакун уже промчался мимо тебя, разве ухватишься за его хвост?

– Говоришь, уже промчался мимо? Значит, хану теперь будешь улыбаться да кланяться, благодарить неизвестно за что?

– Нет! – воскликнул князь.– Крымцы, случалось, не раз нападали на земли урусов, побаивается их царь Иван, а теперь пусть посмотрит на наш союз с ханом,– сказал это Сибок и как бы споткнулся.– А что, что мне в своем одиночестве оставалось делать? – И совсем как бы про себя уронил: – Так бывает с каждым, кто кланяется сразу трем богам...

– О Аллах, благослови, помоги нам, грешным! – И, по-своему поняв мужа, добавила: – Ради благополучия Кудадека, всех моих детей я обращаюсь ко всем богам, возвышающимся над нами. Молюсь и нашему Аллаху, и Божьей, Христовой Матери, и богам наших предков.

– Да-да! Но самый главный, Всемогущий, самый Милосердный – наш Аллах... Значит, и ты заметила, что изводится тоской наш Кудадек?

– Не только я, даже Минсура и Камболет, все домашние озабочены. Спрашивают, расспрашивают, а он молчит. Молчит, и все. Плохо это, ой, плохо.

– Не приставайте к парню, ему и без вас сейчас тяжело.

– А будто тебе легко?!

– Я сам взвалил на свои плечи этот груз – мне его и нести, а Кудадек молодой, неопытный, у него еще силы не те. Да и умом ему надо еще многое познать, понимать, уметь распутывать, ведь жизнь – большая мастерица запутывать, завязывать разные узлы. Боюсь, как бы он не свернул по молодости куда-нибудь не туда. Хотя ничего худого не могу сказать о нем. Он – мой сын, он – старинного рода Каншауковых, настоящий наследник.

– Тебе не кажется,– обратилась княгиня и остановилась, как бы решая – сказать или не сказать. Помолчала и все-таки сказала: – Тебе не кажется, что он... как там у них... клятву дают, когда поступают в царское воинство. Не думаешь, что Кудадек, дав такую клятву, приняв веру православную... ну как тебе объяснить...

– Я понял тебя. Может, может такое быть, ведь настоящий мужчина не позволяет себе бросать слова чести на ветер.

– Но если ты отвернулся от урусов, ушел от них, а он...

– А он – как он. Это дело его, ведь наш Кудадек, можно сказать, стоит у царского трона великого государства. Это великий почет.

– Но ты же только что сказал, что он во всем поддерживает тебя, идет с тобою...

Князь поудобнее умостился в мягком кресле, улыбнулся:

– Ты же мудрая женщина, знаешь, что от восхода солнца до его захода погода может измениться несколько раз – ветер то подует, то стихнет, то будет сухо, то грянет такой дождь с градом, что!..

– Не говори мне этого! – со слезами на глазах заговорила княгиня.– Как это наш сын может стать нам чужим, даже врагом? Он принял гяурскую веру, взял в руки их меч! Думаю, они его околдовали!

– Не гневи Аллаха, женщина! Все в его воле, в его святых руках. Надо не гневить, а молить Его о милости к нам, к нашему единокровному сыну.

– Но, Сибок,– княгиня стала успокаиваться, смахнула концом платка слезу,– ведь говорят же в народе: на Бога надейся, а сам не плошай... Я думаю, нам надо поехать в Кабарду. Слыхала, дочь Идаровых – красавица из красавиц, будто девушка ангельского обаяния. Кудадек бывал там. Княжна ему очень понравилась, он ей, как говорят, тоже пришелся по сердцу, и мы с тобою будем молить Аллаха...

– Умница, умница! Ты, Загирета, красива даже, когда плачешь. Не зря мы с тобою прожили столько лет – ты просто слышишь мои мысли.

– Не перебивай меня. Не только молодые понравились друг другу. Говорят, их дочь просто влюбилась в нашего сына, и сам Темрюк – тоже, а это, мой милый муж, что называется, дороже дорогого. Поженятся, она выбьет из его головы всякую глупость.

– Ну-у, это уж слишком, моя дорогая!

– Ничего, Сибок! Не опасайся. Пройдет положенное время, любовный туман, сделав свое дело, уступит место мудрости.

– Недаром мы прожили с тобой вместе столько лет, недаром!.. Мне как-то не пристало заниматься этим, как ты называешь, любовным туманом, ты и занимайся им, главная женщина Жанеи. Вот наступят погожие весенние

дни, бери полсотни всадников и отправляй в Кабарду сватов.

– Э-э, нет, главный зиусхан Жанеи, это не годится, ждать, когда наступит весна, когда наступят погожие дни, зацветут цветы, не-ет! Цветы от любви зацветают даже лютой зимой. И всадников надо не полсотни, а сотню. Может быть, и больше. В адыгской стране теперь много злых людей шляется. Один Мамий чего стоит.

– Ты сказала – в адыгской стране?

– Так и сказала, ну а что это значит?

Князь усмехнулся:

– Значит, вы с Калакутом адыгские земли уже объявили страной.

– Ты знаешь, мудрый Тлимаф сказал: кто посмеивается над Калакутом, над тем, что он задумал, тот посмеивается над самим собой, тот скуден умом. А попусту, сам знаешь, он никогда не говорит.

– Надеюсь, ты понимаешь – я вовсе не посмеиваюсь над Калакутом,– вроде как бы обиделся Сибок.

– Что ты, что ты, мой дорогой, как можешь думать обо мне такое! Тлимаф, конечно, имел в виду Тахо и Цахо. Эти два безумца и тебе немало гадостей наделали.

– Не говори. Но я и сам виноват в этом – не надо было мне соглашаться становиться главным зиусханом. Все плохое, что делают мне они и другие, от черной зависти. Правда, от их зависти не только мне бывает плохо, но и им самим, их самих изнутри гложет этот червь. Тахо болен чахоткой, Цахо чуть помешался умом... Но самый большой вред, самую большую беду приносит зависть всему нашему народу. Адыги не могут объединиться всеми племенами в единое государство, из-за зависти они не могут возвысить над собою одного, великого зиусхана, царя... Когда я обратил свой взор к царю Ивану, о, как они все закричали, какой только грязью не обливали меня, а что теперь скажут, когда их шеи будут пригибать к земле Турция и Крым, Русь? Кого винить будут? Опять меня? Но ведь получается то, чего они хотели.

– Да, Сибок, черная зависть делает людей злыми, а их души – грязными. И сколько их, завистливых, на нашей земле.

– Хватит, Загирета, а то мы ведь тоже от злых слов становимся злыми. Хватит.

– Послушай,– робко начала Загирета,– а может быть, если мы теперь повернемся к Турции, она с добром станет к нам относиться?

– Как бы не так! Мы нужны ей как рабы, а с рабами хозяева не дружат, они погоняют их, как погоняет всадник свою лошадь. Думаю, Русь с Турцией разделят между собою наши земли, рассекут народ. Вот и окажется одна половина у Турции, другая – у Руси. Словом, не станет адыгского народа, исчезнем мы. А виноваты будем мы, будет в том и моя вина. Ну, ладно, Загирета! – с болью произнес Сибок.– Давай лучше поговорим о чем-нибудь хорошем.

– Ну, давай, что у тебя хорошего,– раздраженно произнесла княгиня и пошла к выходу, но у двери остановилась. С горькой улыбкой спросила: – Дочка Темрюка и в самом деле очень красивая, красивее нашей? Может, это лишь слухи про нее такие ходят?

– Валлахи! – воскликнул князь, подумав: «Женщина, как говорят, и правда – омут, у которого нет дна». Подумал и громко засмеялся: – Ты думаешь, я ездил в Кабарду на смотрины?

А Загирета, ни капли не смутясь, продолжала свое:

– Я беспокоюсь – будет ли невестка красивой, достойной Кудадека? И не сердись, Сибок, пожалуйста,– это очень серьезно. Дело не только в тебе, во мне, в Кудадеке, а это касается всего нашего рода. Он во всем должен быть чистым, красивым, потому что постоянно у всех на виду. На него должны люди равняться.

Ушла княгиня, Сибок с горечью подумал: «Привезут черкешенку вроде бы из Кабарды, а получится – из Руси, привезут вроде бы в Жанею, а получится – в Турцию».

Он подошел к окну, и было не понять: от слепящего яркого солнца или по какой другой причине заслезились княжеские глаза.

Долго стоял он у окна или недолго – все стоял не в силах унять расходившееся сердце. Наконец оно утихомирилось, но еще не совсем. Просто ровнее забилось.

«Первым не простит мне эту беду Калакут. Говорят, он сказал где-то в гостиной, что я теперь своими делами похож на Мамия, как бы предал адыгов ногаям. Глотай, глотай эту горечь, главный князь Жанеи. Ты решил: вернется Калакут из Абадзехии, надо непременно поговорить

с ним. И о тебе, похоже, гласит пословица: адыг силен задним умом. Но что поделаешь, я ведь тоже – адыг. Конечно, не следовало строить из себя умника, а поговорить с ним, предводителем тфокотлей, большинства адыгского народа, когда собирался ехать в Московию».

Ему совсем не хотелось есть, но он съел кусок жареной баранины, запил кислым молоком, чтобы домашние не засуетились: мол, ничего не ест!

После завтрака ему захотелось немного проветриться, и он с двумя байколами поехал лугом. Как бы продолжая свое взъерошенное настроение, сумятицу душевную, он бросил резвого скакуна в галоп. Привстал на стременах и помчался навстречу ветру, солнцу, бежавшей к нему тропинке. Помчался, а сзади кто-то бросил ему вдогонку: «Галопом хорошо скакать навстречу ветру, а если мысли в твоей голове поскакали галопом, то это уже не мысли, а пустой ветер».

Придержал разгорячившегося коня Сибок, перевел в мягкую, как он сказал, раздумчивую рысь.

«Народная мудрость веков – великая мудрость, народные обычаи, традиции – чистота и святость духа, но как же случилось, почему произошло, что с этой мудростью и святостью вместо «мы» взяло верх «я». Выходит, не наша под родным небом страна, а мой дом, мое княжество, моя папаха, моя правда превыше всего... А кровь-то у всех одинаково алая, слезы одинаково соленые...»

– Зиусхан! – окликнул князя байкол Айдар,– там, на взгорке, появилось с полсотни всадников.

– Адыги?

– Нет.

– Ногаи, что ли? – встревожился князь, всматриваясь в даль.– Э-э, да это царские конники. Но я же запретил Вишнивецкому покидать укрепление!

– Они, зиусхан, повернули в наше селение.

– Поворачиваем и мы!

Вскоре навстречу князю прискакал Матыж:

– Зиусхан, к тебе приехали гости.

– Но я же запретил Вишнивецкому...

– Приехал с гостями из Московии и зиусхан Дударук.

– Зачем? – встревоженно воскликнул князь и резко тронул коня.

Гости уже спешились и стояли у ворот. Спешившись, Сибок сердито закричал байколу:

– Почему гости у ворот, а не в доме? Прошу, дорогие гости, проходите нам всем на радость.

В гостиной Дударук представил гостей по их старшинству. Первым назвал Федора Вокшерина – курносого, рыжего, с подстриженными бородкой и усами. Второй – Никита Голохвастов – длинный и сухой, как жердь. И третий – Иван Федцов, волосатый, чернобородый, в мохнатой шапке.

Все расселись, как полагалось, на положенные места. Кудадек и Камболет стояли у дверей.

Во дворе, на кухне, в сарае праздничная суета. Свежевали барашка, разливали по кувшинам медовуху и бузу. На костре кипела в казане вода. Уже раскладывали по тарелкам копченые сыр и мясо.

В гостиной, как обычно, у гостей спросили, как им было в дороге, а гости у хозяев – все ли ладно, все ли хорошо у них дома. Обычный скучный, но обязательный разговор.

– Дударук, я уж думал, что не увидим тебя в наших краях. Говорят, у тебя много важных дел, наверное, в такую даль ты приехал к нам по каким-то очень важным и неотложным делам?

– Все хорошо, все ладно у нас с вами, а приехал я по счастливому случаю.

– Это что ж там за счастье такое? – с холодностью и даже усмешкой проговорил князь Сибок, как бы показав гостям теперь уже иное отношение к ним.

Дударук глянул на Вокшерина, легким кивком приглашая к беседе.

Гости встали и Дударук тоже.

– Это зачем же? Я разрешаю всем сидеть в моем присутствии. Тем более гостям,– сказал Сибок.

– О большом государственном деле, которым нас всех удостоил великий государь, неприлично говорить и слушать сидя.

– Если так, то и мы встанем, это совпадает с нашими обычаями. Встанем, Ацамук.

– Как вы знаете, наш царь-батюшка – вдовый,– продолжал Вокшерин,– он решил, как и положено отцу дер-

жавы, обзавестись семьей. Ему, знакомо дело, известно, какая красавица есть на выданье у главного князя Жанеи – Сибока. Вот он нас и прислал. И если будет на то Господня воля, его самодержавная воля, он породнится со старинным княжеским родом.

– Что?!..– возмутился Сибок.– Если бы знал, что вы за этим приехали, не поднялся бы с места. Садитесь! Все садитесь!

Кудадек и Камболет, удивленно переглянувшись, тихонько ушли, не должно им присутствовать при таком разговоре.

– Ну, что скажешь, Ацамук?

– Я скажу то же самое, что и ты сказал.

– Дударук, переведи гостям то, что я сейчас скажу... Как я могу породниться с царем, который обманул меня? Не только обманул, но и предал. Как после этого я буду смотреть ему в глаза? Что я скажу про это своей дочери, всем своим детям и своему, как вы сказали, старинному роду? Я не знаю таких слов, с помощью которых можно примирить предательство с простой человеческой честностью... И не пойму, зачем царю Ивану искать себе жену за тысячи верст от своего дома. Или на Руси перевелись достойные женщины царю-вдовцу?

Побледнел Вокшерин и встал. Поднялись и его спутники. Лишь Дударук остался сидеть.

– Куда же вы, гости? Дело делом, а честь честью,– сказал Сибок на плохом русском языке.– Уж если вы находитесь на нашей земле, постарайтесь нас не обижать. Мы не отпустим вас, пока не пообедаете с нами, не отдохнете перед дорогой. Ведь вы верующие люди, избавьте нас от греха.

Гости сели. Байколы начали заносить анэ с яствами.

Кудадек рассказал на женской половине о том, что произошло в княжеской гостиной. Минсура вдруг залилась горькими слезами. Мать обняла ее:

– Ну чего ты, девочка моя? Что с тобой, миленькая? И зачем тебе нужен тот старик в чужедальней стороне, хоть он и царь. Не царь и не зиусхан нам, женщинам, нужен, а любимый. Как солнышко, он нужен девичьему сердцу... Кудадек, скажи Айдару, пусть завтра же передаст Хатаю, что его ждут в нашем доме.

Утром следующего дня перед тем, как отправиться в дорогу, в Кабарду, Федор Вокшерин, с похмелья от выпитой вчера бузы, шепнул князю:

– Позволь, князь, хоть одним глазком взглянуть на твою красавицу, которая не удостоила честью нашего великого государя.

III

Соседская старуха пришла к Дарие за ситом и, чем-то душевно тронутая, уже у ворот заговорила старчески певучим, не громким, но проникновенным голоском:

– Славная ты моя, красавица моя добрейшей души, редкостная рукодельница и работница. Осчастливила ты старика Накара, украшаешь его нелегкую жизнь, избавила от забот и беспокойств его старушку и дочерей. Свекровь со свекром тоже не нахвалятся тобой. Зачтется тебе Аллахом твоя доброта. К нам тоже заходи, не забывай, мы радуемся твоей радостью. А брат, о, какой твой брат Калакут! По всей земле нашей знают его, очень уважают. А мы – твои соседи, приятно нам, очень приятно... И откуда все это у тебя, как могла вырасти райской птичкой без отца и матери, испытав такую тяжесть в чужедальнем рабстве. Видно, счастливенькой уродилась.

Смущенная Дария принесла ей сито, проводила до самой калитки.

Солнце то пряталось за веселыми белыми облаками, то с улыбкой выглядывало, чтобы снова спрятаться и снова показаться лесам и горам, озаряя их теплым ласковым светом.

«Райская птичка. Счастливенькая... Счастье – на всей земле, как звезды на небе»,– подумала Дария. Даже в чужедальней стороне, куда ее продал Ванатуг, ей встречались люди с добрыми, приветливыми улыбками, хорошими, ласковыми словами. Случалось даже, кто-то украдкой давал ей, рабыне, сладости или булочку. Да, она росла без отца и матери, но жила с братом, который, как она считала, один стоил многих добрых людей. Ей хорошо было в селении, очень хорошо в семье князя Сибока. Княгиня Загирета относилась к ней так же по-матерински, как и к своей Минсуре. Она научила их добрым девичьим

манерам, вязать и вышивать, шить себе платья и готовить вкусную еду... «Счастливенькая... а счастье мое в том, что Калакут, Загирета, соседские старушки научили меня всюду находить его крупицы, собирать их и беречь».

Вечером приехали Калакут с Хатаем, Псамитом и Дауром. Они переночевали и утром отправились в Абатохабль на сходку тфокотлей.

К встрече Калакута и его друзей, когда они вернутся со сходки, и готовилась Дария. Забили овечку, козленка, зарубили двух индюшек, несколько кур. Жарила она мясо, готовила жгучий соус с чесноком, луком и душистыми травами к кукурузной каше, пекла румяные воздушной мягкости лепешки, разливала по кувшинам бузу и медовуху.

Попыталась помочь невестке свекровь, но Дария, поблагодарив ее, пояснила, что у нее уже все, можно сказать, готово.

– Ну и расторопная! – удивлялась свекровь.– У тебя не руки, а прямо огонь какой-то, за что ни возьмешься – все у тебя спорится, все получается, даже смотреть радостно.

«Интересно, сколько приедет голодных мужчин, хватит ли моей еды?» – подумала Дария и вдруг...

Что-то случилось у нее во чреве. Что-то шевельнулось там, толкнуло...

«О Аллах! – воскликнула она.– Это он. Он!»

Дария осторожно опустилась на тахту, положила руки на живот. Горячие слезы скользнули по ее щекам. Веселые, радостные слезы.

«Ну еще, еще отзовись,– попросила она, и он, будто услышав ее просьбу, толкнулся еще несколько раз и затих.– Радость ты моя, светлячок ты мой! Пробудилась душенька твоя, вздохнула. Вот отец твой приедет, сколько радости у него будет!»

И так ей хорошо сделалось, словно весь мир вокруг стал другим.

Зашумел, зашелестел по верхушкам деревьев ветерок, и ей показалось, что это для нее он пропел свою нехитрую, такую приятную песенку, пропел и удалился, словно боясь утомить.

«Говорят, когда женщина понесет, ей нельзя видеть пролитую кровь, если убивают даже курицу... Вот как, вот

как у меня получилось! – обрадовалась Дария.– Сегодня свекор, будто Аллах ему подсказал, со всем без меня управился, я и не видела. Спасибо тебе, Великий Боже».

Во дворе послышался ворчливый голос свекрови:

– Вот поганцы, им, видишь ли, нравится сидеть и оставлять свои кучки на веранде. Пошли, пошли в огород,– это она беззлобно, даже дружески выпроваживала индюков.

«Хотя немного шумливая, но добрая душой, как о ней говорят, муху и ту не обидит. Надо сказать ей, что пробудилась во чреве моем душенька ее внука. То-то обрадуется! А Калакут? Следовало бы оставить ему свои государственные дела. Возвысился вон как во всей адыгской земле, и князья ему, тфокотлю, этого не простят. О многих князьях только и знают, что сидят они в своих крошечных княжествах, а этот! Кто-то сказал: от моря и до моря с уважением произносят его имя. Ох, дядя Калакут!»

Будто порывом ветра принесло к воротам топот и ржание лошадей, а вскоре послышался и бас Калакута:

– Ну что, Накар, я вижу, ты уже ходишь. Хотя и не прытко, но сам. И рука не висит плетью, даже здоровается со мною. Молодцом уже выглядишь, помоги тебе Аллах.

– Смилостивился надо мною Аллах. А еще – твоя сестра. У нее золотое сердце, доброта тоже настоящая.

– А разве доброта бывает ненастоящей? – удивился Калакут.

– Еще как бывает! Иной мудрец, поглядишь со стороны, делает тебе вроде бы добро, а присмотришься – он себе, брюху своему угождает да еще за это благодарность от людей хочет получить. Есть, есть такие кривобокие и двуличные.

Дария вышла на веранду.

– Вот она, твоя сестричка, доброта наша,– легким поклоном указал на нее Накар.

Покраснела, застеснялась Дария:

– Просим, дорогие гости, откушать наших хлеба-соли!

Накормить досыта столько мужчин да еще после дороги – дело нелегкое, много анэ надо уставить снедью и внести в гостиную. На помощь Дарии пришли соседки, которыми командовала веселая своим гостеприимством свекровь.

Только поздней ночью мужчины начали расходиться по домам. Калакут и Тамтеч провожали Хатая, задержались у калитки, заговорили.

Дария стояла у раскрытого окна.

– Весь день меня окружали люди, не мог наедине поговорить с тобой,– сказал Хатаю Калакут,– а хочу тебе сказать кое-что важное.

– Что-то нехорошее? – встревожился Хатай.

Калакут пожал плечами:

– Как тебе сказать...

– Так и скажи! Да не тяни ты, пожалуйста!

– Царь Иван прислал сватов в дом Сибока, к Минсуре. На смотрины прислал своих воевод. Приехал с ними и Дударук.

– Как это?! – вспыхнул Хатай.

– Как обычно ездят сваты, устраивают смотрины,– усмехнулся Калакут.

– А-а... что, царь на своей земле не мог поближе найти невесту? Да и откуда он узнал, что где-то на Кавказе растет для него красавица?!

– Хитрость тут небольшая,– улыбнулся Калакут.– У царя служит Кудадек, да и сам Сибок не однажды встречался с ним, так что... тут все очень просто. Тем более не только Иван, но и другие цари да короли любят брать себе в жены дочерей царей и королей. А разве наших девушек не брали султаны, шахи и ханы?

Поник головой Хатай. Тяжело вздохнул:

– Большую беду ты мне привез...

«Тяжко тебе... а мне, думаешь, было легче, когда ты к Минсуре поворотил свои красивые глаза»,– подумала Дария. Подумала, и ей стало жалко Хатая, она своим сердцем услышала боль его сердца.

– Калакут, ты же такой могучий, помоги парню,– как-то вроде бы весело сказал Тамтеч.

– А как я ему помогу? – усмехнулся Калакут.– Не идти же нам с тобою войной на царя Ивана. Не одолеем. Помочь может Хатаю единственный человек – Минсура.

– Но как она ему поможет?

– Очень просто. Сибок припомнил царю Ивану свою большую обиду и отпустил сватов, как говорят, несолоно хлебавши. Значит, все может решить только одна Минсура.

– Что же ты со мною делаешь, Калакут! Зачем устроил такое? – с обидой и восторгом вскрикнул Хатай.

– И еще я тебе должен сказать: до меня дошел слух, что тебя ждут в доме Сибока, очень ждут.

– Если такое дело, медлить нельзя, надо теперь же ехать со сватовством,– сказал Тамтеч.– Тебе, Калакут, не обязательно завтра быть на сходках в Дударукае и Патанте. С тех пор, как узнали, что Русь нас предала, там каждый день собираются на сходки. Не столько по делу, сколько побалагурить, как говорится, выпустить пар. Ты должен ехать к невесте с нами. С тобой дело получится быстрее и надежнее.

– Прошу тебя, Калакут. Ты мне столько добра сделал, помоги сделать еще одно, самое главное в моей жизни,– попросил Хатай.– Без Минсуры для меня белый свет померкнет.

– Ну зачем это говоришь, Хатай, будто красную девицу уговариваешь. Разве я тебе не друг или ты не знаешь, что твоя жизнь – часть моей. Белый свет померкнет, солнце потухнет,– поморщился Калакут,– или ты не мужчина!

На рассвете гости собрались в дорогу.

Калакут зашел проститься с Дарией:

– Мы не вернемся сюда, поедем в Жанею.– Он бережно обнял сестру.– Теперь вас двое. Он вырастет, станет богатырем, будет твоей надеждой, силой вашей семьи, а сейчас он – это ты. Твое доброе сердце, твоя радость, твой покой. Меньше хмурься, больше улыбайся, ведь твоя улыбка – его радость, его здоровье. Добрый, красивый, сильный племянник мне нужен. Будь умницей, моя маленькая сестренка.

Работники подвели к воротам оседланных коней.

Вышел проводить гостей и Накар. Поддерживая его под локоть, шел Тамтеч. Дария улыбнулась, вспомнив слова Калакута: «Он вырастет, будет твоей надеждой, силой вашей семьи». В лесу на охоте разъяренный кабан напал на Накара, и Тамтеч спас его от смерти. «Наша сила... Я тоже – твоя сила, отец, твоего внука. Вылечу, обязательно вылечу, не отдам тебя болезни. Мне принесли еще одну целебную травку. А одна старуха сказала: «Тамтеч такой сильный и храбрый, потому что Накар сильный и честный...» Но почему Хатая не видно?» И у нее проскользнула ревностная мыслишка: «Может, еще Хатай и Минсура...»

Дария тут же спохватилась: «Если мое добро, моя радость передаются ему, то и зло тоже? Нет, нет! Не смей, Дария!»

На околице Хатай уже ждал своих попутчиков. Под ним был великолепный верховой конь. Поводья, узда и седло отделаны черненым серебром. Вершиной этой праздничности, конечно же, был сам Хатай в высокой каракулевой папахе, в красных сафьяновых сапогах, в дорогом поясе из серебра и золота, при кинжале, в серой заморского сукна черкеске, яркой белой рубахе со стоячим воротником.

Увидел его Калакут и весело воскликнул:

– Вот это да! Вот это жених! А смотрит-то как! Не глаза, а горячая любовь! Самая привередливая красавица не устоит перед таким – растает и влюбится с первого взгляда.

– Зачем ты так, Калакут,– засмущался Хатай.– Как же мне иначе, ведь свататься едем. И еще к кому! Пусть зиусхан Сибок увидит: не его дворовый работник приехал свататься, а...

– Ну и ну, Хатай! – подхватил Калакут.– Пусть все знают, пусть все видят, кого мы везем!

– Конечно, ты же знаешь главного зиусхана. Ведь от царя великой Руси приезжали к ним сваты, а мы...

– Так его и родной брат не знает, как мы с тобой.

– Пусть Аллах сделает вашу поездку, ваше дело счастливыми! – поднялся в стременах, прощаясь с друзьями, Тамтеч.– Вперед, смелее, достойнее!

– Спасибо! – громовым басом ответил Калакут и дал шпоры коню. Веселым ржанием откликнулся ему скакун и понесся, распластав по ветру гриву и хвост,– будто взлетел.

Трем всадникам пел свою песню ветер. Он тоже знает, тоже чувствует того, кто с ним обнимается, кто радуется или печалится.

Вдоволь надышавшись свежестью встречного ветра, Калакут поднял на дыбы своего коня и тут же осадил, успокоил его.

– Когда мы выезжали из села, такое пришло мне в голову... Аллах, создавая человека, очень высоко его поднял над природой, дав ему, как говорят, чудо творения – ум. Но это чудо творения часто делает человека несчастным... Любое животное, скажем, бычок: он знает свой луг, свой

сарай, хозяина. Он не ведает, что такое смерть, кровавая борьба за власть, у него нет болезненного чувства самолюбия и честолюбия. Словом, нет всего идущего от умаразума, чем жив человек, чем счастлив и несчастен. Вот я не могу понять, зачем истратил столько сил на свое дело? Считал, что делаю доброе дело всем адыгам, а им наплевать на мои устремления, мои размышления, на беспокойство ума, заботы и болезнь моего сердца...

– Ты не прав,– сказал Хатай,– тфокотли считают тебя своим предводителем. И не только они, есть и зиусханы, которые тебя поддерживают.

Калакут усмехнулся:

– Это тебе лишь кажется. Только на словах я им нужен. Многие адыги живут в ограниченном мирке. Для них свое «я» превыше всего. Их мало интересуют заботы других людей. Ум, как говорят мудрые люди, лукав и страшно самолюбив, отчего и происходят многие наши несчастья.

– Это правда, Калакут, человек – не бычок,– согласился Псамит,– которого можно погонять хворостиной, остановить, когда захочешь, повернуть вправо, влево, а хоть и назад. Человек, прежде чем повернуть, должен обдумать: куда, зачем, что выйдет из этого. Вот ты, например, когда задумал создать единое государство адыгов, разве одним махом все понял, разве не ломал подолгу свою голову над этим?

– Конечно, ломал! Сколько дней, бессонных ночей ушло на это, но нельзя же бесконечно, без толку мозолить и мозолить свои мозги, домозолиться до того, что стало уже поздно о деле толковать. Пока мудрствовали, нас, народ наш, как бычка, освежевали и разрезали на куски. Стремление лукавить, неверие в самих себя привели к тому, что нет теперь от моря и до моря единой адыгской земли.

Псамит придержал коня и, наклонившись к Калакуту, негромко произнес:

– У меня уже закипели мозги!.. Может, в наших головах вместо ума одна глупость живет? Но хватит, прошу тебя... ведь мы едем по такому радостному делу...

Солнце клонилось к вечеру, когда у опушки леса Калакут увидел с полсотни всадников и карету, запряженную парой рысаков.

– Что за диво! Кто такие, откуда и куда?

Хатай застенчиво пояснил:

– Это... мой двоюродный брат по матери со своими друзьями. Я его попросил. Подумал – не везти же Минсуру в Беслинею верхом, вот и...

– Вот это, я вам скажу, любовь! – с восторгом произнес Калакут.– Молодец, Хатай! И чего ты застеснялся – пусть другие учатся у тебя. Правильно я говорю, Псамит и Даур?

– Конечно, не будем мешкать – вперед!

Вскоре вся кавалькада въехала в село Каншауково, а в доме князя Сибока поднялась веселая суета.

Сибок, скрестив руки за спиной и нахмурившись, прохаживался по гостиной. Ацамук сидел и встревоженно посматривал на старшего брата, не зная, что от него можно ждать: уж очень все казалось ему запутанным – белое с черным, радостное с безрадостным. И как ему, младшему, быть, чтобы угодить старшему и не поступиться самим собой, счастьем любимой племянницы.

Стараясь быть бесшумным и незаметным, ходил из комнаты в комнату Кудадек. Он знал, какими трудными, обрывистыми были тропинки, по которым шли к сегодняшнему дню Хатай и Минсура. Да и как эти две тропинки сольются теперь в одну. Он верил – все будет хорошо, поэтому радовался за сестру, за Хатая, за их любовь. И уже не понаслышке знал, что это такое. И пока ходил, пока думал о сестре и Хатае, перед ним все время то возникала, то куда-то исчезала Гошевнай, будто их тропинки искали друг друга и никак не находили,– все петляли и петляли. Улыбалась ему Гошевнай издалека, говорила что-то приятное. Ему чудилось, будто она говорила: «Я жду тебя, почему ты так долго не едешь?» Так ему казалось, вернее хотелось, чтобы она так сказала...

Минсура, одетая в белый наряд невесты, сидела в своей комнате, бледная, с бьющимся то радостно, то тревожно сердцем, а то и вовсе замирающим. Каждая минута ожидания ей казалась бесконечно длинной. «А вдруг, а вдруг... о Аллах!»

Девушки, укладывая вещи Минсуры, смотрели на нее с радостью и в то же время с грустью. Радовались за княжну, за ее любовь и грустили, тосковали в ожидании своего девичьего будущего.

Княгиня Загирета давала указания домочадцам, старалась быть, как и полагается в таких случаях, радостной и в то же время грустной из-за расставания с дочерью. Знала она: нечасто, ой, совсем нечасто в этой жизни бывают такие свадьбы – по горячей, обоюдной любви. Знала, что именно так было у Минсуры и Хатая, но помнила и другое, как они с князем не хотели выдавать ее замуж за него, как намеревались даже Хатая ... «О Аллах, ты же знаешь, как болит родительское сердце. Спасибо тебе, что уберег нас от тяжкого греха. Молю тебя, помоги им в будущей жизни».

Самым счастливым был в доме Камболет, который только и знал, что сестра Минсура и Хатай, которых он одинаково любил, счастливы. «А как же иначе?! Ведь они любят друг друга, вместе им будет очень хорошо».

Хатай с друзьями пошел в девичью, а Калакут с Дауром – в княжескую гостиную. Поздоровались с Сибоком и Ацамуком, сели на положенные им места.

– Мы пришли к тебе, зиусхан, по делу. Как говорится, не дай Аллах родителям дочь, которая не выйдет замуж, и сына, который не женится...

Сибок поднял руку, улыбнулся:

– Я догадываюсь, я знаю, по какому делу вы пришли. Если молодые любят друг друга, если Всевышнему угодно их соединить в семью, скажу: да будет так.– Помолчал князь, еще раз улыбнулся.– Если бы ты, Калакут, с этим добрым делом приехал пораньше, очень облегчил бы мою жизнь.

– О зиусхан, еще не родился на белый свет человек, который с точностью знал бы, что с ним будет завтра. Всего лишь на один день вперед, о многих же и говорить не приходится.

– Хотя бы на один,– с тоскою промолвил главный князь.

Они встали, пожелали, как говорят в народе, чтобы Минсура унесла из родного дома свое будущее счастье и оставила в нем столько же.

Когда застучала прощально колесами карета, увозившая Минсуру из родного дома, когда ускакали всадники, Сибок не смог удержать тяжелых слез, скатившихся из его тоскливых глаз...

IV

Прошло несколько дней, как отбыли московичи, приезжавшие к князю Темрюку на смотрины его дочери Гошевнай, а главная княгиня Мерем все еще не могла успокоиться. Ни муж, ни сыновья, ни родственники не могли ее убедить, что все случившееся – к добру, к счастью дочери, всей их семьи.

Княгиня в присутствии сватов еще как-то держалась, а когда они уехали, размякла, отдалась воле материнских чувств. То и дело из ее комнаты доносился плач с причитаниями. Темрюк не выдержал и зашел в комнату княгини. Мерем встала, вытираясь мокрым от слез платком, посмотрела на него грустным продолжительным взглядом.

– Сиди, сиди,– сочувственно сказал князь и сел напротив.– У меня ведь тоже болит отцовское сердце, но плакать да еще причитать, чтобы слышали все домашние, нехорошо. Нельзя нам боль своего сердца показывать, ведь на нас все смотрят, мы у всех на виду.– Он помолчал, потом негромко, но укоризненно продолжил.– И скажи, что случилось? Разве у нас похороны? Или беда какая в княжестве случилась? Вроде бы нет. Много бед прошумело над нами, но справились, одолели их. Слава Аллаху, все у нас складывается хорошо. Радуют наши дети, внуки. Как сказали московские гости, сын наш стоит у самого царского престола Руси. У порога младшенькой нашей не было отбоя от женихов из Кабарды, из Жанеи и Беслинеи, а теперь вот из Московии прислали своих людей. Разве это не почет, разве не видна наша Кабарда из самого далекого далека...

– Видна...– всхлипнув, сказала княгиня.– Но царские сваты ехали к Сибоку, а когда получили там отказ, к нам заявились.

– Верно, они заезжали по пути к Сибоку. Ну и что?

– А то! Сибок возвысился над ними, а у тебя духу не хватило. Пусть бы сначала походили, пооблизывались, глядя на такую красавицу...

«Правду говорят: яблоко от яблони не катится,– подумал Темрюк,– когда Балгайрук сказал сестре, что к ней из Московии едут на смотрины сваты, она ответила: «Получается, не из Московии, а из Жанеи едут; подумаешь, важность какая – царь. Да и что там за царь такой, неизвестно. Может, и посмотреть не на что. То ли дело – Кудадек, редкостный парень».– Нахмурился князь: взять бы плеть да всыпать вам обеим пониже спины, может, и поумнели бы. Ну ладно, ладно, а то ведь и сам окажешься, как они, в платке»,– примирительно подумал Темрюк и все-таки обиженно сказал:

– Верно, Сибок – человек крепкой воли, но зачем ты меня сравниваешь с ним?

– А что?! – усмехнулась Мерем.– Разве вы оба уже не главные зиусханы?

– Оба главные, оба предводители одинаково крепких земель, но если говорить начистоту... Мы были с ним в добрых отношениях в наших главных делах. Оба задружили с Московией, а когда Русь и Турция договорились о разделе адыгской земли, самих адыгов, Сибок подался в Крым к нашим исконным врагам, чуть не обнимается с ними. И неизвестно, чем это теперь обернется для всех нас.

– Вот видишь! – вспылила княгиня.– Разве я тебе не говорила!

– Что ты говорила?

– Сибок не разрешил сватам даже взглянуть на дочь, а я заставляла свою кровиночку ходить им напоказ – то принести в гостиную анэ, то унести... Ты ни в чем не советуешься со мною, со взрослыми сыновьями, не знаешь, что на душе у нашей бедной девочки. Хватит, мы двух старших отдали на чужбину, и они там исходят слезами в тоске по родному дому, по земле родной. Они, бедненькие, каждая сама с собою, говорят на родном языке, чтобы не забыть его, детишек своих учат адыгскому. И чему они могут их научить, если вокруг них с утра до вечера разговаривают по-ногайски.

– Подожди! – встал Темрюк.– Ты хоть думаешь над тем, что говоришь? Разве мы не вместе с тобой отдавали дочерей, разве не вместе с тобой радовались, что они обзавелись семьями, родили нам внуков? Разве ты не знаешь, если бы мы не породнились с ногаями, не подружились с царем, погибли бы от набегов Кайтука и его сыновей?

– Конечно, зиусхан!..– как бы спохватилась Мерем, но князь поднял руку и, прохаживаясь по комнате, продолжал:

– Турция и Крым, конечно, не будут довольствоваться половиной адыгских земель. Это понимает и царь Руси. Ему нужно Черное море, нужен покой на дальних границах, а покоя не будет, пока народ наш рассечен пополам. Вот и оказалось: Калакут смотрит дальше всех нас.

– Что вы все – Калакут да Калакут, это всего лишь тфокотль с мозолистыми руками!..

– Зачем ты так! – Темрюк остановился около княгини.– Калакут – предводитель, можно сказать, всех тфокотлей. И дело не только в том, что за ним, если такое случится, пойдет весь народ, перед силой которого не устоят никакие зиусханы, будь они хоть главными, хоть великими, но и в том, что на его стороне большая правда, которую мы не понимаем или боимся. А, как мне говорили, царь понимает Калакута и поддерживает его... Вот ты все говоришь: Сибок да Сибок. В Жанее все больше зиусханов, уорков и тфокотлей поворачивается в сторону турок и ногаев. А Сибок оказался на перепутье – у него были добрые отношения с царем, он воевал на его стороне в Ливонии. Кудадек служит у него, но ведь Жанея отошла от Руси, а теперь еще и конфуз с царскими сватами. Очень неприятно, даже оскорбительно все это для царя. Есть тут еще и такой поворот, которого Сибок не мог не учитывать. Выйди замуж Минсура, стала бы царицей, а Руси, как я говорил, очень нужны Кавказ, Черное море, Крым, значит, дочь Сибока стала бы врагом государства, где живут ее мать, отец, родственники. Хорошо, если крымские татары с добром отнесутся к нему, не помянут злом его дружбу с Русью. А если припомнят? Что тогда будет? А как быть теперь Кудадеку и тем, кто служит в Московии? Вот тебе и Сибок, который, как ты говоришь, возвысился над гостями царя.

Притихла Мерем, даже как-то съежилась, совсем маленькой стала в большом кресле:

– А что с нами будет, зиусхан?

– У нас все хорошо. Земли наши отошли к дружественной нам Руси, наш сын Султан при царском троне служит. А представь себе: Кудадек больше не едет в Московию, мы выдаем за него Гошевнай. Представляешь, что получилось бы из всего этого, в какой капкан попали бы мы с тобой! Даже страшно подумать.

Вокшерин сказал, что княжна должна приехать к царю всея Руси Ивану Васильевичу на смотрины в первый летний месяц.

Казалось бы, надо радоваться вести, но... Так уж устроен мир: в нем не бывает худа без добра и добра без худа. Вдруг княжна не понравится царю, и тогда в той же карете, той же дорогой, которая почему-то покажется теперь намного длиннее, вместе с княжной приедет в Кабарду беда, а длинные досужие языки будут от моря и до моря трепать ее имя, ни в чем и ни перед кем невиновной.

– Не сердись, зиусхан, на меня, не сердись, потому что сердце у всех матерей одинаковое: оно не может быть умным или глупым, оно просто материнское... Хоть он и царь Руси, пусть даже всего мира, но вдовец, а значит, небольшая радость для девушки, а для ее матери – просто боль... Сколько ему хоть лет-то? Должно быть, старик?

– Ты добрая, но что у тебя за привычка – болью своего сердца причинять боль и другому?

– Вовсе не другое это, оно одно у нас с тобой на двоих. Разве Гошевнай только моя дочка, разве твое сердце не беспокоится о ее судьбе? Опять же – ее судьба, твоя и моя – не три судьбы, а одна. Ты так и не сказал: царь, наверное, старый, раз уже вдовец?

– О Аллах! – горестно воскликнул Темрюк.– Совсем не старый! Ровесник нашему Мамстрюку – тридцать лет ему!

– Тридцать один,– шепнула Мерем.

– Что-о?! – нервно встал князь и тоже почему-то шепотом спросил.– А ты откуда знаешь?

И княгиня встала, виновато улыбаясь:

– Не сердись на меня. Разве можно сердиться на сердце за то, что оно болит. Садись.

Они сели. Помолчали.

Князь Темрюк рассердился на себя за свою несдержанность, тоже виновато улыбнулся:

– Видишь ли, дорогая, таких, как царь Руси, на всей огромной земле – вот сколько,– он протянул руку с растопыренными пальцами,– и быть женой такого человека!..

Княгиня положила свою ладонь на ладонь мужа:

– Хоть самый-самый, а хоть и не самый, совсем не самый, но единственный ее сердцу должен быть, таким же единственным, как у главной вершины горы Ошхамахо другая вершина.

– Ты хочешь сказать, что ты и я – двуглавая гора Ошхамахо?

– Да,– ответила княгиня, и в ее больших карих глазах заблестели слезы. Она не стала их смахивать.– И еще у меня одна боль. Не знаю, понятно это мужчинам или нет. Теперь, когда уедет к чужим людям наша последненькая, я никогда не понянчу внучонка или внучку, не поговорю с ними по-адыгски... О Аллах, за что ты так сурово наказал меня?

Князь удалился к себе. Вскоре к нему зашли трое его сыновей.

– Идите к матери, успокойте ее, а ты, Балгайрук, задержись. Садись поближе.

– Нет, зиусхан,– он остался стоять у двери.– Прошу тебя, отец, не заставляй меня нарушать святой обычай.

Князь сердито хмыкнул, поморщился. Ему хотелось поговорить с сыном по душам, а как можно, если тот стоит у дверей. Раз такое дело, встал и он. Прошелся по комнате, остановился рядом с сыном.

– Мать вашу очень печалит отъезд Гошевнай. Я понимаю ее, но... одно – понимать, а другое – поступать, как требует того дело... Как ты относишься, Балгайрук, к этому очень серьезному, непростому делу? – спросил князь, пристально глядя в глаза сыну.

– Ты прав, зиусхан, дело очень трудное, очень не простое и... ты это лучше меня понимаешь, рискованное. Да, сложное и рискованное, но, на мой взгляд, очень правильно тобою решенное.

– А как братья? Они...

– Мы с ними одного мнения.

Выпрямился Темрюк, сдерживаясь, облегченно вздохнул и пошел, сел в кресло.

– Спасибо вам. Я рад не только тому, что вы поддерживаете меня, а и тому, что недаром родил вас, недаром трудился столько лет, воспитывая ваш ум, вашу волю. Спасибо. А с матерью ты не разговаривал?

– Да. Извини, отец, но раз ты спрашиваешь, я должен ответить... Что бы мы ни говорили, но мужчинам легче поступать со своими детьми, чем женщинам, матерям. Им куда больше надо иметь силы, чем мужчинам, решая судьбу каждого своего ребенка. Для нее мы ведь до самой своей старости остаемся всего лишь детьми.

– Спасибо, сын, а как Гошевнай?

– Честно говоря, не ожидал от нее такого понимания, я бы даже сказал, самоотвержения. Конечно, ей трудно расстаться с родным домом, уехать в безызвестность, если угодно, даже в опасную безызвестность, в неизвестную, далекую и чужую страну.

– Она понимает, что вдруг царь...

– Ты знаешь, что она на это ответила? Сказала: судьбами людей распоряжается Всевышний, поэтому обижаться на свою судьбу – значит обижаться на Него, а это очень большой грех.

Князь отвернулся к окну, чтобы Балгайрук не видел его повлажневших глаз.

– Я думаю, отец, тут не будет особой сложности. Дело в том, что Гошевнай очень понравилась сватам, а до этого – самому Плещееву и другим воеводам, так что я тут совершенно спокоен.

– На днях приедет Алтынчач,– после некоторого молчания продолжил князь,– она расскажет Гошевнай, что значит быть женой хана или царя, жить среди чужих людей...

И было так. Более трех недель жила в селении главного князя Темрюка Идарии его старшая дочь Алтынчач со своим мужем ханом Бекбулатом и юным сыном Саид-Булатом. Они очень помогли Гошевнай понять многое из того, что ее ждало в Московии.

И настало утро первого дня последнего месяца весны, когда в прекрасно отделанной мягкой карете в сопровождении дюжины нарядных всадников проводили княжну Гошевнай в Московию.

Все было – и добрые слова в дорогу, и грустные улыбки, и слезы...

А княгиня Мерем вслед дочке помолилась про себя:

«О Всевеликий, верни из Московии невредимой мою доченьку, верни».

V

Стояло жаркое, душное утро.

Ни ветерка, ни дуновения – все замерло под раскаленным добела небом. Солнце томилось в своей неподвижности и ярости.

Все живое пряталось в тени молчаливых деревьев или припадало к пока еще прохладной земле. И угрюмый медведь, и веселый зайчишка, и суетная синичка, и жучок. А островерхая белоснежная гора как бы посмеивалась над солнцем своими яркостью и беспечной красотой: все боятся его, попрятались, а она не боится. Всего лишь ее краешки могут растаять, чтобы зимой обновиться.

Радовалась неистовству солнца и речка Бугур. Чем оно жарче было, тем больше горные ручейки приносили веселой, звонкой воды, тем богаче она становилась, привольнее разливались ее плесы. И волна становилась круче, стремительнее катила воды к большой реке, а вместе с нею спешила к своему вечно желаемому чуду – морю, к его бесконечности, чтобы слиться с ним навсегда и самой обрести вечность.

Безветренная солнечная погода – благодатное время для работы пчелам пасеки, что стояла на лугу среди веселого многоцветья.

А вот бритоголовому с жиденькой седеющей бороденкой князю Тахо такая погода – и хорошо, и плохо. Легче дышится продырявленным болезнью легким, а иссохшему телу худо от едкого соленого пота. Тряпки, которыми он вытирается, быстро становятся мокрыми и дурно пахнущими, то и дело приходится их менять.

«В песне поется: светит солнышко, радует все живое,– насмешливо подумал князь,– а мне нет ни радости, ни душевной теплоты от него. И вообще, зачем все это? Бежит эта речка, торопится, а зачем? Добежит до большой речки, вольется в нее и перестанет существовать, как говорится, умрет. К этой-то смерти и торопится? Вприпрыжку, с радостью. Точно так же и люди. Спешат, спешат, а куда, зачем? Не так ли, как эта речушка,– к смерти! Торопятся, толкают друг друга, с ног сбивают... Ах, если бы мне здоровье! Я совсем по-иному бы жил, показал бы глупым людишкам, что такое настоящее счастье, настоящая радость».

– Ты слишком долго сидишь на солнцепеке, зиусхан. Не повредило бы это твоему драгоценному здоровью,– сказал байкол Начак,– перейди лучше в холодок под дерево или под навес.

Так вздрогнул от неожиданности князь, что чуть ли не подскочил.

– Остолоп ты несчастный! – вскрикнул он.– Сколько тебе говорить: не подходи сзади, будто бандит какой, не кричи! А то ведь у человека от неожиданности сердце может разорваться! И что за дурь ты говоришь: как это солнце может мне повредить? Только оно своими живительными лучами и помогает мне, душит мою болезнь. Если не хочешь, чтобы я бросил тебя в сапетку, лучше поухаживай за мной – помаши платком, сделай тихий прохладный ветерок, вытри пот на голове, на спине.

– Прости, зиусхан, но ты так сидишь над обрывчиком, что подойти к тебе можно только со спины или войти в речку. Я же, подходя к тебе, хотел покашлять, но...

– Не болтай всякую чепуху, а делай то, что говорят... Так, так. Голову тоже вытри. И веселее, веселее помахивай... Хорошо, хорошо... Что нового слышно у нас в селении, все ли живы, здоровы?

– Все у нас хорошо, все довольны и радуются жизни, вот только очень соскучились по тебе, ждут не дождутся, когда приедешь, радость свою привезешь,– сказал Начак, думая: «Все ждут не дождутся, чтобы с радостью похоронить тебя. И если ты в самом деле попытаешься бросить меня в сапетку, я оторву твою голову и выброшу в речку, чтобы ее унесло подальше от нас».

– Раз скучают, значит, стою того. Стараюсь, стараюсь с помощью Аллаха... Но я о другом спросил. После собрания зиусханов Жанеи что слышно у нас? Как оно прошло? Не передрались ли там, что мудрого говорилось?

– Ты об этом, зиусхан?.. До кулаков и кинжалов не дошло, но и умного было мало, болтали... Если сказать кратко: грызня там была большая. Всем досталось. Единственный, кто оказался над этой грызней, все говорят – зиусхан Тахо.

Выпрямился князь, приподнял свои высохшие плечи, попробовал улыбкой изобразить застенчивость:

– Ну-у, зачем так. Зачем одного меня возвышать.

– Говорят, если так возвысили зиусхана Тахо, значит, возвысили все его княжество. Своей мудростью ты возвысил всех нас.

– Ну, коли так, тогда понятно! – расплылся в улыбке Тахо.– А что Сибок?

«Вы с ним – два сапога пара и оба на одну ногу, оба путаники,– усмехнулся про себя Начак.– Сибок вроде как душою болеет за всех своих людей, подался к царю, сына на службу ему поставил, своих воинов положил за него в Ливонской войне, а теперь сдружился с Турцией и Крымом, на княжестве оставил Ацамука, а сам с воеводой Вишневецким повел адыгов, двух сыновей своих в Польшу воевать против царя. А что он будет дальше делать, в какую сторону повернет... Разве что вокруг самого себя? И тоже будет говорить, что заботится только о своем народе и ни капли о себе... А ты, Тахо? Трусливо попробовал схватиться с Сибоком и получил от него вместе со своим чокнутым другом Цахо добрую оплеуху. Попробовал Сибоку нагадить в Крыму, но Давлет-Гирей осадил тебя, отмахнулся, как от мухи поганой, и теперь ты, будто серенькая мышка, юркнул в свою нору, балуешься душистым медком, облизываешься и, конечно, считаешь себя народным страдальцем. А насчет сапетки смотри, как бы тебе самому в ней не оказаться». Помолчал, отвел душу и, улыбнувшись, проговорил:

– Я бы, зиусхан, на твоем месте даже не спрашивал о том человеке, который и ногтя твоего не стоит. В народе говорят: курица, разгребая мусорную кучу, выгребает свою смерть. Ты как-то сказал: мы обязательно увидим, как Сибок погибнет от своей собственной глупости, но когда, зиусхан, когда его тропинка приведет в черную пропасть?

– Это один Аллах знает, по-человечески мне жалко Сибока... А нас, говоришь, поминают добром? Это правда?

– Это такая же правда, как то, что сегодняшний день – солнечный, но... неизвестно, как все еще обернется.

– Что значит – обернется?! – встревоженно дернулся князь.

– Я о дне, зиусхан, только о дне. Летний день длинный, и до вечера может еще и ветер сорваться, черная туча надвинуться, даже может еще и дождик землю полить.

– Это и без твоих слов каждому понятно,– помахал белой войлочной шляпой Тахо, вызывая на себя ветерок.–

Я опять о Сибоке. Сколько мы восстаем против него – и в спину толкаем, и подножки ставим, на пятки наступаем, но никак не можем сбить его, пустоголового, с ног. Более того, он посмеивается над нами, да еще так посмеивается, что следом за ним и другие смеются. Даже хохочут! – взвизгнул Тахо. «Э-э! Что это я разоткровенничался перед этим ничтожным князьишкой!.. Конечно, никак не можем свалить Сибока, но все-таки очень приятно, душевное облегчение получаю, когда хоть слегка шлепну его словом каким, а хоть плюну ему вслед. Бедный Цахо говорит, что я от этого на голову выше самого себя становлюсь».– Послушай, Начак, я гляжу, ты несчастный какой-то, весь потом изошел, челюсть даже отвисла, как у вороны!

– Так ведь солнце такое горячее, что на нем изжариться можно! – засмеялся Начак.

Тахо хотел сказать байколу: «Несчастный, а морда такая могучая, хоть щенят об нее бей». Хотел сказать, но закашлялся, кровь увидел на белом платке и вовсе зашелся ненавистью. «Этот оболтус и все другие тфокотли работают целыми днями, как быки, тянут на себе все мое большое хозяйство, в земле, в навозе копаются и от этого еще здоровее становятся. Радости у каждого из них хоть ведрами черпай и не вычерпаешь, а тут! – Он с трудом сдержал подступившие слезы, отвернулся от Начака.– А тупоголовый Сибок? Будь он трижды несчастен! Весь белый свет в седле обскакал и здоров, как медведь! За половину его здоровья я отдал бы ему все земли мои, оставил бы только вот эту пасеку да речку».

– Боюсь, ты весь потом изойдешь – иди в тень или искупайся, но сначала расстели для меня вон под тем деревом бурку. На сегодня уже хватит солнца. Правильно говорят мудрые люди: слишком хорошо – тоже нехорошо.

Расстелил бурку под деревом Начак, разделся и прыгнул с обрывчика в воду.

Не вытерпел князь, подошел к берегу, с завистью смотря, как Начак плавает, ныряет, весело фыркая.

– Как вода? Очень холодная? С гор пришла дождевая, должно быть, холодная.

– Для твоего здоровья, наверное, холодноватая, а мне – в самый раз.

Дремавший в тени под липой пасечник Чемаль, услышав, как бултыхнулся в речку Начак, заспешил к берегу:

– В том омуточке стоит моя снасть на сома. Осторожнее там, осторожнее!

– Осторожнее, Начак! – закричал и Тахо, а сам подумал: «Вот интересно, если он поймается вместо сома! Вот будет забавно!» – Хватит, вылезай!

– Отойдите за кусты, а то я ведь голый!

– Скажите, невидаль какая! – с привизгиванием засмеялся князь.– Пойдем, Чемаль, посиди со мною в тени... Говорят, пасечники – мудрый народ. Это, наверное, оттого, что они все время в уединении, не любят пустословия, а, главное, пчелы – мудрейшие создания. После людей самые мудрые, самые добрые, а может быть, они лучше грешных, скандальных людей. И глупых, весьма глупых, Чемаль. Садись, уважаемый, садись, самый сладкий из всех на свете... В улье есть матка, по нашим понятиям,– царица. Ей все подчинено в большой семье, без нее немыслим порядок, немыслима пчелиная жизнь. Весь порядок держится на ее власти, а люди... Поставят над собою предводителя, вроде всю власть человеческую ему дали, и должен быть, как в улье, прекрасный порядок, но это, уважаемый Чемаль, только кажется. Посмотри: сделали Сибока главным, возвысили его над собой, доверились уму и воле его, а он... стал суетиться, бегать туда-сюда. Сдружился с чуждыми нам гяурами, а они, как и полагается грязным гяурам, предали нас. Конечно, не без ведома Сибока рассекли адыгские земли, народ наш поделили между собой, Турцией и Крымом. Теперь он задружил с крымцами, которые пролили столько адыгской крови, сколько в этой речке воды.

– И все же хорошо, зиусхан, что он помирился с Давлет-Гиреем. Не зря говорится: самая худая дружба лучше хорошей вражды, людям спокойнее жить, когда на земле мир.

– Не согласен я с тобой, совсем не согласен. Враг, проливший твою кровь, никогда не станет надежным другом, а преданный тобою друг до гробовой доски будет твоим смертельным врагом. Есть тут, уважаемый Чемаль, еще одно... Сибок из глупости, дьявольского честолюбия расплачивается кровью своего народа на Ливонской войне за царя, а теперь будет расплачиваться в Польше. Думаю,

уже близок тот день, когда адыги назовут его своим врагом.– Решительно сказал Тахо пасечнику и пожалел: «Не надо бы говорить простому человеку».– Эй, Начак, как вода? Смотри не простудись!

– Эта вода мне в самый раз... У тебя по шее, зиусхан, ползет пчела, она ужалит тебя!

Засмеялся, захихикал Тахо:

– Что значит несмышленый человек! Пчелиный мед лечит от одной болезни, а яд – от другой. Сильное лекарство! Я и приезжаю сюда полечиться этим лекарством. Вот, вот! Ух, как хорошо! Сразу две ужалили! Пойдемте под навес, побалуемся медовухой. Знатная, знатная твоя медовуха, Чемаль! У кого ни пробовал, не встречал такой. Должно, у тебя есть свой секрет?

– Обязательно, зиусхан. Тут секрет в самом меде. Видишь, какое мы с тобой место для пасеки выбрали! Липовая роща рядом, малинники, а наверху, почти у самого снега, травки-цветочки, какую они силу дают! А речка! Тоже большая сила в нашем деле. Пойдемте, посидим, у меня в самый раз поспела свеженькая медовуха! И джейранчиком копченым угощу. На прошлой неделе молоденького подстрелил.

Спустя два дня, в час утренней охоты сокола, к пасеке подъехали князь Жанэ и Мамий в сопровождении всадников.

«Что за новость такая! – нахмурил жиденькие брови Тахо.– Что им тут понадобилось? Давненько я не виделся с рыжим Жанэ. Да и Мамия не встречал давно. Да-да, после смерти его родителей мы не виделись».

Когда Мамий узнал, что Сибок отвернулся от Руси и хорошо принят Давлет-Гиреем, то воспротивился этому решению, и, понятное дело, разгневанный хан прогнал его не только из баскаков, но и вообще из Крыма. Говорили, будто Мамий подался не то к казанским, не то к астраханским татарам.

Обо всем этом Тахо узнавал от кого угодно, только не от самого Мамия, и это, понятно, князя оскорбляло. А теперь и вовсе: не к нему приехал Мамий, а к Жанэ. «И что ты мнишь из себя, несчастный?! У меня есть родина, моя гордость и достоинство, а что у тебя? Кто ты? Как перекати-поле, которое гоняет ветер, нигде не давая пристанища». Так рассудил Тахо, но усмирил свою гордыню,

встретил их с распростертыми объятиями, как встречают дорогих гостей, больших друзей.

Князь подал знак Чемалю и Начаку и пока неторопливо шел с гостями, занимая их обычным для встреч разговором, к камышовому навесу под вековой липой, стол уже был уставлен едой и кувшинами с медовухой. Гостям дали помыть руки и пригласили к столу.

Похоже, в дороге они изрядно проголодались, молча и сосредоточенно ели мясо, сыр, запивая медовухой, и лишь потом неторопливо завязался разговор.

– Валлахи, зиусхан, я считал,– высказал князь Жанэ, вытирая полотенцем замасленные усы и бороду,– что такой красивой пасеки на таком красивом месте у моря, как у меня, нет во всем мире. Но твоя пасека в таком небесной красоты месте меня просто потрясла. Радостью потрясла, чудом гор, леса, речки, каким-то особенной чистоты и свежести воздухом. Просто душу мою тронула.

– Да услышит Аллах твои добрые и мудрые слова, зиусхан! – воспылал гордостью Тахо.– Наливайте медовуху! За сказанное надо выпить! Пусть будут слова Жанэ прекрасным тостом!

Выпили, закусили.

– А джейрана кто так искусно завялил? – не унимался Жанэ.

Ответил стоящий за спинами гостей Чемаль:

– Без искусного хозяина здесь ничего не делается, уважаемые гости!

Тахо от восторга даже приподнялся немного, достойно поклонился гостям:

– А что скажешь ты, Мамий? Наверное, первый раз в этом божественном уголке?

– Что ты, зиусхан! Или забыл, сколько мы выпили здесь медовухи, сколько меду съели, душистого копченого мяса? Мне помнится, в один из моих приездов речка вышла из берегов и подступила прямо к ульям.

– Разве было у нас такое, Чемаль? – не то удивленно, не то возмущенно спросил Тахо.

– Нет, зиусхан, нет! Это Мамий, наверное, пошутил. Выходила раза два, как всякая горная речка,– объяснил, пасечник,– но мы с зиусханом мудрые, знающие люди, этот навес, наш домик и ульи поставили так, чтобы во время половодья речка не только не угрожала нам, а, наоборот, своими привольными водами украшала нашу пасеку, наше поместье.

Тахо, подбоченившись, с усмешкой глянул на Мамия: мол, что, съел? Затем сказал Чемалю:

– Спасибо тебе, мой верный друг и работник, но не за этим же наши гости одолели такую дальнюю дорогу, чтобы нас с тобою слушать. Надо и их попросить, пусть расскажут, что нового у них в жизни, чем радуются они. Мы с тобой, Мамий, целую вечность не виделись, ветер носит по земле о тебе разные небылицы, и мне обидно и больно, что ты не приезжаешь ко мне, что я не могу в помощь тебе подставить свое плечо. Знаю, как подло поступили с тобою Каншауков и Давлет-Гирей. Со мною тоже гадко поступил этот... да простит меня Аллах, вонючий хан.

– Что делать, такие они, неблагодарные свиньи. Ради них я пролил кровь урусов, адыгскую и свою.– Он кивком указал на руку, на которой не было мизинца.– Сибок тоже показал мне свою грязную душонку. Главный зиусхан! Пигалица несчастная! Как поганая баба на базаре мечется от прилавка к прилавку. Вот Калакут – это мужчина, душой и сердцем – настоящий адыг, достойный. Он видит дальше, чем все наши зиусханы, а вернее сказать – зиусханишки!.. Не подумайте, что я, много сделавший ему дурного, теперь заискиваю перед ним. Нет. Просто пришло такое время, когда надо говорить правду, только правду. Какой бы она горькой ни была.

– Ты слышишь, зиусхан,– Тахо обратился к князю Жанэ,– что говорит наш заблудший друг? Он не только себя, но и нас с тобою обвиняет.

– Ничего плохого о нас с тобою Мамий не сказал.

Посмотрел настороженно Тахо на Мамия, на Жанэ, пожал плечами. Улыбнулся:

– Может, вы, прежде чем ехать ко мне, между собой договорились бы, твердой ногой стали рядом друг с другом?

– Ну-у, зачем ты так плохо думаешь о нас, своих друзьях,– укорил князя Жанэ.

– Ладно,– ухмыльнулся Тахо,– я без всяких слов поддерживаю Мамия. Думаю, Калакут обязательно станет на нашу с вами сторону. Это я беру на себя. Будьте уверены, все сделаю чисто и гладко, как куриное яйцо. Если ты, Мамий, согласишься, я помирю тебя с Калакутом.

– Это было бы очень хорошо! – восторженно поддержал Жанэ.

«Ха! – усмехнулся про себя Тахо,– этот уже и сюда свой нос кривой сует»,– а вслух продолжил:

– Я сначала повидаюсь с Калакутом один на один, о тебе, зиусхан Жанэ, скажу ему добрые слова, а потом поедем вместе. А как ты считаешь, Мамий?

– Что я могу сказать? Очень хорошо, если тебе по плечу это непростое дело. Перед таким человеком ради нашего адыгского дела я готов и преклониться, готов душу свою отдать за него.

Стоящий позади хозяина и гостей Начак стал наливать в кружки медовуху. В кружку Мамия он налил, как говорится, через руку.

– Как ты наливаешь?! – вскричал оскорбленный Мамий.– Или не знаешь, что это значит, или!..

– Не думай ничего дурного, Мамий,– примирительно сказал Начак,– просто рука у меня подвернулась, больно сделалось.

«Так тебе и надо!.. Послушайте, люди добрые, как этот нелюдь разговаривает в моем доме с моим байколом! Привык там у ногаев пить лошадиную кровь, смотри, как бы этот мой парень не заставил тебя пить свою собственную... Не знаю, что тебе сделает Калакут, как он вывернет тебя наизнанку, а меня с ним помирит только твоя кровь. И скоро, скоро я это увижу».

– Ты, Мамий, еще побудешь в Жанее? – по-лисьи ласково спросил Тахо.– Где я тебя найду после моей встречи с Калакутом?

– Валлахи, зиусхан, не знаю, что тебе и сказать. Мне обязательно надо съездить в Крым, и в Кабарде меня ждут.

– А кто там, в Крыму, тебя ждет?

– Как кто? Там самый дорогой мне человек. Может, знаешь ее? Мариам.

– Как не знать такую прекрасную женщину, гостеприимную, добрую и очень... как говорят, милую.

– Если бы не она, я не унес бы свои ноги из Крыма. Вот и хочу обеспечить ей спокойную жизнь. Доброе поместье моего покойного отца пустует, думаю поселить ее там.

– Очень хорошо, правильно ты решил,– поддержал его Жанэ.

– Да-да! Ты как бы заново теперь начинаешь жизнь в своем родовом поместье! – одобрительно отозвался и Тахо.– Да поможет тебе Аллах, и на нас, своих друзей,

можешь надеяться... А когда поедешь в Кабарду, не очень привечай Темрюка, который всем своим нутром предался урусам, будто и вовсе не адыг.

VI

Год 1561-й.

Благодатное утро первого летнего месяца.

Московия в то утро шумела в удивлении. Еще бы не удивляться, если в роскошной карете, запряженной тройкой рысаков, ехала девушка. Ладно бы просто красавица, а то, как сказал кто-то, красавица не нашей, а какой-то заморской, невиданной красоты – что лицом, что тонкой статью, что одеждой белого атласа, вышитой серебром и золотом нерусскими узорами.

И карету ту сопровождало целое войско воинов, одетых и вооруженных в невиданное московичами.

Это везли на смотрины к царю княжну Гошевнай, дочь главного князя Кабарды Темрюка Идаровича. Рядом с ней сидел в ногайской одежде Саид-Булат, сын старшей сестры княжны Алтынчач и ее мужа, ныне касимовского хана Бекбулата. По адыгским обычаям Саид-Булат должен неотступно сопровождать младшую сестру своей матери. В первом ряду за каретой ехали на скакунах арабской породы князь Доманук и хан Бекбулат.

Сопровождали княжну отряды адыгов, ногаев, татар и казаков.

Впереди ехали воевода Бутурлин, послы Вокшерин и Мякинин.

Вслед за этим дивом по обеим сторонам улицы, будто волна за волной, перекатывалась шумная, как ветер, как прибой, толпа любопытствующих, соглядатаев всего сущего.

– Кто эта невидаль?! Откуда и куда она путь держит?

– Бают, невесту ему везут из-за моря, из-за гор поднебесных.

– Это какая же невеста, если положенный срок после кончины нашей благоверной царицы Анастасии не вышел! – возмутился бородач в высокой шапке набекрень.

– Похоже, невтерпеж ему, коли везут из-за моря синего! – хихикнул невзрачный мужичонка с длинным острым носом.

– Невтерпеж! – зло опять проговорил бородач в зипуне.– Или ему мало бабенок, с которыми он да братец его Юрка забавляются за высокими кремлевскими стенами?

– Помолчал бы ты, кум, а то ведь у Малюты Скуратова очень длинные уши, как бы тебе не угодить на кол.

– Думается,– кто-то почти шепотом произнес,– ему самому уже пора настала вытесать кол...

Зашумели, загудели, будто ветром их всех всколыхнуло. Прокатилась, прошумела волна и опала, стихла.

– Такого почтения достойна, я считаю, только дочь великого аглицкого короля.

– Там нет короля, королева всем заправляет! – кто-то уверенно, со знанием дела поправил.

– Да и вовсе не аглицкого, а датского короля это младшая дочь.

– Помолчали бы, знатоки липовые! – возвысил хрипатый, похоже, с похмелья мужик с клочковатой, должно быть, никогда нечесанной бородой.– Или вы слепые?! Это же татарские конники. Татарва в Московию с почетом пожаловала!

– Что ты мелешь? – одернул его сосед.– Это черкасы. Из Индии.

Хохот вспыхнул, взвихрился, а когда улегся, молодой парень пояснил:

– Правда черкасы. С Кавказа они. Славные ребята. Я с ними на Ливонской воевал. Плечом к плечу был с Александром-Кудадеком, Михаилом-Султаном – славные ребята!..

Карета остановилась посередине Соборной площади, отряды всадников стали по ее сторонам.

Кавказцы, впервые приехавшие в Московию, нигде и никогда не видели таких высоких кирпичных стен, таких могучих ворот, соборов с золотыми куполами, каменных домов, а высоченная колокольня Ивана Великого им казалась чем-то непостижимым, почти сказочным. Вот и стояли они, как говорят, очарованные увиденным.

Стоя у окна, залюбовался увиденным и царь Иван и, когда вошел Висковатый, махнул ему рукой:

– Потом, потом! Жди, когда сам покличу.

«Высокая ростом, статью – достойна, лицом пригожа». Очень красивой она ему показалась, до того красивой, что

он даже как бы озадачился: в чем ее притягательная красота? До того притягательная, что в нем призывно, даже требовательно взыграла мужская греховная сила.

Он подошел к киоту. Неистово перекрестился. Взглянул на Казанскую Богородицу и подумал, что черкашенка чем-то похожа на нее. Даже испугался своей мысли.

Упал на колени, положил три земных поклона и взмолился:

– Пресвятая Владычеце моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене смиреннаго и окаяннаго раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и помраченнаго ума моего, погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен...

Еще раз неистово перекрестился и, направляясь к окну, подумал: «Когда повидать черкашенку – сегодня вечером или завтра? Пресвятая Богородице, помилуй мя, грешнаго».

Постоял у окна с закрытыми глазами, отдышался.

Глянув на кавказцев, вспомнил Ливонскую войну, рассказы своих воевод о храбрости и мужской боевой преданности адыгов: «С этими можно идти хоть против ляхов, хоть против крымчан с турками. Надо, надо нам пристальнее смотреть на юг, чтобы спокойнее жилось на севере, а там, смотришь, и за восток примемся. Будем просить Тебя, Господи, о помощи, о помощи Твоей православной Руси... Обязательно нужно отслужить большой молебен за успех богоугодного дела нашей державе».

Он оглянулся, чтобы перекреститься на киот, и увидел: у распятия погасла заупокойная свеча, которую он сегодня затеплил за упокой Анастасии, а заодно как бы попросить у нее благословения на женитьбу.

– Прости, Господи, прегрешения рабе Твоей Анастасии, упокой ее душу во Царствии Небесном Твоем... и благослови меня, грешнаго, да будет во всем Твоя святая воля.

Кликнул Висковатова:

– Почему гости до сей поры стоят на площади как неприкаянные?

– Ждем твоего повеления, государь.

– Вот и повелеваю! Всех гостей принять по самому высокому государственному разряду! Поласковее, попри-

личнее, даже... душевно. Черкашенку – в царицыны палаты. И чтоб никто к ней не смел заходить. Особенно из досужих мужчин.

– Воинов уже размещают в самые приличные палаты Кремля, а вот второй твой наказ... не знаю...

– Чего не знаешь?! – нахмурился царь.

– По их обычаю молодой хан Саид-Булат ни на шаг не отходит от своей тетки. Караулит ее, что ли? Говорят, вроде бы так будет до самой свадьбы.

– Раз обычай, значит, обычай. У нас ведь тоже есть свои обычаи и, слава Богу, мы не преступаем их. Я забыл, как ее зовут, нашу... гостью. Напомни мне, назови ее имя.

– Они ее между собою так зовут, что не выговоришь на нашем языке. Мы назвали попроще – Кученей.

– Кученей? – пожал плечами царь Иван.– Назвать бы как-нибудь полегче, хотя... ладно, Кученей так Кученей. Обойдется и свыкнется... Это кто же тебе об этом самом обычае сказал? Может, какая-нибудь хитрая выдумка, пошутить кто-то вздумал?

– Нет, великий государь, я разговаривал с Михаилом Темрюковичем Черкасским, он мне все это и растолковал.

Призадумался царь, покачал головой, будто шевеля мозгами:

– Послушай, Иван Михайлович, нельзя ли к ней привести женщину? Нашу какую-нибудь женщину. Ну-у... вроде бы как для того, чтобы гостье не было скучно. А то нехорошо как-то. Пошлите хоть старшую дочь Владимира Андреевича Старицкого – Февронию. А этот... молодой хан знает по-русски?

– Очень хорошо говорит.

– Ну вот – он будет между женщинами толмачом-переводчиком... А что по поводу моей женитьбы говорит Варвара Патрикеевна?

Висковатый пожал плечами:

– Конечно, родственнице покойной царицы Анастасии обидно это. Спряталась вовсе, никто и не знает, где она.

Иван Васильевич тяжело вздохнул. Долго стоял у окна молча, глядя на то место, где вместо яблони посажено другое дерево. Обернулся к Висковатому и тихонько, совсем не привычно для Ивана Грозного, сказал:

– Не ищите ее, не надо беспокоить. Иди, Иван Михайлович, скажи, пусть нынче никто ко мне не заходит. Никто!

«Еще и жениться не успел, еще неизвестно толком, на ком женюсь, а все Захарьины уже надулись. Сыновья мои тоже косо поглядывают. Ведь все знают, все понимают, что царица – это половина самого государя, без государыни государство хромое. Да и не только это...»

Ему вспомнилось, как однажды в пьяном угаре к нему в постель лег развратный Федя Басманов... Потом, придя в себя, царь решил расправиться с грязным соблазнителем, однако до сей поры так почему-то и не расправился.

«Ничего, пусть лютуют мои недруги, но все будет так, как я повелю... На поверку получилось – глуп, глуп князь Сибок, похоже, дальше носа своего не видит. Видишь ли, возгордился, не захотел свою дочь сделать царицей Руси. Перекинулся к туркам да крымцам, не понимая того, что придет время – и весь Кавказ станет частью Руси... Жалко мне, жалко его сына Александра – очень толковый парень, ведь уже у самого нашего царского престола стоял и еще выше мог бы подняться. А кабардинские черкасы с князем Темрюком оказались смышленее, потверже характером, значит, понадежнее... Даст Бог, породнимся с ними, с землей их породнимся, и это будет лучше для державы моей, для ее силы, вот тогда и пусть заносчивые англичане да датчане почешут у себя за ухом».

Царь дал три дня – пусть придворные присмотрятся к Кученей, пусть и она приглядится, пообвыкнется немножко на чужой земле, среди чужих ей людей. Слово в слово доходило до него, что княжна и вовсе не дикарка какая-то, а очень даже милая, разумная девушка, а что языка русского не знает, так это дело наживное, главное – душою в душу войти.

Через три дня Иван Васильевич позвал к себе младшего своего брата Юрия Васильевича, двоюродного брата Владимира Андреевича Старицкого и воеводу Курбского Андрея Михайловича. Сына своего Ивана не позвал – молод еще, рано ему вмешиваться в такие дела. Просто поговорил с ним по-отцовски накоротке, и ладно.

– Садитесь, рассаживайтесь поудобнее, дело у нас с вами важное, государственное. Митрополита Макария не позвал, у нас с ним другие, Господом определенные, дела,– неторопливо говорил Иван Васильевич, прохаживаясь у окна, иногда поглядывая вдаль, как бы советуясь с небесной вышиной.– Ближе вас у меня нет никого во всем белом

свете, с кем же мне порадиться, как не с вами... Люди вы мудрые и, конечно, понимаете: царю православному жить вдовым – дело негожее. Да еще с такими молодыми годами, как мои... Думалось поначалу, определить себе жену из англичан или датчан, но им не подошел чем-то великий государь православной Руси. То ли не подошел, то ли такова воля Господа нашего, а мы с вами знаем: все что ни делает Он – к лучшему. Поразмыслив, помолившись, решил я обратить мой взор, взор великой Руси на юг. Те, как говорят знающие люди, почти сказочной красоты и богатства просторы куда как нужнее нам, чем маломерки вроде Дании... За какие-нибудь три дня не очень-то распознаешь человека, но все-таки хвалят, хвалят наши люди княжну Кученей. И красива, говорят, и умна, и породиста, а это немало. Вы, знатные люди русские, это понимаете не хуже меня. Понятное дело, не всем нравится такое мое решение, потому и позвал вас, чтобы выслушать, порадиться, а потом уж и решать окончательно, быть тому али нет.

– Верно, великий государь, все верно, но,– первым заговорил Юрий Васильевич,– мы – православные люди, вера наша свята, как свят Сам Господь, а черкасы привезли нам княжну Кученей чуждой нам веры.

Усмехнулся царь:

– Не черкасы ее привезли, а наши люди, которых я посылал, попросили ее приехать. Теперь о вере. Вон сколько разного народу в нашей Руси-матушке, и очень многие приняли нашу веру, стали истыми православными людьми. А принцесса датская или английская? Они хоть и христиане, но не православные. Думаю, если княжна Кученей станет женой самодержца Руси, обязательно примет его веру, станет достойной православной христианкой.

«Эх, царь-батюшка,– опустив голову, усмехнулся Курбский,– знаем мы тебя. Ты позвал нас как бы посоветоваться, но попробуй возразить тебе, попробуй стать поперек – костей своих не соберешь. Порода, говорят, порода. Одной ты, царь-батюшка, породы со своим братом, но Юрий – человек уравновешенный, добросердечный, умный – ему бы надо быть нашим царем, а не тебе».

– Что верно, то верно, великий государь, по твоему велению привезли черкашенку,– примирительно заговорил Старицкий,– и если она придется тебе по душе, думаю,

лучшего не придумаешь. Высока, стройна, как и ты, государь, красива необыкновенно, я бы даже сказал, ангельской красоты.

Вздрогнул Иван, вспомнив, как сравнил черкашенку с Богородицей. Нахмурился:

– Ты так говоришь, будто виделся с нею.

– Виделся, мой государь, виделся.

– Это как же?! – взревновал царь.– Где виделся с нею?

– По твоему велению мы с Юрием Васильевичем встретили черкасов, проводили их в дом. Там и виделся. Мельком, мельком виделся с княжной.

Царь рассмеялся, заметив, как струсил Старицкий:

– Глаз у вас острый, наметанный, хоть и накоротке, но вы уже рассмотрели Кученей, определили ей свою цену, и что думаете? Годится она вам в самодержавные царицы? – Потеребил свою небольшую бороду царь, пытливо сощурился, будто двумя иголками пронзая каждого из них.

– Великий государь, если она тебе по душе, по нраву придется, если станет нашей матушкой-царицей, как может нам не понравиться? А ты сам уже виделся с Кученей? Что скажешь нам?

– Видеть ее видел. Из окна. Но еще не так, как виделись с нею вы.

– Одна тут маленькая зацепочка, государь,– заискивающе улыбаясь, продолжал Старицкий,– Кученей не знает нашего языка, не поставишь же,– хихикнул он,– рядом с ложем царским толмача-переводчика.

Уловил, воспринял царь юморок Старицкого и, как бы поддерживая его, обратился взглядом к Курбскому:

– Может, Андрей Михайлович, расскажешь, поделишься опытом: когда мы завоевали Казань, как вы со Старицким, не зная татарского языка, хороводились с молодыми татарочками?

«Знаю, ты злопамятен, аки дьявол,– глядя мимо царя, подумал Курбский.– Но лучше помолчать, хотя и в молчании ты увидишь крамолу, если тебе, взбалмошному, заблагорассудится такое. Если припомнить все твои проделки, за неделю их не перескажешь. А все молишься, молишься, святого из себя строишь. Знаю, ты улыбаешься, называешь меня своим старым другом, а сам только и ждешь – из-за своей дьявольской ревности – как бы дать

мне подножку, пустить в черную пропасть. Мастер, большой мастер ты в этом деле. Обижаешься на князя Сибока, называешь его предателем за то, что обратился за помощью к крымцам и туркам, но ведь это ты предал его и сына Кудадека, по твоей воле разделили, разрубили по живому черкасский народ. Чувствую, надо мне отдаляться от тебя, пока не поступил и со мной, как с Адашевым и Сильвестром».

– Что же ты молчишь, мой старый друже? Что думаешь о моей женитьбе, о новой царице? Разве не с тобою плечом к плечу мы шли, создавая великую самодержавную Русь? Твое одно слово для меня дороже других ста. Я жду, Андрей Михайлович.

– Спасибо на добром слове, великий государь,– тонко улыбнувшись, сказал Курбский.– Правда твоя, мы плечом к плечу с тобой прошли немалый и трудный путь к вершине нашей великой Руси. Правда твоя, мы понимаем с тобою друг друга с полуслова. Я и тут, как всегда, рядом. Вижу, ты уже решил для себя, как быть, значит, только так оно и будет.

«Правда, Андрей Михайлович, мы с тобой понимаем друг друга с полуслова, а то и вовсе с одного скупого взгляда. Вот и сейчас: лукавишь ты, ох, лукавишь. Вижу, нехорошо ты поглядываешь на мой самодержавный трон, надо опять убрать тебя подальше, пока не натворил греховных дел. Ушлю-ка опять на войну, вот там и лукавь, хитри с ядрами да с острыми мечами». Поднялся царь:

– Если три мудрейших мужа Руси одобрили решение своего повелителя, он может быть спокоен. Однако сначала мне надо повидаться с княжной. Глядя на нее из окна, увидел, как она стройна и красива, но,– царь усмехнулся,– может, она глухая или немая? Дай Бог, чтобы она могла слышать и умела слушать своего суженого, могла говорить ему красивые и ласковые слова, стала бы достойной своего положения.

Вошел царь Иван с братьями в комнату, и княжна показалась ему еще стройнее и красивее той, которую зрел из окна.

Она взволнованно взмахнула длинными ресницами и опустила взгляд долу. Ее белые щеки покрылись румянцем. Вздрогнула грудь и замерла, затихла. Будто и сердце ее остановилось.

Говорят, стыдливость – вторая красота и чистота женщины. «Красива и чиста, как весеннее, робкое утро,– как-то само собой подумалось царю,– а какой она будет царицей Руси? Будет, будет, я помогу ей! Я сделаю ее достойной царицей моей державы».

Взмахнула ресницами, как птица крыльями, Гошевнай, потупила взор: «Вот он какой этот человек, что правит страной, у которой, говорят, нет конца на земле. А ведь еще молодой, наверное, не старше Кудадека... О Аллах, когда ко мне сватается такой... великий правитель, зачем я думаю о Кудадеке? Помоги мне, Аллах... Нет-нет, если ты возьмешь меня себе в жены, сделаешь... какое большое и страшное это слово – царицей Руси, я не опозорю отца и мать, не опозорю тебя своей нечистотой... не только телом, но и божественной душой. Мне рассказывали, какой ты строгий, какой... жестокий, но когда я буду с тобою рядом, твое сердце станет добрее и мягче. О Аллах, помоги мне: если стану его женой, мне придется переменить свою веру, не гневайся на меня за это. И зачем гневаться, люди просто не знают, зачем они разделились, ведь весь мир – один на всех под одним небом, а значит, и сотворил его Ты один, Бог».

Улыбнулся царь, глядя на юношу, и хотя знал, кто он, какого рода, спросил, чтобы нарушить молчание:

– Кем тебе доводится девушка, которую так строго охраняешь, как тебя зовут, чей ты будешь?

– Это моя тетя по матери,– на сносном русском языке ответил юноша.– Зовут меня Саид-Булатом, мой отец – Бекбулат, которого ты, великий государь, поставил над Касимовским ханством.

– Молодец! – не скрывая своего восхищения, воскликнул царь,– ну просто доподлинный молодец.

Гошевнай ласково обняла племянника.

– А не хотел бы ты быть воином русского войска, как твой дядя Михаил Темрюкович?

– Что ты, великий государь! – восторженно произнес Саид-Булат.– Если считаешь, что я достоин быть воином такого могучего войска, такой страны, то я готов! – вытянулся он в струнку.– Только спрошу согласия моих родителей. Они, конечно же, согласятся.

– Если ты не только согласен служить в моем войске, а еще и считаешь за честь, тогда все в порядке. С роди-

телями твоими я договорюсь. А ты уже с сего момента считай себя стрельцом воеводы Михаила Темрюковича Черкасского. Тут еще и такое дело: если ты согласишься отдать свою тетку мне в жены, значит, будешь верой и правдой служить не только царю, но и царице Руси... Ну, не передумал?

– Нет, великий государь, у мужчины слово должно быть таким же твердым, как стальной меч. А что касается моей тетки, княжны Гошевнай, если она согласна – бери, мир да любовь вам.

В тот же вечер царь навестил брата княжны Гошевнай:

– Если ты, Доманук Темрюкович, считаешь меня достойным твоей сестры, я беру ее в жены, в царицы православной Руси.

Доманук, сдерживая свои чувства, ответил с княжеским достоинством:

– Беря в жены княжну Гошевнай, ты, великий государь, оказываешь честь не только ей, моей сестре, но и всем адыгам, всей нашей земле.

– Я думаю, князь Доманук, мы породнимся семьями, а наши народы породнятся государственно. От этого мы станем сильнее, тверже будем шагать по беспокойной земле.

В тот же вечер по всей Московии, от дома к дому, от перекрестка к перекрестку, пронеслась весть:

– Царь Иван Грозный решил жениться на дочери князя черкасской земли, что за тысячи верст от Москвы-матушки!

– За поднебесными горами та черкасская земля!

– И над синими морями лежат ее просторы!

– Одни говорят, там – адыги, другие – якобы черкасы, а третьи утверждают, что кабардины.

– Это у нас, на ровной земле, все просто, а в горах – о-о, там все по-другому!

– Не увязнуть бы нам, не запутаться в тех самых горах да пропастях!

– Ничего, сдюжим, на то мы и есть – Русь. В Благовещенском соборе Кремля княжна Гошевнай приняла православие с крещеным именем Мария. Потом, как полагается по русскому обычаю, состоялся сговор, а через месяц назначена свадьба.

Марию Темрюковну окружили няньками да мамками, они принялись учить ее говорить по-русски, знакомить с

их обычаями, по которым ей, царице, придется жить, свято соблюдать их.

Завершить дело Доманук поручил брату Султану и зятю Бекбулату с Саид-Булатом, а сам отправился домой с поредевшим отрядом всадников – больше сотни их осталось служить в русской армии.

А спустя месяц, 21 числа последнего летнего месяца 1561 года, под звон колоколов всех церквей и соборов Кремля состоялось невиданно пышное венчание. В Успенском соборе митрополит Макарий обвенчал самодержца Руси Ивана Васильевича с дочерью главного кабардинского князя Темрюка Гошевнай, в крещении Марией. Сторону жениха представляли два его брата и приближенные бояре, а невесты – ее брат Султан, хан Бекбулат, его сын Саид-Булат и адыгские воины.

Венчание было настолько пышным и громким, что никто не заметил, как печальна была невеста, никто, конечно, не знал и, пожалуй, знать не хотел, что принесет это венчание адыгам, чего больше появится на их земле – радости или печали и боли.

После свадебного застолья с многочисленными переменами разных блюд и вин, которое длилось несколько часов, Саид-Булат позвал свою утомленную и печальную тетю к приоткрытому окну:

– Подойди, Гошевнай, подыши свежим ветерком.

– Что ты сказал ей на своем языке? – настороженно спросила Февронья, повернувшись к нему.

– Позвал к открытому окну, чтобы свежим ветерком подышала.

– Ветерком – это хорошо, только смотри, Саид, не накличь себе беду. Уже нет никакой Кученей, есть царица Мария.

Побледнела Гошевнай.

Напрягся весь Саид-Булат и едва удержался, чтобы не сказать грубость Февронье. Сдержался, как-то судорожно улыбнулся:

– Прости, Февронья. Ты больше не услышишь это имя.

– Вот и молодец! Я знаю, ты очень понятливый.

«Понятливый». Да понимает ли она, что он стоял сейчас рядом с Гошевнай, будто на ее похоронах?

– Ты знаешь, меня тревожит какой-то непонятный страх,– сказала Гошевнай Саид-Булату, тихонько сказала, но это услышала опять Февронья, попросила перевести.

– Такая наша доля женская, Мария Темрюковна,– пояснила она.– Так у всех бывает, а потом проходит. Пройдет, когда он станет тебе мужем, а сейчас ведь еще жених. Любушка ты моя, хорошая моя, все обойдется, как назначено самим Господом... Пойдем, милая, в спаленку, час твой пробил.

Проводила она Марию, тихонько, но плотно закрыла за нею дверь.

Спальня с широким ложе, покрытым белым, была, как показалось Марии, угрожающе пуста.

Она остановилась у кровати, вцепилась обеими руками в спинку, почему-то показавшуюся ей горячей.

Вошел он.

«Высокий и стройный,– подумала она,– как тополь».

Ласково улыбнулся, сел на кровать, снял сапоги:

– Сядь со мною рядом, женушка моя.

Жаром вспыхнуло ее нежно-белое лицо. Забилось, застучало сердце, словно грозясь выпрыгнуть из груди.

– Садись же,– негромко, но твердо повторил он.– Не бойся. Я – муж твой, супруг нареченный.– Подошел он к ней, разжал горевшие жаром тонкие пальцы ее рук. Обнял.– Ты тоже обними меня,– с придыханием прошептал он.– Ну же, ну! Я ничего плохого тебе не сделаю, только то, что Богом определено.

Перед тем, как идти в спальню, Иван расспросил Дударука, как бывает у них, у адыгов, в первую брачную ночь, а потому не стал расстегивать корсет, туго стягивавший талию Марии, а осторожно, вдруг почему-то вздрогнувшей рукой кинжалом вспорол его...

А утром Февронья вывесила простынь из царской спальни со следами девственности Марии.

VII

Наладилась жизнь в Жанее. Больше не нападали турки и крымцы, значит, тучнели поля и луга, множились табуны лошадей, отары овец, стада коров и всякой домашней птицы. Хорошели дома и сараи, ломились изобилием сады.

Игрались свадьбы, рождались и с шумным весельем росли дети, радовались, глядя на них, матери.

«Дети,– подумал Сибок,– это не только будущее наше, завтрашний день, но и радость сегодняшнего». Все хорошо было у него в семье. Два сына – два богатыря. Слава Аллаху, дочь-красавица, внучка. А вот с братом Ацамуком... Надо бы ему жениться уже давно, детишками обзавестись. С грустью, с одной стороны, подумал Сибок, а с другой – где ему найти более надежного и толкового помощника в делах главного князя, чем Ацамук? А женится он, если не всего себя, то добрую половину своих сил и устремлений отдаст семье. «Не зря говорят – каждая палка о двух концах,– усмехнулся Сибок,– сейчас оба конца в моих руках, а если Ацамук женится?»

Нельзя сказать, что слишком богател главный князь Сибок, но и не скажешь, что беднел. Нет, все было и у него просто, хорошо. Сколько он помнил себя, столько и думал прежде всего не о своем, а о благополучии своего народа, всех адыгов.

Довольны были жанеи своим главным князем, даже гордились, что он не склонил гордой головы перед русским царем, не выдал за него свою дочь, проявил смелость и выдержку.

Все благополучно в Жанее, но, как говорят, в грешном подлунном мире за все хорошее надо платить трудовым потом, совестью, а то и кровью. Вот и пришлось адыгским воинам под предводительством Сибока воевать вместе с поляками, крымскими татарами и ливонцами против русских. Правда, это была не только плата, но и расплата с царем за его предательский сговор с турками за спиной адыгов.

Каждое утро на протяжении трех месяцев этой войны Сибок молился Всевышнему, чтобы в кровавых схватках его воины не сошлись с адыгами из дружины князя Темрюка, воевавшими на стороне русских.

«Молись не молись,– подумал он,– а Бжамит со своими боевыми товарищами, которыми командовал ты, князь Сибок, лежит на чужой земле, на противоположной тебе сегодня стороне, и здесь полегло в чужую и потому холодную землю за три месяца тридцать девять адыгов. Все хорошо нынче в Жанее, если забыть о тридцати девяти матерях этих воинов. Да, князь, они пали в бою, муже-

ственно сражаясь, но Калакут сказал: истинное мужество – это когда человек сражается и погибает на своей земле, за свою страну».

Обо всем этом размышлял Сибок, когда шел на прощальную встречу с королем Польши Сигизмундом и ханом Давлет-Гиреем.

Король сидел, вальяжно откинувшись на спинку кресла, и представлял собою, как он считал, само величество, хотя глаза у него блекло-осенние, высокий голос был сиплым, а усики как у какого-нибудь провинциального чиновника, а не короля.

– Я очень доволен тобою, князь, да что я?! Вся Европа полна разговоров о благородном и мужественном поступке главного князя Жанеи Сибока, о маленьком, но гордом и сильном его народе. Лишь дряхлая старушка Англия делает вид, будто ничего особенного не произошло... Князь Сибок не только, как говорят, дал по носу самоуверенному и наглому царю Ивану, дал от ворот поворот его сватам, но и силой своих храбрых воинов стал на нашей, культурных народов, стороне.

– Да-да, конечно, конечно,– ухмыляясь, проговорил Давлет-Гирей,– об этом важном событии в Европе не только сегодня, но и впредь, в веках будут говорить. На нас, понятно, не прольется дождь этой славы, однако, может быть, кое-что упадет и на наши головы, ведь мы были плечом к плечу с воинами князя Сибока, впрочем...

Поморщился хан, пожал плечами.

Сибок догадался, о чем собирается напомнить Давлет-Гирей.

– Большое историческое событие, как сказал мудрец, это словно многогранная глыба,– продолжил хан.– Вот и в нашем случае разные были повороты... такие повороты...

Насторожился и Сигизмунд.

– Мы помним – из истории этого не выбросишь, как черкесы под предводительством главного князя Жанеи сражались на стороне царя, как Сибок отдал в услужение ему своего сына Кудадека.

– Что было, то было, посланник Аллаха. Это когда турки и твои лихие парни угоняли наш скот, жгли селения, убивали защищавших свою землю адыгов. А что оставалось делать? Не бежать же за водой к тому, кто поджег твой дом!..

– Как знать! Если бы ты с миром прибежал к тому, кто поджег твой дом, он, наверное, дал бы тебе воду. Но с миром никто не приходил, черкесы – народ гордый, по гордости своей и получал. Странная она у вас, какая-то непонятная. То голову так держите – не подходи, то сами бежите на поклон, а дела-то нету. Нет у вас единой, дружной семьи: кто в лес, кто по дрова. Кто – к урусам, а кто – от них. Как тут вас понять...

– А как вас понять, посланник Аллаха? – засмеялся Сибок.– Можно ли спрашивать с нас за то, чего не было? У самих у вас-то какая огромная была страна и рассыпалась, еще немного – только пыль от нее останется...

Давлет-Гирей резко встал. И Сибок тоже. Поднялся и король Сигизмунд. Прошелся между ханом и князем, остановился:

– А еще и такое сказал все тот же мудрец: без вчерашнего дня не бывает завтрашнего, как его не бывает и без сегодняшнего. И самый важный – сегодняшний. А вчерашний – он ушел, цепляйтесь за него хоть четырьмя руками – не уцепитесь. Да и не надо за него цепляться, ничего, кроме вреда, от этого не будет, как от прокисшего вина. Когда мужи говорят с таким огоньком, я верю им, потому что говорят не холодным рассудком, а горячим сердцем. Ведь разум лукав, витийствуя, может обмануть, а сердце всегда чисто, открыто, потому как оно – сердце, наполненное кровью, чистой, как небо, и горячей, как солнце. На прощание от имени Польши и Литвы я должен выразить вам нашу великую благодарность за вашу искреннюю, боевую дружбу. Память о ней тоже останется жить в веках. Я написал в Турцию султану Сулейману большое письмо с благодарностью, написал о нашем с вами содружестве. Если вам доведется повстречаться с ним, живыми словами расскажете о наших общих благородных делах. Счастливого вам пути, мира и благополучия вашим народам. Надеюсь, в скором времени вы пришлете дружины своей грозной, как ураган, конницы, и мы с вами проучим этого зарвавшегося москаля, лапотника! А тебе, князь Сибок, еще скажу: ничего страшного, что дочь черкесов стала супругой грубого, кровавого царя Ивана, я буду молить Бога, мы отслужим в нашем главном католическом соборе, может быть, даже в самом Риме, вечном городе Господа Бога, мессу, на которой будем просить Всевышнего

о милости к черкесам, об их братском воссоединении, будем молить Господа о благополучии и процветании Крымского ханства. Да хранит вас Бог!

Князь Сибок до того вознегодовал, слушая Сигизмунда, что по возвращении от него начал ходить по комнате, громыхая стульями, не замечая сына Камболета.

«Поганый паршивец польский! У него и глаза вроде как не человеческие, а голодного волка... Пришлите ему еще несколько сотен всадников, которых он бросит в самые опасные места! Они, выходит, для него не люди, а просто существа с мечами. Теперь не знаю, что сказать своим людям, оставив лежать в чужой земле тридцать девять их сыновей и братьев. А если бы не прислал их, они с султаном и ханом превратили бы Жанею в пепел. О Аллах, за что ты под старость лет моих посылаешь такое наказание?.. А другой, крымский мерзавец?! Будто змея, прошипел мне в ухо: «Не забудь о своих долгах ханству, а то ведь у меня терпение может лопнуть!»

Наконец Сибок обратил внимание на стоящего у тахты Камболета, ожидавшего, когда отец удостоит его вниманием.

– А-а, сын мой! В мыслях своих я будто в тине увяз. А где брат твой Кудадек?

– Они с Вишнивецким бродят по берегу Вислы. Сказали, скоро придут.

– Бродят, говоришь, разговоры, значит, ведут. О чем же?

– Не знаю, они на языке урусов разговаривают. Сколько уже прошу Кудадека, чтобы учил меня их языку, а ему все некогда.

– Зачем тебе нужен чужой язык? Совершенно ни к чему.

– Напрасно так говоришь, отец. Я уже прилично знаю ногайский, хорошо бы и язык урусов, этого большого народа, знать. Болтают они, и все – Московия, Московия, а что Московия? Какое им до нее дело?

– Я уже немалую жизнь прожил и понял: ничего не хочу, только жить бы спокойно у себя дома, сидеть у родного очага, бродить по лесам и горам, никому не мешая, и чтобы мне никто не мешал.

– Говоришь, сидеть бы дома, а сам все ездишь и ездишь, можно сказать, в седле живешь больше, чем в своем доме.

Меня зачем-то привез. Зачем? Если на войну, значит, должен повоевать, а ты меня туда и близко не пускаешь.

– Потерял ум твой отец, вот и привез.

– Я что-то такого ни от кого не слышал,– засмеялся Камболет.

– Я так тебе скажу: лучше знать, что думают люди, а не о чем говорят. Очень часто они говорят одно, а думают другое или третье, вот и пойми, как поступят на деле... Успеешь еще, Камболет, повоевать, испить эту кровавую горечь. Говорят, то, что ты видишь и слышишь, дороже головы.

– А как можно видеть и слышать без головы, отец?

– Вот и береги ее, чтобы видеть и слышать чудо.

– Но зачем мне такая голова, которая только и занята тем, что находится у очага, дальше своего носа ничего не видит? Тогда и получается – не человеческая она, а, скажем, глупого теленка,– сказал Камболет, направляясь к двери.

– Вот это да! Вон уже куда он гнет, мой мальчик! – удивленно воскликнул Сибок.

– Я сказал что-нибудь нехорошее, отец?

– Да нет, ничего, а куда ты отправляешься?

– Пойду к реке. Надо увести Кудадека от предателя Вишнивецкого.

– Что-о?! Что ты сказал, сын мой? Иди-ка сюда, садись. Да-да, садись, надо поговорить... Я Вишнивецкого знаю уже не один год. Вместе с ним мне доводилось решать непростые дела. Думаю, прежде, чем сказать такое об этом человеке, ты сначала поговорил бы со мной. Он вовсе не предатель.

– А как можно назвать воеводу-уруса, который переметнулся во вражеское войско, к крымским татарам?

– Во-первых, он не переметнулся к крымцам, во-вторых, он не урус, а польский шляхтич, пришел к полякам. Вишнивецкий – честный, порядочный человек. Это я хорошо знаю и тебе говорю. Спросишь, почему он так поступил? Жизнь очень сложна, сын мой, у нее бывают такие крутые повороты, когда невозможно удержаться в седле. Со временем все это сам испытаешь и поймешь. Очень крутые повороты были и в моей жизни, и у твоего старшего брата. Может быть, ты и нас осуждаешь, как Вишнивецкого?

– Я знаю, ты все делаешь не для себя, а для адыгов, но... думаю, тебе не следовало связываться с Турцией и Крымом, которые столько бед причинили нам, адыгам... Я не обидел тебя, отец?

Конечно, сын задел его, как говорится, за живое, но он сдержался:

– Нет, я рад, что ты уже самостоятельно мыслишь... Как думаешь, я пошел на это по своей воле или вынужденно?

– Калакут тоже живет заботами адыгов, но он сам по себе, не стал примыкать к кому-либо.

– А я, выходит, не сам по себе, иду то с одним, то с другим. Кто же я такой?

– Ты – главный зиусхан Жанеи.

– Спасибо, хоть здесь я сам по себе. Спасибо,– грустно улыбнулся Сибок и услышал свое сердце, так громко оно ударило.– Ты один думаешь так или еще кто-то?

– Мы одинаково думаем с Кудадеком.

Сибок хотел скрыть свою боль от Камболета, но судорожный вздох вдруг сам вырвался из его ставшей почему-то тесной груди.

Вроде бы осторожно, как бы в задумчивости подошел к столу, сел, положив отяжелевшие руки, и все никак не мог понять: этот глубокий вздох, вырвавшийся из тесной груди, вздох беды или какой-то другой, вздох горести или радости.

«Конечно,– подумал уже стареющий князь,– когда твои сыновья, которых ты воспитал, вложил в них самого себя и веришь им, уже твердой ногой становятся рядом на твоей дороге, могут даже стать поперек ее, ты можешь отойти в сторону и любоваться ими, можешь спокойно уйти, куда положено Всевышним... Я годы думал и размышлял: хорошо или плохо то, что сделал Калакут, к чему стремился. Раздумывал, не соглашался, и мои сыновья как бы додумали мою думу и совсем, кажется, не боятся нарушить закон адыгов, ослушаться отца. Но если дети не будут этого делать, жизнь умрет. Во имя самой жизни они не должны преступить заветов отца о чести, совести, добре и душевной святости».

– Выходит, вы стали рядом с Калакутом? Просто так или?..

– Что ты говоришь, отец?! Как это – просто так?! Если просто так, то можно и разбойником стать.

«Ах, хорош, вон как он хорош! И когда только успел стать таким? А глаза, его карие глаза не светятся, а прямо-таки горят!»

– Спасибо, сын. Ну, раз вы – с Калакутом, стану и я рядом с вами, но... Думаю, пока открыто об этом говорить нельзя, можно навредить делу. Я поговорю с ним, все обдумаем.

– Спасибо, отец. Мы уже говорили об этом, думали. Ты, нам так кажется, продолжай заниматься своими делами – дружи с султаном и ханом, но хорошо бы тебе не забывать и о Руси.

«Люди, вы посмотрите, послушайте! – восторженно глядя на Камболета, думал князь.– Это мой младшенький, это мои сыновья, род Каншауковых! Это наше с вами будущее, адыги! Будем молиться всем богам, просить у них помощи нашему завтрашнему дню!»

– Что ты сказал, Камболет?

– Говорю, Ацамук тоже с нами. Когда я заговорил с ним об этом, он даже закричал на меня, мол, не лезь не в свое дело, а потом... с ним побеседовал Кудадек, потом втроем обсудили. Он с нами, а мы с ним. Все хорошо у нас, вот только Кудадек... «О Аллах, и эту ношу Ацамук берет на свои плечи, вместо того, чтобы обзавестись семьей и жить, как все нормальные люди»,– подумал Сибок.

– А что Кудадек? – обеспокоился отец.

– Он... как бы тоскует по Московии.

– С чего ты взял?

– Он любит рассказывать о Московии, ходить в их военной одежде.

– Как это любит? – удивился отец.

– Очень просто. Наденет, как это у них называется, форму и прохаживается, красуется сам перед собою.

– Ничего тут плохого нет. Скучает просто по тем далеким дням, по ушедшему. Такое часто бывает у людей. Вот и ты, если уедешь надолго куда-нибудь, непременно будешь скучать по родному дому, по лужку, по родничку, из которого мы пьем воду.

– Ну-у, то ведь родной дом, а Московия – чужая.

– Получается, она ему не такая и чужая,– не без тревоги заметил князь.

Сибок прожил более шестидесяти лет. О, сколько пройдено дорог и тропинок, крутых горных перевалов с темными пропастями, сколько видено полей и лугов, но все это – мимо, и следа его там не осталось. Однако есть места, в которых осталась частица его сердца, которые запали в памяти. Хотя бы та же Московия и далекие чужие места, где похоронены его воины. Похоронена печаль. Разве он сможет забыть пригорок у леса, край чьего-то старого кладбища и холмик могилы Бжамита? А Вишневецкий? Как он будет жить без Московии? Даст ли ему радость и душевное успокоение, даст ли благое забвение польская земля? Вот и Кудадек – как ему забыть Московию, где он стал другим человеком, где остались его боевые друзья? Конечно, Камболет этого еще не поймет, но лягут ему под ноги разные дороги с их тревогами, радостями и печалями, вот и придет в жизни такое, чему неумолимой хозяйкой будет память...

Приехал князь Сибок в Жанею и увидел, как Дударук со своими воинами отправлялся в Московию, увидел, как взволнованно провожал его Кудадек и грустно улыбнулся: «Неумолимая она – память, не только хранит ушедшее, но может и повелеть, приказать, повести... Вот такие дела, Камболет, храни Аллах тебя и твоего брата Кудадека».

VIII

В свое время Мамий был в Крыму очень богатым человеком, может быть, после хана Давлет-Гирея. Власти же, как говорили, было у него не меньше, чем у самого хана, потому как находился в гуще жизни. Была его власть, что называется, и светом, и тьмой, такой же самоуправной и своевольной. Теперь же, когда главный князь Жанеи порвал с Московией и сблизился с Давлет-Гиреем, закатилось солнце Мамия. Все потерял он – и власть, и прекрасный дом, обставленный дорогой мебелью, с персидской работы коврами и китайским фарфором. Из одежды и оружия осталось только то, что было при нем. Правда, золото и серебро ему удалось спасти, вернее, помогла Мариам, с которой он прожил несколько лет, с этой маленькой, изящно сложенной женщиной с красивыми, распахнутыми глазами тихого, зовущего взгляда. О ней говорили – она такая, будто явилась из сказки. Подарил

ее Мамию из своего гарема сам Давлет-Гирей. Считалась она женой баскака, но Мамий полагал, что такую красивую женщину нельзя отдать другому, и если хан ее все-таки отдал, значит, была тому какая-то причина. «Наверное, наушницей ко мне приставил»,– считал он и обращался, с нею как с неугодной рабыней, мог ударить, пнуть ногой, обругать гадкими словами. А потому что она отвечала ему лаской, тихим зовущим взглядом, ненавидел еще больше. Но вот хан приказал ему убираться из Крыма, в чем стоит, и немедля. Мариам сообщила, что Сарбай, которого Мамий считал своим другом, должен убить его по приказу Давлет-Гирея, сказала также, где с помощью верных людей спрятала его серебро, золото, все драгоценности... Первое, что пронеслось в разгоряченной голове Мамия,– убить ее за ложь, за клевету. Если же она сказала правду – убить за эту страшную весть. Дрожащей от нетерпения рукой он ухватился за кинжал, а Мариам улыбнулась и положила ему голову на плечо...

После того как князь Тахо и его пасечник отказали Мамию в приюте, он поселился в горах в охотничьем домике. Лежал на топчане на набитом душистым сеном матраце и думал, что же делать дальше. Во-первых, приближался охотничий сезон, и в домик придут хозяева, а во-вторых, не жить же ему все время медведем в берлоге.

Зашумело, загудело за окном, завыло.

Он вскочил на всякий случай, замер с саблей в руках у двери. Но шум начал стихать, будто какая-то огромная, неистовая птица пролетела мимо.

Выглянул в окошко и увидел, как рогатый олень в два-три прыжка перемахнул через речку на ближний берег. А на том берегу остался стоять весь в порыве волк. Еще бы чуть-чуть, еще немного – и! Но не хватило волку этого немного, этого чуть-чуть!..

Мамий рассмеялся. Вот так когда-то случилось и с ним. Хотел жениться на Накуре, но, что называется, из-под самого носа ее увел Калакут. Потом пригляделся к дочери Сибока, но пока Ванатуг приноравливался, как выкрасть девчонку, ее выдали замуж.

Лег он опять на топчан, но тут же спохватился. Сел, свесив ноги. «Глуп ты, глуп, как пень! Что ты видел в своей жизни, что?! Как ссорились между собою отец с матерью, которых ты не любил, от которых сбежал, полагая на

18 Заказ 06

свободу, а попал в человеческий омут, захлебнулся его мерзостями, сам стал мерзостью, считая себя первым из первых. Как подло ты относился к Мариам, а скажи, за что?! Только за то, что она из ханского гарема? Это беда, несчастье ее, а ты!.. Ведь она – единственная на всем свете, кто любит тебя. Понимаешь – любит! Ты хоть знаешь, что это такое?! Не знаешь... А вот теперь узнаешь. Ведь Мариам, можно сказать, заново родила тебя на белый свет, да, на белый свет, которого ты до сих пор толком и не видел. Иди к ней, стань перед нею на колени!.. А потом помирись с Калакутом, помирись и поживи на белом свете, а не в омуте».

Он поехал в Крым и привез Мариам в отчий дом.

Тлимаф по обыкновению утром встал раньше всех в доме, а может, и во всем селении. Походил по двору, как он говорил, размял косточки, потом задал корм лошадям и, когда вышел из конюшни, увидел во дворе покойного Зазия женщину. Маленькую, будто совсем девчонку. Она подметала двор.

Остановился в недоумении старик: кто она, откуда взялась и когда? Вчера ее еще не было.

– Ты что так смотришь, отец, будто увидел какое-то чудо? – окликнул с крыльца Дзегашт.

– А посмотри во двор Зазия и увидишь.

Сын пожал плечами:

– Думаю, это Мамий приехал со своей женой.

– Ночью, что ли, приехал, будто дня ему не хватило.

– Людям всегда чего-нибудь не хватает,– усмехнулся Дзегашт.

– Правда, правда. И мне всю жизнь чего-то не хватает... Скажи женщинам, пусть навестят соседку. Может, чем помочь надо, ведь ночью приехали в пустой дом.

Из дома родителей вышли Накура и ее мать Рура. Вслед за ними выскочил мальчишка, сын Калакута.

– Ты куда, нана?

Его на руки подхватила бабушка Рура и расцеловала:

– Почему тебе не спится, дорогой мой внучек? Утречком ведь так сладко спится! Славненький ты наш. Ну, пойди побегай! Только не упади, а то опять нос расквасишь.

– Не расквашу больше, не расквашу! – взвизгнул он и подался во всю прыть, взбрыкивая, будто стригунок.

Мариам пошла женщинам навстречу к воротам. Рура обняла ее, а Накура пожала руку.

– Чей же это такой прелестный мальчуган бегает? Что за чудо такое! Как они хороши, эти малыши.

– Это Борэн, сын Калакута и вот ее, Накуры, нашей дочери, а меня зовут Рурой. Может, слышала?

– Слышала имена такие – Калакут, Сибок,– ответила Мариам, меняясь в лице. Она ведь знала о том, какие отношения у Калакута с Мамием. Сдерживая волнение, продолжила.– У тебя, похоже, хороший свекор, потому и внук настоящий красавчик. Только у дерева со здоровыми корнями растут такие веселые и крепкие ветви. А что означает имя этого чудного мальчишки?

– Зимой у нас бывает очень сильный, холодный и метельный ветер. Его называют борэн. Мой внучек родился как раз, когда он дул. Вот мальчишку и назвали его именем.

– Что-то Мамия не видать, наверное, спит еще? – спросила Накура.

– Нет. Он еще ночью ускакал по какому-то важному делу.

– А как у тебя с едой? Есть из чего приготовить?

– Пока не смотрела, что там привез Мамий.

– Посмотри и скажи, в чем нужда будет,– сказала Рура,– и не стесняйся. У нас все это просто.

– Спасибо на добром слове. Думаю, в сумках есть кое-что.

– Я все-таки принесу яичек, сметанки.

А через два дня, когда Рура принесла молоко, Мариам жарила баранину, на столе лежали круг сыра, копченое мясо, в углу стоял мешок с мукой.

– Да ты просто разбогатела!

– Очень разбогатела. Проходи, Рура, присаживайся, угощу тебя татарским завтраком.

– Ты татарка, что ли? А откуда так хорошо говоришь по-нашему?

– Я же живу с Мамием, от него и научилась.

– Эти продукты он привез?

– Да. Привез и опять уехал по каким-то, как он сказал, делам.

– Что за дела у него? – пожала плечами Рура.– Опять взялся за разбой? Бедная ты, бедненькая Мариам! О Аллах! А как нам рядом с ним!

– Нет-нет, Рура, не бойся. Мамий долго молился, слезно просил Аллаха простить ему все прошлые грехи и дал, как он сказал, большую клятву Ему жить богоугодной жизнью.

– Если бы он сдержал свое слово,– вздохнула Рура,– а то ведь не знаешь, что придет ему в голову завтра.

– Сдержит. У него крепкое слово.

– Хорошо, если крепкое, но у дьявола очень большая сила. Надо молиться и молиться, просить помощи у Аллаха.

– Да, да,– согласилась Мариам.– Он молится. Хорошо молится, часто бывает в мечети, может быть, даже в Мекку сходит.

– О Великий Аллах,– молитвенно сложила руки на груди Рура,– помоги ему.

– Аллах всем помогает делать доброе дело, поможет и мужу моему. Ты же знаешь, Рура, каким разбойником был Ванатуг, а теперь? Говорят, много добра делает людям, живет мирно и богоугодно. Мамий только и боится, как бы не стали ему мстить те, кому он когда-то сделал злое. Когда ты сказала о Калакуте, у меня сердце похолодело. Мамий когда-то сделал ему большое зло и теперь не знает, простит ли ему Калакут... Я тебя прошу, всех буду просить – помогите Мамию вернуться к доброй жизни, простите его грехи, как Аллах прощает нам всем.

– Ты, Мариам, посоветуй мужу поговорить с нашими мужчинами, сообща с любой бедой легче справиться. Калакут – человек большого и доброго сердца, думаю, он простит ему, как простил Ванатугу, тогда уж никто не посмеет его тронуть.

В этот раз Мамий приехал еще засветло. Мариам накормила его вкусным ужином и, когда он прилег, села рядом и пересказала все, о чем говорила с Рурой.

Мамий, нахмурившись, отвернулся к стенке:

– Не надо тебе вмешиваться в мужские дела. Не надо, я запрещаю.

– Дорогой муж, ты единственный человек на всей земле, которого я любила, люблю и буду любить до самой смерти. Если бы мне сказали, что для твоего счастья нужна моя жизнь, я, не задумываясь, отдала бы ее, но когда речь идет о моей жизни и смерти, позволь мне нарушить наш обычай и вмешаться в мужское дело, дать тебе совет.

Он рывком обернулся к ней, бросил на нее взгляд, не то ненавидящий, не то кричащий от боли, и закрыл глаза дрожащей ладонью.

Она терпеливо помолчала, пока перестала дрожать его рука, и он отвернулся опять к стене.

– Ты говорил, подождешь, когда Тахо встретится с Калакутом и переговорит с ним. Не верь этому подлому человеку... Я разговаривала с Рурой, она советовала тебе обратиться к здешним мужчинам и уверена – они помогут тебе, нам помогут. За эти несколько дней я узнала – они чисты и добры, как небо. В гостиной Тлимафа горит свет, вот и иди прямо сейчас. Может быть, этот вечер станет добрым в нашей с тобой жизни.

Он ушел, ничего не сказав Мариам и не оглянувшись. Из гостиной Тлимафа уже расходились. Он подошел к окну, прислушался к разговору. Говорил Дзегашт:

– Позавчера на рассвете я видел, как Мамий, такой аккуратненький, чистенький, уходил через огород.

– Был бы он душою чистеньким,– грустно заметил Тлимаф,– а то ведь душевная чернота порою скрывается чистенькой одеждой, вот и попробуй разглядеть, что кроется под нею.

– Его жена сказала, что он поклялся Аллаху бросить свои разбойные дела, готов добром искупить тяжкие грехи.

– Хорошо бы, хорошо бы,– вздохнул Тлимаф,– хоть на том свете успокоится бедный Зазий.

Мамий решительно вошел в гостиную:

– Доброго вечера, почтенный Тлимаф, и тебе, Дзегашт.

– Если ты пришел сказать нам что-то хорошее, проходи, садись,– указал на стул старик.

– Спасибо. Я постою, не рассиживаться пришел.

– Главный зиусхан Жанеи Сибок сбросил тебя с твоего лихого коня, а для нас ты – сосед, значит, и жить мы должны по-соседски,– негромко заговорил Тлимаф, по-мужски прямо и твердо глядя Мамию в глаза.

Мамий улыбнулся:

– Сказано было: пусть каждый побьет того, кого может одолеть. Немощная, едва стоящая на ногах старуха прибила такую же старую, умирающую от немощи кошку. Думаю, это про Сибока и про меня,– сказал тихонько, не без ехидства подумав: «Недолго ему осталось сидеть в седле, а мне ходить пешком. Как бы его седло не оказалось мне впору»,

и продолжил.– Не обессудьте. Я слышал ваш разговор... Моя жена сказала правду Руре: я поклялся Аллаху дожить свои годы честно, искупая содеянные мною тяжкие грехи. Много их на мне, даже кровавых. Родных отца и мать в могилу загнал. Вы можете мне не поверить, да и как можно поверить такому, как я, но... когда тонет человек, вы не спрашиваете, кто он, а просто спасаете. Вот с этим я и пришел к вам. Поговори, Тлимаф, с Калакутом, ведь простил он Ванатуга, спас человека...

Тлимаф поднял руку:

– Я по обычаю старшего рода не встречаюсь с нашим зятем Калакутом, и он не спешит ко мне. Об этом лучше поговорить с Дзегаштом, вот и попроси его.

Дзегашт опустил голову.

Неловкая тишина воцарилась в гостиной. Мамию показалось, что его пытают этой тишиной, даже позорят. Он опрометью выскочил бы из гостиной, однако ноги будто были сами по себе, не подчинялись ему, не хотели двигаться. Мамий чуть не закричал: «Перестаньте, хватит!»

– Чего же ты молчишь, парень?! – прикрикнул на Дзегашта Тлимаф.

– Жду, что ты скажешь...

– А сам не знаешь, что я могу сказать? – совсем рассердился старик.– Что у тебя нет милосердия Божьего? Куда ты денешь его, соседа своего, сына Зазия?

– Не сердись, отец. Конечно, сделаю все, что надо.

Мамий поклонился и вышел.

«Спасибо, что не втоптали меня в навозную кучу. Но ничего, будет еще, будет и на моей улице праздник! Вот придут ногаи сдирать с вас дань, я тогда кое-кому покажу!»

IX

Калакут был доволен своей поездкой в Беслинею и Абазию. Всюду его встречали добродушно и так согласно, что хоть сегодня брось клич об объединении – и все пойдут за ним. Был доволен, что его сестра хорошо прижилась в семье мужа. Тамтеч и Дария обрадовались ему, как самому желанному человеку, не знали, куда поудобнее посадить, чем повкуснее накормить. Конечно, большие мужские дела – большая радость, но есть в душе у каждого укромные уголки, они тоже нуждаются в радости, без которой

человек может засохнуть и вовсе погибнуть,– это радость в семье, радость у плетня с соседом, в его доме за столом и просто радость глаз близких ему людей, радость человеческого общения.

С веселым сердцем собирался Калакут на следующий день отправиться домой, а в мыслях уже был там – так соскучился по сыну и жене, по родному углу. Проводить его до хакучинцев вызвались Даур и Тамтеч. Сердце его, конечно же, истосковалось по маленькому сыну, слишком редко приходится видеть его. Как хотелось Калакуту взять мальчишку к себе на руки, поиграть с ним, послушать его звонкий смех, разделить эту радость со своей женой.

В гостиной свекра своей сестры Калакут беседовал с соседскими стариками. Говорили о жизни, о делах адыгов. Он с почтением выслушивал их советы, согласно кивал головой, отдавая дань мудрости, накопленной многими прожитыми годами.

Приехал Хатай и сказал, что в его гостиной ждет человек, приехавший, чтобы повидаться с Калакутом. Гостем оказался князь Пшиапшоко из Кабарды. Встретил он его искренним и теплым приветствием, пожав руку, справился о здоровье.

Как полагается, и Калакут спросил гостя, хорошо ли он доехал, все ли благополучно дома, но спросил с холодком, вспомнив, как его подначивали, посматривали на него свысока старый князь Кайтук и его сыновья, особенно язвительный Пшиапшоко.

– У нашего отца дела неважные. Тяжело ему ходить, болит спина. Даже с постели поднимается с трудом, вот и лежит целыми днями. Грустно и больно нам это видеть.

– А как же не больно,– заметил князь Машук, сидящий в сторонке,– вы его дети, а боль родителей – боль детей. Но что поделаешь, такая участь ждет всех нас. Многого может избежать человек, но старости и конца бытия своего еще никому не удавалось избежать.

– Почему же,– возразил Пшиапшоко,– бывает, уходят из жизни молодыми, красивыми и сильными. Скажем, на поле боя.

– Ну-у, естество тут ни при чем,– возразил Машук и удалился, никому ничего не сказав.

Пшиапшоко пожал плечами, поежился, а потом, сделав вид, что ничего не случилось, проговорил:

– Ты, Калакут, большое и полезное дело затеял, но нашлись, прямо скажу, неумные, самовлюбленные люди, которые изо всех сил мешали тебе. Засуетились, забегали – в Московию, из Московии, снова туда и обратно, да все с лакейскими поклонами, продавая родину по частям и целиком.

– Да, да! – весело пробасил Калакут.– По частям и целиком. Да не простые людишки, а все зиусханы, да главные к тому же. Кусок урусам, кусок туркам и крымцам, с которыми вы дружите.

– Так уж получилось,– замялся Пшиапшоко,– но по сравнению с другими вам повезло – вы оказались вместе с единоверцами.

– Хо, единоверцы! – еще громче пробасил Калакут.– То, что с нами делали эти, как ты говоришь, единоверцы, я и врагу своему не пожелаю! Ладно бы данью довольствовались, а то все с грабежами, волчьими разбоями, будто черный буран, на наши селения налетали да жгли!

– Да, это наше общее горе, но в последнее время они вроде бы не обижали вас.

– Не потому, что возлюбили, но взяли они нас под свою защиту, потому Давлет-Гирей и поутих малость, а что теперь будет – одному Аллаху известно, боюсь, хуже прежнего.

– Почему? – удивился Пшиапшоко.

– Да потому, что раньше мы жили как бы сами по себе, а теперь нас отдали Турции и Крыму. Рабами нас могут сделать, и некому пожаловаться, не у кого просить защиты.

– Нет, уважаемый Калакут, я думаю иначе. Когда вы были сами по себе, ногаям доставляло удовольствие пограбить вас, а теперь ведь – с ними, грабить самого себя вроде бы не годится. Они обязаны даже вас от других защищать.

Лукаво сощурился Калакут:

– Если так, зиусхан, почему тогда боишься урусов? Они ведь раз в десять, а может, и сто сильнее Крыма. К тому же от многих я слышал, да и сам видел: урусы – прямодушные, добрые люди.

– Что ты говоришь! – с возмущением произнес князь Пшиапшоко.– Мы ногаев веками знаем, они соседи наши... А этот Темрюк выдал свою дочь за гяурского царя, и теперь к нему не подступись, он сам тут себя царем чувствует.

Двумя другими дочерями породнился с восточными и северными ногаями – тут он и вовсе чуть ли не с Аллахом хочет сравняться. А его Малая Кабарда – с горошину перед всеми землями адыгов! Чего доброго, скоро всех нас затопчет, в ничто превратит! – совсем разгорячился князь, но, заметив, как нахмурился Калакут, замолчал.

– Все ты правильно говорил, только ходил все вокруг да около того, на чем состарилось мое сердце, чему отдал всего себя. Сидеть бы мне дома, посиживать с молодой красивой женой, забавляться сыночком, пасеку для сладости завести, для крепкой душистой медовухи да на охоту сбегать за джейранчиком, тогда было бы чем хорошенько попотчевать вас, дружески посидеть с вами за легкими разговорами. Благодать какая была бы у меня в гостиной! А я, можно сказать, всю свою жизнь провел в тревогах и спорах и зачем?! Мне казалось, истина моя совсем проста, понятна каждому, стоит только напомнить о ней – и все согласятся со мною... Ведь и в самом деле – проста и понятна. Если бы все двенадцать племен адыгов объединились в одну дружную семью, стали бы сильными, вольными хозяевами своей, не побоюсь сказать, божественно красивой и богатой земли, разве посмел бы кто-либо сунуться к нам? Только и приезжали бы счастливые гости.

Князь Пшиапшоко так улыбался, будто все это уже свершилось.

– Когда я приехал к вам со своими мыслями, ты помнишь, зиусхан, как посмеивался надо мною ваш отец, как он и вы с ним говорили обо мне всякие небылицы, мол, что возомнил о себе этот тфокотль...

– Зачем ты так, Калакут?! – всполошился князь.– Ни я, ни мой отец никогда и ничего худого о тебе не говорили. Да и от других не слышал, разве что от сумасбродного болтливого Темрюка... Укажи мне хоть на тфокотля, хоть на зиусхана, который не хочет видеть страну адыгов единой, сильной, счастливой в богатстве и мире.

– Вы, зиусханы, не хотите этого. На словах – за, а на деле – против.

– Нет, ты не то говоришь, уважаемый предводитель тфокотлей,– весело засмеялся князь.– В последнее время я много ездил, во многих селениях побывал, встречался с мудрыми, уважаемыми людьми и вот что хочу сказать: тфокотли Абадзехии и Темиргойи, Беслинеи и Махошии,

Бжедугии и Жанеи, можно сказать, всем миром стоят за тебя, за твою идею создания государства адыгов. Пока царь Иван не проглотил нас, как щука малую рыбу, надо объединиться нам и для начала укротить Темрюка!

– Вот видишь, зиусхан, тебе не терпится укротить Темрюка, кому-то захочется укротить Сибока. Укротить! Нет и еще раз нет. Никакого насилия!.. Ты можешь сказать, что огромное государство Русь создано на крови своих же людей, на крови тех, кто ратовал за вольные княжества?

Я говорю – нет! Вот и надо учиться лучшему, а не дурному.

И Аллах, и чиристанский Бог, как и наши древние боги, учат людей любви. Должны же мы это когда-нибудь понять!.. Говорят, что я – тфокотльский предводитель, но ведь я не отвергаю вас, зиусханов, наших правителей, хранителей адыгов как народа с его историей, обычаями, святостью. Вот и соберем все лучшее в нашем народе и выберем самого мудрого, самого достойного из достойных зиусхана нашим верховным правителем.

– Есть, есть у нас достойные и мудрые, но как тут определить, как убедить Темрюка, что я, скажем, честнее, выше него и потому достоин быть предводителем всей Кабарды, а может быть, и всей Черкесии, если она организуется, возвысится?

– Конечно, есть. Тот же Сибок, Машук...

– Ну-у,– поморщился Пшиапшоко,– Сибок уже потерял всякое доверие среди нас, зиусханов, как и Темрюк, а Машук...

Встал Калакут, как бы навис всем своим громадным телом над Пшиапшоко:

– Ну вот мы и пришли, зиусхан, к тому, с чего начали еще тот первый наш разговор у вас в Кабарде. Похоже, мы с тобой объясняемся на разных языках: ты не понимаешь меня, а мне трудно понять тебя.

– Знаю, Калакут, ты – порядочный человек, и, думаю, наш разговор только для нас с тобою.

– Если хочешь, зиусхан, чтобы твой ум, твои мысли жили только в тебе, пожалуйста, пусть так и будет...

И так было: Калакут ни слова не сказал Дауру и Тамтечу о своей беседе с князем Пшиапшоко, а спутники, разумеется, его не спрашивали – таково мужское правило. Конечно

же, они не молчали, в дороге всегда есть о чем поговорить, тем более если светит солнце, радует голубое небо.

Князь Сибок, вернувшись из Польши, с тоскою в сердце проводил в Московию Кудадека и нетерпеливо, с волнением стал ждать возвращения из поездки Калакута: он обещал Камболету поговорить с ним. Конечно, если обещал, надо сдержать свое слово, убеждал себя князь. Но дело было далеко не в этом обещании безусому мальчишке. А в чем же?..

Помнил Сибок Калакута еще угловатым неуклюжим мальчишкой, вытянувшимся затем в длинношеего большеголового подростка, а потом – в рослого парня с широкими плечами. Случилось, князь находился где-то в долгом отъезде по своим делам, а когда вернулся и поздоровался с ним, вместо надламывавшегося голоса услышал густой, с легким рокотом бас. Даже не поверил услышанному, спросил у парня еще что-то, и опять тот же мужской бас. А потом уж пошло и пошло – округлились у Калакута широкие плечи, выдалась вперед грудь, веселые юношеские глаза как-то потемнели, наливаясь осмысленностью и серьезностью взрослого человека. Но это бы еще ничего, просто брала свое природа. Но вот однажды он сидел в гостиной, слушал княжеские споры-разговоры, а на другой день сказал князю, придерживая ему стремя:

– Ничего у нас не выйдет, не перестанут адыги быть рабами то крымчаков, то турок, то персов, то урусов до тех пор, пока не объединимся в одну семью, в единое государство.

Больше всего Сибока поразило, что едва оперившийся молодой человек, едва ставший на мужские ноги, сказал «у нас». Видите ли – и у него. Ладно, подумал тогда князь, пусть болтает непотребное парень, помозолит свои мозги. Но прошел год, затем другой, и Калакут со своей мыслью о едином адыгском государстве стал не просто заметным, а предводителем тфокотлей чуть ли не на всей земле адыгов. Что же, снова подумал главный князь Жанеи, у него свое, а у меня свое, не сходятся наши с ним тропы в единую дорогу, ну и Аллах с ним. Однако стал временами задумываться об этом, и вот тебе – на! Недавний мальчишка Камболет, которого, как считал князь, только и можно пока по-отцовски погладить по ершистой голове, завел с ним вон какой разговор! Даже зашумело как-то в голове,

не без тревоги дрогнуло сердце. Правда, и с гордостью за своих сыновей.

Наконец приехал Калакут.

– С приездом, сосед! Приветствую тебя! – весело поздоровался князь со ступенек веранды.

– Я тоже рад приветствовать тебя! – ответил Калакут, крупно зашагав к плетню.

Они пожали друг другу руки.

– Слава Аллаху, ты вернулся с войны живым и здоровым! А как там парни наши? Все вернулись домой?

Сибок склонил голову, помолчал, потом, глянув печально на Калакута, проговорил:

– На войне, как на войне. Она не бывает без крови. Тридцать девять наших воинов полегли в бою, не посрамив себя и отцов своих.

– Боже мой, лучше бы мне не приезжать домой, не слышать рыданий, не видеть слез. Зачем, зачем, зиусхан, ты повел их туда, зачем оставил лежать в чужой земле?

– Меня заставил это сделать Давлет-Гирей. Если ему воспротивиться, он послал бы своих воинов сюда и... сколько здесь пролилось бы нашей крови. И еще думаю, эта кровь на совести царя Ивана за его предательство. Чего мы тут стоим у плетня – заходи ко мне в гостиную, поговорим.

Калакут принял приглашение Сибока.

– Мудрость наших отцов говорит,– продолжил разговор князь,– не преграждай путь тому, кто родился после тебя, иначе окажешься поперек дороги будущему, поперек самой жизни. Хочу я этого или не хочу, нравится мне это или нет, но получилось так, что мой безусый Камболет оказался впереди меня. Он понял тебя, увидел истину, которой не видим мы, зиусханы, ослепленные своим самолюбием, гордыней своей.

Калакут улыбнулся:

– Я не сумел тебя с места сдвинуть, а вот Камболет сдвинул, даже повернул. Согласен, если твои дети будут плестись следом за тобою, тогда конец белому свету.

– Это правильно, на то и есть мудрость, но ее не всегда приложишь к своим житейским дням. Аллах определил нам жить рядом с ногаями. Мудрость говорит, что соседи твои важны для тебя, как и ты сам себе. Вот и погляди: крымцы нам соседи, а мы соседи им, значит, мы самые

близкие друг другу, самые нужные, а что получилось? Грабили они нас, убивали. Тогда я отступил от этой, как говорят, истины, кинулся искать другую. В Московии очень хорошо меня встретили, а чем все закончилось? Нас отдали нашим соседям, а теперь ты спрашиваешь, зачем я с ними рядом пошел на войну.

Почесал свой могучий затылок Калакут:

– Если сблизился с ногаями, задружил с ними, зачем отпустил Кудадека на службу царю урусов, смертному врагу крымских татар?

Усмехнулся князь:

– Ты же мудро сказал: не становись поперек тому, кто родился после тебя.

Захохотал рокочущим басом Калакут:

– Подсек ты и меня, и мудрость тоже.

Сибок, уставившись в потолок, будто в небо, продолжал:

– Кудадек не только воин царя Ивана, которому присягал на верность, он еще и православный чиристанин. У него теперь своя собственная дорога. И, наверное, не простая: сестра его закадычного друга Султана стала царицей Руси!

– Вот как! Ты поступил правильно, что отпустил сына, как говорится, прямо к царскому трону такой могучей державы. Только бы у парня не закружилась голова, а то ведь с большой высоты страшно падать.

– Думаю, не закружится. И Султан, и Кудадек – парни толковые, рассудительные.

– Хорошо это, хорошо! – воскликнул Калакут.– Адыги на самой вершине такого государства! Только бы не забывали о своей родине, о своем многострадальном народе. Но ты представляешь, зиусхан, как взвоют, узнав об этом, Тахо, Цахо, Жанэ?..

– А ты представляешь, как они взвоют, узнав, что я рядом с тобою в твоих делах? О-о! Пусть воют, пока не охрипнут. Ты должен знать, Калакут, что не только Камболет, но и Кудадек, и Ацамук – твои сторонники, а теперь, как уже сказал тебе, еще и я.

– Спасибо.

– А теперь скажи, как ты съездил в Беслинею и Абазию, как там тебя встретили?

– Кроме родственника Дударука, рыжего зиусхана, все на моей стороне. Обещали всяческую поддержку. Темрюку ни к чему адыгское государство, если его дочь – царица Руси, а вот Пшиапшоко очень хочется, чтобы такое государство было, но он только себя видит верховным правителем.

– Что?! – даже привстал князь Сибок.– Это он всерьез?!

– Да, сказал, что никого другого не видит.

– Ты представляешь, Калакут, что будет с государством, если им будут править такие, как Пшиапшоко или Тахо! Нет-нет, упаси Аллах!

– Конечно. Когда настанет такая пора, соберутся лучшие люди всего нашего народа и выберут самого достойного.

– Я вот еще о чем хотел с тобою поговорить... Давлет-Гирей вышвырнул из своего ханства Мамия, и он приехал со своей женой в отцовский дом. Все отремонтировал, все устроил и собирается там жить. Он хочет с тобой помириться. Неужели простишь ему все, что сделал не только тебе, но и многим адыгам?

– Я дал себе слово убить этого мерзавца, но мне передали просьбу почтенного Тлимафа и тестя моего Дзегашта простить его. Вот я и думаю: нельзя их не уважить. Они говорят, он поклялся не делать больше зла, делать добро, как тому учит Аллах.

– И ты веришь ему?

– Говорят, привыкший мочиться у колодца будет делать это до самой своей смерти. Понимаешь, зиусхан,– задумался Калакут, собираясь с мыслями, потом проговорил.– Ванатуг тоже был разбойником, таким же страшным, как Мамий, и зло мне сделал страшное, но вот я... простил его, и он стал добрейшим человеком. Я подружился с ним, так что... Надо повидаться с Мамием, поговорить, посмотреть ему в глаза...

Черкесов можно назвать красивой нацией. Они красивые и хорошо сложенные люди. Мужчины сильны телом, мускулистые, смуглы, общительны, честолюбивы. Их плечи и грудь широки, таз узкий.

Г. Клапрот

Как много мы обязаны той черкешенке, которая, желая сохранить свою красоту или красоту своих дочерей, первая в мире решилась привить себе оспу! Сколько детей оспопрививание вырвало из когтей смерти! Нет ни одной основательницы монашеского ордена, которая оказала бы миру столь же великое благодеяние и тем самым заслужила бы его благодарность.

К. Гельвеций

Нет в мире добрее, радушнее черкесов, принимающих гостей. В употреблении напитков черкесы умеренны. Пьют, по случаю, бузу. Этот напиток охмеляет так же сильно, как вино. Впрочем, черкесы не сильно предаются пьянству.

Дж. Лукка

Черкесы были христианами греческого вероисповедания, а так как они очень мало разбирались в своей религии и не имели никакого общения с другими христианами, с тех пор вера у них почти угасла, и взамен ее водворилось магометанство.

И. Г. Гербер

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Прошел год, как Гошевнай, девушка-красавица из Кабарды, стала царицей России, нареченная Марией.

Мать, провожая ее в Московию, наставляла: «Что тебя ждет, знает только один Аллах, Его воля определит твою жизнь. Если станешь женой царя Руси, царицей большого государства, большого народа, не забывай, что ты родилась и выросла в семье старинного княжеского рода, не забывай ручейка, что течет у нас на околице, песен и сказок всей нашей земли и нашего неба. В то же время знай, что душа твоего мужа, любовь его к своему народу – это и твоя любовь, и твоя душа. Конечно, к этому не сразу придешь, но каждый день, каждый час должна стремиться и тогда обязательно придешь. Помни, по тебе будут судить о твоем народе, о нас, адыгах».

Один год в жизни человека – небольшой срок, но восемнадцатилетняя Гошевнай-Мария многое успела, и не только потому, что хорошо помнила наказ матери, но и потому, что от роду была мягкой и доброй душою, отличалась умением проникать в душу других, способностью уважать в них добро и красоту, отдавать им свои доброту и любовь. Тем и пришлась она по сердцу царю, считавшему ее своей радостью.

Придворные, знавшие, как любил Иван Грозный покойную Анастасию, были удивлены, как юная царица сумела смягчить и приблизить к себе крутого и своенравного царя, при всех, без стеснения ласково называвшего ее Кученей, как она сумела немногими русскими словами, тихой улыбкой и приятной непритязательностью царицы понравиться и воеводам, и боярам, и близким родственникам царя.

Митрополит Макарий удивлялся, как быстро царица усваивала не только разговорную русскую речь, но и азбуку,

еще с трудом, но уже могла кое-что написать. Однако больше всего Его Высокопреосвященство удивлялся и радовался тому, как Мария молилась в церкви. «Не зная слов службы,– сказал митрополит,– она молится с таким глубоким благоговением, с такой душевной полнотой, будто святость молитвы сама вселяется в нее и живет в ее сердце».

Понятно, были и такие, кому не нравилась царица Мария, но они не смели этого показывать, опасаясь гнева царя.

Спустя несколько дней после свадьбы он созвал всех придворных, некоторых воевод, бояр.

– Мария Темрюковна, как всем вам ведомо,– царица Руси, моя половина, благословенная самим Господом Богом, поэтому, думаю, каждый из вас знает, понимает, как себя вести с нею, и не дай Бог!.. Даже если кто в мыслях своих держит что-нибудь неподобное, пусть выкинет из головы, если не хочет ее потерять. Варвара Патрикеевна, ты хорошо смотришь за моими сыновьями, хочешь, чтобы они чтили своих родителей, тебе за это мой царский поклон. Ты спрятала ребят, когда только привели в Кремль Марию Темрюковну, будто от недруга какого. Считаю, сделала это по своей женской слабости. Я понимаю тебя, прощаю за это, а впредь... Я вижу, знаю, царевич Иван растет своевольным мальчишкой. Более года прошло, как умерла Анастасия – царство ей небесное, а он все тревожится недоброй тревогой и Федору не дает душевного покоя. Есть тут, Варвара Патрикеевна, и твой недогляд. Отныне ты должна объяснить, вложить в умы и сердца царевичам, что Мария Темрюковна – жена государя всея Руси, царица государства, мать ему, значит, потому стала матерью и обоим царевичам, а значит, и относиться они должны соответственно. Скажи им, объясни, что исходит это от меня, это моя, самодержца, воля. Если по-другому будет, ни на что не посмотрю. Иначе нельзя. Верно я говорю, Григорий Лукьянович? – спросил царь у Скуратова, стоящего неподалеку от двери. Не дожидаясь ответа, обратился ко всем стоящим перед ним.– Думаю, вы все поняли.

– На колени, старая! – грозно закричал Скуратов.

Старуха упала с земным поклоном.

– Скуратов! Ты что, обалдел?! Не смей! – рассвирепел царь. Подошел и помог подняться трясущейся от страха старухе.– Поднимайся, поднимайся, Патрикеевна. Я позвал

тебя вовсе не для того, чтобы поставить на колени. Иди к ребятам и разумно выполняй мою волю, по-матерински, как ты это умеешь. Да хранит тебя Господь,– перекрестил он ее.

На другой день позвал своего младшего брата Юрия Васильевича с женой Юлианией Дмитриевной. Не то чтобы упредить, как вчерашних дворовых и бояр, а просто по-родственному поговорить, попытать, чем они дышат.

– Садитесь, дорогие, садитесь. Посидим рядком да поговорим ладком. Как, невестушка моя дорогая и братец мой единокровный, вам живется-можется, когда царь-батюшка женился?

– Я радуюсь, великий государь всея Руси, что сердце твое обрело возвышенные чувства...

Поморщился царь, замахал обеими руками:

– Ну что ты затеял, будто на боярской сходке, а хочется по-семейному. Недаром говорят: чем громче слово, тем оно фальшивее, а чем тише, тем душевнее.

– Верно, царь-батюшка,– улыбнулась, взмахнула ресницами Юлиания.

Улыбнулся и Юрий:

– Я рад, что теперь у тебя, кроме трона, есть и тихий семейный уголок, а то ведь от трона, если все время ты возвышаешься на нем, и голова заболит.

– Мудро,– искренне одобрил царь.

– А еще я, все мы довольны, что ты украсил Кремль и трон свой первейшей среди первых красавиц.

Царь опять слегка поморщился, мол, зачем такие слова:

– Неужели она красивее твоей супруги?

Своего мужа выручила Юлиания:

– У женщин, великий государь, в этих делах вкус тоньше, и я скажу, как на духу: Мария – это земное чудо женской красоты, равной ей сыскать просто невозможно.

– Зачем и ты, Юлиания?..

– Нет, государь,– прервала она его,– видит Бог, я не льщу тебе, а говорю, как чувствую, как понимаю. К этому только и добавлю: дай Господь вам с нею многая и благая лета.

– Спасибо, спасибо. Я ведь тихонько, про себя считал Марию-Кученей до невозможности красивой. Ну вот, Юрий, а ты говорил, что черкасы – дикари.

– Да, государь, недаром говорят: не суди о том, чего не знаешь. Прости, пожалуйста. Потом, потом я частенько сиживал с нашими новыми родственниками, с их друзьями, увидел их порядочность, острый ум, умение и обязательность быть верными своему слову, понял, как они дорожат честью. Думаю, нам есть чему у них поучиться.

– Все это есть, государь Иван Васильевич, у твоей жены, царицы Руси. И какая вежливость, какая прелестная у нее застенчивость, какое уважение к каждому, кто обращается к ней!

– Да-да, она такая, моя Кученей,– не скрывая своих удовлетворения и радости, сказал царь.– Когда я захожу к ней, она обязательно встает и красиво наклоняет головку. Я говорю ей, не надо этого делать, ведь ты – царица. А она свое – не могу, я с этим родилась и выросла. Сначала сердился на нее, а потом подумал: как она любит свой народ, как бережет в своей душе его обычаи, дух его. Ничего, пройдет время, и все уляжется, она познает чистую душу нашего народа, полюбит его, как и должно царице.

– Да, так и будет,– согласилась с царем Юлиания.– А что касается ее застенчивого взгляда, опущенных глаз – это прекрасно. Лучше встречать людей с застенчиво опущенными глазами, чем сверлить их взглядом.

– Ты слышишь, мой брат, какие мудрые слова сказала твоя милая женушка? Не сверли взглядом людей, а с добром смотри на них, если хочешь, чтобы и на тебя так смотрели. Спасибо вам на добром слове о царице. Я никому не позволю худое говорить о ней, а то ведь тут всего один шаг от худого слова о царице до худого слова о самой Руси.

– Верно, великий государь,– согласился Юрий Васильевич.

Шли недели, проходили месяцы.

Не только придворные, но и сама царица Мария дивилась тому, как она приживалась среди непонятных, чужих ей по обычаям и вере людей. Не только быстро усваивала каждодневные бытовые разговоры, да так, что обходилась уже без переводчика, а по вечерам к ней приходили на посиделки дочери, жены боярские. Они занимались вязанием, вышиванием и, конечно, пели. К их удивлению, царица очень скоро стала подпевать, а потом и петь вместе со всеми.

А еще – платья царицыны. У русских женские платья и сарафаны просторные, хоть одно на двоих надевай, а у адыгов приталенные, мягко облегающие. Первой надела такое платье, сшитое самой Марией, дочь Старицкого – Февронья. Сначала это вызывало неловкость, а потом, когда надели и другие боярские дочери, многим стало нравиться, а когда узнали досужие люди, что черкесское одеяние понравилось царю, тут уж и пошло-поехало. Лучшие столичные портнихи принялись шить такие платья, круглые адыгские шапочки, отделанные золотой и серебряной нитью, и все это шло у них нарасхват.

Когда Мария-Гошевнай выезжала из Кремля в открытой царской карете в сопровождении стрельцов, по обеим сторонам улиц собирались толпы народа. Еще бы, сама царица, черноглазая черкесская красавица едет! Вы поглядите, как она сидит, как гордо смотрит!

Из уст в уста по всей Московии передавалось, что молодая царица, принявшая вместо басурманской веры православную, жила благочестиво – исправно ходила вместе с царем в домовую церковь на все богослужения, соблюдала посты, исповедовалась, причащалась святых таинств, щедрой была на подаяния убогим людям, что очень и очень ценилось московичами.

Шла княжна Гошевнай своей новой дорогой, конечно, случались с нею всякие неожиданности, даже неприятности, о которых только и знали ее подушка да тихое, но сильное сердце.

А однажды...

Царь возвращался с послеобеденной прогулки, ему навстречу выбежали из комнаты Марии заплаканные царевичи Иван и Федор.

Царь присел, обнял их:

– Перестаньте реветь и скажите, что случилось?

К ним подошла царица.

– Почему она меня обнимает? – возмущался Иван, обеими руками размазывая слезы по щекам.

– А меня еще и целует,– прижимаясь к отцу, всхлипывал Федор.

– Правда? – с улыбкой поднялся отец.

– Правда! – хором ответили мальчишки.

– Но почему вы ревете? Она – моя жена и любит вас, как мать...

– Не мать она, не мать! – возмущенно закричал царевич Иван, прижимаясь к отцу.

– Хватит вам! – рассердился отец.– Прости, Кученей, прости, моя голубка.

Иван зло оттолкнул отца:

– Ты маму нашу так звал, а теперь ее...

– Замолчи, бесстыдник! – замахнулся на Ивана отец.– И ты, Федор, перестань киснуть. Пошли оба ко мне. Ну!

– Иван Васильевич, не надо,– попросила Мария.– Ничего, ничего, это пройдет, мы все уладим сами. Они ведь дети, такие славные. Все так и должно быть, им просто надо немного времени...

– Да, моя хорошая. Успокойся. Мы просто поговорим с ними по-мужски. А ты успокойся, ты славная у меня.

Царевичи уже не ревели. Нахмурившись, они стояли посередине комнаты.

Иван Грозный, заложив руки за спину, прохаживался перед ними. Взад – вперед, взад – вперед. Он знал, как надо было ему поступать с поляками, ливонцами, знал, как быть с Казанью, с Астраханью, а вот как с мальчишками, не мог сообразить.

«Ходи, ходи, а остановиться все равно надо»,– подумал он и остановился, глядя на свою отцовскую радость, на свою беду.

– Что теперь мне делать с вами?

– Мы давно вместе с тобой не молились за маму.

Они подошли к киоту.

– Затепли большую свечу,– попросил отца Иван.

Опустились на колени, с поклоном перекрестились, царь начал читать молитву:

– Помяни, Господи, душу усопшей рабы Твоей Анастасии, прости ей вся согрешения вольная и невольная, даруя ей Царствие и причастие вечных Твоих благих и Твоея бесконечныя и блаженныя жизни наслаждение.

Помолившись, посадил сыновей на диван.

Этому – восемь, а этому – шесть. Что они поймут, как им объяснить действия Кученей – только время все объяснит.

– Знаю, вы любите вашу маму Анастасию, но что делать, нет ее с нами, злые люди ее сгубили, но Бог милостив, он упокоил ее в Царствие Небесном. Кученей, как я называю свою жену, царицу, очень любит вас, желает вам

только добра, потому и обнимает вас, целует. Лучше будет, Ваня, если вы со мной и Кученей будете жить мирно, с добром.

– Но что делать, если я не могу забыть маму, если она мне снится и снится? Не знаю, но когда эта...

– Царица Мария, сынок.

– Да, царица. Когда она прикасается ко мне, я вздрагиваю.

– Я тоже, я тоже,– пропищал Федор.

– Когда вы вздрагиваете от прикосновения к вам ее руки, ей тоже бывает очень больно. Не надо ее обижать, делать и ей больно. Если вы скажете себе, что она хорошая, добрая, то все так и будет.– Он обнял их, прижал к себе, поцеловал каждого в темя, потом перекрестил.– Да хранит вас Господь.

Кученей сидела, склонившись над столом. Царь поцеловал ее в одно и в другое плечо, в затылок, потом прижался щекой к ее горячему лицу, с чувством, почти шепотом промолвил:

– Как говорят, все в руках Божьих. И еще говорят: кого Господь любит, того испытывает.

– Если любит, зачем испытывает? – посмотрела на него Кученей влажными глазами.

– Затем, голубка моя, что Он в этой короткой грешной жизни очищает нас от греховности, готовит к вечному блаженству на том свете.

– О Господи, Господи, помоги нам нести тяжесть твоего испытания.

– Понимаешь, моя хорошая, они не могут забыть свою мать, боятся, что ты отнимешь ее у них.

– Я совсем не хочу, чтобы они забыли свою маму, просто своими лаской, заботой хочу смягчить их детское горе.

– Я думаю, не надо их ласкать и целовать, пока они сами, увидев и поняв твою доброту, не потянутся к тебе.

– Ты прав, мой повелитель, мне надо запастись терпением. У нас говорят: кто надеется на лучшее, тот спотыкается о худшее. Ты прав – просто надо быть терпеливой, и я обязательно буду.– Она встала, поцеловала его в щеку, и ему показалось, что этот душевный поцелуй куда как значительнее, нужнее ему всего остального.

II

Главный князь Кабарды Темрюк любил иногда посидеть на обрывистом берегу Терека. Посидеть, послушать, как плещутся волны, как шумит ветерок, прибежавший с другого берега, из старого леса буков, карагачей и дубов. Иногда просто посидеть, подремать, иногда оглянуться назад – на год или десять, подумать над ними, погрустить, а иногда попытаться заглянуть в далекий завтрашний день, рассмотреть его.

Сегодня Терек был светлым, как небо, и веселым. Видно, в горах давно уже не было дождей, не падали в него мутные потоки, потому принес он сегодня только светлую и звонкую воду заоблачных ледников и вечных снегов.

Вспомнил князь, как вернулся из Московии Доманук и рассказывал ему, что очень понравилась царю Ивану княжна Гошевнай. Рассказывал, как ее крестили в Успенском соборе Кремля, как их венчал главный священник Руси – митрополит Макарий. Ну и, конечно, поведал, какой невиданно богатой была царская свадьба.

Слушал тогда князь и чувствовал, как его грудь становилась шире, плечи тяжелее, увесистее, а еще ему показалось, что он видел старого Кайтука, сына его Пшиапшоко и некоторых других князей где-то далеко внизу...

Сегодня узнал, что к нему в гости из Московии едут новые, царского приближения, родственники, вот ему и захотелось посидеть над Тереком. Так и подумал: не у Терека, а над Тереком.

Когда он первый раз поехал в Московию и оставил на царской службе сына Султана, одни просто хихикали, ядовито посмеивались, другие зло называли его холуем гяурского царя. Но прошло время, и, побаиваясь русских, перестали нападать на земли Темрюка кумыки. Да и не только они. «Князь Кайтук – да откроет пред ним врата рая Аллах – сказал тогда, что проклинает меня, предрекает мою погибель за связь с царем, но его проклятие упало на него самого. Я не жалею, что тогда проучил его за наглость... Когда приехал к нему с Машуком и Сибоком, он со своими сыновьями встретил нас так высокомерно, будто мы холопы какие-то, а не князья. О предложении Калакута объединиться всем адыгам в одно государство не стал и разговаривать. Только чмыхнул и сказал: мы вольные люди и

лезть к кому-то в подчиненные не намерены, даже слышать об этой глупости не хотим. Если бы не он со своими сыновьями, не Тахо и Цахо с Жанэ, мы теперь бы уже были самостоятельным государством, и с Русью, Турцией, Крымом разговаривали бы на равных. А теперь многие кусают локти, скулят: нас разрубили на куски, ах, какие мы несчастные, какие невезучие, ну почему от нас отвернулся Аллах!»

Над лужком, на той стороне Терека, высоко в небе кружил орел, но вот он, сложив крылья, стрелою ринулся вниз и настиг дремавшего у кустика зайца.

Только стал наслаждаться свежатиной, спустились два орла, и между тремя владыками неба завязалась кровавая потасовка.

Дрались они молча, упорно, только летели во все стороны перья.

На кусте сидели две вороны и каркали, словно насмехаясь над орлами.

Тут-то и выскочила лисица, схватила зайца – только и видели ее!

Совсем расхохотались вороны.

Опозоренные орлы виновато, низко над землей разлетелись в разные стороны, как бы стыдясь взмыть в небо.

Байкол Алимхан весело смеялся, а князь Темрюк сидел нахмурившись.

– Вот так и наши соседи, глядя на нас, хохочут над тем, как князья земли адыгской, превозносясь один над другим, похваляясь родовитостью и силой, похожи своими глупостью и упрямством на этих орлов.

– Зиусхан, как говорит мой дед Салих, мы же адыги! Если этих наших привычек, наших обычаев не будет, то перестанем быть адыгами.

– Что?! Но ведь мудрый Салих, сколько лет я его знаю, совсем не такой, как многие наши гордецы. Может, он не адыг, может, балкарец какой-нибудь? Как объяснишь мне это?

Пригнулся Алимхан, испуганно глядя на князя:

– Не знаю, зиусхан, он мне никогда об этом не говорил, но если ты говоришь, может, он и в самом деле...

Рассмеялся князь:

– Вот уж не думал, что лучший байкол главного кабардинского князя не понимает шуток.

– Да я, зиусхан...

– Нечего теперь назад пятиться,– еще громче рассмеялся Темрюк.– Твой дед – адыг редкостного ума и большой мудрости, а что касается балкарцев, они мужественны, хлебосольны, добры душой. Если кто болтает о них разные глупости, не только не верь, а и затыкай им рот, не позволяй клеветать... Понимаешь, Алимхан, мы живые люди, а не какие-нибудь одинаково округлые голыши. Дереву куда как далеко до человека, а посмотри, сколько у него разных веток – и тоненьких, и могучих, и кривых, и прямых. Обруби эти ветки с листьями и цветами, обдери шкуру, получится всего лишь прямой голый столб. Столб, а не живое дерево. Так и адыги. Забери у них вековые обычаи, привычки, лиши их старинных сказаний и сказок, сними с них адыгскую папаху, черкеску, пояс и кинжал, убери украшения сбруи их скакунов – получится оголенный столб.

– Да, зиусхан, это правда! – воскликнул Алимхан.

Темрюк подумал: «Адыги – это громадное многовековое дерево. Интересно, чем больше у дерева веток, тем труднее ему устоять против напора ветра, который гнет его к земле, случается, и ломает ветки...»

Рядом с князем вдруг обвалился край обрывистого берега и, вздыбив волны, ушел в глубину, пропал в мутном омуте. Темрюк подумал: «Под ветром времени рухнула, развалилась на куски адыгская земля, и, как знать, не пропадет ли она в омуте, как этот край берега?»

– Зиусхан, не нравится мне место, где сидишь. Давай лучше отойдем в сторону,– обеспокоенно сказал байкол.

– Боишься, что обвалится под нами берег, и мы с тобою ухнем в реку?

Алимхан пожал плечами:

– Терек – он такой своенравный. Дед мой говорит: береженого Бог бережет. Лучше отойти подальше от опасного места.

– А дед Салих не говорил: прячься не прячься, а того, чему быть, не миновать, где бы ты ни находился.

Из-за тернового куста выскочил всадник, спешился перед Темрюком:

– К тебе пожаловали гости, зиусхан.

– Из Московии?

– Из Московии еще нет. Из Беслинеи приехал зиусхан Машук с двумя спутниками.

– Надо поспешить, Алимхан.

Поднялся в седло Темрюк, тронул коня и подумал: «Неужели Машук приехал поздравить меня с замужеством моей дочери? Может, в благодарность за то, что ездил утешать его, когда он вернулся из Московии с пустыми руками? Интересно, уже больше года прошло после царской свадьбы, и они вдруг надумали меня поздравлять. Впрочем, как говорят, беслинеи – это чудо-племя, от них можно всего ожидать, даже подобного грому среди ясного неба. Нет, не с запоздалым поздравлением он приехал, видимо, тут что-то другое. Возможно, посоветоваться, что им делать теперь, когда оказались под Турцией. А чем я могу помочь, что посоветовать, когда мы с ними стоим на дорогах, бегущих в разные стороны?»

Оказалось, Машук приехал с Джамбечем и Бекмурзой. Обменялись дружескими рукопожатиями. Машук начал разговор прямо с порога, с грустной шуткой сказав:

– Вот так, зиусхан, мои турецко-крымские недруги и твои друзья-родственники поделили между собой адыгские земли, спасибо, хоть не запрещают нам ездить друг к другу в гости.

– Верно, верно! Однако сначала надо сесть. Прошу всех, садитесь. Спасибо. Понимаю, мой старый друг, хочешь сказать, что в случившемся виноват я, но ты забыл, что я пошел по дорожке, которую в Московию проторили ты и Сибок. Разве не так все было?

– По твоим словам получается, будто это мы с Сибоком велели тебе выбрать своим зятем царя, который, как говорят, помазал кое-кому из нас губы медом, а потом продал с потрохами нашим недругам.

– Ты, Машук, одолел такой долгий к нам путь лишь для того, чтобы подсунуть своему старому другу под кожу щетинку, чтобы прямо с порога отшлепать его? – беззлобно, с едва заметным ехидством проговорил Темрюк.

– Постой-постой, дружище, остановись! – замахал обеими руками Машук.– Можно подумать, что ты нездешний, не знаешь говорунов-беслинеев. Правда, абазин Бекмурза не имеет никакого отношения к моей речи, а что я теперь скажу, это, конечно, относится и к нему. Не укорять мы приехали тебя, а поздравлять. Ты, наверное,

возразишь, мол, какие поздравления, если уже год прошел? На это отвечу: адыги говорят – никогда не поздно сказать человеку добрые слова, порадовать его и самим с ним порадоваться. Вот и принимай наши добрые слова, радуйся вместе с нами своей радости! Мы желаем твоей дочери Гошевнай, царице Руси, пусть оставит свои пятки в отчем доме, а в новый чтобы вошла счастливыми носками. Пусть царица и царь живут в мире и любви между собою, помогут адыгам, родственникам царицы, одолевать свои беды, быть такими же счастливыми, как сами царь и царица.

– Спасибо,– ответил Темрюк.– Наполним рога и выпьем за сказанное. Да возблагодарит Аллах тебя, Машук, тебя, Джамбеч, тебя, Бекмурза, за то, что вы приехали. Пусть каждый ваш шаг ко мне и потом обратно, к своим домам, отзовется здоровьем каждому из вас и вашим родственникам, пусть будет благополучие во всех ваших делах. Пусть ваши сыновья умножают славу вашего рода, а дочери украшают вас внуками и внучками. Немного помолчав, Темрюк продолжил:

– Я и моя жена всегда хотели при своих дочерях иметь в зятьях адыгов, но судьба распорядилась иначе. Заботясь о благополучии и покое своего народа, я сделал своих дочерей как бы заложницами урусов и ногаев. Счастлив зиусхан Сибок, что отдал свою дочь в твою семью, Джамбеч. А отказав царю... Трудно теперь ему и его жанеям. Не знаю – это беда его или вина.

– Что делать, Темрюк,– вступил в разговор князь Джамбеч,– сколько людей на земле, столько и дорог. У каждого она одна, своя. Случается, моя дорога идет с чьей-нибудь только рядом, и тут уж нам трудно понять друг друга, а то и вовсе не понять, как никогда не поймут друг друга два берега одной реки. У меня нет дороже человека на всем белом свете, чем Сибок. Он вырастил моего сына, купленного рабом, вырастил порядочным человеком, сделал меня и Хатая счастливыми, а что касается отношений его с Русью, то виноват в этом бесчестный царь.

– Ты не думай, Джамбеч, что я обвиняю Сибока, я просто размышляю над хитросплетениями нашей жизни, над ее коварством...

– Послушай, Темрюк,– прервал его Машук,– раз твоя дочь стала царицей, значит, она пришлась по душе самодержцу, вот через нее ты и проводи свою линию. Через

дочь. Пусть царь Иван заберет обратно свой договор с Турцией, потом поможет адыгам создать свое государство, и будет оно верным Руси, верным защитником южных ее границ, тогда никто не посмеет сунуться сюда. Если же этого не будет сделано, большое горе ждет всех нас, в том числе и урусов. Много здесь крови прольется, такие запылают пожары, так загромыхает, что вздрогнут даже горы и вскипит море!

– Мы, зиусханы, должны понять, какая силища наши тфокотли под предводительством Калакута. Следует понять ее и взять в свои руки, разумно направить, быть ее хозяевами.

В гостиной нависла такая напряженная и грозная тишина, будто издалека уже стал приближаться грохот войны.

Шумно, всей грудью вздохнул Темрюк:

– Да, я тоже об этом думал. При встрече с царем обязательно поговорю,– сказал он, почувствовав, что дело это ему не по душе. Особенно раздражал Бекмурза с его мыслью о Калакуте и тфокотлях. Очень не понравился, и все же он кивнул согласно.

– Как же ты встретишься с зятем,– улыбнулся Машук,– если по нашим обычаям тебе нельзя с ним встречаться, пока у него не родится твой внук или внучка.

Выпрямился Темрюк, как бы свысока глядя на своих собеседников, вздохнув глубоко, промолвил:

– Ради нашего с вами общего дела я, как говорится, готов в огонь и в воду. Мне не нравится, дорогие гости, что вы так плохо едите, совсем забыли о медовухе. Алимхан, налей полнее рога. Сегодня сам Аллах прислал вас ко мне, в тот день, когда приезжают к нам гости из Московии.

В гостиную вошел Доманук:

– Зиусхан, московские гости уже подъезжают к Идарии.

– Ты послал им навстречу всадников?

– Сотню лучших парней послал.

– Ну что, дорогие гости, мы так и будем стоять с наполненными медовухой рогами? Выпьем за все доброе, о чем с вами здесь говорили! – не скрывая восторга, произнес Темрюк. И когда выпили, продолжил.– Теперь прошу вас разделить со мною и радость, и заботу мою. Нам придется, нарушив наши обычаи, встретить гостей, как это делается у них.

– Конечно, Темрюк. Ведь твои гости – это и наши, всех адыгов гости.

У ворот усадьбы Темрюка стояло с десяток навьюченных лошадей и груженых телег.

Джамбеч со смешком шепнул Бекмурзе:

– Они чуть ли не всю Московию ему привезли.

– А хоть бы и всю Московию,– усмехнулся Бекмурза,– для Руси, которой, говорят, нет конца и края, это ничего не стоит.

– Знал Темрюк, за кого отдавал дочку, не то что Сибок, теперь видишь, каких гостей встречает, сколько подарков ему навезли.

В гостиную Пшиапшоко вошли сыновья – Джамбулат и Казий. Стоя у дверей, Джамбулат сказал отцу:

– Есть добрая добыча, зиусхан. Позволь взять несколько всадников и отправиться на перехват.

– Что за добыча?

– С Темрюком встречали гостей Машук, Джамбеч и Бекмурза. Наверное, Темрюк проводил их с подарками. Вот я и думаю: перехватим их в урочище Псеута?

– Вы что, с ума сошли! – гневно закричал Пшиапшоко.– Вам бы только тешиться, а знаете, чем это может для всех нас закончиться? Сейчас тесть царя своей силою навис над нами. Мы должны с этим считаться, должны свой каждый шаг делать обдуманно и осторожно. Вот когда приедут из Турции и Крыма дядья ваши, расскажут, что и как там у них получилось, тогда и будем делать уверенно нужное нам дело.– Он улыбнулся.– Вы знаете, сыны, орлы мои, каждая спица колеса только в свое время твердо становится на землю. Вот и наша с вами спица, когда придет ее час, станет на свое место. Тогда и посмотрим, какие и от кого подарки собирать.

III

Оставлять под слоем пепла тлеющие угли, считая, что они погаснут, опасно. Стоит только дунуть ветерку, даже малому, незаметному, как огонь тут же вспыхнет.

Сдружился Сибок с Русью, и в Жанею пришел мир, вместе с ним – покой, а с покоем – благополучие, потому что никто не мешал земледельцу пахать и засевать поле, разводить скотину и птицу. С покоем и благополучием приходит радость любви, значит, радость рождений и свадеб, песен и плясок, радость счастливой жизни.

Горе, даже короткое, в сознании людей тянется долго, а радость – она так скоротечна. Она вроде бы и начаться еще не успела.

Сначала поползли слухи, потом чуть ли не открыто стали говорить, что царь предал адыгов, сговорившись с Турцией и Крымом.

«Быть беде,– сказал себе Сибок,– как ни ловчи и ни хитри – ее не миновать. Рано или поздно, но обязательно вспыхнет тлеющий под холодным пеплом огонь».

Когда они возвращались с Давлет-Гиреем из Польши, хан вроде бы невзначай обронил, вроде бы даже пошутил, сказав Сибоку: пусть он не забывает о дани, о долгах ханству.

«О каких долгах,– подумал тогда Сибок,– ведь мы теперь не просто союзники, мы вместе кровь свою пролили, воюя против них! Не может, не должно такого быть».

Оказалось – может.

Как передал Сибоку из Крыма верный ему человек, Давлет-Гирей, узнав, что Кудадек уехал на службу царю в Московию, рассвирепел и приказал своим баскакам начать сбор дани с адыгов.

О, как обрадовались этой беде Тахо, Цахо, Жанэ и другие! Они и верные им люди ездили по селениям, раздували огонь беды, во всем обвиняя Сибока, напоминая, что именно он водил на стороне русских своих воинов против ливонцев, а потом на стороне поляков против русских, хороня в чужой земле, за чужое дело адыгов.

Князь подумал: «Что было, то было, и его не выбросишь, потому что осталось где-то позади. Не достанешь его и не забудешь, ведь память живет в человеке сама по себе, по своей воле». Единственное, что ему оставалось, успокаивая себя, так это заняться хозяйством: хорошо ли убраны поля, достаточно ли припасено кормов для скота и птицы, как в лесу идет заготовка дров. Разъезжал он по селениям, по овчарням и скотным дворам, конюшням... Встречали и провожали его люди, как и полагается встречать хозяина, главного князя, уважаемого человека. Но видел Сибок, что между ним и его людьми какая-то настороженность, ожидание чего-то недоброго, а главное, они ничего у него не спрашивали, ничего ему не говорили – ни худого, ни хорошего. Просто молчали, и от этого молчания у князя становилось еще тревожнее на душе.

А потом передали князю, что люди стали собираться на свои сходки, разговаривая между собой о бедах ушедших, и тех, которые могут грянуть и, наверное, обязательно грянут.

Вернулся он сегодня из поездки по кошарам и конюшням, едва успел спешиться, как его позвала с веранды княгиня Загирета:

– Зайди ко мне в комнату, зиусхан!

Как она смеет орать на весь двор! И на кого? На него, будто своего холопа!

– Потом зайду,– проронил он сквозь зубы.

– Нет, сейчас!

– Я сказал – потом! – возмущенно глянул он на княгиню.– И пошли ко мне Камболета.

– Я сама хотела бы знать, где болтается вконец испорченный тобою мальчишка!

Князь сердито прошел к себе в комнату. Следом вошла и княгиня.

Окинув ее взглядом, Сибок подумал: «Гляньте, люди добрые, какая она свеженькая да пышненькая, розовенькая, как цветочек, а я уж совсем поседел, морщины, как у старика, прорезались. И как обнаглела – кричать стала на меня».

С трудом сдерживая раздражение, он спросил:

– Что тебе надо? Говори быстрее, меня ждут дела.

– Вот так! Ему, как всегда, некогда. Дела у него, видите ли, а семья не нужна. О Аллах, какой прекрасный мальчик Кудадек, а этот!.. Своевольный, совсем не слушается меня, словно я и не мать ему... Кто-то тут наболтал, что ханские сборщики дани направляются в Трамхабль, так они с Калакутом взбаламутили все селение, собрали парней и кинулись навстречу им. Я хотела мальчишку удержать, да где там! Он уже воин, у него уже горят глаза!

Побледнел Сибок, обессиленно опустился на тахту, не зная, что ответить княгине на эти слова.

Испугалась и княгиня: она никогда не видела таким перепуганным своего мужа. Для нее он всегда был хозяином, главным князем. И вдруг побледнел. Княгиня поняла, оказывается, он такой, как и все, может испугаться и побледнеть, его тоже надо бы приобнять, погладить теплой рукой по голове, но нет, этим можно лишь оскорбить, причинить ему еще большую боль.

– Да, ты, Загирета, права,– негромко, почти шепотом промолвил после паузы князь,– многое из того, что я, делая, считал добром, оказалось бедой, даже злом.

– Почему? Как добро может быть злом?

– Не знаю. Но может...

– Ты всегда говорил о своих мудрых друзьях, но почему они не поправили тебя, не помогли своею мудростью?

– Наверное, потому, что оказались такими же неумными, как и я.

– Все неумные, все?! – удивленно подняла брови Загирета,– разве может такое быть на свете?

– Не все. Есть один, мудрейший среди нас,– это Калакут.

– Как Калакут?! Этот верзила тфокотль? Что ты говоришь, Сибок? Если среди зиусханов нет по-настоящему умного, мудрого, как может быть таким тфокотль, мужик?

– Если сам не построишь собственный дом, никто не построит его таким, каким хотел бы ты, каким он нужен тебе.

Загирета рассмеялась:

– Подумаешь, дело какое – дом себе построить! Для этого большой ум, что ли, надо?! Вон их сколько настроено.

– И собаке делают конуру, а человеку разве такой нужен? Большой, просторный, красивый, один на всех да чтобы из дуба или камня, не приступный для недругов. И это хорошо, лучше всех нас, умников-зиусханов, понял наш сосед, тфокотль.

Княгиня развела руками, улыбнулась:

– А ты что, только теперь понял?

– Да.

Княгиня громко рассмеялась:

– Выходит, это и о тебе говорят: адыг последним умом силен. Сначала сделает, а потом пытается понять, что он сделал.

– А ты?! Где ты была раньше?

– И раньше, и теперь – с тобой. Вы ведь из-под своих высоких папах с усмешкой смотрите на нас, мол, спасибо Аллаху, что не родился женщиной.

– Господи, и она почему-то носит платок! – Князь резко поднялся.– Когда они выехали?

– Не так давно, но уже не догонишь, как ошалелые понеслись во весь опор. Думаю, будет лучше, если ты не поедешь следом.

– Что ты мелешь?! – сдержанно бросил Сибок.

– Я ведь в платке, мой повелитель,– усмехнулась ехидно Загирета.

На поляне, недалеко от дома Тлимафа, стояло с десяток телег, запряженных лошадьми, и с полсотни спешившихся всадников во главе с Сарбаем. Напротив них – тоже с полсотни адыгов во главе с Калакутом, Камболетом и Дзегаштом. Тут же собрались мужчины и женщины, старики и дети селения.

– Калакут, скажи, в чем моя вина? Я всего лишь выполняю волю великого хана, и ты, мужчина и воин, знаешь, что я обязан ее выполнить. И выполню, иначе мне не сносить головы. Я пришел не просить у вас, а требовать положенную дань.

– Неужели Крымское ханство беднее нас? – спросил Дзегашт.

– Мы богаче, намного богаче! – ответил, подбоченясь, Сарбай.– Но порядок есть порядок, который всем надо строго соблюдать.

– Верно,– пробасил рыжебородый в высокой барашковой папахе,– нашего главного зиусхана Сибока будто ветром швыряет – то к урусам, то против них. Мы вроде как помирились с Крымом, а его старший сын служит царю, значит, против Крыма, за что рассчитываться будем своими спинами.

– Но наш Сибок водил адыгов вместе с крымцами против поляков!

– Вот оно и есть: туда-сюда, туда-сюда – нет у Сибока должной твердости!

Зашумела, загалдела толпа.

19 Заказ 06

Выступил вперед Калакут, поднял руку, требуя тишины:

– Тише, люди! Уймитесь! Мы же с вами договорились быть заодно, а теперь что получается?

– Мы договаривались с тобой, а не с Сибоком, с тобой и будем,– ответил рыжебородый.

– С тобой!

– Только с тобой!

– Теперь я хочу сказать о сыне Сибока. Приходит время, когда наши дети настолько взрослеют, что выходят из-под власти родителей. Сейчас вы вините Сибока за поступок его старшего сына, но почему и в голову вам не приходило винить старика Зазия за то, что его сын Мамий предался Давлет-Гирею, стал разбойником?

– Калакут, что ты говоришь, как смеешь осуждать посланника Аллаха! – грозно выступил вперед Сарбай.– Заканчивайте разговоры, имейте в виду, если вы сейчас окажете нам сопротивление, хан не простит вам этого! Одумайтесь!

– Мы не собираемся покориться вам, значит, прольется не только наша, но и ваша кровь. Давай выйдем с тобою друг против друга, как тогда, в давние времена, предлагал наш князь Рэдэд. Если ты победишь – возьмешь с нас все, а если я одержу верх...

– Но кровь все равно прольется – твоя или моя.

– Зачем? – возразил Калакут.– Без оружия сойдемся. На конях или пешими.

Улыбнулся Сарбай. Пристально, с ног до головы осмотрел Калакута, оглянулся на своих воинов. Те тоже заулыбались. Знали они – их Сарбай первый среди силачей Крыма.

– Хорошо, сойдемся на конях, без оружия. И уж потом каждый обязательно сдержит свое слово.

– Конечно! – весело согласился Калакут, взлетев в седло своего скакуна.

Так же легко и весело поднялся на коня и Сарбай. В это время у ворот Тлимафа спешился со своими байколами князь Сибок. Скакал он сюда и думал, что адыги уже схватились с собирателями дани, и был рад, что пока все мирно.

– Будь моим счастливым гостем, зиусхан! – поприветствовал его старик.

– Спасибо, Тлимаф! Всю жизнь догоняю свое счастье, а оно – все дальше и дальше от меня... Однако, что там на поляне происходит? – указал плеткой на толпу князь.– Чего эти двое разъехались, будто к схватке приготовились?!

– Да, к схватке, зиусхан, но успокойся, там не прольется кровь, как мне передали, борьба будет без оружия.

– Что это за схватка такая? Насколько я понимаю, они приехали за данью, а не с Калакутом играть.

– Обе стороны уже было выхватили сабли, но Калакут – не знаю, как это ему удалось – договорился с Сарбаем: если он победит его, то они не будут требовать дань, если же Сарбай победит... Правда, с меня и так ничего не возьмут,– усмехнулся Тлимаф,– Мамий с Сарбаем договорился.

– А где этот нечестивец, он здесь?! – вспыхнул Сибок.

– Он как только увидел Калакута, умчался.

– Похоже, Давлет-Гирей назло мне опять приблизил к себе Мамия.

– Я говорил тебе, зиусхан, что поступок твоего старшего сына приведет к беде. Не только хана это разозлило, наши зиусханы тоже рассвирепели... Посмотри, они уже скачут навстречу друг другу!

Ближе, ближе всадники, казалось, лошади в рывке уже кинутся друг на друга грудью, но в самый последний момент конь Сарбая почему-то резко повернул в сторону. Этим и воспользовался Калакут. Уцепив за руку соперника, выхватил его из седла, и тот с лета угодил в объятия Калакуту, который ловко плечом придавил его к седлу, вздыбив заржавшего коня.

Гул прокатился по поляне. Победно гудели адыги и в негодовании крымцы.

Князь Сибок не сдержался, восторженно вскинул руки:

– Аферым, Калакут, аферым[1]! Мне бы таких богатырей, неприступной была бы наша земля!

– Заходи в дом, зиусхан, они теперь там сами разберутся.

– Как это разберутся? Сарбай уедет домой с пустыми повозками?

– От нас с пустыми уедут, но обязательно найдут, кого ограбить. Заходи, заходи, зиусхан.

Они вошли в дом, где их уже ждал обед.

[1] А ф е р ы м – хвала и честь, молодец.

– Как ты сказал, всю жизнь гоняешься за счастьем, а оно все дальше и дальше от тебя... Думаю, если бы ты, зиусхан, искал, добивался счастья только для себя, то уже давно был бы счастливым, но ты ищешь счастья для всех, а его столько не бывает и быть не может.

– Почему? – удивился Сибок, принимаясь за жареную баранину.

– Вот видишь, ты любишь косточкой побаловаться, а другому давай мягонький кусочек, ты вон как круто перчишь, а другой и чуть-чуть не станет. Калакуту подай единую адыгскую страну, а Жанэ, будто лисица, сидит в своей норе и боится, как бы его оттуда не выволокли. Теперь о детях... Я тебе еще не надоел, зиусхан?

– Спасибо, почтенный, спасибо. Ты как бы освежаешь мою голову. Так что о детях?

– Как они взвыли все, узнав, что сын твой Кудадек стоит у самого престола правителя могучего государства. Одни орут от зависти. Еще бы! Какой-то Кудадек, а не его сын. Думаешь, для Давлет-Гирея большая опасность в том, что твой сын у царского престола? Совсем другое, зиусхан, совсем другое. Если бы он поставил рядом с собою у трона сына Давлет-Гирея, о, как ему было бы приятно, а то ведь все знают: не сегодня-завтра громадная Русь попросту раздавит это убогое ханство. Теперь о дочерях. Я понимаю твое княжеское, адыгское самолюбие, но если бы ты одолел его и твоя дочь стала царицей Руси, никто не посмел бы поступать с тобою и твоими адыгами, как поступают сейчас. Пусть все, что хотят, то и болтают о Темрюке, но попробуйте тронуть его Кабарду.

– Получается, я всю жизнь воздвигал на своем пути каменный забор, через который не мог перебраться... А теперь уж и вовсе – состарился, уходить пора.

– Что ты, что ты, зиусхан! – завозражал Тлимаф.– Не смей, не простится тебе это!.. Не сердись на меня, старого, за мои глупые слова...

Князь поднял руку:

– Спасибо тебе, почтенный. Это не ты, не Тлимаф мне говорил, это говорил кто-то свыше...

IV

Еще у себя дома Гошевнай не раз слышала от соседки: у мачехи руки холодные, как снег. Хотя у царицы были мягкие и теплые ладони, но мальчишкам они казались холодными. Наверное, потому, что нельзя заменить тепло родных материнских рук. Конечно, заменить нельзя, думала она, да и не надо, просто нужно создать семью: она, дети и их отец и один дом для всех. Дом, в котором должно быть тепло и уютно всем одинаково, который служил бы окном в большой беспокойный мир. Царица старалась создать его – советовалась с мужем и его родственниками, с другими, опытными в этом деле, людьми. Сначала вроде бы получалось – глаза мальчишек потеплели, даже голоса их стали приветливее, но длилось это с полгода, потом же опять все почему-то вернулось к прежнему, даже стало хуже. Особенно плохо было со старшим, иногда он выглядел просто зверенышем. Жаловаться на него отцу? Нет, это совсем не годилось, и Гошевнай переживала свое горе, роняя слезы на подушку, а когда становилось совсем невмоготу, садилась в кресло у окна...

С Боровицкого холма, на котором стоял Кремль, хорошо видна Москва-река, а за нею в далеком мглистом далеке над лесным простором, уходящим в небо, ей виделся Терек. Не только виделся, она слышала говор звонких ручьев, который он принес с поднебесной высоты от Ошхамахо. Иногда слышалось, как ее былые подружки пели на девичьих посиделках, а то вдруг послышится, как тихонько, вроде бы призывно проскрипит калитка. Раз подружки, значит, и парни вспоминались. Бравые женихи и... обязательно – Кудадек, хотя она видела его всего лишь один раз. Глаза его казались ей до невозможности яркими и зовущими.

Все это увидится, услышится, покажется далеко за Москвой-рекой, и высохнут слезы на горячих ее щеках, тихонько, радостно и грустно вроде бы замурлычет ее сердце и успокоится.

Это в семье, а в царстве?

Черкешенка нравилась многим боярам и боярским женам, воеводам и их женам, однако были такие, кому она пришлась не по душе, но куда денешься – царица, жена Ивана Грозного!

Открасовалась в Московии весна, отшумело лето, загрустила осень...

Пришел день, когда Гошевнай почувствовала, поняла, что понесла во чреве. Очень обрадовалась этому и встревожилась, даже испугалась. Ведь это было с нею первый раз, и как оно будет?! Ведь не зря говорят: самая большая тревога – неизвестность. Не было с нею ни матери, ни бабушки, ни хотя бы просто соседской старушки. Добрые, добрые женщины русские были рядом с нею, но они другие, не адыги. У них не только слова совсем другие, они и младенца держат как-то не так, пеленают по-своему, колыбелька совсем другая.

Надо мужу сказать, а как?! Она все откладывала и откладывала, пока он сам не понял ее. Видно живота у нее, конечно, еще не было. Он заметил в последнее время в ней что-то другое. В ее глазах, в походке, даже в голосе – тише она как-то стала разговаривать.

– Ну?! – спросил он однажды.

Она поняла и ответила:

– Да.

Боже, Гошевнай никогда не видела его глаза такими добрыми, такими красивыми.

Царь стал целовать ее щеки, глаза, потом опустился на колени и припал ухом к ее животу...

– Главное, ты не робей, моя голубка, нельзя робеть. Я приведу к тебе добрую старушку. Она будет оберегать тебя с ним от всего дурного, от сглаза, научит тебя быть матерью.

«Царь Иван добрый, очень добрый,– подумала Гошевнай, когда он приходил в ее комнату,– если бывает жестоким, так недруги это заслуживают сами. Они становятся поперек ему, весь род его царский хотят свести со света, а страну растащить по своим углам, как адыгские князья».

Она подошла к киоту с зажженной лампадой. Постояла молча. Если у нее родится мальчик, она назовет его именем отца мужа, а если девочка – именем его матери.

Затеплила большую свечу царица. Опустив голову, постояла, а потом трижды с поклонами перекрестилась и про себя благоговейно обратилась к Богу на своем родном языке:

– Спаси, сохрани и помилуй меня, моих родителей и родственников, спаси, сохрани и помилуй мужа моего со

всеми его родственниками. Помоги ему сохранить себя, в добре и покое страну, приблизить к нему добрых и мудрых людей, удали от него всех недругов. Помоги мне взрастить в моем чреве и родить богоугодное дитя. И еще прошу тебя – часть царской ноши возложи и на мои плечи, чтобы ему было хоть немного легче...

Постучавшись, вошла Юлиания Дмитриевна и остановилась у двери, подождала, пока царица закончила молитву.

– Господи Иисусе Христе,– перешла она вслух на церковно-славянский,– Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

– То-то я гляжу – в последнее время ты прямо расцвела,– с улыбочкой сказала свояченица.

– Не слышала, чтобы женщина в положении становилась красивее.

– Становится, обязательно становится!

– А ты и без этого красавица из красавиц.

– Ну и что! – вскрикнула Юлиания.– Ты вон уже, готова, а я сколько замужем! И без толку.– Заблестели ее глаза слезами.– Уйду в монастырь...

В комнату ворвался царевич Иван и закричал:

– Куда вы спрятали Федьку?

– Как ты разговариваешь с царицей! – рассердилась Юлиания.

– Да ты проходи, Ванюша, нехорошо в дверях стоять. Успокойся и скажи...

– Опять ты – Ванюша, Ванюша! Сколько раз тебе говорить – царевич я, Иван Иванович! Куда вы Федьку дели?

– Ты что из себя строишь, шалопай несчастный! – подбоченившись, пошла на него Юлиания.– Как ты смеешь так разговаривать с самой царицей! Она мать твоя. Не сегодня завтра родит тебе брата или сестру!

– Не мать она мне! – взъярился мальчишка.– Наша с Федькой мама – Анастасия Романовна! А от этой... брюхатой ничего я не хочу, даже смотреть на нее не желаю!

– Заткнись, поганец! – крикнула, не сдержавшись, Юлиания.

– Прошу тебя, Юлиания Дмитриевна, успокойся, пожалуйста,– взмолилась Мария Темрюковна.

– Нет, не успокоюсь, потому как он оскорбляет жену государя, царицу оскорбляет. Сейчас же убирайся с глаз моих!

В комнату вбежала Варвара Патрикеевна, ведя за руку Федора. Остановилась у дверей и стала низко кланяться царице и Юлиании.

– Мамка, зачем ты кланяешься этим чужакам? – возмущенно произнес Иван, озлобленно зыркая глазками.

– Ваня, золотой мой царевич, не говори так,– взмолилась Варвара Патрикеевна.

– Говорил и буду говорить. Пошли, Федор.– Они ушли.

– Не гневайтесь на царевича Ивана,– сказала мамка Варвара.– Он еще совсем ребенок, многого не понимает, а нынче и вовсе вон как расстроился. Я все ему хорошенько объясню.

– Подожди! – повысила голос Юлиания.– Ладно – тот шалопай, а ты как разговариваешь с царицей, со мной, а?

Поклонилась старуха, коснувшись рукой пола, царице и Юлиании, промолвила плачущим голосом:

– Простите великодушно, царица Мария Темрюковна и жена царского брата Юрия Васильевича – Юлиания Дмитриевна, с мальчишками расстроилась, голова кругом пошла. Простите великодушно.

– Вот и гляди у меня, чтоб впредь голова не ходила кругом,– строго предупредила старуху Юлиания.– Иди и аккуратно закрой за собой дверь... Тихоня, немощной старухой прикидывается, а у нас много недоброго исходит от нее. Старуха – родственница Захарьиных, из рода которых происходила покойная Анастасия. Вот и не пойму, почему она гадит тебе – то ли от ревности, то ли по какой другой причине. Я надысь сказала об этом Ивану Васильевичу, а он не обратил внимания. И его понять не могу. Ведь ты куда как красивее Анастасии, чего бы ему еще. И от него тоже может исходить всякое разное.

«Не пойму, чего хочет моя милая свояченица, зачем это все мне говорит. Ведь хорошо видно – говорит она одно, а таит в себе другое. Наверное, хочет что-то выудить у меня. Милая моя, хорошая, глупенькая. Прости ей, Господи».

– Я все говорю, говорю, а ты молчишь и молчишь, моя красавица. Видишь, как у нас, русских, крутятся семейные дела, а как у вас?

– Моя матушка говорила, нет на земле такой семьи, в которой все и всегда бывает спокойно да гладко, будто и не жизнь это вовсе, а какая-то стоячая вода. В каждой семье всегда что-то происходит, и пусть происходит, только была бы она дружной, крепкой. Наша с Иваном Васильевичем семья хорошая, крепкая, а теперь еще будем ждать нового ее жителя: кто он будет, каким? Вот и наши мальчики – они такие же непростые. Это наша радость, наша беда, наша надежда, наше беспокойство – как сама жизнь. Даже когда плачешь горькими слезами, и за это благодари Всевышнего.

– Счастливчики вы с царем, счастливчики,– прикрывая зависть слащавой улыбкой, сказала Юлиания и потом, как говорят, ни к селу ни к городу, спросила.– А у вас, черкасов, тоже такое же сильное, как наша Русь, государство?

– К сожалению, нет у нас государства,– вздохнула царица,– у вас тоже, как супруг мне говорил, раньше вся Русь была раздробленной, княжеской. Нашелся у вас мудрый человек, царь Иван Васильевич, собрал всех воедино.

– Ага, собрал! Еще до сих пор некоторые огрызаются, кусают друг друга, на самого царя зарятся.

– Есть и у нас мудрые люди, хотят всех черкесов собрать в единое государство, но много и таких, как ты сказала, что грызутся между собою, каждый из них хочет быть первым, а место первого – одно-единственное на всех. Нужен им свой Иван Васильевич – мудрый и сильный...

– А ну их всех! – перебила царицу Юлиания.– Говорят, черкесы очень искусные и храбрые всадники, говорят, ты тоже искусная наездница. Это правда?

Улыбнулась царица:

– Правда – черкесы искусные и храбрые наездники, но они берегут своих женщин, не сажают их верхом на коней.

– А еще говорят,– пожав плечами, усмехнулась Юлиания,– что ты с мужчинами ходила на охоту, будто медведя убила. Даже, говорят, на войну с мужчинами ходила.

– Разве я похожа на воина, на мужчину-богатыря?

– Не-ет! Ты такая... хорошенькая, складненькая!

– Интересно,– нахмурила свои красивые, стрельчатые брови царица,– кому и зачем нужны эти сплетни? Разве

достойно говорить неправду, придумывать то, чего никогда не было...

– Не сердись, Мария Темрюковна, просто мы, русские бабы, любим поговорить, повыдумывать разное. Злые сплетни тоже бывают, как и злые люди. Да ты не сердись, не сердись... Наш царь-батюшка любит и на охоту ездить, любит повоевать. Однова возьмет, да и скажет тебе: садись рядом со мною на коня, бери вострый меч! Что тогда? – беззлобно, озорно спросила Юлиания.

Встала Гошевнай, прошлась по комнате, подошла к окну, прищурилась, всматриваясь в даль, где за Москвой-рекой, в призрачной и в то же время явственной дали увиделся ей родной дом с высокой камышовой крышей, веселыми окнами-глазами, широкий двор, окруженный плетнем. И легкой грустью отозвалось сердце.

– Черкесские женщины, как и русские, любят своих мужей, рожают детей, растят их, поют на посиделках песни,– с этими словами обернулась Гошевнай к Юлиании и продолжила,– но если скажет ей муж, позовет Русь, она поднимется в седло, обнажит меч и покажет, на что способна ее женская, материнская любовь. Что же касается охоты,– весело рассмеялась царица,– почему бы и не побывать в лесу, не позабавляться вместе с мужчинами. И еще скажу, как говорят у нас: добрая, мудрая жена – это дом, если же плохая она – то темница.

«Ты погляди, а бабье наше болтает: черкасы – это кавказские дикари. Я гляжу, так Мария Темрюковна – царица, достойная нашего Ивана Васильевича. Ей-Богу достойная».

Встала Юлиания Дмитриевна:

– Славненько, славненько мы с тобой посидели, но, как говорят, пора и честь знать, отдыхай, моя хорошая, а я займусь своими делами. Спасибо тебе, моя хорошая.

– Спасибо и тебе, Юлиания Дмитриевна. Я прошу тебя: пусть все, что тут у нас было, останется между нами, не выносить ничего из этой комнаты.

– Да, да! Не беспокойся – я ничего не видела и ничего дурного не слышала. Обещаю. Слово мое твердое.

И, конечно, было оно совсем не твердым. Спустя несколько дней царь спросил:

– Кученей, это правда, что дня три тому царевич Иван оскорбил тебя?

– Кому-то невтерпеж наша семья, вот и сплетничают, суют свой нос, куда не следует. Всякое бывает в семье, и это только наше с тобой, мой повелитель, дело. Царевич Иван – впечатлительный, раздражительный мальчик, надо понимать его, надо уважать в нем мужчину, царевича. Это наше с ним дело. Только наше. Его сердца и моего. Да поможет нам Господь.

Ничего не сказал царь, благодарно лишь улыбнулся царице и про себя помолился: «Благодарю Тебя, Боже, за милость, за доброту Твою к нам, грешным».

Прошло положенное время, и в предобеденный час ветреного холодного дня призывно ударил в Кремле колокол Ивана Великого. Ему отозвались колокола Успенского собора, всех соборов и церквей Московии. Торжественным благовестом и перезвонами они возвестили Руси о рождении у царя Ивана и царицы Марии сына.

Одних это обрадовало, как праздник на святой Руси, другие отнеслись безразлично, а третьи, как говорится, плюнули через плечо.

Такова она, Россия-матушка.

V

Принимая повод у спешившегося Ванатуга, соседский парнишка Пак сказал:

– Позавчера приезжал к тебе какой-то мужчина.

– А сегодня не показывался? – настороженно спросил Ванатуг.

– Нет.

– Если я ему нужен, значит, приедет.

Развязывая подпругу, Пак совсем как взрослый сказал:

– Как знать, может, и приедет, если ты ему понадобился.

– Вы с ним разговаривали? О чем?

– Когда он приехал первый раз, я только присматривался к нему,– направляясь с седлом в конюшню, ответил Пак.– Как я мог расспрашивать незнакомого, да еще старшего.

– Молодец, сосед, молодец! – похвалил Ванатуг паренька.– Вообще, лучше сторониться незнакомого человека, а то ведь всякое может быть, как узнаешь, что он задумал.

– А что может быть средь бела дня? – удивился Пак.

– У них нет ни дня, ни ночи,– вспомнил Ванатуг свое старое ремесло.– Если ты присматривался к нему, расскажи, какой он из себя.

Пак поставил тазик и стал из кувшина поливать Ванатугу на руки.

– Как тебе сказать. Какой-то он – такой... ростом маленький, не поймешь – это он в седле или седло на нем, но, Ванатуг, я тебе должен сказать, верткий и даже сильный он, а глазами – быстрый-быстрый.

– Говоришь, сухощавый, верткий и сильный?

– Да, Ванатуг. Что-то нехорошее в нем есть.

– Почему ты так решил?

– Не знаю, только зябко мне было рядом с ним стоять.

Знал Ванатуг, что Мамий поселился в доме отца своего с Мариам. Бывал он у них в Крыму, очень она ему понравилась. Душевностью своей, тихим и, как он тогда подумал, чистым взглядом. И еще он тогда подумал: «Досталась же такая чистота и радость этому куску грязи и крови в золотой оправе». Подумал и криво усмехнулся: «Будто ты сам лучше него».

– Хорошо, Пак, а что было потом?

– Когда он приехал во второй раз и опять спросил о тебе, я понял, что у вас с ним какие-то дела. Тут уж я, как полагается, пригласил его зайти в гостиную, но он дал коню пятки и умчался. Может, он не зашел, потому что приглашал его мальчишка?

– Нет, дорогой сосед, тут что-то другое. Раз приглашают – войди, а отказался, значит, по-адыгски, обидел того, кто тебя пригласил.

– И мать сказала, так может поступить только нехороший человек... Я спросил у него, что передать Ванатугу, кто его спрашивал? Он нахмурился и не ответил на мой вопрос. По-моему, он из Крыма, велел передать, пусть найдет меня.

– Верно, это приезжал Мамий. Ты слышал такое имя?

– Кто же его не слышал! Мы с матерью так же подумали, а имя его тебе не назвали, посчитали – не достоин он этого.

– Спасибо, Пак, тебе и матери твоей. Ты – настоящий сосед, мать твоя – тоже. Так и передай ей.

– Тебе, Ванатуг, тоже большое спасибо за помощь твою. Если бы не ты, туго бы нам с матерью пришлось.

В те годы Ванатуг даже подозревать не мог, что простое слово «спасибо» может дать человеку столько радости, вот как сейчас «спасибо» этого мальчишки.

Ванатуг присел на корточки около сапетки, снял войлочную шляпу, вытер вспотевшую бритую голову, накрыл ее носовым платком, пряча от жаркого солнца.

Пак не только нравился ему, но и удивлял своей сметливостью, размышлениями, суждениями. И откуда это у него? Был он совсем малышом, когда его отец погиб в схватке двух селений, жил только с матерью, и откуда взялось у него все мужское? Видно, от природы, от времени. «Как знать,– подумал Ванатуг,– может быть, само время делает людей другими, может быть, оно все-таки научит их добру, любви, отучит от несправедливости, жестокости, но когда это будет, когда?

– Ты что, Ванатуг, так и будешь сидеть у сапетки?

– А что? Присядь и ты. Посидим, поговорим. С солнышком, с небом поразговариваем, а вот и ветерок дохнул на нас свежестью. Садись.

– Нет, ты же с дороги, пойдем, я покормлю тебя.

– Спасибо, сосед, но я совсем недавно сидел за таким анэ, на котором, как говорят, не было только птичьего молока. Уставшая голова просит мягкую подушку, вот я и пойду, подремлю всласть.

– А я не люблю днем спать – жалко такое время зря тратить. Я все-таки угощу тебя, хоть и не птичьим молоком, но тем, чего там не было.

– Чем же?! – удивился Ванатуг.

– Сейчас я.

Ванатуг смотрел на вприпрыжку побежавшего Пака, и такая вдруг тоска сжала его сердце, что он чуть не застонал. Ведь и у него могли быть вот такой мальчишка или девочка. Показалось ему, даже руки заболели – так им захотелось погладить по головке своего сына, так им захотелось понянчить младенца. А побывать на свадьбе своего сына или дочери?! «О Аллах!» Конечно, его, Ванатуга, знали по всей адыгской земле, в Турции, в Крыму, знали как одного из самых богатых. Ну и что? Оказалось, все это придорожный прах. «О Аллах, прости меня, помоги мне!» Мать Пака была приятной женщиной – молодой,

симпатичной, моложе Ванатуга, он с удовольствием женился бы на ней, но... она хромая. «Смеяться станут, скажут – два сапога пара, и оба на одну ногу». Через это он не мог переступить, поэтому и не женится.

Пак принес кувшин с холодной густой щхыу-простоквашей.

Приложился Ванатуг к кувшину, жадно попил:

– Да, Пак, такого там не было. Знатная, знатная простокваша. И холодненькая, и душистая. Спасибо.

– На доброе здоровье, Ванатуг.

– Дай Аллах вам с матерью счастья.

– Раз уж ты упомянул мою мать, позволь мне попросить тебя об одном одолжении.

– Конечно, проси. Или мы не друзья с тобой?!

– Скажи матери, пусть она больше не зовет меня Паком.

– Как это, чтобы не звала тебя по имени или ты не Пак?

– Отец мой назвал меня Джамбором, а мать стала ласково называть Паком, вот оно и приклеилось.

– Валлахи, какое прекрасное имя дал тебе отец. Я теперь только так и буду звать, всем велю звать тебя так, а вот с матерью... Не знаю.

– Попроси ее, пусть этим ласковым, детским именем зовет только дома, а на улице, при людях – Джамбором.

– Хорошо, я очень постараюсь и, раз уж ты доверил мне свою тайну, доверю и тебе свою. Все меня знают как Ванатуга, а у меня есть и другое, как говорят, мужское имя.

– Да?! Вот здорово!

– Мать и отец звали меня Берсеем, а потом, когда мне было лет семнадцать, дернула меня нечистая сила – украл седло гостя нашего соседа. Меня поймали и с тех пор стали называть Ванатугом – укравшим седло.

Опечалился Джамбор:

– Ты был уже взрослым, когда это случилось, так, видно, Аллах судил.

– Аллах здесь ни при чем. Он каждому дает свободу и каждый выбирает свою дорогу сам. И я выбрал: очень нравилось, что меня боялись, что был я очень богатым, очень нравилось, что меня знали по всему Кавказу, в Турции, Крыму... С помощью Аллаха я ушел из соблазнительной, но проклятой жизни, успокоился, а теперь вот зачем-то понадобился Мамию, разбойнику из разбойников... Ты только начинаешь жизнь, я хочу, чтобы она удалась тебе честной, доброй, нужной людям – сегодняшним и завтрашним. Когда настанет пора и придется тебе выбирать, вспомни поговорку: лучше пусть съест тебя собака доброго, порядочного человека, чем только укусит пес мерзкого. Как ты понял эту поговорку?

– Лучше умереть, но с честью, чем жить, но подло.

Утром следующего дня Джамбор, помогая Ванатугу готовиться в дорогу, спросил:

– Берсей, зачем ты едешь к этому злому человеку?

– Когда адыга попросят, он без всяких колебаний седлает коня и спешит на помощь. Или, Джамбор, мы с тобой не адыги?

– Адыги, Берсей, но есть и такая пословица: бережено Бог бережет.

«Господи, он и это знает!» – удивленно воскликнул про себя Ванатуг.

Джамбор понял его и, смущенно улыбнувшись, сказал:

– Это не я, это мать моя так говорит.

Солнце было жарким, но встречный ветерок обдавал прохладой, и ехать легкой рысью было Ванатугу одно удовольствие, размышлялось легко и приятно.

«Спасибо тебе, Ванатуг, если бы не ты, туго нам пришлось бы с матерью»,– пришли на память слова Джамбора, и повторилась теплота от этих слов, повторилось удивление – столько самого разного было в его жизни, казалось, он все познал, все ухватил, все прошло через его руки, через его «я», но чтобы испытать такую глубокую душевную радость от мальчишеского «спасибо»?

«О Аллах, ты воистину велик. Слава тебе,– прикрыв глаза, вслух помолился Ванатуг.– А как он еще сказал, этот мудрец в детских штанишках? Подрасту немного, поднимусь в седло и стану рядом с тобою, Ванатуг, и с Калакутом... Он поставил меня, вчерашнего разбойника, рядом с таким человеком».

Пришпорил скакуна, понесся навстречу ветру.

«А все-таки, зачем я понадобился Мамию? – чуть придержал коня Ванатуг.– Что-то недоброе задумал? А может, худо ему, помощи попросит?»

С пригорка во весь опор мчалось несколько всадников. Ванатуг на всякий случай спрятался за терновый куст.

Ближе, все ближе всадники. Впереди мчался князь Цахо, размахивая мечом, кричал:

– Жанеи, храбрые жанеи, за мной! Теперь я ваш главный зиусхан, конец мерзкому предателю Сибоку! Это он стравил между собою бжедугов и абадзехов! За мной, храбрые жанеи!

Один из байколов узнал Ванатуга:

– Зиусхан наш умом тронулся. Никак не можем его догнать, как бы не натворил чего от безумства.

Ванатуг пустил своего скакуна в галоп и настиг князя.

– А-а, это ты, Сибок, старый дурак? Хочешь отнять у меня должность главного зиусхана? Не выйдет!

– Я не Сибок, я Ванатуг.

– А-а, прикидываешься честным человеком? Не выйдет! Я мигом снесу твою глупую голову!

Ванатуг выбил из рук князя меч, а потом и самого сбросил с седла. Навалились байколы на Цахо, вдруг залаявшего по-собачьи, пытавшегося освободиться от уцепившихся в него рук.

– Теперь мы его привяжем, больше не убежит,– хохотал байкол.

А Ванатугу вдруг стало жалко князя, болью зашлось его сердце. «О Аллах, и за эту радость, какой я раньше не знал, спасибо тебе. Оказывается, вон как богат человек по милости твоей».

И он тронул повод, пустив своего лихого скакуна, как тому хотелось, а конь, словно чувствуя своего хозяина, шел легкой, даже плавной рысью, чтобы помогать ему думать приятные думы.

Хорошо было Ванатугу, и он не замечал, как покорно ложилась и ложилась дорога, как проплывали мимо поля и луга, лес и перелески, и только в одном месте, когда увидел, как по крутому склону из впадины украдкой поднимаются сумерки, понял – уже совсем рядом Трамхабль. А у ворот сидел на бревне Тлимаф и улыбался ему, как бы говоря: я знал, что ты едешь, что обязательно заедешь ко мне.

– Милости прошу, дорогой гость! Не беспокойся – скакуна твоего обиходит, как полагается, мой внук Чечан.

Дзегашт, встречай гостя, проводи нас с Ванатугом в гостиную.

После обычных взаимных расспросов – как ехалось, как здоровье, все ли хорошо дома – Ванатуг сказал:

– Я по делу приехал, счастливый тхаматэ Тлимаф.

– А кто же в такую даль ездит просто так, от нечего делать,– улыбнулся старик.– Если не горит твое спешное дело, отдохни. В нашем краю хорошо спится – воздух такой, что сон получается сладким, а утречком и поговорим в свое удовольствие, но если уж ты начал, говори. Слушаем тебя.

– Сосед твой два раза приезжал ко мне, похоже, по какому-то важному делу.

– Конечно, по важному, коли два раза в такую даль ездил. Хоть и живем мы с ним по-соседски, как говорят, рукой подать, а видимся так редко, будто и вовсе не соседи. Приезжает он обычно затемно и затемно уезжает. Чем занят, что делает, куда спешит, откуда приезжает – не знаем. Жена его Мариам частенько заглядывает к нам, и мы ее навещаем, добрососедски с нею живем, а он... Сходи с Дзегаштом, Ванатуг, проведай ее и, как полагается по обычаю, к ужину возвращайся.

Увидела Мариам из окна прихрамывающего Ванатуга, со слезами на глазах выскочила ему навстречу, стала обнимать, припадая к груди:

– Не обессудь, Дзегашт, Ванатуга я люблю, как родного брата. Если бы не он, не знаю, чем закончилась бы моя несчастная жизнь. Когда мы приехали сюда, я попросила Мамия привезти тебя к нам, чтобы отблагодарить тебя за твою доброту. Я знаю, какая трудная твоя жизнь, знаю, как тяжело...

«Рад я, рад твоим словам, твоим красивым глазам, но зачем ты говоришь это при Дзегаште, лучше бы... Не знаю, но я думаю, что никогда не видел такой красивой, такой душевной женщины...»

«Ничего не понимаю,– думал Дзегашт,– хотя она и говорит, что любит Ванатуга, как брата, но не только как брата, нет. Однако зачем делает это при мне? Может, мне лучше уйти, оставить их вдвоем?» Подумал так Дзегашт, но не ушел.

VI

Больше месяца Сибок, можно сказать, не покидал седло, объехав северо-западные адыгские земли, и уже в немалые свои годы очень устал, однако, спешившись у ворот и увидев, как с визгом радости кинулась к нему внучка, выпрямился, сбросил со своих плеч тяжесть, накопившуюся за месяц утомительных дорог, раскрыл навстречу малышке объятия, подхватил ее, вознес над собою, а потом прижал к груди, расцеловал ее глазенки, зардевшиеся щеки, лобик:

– Вот я и приехал, моя светлоглазка, цветочек мой розовый.

Прибежала и Минсура, стала обнимать отца.

– Уйди, уйди! – закричала внучка.– Он мой!

– Конечно, твой, но и мать свою нельзя отталкивать, внученька, а то люди скажут, будто ты нехорошая девочка.

– Я хорошая, хорошая. И нана, и ты хороший.

Все дворовые спешили приветствовать князя. Пришел Камболет, вышла на веранду княгиня Загирета.

Княжески поблагодарив всех за добрую встречу, Сибок с внучкой на руках, Камболетом и Минсурой направился в свою комнату.

– Проходи, садись, наша добрая хозяюшка. Как вы тут жили без меня, все ли у вас хорошо?

– С возвращением тебя, Сибок,– с уважительным поклоном ответила княгиня.– Все у нас хорошо – и в доме твоем, и во всей округе. А по мужским делам спрашивай сына своего, Камболета.

– Почему Ацамука не видно, где он?

– В Четаше... там неспокойно, он туда и поехал.

– Что еще в этом Четаше? – сердито поморщился князь и подумал: «Ну что ты будешь делать! Славный ты у меня братец, но уже в немалых годах, не из первых женихов. Боюсь, за моими делами, за делами адыгов и жениться не успеешь. И, думаешь, счастливым от этого станешь?»

– Тфокотли сожгли церковь Вишнивецкого.

– Как это сожгли! – встал Сибок, отдал внучку Минсуре и кивнул на дверь: мол, оставьте нас.

Камболет пожал плечами, усмехнулся:

– Как сжигают, так и сожгли.

– А где был зиусхан Жанэ? Что он?

– Был с теми, кто поджигал.

– Ну а ты, а Калакут? – грозно повысил голос князь, положив руку на эфес кинжала.

– Упаси, Аллах, упаси! – вскочила Загирета.

– Не волнуйся, женщина, сядь и успокойся. Я просто хочу поговорить по-мужски с этим зиусханом.

– Как же я могу сидеть, если ты положил руку на кинжал? И тебя прошу, сын мой, очень прошу: слушай, как надлежит сыну слушать своего отца.

Крупными, не то решительными, не то угрожающими шагами прошелся главный князь по комнате, беспокойно теребя наборный пояс.

Остановился у окна и, глядя не то на кузницу, не то куда-то дальше, спросил:

– Ну?! А что вы с Калакутом?

Побледнел Камболет, но сказал твердо:

– Не могли же мы пойти против тфокотлей, против... самих себя.– Сказал, подумав.– «Я, сын твой, понимаю тебя хорошо, понимаю, в какой трудный водоворот ты и твои сторонники попали. И ты, мой отец, один из мудрейших на нашей несчастной земле, скажи: как мне быть, как помочь, ведь я всего лишь твой младший сын».

Подумал и продолжил:

– Отец, мать, я, сын ваш, обязан во всем быть пред вами, как перед Аллахом. Понравится это или не понравится, но скажу, должен сказать вам правду... Чем дальше удаляется, становится почти безнадежным дело, которое принес адыгам своим умом и своим сердцем Калакут, оно мне все ближе и ближе. Прошли годы, а князья так и не собрались, чтобы ответить тфокотлям на постановление их хасэ, просто они не хотят видеть единого государства адыгов.

– Я назову, сын мой, имена зиусханов, которые первыми высказали мысль о необходимости единого государства. Это Машук Каноков, Сибок Каншауков, Темрюк Идаров.

– Позволь мне, отец, назвать и другие имена: в Кабарде – Кайтуковы, Анзоровы, Джансоховы, в Беслинее и Абазии – Абатовы, Бекмурзиевы, в Абадзехии и Темиргое – Цеи, Едыговы и Болотоковы, в Бжедугии – Аскаловы, Хаджемуковы, а в нашей Жанее – Тахо, Цахо, Жанэ,

Мартоковы. Возможно, всем им, кого я назвал, и принадлежала мысль о создании единого государства, хотя некоторые из них и колебались. Так вот они и названные тобой трое, обращаясь то к урусам, то к ногаям и туркам, в конце концов оставили адыгов, как говорят, у разбитого корыта.

Налился гневом Сибок, но он умел держать себя в руках и почти спокойно спросил:

– Ты хочешь сказать, зиусхан Камболет, что мы ничего не сделали для адыгов?

– Почему же, и ты, и Темрюк с Машуком сделали очень многое, но вы не поддержали делом Калакута, а это ведь для всех нас, для адыгов, самое главное, от кого зависит наше будущее.

«Как же это, сын, еще мальчишка, говорит такое своему отцу, одному из мудрейших на всей адыгской земле?!» – подумала княгиня и раздраженно спросила:

– Сын мой, как ты можешь?..

Князь остановил ее, подняв руку:

– Спасибо, что ты, наш сын, чист душою перед нами с матерью.

– О Аллах! – воскликнула княгиня.

– Думаю, именно Аллах и помогает Камболету быть чистым перед нами с тобой, перед самим собою... А я... хотел, чтобы было как лучше, а получилось хуже, однако, как сказал бы православный наш сын Кудадек: на все Божья воля. Теперь скажи, зиусхан, то, что ваши единомышленники, а значит, и вы с ними сожгли войсковую церковь, чем вызвали новую беду, новое зло, правильно ли поступили? Да что ты все стоишь, садись!

– Позволь мне, отец, не нарушать нашего адыгэ хабзэ, старинного обычая.

– Пусть, пусть постоит! – как бы мстительно произнесла княгиня.– Не надломятся его молодые ноги, стоя перед родителями. Я пойду, мне нечего здесь делать!

– Не уходи, твое материнское слово здесь тоже немало значит.

– Ну, если так,– не без гордости сказала Загирета, откинувшись на спинку стула.

– Я больше месяца ездил по землям левобережья Кубани и не встретил ни одного человека, кому по душе Турция и Крым. И не думай, сын, что я помирился с турками и крымцами, что буду делать все, что они хотят.

– О Аллах! – воскликнула княгиня.– Ты вернешься к тем, кому не отдал свою дочь?

– А разве не с ними наши сыновья?

– Но, зиусхан,– не унималась княгиня,– эти московские гяуры согнут нас, как рабов своих!

– А разве татары и турки поступят иначе? Разве они не начали уже собирать дань? – возразил матери Камболет.

– Верно. Я не хочу, сын мой, ни тех, ни других. Единственный человек, с кем готов стать и стану рядом,– это Калакут. Не смотри на меня так, сказал это своим сердцем. И ты, Загирета, тоже не косись... Теперь скажи, Камболет, как ты сам относишься к тому, что тфокотли сожгли церковь? Ведь туда, говорят, ходили и адыги, а что думает по этому поводу Кудадек?

– Я считаю, отец, дело не только в Кудадеке. Одни из людей – мусульмане, другие – язычники, третьи – чиристане, но Бог, создатель человека и земли под небом, один, и каждый волен молиться так, как его призвал Всевышний, и если мусульмане обижают чиристан, если чиристане обижают язычников, Он на своем небесном суде накажет каждого обидчика. Я, мусульманин, не должен враждовать со своим братом Кудадеком, потому что он чиристанин, но если он вздумает поднять на мусульман меч, я ему тоже отвечу мечом.

– Что ты говоришь, безумец! Опомнись, ведь вы родные братья, дети вашего отца, мои дети!

– Успокойся, Загирета,– попросил Сибок.

– Как успокойся, если этот мальчишка...

– Я сказал – успокойся! – повысил голос князь. Помолчав, спокойно продолжил.– Думаю, так считает и Калакут.

– Это его слова, отец.

– Но ты сказал, что Калакут не запретил тфокотлям сделать то, что они сделали.

– Разъяренная толпа похожа на ураганный ветер.– Вот и разберись, где народ, а где толпа. Ладно. Хорошо мы поговорили, по-семейному,– улыбнулся князь.– Иди, Камболет, в кузницу, разожги огонь в горне. И позови ко мне Калакута.

Ушел Камболет, и муж с женой сидели молча. Бывает, когда надо помолчать, когда молчание так же необходимо, как необходим разговор.

Княгиня сидела, опустив голову, устало положив руки на колени, не то о чем-то думала, не то вспоминала.

Все, что делал ее муж, было важно и для нее, но не настолько, чтобы загоралось нестерпимой болью ее сердце, как по Кудадеку. Глянет она на дерево во дворе и будто видит, как Кудадек еще мальчишкой забирается на него и прячется в густых ветвях. Зайдет она в комнату, где он жил, и его пустая кровать будто упрекает ее, будто говорит – где он теперь, бедненький, кто ему взобьет подушку, напоит утречком парным молочком, погладит по головке... И самое обидное, что Сибок как мужчина не понимает ее, не знает даже капли ее материнской боли. Будь у него эта капля, разве отпустил бы сына в чужедальнюю сторону? «О Аллах, о Аллах!»

Конечно, не отпустил бы Сибок Кудадека, ведь у него тоже болело сердце по сыну, в тревоге за него, но что делать, ведь любовь к своей земле, долг перед нею выше семейных уз, она не хочет считаться с родительской болью.

«Что толку противиться ветру, который уже шумит, гуляет по горам и долам,– размышлял Сибок,– теперь бы не упустить того, что пока в твоих руках».

Их двое, от родного отца и матери, одной земли и неба, их единокровные сыновья, но такие разные, будто и вовсе не братья. Особенно этот мальчишка Камболет, у которого усы еще не пробиваются, а глаза уже какие, глаза! Дать бы ему подзатыльника, чтобы не смел так разговаривать с отцом и матерью. Дать бы! «Но ведь он – это и ты! Можно ли себя наказать подзатыльником? Каждый год на дереве вырастают молоденькие побеги, они ведь – будущее этого дерева... Гордись, стареющий главный князь, что у тебя есть Камболет, зажми в кулаке свое самолюбие, надо уметь понимать народные обычаи, отношения между старшими и младшими так, чтобы двигаться вперед, а не вспять».

– Ну что, Загирета, так и будем сидеть молча? – нарушил Сибок затянувшуюся тишину, поглядев на жену.

– Как скажешь, такое наше женское дело.

– Ладно, ладно, главная женщина в нашем доме и во всей Жанее! – улыбнулся князь.– Я вижу, хочешь что-то сказать. Слушаю тебя, моя дорогая Загирета.

– Мне кажется, Калакут нашему Камболету ближе, чем мы с тобой.

– Не Калакут ему ближе, а мысли его и дело. А ближе, потому что я это разрешаю. Даже хочу.

– Это я тоже поняла и, если позволишь, дала бы тебе, главному мужчине в нашем доме и всей Жанеи, свой женский совет.

– Ну и лисица! – рассмеялся князь.– Будто и в самом деле тебе нужно мое позволение, если захочешь что-нибудь сделать или сказать. Ты в этом, моя дорогая, не нуждалась еще до нашей с тобой свадьбы, как и после нее, когда мы стали жить вместе.

Рассмеялась и Загирета:

– Ты – мудрый человек, всегда понимал и теперь понимаешь, что ты – голова, а я – шея твоей головы.

– И куда же теперь хочет шея повернуть голову?

Сдвинула красивые тонкие брови княгиня:

– Не удивляйся, я давно уже стою на стороне Калакута, теперь и на стороне моего младшего сына. Но только стою, однако не могу, нося платок на своей голове, идти рядом с мужчинами. Думаю, тебе тоже пока надо только стоять с ними рядом, не выявлять себя, не давать повод зиусханским сплетням, а когда потребует дело, показать свою силу.

– Спасибо шее,– усмехнулся князь,– но голова уже давно именно так и поступает. Но почему терпела шея, когда голова делала одну глупость за другой, когда под старость почти рабски склонилась перед ненавистным крымским ханом?

– А что ты мог сделать?

– Хорошо бы то, что сделали Калакут и Камболет, дав по шее крымчанам, приехавшим за данью. Может быть, это хорошо, а может быть... Неизвестно, как отнесется к этому Давлет-Гирей. Он может жестоко отомстить нам. А еще, Загирета, и без этого меня ждет большое унижение: хан решил своим наместником над нами сделать Мамия.

– Как?! – возмущенно вскричала княгиня.– Того самого, проклятого людьми и Аллахом и даже самим ханом?! Тогда возвысится и чахоточный Тахо...

– Возможно, это вранье, которое распускает сам Мамий. С другой же стороны, если мы оказались под властью Крыма, почему бы хану не поставить своего правителя

над нами? Ведь Русь ставила же своего, воеводу Вишневецкого.

– О зиусхан! – закатила глаза Загирета.– Это был порядочный и добрый человек, как хорошо мы жили при нем. Даст Аллах, еще вернемся к урусам, к нашему сыну. Лучше нам быть с ним рядом, а то не случилась бы беда.

– О какой беде ты говоришь?

– Он сразу же помчался в Московию, когда узнал, что Гошевнай, дочь Темрюка, отправилась туда.

– О чем ты говоришь, как могло прийти такое в твою голову! – возмутился князь.– Кудадек не позволит себе такую глупость.

– Это совсем не глупость. Горячее сердце юноши – совсем не глупость, разве ты не был таким? Забыл, как было у тебя со мною...

– Хватит! Если бы такое случилось... это же большая беда, Аллах милостив, он не допустит ее.

– Да, зиусхан, будем усердно молиться Ему.

– Скоро возвратятся из Московии родственники Дударука, привезут новости... Нет-нет, я не хочу даже думать об этом.– Сибок увидел в окно Минсуру с дочкой.– Как хорошо, что у нас гостят наши девочки.

– Роднушечки наши!

– Пойдем к ним. Порадуемся и их порадуем.

VII

Сладкое балует человека, а горькое старит. Правда, еще и так говорят: сладкое – это утренняя заря, а горькое – закатная. Впрочем, и вся жизнь человека – восход и закат.

За три года замужества были у Гошевнай и утренние – веселые, счастливые зорьки, и пасмурные, закатные, как и происходит во всем мире.

Девушке из селения на далеком Северном Кавказе стать царицей великой державы? Казалось, такое может быть только в сказке, а вот случилось же с княжной Гошевнай. Впрочем, юной красавице стать женою вдовца с двумя его детьми – не такая уж безоблачная радость, не такое уж счастье. А если учесть, что она не знала ни одного слова из языка, на котором говорит ее муж, не знала обычаев этой страны, ее христианской веры, то окажется, что вместо сказочного счастья ей досталась многотрудная жизнь с радостью и слезами, заботами, порою далекими от царских.

Проснулась царица вместе с восходом солнца, прижалась щекой к маленькой подушечке своего сына, лежащей рядом, потом в ночной сорочке, шлепая босыми ногами по полу, подошла к киоту, от неугасимой лампадки затеплила свечу, поставила в подсвечник и опустилась на колени...

У нее родился мальчишечка, его назвали именем деда, Василием. Радовались царь и царица такой радостью, больше которой и не бывает, только недолгой была их радость – всего три месяца прожил царевич. И не понять было: не то забрал его к себе Господь по своей воле, не то по чьему-то злому умыслу. Малыш не стал принимать молоко матери, в одночасье посинели его губки, вздрогнул он всем своим младенческим телом и ушел навсегда...

Опустилась на колени царица.

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Помяни, Господи, безгрешную душу усопшего ангелочка моего, раба Твоего Василия во Царствии Небесном Твоем, даруй ему вечный покой. Ты знаешь, Господи, как болит материнское сердце, как легко ему ошибиться, прошу Тебя, убереги меня от разных греховных подозрений, от неправедных обвинений. Ты говоришь, Боже, возлюби ближнего, как самого себя, дай мне силу исполнить Твою святую волю, с любовью относиться ко всем, с кем живу. Особенно к мальчикам Ивану и Федору. И еще прошу Тебя: смягчи душу раба Твоего царя Ивана Васильевича, научи его, дай ему, как и мне, силу и волю исполнять Твою заповедь о любви к ближнему. Помоги ему, молю Тебя, Господи, прошу очень, благослови меня родить еще мужу моему, Тобою данному, мальчика или девочку, чтобы я была не только женой, но и матерью его детей.

Тихонько постучав, в комнату вошла постельница царицы Агриппина:

– Час завтрака приближается, государыня моя.

– Да-да, я сейчас.

Совсем Гошевнай не хотелось есть, не хотелось никого видеть, но что поделаешь – она обязана быть за обеденным столом, обязана прийти первой и, когда войдет царь, встать, почтительно поклониться ему.

Стоя у трюмо, Гошевнай стала расчесывать густые, до пояса, волосы.

– Великий государь, наверное, еще почивает? – спросила она у Агриппины.

– Нет, великая государыня, я видела, он прохаживался по двору,– ответила постельница, подавая царице ее утреннее платье и шапочку.

– После того, как мы похоронили нашего мальчика, государь стал плохо спать – ложится поздно и встает совсем рано... Пойдем, Агриппина.

Царица осмотрела уже накрытый к завтраку стол.

Отварной язык, нарезанный тонкими ломтиками, овсяная каша с молоком и медом, ядра грецких орехов, голландский сыр – все это любимая еда царя Ивана Васильевича.

Гошевнай давно хочется поговорить с мужем о наболевшем в ее душе, но все никак не получается. Здесь, у обеденного стола, неотступно стоит Скуратов. Из столовой царь уходит по делам, и она не видит его целыми днями. Вечером в спальне поговорить? Но... спальня вроде бы совсем не подходит для разговоров, да и царь в последнее время редко стал в ней бывать. «К тому же прямо не скажешь ему, почему ты все хмуришься и почти не улыбаешься мне ласково, почему холодком от тебя веет, может, я уже надоела тебе, мой повелитель? Какими тревогами занято твое царское сердце, какие дела и тревоги у тебя? Если ты скажешь, что это дело совсем не женское, тогда я вовсе не царица, а просто твоя постельница».

– Григорий Лукьянович, за завтраком, за обедом и ужином ты каждодневно стоишь за моей спиной. Тебе не надоело это, не скучно? – спросила царица.

– Никак нет, царица всея Руси. Да и как может скучно стоять рядом с такой божественной красавицей?

– А ты скажи Ивану Васильевичу, как приятно тебе стоять рядом с его красавицей женой.

– Что ты, что ты, матушка! Это мой долг, работа моя!

– Значит, и за мною, за царицей, присматриваешь, не доверяешь?

– Что ты, что ты, матушка!

– Тогда отойди, дай спокойно посидеть.

– Я отойду, но что на это скажет великий государь?

Вошел царь. Малюта Скуратов кинулся ему навстречу. Поклонился, коснувшись рукою пола. Царь махнул рукой, мол, убирайся вон.

Поднялась ему навстречу Гошевнай. Они уважительно поклонились друг другу, и царь начал предтрапезную молитву:

– Отче наш, Иже еси на небеси! Да святится имя Твое...

Молилась вслух и царица.

После молитвы постояли в благоговейном молчании, сели...

– Ты сегодня очень красивая, Кученей.

– Только сегодня? – не без кокетства улыбнулась она.

– Что ты! Всегда, каждый день!

– Правда? А мне показалось, ты начал забывать меня.

– Зачем говоришь такое? Или не знаешь, что у нас траурное время, память о нашем мальчике... А сегодня я очень хочу видеть тебя.

Гошевнай усмехнулась:

– Смотри, я вся перед тобою.

– Я хочу видеть тебя в спальне.

– Когда? – продолжала кокетничать Гошевнай.

– Сейчас.

– Что ты, средь бела дня?! Я жду тебя вечером.

Не смог прийти вечером царь, после обеда ему сообщили: скоропостижно скончался его брат Юрий. А потом, не исполнилось Юрию и сорока дней, как скончался близкий, верный царю митрополит Макарий...

За минувший год царя и царицу постигли три беды. Воистину, подумал Иван Васильевич, пришла беда – растворяй ворота. И ему, до болезненности впечатлительному, беды чудились в каждом закутке, за каждым поворотом. Чудились, грозились. Знал он, как много у него врагов из бояр, воевод. Это в Московии, а за нею в городах и весях?!

Подошел он как-то к окну, и за Тайницкой башней увидел мятежный Великий Новгород, непослушный Псков, из-за угла выглянул откровенно, издевательски смеющийся архиепископ Пимен...

В испуге отшатнулся царь, закрыв ладонями глаза:

«Уж не схожу ли я с ума? Или это Твое наказание, Боже, за мои грехи? Но, Господи, я создаю по Твоему благословению Великую православную Русь, а ничтож-

ные, влюбленные только в себя бояре и воеводы становятся поперек богоугодному делу, изменяют своей присяге на верность святой Руси, и получается, сами кладут свою голову на плаху... Иные грязно завидуют, что я царицей сделал не их дочерей, а черкашенку, девушку мусульманской веры, но ведь моя матушка тоже была татарской крови. А Кученей, моя голубка, верна мне и мила. Ее старший брат Михаил Темрюкович верен мне и Руси. Очень порядочный человек князь Сибок, но он не понял моего дальнего замысла о Турции и Крыме. Правда, сын его, как говорил воевода, отменно служит в нашем войске. Успокойся, царь, есть, есть преданные тебе и Руси люди. Есть верный тебе Курбский. Он один многих стоит».

Тихонько постучавшись, вошел Скуратов. Был он бледный, какой-то трясущийся:

– Что с тобой?

– Не смею сказать, великий государь...

– Говори! – угрожающе поднялся царь.

– Язык не поворачивается, великий государь всея Руси. Его, видно, бес попутал.

– Ты можешь сказать толком?! Кого бес попутал? Чего ты мямлишь!

– Курбский переметнулся к полякам.

Царь, не проронив ни слова, только страдальчески поморщился, неторопливо опустился в кресло, тяжело откинулся на спинку.

Закрыл глаза.

Ушел в себя.

Потом скривились в ядовитой усмешке его губы:

– Позорник! – вскрикнул царь и, не обращая внимания на стоящего у двери Скуратова, покачивая вдруг отяжелевшей головой, горестно заговорил.– Как же это? Ведь мы с тобой, Андрей Михайлович, Андрюшка, с ранней юности дружили. Сколько лет ты верой и правдой служил Руси и мне, а как ты прославил русское оружие в боях с врагами! Ты помнишь, как клятвенно говорил, что готов умереть за Русь, а теперь что скажешь? Ведь не меня ты предал, а ее, Русь-матушку.

Поднялся царь, подошел к Скуратову:

– Ты прав, бес в него вселился, сам сатана!.. И кто ж теперь у нас с тобою остался, Лукьяныч, на кого положиться можно?

– На Господа Бога, великий государь, на его милость будем уповать.

– А мы с тобой, Григорий Лукьянович, все и делали по Его благословению. Если и грешен я в чем, то только перед Ним... Недавно арестованные живы? – блеснул огонек в прищуренных глазах царя.

– Прошлой ночью еще троих взяли.

– Пошли. Есть там сын мерзкого предателя Пронина?

– Есть.

– Вот его ты мне и приведешь.

В прошлом году царь отправил в подарок королеве Англии двух медвежат, им самим добытых на охоте, а королева прислала ему в ответ двух львов. Вот к ним-то и направлялся он, туда же велел Скуратову привести сына боярина Пронина.

Зарычали, заходили по просторной клетке львы, когда в комнату вошел Иван Грозный. Сузились его глаза, вспыхнула в них искра гнева, искра мести. «Вот бы Курбского, Андрюшеньку дать им на завтрак».

Привели молодого Пронина. Не было ему еще и тридцати, но выглядел он, как говорили, обработанным подручными Скуратова, скрюченным стариком, с кровоподтеками на лице, а в заплывших глазах светились сила жизни и твердость. Глянул он на львов с насмешкой над их яростью, с такой же насмешкой посмотрел и на царя.

– Ты – сын боярина Пронина, врага Государства Руси? – брезгливо поморщившись, спросил царь.

– Это ты враг Руси, разоряешь ее войнами, убиваешь лучших людей, а боярин Пронин Аристарх Архипович – любящий и преданный сын святой Руси, служит которой верой и правдой.

Царь коротко засмеялся и сказал Скуратову:

– В клетку его, пусть красавцы разберутся с этим умником.

Вернувшись к себе, царь спросил:

– Приходил кто-нибудь из бояр, княжат, приказных? Никто ничего не спрашивал, новостями не интересовался?

– Нет, великий государь, никто не показывался.

Царь засмеялся:

– Знает кошка, чье мясо съела... Прижухли, подлые, в свои норы попрятались. Ничего, достану я вас и там.

Пришлите ко мне Висковатого. Только поживее поворачивайтесь!

Висковатый – человек, как говорили о нем, немалого ума и немалого веса при царском дворе, но не выказывал себя, был осмотрительным и осторожным, однако царь через своих верных людей знал, что Висковатый в душе своей заодно с Адашевым, Сильвестром и Курбским. Знал, но никак не мог уличить его и пустить под топор. Вот и нынче, как сказали царю, когда узнал он о побеге Курбского, с ним случился приступ, и его тяжелого увезли домой.

«Надо послать к нему лекаря моего, пусть он разберется: в самом ли деле был приступ или это очередная его хитрость? Наступлю я таки на твой хвост, обязательно наступлю. Придет час, когда никакой приступ тебе не поможет... И умный ты мужик, Иван Михайлович, и толковый работник – острый, расторопный, а, поди ты, схомутался с врагами моими».

Вошла встревоженная Мария Темрюковна, прямо у двери широко перекрестилась:

– Спаси, Господи, и помилуй святую Русь, власти и воинство ея, спаси великого государя Ивана Васильевича со чады и сродники его.

Царь благоговейно выслушал молитву, перекрестился, положив низкий поклон:

– Проходи и садись, царица. Я знал, многим не хочется, чтобы из удельных княжеств Русь стала единым могучим государством, знал, но что умница, мой многолетний друг Андрюша Курбский окажется моим заклятым врагом, способным на подлое предательство...

– Ты только сегодня узнал? Разве забыл, как я говорила, что он ненадежный человек?

Иван Грозный пожал плечами, с горькой усмешкой спросил:

– Но ты-то откуда могла знать, что он такой?

– Наверное, сердцем своим женским уловила. Слыхала, еще покойная Анастасия Романовна – царство ей небесное – напоминала тебе об этом. А помнишь, Михаил Темрюкович тоже говорил тебе – двуликий этот Курбский.

– Но надо же, голубка моя, хоть кому-нибудь верить! – с болью сказал царь.– А то ведь и так говорят, что я страшно жестокий.

– Ты не жестокий, а твердый, каким и должен быть правитель да еще такого, как сказал митрополит, богоносного государства, как Русь... Сколько же у тебя недругов, сколько разных сплетен бродит о твоих друзьях. Вот и обо мне болтают разное за то, что с тобой рядом, что, скорее, умру, чем отойду от тебя.

– Знаю я и это, все знаю, что происходит в моем немереном государстве.

– Тогда как же Курбский предал тебя, голубь мой?

– Как ты сказала? Голубь? Боже, оказывается, есть на этой грешной земле человек, который понимает меня лучше, чем я сам себя.– Царь подошел к своей Кученей, положил голову на ее плечо и затих.– Спасибо тебе, я не прощу им, подлым и самолюбивым.

– У черкесов есть пословица. Я не сумею точно перевести ее на русский, но, думаю, ты поймешь. Говорят: «Лиши жизни того, кто тронет твой глаз».

– Лиши жизни того, кто тронет твой глаз,– повторил царь.– Да, народная мудрость, а разве народ можно обвинить в жестокости? Ведь устами народа глаголит истина...

Всю осень 1564 года Иван Грозный встречался с боярами, бывал на заседаниях Думы, выступал со своим царским словом. Он говорил о необходимости победы в Ливонской войне, говорил обо всем, что необходимо державе, чтобы она была сильной, ни от кого не зависимой.

Он говорил и говорил, они его слушали и слушали, соглашались с ним, даже одобрительно улыбались, но царь видел их лукавство, и вот пришел день, когда он сказал себе: «Должно быть, Господу не угодно, чтобы я был правителем святой Руси».

В декабре третьего дня того же года обозом из розвальней, груженных разными драгоценностями и продовольствием, никому в Московии не сказав, царь Иван Васильевич с царицей Марией Темрюковной покинул белокаменную столицу.

Морозы стояли крепчайшие, и в пережидании этой лютости царь остановился в Коломне, пробыв там две недели, тронулся в Тайницкое, Троицкое и обосновался в Александровской слободе, что в ста верстах от Московии. И третьего января 1565 года объявил об отречении от престола из-за гнева на духовенство, бояр, детей боярских и приказных людей.

По всей Руси покатилась волна тревог. Проходили молебны в церквах, а то и прямо при большом стечении народа на улицах и площадях. Просили у Бога прощения за свои грехи, просили умилостивить царя и вернуть его в столицу на царский трон.

Испугались и бояре, как бы волна беспорядков не захлестнула всю страну, как бы и их всех не потопила.

В Александрову слободу прибыла депутация духовенства во главе с митрополитом, депутация от бояр и посадских людей. Они били поклоны царю, прося у него прощения за свои грехи перед ним, клялись ему в верности, предоставляли ему самые широкие самодержавные полномочия.

В это время и был подготовлен царский указ, в котором Иван Грозный объявлял о создании Опричнины – особого двора, с особой территорией, с войском при полном и неукоснительном подчинении царю. Целью Опричнины провозглашалось искоренение крамолы. В Опричнину вошли: в центральной части страны – Можайск, Вязьма, Суздаль, на юго-западе – Козельск, Перемышль, Белев, Медынь, на севере – Двина, Великий Устюг, Каргополь, Вологда. А также – Кострома, Старица, часть Новгорода и другие.

Настал день, и царь Иван Васильевич и царица Мария Темрюковна торжественно вернулись в Московию, в сердце ее – Кремль.

VIII

Еще стояло весеннее время, а иные дни уже случались по-летнему жаркими, но князю Тахо все равно зябко, и он ходил у себя на пасеке в овчинной безрукавке, наглухо застегнутой на большие деревянные пуговицы.

Тахо уже совсем исхудал, кажется, в нем только и было что кожа да кости. Кажется, такой высохший человек и жить вовсе не может, но его по-кошачьи маленькие глаза были живыми, а взгляд – острым, задиристым. Кажется, в одних только глазах и держалась упрямая, неодолимая жизнь. Сморщенное лицо князя стало землисто-желтым. Дышал он прерывисто, поверхностно.

«Ах, какое это наслаждение – дышать всей грудью, глубоко, а не только ее верхушками».

Курить табак при его болезни было очень вредно, но Тахо как-то ухитрялся с помощью цигарки сдерживать кашель.

Жил еще Тахо, жил настолько, что еще мог дать подножку своему недругу. Так он считал, был в этом уверен. Даже считал себя счастливым, если сравнивать с Цахо. Тот могуч телом, дышит всей грудью, не знает никаких болей тела, но его посадили в сапетку, потому что потерял рассудок. А раз нет рассудка, считал Тахо, значит, и нет человека. Цахо метался по сапетке и кричал:

– Как вы смеете, мерзавцы, ведь я – главный зиусхан Жанеи!

А то вдруг начинал лаять и рычать по-собачьи... «Мне трудно дышать, но, как знать, может быть, именно поэтому у меня острее ум, я дальше и лучше вижу, чем Сибок,– считал Тахо.– Да, именно так – дальше, яснее, а то, что он главный князь Жанеи, а не я, это беда, глупость наших адыгов. И не только адыгов: что хорошего нашел в Сибоке царь, почему с ним считаются и турецкий султан, и крымский хан? Почему? Да просто от человеческой глупости,– размышлял князь, полулежа на топчане в тени под деревом.– Людская тупость! Вы посмотрите на моих пчелок, люди! Вот у кого вам надо учиться великому смыслу жизни... А что такое Калакут?! Мать родная, такого громилу, которому лишь навоз выгребать из хлева, возвысили до предводителя тфокотлей всей адыгской земли. Они почти такие же безумцы, как несчастный Цахо... Сейчас в самый раз убрать бы Сибока и Калакута, но этот мерзавец Мамий, на которого я так надеялся, хочет помириться с Калакутом, даже ищет моей помощи в этом, дерьмо собачье. Не будет этого! Не допущу!»

– Чемаль, а, Чемаль! – позвал князь пасечника.– Ты знаешь, какая великолепная мысль пришла мне в голову? Одна старая знахарка говорила, что листья крапивы – очень сильное лекарство. Свари-ка мне супчик из молоденьких листочков крапивы!

– Хорошая мысль, зиусхан, сейчас и займусь, благо, такого добра у нас полно. А не хочешь ли ты пожевать свежие листочки? Это и в самом деле очень сильное лекарство.

20 Заказ 06

– Нет-нет! – воскликнул князь.– Ты с ума сошел – жевать свежую крапиву, что с моим языком после этого будет!

– Как скажешь, зиусхан. У меня там уже водичка закипает, сейчас и сварю супчик из свеженькой крапивки...

Сварил Чемаль, принес в глиняной миске:

– Готово, зиусхан. Поостудил его малость, тепленький он, но уж очень горький, может, добавим медку?

– Нет! – возразил Тахо.– Говорят, чем горше лекарство, тем оно сильнее. Давай... У-у, Чемаль, у-у, какой горький, какой сильный твой супчик... Спасибо той старушке, спасибо тебе... Теперь пойду к речке, немного проветрюсь на бережке после такого сильного лекарства... Но что так долго нет Начака? Привязали его там, что ли?

– Легок он на помине, зиусхан, слышишь, скачет кто-то. Должно быть, Начак... Он и есть.

Спрыгнул с седла Начак прямо перед князем. Тот даже отшатнулся.

– Ну! То тебя не дождешься, то сваливаешься чуть не на голову. Какие дела у нас, все ли ты сделал, как я велел?

– Сделал, лучше и не сделаешь, зиусхан. Разыскивать только долго его пришлось, ты же сам знаешь, что он за птица. Все будет, как ты повелел: в твоем месте, в твое время встретимся с ним.

– Почему он так долго не приезжал ко мне? – спросил Тахо, не называя, как и условились, имени того, о ком шла речь.

– Лучше тебе самому у него спросить.

– Ладно. Быстренько перекуси – и отправимся. Покорми его, Чемаль. Мы скоро вернемся, приготовь мне свеженькой крапивки. Очень она помогла.

Старый дубовый лес дремотно шумел в послеобеденный час – это опустился на него усталый ветер.

Спрятавшись в кустах, ворковала горлинка, сонно вскрикнул ворон, и только неугомонно куковала кукушка.

– Здесь? – спросил Тахо.

– Да.

– А почему его нет?

– Когда приедет, тогда и спросим у него.

Из-за орешника показался, озираясь, Мамий.

– Смотри, Начак, чтобы все было, как надо, без шума.

– Не беспокойся, князь, не впервой.

Тахо встретил Мамия с укором:

– Да умножит Аллах твои дни и годы, но нехорошо заставлять зиусхана ждать. Раньше ты не был таким необязательным. Не будем спешиваться, прямо сейчас и отправимся ко мне на пасеку и там...

Не успел договорить князь, как Начак мгновенно, одним ударом, саблей срубил голову Мамию.

Рухнуло на траву его тело, конь встал на дыбы и отскочил в сторону.

– Ну что ты, оболтус, наделал, не мог подождать, пока он отпустит мою руку? – брезгливо поморщился Тахо.– Его грязной кровью забрызгал меня.

– Это он по-ногайски протянул руку. Адыги, сидя на конях, не пожимают руки, вот я и...

– Ладно. Покажи мне ее,– брезгливо поморщился князь.

Спрыгнул Начак, поднял голову за волосы.

– Ну что, главный воин крымского хана, как твои дела? – тоненько хихикнул Тахо.– А еще говорят, будто Давлет-Гирей хочет тебя поставить над всеми адыгами. Как же ты в таком виде будешь править? Надо бы и другого управителя, пустоголового Сибока успокоить. Ничего, дойдет и до него очередь... Положи башку в мешок.

– Зачем?

– Отвезешь ее Калакуту.

– Нет! – вскрикнул Начак.– Я не могу этого сделать.

– Если смог срубить ее, то сможешь и отвезти. Да гляди у меня, доиграешься... Когда вернешься, я дам тебе кисет с золотишком. Добрый кисет дам. Скажешь Калакуту, что я отомстил за его кровь и за кровь всех адыгов, пролитую этим мерзавцем.

– А что делать с телом и конем?

– Это не твоя забота. Постарайся быстрее вернуться, я буду здесь тебя ждать.

Спешился Тахо.

Конь Мамия стоял, опустив голову, затем послушно пошел за Тахо. Князь привязал его к лесине, сел рядом на пень.

Вскоре начало смеркаться, потом потемнело. Кто-то невидимой рукой высыпал на небо празднично яркие, веселые звезды. Полная яркого золота луна осторожно

выглянула из-за горы и – все выше, выше, стала царицей ночного неба.

Затих лес, только филин то угрожающе ухал, то жалостно стонал.

«Не к добру это, ох, не к добру. Не нравится мне что-то Начак. Нехорошие у него глаза – все бегают, бегают, будто в прятки играют с кем-то. Ничего, придет и его время. Поправлюсь немного и покажу еще себя».

Послышался стук копыт. Тахо поднялся с пня и осторожно присел за кустом.

– Начак, это ты?

– Да, зиусхан.

Тахо поднялся в седло:

– Ну, что?! Встретился?

– Да.

– Что да. Говори дело, не тяни, словно дохлого кота за хвост... Да говори же ты, дубина!

– Не знаю, зиусхан, как и сказать.– Начак бросил мешок.– Не обижайся на меня, но если ты спрашиваешь, я повторю сказанное Калакутом, повторю все его слова.

– Что там еще?! – взвизгнул Тахо.

– Передай своему зиусхану,– сказал Калакут,– что он, прислав отрубленную голову, оскорбил меня, я постараюсь ему ответить тем же, пусть лучше он не попадается мне, если не хочет лишиться своей головы.

У Тахо глаза стали круглыми, задрожали тонкие губы:

– Он так и сказал?

– Да,– испугался Начак.

– Этот глупый человек, как мешок с дерьмом, мог такое сказать! Я хочу сегодня, сейчас хочу рассчитаться с ним! – Тахо схватился за кинжал... закашлялся... кровь хлынула у него горлом.

Он пластом упал на землю и навсегда захлебнулся в своем кровохаркании.

Нет ничего более живописного, чем жилища черкесов, разбросанные среди деревьев. Главный дом состоит из нескольких комнат. Украшением стен жилища является оружие всех видов. Могущество князя определяется также количеством его домов, где каждый его гость имеет отдельный дом.

Черкесия вызывает у нас в памяти представление о цивилизации времен первых королей Германии и Франции. Это образец феодальной, рыцарской, средневековой аристократии или греческой античной аристократии.

Ф. Дюбуа де Монпере

Моя комната имеет в длину около тридцати футов и в ширину – двенадцать. Стены над диваном покрыты циновками прекрасной работы. Моя постель, приготовленная на этом диване, безукоризненна. У меня был мягкий матрац, обшитый по краям бархатом, шелковое стеганое одеяло, пуховая подушка и, что лучше всего, чистые белые простыни.

Я был приятно изумлен, когда сегодня утром достали красивый сервиз, и меня пригласили выпить чашку прекрасного чая, которым наш щедрый хозяин потчевал всех нас.

Дж. Белл

Черкесия экспортирует через Тамань и Каффу до десяти миллионов фунтов шерсти, ста тысяч штук сукна, пяти-шести тысяч штук одежды, шестидесяти тысяч суконных шальвар, двухсот тысяч бурок, пяти-шести тысяч бычьих шкур, пятисот-шестисот тысяч фунтов меда, семи-восьми тысяч «ока» воска, пятидесяти тысяч куньих, ста тысяч лисьих, трех тысяч медвежьих, пятисот тысяч овечьих шкур. Объем такой торговли должен был достигать восьми миллионов рублей.

К. Пейсонель

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Отправляя сына своего Мамстрюка в Московию, отец поручил ему свои мужские дела, дал нужные советы, предостерег от возможных неожиданностей в чужой стороне, а мать, как и полагается, дала свои материнские поручения, просьбы и, понятное дело, материнское благословение.

Мамстрюк выслушал их по-сыновьи внимательно, пообещал все исполнить и в долгом пути, и в Московии быть осторожным, осмотрительным, пообещал вести себя так, чтобы не опозориться.

– Помни,– сказала мать,– на чужака люди смотрят строже, чем на своих, так что ты постарайся, покажи лучшее, что есть у адыгов.

– Уважай ту страну, в которую едешь гостем, но не унижайся,– сказал отец.

Выехал Мамстрюк из дома, думал-подумал и решил заехать в Касимовское ханство, к старшей сестре Алтынчач. Конечно, размышлял он, с нею будет веселее ехать по чужой земле, к тому же она живет поближе к Московии, знает лучше тамошние порядки. Столица ханства Касимовского расположена на реке Оке, любопытно побывать в старинном городе, поглядеть на его жителей.

Из Касимова они ехали с сестрой в мягкой, красиво отделанной ханской карете, за которой следовала полусотня черкесских всадников.

– Я сначала подумала, было бы лучше заехать к нам на обратном пути, погостить у нас подольше,– сказала Алтынчач,– а потом даже обрадовалась. Уже два года не была в Москве, бедную Гошевнай только и видела после похорон ее мальчика.

– Каких похорон? – очень удивился Мамстрюк.

– Ее и царя сынишка, младенцем умер.

– А почему у нас об этом никто не знал? Гошевнай, конечно, была в большом расстройстве, а царь-то через своих слуг мог нам сообщить. И ты, и брат твой Султан, или вы уже не адыги?

– Что ты говоришь, зачем нас обижаешь, это у адыгов – хоть князь ты, хоть тфокотль – заходи, спрашивай, проси, а у них... К царю далеко не каждого пустят. Как это без него в его дом позову кого-нибудь, хоть и родственников?

– Все равно не понимаю. Ведь Гошевнай не какая-то придворная, а, как они говорят, царица всея Руси.

– Правильно, она царица Руси, у которой свои порядки. А разве у нас не так? Я – черкешенка, но стала женой хана, соблюдаю все их порядки. Так же и наша Гошевнай. Смотри, Мамстрюк, будь осторожен, уважай обычаи того народа, к которому едешь, с каким породнился. Недаром пословица говорит: в гости не ходи со своею ложкой и соль с перцем в кармане не приноси.

– Ты как думаешь, дорогая сестра, стала она настоящей царицей Марией или осталась Гошевнай?

– Стала, стала! Я там со многими боярскими женами встречалась – очень ее уважают, а иные даже побаиваются. Говорят, когда она приходит в церковь, многие появляются, чтобы помолиться с нею, да и полюбоваться, как они говорят, красавицей царицей. Ведь она уже пять лет там прожила, а это не пять дней. Уже хорошо говорит по-русски, поет с ними песни. Еще слыхала, когда они собираются по-свойски, по-женски, ее просят попеть наши песни. И она поет.

– Это хорошо. Отец наш просил передать ей, мол, ее любовь – это наша любовь, ее позор – наш позор.

Алтынчач улыбнулась:

– Это отец, мужчина. Он не носил в себе девять месяцев своего будущего наследника или наследницу, не знает и никогда не узнает, что такое рожать. А кормить грудью, собой кормить, не спать ночи над колыбелькой, научить есть ложкой, ходить сначала на четвереньках, а потом на двух ногах? Поэтому наша мать сказала: «Передай великой царице великой страны, пусть не унижается ни перед кем, хоть перед царем всей земли, пусть знает, что отцовский дом на веки вечные – ее дом...»

Улыбнулся и Мамстрюк:

– А крепко держаться в седле, владеть кинжалом и саблей, уметь с честью пролить кровь за свой дом – это

дает отец. Не только дает, а вместе с ним несет эту ношу на своих плечах.– Мамстрюк, помолчав, спросил.– А ты передала царице слова матери?

– Конечно. И знаешь, что она ответила? — Брат и сестра, сын главного князя Кабарды и жена Касимовского хана, помолчали, с лукавой улыбкой поглядывая друг на друга.

– Гошевнай, царица Мария, сказала: я – дочь отца и матери, сестра четырех братьев и двух сестер, я одинаково люблю их и буду верной им всем.

– Ах, как хорошо! Дай я тебя обниму, дорогая моя сестра. Тебя и Гошевнай вместе с тобою обниму. Как облегчила ты выполнить мне материнскую задачу в Московии, но есть еще и отцовская. Буду молить Аллаха, а хоть и чиристанского Бога о помощи.

– Какую же задачу возложил на твои плечи отец, что ты ее боишься?

– Она не так страшная, как трудная. Может, ты и здесь поможешь... Мы хотим, чтобы наш могучий зять дал нам несколько сотен его славных воинов. Конечно, я надеюсь на помощь Султана, Саид-Булата, но было бы неплохо, если бы и вы вместе с царицей проявили женскую хитрость или мудрость. Скажите царю,– сощурился в усмешке Мамстрюк,– если он не даст нам своих воинов, я увезу на Кавказ его красавицу Кученей!

Алтынчач громко рассмеялась:

– Может быть, ты повелишь нам с Кученей и командовать этими сотнями? Что касается меня, то я с удовольствием села бы на коня, обнажила саблю и повела вас за собой!

– Молодец, ох, какая ты молодец, моя сестра!.. Слушай, как вы ездите в этих каретах, они ведь убаюкивают, словно в детской люльке.

Мамстрюк выпрыгнул из кареты, взлетел на своего скакуна и пустил его в галоп.

Раскрасневшийся и возбужденный, он вернулся после пробежки, прыгнул в карету и, откинувшись на спинку сиденья, прикрыл глаза, преисполненный чувств от полученного удовольствия.

Подождав, пока у брата уляжется восторг, Алтынчач спросила:

– Как там поживает Сибок? У нас в Московии столько разного говорят о нем, что толком ничего не поймешь.

– А ты думаешь, мы понимаем, что он делает и чего хочет? Рыщет по всей земле адыгской и у нас бывал. Мне кажется, он сейчас в растерянности. Ведь не глупый, порядочный человек, а вон к чему привел свою Жанею и соседей своих. Я не обвиняю его, что порвал добрые отношения с нашим зятем. Я, пожалуй, поступил бы так же, но зачем он, как говорят, стал обниматься со злейшим врагом адыгов, с мерзким Давлет-Гиреем?

– А у нас слышно, что и от него отошел.

– Да, говорят. Ушел, не ушел – это не так просто. С тфокотлем Калакутом сдружился, которого вы с отцом когда-то поддерживали, его стремление создать единое государство.

– Поддерживали, жаль, что лишь немногие зиусханы согласились с ним... Мы многое знаем о ваших делах.

– Откуда? Ведь вы живете, можно сказать, на другом конце света, за тридевять земель.

– Это кажется, будто далеко. Ведь царь – наш зять, царица – сестра наша, у самого царского престола стоят Султан, Дударук, Саид-Булат и Кудадек, как же не знать нам о том, что происходит вокруг.

– Дударук и Кудадек еще не обзавелись семьями?

– Дударук женился, а Кудадек все ходит по Московии завидным женихом,– засмеялась Алтынчач.

– Завидным женихом, говоришь? Конечно, завидный, у царского престола стоит, но... нехорошие слухи у нас ходят о нем.

– Доползли-таки! – усмехнулась Алтынчач.– Без этого мы не можем жить. И что же судачат?

– Говорят, что он безумно влюбился в Гошевнай, в Московию за ней поехал, ослушавшись отца.

– Вот это да, братец мой дорогой!

– А чего ты так? Ведь за тобой в Астрахань никто не поехал.

– Глупость это, дорогой брат. У нас же говорят, что Кудадек оказался мудрее, дальновиднее своего отца, к тому же мужественным человеком.

– Может быть, все может быть, но все-таки ты это имей в виду. Женским глазом своим присмотрись.

– Да перестань ты, Мамстрюк!

– Хорошо, не буду... Ты о Калакуте заговорила. О нем тоже разное ходит по нашей беспокойной земле.

– Султан сказал, хорошо бы Калакута с его тфокотлями, этой немалой силой, противопоставить Турции и Крыму, что очень понравилось бы нашему зятю-царю, выгодно было бы ему.

Мамстрюк поморщился:

– Царю выгодно... Он что, из выгоды и породнился с нами?

– Ох, братец, какой ты человек – или не понимаешь самого простого, или лукавишь. Разве наш отец, главный зиусхан Кабарды, делал когда-либо что-то без выгоды для себя, для своего княжества? Зачем ему надо было отдавать на чужбину своих дочерей? Просто так, от нечего делать? Я знаю, как было ему нелегко, он ведь понимал, как трудно придется нам на чужбине, и хотя болело его отцовское сердце, все же сделал это, чтобы спасти от разорения княжество, уберечь от смерти тысячи людей.

– Во-ви-и, ты и в самом деле, Алтынчач, мудрая, хоть выбирай тебя главным зиусханом. И откуда у тебя такая мудрость?!

– А вот попал бы ты в мое положение, многое бы научился понимать, иначе сгорел бы, в пепел превратился. А теперь, дорогой Мамстрюк, мой муж, мой брат, мой сын со своими друзьями стоят у царского трона великой страны. Знаю, их там уважают, считаются с их мнением, и это моя радость, радость моего отца. Вот тебе и вся выгода.

Поджал губы, нахмурился Мамстрюк:

– Все равно, мне обидно, что сестру мою, красавицу ангельской души, отдали царю из выгоды. Будто продали.

Алтынчач спросила ухмыльнувшись:

– Ты зачем сейчас едешь в Московию?

– Я же тебе сказал. На нас точат зубы Кайтукины, а еще Калакут. Ты думаешь, если он дорвется до власти, пощадит нас?

– Значит, надеешься на царя, которому вы по дешевке продали Гошевнай?

– Подсекла ты меня,– опустил голову Мамстрюк.– Царь, царица, урусы, адыги... Что делать, коли так устроен наш мир. Тфокотли смеются: бывает, попадаешь в такую круговерть, что с горя и на черкешенке женишься.

– Вот видишь, а ты говоришь – подсекла. Не сердись, младший брат, каждая такая подсечка делает человека мудрее.

Мамстрюк засмеялся:

– Я как-то боролся с кривоногим ногаем. Невзрачный такой, можно сказать, худосочный, но чуть не положил меня, применив хитрую подсечку. Сколько раз я потом побеждал знаменитых борцов, пользуясь той подсечкой.

– Ты все еще не бросил бороться?

– И не брошу, пока не встречу сильнее и искуснее меня. До сей поры такую силу в себе чувствую, что иногда кажется – землю могу вверх тормашками перевернуть.

– Наш зять любит борцов, устраивает зрелища с самыми сильными из них.

– Тогда мы подружимся с ним!

– Не вздумай бороться! В Московии есть такие великаны, что и смотреть на них страшно.

– Очень хорошо! Значит, есть в Московии на кого посмотреть и кому себя показать. Или я не адыг!

На семнадцатый день знойного июля 1565 года Мамстрюк со своей старшей сестрой Алтынчач в сопровождении отряда всадников прибыл в Московию, но царя и царицы в Кремле не было – они находились в Александровой слободе, куда путники и отправились ранним утром следующего дня.

Нежданной и негаданной, а потому особенно радостной была встреча сестер и брата.

Увидела Гошевнай вышедших из кареты гостей и бегом бросилась к ним в объятия, забыв, что она царица.

Покорен был этой искренней, редко встречавшейся в его жизни радостью и царь. Он сам подошел к гостям, первым протягивал им руку для пожатия. Не скрывал своего восхищения, глядя на богатыря Мамстрюка. Без всяких положенных церемоний сам повел гостей в дом.

С наступлением сумерек хозяева и гости сидели при ярких свечах за длинным столом. Слева от царя – Гошевнай и Алтынчач, справа – Мамстрюк и Султан. Скуратов с Басмановым и Грязным – напротив. За спинами тех и других стояли слуги в белых куртках и белых перчатках.

Стол, как говорят, ломился от снеди. На блюдах лежали целые осетры и угри, горками возвышалась черная и

красная икра, зажаренные гуси и, конечно, разрисованные кувшины с горячительными напитками и русским квасом.

Пили, ели, произносили красивые тосты.

– Нравится мне, как наш зять за столом сидит,– шепнул Султану Мамстрюк.

– Да! Он большой любитель и поесть, и выпить. Широко, с достатком любит угостить. По-русски это называется хлебосольный.

– Не пойму я никак нашего родственника,– пожал плечами Иван Грозный,– ест он на радость хозяевам отменно, а с выпивкой... поднимет кубок, поднесет к губам, а не пьет. Может, что-то другое ему подать? Пусть скажет, тут же исполним его желание.

Султан перевел сказанное царем брату.

– Иван Васильевич, все ему очень нравится,– пояснила царица,– но он мусульманин, а по этой вере нельзя пить спиртное.

– Понял я, понял, матушка, однако он мусульманин, но черкас, а черкасы попивают хмельную бузу, как мне сказывали, медовухой балуются... Тебе бы надо, Михаил Темрюкович, позаботиться об этом. Раз не догадался припасти, значит, мы тебя накажем: все, что не выпил князь Мамстрюк, ты за него выпей, выручи брата,– то ли шутя, то ли всерьез сказал царь.– Налейте-ка воеводе Михаилу Темрюковичу кубок, который побольше.

Встал во весь свой огромный рост Мамстрюк, улыбнувшись царю, замер в ожидании.

– Скажи, младший брат, государю, что Аллах в таких вот особых случаях разрешает выпить, брата выручить разрешает. Дайте мне этот кубок. Хочу выпить за нашего зятя, за государя великой Руси. За государя пью, за его державу пью!

Довольный сказанным, встал Иван Васильевич.

Все встали.

– По нашим обычаям, если все встали, значит, надо уходить. Кто-то хоть один, но должен сидеть,– сказал Мамстрюк.

– Думаю, государю и надо сесть,– сказал Басманов.

– По нашим обычаям,– наклонилась к царю Гошевнай,– зять не может сидеть, если свекор стоит.

– По нашему обычаю,– поднял руку, прося внимания Мамстрюк,– если я буду держаться за край стола, можно

всем стоять. Я пью за великую державу Русь, за ее государя! Да помоги нам всем, Всевышний.

Выпили.

– Теперь я хочу поднять тост. Налейте всем,– повелел царь.– Выпьем на радость всем нам и на страх всем нашим врагам!

Мамстрюк сразу понравился царю, что с ним, недоверчивым и осторожным, бывало крайне редко. Понравился добротой и открытостью крупного, сильного человека, а Мамстрюку оставалось только ответить царю-зятю тем же, а это уже легче.

Алтынчач улучила минуту и поговорила с братом.

– Мне не очень нравится, что ты открылся душой царю. Берегись этой открытости, не забывай, что в каждом человеке живут два человека – один для себя, другой для других, а у царя, у хозяина такого большого дома, живут три или пять человек, вот ты и научись различать их.

– Не бойся, сестра, я ведь адыг!

– Не забывай, адыг, о деле, с которым ты приехал сюда.

– Я еще никак не говорил с царем об этом, но он, по-моему, все понимает, и, думаю, ему самому этого хочется. Не зря так хорошо он к нам относится. Чтобы угодить нам, даже послал в Московию за Кудадеком и Дударуком. Так и сказал Скуратову: сделаем гостям приятное, пусть повидаются с земляками. Пусть хорошо отдохнут, повеселятся.

– Ой, смотри, брат, в оба смотри, и да хранит тебя Аллах. Поклонись, когда вернешься домой, отцу и матери, а также земле нашей родной. Тереку, Ошхамахо, белым облакам...

Приехали Кудадек с Дударуком, в честь которых царь устроил новое пышное застолье. Когда их завели в просторную комнату с накрытыми столами, Мамстрюк украдкой взглянул на Кудадека и Гошевнай. Алтынчач тоже тайком бросила взгляд на младшую сестру. Но держались они с приличием, не вызывая никаких подозрений. Гошевнай с безразличием посмотрела на Кудадека и повернулась к мужу, давая понять, что, кроме него, никто ее здесь не интересует. У Кудадека, конечно, екнуло сердце, когда увидел ту, которая когда-то очень нравилась ему и на которой хотел жениться, а теперь стала царицей, но, как и его отец, он умел взять себя в руки, не показывая чувств.

Мамстрюк и Алтынчач облегченно вздохнули, их подозрения угасли.

За роскошным столом продолжалось пиршество. Царь до того расходился, что, подвыпив, играл на гуслях и пел то залихватские, то грустные песни. Если хотел, он умел нравиться, умел быть добрым, верным слову своему.

Скуратов хмурился: «И что государь нашел в этих черкасах, так угождает им, как никому еще. Может, думу какую задумал, может, глядит далеко вперед? А что? О Кавказе так рассказывают, будто это сказочная страна».

Иван Грозный повозил Мамстрюка по Александровой слободе, сводил в знаменитый невиданной красоты и грандиозности по тому времени Троицкий собор в Московии, а потом повел в оружейную палату.

Подержал Мамстрюк тяжелые ядра, как бы взвешивая, чуя их силу, ласково погладил рукою ствол пушки:

– Вот бы нам таких игрушек! Мы бы так проучили Пшиапшоко, что он потом за сто верст нашу землю обходил!

Очень доволен был этой похвалой царь. Потом гостя поводил по Кремлю, поднялся с ним на колокольню Ивана Великого, чтобы, как он сказал, поглядеть на Москву-матушку с высоты. На боевых башнях Кремля побывали, в соборах. Ездил с ним на охоту, потом повел в подвал, где в клетке содержались медведи.

– Не хотел бы ты, гость дорогой, померяться силой с лесным хозяином? – подмигнул Иван Васильевич.

Мамстрюк и без перевода Султана понял царя, решительно шагнул к клетке:

– Вот с этим, что покрупнее!

Понял и царь Мамстрюка без перевода – восхитился, был очень доволен, однако предостерегающе шагнул ему поперек:

– Что ты, парень! Он же порвет тебя!

– Не беспокойся, царь-государь, не успеет!

– Ай да парень! Таких бы мне в опричное войско! – совсем дружески похлопал царь Мамстрюка.– Ты лучше поборись с моими богатырями.

– А чего же не побороться? На них посмотреть и себя показать! Это у нас, адыгов, очень уважают.

Народу на площади собралось множество. Царь со своими приближенными, с Кудадеком и Дударуком стоял на сооруженном возвышении.

Вышел в круг рыжий здоровяк, покрупнее Мамстрюка, но тот одолел его, казалось, без особого усилия, используя свою хитрую подсечку.

Второй борец был ростом пониже, плечами поскромнее, но очень ловкий и верткий. Правда, и его уложил на лопатки Мамстрюк.

Царь шепнул Мамстрюку:

– Следующий тебя поборет.

– Если сумеет.

– Я понял: сильнее и ухватистее тебя среди моих борцов нет, но пусть он тебя положит на лопатки, а то ведь очень нехорошо получается. Уступи,– почти попросил государь.

Обидно было Мамстрюку, но он решил уважить – ведь не кто-нибудь, а сам царь просит...

Почти три месяца пробыл Мамстрюк в Руси. Кроме Московии и Александровой слободы, побывал на любимой царем Вологодщине, во Пскове, Новгороде, даже в Ливонии, где шли бои.

Прощаясь с царем Иваном Васильевичем, Мамстрюк сказал:

– Великий государь великой Руси, показывая мне свою державу, считай, что ты показал ее адыгам, людям, уважающим тебя и твой народ. Думаю, твои доблестные воины, которых ты дружески посылаешь к нам, будут крепить нашу с тобой дружбу, дружбу Кавказа и Руси, увеличат твою и нашу силу в том благодатном краю на страх врагам.

В сентябре 1565 года отряд русских воинов под командованием дьяка Матвея Ржевского на стругах поплыл по Волге в Астрахань, а другой отряд во главе с воеводой Иваном Дашковым пешим порядком тоже отправился в Астрахань. Там в начале следующего года они встретились и отправились в Кабарду на радость Темрюку с его сторонниками и на страх их врагам.

Утром праздничным звоном возвестил колокол Ивана Великого об окончании воскресного богослужения в церквах Кремля.

Царица Мария Темрюковна с двумя приближенными боярынями направилась из Успенского собора в свои палаты.

Навстречу ей вышел Кудадек.

Вздрогнули плечи царицы под кашемировой шалью. Долу она опустила очи. Ближе они друг к дружке, ближе...

Кудадек, как полагается, сделал шаг в сторону, опустив руки по швам, поклонился царице.

Она ответила ему неторопливым царским поклоном:

– Здравствуй, воевода Александр,– взволнованно, совсем негромко поздоровалась она.

– Здравствуй, царица Мария.

Она оглянулась. Боярыни, пройдя немного, остановились разговаривая.

– Я думала, ты скажешь «Здравствуй, Гошевнай».– Она опустила ниже голову, чтобы не увидел он, как загорелось ее лицо радостью, смущением и еще чем-то женским.

– Не пристало, государыня, простому воеводе называть царицу ее девичьим именем.

– Да-да. Бессмысленно и грешно возвращать то, что по воле Господа ушло уже в вечность. Как ты жив-здоров, воевода, как поживают твои родители, все родственники?

– Все хорошо, государыня, Господь милостив к нам.

– Передай им от меня поклон, земле адыгской поклонись.

– Спасибо. Да хранит Господь тебя и великого государя Ивана Васильевича.

Сдержанно поклонились они друг другу и разошлись...

Есть в горах Черкесии, а если точнее – в Жанее место, которое называют «Пронеси, Господи».

Вьется лесом веселая просторная тропа, и вдруг – крутой поворот! Такой крутой и тесный, что если всадник не знает, не остережется, может свалиться в пропасть, в далекой глубине которой будто не речка бурлила и пенилась, швыряя брызги, а был вход в преисподнюю, в кипящую бесконечность, за которой – другая, небесная, бесконечность.

Лет десять ему было, когда он впервые с дядей Ацамуком приехал сюда.

Вывернулся из-за поворота, увидел, даже не столько увидел, как ощутил сердцем земное чудо и закричал мальчишески звонко:

– Уй, как здорово!

С другого берега ему кто-то ответил таким же восторгом:

– Уй, как здорово!

– Здорово, здорово...– затихающе ответил кто-то издалека, вроде бы как из-под самого неба.

– Как здорово, Ацамук,– припав к гриве коня, почему-то робко повторил Кудадек.

– Эхо это,– улыбнулся Ацамук.– Или не слышал никогда?

– Такого? Чтоб так здорово? Не слышал.

Потом...

Ему было уже лет двадцать, когда с ним, с его сердцем случилось такое... Гостил он тогда в Кабарде, и вот молодой княжич Кудадек увидел девчонку. Гошевнай увидел.

– Уй, какая она! – будто воскликнуло само сердце.

– Уй, какая! – словно эхом восторженно отозвалось во всей его груди...

Потом он много раз бывал у той скалы, у обрыва, у бесконечности неба, очень нравилось ему посидеть там, помолчать, послушать свое сердце, но такой восторг, такое удивление, как первый раз, испытал лишь однажды, в ту самую первую встречу...

И с Гошевнай так же: всякий раз засматривался на нее, любовался ею, и все же она не так поражала его, как в первый раз.

Вот и теперь, в Кремле, когда празднично гудели в небе колокола, она была удивительно красивой.

Удивительно красивой, но теперь царицей, а не прежней Гошевнай.

II

Князь Пшиапшоко со своим младшим братом Жансохом и сыном Казием едва занял положенное ему место в гостиной князя Сибока, чтобы не тянуть попусту время, сразу же заговорил о деле, обратясь к хозяину:

– Так уж определила судьба, зиусхан: идем мы с тобою в одной упряжке, но по моей спине все гуляет и гуляет гяуро-адыгская плеть.

– А не кажется ли тебе, зиусхан,– усмехнулся Сибок,– что моей спине тоже кое-что достается?

– Конечно, раз в одной упряжке идем, достается и тебе. Я, как и ты, со своими адыгами пока еще управляюсь, а вот Темрюк, став тестем царя Ивана, вознесся над нами

чуть ли не до небес. Только попробуй на своей земле в чем-нибудь не согласиться с ним, тут же напустит на тебя конницу гяуров, прольет адыгскую кровь.

– Конечно, разве устоять нам против Руси! По твоей спине, говоришь, гуляет гяурская плеть, а над моей свистит мусульманская, да еще крымско-турецкая... Если ты уж начал этот разговор, то скажу тебе правду: примирился я со всем, что случилось, потому что сам это заслужил. Ничего больше не стану делать, ни о чем не буду думать, хочу пожить в тишине и покое.

– Зиусхан! – воскликнул Пшиапшоко.– Если ты и все мы с тобою будем так говорить, беспомощно сложим свои руки, то что произойдет с нами, с нашей многострадальной землей?! Бог с ними, с урусами, турками, татарами, но что скажут нам наши дети и внуки? Как говорил мой отец,– с этими словами приподнялся Пшиапшоко, вслед за ним все приподнялись, склонив голову, помолчали.– Он говорил: если в твоем очаге погас огонь, хочешь не хочешь, а пойдешь к соседу за его добротой, за огнем для своего очага.

– Мудрым человеком был твой отец, незабвенный зиусхан Кайтук,– улыбнулся Сибок,– частенько я его вспоминаю, потому что сам ходил за добротой к ближнему соседу и к дальнему. Ну и что? А ничего доброго. Только и осталось мне – успокоить свое сердце и удалиться в сторону.

Улыбнулся и Пшиапшоко с едва заметной хитрецой.

– Ты веришь, Ацамук, старшему брату, веришь, Камболет, своему отцу, что он отойдет в сторону и сложа руки будет смотреть, как гибнет его Жанея, которой он отдал всю свою жизнь?

– Не знаю, зиусхан,– смущенно пожал плечами Камболет, смиренно стоящий у дверей,– разве я могу судить своего отца, что скажут люди об этом, что обо мне подумают?

– Скажи, ты знаешь, что мне ответить, только робеешь перед нашими древними обычаями, перед своим отцом, или не знаешь?

– Я могу сказать о своих размышлениях по этому поводу,– сдвинул широкие брови Камболет,– но это вовсе не значит, что намерен вмешиваться в дела своего отца,

сомневаюсь в них, даю ему совет. Я не хочу быть похожим на те яйца, которые, как гласит пословица, учат курицу.

– Молодец, Камболет,– искренне похвалил его Пшиапшоко.– Я просто хочу знать, о чем и как думают наши дети, ведь они – наше будущее. Говори, мы все слушаем тебя.

Не без гордости глянул на сына и князь Сибок.

– Все адыги сейчас у порога нашего неизвестного будущего. Они вышли на большой, неведомый им простор, живут не просто сами по себе, а как бы находятся посередине на поле боя между Русью, Турцией, Крымом, Персией, Польшей и Ливонией. Наш скакун рвется в галоп, и если мы не удержим его за гриву, то уж за хвост и вовсе не сумеем удержать. Извините, что много говорю.

– Да, сын мой, ты слишком много говоришь перед такими уважаемыми людьми.

– Пусть говорит, это ведь голос нашего будущего,– сказал Пшиапшоко, поглядывая на своего сына Казия,– вот, мол, как надо, учись у этого княжича. И продолжил.– Мы, отцы этих парней, привели свой народ к бедам, все пытаемся искать виноватых, хотя хорошо знаем, что во всем виноваты мы сами, предводители племен. И уже сейчас есть старшие, к которым прислушиваются наши наследники... а, кстати, почему Калакута нет среди нас, он в отъезде или забыл, как адыги встречают гостей? – Помолчал Пшиапшоко, как бы прислушиваясь к наступившей тишине, затем раздумчиво продолжил.– Может быть, обижается, что я, когда он начинал свое дело, не поддержал его... Если бы знал, что Темрюк вот так поведет себя, то не просто поддержал бы Калакута, предводителя тфокотлей, но и смело встал бы на его сторону, вместе с ним добивался бы объединения всех адыгов. А теперь со всех сторон беда за бедой хлынула к нам. Столько гяурских воинов пригнали, что нам уже свободно вздохнуть скоро будет невозможно. Там, где сливается Сунжа с Тереком, они уже крепость соорудили, назвали ее каким-то непонятным словом...

– Терки назвали,– вставил Казий, стоящий рядом с Камболетом.

– И что за название такое? – удивленно пожал плечами Ацамук.

– Очень понятное,– улыбнулся Сибок.– Крепость соорудили на берегу Терека, отсюда и ее название – Терки.

– О, сильная та крепость,– вставил свое слово и Жансох,– был я там, видел. Высоким частоколом из заостренных бревен огорожена, вокруг глубокие, наполненные водой канавы. Посередине церковь с крестом, длинные каменные дома, как они называют, казармы. И все пушки, пушки – не подступись! Казаки и стрельцы песню поют: «Терки ты наш, Терки!»

– Интересные люди урусы,– озадаченно пожал плечами Сибок.– Все они любят переиначивать. Одного из наших парней назвали Александром, другого – Иваном, еще одного – Василием, а Гошевнай – Марией. Нас не черкесами, а черкасами зовут, мусульман – басурманами. Спасибо хоть свою крепость назвали словом, похожим на наше,– Терки, значит – Терек.

– Царь стал зятем Темрюка, вот и угодил ему Тереком. Да и тебе, зиусхан,– лукаво прищурившись, сказал Пшиапшоко.– Ведь твой старший сын – воевода, у самого царского престола стоит.

Сибок не знал – сердиться ему на гостя или гордиться своим старшим сыном. На всякий случай вроде бы с безразличием сказал:

– С чего ты взял, зиусхан? Никакой он не воевода, простой воин.

– Как же, как же! – в удивлении развел руки Пшиапшоко.– Мамстрюк, недавно приехавший с их войском, сказал: твой сын Кудадек теперь старший помощник у этого, у Султана...

– У Михаила, отец, у Михаила! – поправил Казий.

– Пусть у Михаила! – расхохотался Пшиапшоко, обеими руками придерживая уже отвисающий живот.– Так вот, Мамстрюк сообщил, что твой сын уже вовсе не рядовой, а царский воевода, первый и главный помощник воеводы Михаила. Я не знаю, зиусхан, хорошо это или плохо. Тебе виднее.

– Спасибо за новость, гость,– как-то сквозь зубы процедил Сибок, подумав: «Мог бы сказать мне об этом и без ехидства, но тут уж, как говорят, дело совести, тут ничего не поделаешь – у каждого она своя. Только своя... И Темрюк хорош. Полгода прошло, мог бы с кем-нибудь передать мне эту новость. У него тоже – свое я, свое понятие о совести. А может быть, о Кудадеке это только разговоры, сплетни. Вернусь из Крыма, пошлю в Московию

Ацамука. Очень будет кстати: заодно и посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас главное – повидаться с зятьями,– подумал Сибок,– ведь и султан Сулейман, и хан Давлет-Гирей женаты на адыгских женщинах. Наши милые зятья, чтоб им ни дна ни покрышки»,– и громко, в свое удовольствие, рассмеялся.

– Что тебя так обрадовало, дружище? – удивился Пшиапшоко.

– Радуюсь, какие родственники, какие могучие зятья у нас и какие шишки по-родственному мы от них получаем.

– Валлахи-билахи, как хорошо ты подметил, Сибок. Вот об этом мы с тобою и скажем в Крыму нашим родственникам не только по крови, но и по вере.

Вошел Калакут.

Все встали.

– Если не Калакуту, то кому же окажу я честь на нашей земле?! – возгласил, поднимаясь вместе со всеми, Пшиапшоко.

– Сидите, сидите, вы же знаете, когда сидят за анэ, не поднимаются... Я только что с седла, узнал, что у соседа такой высокий гость, и поспешил со своим приветствием.– Сел Калакут рядом с Пшиапшоко и обратился к нему.– Ты хоть и гость, я все-таки позволю себе сказать несколько слов. Не сердись, пожалуйста, зиусхан... Был я у вас как-то в гостях. Покойный твой отец Кайтук – царство небесное ему и благодатный рай на том свете – встретил меня с большим почетом и уважением, а тех, кто заносил пиршественные анэ, прислуг, встречал заносчиво, с явным пренебрежением. Мне это показалось недостойным мудрого человека, зиусхана, ведь для нашего Аллаха все мы – его любимые дети, все должны любить друг друга, а не выбирать, кто тебе больше нравится, а кто меньше.

Блеснул в глазах Пшиапшоко недобрый огонек, но он его тут же потушил. Хотя натужно, но все-таки улыбнулся:

– Перед Аллахом мы все равны, это правда, но ведь одних Он создал пастухами или пахарями, других – зиусханами, третьих – царями, и, как сказано в Коране, каждому – свое... Покойный родитель мой – да благословит его Всевышний раем – был награжден Им насквозь видеть и понимать каждого человека. Он увидел в простом человеке его высокое предназначение от Аллаха, оказал честь и уважение, ниспосланные свыше. Мой отец разделял твои

намерения, твои устремления, Калакут. Я – сын своего отца и, когда мы с Сибоком вернемся из Крыма, стану рядом с тобой, буду предан делу, благословленному еще моим отцом.

Нахмурил брови Калакут:

– Если так, зиусхан, то зачем ехать в Крым? На поклон султану и хану, или...

Сдвинули брови и князья, промелькнуло в гостиной мгновение тревоги. Его прервал шуткой Пшиапшоко:

– На твой короткий вопрос, уважаемый Калакут, нужен обстоятельный, а потому долгий и трудный ответ. Думаю, вернемся из Крыма, тогда обстоятельно и поговорим обо всем. Надеюсь, мы привезем с зиусханом Сибоком кое-что очень нужное нашему делу.

Первый зимний месяц в Крыму – уже не осень, но еще и не зима. Случаются и теплые солнечные дни, и холодные дожди с пронзительными северными ветрами, а то и закружат стаи снежинок, образуя сугробчики, которые вскорости могут и растаять.

В огромном, роскошно убранном зале ханского дворца даже в яркие весенние дни стоял полумрак. Сквозь висящие на окнах тяжелые бархатные шторы едва проникал свет, поглощаемый застилавшими стены и пол коврами. Посередине возвышался из темного дуба громадный стол, уставленный графинами с разным питьем, блюдами с виноградом, яблоками и грушами, жареным мясом, запеченными осетрами и стерлядями. Интерьер дополняли кресла и стулья, мягкие диваны. Все поражало своей тяжестью и размерами, а потому казалось пресыщенным, навевало скуку.

Султан Сулейман и хан Давлет-Гирей восседали за этим изобильным столом, воплощающим показное богатство и могущество, напротив князей Сибока и Пшиапшоко, невольно ощущавших себя бедными родственниками. Хотя встреча проходила в Крыму, во дворце хана Давлет-Гирея, султан Турции Сулейман держался как беспрекословный хозяин, видимо, из прихоти говорил на языке своей матери – адыгском, а на ногайский для хана переводил Пшиапшоко.

Начал разговор Сулейман и очень долго говорил о положении дел у адыгов. Он похвалил князя Сибока, что тот с достоинством отверг царских сватов, что не словами,

а боевым делом повернулся к мусульманскому государству, вместе с ним воевал против русских в Польше и Литве, слегка пожурил за сына Кудадека, которого отдал в услужение царю Руси, будто ему не нашлось бы почетного места в Стамбуле.

– Мы живем в такое время,– со значительностью государственного мужа продолжал султан,– когда ни в коем случае нельзя позволять так называемому предводителю тфокотлей Калакуту поднимать бунтарскую голову. Нельзя позволять ему мутить воду не только в Жанее, но и по всей земле Черкесии. И не уговаривать его следует, а лишить головы. Но ты, зиусхан, своей мягкостью, можно сказать, потворствуешь ему. Смотри же, потом больше всех пожалеешь о своей мягкости, когда бунтари сметут вас с земли. Ведь любой простой хлебороб не допустит, чтобы на его поле набирали силу сорняки.

– О, как ты верно и мудро сказал, посланник Аллаха. Это верно, дурную траву – с поля вон! – почти восторженно поддержал султана Пшиапшоко.

«Вот ты как,– кисло улыбаясь, подумал Сибок.– Есть дурная трава, но есть и дурной, предательский ветер, есть человек, а есть оборотень, такой, как ты, Пшиапшоко».

– И еще, до нас доходят слухи из Московии: царь Иван гордится тем, что стал зятем адыгов, на которых очень надеется.

– Но ты ведь тоже, посланник Аллаха, не только наш зять, но и рожден черкешенкой и тоже надеешься на нас.

– Верно, однако... На Аллаха надейся, а сам не плошай. Самый лучший, самый надежный твой защитник – ты сам. Поймите же, без вашего участия я не смогу вам помочь. Речь об абадзехах, беслинеях, бжедугах, других славных племенах, но больше всего меня беспокоят кабардины, которые уже притащили к себе гяурских воинов, позволили им построить крепость. Это, скажу, прямое предательство, измена мусульманам, их древним предкам и будущему всего черкесского народа.

– Ты прав, посланник Аллаха, наглость гяуров – большая беда всех адыгов, их древней земли! – возвысив голос, Пшиапшоко поддержал султана.

– Если согласен, зиусхан,– продолжал султан,– тогда почему вы не разрушите ту построенную крепость Терки, не вышвырнете со своей священной земли гяуров?!

– Мы думаем об этом днем и ночью, но разве сможем противостоять громадной Руси, ее многотысячному войску? – сокрушенно покачал головой Пшиапшоко.

– Если отважные адыги утеряли свое мужество, если они обессилели, то могли бы позвать на помощь войско Давлет-Гирея, да и Великая Турция не будет стоять в стороне. А все вместе мы с помощью Аллаха загоним гяуров с их царем Иваном туда, где среди вечных льдов живут одни медведи. Думаю, и славные жанеи будут с нами.

Все три дня адыгские князья были окружены заботой, достойной самых дорогих гостей. Их возили на южный берег, чтобы показать его красоту, устраивали для них скачки, разные игры. Пшиапшоко возвращался домой с таким чувством, будто в его жизни свершилось нечто очень важное, даже счастливое, о чем так хорошо говорил султан. Иногда он, дав шпоры коню, начинал петь, будто вторя веселому ветру.

Сибок смотрел на него с удивлением:

– Не знаю, зиусхан, чему ты радуешься?

– Да ты что, Сибок?! Или не понял, на какую высоту мы, адыги, поднялись? Ведь мы возвысились на своей земле благодаря поддержке самого турецкого государства и Крымского ханства, поддержке мусульман, а значит, и Аллаха. А какой молебен в чудо-мечети отслужили! Да как ты не поймешь, зиусхан?!

Сибок придержал коня, пристально посмотрев на Пшиапшоко, подумал: «Он что, настолько глуп или так подл?»

– Неужели ты, зиусхан, не можешь понять, какой большой кровью запахло на нашей земле?

– О чем ты, зиусхан?! Если они объявят войну Руси, прогонят ее с Кавказа, мы будем свободны и тогда построим государство, о котором говорит Калакут, о котором столько лет мечтаем!

Сибок пустил коня неторопливым шагом:

– Разве ты не знаешь, что такое война, которая не бывает без крови и пожаров?!

– Война, как война, зато будем свободны...

Сибок поднял на дыбы коня:

– Свободны?! Да эти турки с крымцами сотрут нас с лица земли, жизни лишат нас, а ты – свободны...

Они поскакали галопом, потом перешли на рысь, а затем на неторопливый шаг. Долго ехали молча, чувствуя, как с севера все настойчивее дует зимний ветер.

Сибок спросил будто самого себя:

– Зиусхан, это правда, что моего Кудадека возвысила к царскому трону сама царица Гошевнай?

– Говорят, земля слухами полнится. Им радуется, от них и плачет, так издавна повелось.

Ехал Сибок и не знал, что его сына Кудадека-Александра царь Иван Грозный прислал в Жанею своим наместником. Не знал, с каким нетерпением сын поглядывал на дорогу в ожидании отца.

III

Царь Иван Васильевич не страдал бессонницей, хотя и любил иногда проснуться среди ночи, чтобы обдумать важные государственные дела, благо, в такое время никто не придет, не помешает. Вот и сегодня он проснулся в полночь, о чем негромко известили его певучим боем часы, висящие на стене в прихожей.

Если бы ты жил только своей семьей, вдалеке от мирской суеты, и тогда тебе хватало бы забот – просто по хозяйству да о детишках. А если у тебя на плечах государство, и еще такое, как Русь, если ты взнуздал ее и устремил в будущее, как всегда, не совсем понятное, потому и тревожное, то хочешь или не хочешь – будешь искать себе верных помощников. А это трудно и рискованно, ведь не все одинаково с тобой думают, найдутся и такие, кто станет поперек пути. Тут уж гляди в оба. Проявишь слабость – сомнут, а твердость назовут жестокостью.

Были при нем и Боярская дума, и Опричнина, и Земщина, приближенные к царскому трону князья и воеводы, но ведь не скажешь, что от них только чистая польза. Одним нравится единая, сильная Россия, других тянет к удельным самостоятельным княжествам. Одни готовы воевать с Ливонией и Польшей, чтобы Руси достались земли у Балтийского моря, а другим – оно вроде бы и ни к чему. Это такие, даже умные люди, как боярин Курбский, митрополит Филипп, архиепископ Пимен в Новгороде. Многие так противятся его царской воле, что силой приходится пригибать их шею, а иных и головы лишать. Во имя Руси, во имя славы ее и силы.

Это свои, а те, что за российскими кордонами? Иван Грозный отказался от королевского престола Польши, но ей этого мало, подай еще Смоленск, она по своим делам якшается с немецким императором...

Опричнина, Земщина, князья и бояре, а что дворяне, купцы, работный люд и хлебопашцы? Ведь вся государственная ноша на их плечах, они – плодородная нива Руси, ее золотые руки, они – воины ее. Царь не может не знать, что думают они, чего хотят от него, своего государя?

Завтра, хотя уже миновала ночь, значит, сегодня, Земское собрание ответит на многие его, самодержца, вопросы.

Ему казалось: вот-вот начнет рассветать, хотел уже подняться, как ему почудилось, будто кто-то в самое его ухо сказал: «Они могут потребовать: прекрати войну, отдай противнику земли своих предков, что ты отвоевал у него, и забудь о Балтийском море».

«Пусть они такое скажут»,– подумал Иван Грозный и почувствовал, как по всему телу пробежали колючехолодные мурашки. Он передернул плечами и облегченно вздохнул, будто тяжелая ноша упала с его спины, и на сердце стало легко. Поднялся, опустил босые ноги на холодный пол.

«Я отдам им трон, благословение Господне отдам. Соберем с Кученей свои пожитки и уедем к черкасам. Подальше уедем, чтобы не видеть больше и не слышать никого. Отец моей голубки, главный князь Кабарды Темрюк, устроит нас где-нибудь в тихих, красивых горах, и будем там жить с любовью и молитвами к Господу, любовью друг к другу...»

Кто-то словно шепнул ему на ухо: «Зачем ты нужен черкасам без Руси, без ее царского трона?» Шепнул и засмеялся. И царю тоже весело стало: турецкого султана, как ему передали верные люди, очень встревожила крепость Терки. Через своего посла он вроде бы как дружески просит убрать ее, разрушить, а в самом-то деле настаивает, даже требует снести. Царь через своего посла тоже дружески обещает султану внять его просьбе, хотя и не подумывает об этом. «Жалко мне, что ли, дружеских обещаний. Тоже нашелся мне умник, но и мы не из дураков. Вот только бы сумел Александр Сибокович просьбицу мою уладить, уговорить своего отца и предводителя тфокотлей не держать на меня, на Русь обиды. Как это князь жанеев

не понимает – рано или поздно я должен крепко стать и стану на Кавказе, взашей наладив оттуда Турцию, пообломав крылья крымскому хану... Ну вот тебе, царь-батюшка,– засмеялся про себя Иван Васильевич,– и тихий уголок, в котором ты хотел бы со своей голубкой поблаженствовать. Сам ты, пожалуй, мог бы себе и позволить такое, да святая Русь не позволит».

Самодержец Иван Грозный любил иногда ночью, простоволосый, в длинной рубахе, босиком, пошлепать по холодному полу, как когда-то в детстве ему нравилось побродить по приятно обжигающей росе. Вот и сегодня с закрытыми от удовольствия глазами пошлепал по холодному полу, как бы по росе, потом зажег от лампады душистую восковую свечу, накоротке, но с горячей искренностью помолился, прося у Господа помощи в нынешнем Земском собрании во имя благополучия православной России.

Помолился, помолчал, потом тихонько, не шлепая, подошел к потаенной двери в спальню царицы, приоткрыл дверь, заглянул.

Царица в длинной ночной рубахе, босиком, с потоком распущенных волос на спине шепотом молилась перед образом Казанской Богородицы. Он чуть слышно, предупреждающе покашлял, широко перекрестясь, стал рядом с царицей.

Помолились. Помолчали.

– Ты что не спишь, голубка моя?

– Как я могу спать, если ты не спишь, государь?

– Откуда ты узнала, что я не сплю? Или заглядывала ко мне?

– Зачем заглядывать? Я слышу тебя, будто ты и за сто верст от меня. Любящее сердце, государь, оно такое.

– Голубка ты моя милая,– Иван Грозный потянулся, чтобы поцеловать свою Кученей, но она запрещающе положила на его губы палец.

– Разве можно перед святым образом матери Богородицы...

Потом уже в постели она, положив на грудь ему голову, затихла, будто прислушиваясь к его сердцу, будто разговаривая с ним о чем-то сокровенном, о том, о чем никому другому нельзя знать. А он то гладил ее волосы, то ворошил их, словно разговаривал с ее сокровенными мыслями и чувствами.

– Скажи, Кученей, как это ты будто видишь, будто слышишь меня, даже когда я нахожусь за глухой стеной от тебя?

– Можно, государь мой, я назову тебя и скажу, как в вашей русской сказке?

– Тебе можно.

– Иванушка, не я вижу и слышу тебя даже за тридевять земель, а любовь моя.

– Так то в сказке,– с сожалением проговорил царь.

– А мне, дорогой Иванушка, иногда и кажется, что счастье мое – сказочное. А если по-другому сказать – не мы с тобой сошлись через такую даль, а Всевышний привел и соединил.

– Теперь я понимаю, почему злокозненные бояре говорят, мол, все дурное, что я делаю, вся жестокость моя, по их разумению,– от тебя, от черкасской дикой женщины происходит.

– Ты правильно сказал, государь – злокозненные бояре, да еще князишки, а такие ведь боятся добра, как черт ладана. Теперь о жестокости. Помнишь ту нашу пословицу, о которой говорила тебе? Того, кто хочет вырвать твой глаз, лиши жизни. Людишки эти сгорают от зависти, видя тебя на троне самодержца великой Руси. Но попробуй, положи на них всю тяжесть, которую ты несешь, тут же рухнут, как никудышняя лошаденка.

– Когда я вижу, как ты идешь со мною рядом, нога в ногу, как несешь на своих красивых женских плечах удел такого трудного самодержца, как я! О Господи!.. Ты просто чудо, я никогда не встречал подобную тебе...

Она положила свою ладошку, прижала слегка его губы:

– Не надо, мой государь... Ты большой любовью любил покойную Анастасию. Помолчи, помолись о ней Господу...

Губами, прижатыми ее ладошкой, он прошептал:

– Я люблю тебя, голубка моя.

Кученей усмехнулась. Он услышал и встревоженно спросил:

– Ты чего?

– Я просто вспомнила случившееся с тобой прошлой осенью.

– А что там было смешного?

– Мне просто интересно, какие ты слова говорил Юлиании, когда стоял перед нею на коленях?

Иван Грозный дернулся, чтобы подняться, но царица удержала его.

– Не надо, мой дорогой... С мужчинами иногда случается такой грех. Думаю, это с тобой не повторится. Ее с нами уже нет, ушла затворницей в монастырь...

Царь все-таки поднялся, сел, опершись спиной о грядушку кровати.

– Успокойся, великий государь, успокойся, мой любимый, и прости меня, глупую женщину, ведь у тебя сегодня такой трудный день, а я!.. Прости меня и знай: что бы там ни случилось – я с тобой хоть на плаху.

– Господи, Великий Боже, за что ты так добр ко мне, грешнику. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Прости меня, непотребного раба Твоего.– Царь обнял свою Кученей и прошептал.– Я очень люблю тебя, голубка моя, ты – счастье мое, моя радость.

Более тысячи церквей было в Московии, и в то утро все они ударили в колокола, заблаговестили к утренней службе, к молебнам за будущее Руси, за благоуспевание Земского собора, что начинал свою работу в Большом тронном зале Кремля.

Гудели, играли перезвонами колокола, гулял буйный весенний ветер по улицам и переулкам, горланили прилетевшие с юга грачи, приветливо сияло в безоблачном небе яркое солнце.

Погулять бы и московичам в такой день, да нет – все питейные заведения строго-настрого были закрыты, дабы не мутили шальным хмелем их умы.

Расставленные по важным улицам, поблизости к Кремлю, стрельцы наблюдали за порядком: чтоб не шлындали разные бездельники, не мутили благочиния дурными собраниями, неподобными разговорами людишки.

А на больших перекрестках и площадях, в Кремле звонкоголосые глашатаи рассказывали московичам о добрых делах царя-батюшки Ивана Васильевича, благословленного на трон самим Господом.

Во всех торжественных случаях облачали государя в царские одежды под руководством его придворного постельного Вишнякова, а в этот раз царица повелела принести в покои государя все одеяния и сказала, что сама будет облачать царя-батюшку. Она подала ему сафьяновые сапоги, помогала надевать тяжелое, шитое золотом и

украшенное дорогими самоцветами верхнее одеяние, надела на его лобастую голову шапку Мономаха и, подавая скипетр, сказала:

– Это, государь, крепче всего держи, никому не позволяй даже пальцем дотронуться до него. А теперь помолимся.

Растроганный царь попросил:

– Почитай, почитай молитву, голубка моя. У тебя лучше, трогательнее получается, чем у соборного псаломщика.

– Постараюсь, великий государь.

Они положили у киота три поясных поклона.

– Царю Небесный, Утешителю,– напевно начала царица.– Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселисы в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Боже, души наша.

В Архангельском соборе митрополит Филипп отслужил с соборянами молебен, и потом все отправились в Тронный зал.

Поднялся Иван Грозный на возвышение, неподалеку от него сели сыновья Иван и Федор.

Стих гул. Разлилась и повисла тишина над головами соборян, замерли они в ожидании слова государева, возвещающего о деяниях и судьбах великой Руси.

Неторопливо, с подчеркнутой основательностью умостился на троне самодержец, оперся скипетром о колено и, не поворачивая головы, с той же царской неторопливостью и настойчивостью стал осматривать зал строгим пристальным взглядом.

Ему показалось: все, что было перед ним,– это штормующее море, но оно вдруг замерло, застыли вспенившиеся гребни волн, вздыбилась, замерла его немереная угрожающая сила, и вот-вот она может прийти в движение, ринется девятым валом.

Царь поднял скипетр, с высоты трона властно глянул на эту силу, на ее стихию, глянул, надменно улыбнувшись:

– Православная, богохранимая Русь – великая держава, идущая по великому пути встреч бушующего урагана, внимает нам. Я собрал вас, чтобы поглядеть, чтобы узнать, кто из вас сын нашей великой родины, а кто ее пасынок, чтобы понять, с кем рядом мне стать, а кого убрать прочь

с дороги, как сорную траву, и выбросить вон на обочину истории. Вот вы сидите предо мною, перед Русью-матушкой сидите, бояре, воеводы, дворяне, купцы – все дородные, богатые, один могучее другого. Только вашей силой сильна, только вашим богатством богата ваша родина-мать. Одни из вас для нее не жалеют себя, своих богатства и силы, а другие припрятали богатства в кубышки, в сундуки под железными замками, затаились, не хотят платить государственные налоги. Пусть же не рассчитывают на мою милость, на милость самой Руси. Это первое... Дальше. Я издаю указы, требую порядка, а во Пскове, скажем, Смоленске, Твери, Суздали и в некоторых других местах как бы не замечают их, не исполняют предписанное, особенно в Новгороде архиепископ Пимен со своими подручными. Вот приведу, как говорится, живой пример. Я два раза указом повелевал выделить землю трем князьям, черкасам, воюющим рядом с нашими воинами, проливающим кровь за Русь. Ну и что?! Тамошние власти делают вид, будто никаких царских указов не было. Это что же получается? Будто не государство у нас, а какой-то паршивый базар, где каждый сам себе хозяин. Я награждаю черкасов землей, оружием, породнился с ними, чтобы обрести на Кавказе надежных союзников против Турции и Крыма, чтобы в Закавказье оказывать помощь нашим единоверцам, нашим союзникам в деле православия, его могущества. Если и впредь повторится такое, пусть потом не пеняют на мою жестокость – просто я обязан наводить порядок в нашем государстве. Теперь, уважаемый собор, о наших внутренних, так сказать, домашних делах. Многие из вас против того, что я веду войну с Ливонией, что во имя Руси хочу вернуть ей прежде утерянные земли, прочно закрепиться на Балтийском море, без которого мы и вовсе не держава, не можем вести выгодные, необходимые нам торговые дела. Я молился, вопрошал совета у Господа Бога, и Он благословил меня, я советовался с архипастырем православной России митрополитом Макарием, который меня тоже благословил на это ратное дело. Ярыми противниками его выступили Адашев с Сильвестром, за что и поплатились своей грешной жизнью. А воевода Курбский оказался подлым предателем, перекинулся к нашему врагу королю Сигизмунду. Вот я и спрашиваю Земский собор, вас спрашиваю: пасть нам на колени перед поляками, немцами и

ливонцами или, разделавшись со своими внутренними противниками, всех врагов наших поставить на колени?

На несколько мгновений, показавшихся Ивану Грозному вечностью, воцарилась в зале тишина, а потом, будто обрушилась лавина, возгласил свою волю собор:

– На кол предателей!

– Смерть врагам Руси!

– Слава мудрому самодержцу!

Встал Иван Грозный, распрямил плечи. Высоко поднял скипетр.

Прокатилась волна и улеглась.

– Обо всем этом вы и поговорите, окажите свою мудрость всей православной Руси. Руководить работой повелеваю Челяндину и Мстиславскому...

Царица Мария встретила царя у самого порога, ничего не спрашивая, только глядя на него горящим взором.

– Они поддержали меня. Нас с тобой поддержали!

Она положила ему руки на плечи:

– Хвала и слава нашему мудрому народу!

Он тяжело, устало ступая, подошел к креслу, со вздохом облегчения сел. Кученей опустилась, положила голову на его колени. Они долго сидели молча, не решаясь нарушить тишину.

IV

Из Бахчисарая до Кабарды более месяца езды верхом на добром скакуне. Сарбай, меняя коней, почти не зная отдыха, одолел дорогу за три недели и вечером двадцать второго дня сидел с князем Пшиапшоко в его гостиной, рассказывая ему, с каким важным поручением приехал от Давлет-Гирея.

– Надо изгнать с земли Кавказа гяуров, которые нагло тут обосновались, заодно проучить их адыгских пособников. Такова воля посланника Аллаха Давлет-Гирея.

– Передай, гость, наше спасибо хану. Скажи, мы и сами уже думаем об этом, как ни горько затевать кровопролитие, да еще братское, но, видно, это воля Аллаха.

– Хорошо, зиусхан,– поднялся Сарбай, выглянул в окно и покосился на дверь,– что ты моих спутников сюда не пригласил. Они не должны слышать нашего разговора,

не должны знать тайну, которую передам тебе от великого хана.

– Не беспокойся, Сарбай, мы хоть и живем в глуши, но, как говорится, не обижены умом, все будет, как надо. И на меня можешь положиться с уверенностью. Если ты выдашь мне эту тайну, считай, что бросил ее в бездонный колодец.

– Давлет-Гирей так и сказал: Пшиапшоко – верный человек.– Наклонился Сарбай и вполголоса сказал.– Турция и Русь опять столкнулись лбами.

Пшиапшоко усмехнулся:

– И это тайна? Она, как у нас говорят, уже с бородой. Они столкнулись лбами, как только поднялись жерла гяурских пушек в крепости Терки. Об этом мне еще в Крыму сообщил султан Сулейман. Он сказал: этого мы гяурскому царю Ивану никогда не простим.

– Выходит, и Сибок об этом уже знает? – удрученно проговорил Сарбай.

– Что ты! Нет! – воскликнул Пшиапшоко.– Султан сказал только мне одному.

Сарбаю было досадно – тайна, которую он без устали вез столько дней на перекладных скакунах, оказалась для князя известной.

– А ты знаешь, зиусхан,– опять таинственно понизив голос, заговорил Сарбай,– что Сибок и Калакут теперь заодно? Вместе теперь будут гнуть в свою сторону.

– Ах, дорогой Сарбай! Мне ли этого не знать, когда о том уже все куры кудахчут. А вот я тебе скажу новость... Пока ты сюда добирался, пока мы с тобою беседуем, выдавая известное за новость, Калакут и Кудадек с Сибоком приехали к Темрюку, почетными гостями сидят у него в гостиной.

Скривил губы от досады Сарбай:

– Выходит, я от тебя наместнику Аллаха привезу больше новостей, чем передал тебе от него. Но что делать, я человек маленький: сказали, поезжай – я и поехал.

Оттого, что проголодался, или от злости, то ли еще от чего – Сарбай накинулся на еду, перемалывая крепкими зубами куриные косточки, облизывая толстые, лоснящиеся жиром губы. Второпях запил еду бузою, вытер вспотевшее лицо полотенцем, поднялся:

– Как у вас говорится: поел гость – и на дверь смотрит. Не обессудь, зиусхан, тороплюсь. Хан Давлет-Гирей очень ждет меня в Крыму.

21 Заказ 06

– Да ты что,– завозражал Пшиапшоко,– опозорить меня хочешь? Люди скажут, на ночь глядя выпроводил гостя!

– Прошу тебя – никто не должен знать, что я приезжал. Будто и не было меня здесь вовсе.

Они стояли друг против друга озадаченные.

– Ты, я гляжу,– проговорил Пшиапшоко,– как бедный Мамий, который всегда куда-то спешил. Все суетился, суетился и... Конечно, знаешь, что с ним произошло.

– Знаю ли...– склонил голову Сарбай.– Очень тяжело я пережил его гибель. Прости, зиусхан, все в моей голове перемешалось, прости. Напомнил ты о смерти Мамия, и я... чуть не забыл сказать: нас, грешных, постигло великое горе: Аллах забрал к себе на небеса светлейшего из светлейших – султана Сулеймана.

– Как?! – не то испуганно, не то удивленно воскликнул Пшиапшоко.– Вот это новость... с этого надо было начинать... О Аллах, я же совсем недавно встречался с ним – он таким молодцом, таким красавцем выглядел, и вдруг! У меня не укладывается в голове.

– На все воля Аллаха... Говорят, сердце его не выдержало. Да и то сказать – ему семьдесят, не малые это годочки, да еще при его беспокойной жизни. Попробуй управлять таким великим государством, как Турция... Три дня весь Крым, все ханство держало траур. Слава Аллаху, наш Давлет-Гирей хорошо себя чувствует, крепкое у него сердце и разум светлый.

– Храни его Аллах, пошли ему в делах радость и удачу. Всевышний нас призывает на белый свет, он же забирает к себе, в вечную жизнь, в вечное блаженство.

– Позволь, зиусхан, вернуться к нашей земной, бренной жизни,– покачав уже облысевшей угловатой головой, заговорил Сарбай.– Ты знаешь, что сотворила бывшая жена Мамия?

– Откуда мне знать. Говорят, живет, не зная, куда свою бедную голову приклонить.

– Бедная! – зло ухмыльнулся Сарбай.– Эта маленькая ростом, гадкая натурой лицемерка прибрала к своим рукам все несметное богатство бедного Мамия и вышла замуж за хромого Ванатуга, одурачив всех нас, друзей покойного.

– А почему ты сам не женился на ней, отдал хромому?

– Кто знал, что она так скоро выскочит замуж, да еще за хромоногого! – произнес Сарбай, умолчав, что раза три сватался к Мариам и каждый раз получал отказ.

– Видно, правду говорят: неповоротливый всюду опаздывает,– усмехнулся Пшиапшоко.

– А еще говорят: хорошо смеется тот, кто смеется последним. Не думай, зиусхан, что я позволю им жиреть на добре моего покойного друга...

Несколько дней Пшиапшоко не находил себе места. Он размышлял, взвешивал, спрашивал себя и сам отвечал.

«Когда крымская конница придет на землю западных адыгов, как сказал Сарбай, там проучат кое-кого из умников, а если потом она повернет к нам? Что будут делать, как поступят с нами? Если же потом двинут на Пятигорье, на крепость Терки, я вместе с ними поведу своих воинов и проучу Темрюка, лакея гяурского царя. А может, с крымскими воинами придут и турецкие, поделят ли турки и крымчане мирно свою добычу? Мы ведь не знаем, как поведет себя, что решит новый султан... И еще одна загадка: с какой целью приехал к Темрюку из Московии Кудадек, зачем туда же примчался и Калакут?»

После долгих раздумий Пшиапшоко, как поступал когда-то его отец князь Кайтук, позвал к себе братьев, уже возмужавших их сыновей, поделился с ними своими размышлениями.

– Здесь собрались все мужчины нашего рода, и, как всегда бывало раньше, у наших отцов, дедов и прадедов, сообща надо решить, как нам быть в эту трудную годину. Что думают молодые, у которых кипит кровь, зовет на горячие дела? Что полагают те, кто постарше, у которых сердце стучит ровнее?

– Ты правильно сказал, отец,– заговорил Казий,– хочу лишь добавить: у молодых горячая не только кровь, но и сабли. Им больше подходит поле брани, чем стол для размышлений и рассуждений. Словом, тебе приказывать, а нам выполнять твои приказы.

– Правильные слова, хорошо сказаны,– похвалил Пшиапшоко.– А где наш самый молодой с самым горячим и решительным сердцем?

– Шогенук ненадолго отлучился, скоро придет,– ответил Жансох.– А что касается дела, я думаю, чтобы с гяурами справиться, мало будет одной крымской конницы, обяза-

тельно понадобится еще и турецкое войско, только так их можно победить.

– Но это ведь, брат,– прервал его Асланбек,– означает большую войну?

– Верно,– согласился Тепшанук,– но без нее исконные земли адыгов с морями и горами, полями и лесами не оставят в покое ни турки, ни ногаи, ни урусы.

– Полностью согласен,– поддержал Тепшанука Жансох,– нам об этом нельзя забывать даже ночью во сне.

В гостиной воцарилась тишина.

Пшиапшоко понял – все ждут его завершающего слова, и он заговорил:

– Если крымская конница придет на земли левого берега Кубани, чтобы собрать там дань, которую Сибок уже давно не платит, мы будем довольны, будем спокойно сидеть на своих землях, а если они ринутся и на нас, тогда обнажим свои сабли и, скорее, умрем, чем признаем себя побежденными. Тут уж, как сказал Казий, будет поле, где прославятся наши горячие храбрые сердца... Если же они придут вместе с турками, двинутся на крепость Терки, мы будем с ними. Думаю, тогда и наступит конец произволу Идаровых.

Пшиапшоко считал, что разговор закончен, собрался уже подняться, как подал голос Казий.

– Я хотел бы обратить ваше внимание...

– Слушай! – рассердился Пшиапшоко.– Получается, мы собрались сюда только тебя и слушать?

– Конечно, зиусхан,– как бы очень мягко, но все-таки возразил старшему Асланбек.– Как знать, может, в голове Казия родилось что-то важное?

– Важное,– добродушно засмеялся Пшиапшоко.– Ладно, давай, выкладывай.

– Что касается меня... я бы посоветовал нам встретиться с гостями Темрюка.

– Что?! – гневно вскрикнул Пшиапшоко.– Чтоб я встречался с этим... Был уже один раз такой глупый случай, хватит!

– Дедушка говорил: если речь идет о твоей судьбе, о судьбе твоего народа, не следует кипятиться, надо сдержать свою гордыню, даже врага своего используй во благо, во славу своей родины. Не я, зиусхан, не я,– заторопился Казий,– твой отец, наш мудрый дед так говорил!

Встал, покраснев не то от гнева, не то от радости, князь Пшиапшоко:

– Ну-у... раз дед говорил... Молодец, сын мой, не стесняясь, при всех говорю.– Кинув взгляд в окно, спросил.– Что там за человек лежит в седле Шогенука? – Выйдя на крыльцо, спросил сына князь.– Кто это у тебя?

– Гяурский воин.

– Как это воин? – удивленно спросил отец.

– Я подкараулил и взял его в плен...

– Да ты у меня настоящий воин,– усмехнулся отец.– И что же будешь делать с пленником?

– Заставлю конюшню, коровник чистить, огород вскапывать.

– Кто научил тебя этой глупости? – начал сердиться князь.

– Анзоровы и Мударовы держат у себя в сарае пленных, заставляют их работать,– сказал Шогенук и осекся, глядя на отца.

– Анзоровы, Мударовы! Мало ли глупых людей! Не смей перенимать их глупости, отпусти его немедленно!.. Подожди! Выслушай сначала, а потом исполни, как я велю. Развяжи его, попроси прощения, скажи, мол, шайтан попутал. Потом дай ему умыться, накорми, дай оседланного коня и проводи на место, где взял его, чтобы дорогу к себе нашел.

– Зиусхан, я хочу сказать...

– Сначала иди и сделай, как я велел, а уж потом скажешь.

Спустя два дня к Пшиапшоко заехал по пути домой Калакут со своей дружиной тфокотлей. Как полагается при встречах, гость и хозяин обменялись приветствиями, пожеланиями всего доброго в этой суетной жизни, потом Калакут сообщил, что Сибок с сыном Кудадеком очень торопились, поэтому не смогли приехать вместе с ними.

– К сожалению, и я не могу в свое удовольствие посидеть с тобой, дружески побеседовать. Как говорят, дела гонят нас в шею.

– А я,– изобразил сожаление и князь,– так надеялся, что ты побудешь у меня денька два-три, не гневайся, что пытаюсь задержать тебя на обратном пути, не распахнул свои ворота раньше, как обязывают добрые обычаи адыгов.

– Что ты, зиусхан! Доброе сердце всегда и всюду радо другому доброму сердцу, никакая суета ему не помеха!

– Твоя правда, Калакут! – сказал Пшиапшоко, подумав: «Этого детину не возьмешь голыми руками».– Но не думай, мой друг, что я отпущу тебя, не накормив перед дальней дорогой.

– Это я с благодарностью приму, уже изрядно проголодался... Добрый урожай зреет на ваших полях, сады и виноградники тоже не обижены Аллахом. Пусть ваши закрома будут наполнены Божьей благодатью.

– Да возблагодарит тебя Аллах за доброту твоего сердца. Радуясь сегодняшнему дню, надеемся на завтрашний, но он часто грозит нам своим беспокойством. Вместо того чтобы по-братски объединиться в единую силу перед будущим, мы все дальше и дальше расползаемся друг от друга, остаемся один на один с немилосердной судьбой.

– И ничего удивительного в этом нет, ведь по сей день среди зиусханов и уорков не нашелся человек, который объединил бы всех нас и повел за собой навстречу благополучному дню.

– Об этом горьком разъединении, что ты сказал, говорил и Темрюк.

– Не верь ему, Калакут, не верь, разве не его сыновья и родственники прислуживают в Московии царю, разве не он позвал его воинов, которые повисли над нами своими саблями и пушками?! Зачем к нему, именно к нему царь присылал отпрыска Сибока?..

И остановился Пшиапшоко, глядя куда-то в сторону.

Калакут понимающе усмехнулся:

– Для чего Кудадек посланцем царя приезжал к Темрюку, не знаю, не мое это дело, а зачем я туда приезжал, наверное, ты хотел спросить, так отвечу: Кудадек – это часть моей жизни, ведь я знаю его еще голоштанным мальчуганом, с ним мы ловили в горных ручьях форель, ловили птиц, а потом охотились на зайцев, даже на медведя...

«Все ты врешь, все врешь»,– изображая доверчивую улыбку, подумал князь и спросил:

– Ну а что ты думаешь о едином государстве адыгов?

– Что думал, то и думаю.

– Об этом знает Кудадек?

– Наверное, знает, я ему не раз говорил.

– И что он? – прищурился Пшиапшоко.

Прищурился и Калакут:

– Не знаю. Мы с Кудадеком просто вспоминали то давнее красивое время...

Смотрел Пшиапшоко вслед уезжающему Калакуту:

«Ты посмотри, что этот тфокотль наговорил мне, князю, каждый раз зарекаюсь встречаться с ним и снова стараюсь увидеться – поговорить, поспорить, просто помолчать».

День клонился к вечеру, когда Калакут со своей дружиной подъезжал к родному селению и уже, как ему казалось, улыбался своему дому, горластому петуху, который никогда не дает ему на зорьке поспать.

Но что там впереди?! На гнедом коне – Хатай, а за ним – сотни три всадников.

С трудом сдерживая разгоряченных скакунов, остановились всадники.

– Теперь, когда ты с нами, нам ничего не страшно! – привстав на стременах, возвестил Хатай.

– А что может быть страшного? Скажи толком.

– Адыль-Гирей со своими конниками разорил несколько селений и теперь, как донесли наши, направляется сюда, к утру будет здесь. Мы подняли всех, кто может держать в руках саблю, будем принимать бой.

– Хорошо, Хатай, очень хорошо,– одобрил Калакут.– Крымчаки малыми отрядами не ходят на такие дела. Значит, так,– приказным тоном произнес Калакут,– надо послать гонцов во все ближние селения, предупредить о нашествии врагов. И дальше мы должны знать, куда они движутся. Надо выделить три группы самых лучших наездников, хорошо знающих все дороги. Пусть будут они нашими глазами и ушами. Мои воины остаются со мной, а ты своих раздели на несколько отрядов. Думаю, крымчаки завтра утром будут здесь. К тому времени к нам подоспеют отряды тфокотлей из ближних сел. Следует налететь на пришельцев с разных сторон совершенно неожиданно, чтобы они и опомниться не успели.

Все так и произошло.

Чуть лишь брызнул из-за горы рассвет, когда крымские конники во главе с Адыль-Гиреем, беспечно переправившись через Лабу, неторопливо двинулись полем. Из перелеска им наперерез выскочили адыги с выхваченными саблями. Это для неприятеля было такой неожиданностью, что он в панике кинулся в разные стороны. На

быстроногих конях адыги настигали бегущих врагов, рубили им головы. Сам Адыль-Гирей, окруженный телохранителями, едва успел спастись бегством с поля брани. Так закончился его очередной поход на адыгские земли, предпринятый с целью прощупать силы будущего противника перед началом Турецко-Русской войны 1569 года.

V

Земский собор во многом поддержал Ивана Грозного, и он, заручившись этой поддержкой, увеличил свое войско, не жалея денег, хорошо вооружил его, снабдил всем необходимым. Царь готовился к решительному завершению войны за Балтию.

У Скуратова и Грязнова, как говорили, власти немногим меньше, чем у самого самодержца. Конечно, наделил он их этой властью по своей воле, для своей же пользы. Они убирали неугодных царю бояр и дворян, приближали к нему, как того он хотел, угодных, преданных людей и не только бояр и воевод, но и многих дворян, купцов, даже из простого сословия.

В конце августа царь позвал митрополита Филиппа.

– Владыко, в православной Руси настало время решительных мер. Молись и благослови меня повести войско в Ливонию.

– Благословение тебе на ратные дела Собором, мое благословение на войну, на новые кровопролития – это еще не Господне благословение. Вот и поразмысли над этим, великий государь.

Посмотрел царь грозным взглядом на митрополита:

– Кровь, пролитая в благополучие и силу православной Руси, есть благословение Господа нашего Иисуса Христа.

– Кровь русских православных людей в Новгороде, говорят, лилась рекой...

– Если в Новгороде восстали против воинов благословленного Господом самодержца, значит, то была вражеская, еретическая кровь. Мне видится, владыко, ты не к добру государства нашего становишься, а на стороне его врагов – митрополита Пимена, Адашева, Сильвестра, злонамеренного Курбского.

Приподнял Филипп клобук, вроде как забрало перед боем.

– Я, великий государь Иван Васильевич, архипастырь православной Руси, благословленный на это высокое послушание, как и ты, самим Господом Иисусом Христом. Благословляя православных христиан на добрые, богоугодные дела, отвечаю только перед Ним одним. Ты, Божий помазанник, знаешь это не хуже моего. Знаешь и другое – насиловать волю архипастыря – великий грех.

– Хочу, Филипп, чтобы понял: ты – служишь Руси, а я правлю ею. И за все, что происходит в ней, в том числе и за тебя, отвечаю один пред Господом Богом...

Часы, висящие на стене зала Ивана Грозного, неторопливо показали четыре пополудни. Усмехнулся царь:

– Уже наступило время вечерней службы, тебе следовало бы стоять у алтаря, а ты... Благослови, владыко, благослови,– не то попросил, не то потребовал царь и протянул Филиппу сложенные крестом руки.

Тоже усмехнувшись, скупым крестом благословил митрополит, положил свою горячую руку на скрещенные руки царя. Вздрогнул он всем телом и поцеловал. Коснулся колючими усами руки Филиппа.

Два дня Иван Грозный все возвращался мысленно к разговору с митрополитом. А сегодня, стоя на Тайницком холме и глядя в мглистую даль, как бы говорил себе:

«Чужие земли... Какие они чужие, если на них, у Балтийского моря, издревле жили русичи... Вот они, англичане, испанцы, португальцы, чуть не полмира захапали, им что, дарили те заморские страны? Чужие земли... Вот и сидели бы вы все на пятачке вокруг Московии, не покори я Казанское ханство, Астраханское да Ногайское. Покорил, а не в подарок получил. Вот только черкасы сами нас позвали, да и то еще земли те надо отстоять от Турции и Крыма. Ничего, отстоим. А впереди... Дух захватывает! Сибирь с немереными просторами и богатствами. Я слышу, слышу Господне благословение Богоносной православной Руси».

И вспомнилось...

Пришел он вчера домой, и царица спросила, положив ему теплые ладошки на плечи, грустно улыбнувшись:

– Великий государь, муж мой родной, у тебя столько воевод, а почему на сражение войско ты поведешь сам?

– Думаешь, я не смогу командовать войском, как надо? Или боишься за меня, как бы там не убили? Или какая-то тайная мысль от меня есть у тебя? – удивленно спросил царь.

– Какие тайны у меня могут быть от тебя, что ты говоришь. Просто я очень скучаю, когда тебя нет рядом. Скучаю, тоскую и жду, жду, даже голова начинает болеть.

Он бережно, едва касаясь, поцеловал жену в одну щеку, потом в другую, положил ее голову себе на плечо.

– Кученей, никак ты плачешь? Что случилось?

– Ничего, просто захотелось поплакать. А у мужчин бывает такое?

– Не знаю. Касаемо меня не помню, чтобы хотелось хоть раз поплакать в свое удовольствие.

– А у женщин бывает... Какой огромный Божий мир, даже страшно, и на всем этом белом свете ты у меня только один, даже ребенка нет. Господь дал, а людям это не понравилось, и они...

– Успокойся, голубка моя сизокрылая. Садись, как моя бабушка, бывало, говорила: садись со мною рядком, поговорим ладком...

Вчерашнее вспомнилось... Подошел Старицкий.

– Здравствуй, брат! – обрадовался Иван Грозный.– Я уж было совсем заскучал. Пойдем, прогуляемся.

Надрывно каркая, взлетела с вершины клена ворона, кинулась вниз, пронеслась почти у самых ног царя с братом.

– Что с тобой, Владимир Андреевич? Вороны, что ли, испугался?

– От неожиданности это, Иван Васильевич.

– Не люблю я эту горластую птицу. Мертвечиной она питается... Чего ты как-то странно молчишь, пугаешься? Нездоровится, наверное?

– Простудился малость. Ничего, пройдет.

– Смотри, брат, а то ведь завтра в поход.

– На ночь приму перцовочки – и все пройдет. «Почему он так смотрит на меня, допытывается? Может, сказать? О Господи!.. И дернула меня нелегкая ввязаться в это дело...»

– Владимир Андреевич, я тут на досуге размышлял и подумал: незачем нам обоим ехать в поход. Мне, конечно, надо обязательно, так я твердо решил, а тебе следует остаться в Московии. Сынки мои еще совсем малы, Марию Темрюковну в такое тревожное и трудное время оставлять в одиночестве тоже не годится. Да еще при том, что многие бояре точат зубы на меня, завистливой слюной исходят, глядя на царский трон.

– Нет, великий государь, нельзя мне отставать от тебя, вроде как увиливать от войны. Что люди скажут? А насчет завистливых бояр, твоего сомнения... Опричнина твоя добрую силу набрала. Да и Григорий Лукьянович – человек большой силы, немалого опыта, так что не следует тебе беспокоиться, уверен, ничего опасного не случится.

– Что-то я стал сомневаться в Скуратове, что-то... Больше доверия у меня Михаилу Темрюковичу Черкасскому. Вот и решил в Московии оставить его, а с собой беру помощником Александра Сибоковича, толковый, верный он человек.

– И правильно, государь! – почему-то обрадованно воскликнул Старицкий.– Я тогда еду с тобой, как говорится, без оглядки... Хорошо, что князь Сибок опять повернулся к нам. Это важно особенно сейчас, ведь не знаем, как поведет себя турецкий султан Селим.

– Говорят, Адыль-Гирей ринулся было на нашу крепость Терки, но народное войско черкасов разгромило его. Вот разделаемся с Ливонией – повернем свои силы на Кавказ. Как следует проучим и турок, и крымских татар, твердой ногой станем у гор и морей.

«Он, кажется, даже не подозревает о заговоре... Я был на сборище заговорщиков, но молчал, только молчал. Конечно, брат мой совсем распоясался, надо бы его проучить малость,– слушая царя, размышлял Старицкий.– А то уже не только черкасов в Московию притащил, а и каких-то чувашей, удмуртов, мордвинов. На кой леший они нам нужны. Нахлебники только... Ну вот, теперь еще свое войско повернет на Кавказ. И что ему неймется? – Вдруг кольнуло у него под сердцем, будто кто-то другой заговорил в нем.– А что, если Челяндин со своими заговорщиками обманет меня? Что, если они и меня скрутят, скажут, мол, брат царя, одной крови, значит, и судьба должна быть им одна... Господи, может, пока еще не поздно, пока я не совсем увяз в этой тине, сказать брату? Иль нет? Подожду, утро вечера мудренее».

Как по большим праздникам, Московия встретила то утро колокольным звоном всех соборов и церквей – сам великий государь святой Руси Иван Васильевич на белом коне, в боевом снаряжении вел свое воинство на Ливонскую войну.

Царица проводила его до Боровицких ворот, поклонилась на прощание в пояс, трижды широко перекрестила.

Он увидел, как заблестели слезы в ее ярко-карих глазах, и эти слезы были для него дороже всего на свете.

От Кремля до заставы, что на западе, его провожали московичи. Одни выкрикивали ему добрые пожелания, другие опускались на колени, осеняли себя и царя, его войско крестным знамением.

Ехал рядом с царем и его брат – Старицкий Владимир Андреевич.

– Ты видишь, как провожает меня народ! Он весь на моей стороне, понимает лучше меня, чем многие бояре. Что скажешь, брат?

– Ты знаешь, я тоже – с твоим воинством, с твоим народом, с тобой, великий государь...

– Ну?

– Радуюсь этому, молюсь за нас с тобой, за наше дело.

– Но что-то нехорошо выглядишь, не захворал ли?

– Нет, государь...

– Что ты все заладил – государь, государь, будто слова такого не знаешь – брат.

– Потому-то и...

– Что и, брат Владимир? Да разродись ты наконец, облегчи свое сердце!

– Ты, брат Иван, прав – болит мое сердце. Не хочу, не могу больше, но... подожди немного, потерпи. Вот будет походный привал, тогда и поговорим. По душам поговорим, как и подобает братьям.

Кликнул царь походного воеводу:

– Поле хорошее. Здесь и передохнем, оставив Москву-матушку.

Они постояли молча. Царь ждал, косо поглядывая на Владимира.

– Не надо тебе ехать на войну.– Судорожно вздохнул Владимир Андреевич.– Лучше бы вернуться в Кремль, а войско пусть ведет, скажем...

– Не скажем! – побледнев, повысил до крика голос царь.– Воевода, располагай войско на отдых и... оставь нас. Побеседовать с братом хочу по-семейному.

Бок о бок стали братья, натянув поводья своих скакунов.

– Ну?! – с трудом сдерживая себя, чтобы не ударить брата, не срубить ему голову, шепотом выдохнул царь.– Говори.

– Тебя предадут в первом же бою.

– Так.– Опустил плечи Иван Грозный, расслабился, будто какую-то страшную ношу сбросил.– Откуда ты это узнал?

– Людишки мои прознали.

– И чего же ты молчал в Московии, зачем тянул до сей поры? – почти спокойно проговорил царь, спешно размышляя. Будто молниями сверкали мысли в его голове, вдруг ставшей горячей.

– Не решался. Боязно, уж больно ты грозен.

– Царь и должен быть таким, на то Господня воля. Говори – кто такие?

– Бельский, Мстиславский, Воротынский...

– Кто еще?

– Челяндин, Висковатый. Они остались в Московии...

– Вот как,– уже совсем спокойно сказал царь. Но это внешнее спокойствие – бояре знали – самое страшное. Теперь он не просто бездумно рвал и метал, а холодно размышлял, куда и против кого направит свой карающий меч, словно бы видел отрубленные головы, слышал вопли тех, кого пытали в застенках.– Так-так, ну хорошо. И каким образом они задумали осуществить свою гнусность?

Втянул в плечи голову Старицкий, будто над ним уже занесена секира.

– Там, в Ливонии, они намерены связать тебя и отдать королю Сигизмунду.

– Конечно, Владимир Андреевич, спасибо, что ты мне все это раскрыл, если бы по-умному, а точнее, по-честному, то должен был это сделать намного раньше, но не бойся, брат, не стану тебя наказывать... Теперь слушай внимательно. Ты и Александр Черкасский поведете войско, как и должно быть по нашей задумке. А Бельского с его мерзкой компанией связанными повезут в Московию... Подумай, Владимир Андреевич, припомни, может, ты забыл еще кого-то назвать?

– Здесь, в войске, больше никого нет. Я это твердо знаю, а в Московии Челяндин и Висковатый назовут тебе своих сподвижников.

– Да уж назовут,– со злостью засмеялся царь.– Вместе с языком вырву из них это, а самих в крови утоплю.– Поднялся в стременах Иван Грозный, так поднял на дыбы коня, что тот угрожающе заржал и пустился в галоп...

Спешился в Кремле великий государь, его уже ждали Скуратов и Грязнов, им донесли о его возвращении вестовые.

– Вон тех, связанных, Бельского с его дрянью, всех – в кандалы. Допрашивать, беседовать с ними на боярском круге я буду сам.

Мария, увидев вернувшегося царя, кинулась ему навстречу, обняла:

– Это ты, моя радость?!

– Кажется – я.

Он отстранил ее осторожно, негромко спросил:

– О тех нехристях ползучих, которых связанными поволокли, ты знала?

– О чем ты говоришь, государь? – удивленно спросила она.

– О том, что ты слышала, моя голубка,– скривился в усмешке Иван Грозный.

– Как ты можешь! – слезы хлынули из ее ставших огромными глаз. Она, наверное, не удержалась бы и упала, но царь подхватил ее в объятия, прижал осторожно к себе.

– Ладно, ладно, ударь меня, голубка. И пойдем. Я ничего у тебя не спрашивал. Слышишь, ничего.

– Вишняков, не ходи с нами, я сама помогу государю снять кольчугу, шлем, я сама...

– Раз царица сказала, значит, не ходи,– пряча виноватую улыбку, велел Иван Грозный Вишнякову.

Как и виделось царю при разговоре с братом на опушке леса, выжгли каленым железом из Челяндина и Висковатого имена всех их сообщников. Скуратов со своими умелыми подручными тут же обрядил их в надежные, звонкие кандалы и упрятал в глухое подземелье. Немедля Иван Грозный послал вдогонку войску гонцов и повелел вернуть в Московию Владимира Андреевича Старицкого...

VI

Уже где-то невдалеке, рокоча, катился по горам гром.

Пока средь бела дня еще не видны были его веселые и озорные вспышки молнии. Ближе, все ближе шагал гром с вершины на вершину...

Князь Сибок любил в грозу постоять у окна, полюбоваться ее силой, неземной красотой. И сегодня, как обычно, собрался подняться с постели и подойти к окну.

Хотел подняться!.. Но в поясницу так кольнуло, что он даже застонал. Благо, в комнате никого не было, не стыдно и постонать в свое удовольствие.

На прошлой неделе умер Тлимаф. На сто втором году умер, но до последнего дня был непоседой, говорят, даже на охоту ездил с внуком Чечаном. В седле сидел!

А третьего дня тому схоронили Арсалана Баракаштова. Это от него Сибок принял власть главного князя Жанеи.

Уважали люди князя Арсалана, хотели, чтобы он и дальше правил, но он заявил:

– Хватит с меня, навластвовался, теперь хочу пожить просто по-человечески.

И он жил!

Боже, каким хлебосольным человеком был! Как любил принимать гостей, порадовать их, любил помочь просящему, делать добро во имя добра, не выискивая себе никакой выгоды. А как обожал ездить с гостями на охоту или просто прогуляться по горным тропам в свое удовольствие, любил приглашать их пожить у него на пасеке, без суеты встречая утренние зори и провожая вечерние.

Оба этих старика, как говорили люди, и на тот свет отправились, достойно сидя на своих скакунах...

Рассердился на себя главный князь Жанеи Сибок.

В углу стоял кизиловый посох, разукрашенный узорчатой резьбой, черненым серебром, который когда-то привез ему в подарок из Кабарды Камболет. Сибок тогда усмехнулся сыну:

– На что намекаешь? Думаешь, придется мне ходить и на трех ногах? Не дождетесь этого, не увидите: род Каншауковых из крепких мужчин. Мы согласимся, скорее, умереть, чем ходить на трех ногах.

И вот теперь Сибок с надеждой посматривал на тот посох.

Опираясь обеими руками о спинку кровати, с трудом поднялся и, не отрывая рук, шаг за шагом добрался до посоха. Взял его...

«О, какой тяжелый, значит, надежный, можно, не боясь, опереться, можно спокойно ходить».

Прошелся князь до дверей и обратно, потом еще раз...

Или посох придал ему силы, или просто размялся после сна – ходил он по комнате совсем свободно.

Затем сел у окна, поставив посох в сторонке: не заметили чтобы, если кто-то войдет.

Гроза ушла стороной, гром теперь все тише и тише ворчал.

Тоскующе квохтали куры, бродя по двору; дремал в тени сарая ягненок.

Как-то все тихо вокруг, пустынно, как показалось князю, тосковала даже кузница, к которой вела уже заросшая травой дорожка.

Князь подумал: «Посох помог мне подняться, размять ноги, а в кузнице поможет он моим рукам? Э-э, да откуда взялось на них столько морщин? Ацамук, Ацамук, ты видишь, как тоскливо быть немощным стариком, но у меня есть жена, сыновья, дочь, внучка. Я хотя с горем пополам все-таки разделил себя между беспокойными адыгскими делами и семьей, а ты? Как тяжко будет тебе в старости одинокому...»

Отвел от них он взгляд, посмотрел на окна дома Калакута, в стеклах которых забавлялось полуденное солнце. Калакут...

Простецкий парень, тфокотль с такими плечами, на них хоть бычка взгромозди – понесет и тяжести не почувствует, хоть и в плуг запряги – потянет, без передышки поле вспашет. Калакут...

Взгляд его больших карих глаз такой простой и открытый, взгляд хлебороба, который вышел весною в поле. Простой и открытый, как само поле, хлебом которого и держится жизнь.

Так размышлял о своем соседе Сибок.

«Бесхитростно и открыто поле, вскармливающее мир, а сам-то мир, жизнь его так сложна, так запутана, о Всевышний, помоги нам грешным».

Покосился на дверь князь, взял посох, положил на него ладони, а на них – подбородок.

«Вон как хорошо с ним сидеть, даже боль стихает в пояснице».

Когда Калакут первый раз рассказал князю о своих мыслях по созданию единого адыгского государства, Сибок, пряча усмешку, чтобы не обидеть парня, подумал:

«Наверное, не знает, сколько будет, если к двум прибавить три, а все туда же – о государстве». И вот теперь, командуя тфокотлями, разбил отряд опытного воина Адыль-Гирея.

И не только это, теперь с мыслью Калакута о создании единого государства адыгов согласны многие князья, да

и сам Сибок пошел бы с ним. Но далеко ли уйдешь на больных ногах, много ли сделаешь такими дряблыми руками?

И все же была радость: Ацамук и Камболет – главные сподвижники Калакута. Особенно радует Камболет. Сам Калакут хвалит парня, держит рядом с собой. И не только Калакут – многие уже поздравили князя с добрым сыном, настоящим адыгом. Сам мудрый Тлимаф говорил: «Не беспокойся, Сибок, придет время, и адыги не то что в обиде – благодарить будут тебя за то, что подарил им Камболета. Я вижу его будущие дни. Попомни мое слово».

В коридоре послышались шаги. Сибок прислонил к подоконнику посох.

Вошел байкол Айдар.

– Слава Аллаху, хоть увидел тебя, я уже подумал, что в доме нет ни одной живой души.

– Зачем ты так, зиусхан, мы просто не хотели тебя беспокоить – знаем, хорошо ночью поспал, а утречком сел к окошку и радуешься веселому грому, что с гор к нам так и не докатился.

– Спасибо. А как там поживает Гнедой?

– С раннего утра ржет тревожно, копытами бьет. По тебе, зиусхан, скучает.

– Хорошо, хорошо,– довольно улыбнулся князь,– он любит меня, как и я его... Оседлай и тихонько, чтобы княгиня не видела, подведи к моему крыльцу.

Однако увидела всевидящая княгиня Загирета:

– Ты что это задумал, зиусхан?! – тревожно вскричала она.

– У меня так много задумок, не успеваю все исполнить.

Айдар так ловко поддал князя в седло, что княгиня и не заметила его немощи.

– Не беспокойся, дорогая княгиня, не за невестой еду, просто немного поразмяться. В сторону моря прогуляюсь.

От ворот они пошли легкой рысцой.

– Как я сижу, Айдар?

– Отлично, зиусхан, как в молодости.

– Значит, можно прибавить?

– Конечно, с ветерком!

И только они перешли на рысь, как навстречу из-за перелеска выехал Калакут со своими спутниками. Спешились они перед главным князем.

– С возвращением вас, Калакут! – поприветствовал Сибок.– Что вас так долго не было, случилось что-то? Мы уже беспокоиться начали, обстановка ведь тревожная.

– Да нет, ничего не случилось. Турецко-крымское войско почему-то не переправилось через пролив и двинулось вдоль берега Азова... Как нас известили верные люди, Турция готовится к войне с Русью, тридцатитысячная армия Касим-бея двинулась на Астрахань, еще намерена она непременно взять крепость Терки.

– Вот оно как, значит, быть большой войне,– качнув потяжелевшей головой, произнес Сибок.– Прокатится она своими кровавыми колесами и по нашей земле... Об этом должны знать все адыги, на всей нашей земле. Отныне, Калакут, я велю тебе не только своей волей, но и волей Аллаха оповестить всех тфокотлей и зиусханов, взять их под свою команду.

– Да, зиусхан. Все тфокотли станут рядом, я в этом уверен, а вот с зиусханами...

– От моего, от имени нашей древней земли разговаривай с ними, а если среди них найдутся пустоголовые, то пусть не жалеют позже. А где мой сын Камболет? – удивленно спросил князь.

– У берегов Керченского пролива мы оставили часть своих воинов, командовать ими я поручил Камболету.

– Ты думаешь, Калакут, моему мальчику по силам такое важное и трудное дело?

– Напрасно, зиусхан, ты считаешь его мальчиком, он уже вполне возмужал, он – настоящий воин.

VII

Иван Грозный оставил войска, следовавшие походным маршем в Ливонию, и вернулся в Московию. Ходили по столице самые разные суды-пересуды.

– Дьявол возвернулся и пал на наши головы,– сокрушались одни.

– Все в руках Божьих, на все Его святая воля,– говорили другие.

– Явилась потеха опричникам Скуратову с Грязновым! – считали третьи.

Были и такие, кто не терял надежду на лучшее:

– Как знать, может быть, это правда к нам, грешным, пробивается...

Все узилища, темные подвалы, что называется, под завязку забили схваченными по повелению царя боярами, дворянами, дьяками. Говорили, пол в застенках не успевал просыхать от крови, говорили, воды не хватало, чтобы отмыть руки Скуратову, Грязнову и их сподручным.

Затихла, замерла в суеверном страхе Московия: не станет ли красной вода в Москве-реке от человеческой крови, не вздрогнет ли небо от царского гнева?

Царь, конечно, знал, что его прозвали Грозным, считая жестоким, даже бесчеловечным. Но почему? Ведь единственное, чего он хотел, так это чтобы Русь была сильной, была великой державой. И дело не в том, что он так хотел. Совсем нет. Не сам же он взял себе имя Иоанн, что означает – Божья благодать. Так нарекли его по святцам. Ведь не сам он захватил царский престол, это благословение Господа, наследство, пришедшее из глубины веков от его великого пращура Рюрика, которого русичи сами призвали на трон. Вот и получалось – он лишь выполнял волю его, а значит, и волю всех русичей, волю Руси православной.

Вот и теперь, в очередной раз, не он взмутил заговор против бояр, дворян да дьяков, а они сами против него, против священной воли государя, против святой Руси.

Затихла, замерла Московия...

Никого к себе не подпускал в эти дни царь, будто его как бы и вовсе не было в Кремле. Осунулся, даже сгорбился он. Не то озадаченно и испуганно, не то мстительно горели его глаза, выглядывая из глубины потемневших глазниц. Руки то грозно сжимались в кулаки, то повисали беспомощными плетьми.

Иногда он быстро и решительно начинал ходить от окна к дверям, от дверей к глухой стенке, будто пытаясь кого-то догнать, то обессиленно падал в кресло и закрывал глаза тяжелыми, изжелта-посиневшими веками, долго сидел в молчании.

Подошел он к шахматному столику, взял белого короля, долго думал и потом поставил на черное поле.

Белый король – на черном поле! Как хочется некоторым недругам, да и друзьям видеть его, белого царя, в черной могиле.

Зашел с обратной стороны доски и, подперев кулаками бедра, долго смотрел на шахматное поле – хмурился, щурился, спорил.

Передвинул несколько фигур взад, вперед, сделал кривой ход черным конем, а потом смахнул все фигуры на пол и пошел, хрустя, по ним тяжелыми шагами. Но вдруг остановился. Постоял, подумал и начал подбирать их, ставить каждую фигуру на положенное ей место.

С обеих сторон выстроил ряды пешек. Ему почудилось, будто черный ряд хочет ринуться на ряд белых. Замахнулся было, чтобы опять сбросить на пол, однако лишь усмехнулся, над собою посмеялся:

«Тоже мне, Аника-воин, развоевался».

Царица позвала его обедать. Сама позвала – никого другого в эти дни он не хотел видеть.

Перекрестились они у обеденного стола, царь неторопливо прочитал «Отче наш».

Молча поели.

Ни слова, ни полслова.

Царица знала – надо молчать, пока он не заговорит сам. Даже такое случалось – молча пообедают, он прочтет «Благодарю Тебя, Боже», и молча разойдутся.

Сегодня было иначе. После молитвы он указал ей на диван.

Сели рядом.

Помолчали.

Он заговорил, будто сам с собой.

– Старицкий не может мне простить, что его мать упрятал в монастырь. Все разыгрывает, будто его, ах, как несчастная матушка невинно пострадала. А я-то знаю – она по его наущению плела вокруг меня тенета, во сне и наяву видела своего сыночка на царском троне Руси. Вот тут и подумаешь: если брат затеял такую подлость, то чего можно ждать от чужих людей, от явных и тайных недругов... Как ты думаешь, Кученей, чего заслуживает мой братец за свои мерзостные проступки?

– Ты, великий государь, спрашиваешь об этом у меня?

– У тебя, Мария Темрюковна, у царицы православной Руси. Ну? Что же ты, будто споткнулась.

– Не споткнулась, мой государь, а просто с ответом на такой вопрос грех торопиться... Как говорят у нас:

родственники наши – это кровь наша, кровь нашего рода. Проливая ее, ты проливаешь свою кровь, но если родственники затевают против тебя черное дело, они перестают быть родственниками, и тогда, лиши жизни того, кто тронет твой глаз. А если ты еще и верховный предводитель, царь, то они, поднимая руку на тебя, поднимают ее на свой народ.

– Спасибо, Мария Темрюковна. Воистину, лиши жизни того, кто тронет твой глаз.

Улыбнулся довольный собою царь, заложив руки за спину, прошелся, приоткрыл дверь и велел позвать митрополита.

Поморщилась Мария Темрюковна:

– Не надо бы так, великий государь, Филипп – духовный глава державы.

– Ничего,– повысил голос Иван Грозный,– по благословению Господа я назначил его митрополитом, из Соловков в столицу взял, вот пусть и не забывает об этом. Он – только духовный, а я – самодержец всея Руси. Всея! Один! Ставленник Самого Господа.

– Да, государь, да, мой великий.

– Если он воистину духовный, то должен служить не только Богу, но и Его ставленнику, Его благословению, а он? Не верю ему. Его родственников, бунтарей Колычевых, я отправил в Соловки, о чем Филипп слезно сожалеет, и не мне, своему государю, а моим врагам служит-прислуживает.

– Да, государь. Русский народ – великий народ, а ведь тоже, как и у нас князья, знатные люди между собой грызутся.

– Ты думаешь, только у нас и у вас такое? Нет, Кученей, нет. Там, где власть, там и схватки за нее. Многие бояре и князья завидуют моему высокому трону, думают, я с утра до вечера, сидя на нем, только и делаю, что красуюсь с его высоты, мед-пиво пью и больше ничего. Они не знают, понять не могут, как эта высота терзает властителя бесконечными заботами, тревогами, не понимают, что царь, прожив день, стареет на два, а то и на целый месяц. Сердце его будто на горячей сковороде мается.

– А наши князья какие, ведь каждый из них хотел бы стать царем, покрасоваться на высоте трона.

– Да, красавица моя Кученей, каждый жаждет того, чего нет у него, но не знает настоящей цены тому, чем располагает,– горько усмехнулся царь, оголив желтеющие зубы.– Вот разделаюсь с тутошними делами, протяну тогда нашу путь-дорожку единоверцам в Закавказье, к армянам и картвелам. И тут, на Северном, наведу порядок – выбью оттуда турок и крымских татар, чтобы не смели обижать черкасов. Пусть твои единокровные братья живут, как им хочется, как видится им своя земля. Говорят, они еще не поднялись на такую высоту, не доросли еще, чтобы объединиться в одну державу. Вот и пусть растут, поднимаются, устраивают свою жизнь.

Мягко ступая, неторопливо, а скорее, осторожно вошел митрополит.

Без особого усердия поднялись ему навстречу царь и царица.

Увидев это, Филипп тоже без особого усердия благословил их владычным чином. Приложился к руке царя, как показалось ему, очень горячей. Опасно горячей. Или только показалось?..

Царица ушла, оставив за собою приоткрытой дверь в свою комнату.

Царь и митрополит неторопливо, как бы слегка важничая, сели друг против друга.

Помолчали.

– Русь – православная держава, а ты – ее архипастырь, значит, как велено тебе твоим высоким саном, высокой должностью и благодатью, данной Господом, ты каждое утро молишься о ее благочестии, о ее христианском покое: «Спаси, Господи, и помилуй богохранимую нашу державу, ее власти, воинство и самодержца ея». Так, кажется, владыко?

– Так, великий государь.

– Не только молишься, но и делом своим архипастырским помогаешь мне нести нелегкую государственную ношу. Таков долг твой, владыко.

– Да, великий государь, мы вместе с тобой несем на плечах своих эту ношу, определенную нам самим Господом Богом,– сказал митрополит, твердо расставляя слова – каждому слову свое строгое место.

Царь улыбнулся, исподлобья глядя на Филиппа:

– И ты думаешь, мы поровну несем ее?

– Не думаю, великий государь, а просто несу, как того требует мой архипастырский долг перед святой Русью, в которой мы с тобой живем.

Поднял голову царь, насмешливее стал его взгляд:

– Хорошо бы, да вот иногда мне кажется, будто живем с тобой в разных державах, и ты заботишься только о своей, а не о нашей, единственной, святой.

Дернулся было встать митрополит, но передумал:

– Ты, государь, говоря так, берешь на свою душу тяжкий грех.

– Вы все только и норовите колоть мне глаза моими грехами, почему-то так получается – никому из вас и в голову не приходит, чего стоят эти грехи моему сердцу, сколько и какую адскую боль причиняют мне враги, Руси православной враги. Тебе бы, нашему духовному главе, следовало это знать да оберегать меня, Богом благословленного самодержца, от разных наветов!..

– После Всевышнего, государь, ты один возвышаешься над нами.

– Эти слова твои как бы пустые, сам сейчас это увидишь.

Наступившая тишина была угрожающей. Понимая это, митрополит молился про себя: «Боже, милостив буди мне грешному...»

– Ты знаешь, владыко, что вражеское отребье замышляло лишить меня трона, благословленного Господом, а то и жизни самой. Ты знаешь, что с верными мне людьми удалось предотвратить это страшное, богопротивное дело, все они теперь сидят в узилищах и ждут моего смертного им приговора. Вот ты, духовный хранитель святой Руси, и благослови меня свершить это правое дело.

– Ты волен свершать свои дела, а я не могу, мне не дано... Лишить жизни свои создания может только сам Создатель.

– Вот-вот! Весь ты тут и есть в своем вихлянии, в притворстве своем! – возвысил голос Иван Грозный.

Вошла царица:

– Как ты можешь, Филипп,– негромко заговорила она,– ведь отказываясь благословить смерть врагов Руси, ты благословляешь смерть великого государя от их подлой руки, смерть нашей святой державы.

– Ты – женщина, Мария Темрюковна, я – священник, лучше нам не вмешиваться в государственные дела.

– Женщина? – улыбнулась Мария.– Но я – царица великой Руси.

Митрополит, зная единовластное самолюбие царя, вопрошающе посмотрел на него.

– Да, владыко,– усмехнулся Иван Грозный,– слово царицы всеедино, что и мое.

– Но, государь,– побледнел Филипп,– великий государь Иван Васильевич! Когда ты звал меня из Соловков в Московию на митрополичью кафедру, то обещал мне свободу священнослужителя, дарованную самим Господом.

– Свободу оберегать врагов государства нашего, Филипп, тебе никто не давал.

Митрополит решительно встал, распрямив плечи, поднял непокорную голову...

Спустя несколько дней Иван Грозный зашел в Успенский собор и обратился к митрополиту:

– Там стоят враги Государства Российского, они приговорены к смерти и сейчас будут казнены. Иди к ним, исполни свой священный долг.

Митрополит молчал.

Царь повторил второй раз, потом – третий...

– Я не пойду! – ответил митрополит.– Я не хочу, не стану обагрять свои руки кровью ни в чем не повинных перед Русью людей. Смотри, настанет твой час – и Господь спросит с тебя!..

– Закрой рот!

– Хорошо, закрою. Силой своей ты можешь меня заставить, но этому Божьему храму, всей Московии не прикажешь – они такое не предадут забвению, будут помнить о нем в веках...

Царь созвал архиерейский собор России, рассказал на нем «о непотребном поведении» митрополита Филиппа. Архиереи, напуганные многочисленными арестами и казнями, были смиренно покорными, обвинили во всех грехах Филиппа, которого, как потом ходили слухи, увезли в Тверь, не то заключили в темницу, не то сожгли заживо.

По всей Руси прокатилась новая волна арестов и казней.

Царь Иван готовился к казни в Московии трехсот узников. О том говорили на улицах и перекрестках, на базарах, в церквях.

И не понять, чего больше было в этих судах-пересудах, то ли суеверного страха, как перед стихией, или жалости и слез, ожидания чего-то невиданного, даже удивительного, как иные говорили, страха перед Божьим судом. Уже сооружали на Красной площади виселицы, плаху, ставили заостренные колья...

Царь и царица играли в шахматы.

– Шах и мат, мой государь.

– Да,– досадливо почесал затылок Иван Грозный,– отвлекся я мыслью, вот и прозевал.

– Прозевал – это тоже проигрыш,– засмеялась Кученей.– Раз проиграл, значит, должен уважить мою просьбу. Возьми меня завтра с собой на Красную площадь.

– Ну-у! Зачем же? Женщине с ее нежным сердцем совсем это не подходит.

– Но ведь мальчишки наши идут с тобой. Почему ты думаешь, что мое сердце слабее, чем у них?

– Но они уже совсем не мальчики, и потом мужчины должны привыкать к жестокостям нашего грешного мира, тем более если это царские сыновья, наследники престола... Не знаю, не следует тебе туда ходить. Будут там ротозеи свои зенки на тебя пялить.

– А если я оденусь в мужскую одежду и пойду тайно?

– Ну что мне с тобой делать! Ладно, будь по-твоему, только нельзя тебе быть одной. Неспокойно на душе у меня будет. Возьми с собой несколько женщин. Тоже переодетых. Ох, Кученей-Кученей, царица ты моя!

И наступило то солнечное, безветренное утро, быть бы ему для московичей веселым да радостным, но во всех церквах ударили в набатные колокола. Они с глашатаями звали всех на Красную площадь, где будет исполнена царская воля мести врагам России. И оттого, что женщин не велено пускать туда, она обещала быть чем-то невиданно суровым и грозным. Многие мужчины не хотели бы идти туда, видеть черную хмарь, надвигавшуюся на святую площадь, но их настигали палками, плетями и бердышами опричники.

Скоро на площади стало невпроворот тесно. Какая-то гулкая и сторожкая тишина повисла над нею.

Вдоль ряда виселиц и кольев, у плахи, у громадного котла с кипящей водой стояли в черном одеянии и масках палачи. Казалось, от них-то, безлико-черных, и исходила эта гулкая, угрожающе глухонемая тишина, которая должна взорваться людскими страданиями.

Из Спасских ворот Кремля на сером в яблоках коне выехал царь с отрядом опричников.

Малюта Скуратов, привстав на стременах, зычно скомандовал:

– На колени перед великим государем всея Руси!

Народ был смиренным и послушным. А из приговоренных только несколько человек повиновались команде Малюты, большинство же продолжало стоять. Некоторые даже вскинули к небу непокорные, гордые взгляды. Палачи начали силой принуждать их, но царь поднял руку:

– Отстаньте от них. Если бы даже захотели – им нечего приклонить, они ведь уже безголовые.

Сдержанный гул людского удивления прокатился над Красной.

Поддерживаемый двумя дюжими опричниками, Иван Грозный спустился с коня, поднялся на возвышение, отдельно для него сооруженное. Протянув обе руки, голосом повелителя произнес:

– Поднимись, народ мой, народ православной Руси, восстань на врага своего, покажи ему свою могучую удаль и силу.

Угрожающе глухонемая тишина взорвалась гулом одобрения и восторга.

Взорвалась и опять стала тишиной.

Заговорил царь:

– Будь эти людишки лишь моими врагами, я как истинный христианин простил бы их, но они ведь враги Богохранимой Руси, ваши, всего моего народа враги. Они хотят растащить по своим углам нашу великую Отчизну, мыслят вернуть Ливонии и Польше отвоеванные нами исконно российские земли на Балтии, наши древние города. Вот подлинная бумага их тайного предательского сговора. Но с великой помощью Всевышнего, русские воины, вы, ваши дети разгромили их!

Новым гулом, взрывом одобрения отозвалась многолюдная площадь.

– Великой Богохранимой Руси слава!

– Великому государю нашему – многая лета!

Иван Грозный поднял руки, прося тишины:

– Спасибо, народ мой, что ты со мною, с нашей державой!.. Здесь стоят триста государственных преступников. Я решил: сто двадцать из них, самых лютых, предать смерти, а остальных же сто восемьдесят отправить в студеные края Белого моря. Пусть поживут там, и когда сполна осознают свою вину, тогда, может быть, и помилую их.

Новая волна гула прокатилась над площадью, над Московией.

– Скуратов, вели приводить приговор в исполнение! Начни с главных организаторов предательства – с Челяндина и Висковатого.

Люди в черном занялись своим черным делом...

К Малюте Скуратову подошел старший из опричников, о чем-то долго шептался с ним.

– Думаешь, это именно так? – усомнился Малюта.

– Да. Гонцы эти – наши верные люди, так что докладывай государю. С этим медлить нельзя.

Сказал Малюта царю, что тридцатитысячное войско Турции и Крыма идет войною на Русь.

Иван Грозный, увлеченный, разгоряченный зрелищем казни, не сразу понял, о чем ему говорил Скуратов.

– Подожди-подожди, о какой войне ты глаголишь? При чем тут война?

– Турки и крымские татары идут на нас, тридцать тысяч конного войска движется...

Царь шепнул Малюте:

– Тс-с, не дадим перед смертью подлым врагам порадоваться нашей беде... Скажу, Лукьяныч, я ждал этой вести со дня на день, и еще скажу тебе: сегодняшняя наша беда завтра обернется для Руси великим благополучием – она станет твердой ногой на благодатном Кавказе. И мы не одни там. Отбиваясь от исконных врагов, защищая свою родину, с нами рука об руку стоят храбрые воины – черкасы...

К вечеру на Красной площади все было кончено: громыхая кандалами, уходили на угрюмый север оставшиеся в живых, покачивались под ветром повешенные, умолкли

посаженные на колья, увезли на телегах туловища и отрубленные головы. Поливая из бочки, православные русские люди смывали водою Москвы-реки с плахи кровь таких же православных русских.

А дома с распростертыми объятиями его встретила царица Мария:

– Иди, я обниму и, как ты говоришь, облобызаю тебя, великий государь. Господом данный мне в мужья.

Она обняла его, поцеловала, он легонечко отстранил ее от себя:

– В такой день такая ты праздничная, Кученей! Что за радость у тебя?

– Разве не знаешь, мой повелитель? – вскинула она черные, летящие брови, украсила улыбкой глаза.– Разве твоя победа над врагами твоими, над злодеями, которые предают свою родину, мать свою, которые убили нашего мальчика, разве это не праздник победы добра над злом?

– Что ты говоришь, Кученей?! Там,– он протянул руку в сторону опустевшей Красной площади,– разве там праздник и радость?

Она нахмурила брови.

– Даже у Всевышнего праздник победы над злом не бывает без этого. Разве ты забыл о Содоме и Гоморре?

– Ну-у, Кученей! Вон ты куда повернула, тогда, конечно! И все-таки...

– Одному Богу известно, когда все будет иначе, великий государь.

– Великий,– задумчиво проговорил Иван Грозный, стоя спиной к окну, за которым находилась Красная площадь. Помолчал и потом продолжил.– Вот какие дела – Турция и Крым двинулись на нас войной.

– Как?! – не поняла она царя.

– Их тридцатитысячная армия движется на нашу крепость Терки, на Астрахань, а потом... Я пошлю наши лучшие войска, с лучшими воеводами. Дам много пушек, пищалей, ручниц. Вместе с черкасами, на которых я очень надеюсь, мы разобьем их!..

– Думаю, великий государь, ты повелишь отслужить в церквах Московии напутственный молебен нашим воинам.

И было так.

Ушли войска.

После того дня жизнь в Московии потекла своим будничным порядком. Вроде бы размеренным и тихим, будто бы и не было того страшного дня на Красной площади, а если и был, то его вроде бы и вовсе забыли московичи, забыли, чтобы не вспоминать. Только ведь люди живут сами по себе, а их память – сама по себе. У человека одна жизнь, а у людской памяти не всегда и сочтешь.

Слушал эту тишину Московии Иван Грозный и не верил ей, точнее, не совсем верил. Чутко прислушиваясь, щурясь, присматривался, будто ее можно увидеть. Всю еду, что им с царицей приносили на стол, сначала должен был кто-то из прислуги попробовать. Он сам себе подстригал бороду и усы, никого не подпуская к себе с ножницами, не отлучался без надобности из Кремля, соблюдал другие предосторожности.

Ушли войска, и между Кавказом и Московией установилась живая связь: одни за другими отправлялись конные гонцы на Кавказ с распоряжениями, так что царь с небольшим опозданием знал обо всем происходящем на войне, в том далеком краю.

В сентябре русские войска вместе с адыгами не только остановили войско Касим-бея, но и окружили его, грозясь разгромить напрочь. Не ожидали турецкие паши такого исхода, отправляясь в дальний поход.

Об этом донесении с Кавказа царь не без некоторого восторга и сообщил Кученей.

– Доносят мои гонцы, что твои черкасы отличились своей храбростью, хорошо потрепали турок. Наше русское, великое им спасибо... Говорят, в вашем краю бывает очень хорошая осень?

– О, да, душа моя. Погода бывает просто чудесная. Осенним цветом красиво одеваются горные леса, будто поднимаясь своей красотой к небу. А сады, а виноградники, а бахчи!

– Послушай, голубка, ты не хотела бы побыть дома?

– Ну, зачем ты меня дразнишь?! Не надо...

– Очень надо. Я хочу быть там, хочу сам командовать своими войсками, когда они будут громить наглых турок и крымцев.

– Конечно, конечно! Дай я обниму тебя, душа моя!.. Я готова хоть сейчас! Мне кажется, полечу туда на крыльях.

– Не сейчас, а дня через три! – обрадованный почти по-детски искренней радостью Кученей, он и сам был готов хоть сегодня отправиться в путь.– Но, Кученей, пока никому ни слова об этом. Когда будешь готовить подарки, с которыми поедем, постарайся, чтобы никто о нашей поездке не догадался.

А на следующий день утром к царю почти вбежал Вишняков:

– Царице плохо, совсем плохо, тебя кличет...

Царь опрометью кинулся в ее спальню.

– Что с тобой, радость моя?! Лекаря сюда! Всех лекарей! Господи, Господи! – стал на колени царь у кровати Кученей.– Не молчи ты, голубка, молви словечко.

Гасли глаза царицы, дрогнули посиневшие губы. Она с трудом подняла бледную руку, опустила на грудь:

– Здесь... горит...

Это были ее последние слова...

Дрожащими губами он поцеловал ее холодеющую руку.

Встал.

Во весь рост поднялся.

Воздел в гневе дрожащие руки.

Грозно, чуть не взрывом прошептал:

– И ее отравили!.. Ужо я вам, нелюди!..

Стал на колени перед киотом с горящей свечой и лампадой:

– Прими, Господи, с миром в Царствии Небесном душу отошедшей к Тебе рабы Твоея Марии.

Был послеобеденный час, сентября первого дня, тысяча пятьсот шестьдесят девятого года от Рождества Христова.

VIII

Турецкие войска Касим-бея и крымские Адыль-Гирея стремились прорваться в Астрахань, но в боях понесли такие потери, что отказались от этого намерения и повернули к городку Терки. Там тоже их постигла неудача.

Терские казаки и кабардинские ополченцы оказали такое ожесточенное сопротивление, что Касим-бей решил повернуть войска назад, однако путь ему преградили посланные Иваном Грозным полки из Тулы и Серпухова.

Касим-бей ожидал подкрепления из Крыма и, чтобы уцелеть, избежать окончательного разгрома и постыдного пленения, затеял как бы мирные переговоры с русскими и кабардинцами. И вот наконец прискакал долгожданный гонец с вестью: крымская конница спешно движется ему на помощь.

Восторжествовал Касим-бей:

– Теперь уж мы как следует проучим гяуров и кабардинцев, будут помнить нас до скончания века!

– Конечно, светлейший паша,– согласился Адыль-Гирей и, поморщившись, добавил.– Вот только нам может напортить Калакут со своим войском, хотя и простолюдин он...

– Какой еще Калакут?! – возмутился Касим-бей.

– Предводитель тфокотлей в Жанее.

– Подожди-подожди! Разве Жанея, расположенная на левобережье Кубани, не Турции принадлежит?

– Получается, Жанея сейчас ни Турции, ни Крыму не принадлежит,– вздохнул Адыль-Гирей.– Там сейчас и хозяйничает Калакут.

– Мужик хозяйничает?! Надо его проучить!

– О, нет, светлейший паша...

– Что ты заладил «светлейший-светлейший» – дело говори,– угрожающе поднялся в седле Касим-бей.

– Дело говорю. Тот, как ты сказал, мужик – богатырь телом и предводитель умом. Очень крепкий орешек, о который можно зубы сломать... В его войске есть и князья, и дворяне.

– Ну ладно, хватит горячиться,– примирительно улыбнулся паша,– пойдем, посидим под кустиком. Все в седле да в седле, по земле уже соскучился.

Прилегли они на пригорке в тени терновника.

– Послушай, Адыль-Гирей, надо его задобрить, а? Золотишком или хорошим скакуном под седлом, дорого отделанным.

– Не знаю, но вряд ли получится, уж очень высокие слова о нем говорят: о чести, о родине, об адыгстве...

– Ну! – приподнявшись, обрадованно воскликнул Касим-бей.– Я ведь по рождению хоть наполовину, но тоже адыг. Даже горжусь этим! Неужели, если встречусь с ним, неужели два адыга не договорятся?

– А что же мы тогда с адыгом Темрюком не можем договориться, кровь своих соотечественников проливаем?

– Э-э! У Темрюка сердце гяура. А я, хотя и родился в Турции, служу ей, люблю ее, а по адыгской земле, по земле моей матери, так иногда затоскую!.. Да! Послушай, Адыль-Гирей, а что с твоим хваленым Пшиапшоко, когда он станет под нашу руку, что слышно от него?

– А ничего не слышно. Мой отец говорит: все Пшиапшоковы – большие мастера играть в молчанку и самую большую выгоду от нее получать... Сибок и Ацамук Каншауковы, братья Кайтукины и их сыновья, Калакут, тот же Темрюк – они адыги и вольны на своей земле поступать так, как им хочется, и ты, коли считаешь себя адыгом, должен хорошо их понимать. Вот соединимся с нашей конницей, сделаем свое дело, и я тогда дотла сожгу всю Жанею! Всю Кабарду сожгу!

Калакут понимал, что Давлет-Гирей не оставит в беде войска своих союзников, пошлет на выручку из Крыма помощь. Понимал и потому вдоль пролива устроил в местах возможной переправы врага надежную засаду.

Давлет-Гирей, предвидя это, велел перемещать по берегу пролива пешие войска, делая вид, будто готовится к переправе, а тем временем конницу повел вдоль берега Азова на выручку попавшим в окружение.

Знали об этих приготовлениях и Касим-бей с Адыль-Гиреем, а потому решили глухой ночью нанести удар в место стыка русского и кабардинского войск.

В предрассветной мгле противники сошлись в жестокой схватке.

Адыль-Гирей, увидев возможность вырваться из окружения, повел свою конницу, что называется, напролом, бросая на поле боя убитых и раненых, не разбирая пути-дороги. Из пехоты Касим-бея, может быть, лишь половине удалось уйти от преследования противника.

После боя, спешившись, стояли на пригорке князь Темрюк с сыновьями, воеводы Дашков и Ржевский.

Из-за дальнего кургана выглянуло солнце, пока еще только его тоненький краешек. Со стороны гор слегка подул ветерок.

– Конец – всякому делу венец,– улыбнувшись, сказал Ржевский.

Наверное, только благодаря этому «венцу» пятеро мужчин как бы впервые увидели краешек солнца, впервые услышали ласковый вздох ветерка. Увидели и засмотрелись, услышали и заслушались.

– Спасибо вам, воеводы, за этот венец,– сказал Темрюк.

– Я думаю, княже, это наш с вами венец, один на всех,– ответил Ржевский.– Еще позволь пожать руки твоим сыновьям-молодцам. Доманук достоин высокого геройского звания, как у нас говорят. Будучи раненым, он не только не покинул поле боя, но еще и храбро сражался. Ну, а что касается Мамстрюка, так у меня и слов нет. Мы еще в Московии любовались его богатырской силой, а нынче! Как он орудовал мечом, сколько положил врагов наших! Хоть дорогу мости ими.

Краской смущения и гордости залился Темрюк и, крепко пожимая воеводам руки, с княжеским достоинством проговорил:

– Спасибо вам, вашим воинам от всего нашего народа. Спасибо от стариков, которые спокойно теперь будут доживать свой век, спасибо от мальчишек, которые теперь обязательно вырастут достойными мужчинами... А павшим в этом бою – вечная память.

– Да упокоит Господь их души во Царствии Небесном своем,– произнес Ржевский.

Воеводы широко, с глубокими поклонами перекрестились...

Далеко за околицу вышли жители Идарии встречать своего князя с воинами, встречать своих победителей, избавителей от рабства, от жестоких разорительных набегов.

Победа добра над злом, свобода над рабством добываются слезами и кровью. Слезами горя и радости, кровью души и тела. Вот с этим и вышли навстречу своим воинам и князю с сыновьями жители Идарии, жители страны

22 Заказ 06

горы Ошхамахо – горы счастья, страны поднебесья и просторных равнин с садами и виноградниками, страны быстрых, звонких рек – Терека, Баксана и Малки.

Мужчины и женщины, седовласые старики и старухи, мальчишки и девочки принесли в дар победителям слезы печали, радости и искренней благодарности, исходящей из самой глубины души.

До позднего вечера в княжеский двор все шли и шли сельчане, чтобы просто посидеть во дворе под вековым дубом, в княжеской гостиной, приходили, чтобы тихими словами, взглядом своих добрых глаз сказать князю и его сыновьям свое спасибо.

Утром главный князь Кабарды побывал во всех домах, где оплакивали павших в бою, во все селения послал гонцов со словами своего сочувствия, сострадания и великой благодарности.

А в полдень, когда солнце поднялось на свою высоту, к Темрюку прискакали два всадника и рассказали, что на Жанею напали крымцы. Они не только грабят, но и жгут селения, убивают всех, кто подвернется им под саблю.

Темрюк, положив обе руки на эфес кинжала, долго ходил перед гонцами, тяжело ступая по полу.

Остановился перед ними наконец:

– Передайте жанеевцам, что мы их не оставим в беде.

Распорядился князь Темрюк и со своею дружиной поскакал в городок Терки, сообщил воеводам о беде в Жанее. Сказал, что кабардинцы, да и другие адыги готовы идти на помощь, но... без поддержки русских им может оказаться не под силу одолеть огромную конницу крымчан.

Заходил, зашагал Ржевский, угрожающе размахивая руками, а Дашков спокойно ответил князю:

– Мы знаем, что происходит в Жанее, нам уже донесли наши лазутчики. Знаем и душою своею болеем за них, но только душою. Царским повелением нам запрещено вмешиваться в дела левобережья Кубани, поступить супротив воли царя не имеем права.

– К сожалению, это так,– отозвался Ржевский,– хотя я готов проучить крымцев. Думаю, и наш царь-батюшка хочет того же, только вот... без его слова мы не можем идти на левый берег.

– Тогда надо немедля сообщить великому государю! – воодушевился Темрюк.– Думаю, мой зять прислушается к моему слову, не откажет в помощи нам.

Воеводы переглянулись. Они поняли – князь еще не знает о кончине своей дочери. Поняли, но решили пока не говорить об этом, не время.

– Конечно, князь, конечно,– согласился Ржевский,– надо донести государю, но ведь пока наши гонцы доскачут до Московии и вернутся обратно с приказом, пройдет больше двух недель. А за это время вороги зальют кровью Жанею, сожгут ее всю...

Когда Темрюк вернулся домой, его ждало уже больше трехсот вооруженных всадников, готовых выступить в Жанею. По пути к ним присоединялись и присоединялись добровольцы, готовые помочь своим единоплеменникам.

Князь Сибок встретил Темрюка, не скрывая радости:

– Я знал, зиусхан, что ты не оставишь нас в беде. Да возблагодарит тебя за это Аллах.

– Мы все своевольничаем, пока не грянет над нами Господня кара... С помощью войск Руси мы как следует разделались с Адыль-Гиреем и Касим-беем. Оба воеводы – славные люди, они душой со всеми нами, но не могут без царского приказа перейти на левый берег. А самим нам будет очень и очень трудно, ведь конница Давлет-Гирея, наверное, вдвое больше нашей.

– Не думаю,– возразил Сибок,– всех нас больше, чем ты полагаешь, ведь к нам, кроме вас, пришли по своей воле беслинеи, абазины, абадзехи, махоши, темиргойи, бжедуги и, конечно, войско Калакута. Пожалуй, пора трогаться.

– Зиусхан, как же ты с больными-то ногами? Оставайся здесь.

– Нет-нет, мой друг, это я когда сижу здесь сиднем, плох, а в седле еще померяюсь силой кое с кем из мерзких крымцев. По коням!

Сибок с Мамстрюком и Балгайруком повели своих и воинов Темрюка выше заболоченного пролива. Солнце уже клонилось к закату, когда в низине показались сотни всадников. Они шли прямо на них крупной рысью. Сибок поднял руку:

– Это наши! Или вы не видите – впереди Калакут! Как он могуч и красив в седле, да хранит его Аллах.

Рядом с Калакутом ехали предводители дружин – Ацамук, Псамит, Дзегашт, Даур, Шиблан, Ванатуг, Хатай, младший сын князя Сибока Камболет. Каждый из них сам по себе – предводитель, каждый – со своим честолюбием, со своей жизненной тропой, но когда над всеми ними занесли грозный меч враги, они, воины, сплотились единым стремлением к победе над этим врагом.

Видел это князь Темрюк, радуясь, и сердце его билось ровно. Он попросил:

– Расскажи о своих планах, Калакут.

– Мы собрались, чтобы все еще раз обдумать, зиусхан. Каждой из дружин уже определено свое место, своя задача. Враги пока притихли, похоже, замышляют что-то коварное. Сейчас наши лазутчики рыщут повсюду, все вызнают, чтобы мы потом могли принимать безошибочные решения. А тебе, зиусхан, с твоими воинами я бы вот что определил, если, конечно, будет твое согласие. На востоке, выше селения Джагун, клином входит в наше расположение обширная долина, очень удобная для нападения на нас с тыла. Хорошо, если ты со всеми, кто присоединился к тебе, закроешь ее, как говорят, на замок. Правда, крымчаки могут и не пойти той долиной на нас, если задумали какую-то другую хитрость. В таком случае вам надо кинуться на них – ведь они с той стороны никого не ждут. Этим вы нам очень поможете. Если же они все-таки решат наступать долиной, я построю свою конницу клином и вобью его в их ряды, расколю надвое. А потом, промчавшись насквозь, мы развернемся и станем бить их с боков, с тыла... Ну, что скажешь на это, главный князь Кабарды?

Улыбнулся Темрюк:

– Не боясь перехвалить тебя, скажу принародно: ты – настоящий, достойный предводитель.

Незадолго до рассвета лазутчики донесли: главные силы крымской конницы движутся широким фронтом от заболоченного залива к селению Джагун.

Дружины Калакута, Псамита, Ванатуга и Айдара, как и задумано, острием клина врезались в неприятельские ряды и, пройдя насквозь, развернулись, навязав бой в невыгодных для врага условиях.

У обрывчика над болотом сошлись два заклятых врага – Калакут и Сарбай. Два гиганта, два искусных бойца.

Сеча была долгой и жестокой. И вот Калакут, уловив момент, нанес смертельный удар. Сарбай судорожно вздрогнул, привстав на стременах, и рухнул с седла.

Никто не заметил, как был сражен воин, неотступно прикрывавший своего предводителя сзади, да и как могли увидеть, если убил его свой, адыг...

Незадолго до смерти Тахо на пасеке позвал своего старшего байкола Начака:

– Пойдем, посидим у ручейка, вон у того валуна...

Огляделся по сторонам князь – нет ли кого рядом. Уселся на траве, свесив ноги к журчащей воде, вынул из-за пазухи кожаный кисет, положил на ремень, умышленно звякнув золотыми монетами, мол, понимай, не пустяковый разговор будет.

Понял, конечно, Начак. Изумился он, широко раскрыв глаза.

– Камень этот, славный мой Начак, хранит черную тайну,– начал, не торопясь, Тахо.– Ты знаешь, мое небольшое зиусханство – одно из лучших на всей адыгской земле. Нет скакунов резвее моих, нет лучше моей пасеки. А моя тонкорунная овца! Шерсть ее покупают только для дорогих одежд. Даже для ханов, султанов и царей! Скажи, Начак, честно, правду я говорю или нет?

– Зачем спрашиваешь, зиусхан, у любого человека от Каспийского до Черного моря спроси, и каждый скажет: чистую правду.

– А откуда это богатство у меня? – Князь положил руку на камень, погладил его.– Все это его, камня черной тайны, работа. С такой болезнью, как у меня, люди долго не живут, умирают еще молодыми, а я? Трижды должен уже умереть, но во мне – сила камня черной тайны, его сила... Есть такие люди, которые говорят, мол, Тахо злой человек. Не маши, не маши, Начак, они правы, но! – Князь поднял палец к небу.– Но! Добро летуче и легкокрыло, как глупая бабочка, а зло?! Оно могуче и постоянно, как этот вечный валун. Если бы не было зла, люди не знали бы, что такое добро. А еще, Начак, зло живет на грешной земле, чтобы творить добро. Это зло во имя добра. Ты согласен со мною?

– Еще бы, зиусхан. Я знаю, как и все, что ты мудрый человек. Спасибо тебе за науку.

– Теперь слушай внимательно. Этот вонючий тфокотль Калакут изображает из себя умника, страдальца за всех адыгов, а на самом деле норовит согнать их в одну кошару и быть ее хозяином, быть царем!

– Да, зиусхан! Слава Аллаху, мы в достатке и мирно живем под твоей тенью, и пусть никто не трогает нас!

– Правильно, аферым, я всегда ставил тебя выше других. А теперь скажи: убрать этого верзилу с дороги, из жизни нашей – это добро или зло? Впрочем, не ломай себе голову: это зло во имя добра. Святое зло! Возьми вот кисет и убери эту нечисть со священной земли адыгов. Когда свершишь дело, я дам тебе еще один, а может, и два кисета.

– Все будет, как ты повелел, зиусхан...

На Калакута напали два крымца. Он яростно отбивался, и вот, когда неприятельские всадники под сокрушительными ударами начали пятиться назад, готовясь кинуться в бегство, сзади незаметно подкрался Начак... Подлый удар меча оказался смертельным для предводителя адыгов. Увиденное взбесило Псамита, словно молния, он метнулся к другу, в одно мгновение снес первому крымчаку голову и тут же – второму, его меч, сверкнув, обрушился на убийцу... Но Калакут был уже мертв, он лежал на траве, обагряя ее своей кровью...

Адыль-Гирей узнал, что пришел сюда князь Темрюк со своей дружиной, и, возгоревшись местью, напал на него втрое, а может, и вчетверо большими силами. Получалось так, что каждый кабардинский адыг сражался с тремя-четырьмя крымцами. И как телохранители ни старались охранять главного князя Темрюка, он был трижды ранен, истекал кровью.

Увидев это, Адыль-Гирей решил, что Темрюк мертв, и дал команду взять в плен его сыновей Мамстрюка и Балгайрука, затем спешно уходить.

С большими, очень большими потерями вернулась домой крымская конница. Далеко не всех раненых сумели взять они с собою, оставили на поле боя убитых. С большим трудом удалось им уйти от адыгов.

Хоронили Калакута с глубокой скорбью, со слезами всего народа. Были здесь Борэн, единственный сын Калакута, младший брат Накуры, внук Тлимафа Чечан, Джамбор с Ванатугом, Минач с младшими братьями, многие другие друзья и соратники. И, конечно же, Камболет, сын Сибока. Были на этих похоронах князья и дворяне, среди них и такие, которых смерть Калакута даже успокаивала. Ведь теперь им не надо бояться, что рано или поздно этот великий тфокотль может как-то потеснить их в правах, ограничить самостоятельность, принизить наследственную княжескую гордость.

Конечно, скорбел и Сибок по поводу кончины своего знаменитого соседа, хотя смотрел на Калакута, скрывая свою радость. Теперь ведь у него нет причины сомневаться, не займет ли тот место главного князя Жанеи. Теперь он не просто наследник, но и боевой предводитель, проливший кровь в сражении за добрую судьбу Жанеи. И дочь его после такой битвы не осталась вдовой – муж ее, Хатай, живой, здоровый, прославленный. О сыне своем Кудадеке, воеводе Александре, подумал: «Да хранит его Аллах на радость всем нам – и Черкесии и Руси...»

Еще неторопко, но все настойчивее холодный северный ветер уже гнал хмурые осенние облака. Навстречу ему море гневно вздымало свою могучую грудь, обрушивая волны на опустевший берег.

В дупле старого карагача, начавшего ронять пожелтевшие листья, то скорбно стонал, то хохотал, то жалобно плакал филин...

Этот бесстрашный воинственный народ мог бы составить сильную державу, если бы он не был подчинен стольким князьям, интересы которых всегда различны. Трусость наказывается самым сильным презрением. Их непрерывные споры и разделение власти между многими мелкими независимыми княжествами, интересы которых различны, к счастью, делают этот героический народ менее опасным.

П.С. Паллас

Адыгские князья были причиной бедствий своей Родины: спор за право владения никогда не прекращался. Не находя достаточно сил в своей стране, они призывали чуждых правителей и под предлогом, что отыскивают законное достояние, предавали ее на разграбление.

Шора Ногмов

ПОСЛЕСЛОВИЕ

А как потом сложилась судьба адыгов?.. Опять борьба и кровь, и слезы, опять страдания и смерть... Столетний старец – адыг по имени Кансав, всю жизнь проживший высоко в горах, говорит, будто видит и слышит всю Черкесию. Он говорит, что простор между Азовским и Каспийским морями с его бесконечными степями, белоснежными горными вершинами, который называют Северным Кавказом,– это один из самых дорогих на земле самоцветов.

И сколько существует подлунный мир, столько бесконечных лет тянулись жадные руки пришельцев к этому сказочному краю, разделяя его и властвуя, проливая кровь проживающих здесь народов. В завершающие века второго тысячелетия в этом особенно усердствовали Турция, Россия, Персия и несколько ханств – Крымское, Ногайское, Астраханское.

Усердствовали во имя своего ненасытного богатства, во имя самолюбивой славы, убивая братьев своих, поливая их кровью землю.

Вот и теперь, надолго ли пришел в Черкесию мир? Да и пришел ли? И мир ли это, если над землями адыгов по-прежнему черной тучей висит угроза со стороны Турции, Крыма, России?

Да мир ли это... Ведь уже после того, как закончилась война, умер от тяжелых ран Темрюк, а многие продолжают мучиться от них в горячечном бреду, ожидая своего упокоения. Для них ведь все еще продолжают греметь выстрелы, угрожающе звенеть мечи, пылать мирные селения.

Умер главный князь Кабарды Темрюк, сын Идара, внук славного Инала, умер, не зная, куда увезли его плененных сыновей Мамстрюка и Балгайрука, какая участь их ждет впереди.

Не знал он, что его сына Султана, в крещении Михаила Черкасского, одного из лучших своих воевод, царь Иван Грозный по ложному доносу, после сожжения Мос-

квы крымскими татарами в 1571 году, посадил на кол, а спустя время, когда открылась ему правда, горько раскаялся в своем поступке.

Не ведал отец, что его младшая дочь Гошевнай, в крещении Мария, царица всея Руси, прожившая в мире и любви с государем более восьми лет, была отравлена боярами и с почетом похоронена в Вознесенском монастыре Московского Кремля.

Не знал...

Его старшая дочь Алтынчач, жена хана Бекбулата, родила ему внука Саид-Булата, в крещении Симеона Бекбулатовича, сначала хана Касимовского, а потом в течение двух лет некоронованного царя всея Руси, затем монаха Кирилло-Белозерского монастыря Стефана, впоследствии ослепленного недругами. Сама Алтынчач, мать прославленного замученного монаха, умерла в Касимовском ханстве и была погребена на мусульманском кладбище.

Не знал он, в каком кочевье ногайской степи похоронена его средняя дочь ханша Малхуруб.

Не знал...

Старый Кансав покачал седой головой: «Если бы Темрюк, сын Идара, предвидел, какие беды ожидают его род, он, истый мужчина, истинный адыг, сказал бы: «Значит, такова воля Аллаха».

И еще: что же случилось с турецкими, крымскими, русскими адыгами, правителями и воеводами этих стран, почему они не протянули руку помощи своему многострадальному народу? Наверное, прав был известный в те времена Иоган де Галонифотибус, сказав, что «адыги чрезвычайно талантливы, способны к различным делам, но не в собственной стране».

В подтверждение сказанному, забегая вперед, назовем этих выдающихся людей. Не может не удивлять, что в цивилизованных кругах того времени адыгов, людей, так сказать, из какой-то неведомой страны, какой-то Тмутаракани, называли... дикарями...

Вот некоторые из адыгов, ставшие видными деятелями России того времени: Михаил Темрюкович Черкасский, о котором говорилось выше, стал одним из видных военных и государственных деятелей, первым боярином среди адыгов России. Тяжелые испытания выпали на долю Мамстрюка в крымской неволе, но он сумел выйти из них

живым и даже стал впоследствии главным князем Кабарды. (А судьба младшего брата Балгайрука в той неволе осталась до сих пор неизвестной). Однако Кайтукины не простили Мамстрюку враждебных отношений с ними, однажды заманили к себе вместе со старшим братом Домануком и убили. Его сын Дмитрий Мамстрюкович являлся видным членом Земского собора России. Борис Камбулатович занимал высшие государственные и военные посты в державе Российской, выходил и воспитал в ссылке будущего основателя династии российских царей Федора Никитовича Романова. Иван Борисович после смерти патриарха Филарета, отца первого царя из рода Романовых, стал фактически главой русского правительства. Правил всей Россией. Из этой же родовой ветви Яков Куденетович, один из богатейших землевладельцев России, был главой правительства.

Михаил Алегукович Черкасский 14 декабря 1695 года стал первым генералиссимусом России. Это он придумал и создал «потешные полки» Петра Первого.

А Михаил Яковлевич Черкасский? Его сыновья – Петр и Алексей. Долгое время Алексей Михайлович служил губернатором Сибири, а 10 сентября 1741 года стал канцлером России. В своем письме царь Петр I благодарит его «...за неусыпное исполнение государственных дел, приумножение денежных доходов и хлебных запасов, беспристрастное и бескорыстное управление, учреждение железных заводов для отливки пушек, мортир, гаубиц, за делание в Тобольске фузей, тесаков и других орудий, необходимых к обороне не только Сибирского, но и Московского и прочих государств, подвластных великому государю, также за отыскание в Сибири селитры и за верность и усердие в службе в самом Тобольске...»

И еще многие и многие князья Черкасские были видными, властительными россиянами, стояли у истоков Государства Российского. Потомками черкесского князя Рэдэда являются Сорокоумовы, Колтовские, Кошкаревы, Астафьевы, Лопухины, Лупандины, Телегины, Елизаровы, Добрынские, Одинцовы, Кокошкины, Симские и многие другие знаменитые дворяне России, среди которых и прославленный флотоводец Федор Ушаков. Выдающееся место в отечественной истории занимает и адыг Хан-Гирей, командир Кавказско-Горского полуэскадрона при импе-

раторе Николае I, его флигель-адъютант, один из образованнейших людей своего времени.

Это в России, а в Турции? В XVI, XVII и XVIII веках черкешенки были женами султанов Сулеймана I, Ахмеда III, Мустафы III, Мурада V, Селима III, Абдул-Хамида II. Они родили им несколько турецких султанов. Были черкешенки также женами иранских шахов Абаса I и Абаса II, грузинских царей, шамхалов Кумыкии.

А черкесские мамлюки?! Они создали могучую державу и властвовали в X–XIX веках в Египте, на Ближнем Востоке...

Теперь о Западном Кавказе того давнего времени. Умерли жанеевские князья Тахо и Жанэ, удавился посаженный на цепь обезумевший Цахо. На их похоронах, как и полагается по обычаю, люди говорили: «Пусть земля им будет пухом».

Улыбнулся старый Кансав:

– Такие эти князья, что и неизвестно, будет им земля пухом или нет, а вот прахом, пожалуй, стала. Еще при их жизни.

А о Калакуте, Дзегаште, Айдаре, Псамите, Дауре, Матыже, погибших в боях с врагами, говорили другое: «Не так уж много добра на нашей грешной земле адыгов, а после смерти этих славных воинов его стало еще меньше».

А князь Сибок?

Приближался день всеобщего хасэ. День, который, как он считал, скажет последнее слово о его многотрудной, многозапутанной и зачастую неудачной жизни. Всего лишь один день, но он может стоить всей его жизни.

Князю вспомнилась старинная, даже, может, древняя, как солнце, как само небо, поговорка, и он громко самому себе ее произнес: «Все будет так, как должно быть, даже если все будет совершенно иначе».

Сказав, решил прогуляться по предвечерней прохладе. Не в седло он поднялся, как бывало раньше, а взял в старческие руки свой посох, с которым теперь подружился, как когда-то был дружен с седлом, со своим конем.

Вышел за ворота. Тихо, пустынно на улице. Раньше Сибок не любил этой пустынности, тишины, а теперь она была ему по душе: разве приятно показывать людям свою старческую немощь? Ему – главному князю Жанеи.

Тоскливо и призывно заржал конь, почуяв хозяина. Дрогнуло сердце Сибока – тоже тоскливо. «Потом, потом, на обратном пути зайду к тебе. Обязательно зайду».

Приближалось хасэ, а с ним и смена главного князя.

Ацамука уже давно считают очень уважаемым человеком в Жанее. Он показал себя умелым предводителем, кому, если не ему, принимать бразды правления от старшего брата. Это и сказал Сибок младшему брату.

– О чем говоришь, старший брат. Я не сомневаюсь, ты хочешь, как и любой отец желал бы этого, чтобы главным князем стал твой сын. Уже давно думал над этим и вполне согласен – пусть станет им Камболет.

– Это правда? – не то обрадованно, не то удивленно произнес Сибок.– Но почему же не ты?

Грустно улыбнулся Ацамук:

– Я слишком засиделся в холостяках. Да и племянника своего очень люблю, верю – он будет настоящим предводителем, достойным главным князем.

– А если хасэ воспротивится?

– Не воспротивится, если мы с тобой захотим,– улыбнулся Ацамук.

Когда всеобщее хасэ Жанеи главным князем единодушно избрало Камболета, Сибок опустил почему-то потяжелевшие веки, как бы поправляя папаху, нагнулся, чтобы скрыть набежавшие слезы. «Спасибо Тебе, о Великий Аллах, за милость Твою ко мне, недостойному... Вот если бы Ты, Всемогущий, еще вернул мне Кудадека».

Одни говорили, что Кудадек после смерти царицы Марии отправился на Ливонскую войну, перешел там в стан врага, к воеводе Вишнивецкому, и погиб, другие – будто он был казнен Иваном Грозным вместе с Михаилом Черкасским. А третьи уверяли, что царь за храбрость пожаловал его имением то ли в Тверской, то ли в Псковской губернии, и, наконец, четвертые – Кудадек вроде бы ушел с атаманом Ермаком в Сибирь...

Уже совсем состарившийся князь Сибок благодарил Аллаха за Камболета, вместе с тем просил, молил о Кудадеке...

Что нового принесло время после сражений адыгов с войсками Адыль-Гирея и Касим-бея?

– Если честно,– ответил старый Кансав,– то надо прямо сказать – ничего или почти ничего. Как и прежде, продолжают враждовать между собой новые главные и неглавные князья. Как и раньше, одни из них кланяются сильной державе на севере, другие – на юге, третьи – на востоке, а платят за все это кровью и потом, горючими

слезами те, чьим трудом только и держится земля, дарованная одинаково для всех. Что доброго сделали для родной Черкесии, для благодатного Кавказа могущественные князья Черкасские, турецкие султаны, ханы, рожденные черкешенками? А могущественные мамлюки? Разве они вспомнили, защитили землю своих предков, свою святую землю? Нет. Более того,– и султаны, и ханы нередко грабили ее, жгли, заливали кровью. Ведь только с середины XVI до второй половины XVIII века провоцируемые Турцией крымские войска 68 раз нападали на Черкесию, опустошали ее, разоряли, уводили в рабство людей. И так из века в век...

И вот грянул год 1763-й!

Началась Кавказская, почти столетняя война.

Воевали государства-гиганты – Россия и Турция, а кровь лилась главным образом малых народов. Адыги опять оказались разделенными. Под видом добрых намерений их стравливали между собой, подталкивая на кровопролитные схватки. Даже Англия – и та приложила свою руку под видом помощи черкесам якобы в борьбе за их свободу. Конечно же, преследуя собственные интересы.

Закончилась Кавказская война в 1864 году. Чем она закончилась, хорошо известно: многострадальная земля адыгов была опять полита кровью главным образом ее истинных хозяев, селения которых превратились в пепелища, как утверждают многие летописцы и документы истории. Но самое страшное – более пяти миллионов адыгов были вынуждены со слезами навсегда покинуть свою родину, расстаться со священными могилами предков. Живут они, можно сказать, безродными по всей Земле – в Турции, на Балканах, в странах Ближнего Востока, в Америке, Африке, Европе...

Меньшая часть адыгов осталась на своей исторической земле, на Северном Кавказе – в Кабарде, Черкесии, Адыгее и Шапсугском Причерноморье. Именно они на своей родине и являются теперь хранителями культуры, языка и истории своего многострадального народа.

И долго ли они еще просуществуют на своей древней земле? Уж очень болит душа и за прошлое, и будущее. Да сохранит нас собственный разум, других надежд пока не вижу...

СОДЕРЖАНИЕ

Адыги. Исторический роман. *Перевод Евг. Карпова*. 5

Исхак Шумафович Машбаш

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в двадцати томах

Том V

Адыги

Исторический роман

Редактор **Х. Г. Тлепщерше**
Корректор **М. Р. Чамокова**
Компьютерная верстка **Т. А. Косяк**

ИБ № 00

Сдано в набор 00.00.2015. Подписано в печать 00.00.2015. Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура шрифта «PetersburgC». Печать офсетная. Усл. п. л. 00,00. Уч.-изд. л. 00,00. Тираж 500 экз. Заказ 05

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Полиграф-Юг».
385000, РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Телефон для справок (88772) 52-23-92.